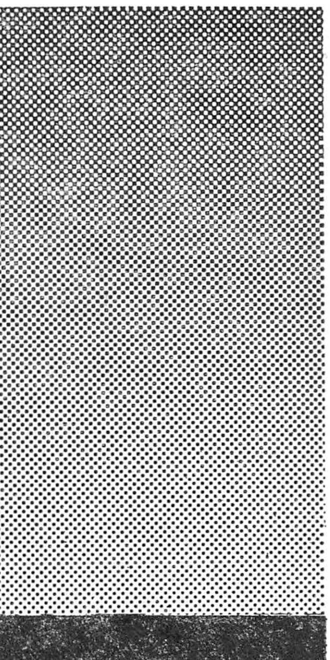

АЛЕКСАНДР
БЛОК
АНДРЕЙ
БЕЛЫЙ
ДИАЛОГ
ПОЭТОВ
О
РОССИИ
И
РЕВОЛЮ-
ЦИИ
Александр
Блок
Андрей
Белый
диалог
поэтов
о
России
и революции


MUSIQUE
ВЛЯ В.БЕССЕЛЬ К°

БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТА-СЛОВЕСНИКА

■ ■ ■







Александр
БЛОК
Андрей
БЕЛЫЙ

Диалог поэтов о России и революции

МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1990

ББК 84Р7-5
Б70

Рецензент: кафедра советской литературы Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (зав. кафедрой д-р филол. наук, проф. И. Ф. Волков)

Текст печатается по изданиям:

Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960—1963;
Белый А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966 («Б-ка поэта». Большая сер.);
Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М.; Л., 1965;
Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940— с сохранением, в основном, орфографии и пунктуации авторов.

Составление, вступительная статья и комментарий **М. Ф. Пьяных.**

Художник серии **В. В. Сурков**

Александр Блок, Андрей Белый: Диалог поэтов о
Б 70 России и революции / Сост., вступ. ст., коммент. М. Ф. Пьяных.— М.: Высш. шк., 1990.— 687 с.— (Б-ка студента-словесника).
ISBN 5-06-000857-6

В книге сопоставлены поэтические произведения двух крупнейших представителей русского символизма — А. Блока и А. Белого, и извлечения из их переписки и статей. Идейно-художественное сходство и принципиальные различия в трактовке национальной, историко-философской, духовно-нравственной и эстетической проблематики придавали творческим взаимоотношениям поэтов характер диалога о трагедийных путях Родины и народа, о социальных и духовных исканиях XX столетия. В приложении даны отклики современников на произведения поэтов.

Б $\frac{4603020101(4309000000)—517}{001(01)—90}$ 321—90 ББК 84Р7-5

ISBN 5-06-000857-6

Россия и революция в поэзии А. Блока и А. Белого

Своеобразный поэтический диалог Александра Блока и Андрея Белого о России и революции сложно связан со всеми сторонами творческих и личных взаимоотношений этих крупнейших представителей русского символизма, с индивидуальными особенностями их натуры, художественного мировосприятия и, конечно, с социально-политической, философской, нравственной и эстетической атмосферой современной им эпохи.

Особенно хотелось бы обратить внимание читателей на значимость постижения поэтами общего, прежде всего России и революции, через индивидуальное восприятие. Чем богаче личность, тем больше она открывает в окружающем мире и для себя, и для других. Именно неповторимость индивидуального взгляда на Россию и революцию, приобретающего в конечном счете интимно-личный характер, придает произведениям Белого и Блока на эту тему, собранным вместе, свойства диалога, а диалогичность, в свою очередь, помогает шире и глубже, с разных точек зрения, увидеть общие черты родины, вступившей в эпоху революций.

Рассмотреть и даже просто затронуть все произведения, составляющие диалог Блока и Белого, во вступительной статье, конечно же, невозможно. Я хочу остановиться только на произведениях, которые представляются узловыми в диалоге двух поэтов и в которых, на мой взгляд, наиболее полно и выразительно сказались их особенности в восприятии родины и революции. В дооктябрьском творчестве поэтов это «Отчаянье» — заглавное стихотворение Белого из книги стихов «Пепел» и стихотворение Блока «Россия» — ключевое в разделе «Родина» из третьего тома его лирики, а в творчестве периода Октябрьской революции это, несомненно, поэмы «Двенадцать» Блока и «Христос воскрес» Белого.

Оба узловых стихотворения написаны в одном и том

же 1908 году, вскоре после поражения первой российской революции, когда многие писатели — М. Горький, Л. Андреев, И. Бунин, А. Куприн, А. Серафимович, В. Вересаев, А. Толстой, Е. Замятин и другие — в поисках ответов на вопросы, связанные с дальнейшими судьбами родины и народа, обращаются к углубленному художественному познанию России и русского национального характера. Критики и литературоведы в ту пору и позже отмечали в литературе тех лет усиление реалистических тенденций *.

Однако постижение правды о русской жизни велось не только реалистами, но и модернистами, прежде всего символистами, к числу которых принадлежали Блок и Белый. Необходимо подчеркнуть, что символизм развивался как особая форма романтизма, характерная для конца XIX — начала XX столетия. В 1919 году, уже будучи автором гениальной поэмы «Двенадцать», Блок в речи «О романтизме» говорил, что символизм «связан с романтизмом глубже всех остальных течений» (VI, 370)**.

Одной из главных особенностей романтического искусства, в том числе символизма, является устремленность к высоким духовно-нравственным, социальным и эстетическим идеалам и восприятие действительности, со всеми ее противоречиями, достоинствами и несовершенствами, в свете этих идеалов. Для Белого и Блока с самого начала и до конца их творческого пути многое значили романтические идеалы Вечной Женственности и Христа, которые они воспринимали сквозь призму творчества Вл. Соловьева (в частности, его поэмы «Три свидания» и трактата «Три разговора»), но по-разному, в соответствии со своими индивидуальными творческими особенностями. Еще до очного знакомства с Белым Блок в письме к нему от 18 июня (1 июля) 1903 года признавался: «Я скажу, что я люблю Христа меньше, чем Ее, и в «славословии, благодарении и прошении» *** всегда прибегну к Ней» ****. В письме от 1

* См.: *Келдыш В. А.* Русский реализм начала XX века. М., 1975.

** Здесь и далее произведения Блока цитируются по: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960—1963. В тексте в скобках римскими цифрами обозначен том, арабскими — страница издания. «Записные книжки» А. Блока (М., 1965) условно даны как IX том.

*** Слова молитвы.

**** Александр Блок и Андрей Белый. Переписка / Ред., вступ. ст. и коммент. В. Н. Орлова. М., 1940. С. 35.

августа 1903 года: «Еще (или уже, или никогда) *не чувствую* Христа. *Чувствую* Ее *, Христа иногда только *понимаю*. ⟨...⟩ Ваш «эсотеризм» я нежно люблю. Не надо дальше. Это просто вытекает из самого важного для меня расхождения с Вами: Вы любите Христа больше Ее. Я не могу. *Знаю, что Вы впереди — без сомнений.* Но — не могу» **.

Разумеется, со временем содержание идеалов Вечной Женственности и Христа в творчестве Блока и Белого не оставалось неизменным, как не оставалось неизменным отношение к ним поэтов, особенно Блока к Христу, причем в этих изменениях сыграл роль и фактор взаимовлияния, однако в основе своей и содержание идеалов, и отношение к ним у каждого поэта на всем протяжении его творческого пути было глубоко личным, и достаточно стабильным.

Говоря в письмах к Белому о Ней, Блок имел в виду Душу Мира, Вечную Женственность, которая в его стихах представала как Прекрасная Дама. Ее образ в лирике юного поэта символизировал неразрывность его любви к красоте земной женщины и красоте Вечной Женственности, знаменовал гармонию природы и культуры, чувственного и духовного восприятия мира. В первой книге стихов Блока она связывалась с русским пейзажем, дорогой, символизирующей жизненный путь, и это придавало ее общечеловеческому образу национальные черты, которые потом приобрели особую выразительность в образе родины — невесты и жены, с ее крестным путем.

Блок до конца своих дней оставался верен идеалу Прекрасной Дамы, его отсветы и отзвуки чувствуются в образах Коломбины, Незнакомки, Снежной Девы, Фаины, Кармен, Изоры, Катьки из «Двенадцати» и, конечно, Руси, России. Рассматривая три тома своей лирики как трилогию в стихах, а их составные части как ее главы, Блок в 1911 году в примечаниях ко второму изданию «Стихов о Прекрасной Даме» отмечал, что эта, четвертая глава «имеет первенствующее значение как для первой книги, так и для всей трилогии; она впервые освещает смутные искания трех вступительных глав; она же есть тот «магический кристалл», сквозь который

---

* Слово «Ее» подчеркнуто дважды.

** Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. С. 44, 45.

я различил впервые, хотя и «неясно», всю «даль свободную романа» (I, 560). А в июне 1916 года поэт отметил в записной книжке: «*Лучшими* остаются «Стихи о Прекрасной Даме». Время не должно тронуть их, как бы я ни был слаб как художник» (IX, 309). Наконец, после создания «Двенадцати» Блок в августе 1918 года предпринимает попытку написать автокомментарий к «Стихам о Прекрасной Даме» (см.: VII, 338—350).

Еще в стихотворении «Вступление» (1905), открывающем второй том лирики, Блок сказал о своем романтическом идеале: «*Ты в поля отошла без возврата*» (II, 7). В свете этого идеала и в очень личном, интимном восприятии предстает полевая Россия в третьем томе лирики поэта, в частности в стихотворении «Россия», завершенном 18 октября 1908 года:

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

⟨...⟩

Женственный, неповторимо блоковский образ прекрасной родины создан в традициях русской литературы «золотой» поры — поры Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Некрасова... «Твои прекрасные черты...» — так или почти так Пушкин говорил о «гении чистой красоты», женщине, пробудившей в его душе «И божество, и вдохновенье, // И жизнь, и слезы, и любовь»: «... // Твои небесные черты». Блок так говорит о родине, и в этом его новое слово о России в развитии национальных традиций. Образ родины в русской литературе обычно ассоциировался с образом матери. Блок связывает его с образом молодой красавицы, невесты, жены, тем самым придавая ему глубоко интимный, любовный характер («Твои мне песни ветровые — // Как слезы первые любви!»), и в то же время — с вечной и нетленной красотой Прекрасной Дамы, Мировой Души, мировой гармонии. В блоковском образе родины — полной сил и страсти женщины, наделенной

«разбойной красой» (она даст о себе знать в «разбойной красе» Катьки из поэмы «Двенадцать»), интимно-личное неотделимо от вселенского, чувственное — от духовного, национальное — от общечеловеческого, природное, пантеистическое — от культурных традиций, высокое — от будничного. В свете романтического идеала родина предстает не только поэтической, одухотворенной, прекрасной, нетленной, но и нищей — с серыми избами, расхлябанными дорогами, острожной тоской, глухой песней ямщика. В этой контрастности ощущается острое противоречие между идеалом и действительностью, подспудный трагизм родной страны. Чувство живой и нетленной красоты родины помогает Блоку верить в ее будущее, в то, что она преодолеет все тяготы и препятствия на своем трудном пути, освободится от омертвляющей власти всевозможных колдунов и чародеев, как в это верил Гоголь.

Однако после поражения первой российской революции романтические идеалы и надежды, связанные с судьбами родины и народа, все больше сменялись скептицизмом, неверием и отчаянием, трезвым анализом русской действительности и национальной психологии, осознанием застойности русской жизни. В повести Бунина «Деревня» (1910) поэт-самоучка Кузьма Красов, наблюдая реальную жизнь России, издевается над романтическим пафосом Гоголя: «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя.— «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — «депутат хотел реку отравить...» Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!..» А в самом конце повести Бунин противопоставляет гоголевской свою, условно говоря, «тройку», тоже символическую, но в другом, мрачном смысле. Когда красавицу по прозвищу Молодая, которая раньше подвергалась насилиям и издевательствам, выдают замуж за одного из самых отвратительных «дурновцев» — Дениску: «Вьюга в сумерках была страшнее, но бодрило сознание, что обуза с плеч свалилась: дурно ли, хорошо ли, а дело кончили. И гнали лошадей шибко, наугад, доверяясь только мутным призракам вешек, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, приплясывала, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизова,
Золотая голова...»*

Как поэтический образ народной песни несовместим с действительностью: ведь «голубем» в песне именуется жених, а в действительности им является мерзкий мужичонка Дениска!

Безотрадной, лишенной каких-либо примет духовной и физической красоты предстала Россия и в книге стихов Белого «Пепел» (1909). В «Отчаянье», созданном в июле 1908 года, то есть месяца на два-три раньше стихотворения Блока «Россия», Белый писал:

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать: —

⟨...⟩

Далее идет череда зарисовок страшного, беспросветного, населенного уродливыми призраками, почти безжизненного пространства, в котором, в отличие от стихов Блока, нет и малейших признаков поэтического и одухотворенного. Соединенные однообразно и надсадно повторяющимся словом «где... где... где... где...», эти зарисовки образуют картину, равную которой по ощущению мрака, дикости, распада, вырождения, умирания и отчаяния трудно найти в русской литературе:

Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,

Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков,—

Туда,— где смертей и болезней
Лихая прошла колея,—
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

---

* *Бунин И. А.* Полн. собр. соч. Пг., Изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1915. Т. 5. С. 73, 138.

На первый взгляд может показаться, что эта картина нарисована суровым реалистом, но мы знаем, что Белый никогда реалистом не был; он — символист, то есть романтик особого рода, а это значит, что обнаженная правда русской жизни, запечатленная на этой картине, увидена в свете высокого романтического идеала (но отличного от блоковского), имеющего преимущественно духовный, аскетический характер, мало восприимчивый к природной, плотской красоте, идеала, просвечивающего плоть жизни как бы жестким рентгеновским излучением и тем самым способствующим ее преображению, умиранию в ней всего тлетворного и воскрешению духовно оплодотворенного. Разумеется, такой духовный идеал во многом обусловлен индивидуальными особенностями самого поэта, прежде всего особенностями его природной сущности и соответствующими ей особенностями мировосприятия.

Из произведений Белого, как предшествовавших стихотворению «Отчаянье», так и более поздних, например из поэмы «Христос воскрес», известно, что свой духовный идеал поэт прежде всего связывал с образом Христа, которого он воспринимал очень лично. Т. Ю. Хмельницкая, анализируя поэму «Христос воскрес», напоминала: «Для Белого Христос тема не новая. Еще в «Золоте в лазури», в цикле 1903 года «Вечный зов» всплывает образ распятого Христа, к тому же отождествленного с лирическим «я» поэта. Весь раздел «Багряница в терниях» развивает этот символ. И дальше, в «Пепле», тема мессии и «второго пришествия» сплетается у Белого с темой пророка, причем образ этот двойствен, противоречив: он и провидец и безумец» *.

Что же касается общего для Белого и Блока идеала Вечной Женственности, воспринятого ими через Вл. Соловьева, то у Белого он предстает прежде всего (в поэме «Христос воскрес») в образе апокалипсической Жены, облеченной в солнце: «Россия, // Страна моя — // Ты — та самая, // Облеченная солнцем Жена...». А вот нечто подобного блоковской Прекрасной Даме, ее отсветам в образе родины и земных женщин в поэзии Белого, в сущности, нет. Только вслед за Блоком в стихотворении «Родина» (1909) и в поэме «Первое

---

* *Хмельницкая Т.* Поэзия Андрея Белого // *Белый А.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 55.

свидание» (1921) Белый увидит в России и в земной женщине отблеск, причем очень слабый, красоты Вечной Женственности. Но, в отличие от Блока, плотская, чувственная красота не столько вдохновляла, сколько раздражала поэта, вызывала неприязнь, принималась за бесовский соблазн. Чрезвычайно редко, лишь в состоянии любовного опьянения, (см. в наст. изд. статью «Луг зеленый», 1905.— С. 450), природная, плотская красота вызывала у него вспышку вдохновенного экстаза. Блока, который постоянно восхищался этой красотой, Белый обвинял в кощунстве, в измене соловьевству, хотя Вл. Соловьев, при всей своей устремленности к идеалу духовной красоты, не чуждался и красоты чувственной. Считая себя правоверным соловьевцем, а Блока отступником, Белый в отношениях с Блоком взял роль его идейного руководителя, духовного наставника и даже судьи.

Не увидел автор «Пепла» ничего одухотворенного, никакой красоты — ни божественной, ни земной и в облике современной ему России: таково художественное мировосприятие, и ни в воле, ни в намерении поэта не было сделать его принципиально иным. Посвятив «Пепел» памяти Н. А. Некрасова, воспринимая посвоему его традиции, Белый в то же время не ощущал в жизни народа ни «искры сокрытой», как это было у Некрасова, ни красоты «величавых славянок», которую чувствовал Блок и в поэзии Некрасова, и в реальной действительности. Блок и Белый, развивая традиции Некрасова, корректировали их собственным поэтическим мировосприятием. Это особенно видно на примере их отношения к «Коробейникам». В статье «О лирике» (1907) Блок отмечал: «На просторных полях русские мужики, бороздя землю плугами, поют великую песню — «Коробейников» Некрасова» (V, 132). Эту песню поэт считал путеводной в постижении родины и народа и для себя (см.: II, 373—374; IX, 94), и для главного героя пьесы «Песня Судьбы» Германа (см.: IV, 161—162, 165—167). По-другому воспринял поэму Некрасова Белый в «Пепле». Показательны метаморфозы, которые претерпел здесь некрасовский Коробейник. Это уже не добрый молодец, а старый купец или разбойного пошиба парень, отравленный миазмами городской жизни. В конце концов он становится висельником: проходя сквозь строй солдат, «герой» вспоминает, как кутил «с ней в трахтире»:

Там несется издалека,
Как в былые дни —
«Распрямись ты, рожь высока,
Тайну сохрани».

Поэтическая Россия Блока и обнаженная проза русской жизни в изображении Белого не отрицали, а дополняли друг друга, создавая правдивый и неоднозначный образ родины. Следует заметить, что Блок, говоря о нетленной красоте родины, не закрывал глаза на ее нищету и бесправие. Со временем его взгляд на русскую действительность становился все более безотрадным (см. стихотворения «Последнее напутствие», «Грешить бесстыдно, непробудно...», «Рожденные в года глухие...», «Коршун» и другие), и вполне вероятно, что в обострении такого зрения сказалось влияние Белого; однако и в самые тяжелые годы Блок продолжал неколебимо верить в свет и красоту русской души, видеть в ней источник социального и духовно-нравственного преображения национальной жизни. Белый же, правдиво показывая деградацию русской жизни, изображая эмпирическую, бездуховную действительность как пепел, в котором нет даже «искры сокрытой», видел источник преображения этой действительности не в ней самой, не в душе народа, а вовне — в высшей духовной сфере. Именно из этой высшей сферы, воспринимаемой в духе антропософского учения Р. Штейнера *, у Белого в стихотворении «Родине» (1917), которым он приветствовал Февральскую революцию, струится духовный огонь, превращающий «глухую» Россию в «огневую стихию» и «Мессию грядущего дня».

Различие между Белым и Блоком в восприятии России, а затем и революций 1917 года уходит своими корнями в глубинные, природные подосновы их художественных мировосприятий. Если в художественном мировосприятии Блока многое значило начало пантеистическое, одухотворенно-чувственное, идеально-конкретное, то в мировосприятии Белого преобладало начало духовно-аскетическое, отвлеченно-идеальное, идейно-логизированное, рационалистическое.

«Слепоту на плотскую сущность... жизни», в чем-то

---

* О роли и значимости антропософии Р. Штейнера в духовной жизни Белого см. в его письмах к Блоку за 1912—1913 г., а также в: *Белый А.* Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. М., 1917.

родственную... восприятию Гоголя, у Белого в «Пепле» и других произведениях чутко заметил еще Вяч. Иванов. «Подобно Гоголю,— писал он,— Белый был болен прирожденным идеалистическим «неприятием мира» — не тем, которое возникает из роста самоутверждающегося высшего сознания в личности, но тем, что коренится в природной дисгармонии душевного состава и болезненно проявляется в бездушном дерзновении и внезапной угнетенности духа, в обостренности наблюдательных способностей, пробужденных ужасом, и слепоте на плотскую сущность раскрашенных личин жизни, на человеческую правду лиц, представляющихся только личинами — «мертвыми душами».

Глубокая и также прирожденная религиозность делала А. Белого все же реалистом; но единственная реальность в творении, ему ощутимая, была супрареальность непосредственного мистического знания — Душа Мира, в ее глубочайшем и сокровенном лике Матери-Девы. Матери-жены, многогрудой Кибелы, родительницы и кормилицы сущего, он как бы не видел, и не было общего кровообращения живых энергий между поэтом и Землей. Тайне пола он хотел бы сказать живое *да*, но бездна между отвлеченно-одухотворившейся личностью и темной утробой Матери была столь непереходима, что это *да* в искажении и корчах кончалось криком отчаянного проклятия, который слышится в последней, недавней «симфонии» («Кубок Метелей») » *.

Позднее Роман Гуль в специальной работе, посвященной проблеме пола в творчестве Белого, писал: «Звуковая сложность, определившая Белого со стороны формы, и бессюжетность, отсутствие движения, уклоны в мистику, риторизм — со стороны содержания — не разъединены и не случайны. Это функции единого творческого организма. Откуда они?» Отвечая на этот вопрос, Гуль продолжал: «В творчестве Белого нет опоры, нет главного, что бы скрепило его — *нет пола*!» И еще: «Дыхания, прели земли — нет у Белого. Темной, земляной любви к эросу мира, к цветенью земли — нет у него. Белый холоден» **. Указывал Р. Гуль и на то, что женские образы у Белого, как и у Гоголя, бесплотны.

---

* *Иванов Вяч.* Андрей Белый. «Пепел». Изд. «Шиповника». Спб., 1909 // Критическое обозрение. 1909. Вып. 2. С. 46—47.

** *Гуль Р.* Пол в творчестве. Разбор произведений Андрея Белого. Берлин. Изд. «Манфред», 1923. С. 8, 10, 13.

Аскетическое отношение Белого ко всему чувственному и плотскому определяет его резко критическое отношение к тем произведениям Блока, в которых изображалась земная красота, он рассматривает это как измену идее Вечной Женственности Вл. Соловьева, как нетвердость в идейных принципах и свидетельство слабости теоретического мышления Блока. В рецензии на второй сборник стихов Блока «Нечаянная радость» Белый пишет: «Вл. Соловьев, соединяя размышления гностиков с гимнами поэтов, сказал новое слово о близком сошествии к нам лика Вечной Жены. Тут началась поэзия Блока. Тема его — глубокая. Цель его — значительная.

Вдруг он все оборвал...

В драме *«Балаганчик»* горькие издевательства над своим прошлым. 〈...〉

И вот во втором сборнике мы узнаем, что *«Прекрасная Дама»* не путешествует на пароходах. Вместо *«Сиянья красных лампад»* мы видим болотных чертенят, у которых *«колпачки задом наперед»*. Вместо храма — болото, покрытое кочками, среди которого торчит избушка, где старик, старуха и «кто-то» для «чего-то» столетия тянут пиво. Нам становится страшно за автора. Да ведь это не *«Нечаянная Радость»*, а *«Отчаянное Горе»*!» Белый отмечает: «...сбросив с себя идейный балласт, поэзия А. Блока расцвела махровым, пышным цветком». Белому не нравится чувственная, плотская, пантеистическая красота этого цветка, он считает ее наваждением, бесовским искушением, колдовской «прелестью», а полевого, пантеистически воспринятого Христа из стихотворения «Вот он — Христос — в цепях и розах...» — оборотнем и колдуном, он открещивается от него: «Не надо нам полевых Христов. Христос Бог да сохранит нас от таких пришествий!» *

К чести Белого-поэта следует отметить, что он, как христианский аскет, не принимая красоту пантеистических образов Блока, сумел оценить блоковское восприятие русской природы и народные, национальные мотивы в этом восприятии. «Страшна, несказуема природа русская,— писал Белый.— И Блок понимает ее как никто. Только он может сказать так:

Выхожу я в путь, открытый взорам.
Ветер гнет упругие кусты.

---

* *Белый А.* Арабески: Кн. статей. М., 1911. С. 459—460, 461.

Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Искони здесь леший морочит странников, ищущих «нового града»; искони мужичка, оседлав, погоняет Горе-горькое хворостиной. Скольких погубило оно: закричал Гоголь, заплутался тут Достоевский, тут на камне рыдал Некрасов беспомощно, здесь Толстой провалился в немоту, как в окошко болотное, и сошел с ума Глеб Успенский, много витязей здесь прикончило быть,— «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Здесь Блок становится поэтом народным» *.

Со временем в творчестве Блока тема родины и революции стала связываться не только с идеалом Вечной Женственности, но и с мотивом духовно-нравственной мужественности и образом Христа. Развитие мотива «сораспинания» с родиной в поэзии Блока испытало на себе воздействие Белого, однако в отличие от него Блок воспринимал образ Христа, как и образ Прекрасной Дамы, не только в духовном, но и в пантеистическом плане, и эта связь сказалась на разработке поэтом проблемы «стихия и культура» (см. его одноименную статью 1908 года: V, 350—359, и в наст. изд.— С. 396), которая много значила в блоковском восприятии России и революции, всего «мирового оркестра» (III, 192; V, 371, 417—419; VI, 11, 19, 101).

Земные воплощения Вечной Женственности, будь то Россия или женские образы, в поэзии Блока активно взаимодействуют с образом Христа, подчас сливаясь друг с другом, как это происходит в заглавном стихотворении раздела «Родина»:

Ты отошла, и я в пустыне
К песку горячему приник.
Но слова гордого отныне
Не может вымолвить язык.

О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да. Ты — родная Галилея
Мне — невоскресшему Христу.

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где преклонить ему главу.

---

* *Белый А.* Арабески. С. 461.

Здесь образ Христа — Сына Человеческого возникает в интимно-личных переживаниях поэта, связанных с трудными, сложными, драматическими взаимоотношениями с любимой женщиной. В стихотворении «Россия» намечается «сораспинание» поэта с родиной: «Тебя жалеть я не умею // И крест свой бережно несу...» В цикле «На поле Куликовом», который высоко оценивал Белый, образ «светлой жены» вместо нерукотворного Спаса вписан в щит воина, готовящегося к битве:

И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

Кроме Христа, имеющего лирический характер, в стихах Блока есть Христос, которого можно назвать эпическим, народным. В разделе «Родина» о таком Христе говорится в стихотворении «Задебренные лесом кручи...»:

Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.

В Христе, весть о котором идет из глубин темной и глухой России, нет смирения, он несет возмездие:

И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.

Это стихотворение о старообрядцах-самосожженцах, начатое в 1907 году, было закончено в 1914-м приведенным четверостишием, в котором строчка «Весть о сжигающем Христе» первоначально читалась: «Весть о чудовищном Христе» (III, 587). На представление Блока о России, в глубинах которой рождалась весть о «чудовищном» и «сжигающем Христе», оказали влияние повесть Белого «Серебряный голубь», которую он считал «гениальной» (см.: V, 434; а также о ней: VIII, 305), переписка с Н. Клюевым, частушку о «ножичках литых», из письма которого Блок привел в статье «Стихия и культура» (см.: V, 359), и книга П. Карпова «Пламень» (см. V, 483—486).

Эпический и лирический образ Христа из стихов Блока о России, соединившись в сложное, по-новому

переосмысленное целое, включив в себя черты идеала женственности, станет в поэме «Двенадцать» символом трагического преображения «русского строя души» (VI, 28) в революционную эпоху и его крестного пути после Октября.

Образ Христа в поэме «Двенадцать» оказался наиболее трудным для понимания как современников Блока, так и читателей и исследователей последующего времени. Его считали образом неорганичным, надуманным, случайным, неожиданным для Блока, субъективным, часто отрицали за якобы религиозный и контрреволюционный смысл. Еще в конце 50-х годов о нем можно было прочитать такое: «Этот образ — большая и бесспорная неудача Блока, резкий диссонанс в его поэме» *. Правда, примерно с этого же времени в работах В. Н. Орлова, П. П. Громова, Л. И. Тимофеева, А. Е. Горелова, Л. К. Долгополова, А. М. Туркова и других исследователей намечается положительная оценка образа Христа, смысл которой в основном сводится к тому, что этим образом Блок нравственно оправдывал революцию.

Образ Христа в поэме «Двенадцать» имеет глубокий, сложный и многогранный смысл. Прежде всего он является высоким духовно-нравственным, эстетическим и социальным идеалом, в свете которого поэт изображает трагедийный процесс преображения личности в революционную эпоху. Незримый для двенадцати апостолов нового мира Христос, в которого они по своей духовно-нравственной слепоте даже стреляют, не является чужеродным в поэме, а органически вырастает из ее строя, взаимодействия эпических и лирических мотивов: во-первых, изнутри «коллективного образа-характера двенадцати красногвардейцев» **, прежде всего из переживаний главного героя Петрухи ***, во-вторых, из представлений о Христе самого Блока.

После непреднамеренного убийства Катьки Петруха исповедуется в любви к ней перед своими товарищами:

---

* *Штут С.* «Двенадцать» А. Блока // Новый мир. 1959. № 1. С. 240.

** *Громов П.* А. Блок, его предшественники и современники. М.; Л., 1966, с. 515.

*** Образ Петрухи рассмотрен в: *Горелов Анат.* Гроза над соловьиным садом. Александр Блок. Л., 1970 (2-е изд., доп.— Л., 1973).

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

Красногвардейцы, только что называвшие Петруху «товарищем» и «дружком», старавшиеся развеселить его, после любовной исповеди резко изменяют свое отношение к нему, называют его «стервецом» и «бабой» (а в черновике поэмы — «буржуем» и «холуем» — III, 627), а сокровенные интимные переживания Петрухи — «шарманкой».

Такое отношение к личным чувствам, недооценка или отрицание всего индивидуального были характерны для революционной эпохи и нашли отражение в литературе тех лет. Даже Маяковский, много писавший о любви к женщине в дооктябрьских поэмах, а чуть позднее, в начале 1923 года, создавший гениальную поэму «Про это», в годы революции в «Приказе № 2 армии искусств» спрашивал: «Кому это интересно, // что — «Ах, вот бедненький! // Как он любил // и каким он был несчастным...»?» Отрицал все личное, интимное известный в свое время поэт и поборник научной организации труда А. Гастев. В 1919 году он писал о том, что в будущем пролетарский коллектив освободится от индивидуального, в нем возникнет «поразительная анонимность, позволяющая квалифицировать отдельную пролетарскую единицу, как А, Б, С или как 325, 075 и 0 и т. п.» *. (Замечу в скобках, что в 1927 году молодой Владимир Луговской в стихотворении «Утро республик» и в самом деле заявил: «Хочу позабыть свое имя и званье, // На номер, на литер, на кличку сменять».) Гастев радовался: «...мы идем к невиданно объективной демонстрации вещей, механизированных толп и потрясающей открытой грандиозности, не знающей ничего интимного и лирического» **, не подозревая в этом трагической опасности для общества.

---

* *Гастев А.* О тенденциях пролетарской культуры // Пролетарская культура. 1919. № 9—10. С. 44.

** Там же. С. 45.

Об опасности подавления всего личного и превращения людей в «механизированные толпы» говорил даже теоретик пролетарского коллективизма А. Богданов. По поводу прожектов Гастева он заметил: «Эта чудовищная аракчеевщина есть, конечно, порождение не производственного коллективизма, а милитаристической муштровки» *. В полемике с идеями обезличенного общества будущего создавался роман Е. Замятина «Мы» (1920), предупреждавший о тех страшных последствиях, к которым действительно привела гипертрофия военизированного коллективизма. В условиях абсолютизации безликого «мы» оказалось естественным, гуманистическим и стремление Б. Пастернака в книгах стихов «Сестра моя — жизнь» и «Темы и вариации» сохранить относительную автономность внутреннего мира человеческого «я», оградить лирическое пространство души от разрушающего, как писал позднее поэт, воздействия «общего времени» **.

Не принимал механистического коллективизма пролеткультовцев и А. Белый. Работая в Пролеткульте с пролетарскими поэтами, он делился с ними своими культурными и духовно-нравственными знаниями, стремился в каждом из них пробудить личность ***. Настоящим для Белого был коллектив, состоящий из личностей, который он предпочитал называть братством. Вскоре после написания поэмы «Христос воскрес» Белый в программной статье, открывавшей первый номер журнала «Записки Мечтателей», писал: «Мы, «Мечтатели»,— лес; растопырились кроны вершинных стремлений — космато неравно; вон — яблоня; вон — тонкий тополь; вон — дуб; их ничто не сравняет. Пожалуй, в стволах они равны. Что есть в нас наш ствол? Ствол в нас — личность. Но ствол от ствола отделен в лесной роще; и в коммунном строительстве сверху как часто возводят заборы и думают, что заборы, где бревна равно все обтесаны, пригнаны однообразно друг к другу,— что эти заборы заменят веселую рощицу; рощи-

---

* *Богданов А.* О тенденциях пролетарской культуры: Ответ А. Гастеву // Там же. С. 50.

** *Пастернак Б.* Охранная грамота // *Пастернак Б.* Избранное: В 2-х т. М., 1985. Т. 2. С. 196.

*** См.: *Белый А.* О стихах Александровского // Горн. 1918. № 1; *Белый А.* А. Поморский. Цветы восстания. Пб., 1919 // Там же; *Казин В.* «Когда Октябрь лишь зачинал стихи...» // Лит. Россия. 1983. 4 нояб. № 45.

ца — целостность; в этом смысле «коммуна» она; ⟨...⟩ Коммуна, построенная лишь на равенстве голых стволов, убивает свободу напева; в ней срублены ветки; и братство событий отсутствует; голые палки торчат; в нашем мире «коммуна» есть «*братство*». ⟨...⟩ ... Только из *братства* рождается душа *свободы* в коммуне деревьев; из *равенства* голых стволов не родится *свобода*» *.

В ситуации, когда еще только зарождался трагически опасный для дальнейших судеб народа и революции процесс подавления всего личного, недооценки или отрицания ее духовных и эстетических ценностей, Блок в поэме «Двенадцать» с гениальной прозорливостью сосредоточил внимание на интимно-личных переживаниях человека и их общественно-исторической, национальной и общечеловеческой значимости. Христианские (в нравственном смысле) муки совести красногвардейца Петрухи, испытываемое им после гибели Катьки чувство трагической вины то затухают под воздействием резонов его товарищей, то вспыхивают вновь. Во время разыгравшейся вьюги он вспоминает имя Спаса. Не только рассудительный красногвардеец («Петька! Эй, не завирайся! // От чего тебя упас // Золотой иконостас?»), но и некоторые трезво, позитивистски мыслящие литературоведы и критики полагали, что Петруха, упомянувший имя Спаса, является самым несознательным среди тех, кто держит революционный шаг. Вульгарно-атеистическое сознание видело в Спасе только ортодоксально-церковного Христа, расценивало его как проявление религиозной темноты и предрассудков, не подозревая о духовно-нравственном содержании, которое было вложено в этот образ многовековой историей народной жизни, искусства и культуры. Вульгарное мировосприятие оказалось не способным почувствовать и очищающих, просветляющих душу страданий красногвардейца Петрухи, в которых его чувственная любовь к Катьке, пройдя через муки совести и осознание трагической вины, преображается в любовь одухотворенную, христианскую.

Не случайно, что Петруха, как и автор поэмы, почувствовал незримое присутствие Спаса во время разы-

---

* *Белый А.* «Записки Мечтателей» // Записки Мечтателей. 1919. № 1. С. 5—6.

гравшейся метели. Снег, ветер, вьюгу Блок воспринимал не только как особенности погоды, но и символически — как выражение пантеистического, природного начала мировой стихии жизни, органически взаимодействующего с ее духовным и социальным началами, олицетворенными в образе Христа. «Обратная крайность природы есть Христос» *,— заметила однажды М. Цветаева.

Вскоре после написания «Двенадцати» [10 марта (25 февраля) 1918 года] Блок сделал в дневнике запись: «Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели *на этом пути*, то увидишь «Исуса Христа» (VII, 330). А в письме художнику Ю. Анненкову от 12 августа 1918 года (по н. ст.) поэт высказал пожелание по поводу одной из иллюстраций к «Двенадцати»: «Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом,— это была бы *исчерпывающая обложка*» (VIII, 514). И в финале поэмы образ Христа связан с природным началом бытия — с вьюгой, снегом:

〈...〉
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Здесь же, наметившееся еще в дооктябрьском творчестве Блока, слияние Христа и Женственности, Розы и Креста, любви духовной (белая роза) и чувственной (красной). Христос изображен поэтом не просто с красным, но с «кровавым флагом». В этой символической детали и невинная кровь Катьки, и «родинка пунцовая», из-за которой загубил ее сгоряча Петруха. В «снежной россыпи жемчужной» есть отблеск жемчужных зубов Катьки («Запрокинулась лицом, // Зубки блещут жемчуго́м...»); в «белый венчик из роз» трансформировалась чувственная, с пролитием крови, любовь красногвардейца Петрухи и Катьки.

Христос для красногвардейцев «невидим»; герои — апостолы нового мира — чувствуют его смутно, их отношение к незримому Христу трагически двойственно,

* *Цветаева М.* Искусство при свете совести // *Цветаева М.* Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 400.

они окликают его словом «товарищ», но вместе с тем стреляют в него. Христос от их пуль невредим, ибо он не существо из плоти, а духовно-нравственный и эстетический идеал, в котором художественно спроецированы и христианские муки совести Петрухи, и душевная тревога его товарищей, и общечеловеческие и национальные гуманистические ценности, которые по-своему, глубоко лично и интимно, воспринимал Блок.

К великому сожалению, гуманистический смысл блоковского Христа в силу разных и сложных причин, требующих специального изучения, не был понят и почувствован ни противниками Октябрьской революции, ни большевиками. Как показало время, антирелигиозная пропаганда во всей последующей нашей истории не столько способствовала росту нравственного самосознания людей, сколько подрывала веру в духовные идеалы и ценности, прокладывала дорогу всякого рода бесовщине, воплощенной Блоком в символическом образе антипода Христа — пса. Показав процесс трагедийного преображения и поляризации «русского строя души» в революционную эпоху, Блок в эпилоге поэмы-трагедии дал своеобразную движущуюся панораму ее «коллективного характера»: «...Так идут державным шагом — // Позади — голодный пес, // ⟨...⟩ Впереди — Исус Христос».

Необходимость борьбы с многоглавым псом мещанского, потребительского, паразитического и преступного отношения к жизни, неизбежность возрождения романтического идеала как духовно-действенной антитезы образу пса была предсказана Блоком в его гениальных «Двенадцати». После поэмы Блока вехами в постижении образа Христа стали такие произведения, как «Христос воскрес» А. Белого, «Про это» В. Маяковского, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Покушение на миражи» В. Тендрякова, «Плаха» Ч. Айтматова. Борьба добра и зла, красоты и уродства, самоотверженной любви и животного эгоизма, творческого начала и паразитического образа жизни требует от людей настоящего мужества, подлинного героизма, готовности к страданиям и жертвам, искупляющим преступления и вину перед человечностью.

Белый откликнулся на «Двенадцать» довольно быстро: уже в апреле 1918 года он написал поэму «Христос воскрес», а в мае она была напечатана.

Известный исследователь творчества Белого Л. К. Долгополов полагает, что автор поэмы «Христос воскрес» «не принял „Двенадцати“»*. Думается, правильнее будет говорить о полемике Белого с поэмой Блока **. Еще М. Кузмин заметил о поэме «Христос воскрес»: «Последнее произведение довольно слабое, особенно по сравнению с „Двенадцатью“ Блока, с которым оно имеет очевидную претензию соперничать...» *** Стремясь, как всегда, идейно поправить Блока, Белый, во-первых, использует те же образы и мотивы, что и Блок в «Двенадцати», прежде всего образ Христа, но придает им несколько иной смысл; во-вторых, в связи с индивидуальными особенностями своего художественного мировосприятия Белый освобождает поэму от всего пантеистического, чувственно-плотского, интимно-личного, психологического и конкретно-исторического, которое в «Двенадцати» Блока предстает как «русский строй души». В результате художественные образы Белого утрачивают в сравнении с поэмой Блока сложную, прежде всего обратную связь с живой действительностью революционной эпохи, евангельский сюжет накладывается на современность, не вступая в активное взаимодействие с ней, многозначная и глубокая символика, которая была в «Двенадцати», превращается в плоскую аллегорию.

Тема преображения мира и человека, весьма характерная для русской поэзии революционной эпохи 1917—1921 годов ****, раскрывается Белым в чисто духовном плане. В сюжетно-композиционной структуре произведения, основанной на перенесении евангельской легенды в революционную действительность, поэт стремится подчеркнуть значимость и активность именно духовного опыта прошлого, воплощенного в евангельском мифе. При этом евангельская легенда как преобразующая идея интерпретируется Белым под влиянием

---

* *Долгополов Л.* Неизведанный материк: Заметки об Андрее Белом // Вопр. литературы. 1982. № 3. С. 130.

** Подробнее об этом см.: *Пьяных М.* Певец огневой стихии: Поэзия А. Белого революционной эпохи 1917—1921 годов // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988.

*** *Кузмин М.* Условности: Статьи об искусстве. Пг., 1923. С. 164.

**** См.: *Пьяных М. Ф.* Русская поэзия революционной эпохи 1917—1921 годов: Проблематика и поэтика. Л., 1979.

его духовных отцов и учителей Вл. Соловьева и Р. Штейнера. Россия, бывшая до революции как бы «могила, // Простершая // Бледный // Крест,— // В суровые своды // Неба // И — // В неизвестности // Мест» (и так далее — эти строки заставляют вспомнить Россию «Пепла»), становится «облеченной солнцем Женой», «Богоносицей, побеждающей Змия»; Христос воскресает снова, но уже в каждом человеке. Если в самом начале поэмы при изложении евангельской легенды только по отношению к Христу было сказано: «Сияньем // Преисполнились // Длани // Этого человека... // И перегорающим страданием // Ве́ка // Омолнилась // Голова»,— то в конце поэмы от лица поэта-пророка говорится:

Я знаю: огромная атмосфера
Сиянием
Опускается
На каждого из нас,—

Перегорающим страданием
Ве́ка
Омолнится
Голова
Каждого человека.

В поэме «Христос воскрес» Белый обращается к общей для поэзии революционных лет проблеме взаимоотношений между индивидуальным и коллективным, однако в отличие от Блока рассматривает ее не конкретно-психологически, как взаимоотношения личного и общего в «коллективном характере» красногвардейцев, а по-своему — обобщенно-символически. Когда поэт говорит о русской революции как о национальной мистерии, имеющей мировой, общечеловеческий смысл, он не отделяет себя от других участников этой мистерии и пользуется для подчеркивания коллективизма характерным для той поры словом «мы»:

Это жалкое, желтое тело
Проволакиваем:
Мы —
    — В себя: —
Во тьмы
И в пещеры
Безверия,—

Не понимая,
Что эта мистерия
Совершается нами —
                    — в нас.

Поэт выделяет «я» из общего «мы» только тогда, когда он выступает в роли пророка, провидца происходящих событий. Если в дооктябрьской поэзии Белого его лирическое «я» нередко отождествлялось с образом Христа, то в поэме это лирическое «я» является только духовным наследником Христа, понимающим, в отличие от других людей, смысл происходящей мистерии: «Я знаю: огромная атмосфера // Сиянием // Опускается // На каждого из нас...»,— предсказывающим на основе этого знания духовное воскрешение Христа в сознании каждого человека.

Определяя идейный смысл поэмы «Христос воскрес», Белый в 1923 году писал: «Здесь *«дни»* и *«часы»* взяты не только в смысле *«дней»* и *«часов»* 1918 года, но и в смысле метафорическом: в смысле *«дней»* и *«часов»* встречи переживающего бездны ужасов индивидуального *«Я»* или *«Я»* коллектива (души народа, души человечества) с роком, со стражем порога духовного мира; и этот порог — крест; и — висящий на кресте; приятие распятия пресуществляет тему смерти в тему воскресения; в этой теме каждое «Я» или Ich становится I.Ch — монограммой божественного *«Я»*.

Подчеркиваю: мотивы индивидуальной мистерии преобладают в этой поэме над мотивами политическими; обстановка написания поэмы заслонила от критиков основной момент поэмы: она живописует событие индивидуальной духовной жизни; точка зрения автора: события социальной действительности подготавливаются в движениях индивидуальной жизни; они — оплотнения, осадки, выпадающие вовне»*.

Развитие в поэме Белого идет от духовного начала к эмпирической действительности, от идеи к ее конкретной реализации, от интеллектуально-духовного «я» к обезличенному «мы», а обратная связь, обратное воздействие практически отсутствуют, ибо все эмпирическое, эпическое, конкретно-чувственное и природное является в ней не только «низшей», «мертвой», бездуховной действительностью, но и действительностью пассивной, не способной к саморазвитию и творческой активности; лишь под духовным воздействием извне и свыше она способна к воскрешению, преображению и обретению индивидуальности. Такое чисто духовное, аскетическое, индивидуалистическое (но не эгоисти-

---

* *Белый А.* Стихотворения и поэмы. С. 557.

ческое) мировосприятие Белого делало его поэму «Христос воскрес» художественно однозначной и однонаправленной, лишенной многих достоинств гениальной поэмы Блока «Двенадцать», с которой она пыталась соперничать.

Со стихотворением «Скифы», как бы второй частью поэтической дилогии Блока о «русском строе души» в революционную эпоху *, Белый прямо не вступал в соперничество: он не ответил на «Скифов», как на «Двенадцать», каким-либо своим художественным произведением и оценивал это стихотворение Блока (как ранее цикл «На поле Куликовом») только положительно. В письме Р. В. Иванову-Разумнику от 27 февраля 1918 года Белый отмечал: «Огромны «Скифы» Блока; а, признаться, его стихи «12» — уже слишком; с ними я не согласен» **. В дневниковых записях, которые Белый вел сразу же после смерти Блока, 16 августа 1921 года отмечено: «Р. В. (Иванов-Разумник.— *М. П.*) вчера мне сказал, что он «Скифы» любит более *«Двенадцати»*. Я — тоже» ***.

На самом же деле отношение Белого к «Скифам» Блока не было однозначным, точнее, отношение не к самому стихотворению, а к его основной проблеме — взаимоотношений России с Востоком и Западом. Свое понимание этой проблемы Белый изложил в «Серебряном голубе», «Петербурге», а позднее и в других прозаических произведениях ****. Вслед за Вл. Соловьевым, автором таких стихотворений, как «Панмонголизм» и «Дракон», диалога «Три разговора» и включенной в него «Краткой повести об антихристе», Белый видел в восточном, монгольском начале разрушительную стихию, которая в условиях современной западной цивилизации, позитивистской и рационалистической по своему характеру, а также в условиях современной России, все больше становящейся на этот же путь, превращается в мертвую регламентированность, бездуховность, застойность и косность. Деление на «Запад» и «Восток»

* См.: *Пьяных М.* «Русский строй души» в революционную эпоху: «Двенадцать» и «Скифы» А. Блока // В мире Блока: Сб. статей. М., 1981.

** Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. С. LVIII.

*** Литературное наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 798.

**** См.: *Воронский А.* Андрей Белый (Мраморный гром) // *Воронский А.* Искусство видеть мир. М., 1987; *Долгополов Л.* Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.

не в географическом, а в культурно-историческом и философском смысле, по мнению Белого, условно и неоднозначно по своему содержанию, оно стало выражением раскола между плотью и духом, головой и сердцем, культурой и цивилизацией, между разными народами и расами. В историко-философском трактате «Восток или Запад» (1916) он писал: «"Запада" на западе — нет. И точно так же: нет «востока» в востоке. *«Восток»* и *«Запад»* — треснувшие каркасы умершей культуры, из середины которой мы уже выходим в борениях нашей совести, в падении великолепных соборов ее, в мировой войне, в мировых безумиях, в революции, нас влекущей к Голгофе: завеса старого храма разодралась ныне надвое: на «восток» и на «запад»; за ней — мгла; за ней — возглас: «Ламма савваххвани».

Совершившееся раз с Одним — да совершится со всеми: мы примем Распятие, и потому-то мы знаем наверное, *что там ждет нас за мглой: и туда, за мглу, отвечаем мы на едва слышные вести оттуда:*

— "Воистину..."» *

Таким образом, выход из духовного тупика и раскола Белый видел в преодолении отрицательных сторон как «Запада», так и «Востока». «Преодоление «востока» и «запада» не в движении с «запада» на «восток»; ни обратно,— отмечал он в том же трактате.— Преодоление «запада» и «востока» в разбитии всех границ; в преодолении «стражей порогов» в свободу Христову» **.

Художественные воззрения Блока на взаимоотношения России с Востоком и Западом, какими они представлены в неоконченной поэме «Возмездие» и в стихотворении «Скифы», будучи генетически связанными с идеями Вл. Соловьева и находясь в соприкосновении с идеями Белого, вместе с тем в ряде моментов существенно отличаются от них. Это особенно видно на примере стихотворения «Скифы». Взяв эпиграфом к нему строки из стихотворения Соловьева «Панмонголизм»: «Панмонголизм! Хоть имя дико, // Но мне ласкает слух оно»,— Блок, однако, не во всем пошел за своим духовным учителем. Поэт, несомненно, разде-

---

* *Белый А.* Восток или Запад // Эпоха. Кн. первая. М., ⟨1918⟩. С. 169.

** Там же. С. 203.

лял опасения Соловьева относительно «панмонголизма», но вместе с тем отношение автора «Скифов» к восточной стихии было иным, более историчным. Для Соловьева нашествие пробудившихся, неисчислимых, как саранча, племен Востока являлось «орудием Божьей кары» * Европе и России за их разобщенность в делах христианской веры. В третьей части диалога «Три разговора», где приводится «Краткая повесть об антихристе» (эпиграфом к ней взято первое четверостишие из «Панмонголизма»), Соловьев в форме притчи рассказывает о том, как внутренние европейские распри, в том числе религиозные, привели не только к физической, но и к духовной победе восточных племен, а затем, после освобождения от них, и к появлению в Европе и во всем мире лже-Христа, антихриста, сверх-человека. Только обретение единства в делах христианской веры привело к гибели антихриста и второму пришествию истинного Христа **. И в стихотворении «Панмонголизм» говорится о том, как «рой пробудившихся племен» обрушивается на Русь:

О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

В «Скифах» Блок повторит трехчастную композицию «Трех разговоров» и сосредоточит в заключительной части, вслед за Вл. Соловьевым, внимание на возмездии с Востока. Однако в стихотворении Блока возмездие является не «божьей карой», а результатом агрессии воинственного Запада против «скифов», то есть против революционной России, которая из-за этой агрессии может перестать быть для него «щитом» от разрушительной восточной стихии. Далее, в отличие от Вл. Соловьева, у Блока нет и речи о необходимости подавления восточной стихии военной силой. Наоборот, поэт предостерегает агрессивный Запад не только от

---

* *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. (Далее стихи Соловьева приводятся по этому изданию.)

** См.: *Соловьев В. С.* Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 736—761.

войны со «скифами», разрушающей их как «щит», но и от страшных последствий возможного столкновения с «монгольской дикою ордою», понимаемой, конечно, не в прямом, а в метафорическом смысле. Между тем Вл. Соловьев в стихотворении «Дракон» (1900) приветствовал военные акции Германии в Китае, называя императора Вильгельма II именем героя древних немецких сказаний — Зигфридом, христовым воином, для которого «крест и меч — одно». Вряд ли Вл. Соловьев мог назвать русских, как Блок, «скифами», то есть сопричастными не только европейской, но и азиатской стихии, ибо для автора «Трех разговоров» русские есть европейцы, и если в них еще сохранился «азиатский осадок на дне души», то он не является сколько-нибудь существенным для них, и чем скорее они избавятся от него, тем лучше.

Следует обратить внимание и на различие в поэтическом строе «Скифов» и «Панмонголизма». Если строй «Панмонголизма» — это прежде всего строй инвективы, гневной и обличительной проповеди, то строй «Скифов» сочетает в себе инвективу с величием и торжественностью оды, воспевающей не брань, а братство, «светлый братский пир», «пир труда и мира». Неоднозначно отношение Блока и к восточной стихии, в которой он видел не только разрушительное начало — «монгольскую дикую орду» и «свирепых гуннов», но и начало, каким оно трансформировалось в «скифах»,— динамическое, волевое, чуткое к плоти живой жизни и к культуре Запада. Вместе с тем русскому поэту были чужды, быть может, в равной степени, и «отзвучавшая цивилизация» (VI, 111) старого мира, с ее агрессивностью, направленной на Восток, и дикая, «гуннская» стихия Азии.

Блок и Белый в своем поэтическом диалоге поставили вопрос о судьбах России и революции в широкий национальный и общечеловеческий контекст. Они связали размышления о судьбах России и революции не только с проблемой взаимоотношений Запада и Востока, остающейся остро актуальной и сегодня, но и с проблемой взаимосвязи между индивидуальными и общечеловеческими духовно-нравственными, эстетическими и социальными идеалами и ценностями.

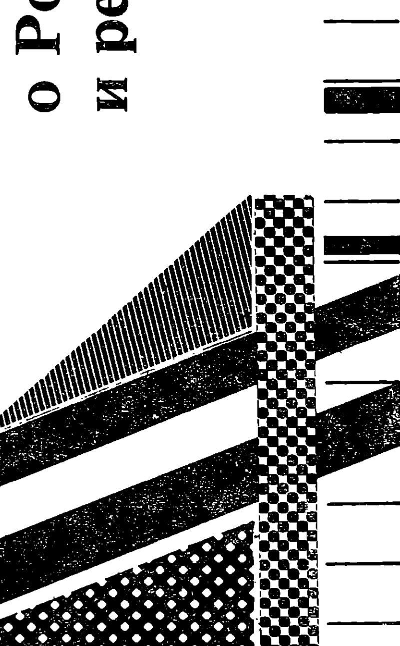
М. ПЬЯНЫХ

Александр
БЛОК

Андрей
БЕЛЫЙ

Диалог поэтов

о России и революции



Александр БЛОК

СТИХИ О РОССИИ

* * *

Там один и был цветок,
Ароматный, несравненный...

Жуковский

Я стремлюсь к роскошной воле,
Мчусь к прекрасной стороне,
Где в широком чистом поле
Хорошо, как в чудном сне.
Там цветут и клевер пышный,
И невинный василек,
Вечно шелест легкий слышно:
Колос клонит... Путь далек!
Есть одно лишь в океане,
Клонит лишь одно траву...
Ты не видишь там, в тумане,
Я увидел — и сорву!

7 августа 1898
(Дедо́во)

* * *

В ночи́, когда уснет тревога,
И город скроется во мгле —
О, сколько музыки у бога,
Какие звуки на земле!

Что́ буря жизни, если розы
Твои цветут мне и горят!
Что́ человеческие слезы,
Когда румянится закат!

Прими, Владычица вселенной,
Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба —

Последней страсти кубок пенный
От недостойного раба!

Сентябрь (?) 1898
(2 июня 1919)

* * *

Ночной туман застал меня в дороге.
Сквозь чащу леса глянул лунный лик.
Усталый конь копытом бил в тревоге —
Спокойный днем, он к ночи не привык.
Угрюмый, неподвижный, полусонный
Знакомый лес был страшен для меня,
И я в просвет, луной осеребренный,
Направил шаг храпящего коня.
Туман болотный стелется равниной,
Но церковь серебрится на холме.
Там — за холмом, за рощей, за долиной —
Мой дом родной скрывается во тьме.
Усталый конь быстрее скачет к цели,
В чужом селе мерцают огоньки.
По сторонам дороги заалели
Костры пастушьи, точно маяки.

10 февраля 1899
(Июль 1916)

Гамаюн, птица вещая

(Картина В. Васнецова)

На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

23 февраля 1899

Сирин и Алконост

Птицы радости и печали

Густых кудрей откинув волны,
Закинув голову назад,
Бросает Сирин счастья полный,
Блаженств нездешних полный взгляд.
И, затаив в груди дыханье,
Перистый стан лучам открыв,
Вдыхает все благоуханье,
Весны неведомой прилив...
И нега мощного усилья
Слезой туманит блеск очей...
Вот, вот, сейчас распустит крылья
И улетит в снопах лучей!

Другая — вся печалью мощной
Истощена, изнурена...
Тоской вседневной и всенощной
Вся грудь высокая полна...
Напев звучит глубоким стоном,
В груди рыданье залегло,
И над ее ветвистым троном
Нависло черное крыло...
Вдали — багровые зарницы,
Небес померкла бирюза...
И с окровавленной ресницы
Катится тяжкая слеза...

23—25 февраля 1899

* * *

Когда я был ребенком,— лес ночной
Внушал мне страх; до боли я боялся
Ночных равнин, болот, одетых белой мглой,
Когда мой конь усталый спотыкался.

Теперь — прошло немного лет с тех пор,
И жизнь сломила дух; я пережил довольно;
Когда опять въезжаю в темный бор
Ночной порой — мне радостно и больно.

18 июня 1899

Накануне Иванова дня...

Накануне Иванова дня
Собирал я душистые травы,
И почуял, что нежит меня
Ароматом душевной отравы.
Я собрал полевые цветы
И росистые травы ночные
И на сон навеваю мечты,
И проходят они, голубые...
В тех мечтаньях ночных я узнал
Недалекую с милой разлуку,
И как будто во сне целовал
Я горячую нежную руку...
И катилися слезы мои,
Дорогая меня обнимала,
Я проснулся в слезах от любви
И почуял, как сердце стучало...

С этих пор не заманишь меня
Ароматом душевной отравы,
Не сберу я душистые травы
Накануне Иванова дня...

24 июня 1899
Иванов день

* * *

Вы, бедные, нагие несчастливцы.

Лир

О, как безумно за окном
Ревет, бушует буря злая,
Несутся тучи, льют дождем,
И ветер воет, замирая!
Ужасна ночь! В такую ночь
Мне жаль людей, лишенных крова,
И сожаленье гонит прочь —
В объятья холода сырого!..
Бороться с мраком и дождем,
Страдальцев участь разделяя...
О, как безумно за окном
Бушует ветер, изнывая!

24 августа 1899

Осенняя элегия

I

Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно крути́тся желтый лист,
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист —
Душа не избежит невидимого тленья.

Так, каждый день старается она,
И каждый год, как желтый лист кружится,
Все кажется, и помнится, и мнится,
Что осень прошлых лет была не так грустна.

II

Как мимолетна тень осенних ранних дней,
Как хочется сдержать их раннюю тревогу,
И этот желтый лист, упавший на дорогу,
И этот чистый день, исполненный теней,—

Затем, что тени дня — избытки красоты,
Затем, что эти дни спокойного волненья
Несут, дарят последним вдохновеньем
Избыток отлетающей мечты.

5 января 1900

* * *

Ветер принес издалёка
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои,
Ветер принес издалёка
Звучные песни твои.

29 января 1901
(1907)

* * *

Душа молчит. В холодном небе
Все те же звезды ей горят.
Кругом о злате иль о хлебе
Народы шумные кричат...
Она молчит,— и внемлет крикам
И зрит далекие миры,
Но в одиночестве двуликом
Готовит чудные дары,
Дары своим богам готовит
И, умащенная, в тиши,
Неустающим слухом ловит
Далекий зов другой души...

Так — белых птиц над океаном
Неразлученные сердца
Звучат призывом за туманом,
Понятным им лишь до конца.

3 февраля 1901

* * *

Встану я в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?

Настежь ворота тяжелые!
Ветром пахнуло в окно!
Песни такие веселые
Не раздавались давно!

С ними и в утро туманное
Солнце и ветер в лицо!
С ними подруга желанная
Всходит ко мне на крыльцо!

3 октября 1901

* * *

Золотистою долиной
Ты уходишь, нем и дик.
Тает в небе журавлиный
Удаляющийся крик.

Замер, кажется, в зените
Грустный голос, долгий звук.
Бесконечно тянет нити
Торжествующий паук.

Сквозь прозрачные волокна
Солнце, света не тая,
Праздно бьет в слепые окна
Опустелого жилья.

За нарядные одежды
Осень солнцу отдала
Улетевшие надежды
Вдохновенного тепла.

29 августа 1902

* * *

Несбыточное грезится опять.

Фет

Еще бледные зори на небе.
Далеко запевает петух.
На полях в созревающем хлебе
Червячок засветил и потух.

Потемнели ольховые ветки,
За рекой огонек замигал.
Сквозь туман чародейный и редкий
Невидимкой табун проскакал.

Я печальными еду полями,
Повторяю печальный напев.
Невозможные сны за плечами
Исчезают, душой овладев.

Я шепчу и слагаю созвучья —
Небывалое в думах моих.
И качаются серые сучья,
Словно руки и лица у них.

17 ноября 1902
(1918)

* * *

Мне снились веселые думы.
Мне снилось, что я не один...
Под утро проснулся от шума
И треска несущихся льдин.

Я думал о сбывшемся чуде...
А там, наточив топоры,
Веселые красные люди,
Смеясь, разводили костры:

Смолили тяжелые челны...
Река, распевая, несла
И синие льдины, и волны,
И тонкий обломок весла...

Пьяна от веселого шума,
Душа небывалым полна...
Со мною — весенняя дума,
Я знаю, что Ты не одна...

11 марта 1903

Фабрика

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят нá спины кули.
И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

24 ноября 1903

Из газет

Встала в сияньи. Крестила детей
И дети увидели радостный сон.
Положила, до полу клонясь головой,
Последний земной поклон.

Коля проснулся. Радостно вздохнул,
Голубому сну еще рад наяву.
Прокатился и замер стеклянный гул:
Звенящая дверь хлопнула внизу.

Прошли часы. Приходил человек
С оловянной бляхой на теплой шапке,
Стучал и дожидался у двери человек,
Никто не открыл. Играли в прятки.

Были веселые морозные Святки.

Прятали мамин красный платок.
В платке уходила она по утрам.
Сегодня оставила дома платок:
Дети прятали его по углам.

Подкрались сумерки. Детские тени
Запрыгали на стене при свете фонарей.
Кто-то шел по лестнице, считая ступени.
Сосчитал. И заплакал. И постучал у дверей.

Дети прислушались. Отворили двери.
Толстая соседка принесла им щей.
Сказала: «Кушайте». Встала на колени
И, кланяясь, как мама, крестила детей.

Мамочке не больно, розовые детки.
Мамочка сама на рельсы легла.
Доброму человеку, толстой соседке,
Спасибо, спасибо. Мама не могла...

Мамочке хорошо. Мама умерла.

27 декабря 1903

Петр

Евг. Иванову

Он спит, пока закат румян.
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится Змей, копытом сжатый.

Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами,
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.

Зажгутся нити фонарей,
Блеснут витрины и троттуары.
В мерцаньи тусклых площадей
Потянутся рядами пары.

Плащами всех укроет мгла,
Потонет взгляд в манящем взгляде.
Пускай невинность из угла
Протяжно молит о пощаде!

Там, на скале, веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь
Фонарь манящий облачила!

Бегите все на зов! на лов!
На перекрестки улиц лунных!
Весь город полон голосов
Мужских — крикливых, женских — струнных!

Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.

22 февраля 1904

■

Поединок

Дни и ночи я безволен,
Жду чудес, дремлю без сна.
В песнях дальних колоколен
Пробуждается весна.

Чутко веет над столицей
Угнетенного Петра.
Вечерница льнет к деннице,
Несказáнней вечера.

И зарей — очам усталым
Предстоит, озарена,
За прозрачным покрывалом
Лучезарная Жена...

Вдруг летит с отвагой ратной —
В бранном шлеме голова —
Ясный, Кроткий, Златолатный,
Кем возвысилась Москва!

Ангел, Мученик, Посланец
Поднял звонкую трубу...
Слышу кóней тяжкий танец,
Вижу смертную борьбу...

Светлый Муж ударил Деда!
Белый — черного коня!..
Пусть последняя победа
Довершится без меня!..

Я бегу на воздух вольный,
Жаром битвы утомлен...
Бейся, колокол раздольный,
Разглашай весенний звон!

Чуждый спорам, верный взорам
Девы алых вечеров,
Я опять иду дозором
В тень узорных теремов:

Не мелькнет ли луч в светлице?
Не зажгутся ль терема?

Не сойдет ли от божницы
Лучезарная Сама?

22 февраля 1904

* * *

Дали слепы, дни безгневны,
Сомкнуты уста.
В непробудном сне царевны,
Синева пуста.

Были дни — над теремами
Пламенел закат.
Нежно-белыми словами
Кликал брата брат.

Брата брат из дальних келий
Извещал: «Хвала!»
Где-то голуби звенели,
Расплескав крыла.

С золотистых ульев пчелы
Приносили мед.
Наполнял весельем долы
Праздничный народ.

В пестрых бусах, в алых лентах
Девушки цвели...
Кто там скачет в позументах
В голубой пыли?

Всадник в битвенном наряде,
В золотой парче,
Светлых кудрей бьются пряди,
Искры на мече,

Белый конь, как цвет вишневый...
Блещут стремена...
На кафтан его парчовый
Пролилась весна.

Пролилась — он сгинет в тучах,
Вспыхнет за холмом.
На зеленых встанет кручах
В блеске заревом,

Где-то перьями промашет,
Крикнет: «Берегись!»
На коне селом пропляшет,
К ночи канет ввысь...

Ночью девушкам приснится,
Прилетит из туч
Конь — мгновенная зарница,
Всадник — беглый луч...

И, как луч, пройдет в прохладу
Узкого окна,
И Царевна, гостю рада,
Встанет с ложа сна...

Или, в злые дни ненастий,
Глянет в сонный пруд,
И его, дрожа от страсти,
Руки заплетут.

И потом обманут — вскинут
Руки к серебру,
Рыбьим плёсом отодвинут
В струйную игру...

И душа, летя на север
Золотой пчелой,
В алый сон, в медовый клевер
Ляжет на покой...

И опять в венках и росах
Запоет мечта,
Засверкает на откосах
Золото щита,

И поднимет щит девица,
И опять вдали
Всадник встанет, конь вздыбится
В голубой пыли...

Будут вёсны в вечной смене
И падений гнет.
Вихрь, исполненный видений, —
Голубиный лет...

Что́ мгновенные бессилья?
Время — легкий дым...

Мы опять расплещем крылья,
Снова отлетим!

И опять, в безумной смене
Рассекая твердь,
Встретим новый вихрь видений,
Встретим жизнь и смерть!

22 апреля — 20 мая 1904

* * *

Вечность бросила в город
Оловянный закат.
Край небесный распорот,
Переулки гудят.

Всё бессилье гаданья
У меня на плечах.
В окнах фабрик — преданья
О разгульных ночах.

Оловянные кровли —
Всем безумным приют.
В этот город торговли
Небеса не сойдут.

Этот воздух так гулок,
Так заманчив обман.
Уводи, переулок,
В дымно-сизый туман.

26 июня 1904

* * *

Город в красные пределы
Мертвый лик свой обратил,
Серо-каменное тело
Кровью солнца окатил.

Стены фабрик, стекла окон,
Грязно-рыжее пальто,
Развевающийся локон —
Все закатом залито.

Блещут искристые гривы
Золотых, как жар, коней,
Мчатся бешеные дива
Жадных облачных грудей,

Красный дворник плещет ведра
С пьяно-алою водой,
Пляшут огненные бедра
Проститутки площадной,

И на башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык.

28 июня 1904
(1915)

* * *

Поднимались из тьмы погребов.
Уходили их головы в плечи.
Тихо выросли шумы шагов,
Словеса незнакомых наречий.

Скоро прибыли то́лпы других,
Волочили кирки и лопаты.
Расползлись по камням мостовых,
Из земли воздвигали палаты.

Встала улица, серым полна,
Заткалась паутинною пряжей.
Шелестя, прибывала волна,
Затрудняя проток экипажей.

Скоро день глубоко отступил,
В небе дальнем расставивший зори.
А незримый поток шелестил,
Проливаясь в наш город, как в море.

Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые люди!
В тех же муках рождала их мать,
Так же нежно кормила у груди...

В пелене отходящего дня
Нам была эта участь понятна...
Нам последний закат из огня
Сочетал и соткал свои пятна.

Не стерег исступленный дракон,
Не пылала под ними геенна.
Затопили нас волны времен,
И была наша участь — мгновенна.

10 сентября 1904

Моей матери

Помнишь думы? Они улетели.
Отцвели завитки гиацинта.
Мы провидели светлые цели
В отдаленных краях лабиринта.

Нам казалось: мы кратко блуждали.
Нет, мы прожили долгие жизни...
Возвратились — и нас не узнали,
И не встретили в милой отчизне.

И никто не спросил о Планете,
Где мы близились к юности вечной...
Пусть погибнут безумные дети
За стезей ослепительно млечной!

Но в бесцельном, быть может, круженьи —
Были мы, как избранники нищи.
И теперь возвратились в сомненьи
В дорогое, родное жилище...

Так. Не жди изменений бесцельных,
Не смущайся забвеньем. Не числи.
Пусть к тебе — о краях запредельных
Не придут и спокойные мысли.

Но, прекрасному прошлому радо, —
Пусть о будущем сердце не плачет.
Тихо ведаю: будет награда:
Ослепительный Всадник прискачет.

4 декабря 1904

■

Голос в тучах

Нас море примчало к земле одичалой,
В убогие кровы, к недолгому сну,
А ветер крепчал, и над морем звучало,
И было тревожно смотреть в глубину.

Больным и усталым — нам было завидно,
Что где-то в морях веселилась гроза,
А ночь, как блудница, смотрела бесстыдно
На темные лица, в больные глаза.

Мы с ветром боролись и, брови нахмуря,
Во мраке с трудом различали тропу...
И вот, как посол нарастающей бури,
Пророческий голос ударил в толпу.

Мгновенным зигзагом на каменной круче
Торжественный профиль нам брызнул в глаза,
И в ясном разрыве испуганной тучи
Веселую песню запела гроза:

«Печальные люди, усталые люди,
Проснитесь, узнайте, что радость близка!
Туда, где моря запевают о чуде,
Туда направляется свет маяка!

Он рыщет, он ищет веселых открытий
И зорким лучом стережет буруны,
И с часу на час ожидает прибытий
Больших кораблей из далекой страны!

Смотрите, как ширятся полосы света,
Как радостен бег закипающих пен!
Как море ликует! Вы слышите — где-то —
За ночью, за бурей — взыванье сирен!»

Казалось, вверху разметались одежды,
Гремящую даль осенила рука...
И мы пробуждались для новой надежды,
Мы знали: нежданная Радость близка!..

А там — горизонт разбудили зарницы,
Как будто пылали вдали города,

И к порту всю ночь, как багряные птицы,
Летели, шипя и свистя, поезда.

Гудел океан, и лохмотьями пены
Швырялись моря на стволы маяков.
Протяжной мольбой завывали сирены:
Там буря настигла суда рыбаков.

16 декабря 1904

* * *

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в молву.

Были улицы пьяны от криков.
Были солнца в сверканьи витрин.
Красота этих женственных ликов!
Эти гордые взоры мужчин!

Это были цари — не скитальцы!
Я спросил старика у стены:
«Ты украсил их тонкие пальцы
Жемчугами несметной цены?

Ты им дал разноцветные шубки?
Ты зажег их снопами лучей?
Ты раскрасил пунцовые губки,
Синеватые дуги бровей?»

Но старик ничего не ответил,
Отходя за толпою мечтать.
Я остался, таинственно светел,
Эту музыку блеска впивать...

А они проходили все мимо,
Смутно каждая в сердце тая,
Чтоб навеки, ни с кем не сравнимой,
Отлететь в голубые края.

И мелькала за парою пара...
Ждал я светлого ангела к нам,
Чтобы здесь, в ликованьи троттуара,
Он одну приобщил небесам...

А вверху — на уступе опасном, —
Тихо съежившись, карлик приник...
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.

Декабрь 1904

* * *

Барка жизни встала
На большой мели.
Громкий крик рабочих
Слышен издали.
Песни и тревога
На пустой реке,
Входит кто-то сильный
В сером ярмяке.
Руль дощатый сдвинул,
Парус распустил
И багор закинул,
Грудью надавил.
Тихо повернулась
Красная корма,
Побежали мимо
Пестрые дома.
Вот они далеко,
Весело плывут.
Только нас с собою,
Верно, не возьмут!

Декабрь 1904

* * *

Шли на приступ. Прямо в грудь
Штык наточенный направлен.
Кто-то крикнул: «Будь прославлен!»
Кто-то шепчет: «Не забудь!»

Рядом пал, всплеснув руками,
И над ним сомкнулась рать.
Кто-то бьется под ногами,
Кто — не время вспоминать...

Только в памяти веселой
Где-то вспыхнула свеча.
И прошли, стопой тяжелой
Тело теплое топча...

Ведь никто не встретит старость —
Смерть летит из уст в уста...
Высоко пылает ярость,
Даль кровавая пуста...

Что же! громче будет скрежет,
Слаще боль и ярче смерть!
И потом — земля разнежит
Перепуганную твердь.

Январь 1905



Повесть

Г. Чулкову

В окнах, занавешенных сетью мокрой пыли,
Темный профиль женщины наклонился вниз.
Серые прохожие усердно проносили
Груз вечерних сплетен, усталых стертых лиц.

Прямо перед окнами — светлый и упорный —
Каждому прохожему бросал лучи фонарь.
И в дождливой сети — не белой, не черной —
Каждый скрывался — не молод и не стар.

Были как виденья неживой столицы —
Случайно, нечаянно вступающие в луч.
Исчезали спины, возникали лица,
Робкие, покорные унынью низких туч.

И — нежданно резко — раздались проклятья,
Будто рассекая полосу дождя:
С головой открытой — кто-то в красном платье
Поднимал на воздух малое дитя...

Светлый и упорный, луч упал бессменный —
И мгновенно женщина, ночных веселий дочь,
Бешено ударилась головой о стену,
С криком исступленья, уронив ребенка в ночь...

И столпились серые виденья мокрой скуки.
Кто-то громко ахал, качая головой.
А она лежала на спине, раскинув руки,
В грязно-красном платье, на кровавой мостовой.

Но из глаз открытых — взор упорно-дерзкий
Все искал кого-то в верхних этажах...
И нашел — и встретился в окне у занавески
С взором темной женщины в узорных кружевах.

Встретились и замерли в беззвучном вопле взоры,
И мгновенье длилось... Улица ждала...
Но через мгновенье наверху упали шторы,
А внизу — в глазах открытых — сила умерла...

Умерла — и вновь в дождливой сети тонкой
Зычные, нестройные звучали голоса.
Кто-то поднял на руки кричащего ребенка
И, крестясь, украдкой утирал глаза...

Но вверху сомнительно молчали стекла окон.
Плотно-белый занавес пустел в сетях дождя.
Кто-то гладил бережно ребенку мокрый локон.
Уходил тихонько. И плакал, уходя.

Январь 1905

Вступление

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну.
Если все мольбы отзвенели,
Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире —
Уж не мне глаза разомкнуть.
Дай вздохнуть в этом сонном мире,
Целовать излученный путь...

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой Рукой!

16 апреля 1905

* * *

На перекрестке,
Где даль поставила,
В печальном весельи встречаю весну.

На земле еще жесткой
Пробивается первая травка.
И в кружеве березки —
Далёко — глубóко —
Лиловые скаты оврага.

Она взманила,
Земля пустынная!

На западе, рдея от холода,
Солнце — как медный шлем воина,
Обращенного ликом печальным
К иным горизонтам,
К иным временам...

И шишак — золотое облако —
Тянет ввысь белыми перьями
Над дерзкой красою
Лохмотий вечерних моих!

И жалкие крылья мои —
Крылья вороньего пугала —
Пламенеют, как солнечный шлем,
Отблеском вечера...
Отблеском счастия...

И кресты — и далекие окна —
И вершины зубчатого леса —
Все дышит ленивым
И белым размером
Весны.

5 мая 1904

Болотные чертенятки

А. М. Ремизову

Я прогнал тебя кнутом
В полдень сквозь кусты,
Чтоб дождаться здесь вдвоем
Тихой пустоты.

Вот — сидим с тобой на мху
Посреди болот.
Третий — месяц наверху —
Искривил свой рот.

Я, как ты, дитя дубрав,
Лик мой также стерт.
Тише вод и ниже трав —
Захудалый чорт.

На дурацком колпаке
Бубенец разлук.
За плечами — вдалеке —
Сеть речных излук...

И сидим мы, дурачки, —
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Зачумлённый сон воды,
Ржавчина волны...
Мы — забытые следы
Чьей-то глубины...

Январь 1905

* * *

На весеннем пути в теремок
Перелетный вспорхнул ветерок,
Прозвенел золотой голосок.

Постояла она у крыльца,
Поискала дверного кольца,
И поднять не посмела лица.

И ушла в синеватую даль,
Где дымилась весенняя таль,
Где кружилась над лесом печаль.

Там — в березовом дальнем кругу —
Старикашка сгибал из березы дугу
И приметил ее на лугу.

Закричал и запрыгал на пне:
«Ты, красавица, верно, ко мне!
Стосковалась в своей тишине!»

За корявые пальцы взялась,
С бородою зеленой сплелась
И с туманом лесным поднялась.

Так тоскуют они об одном,
Так летают они вечерком,
Так венчалась весна с колдуном.

24 апреля 1905

* * *

Полюби эту вечность болот:
Никогда не иссякнет их мощь.
Этот злак, что сгорел,— не умрет.
Этот куст — без истления — тощ.

Эти ржавые кочки и пни
Знают твой отдыхающий плен.
Неизменно предвечны они,—
Ты пред Вечностью полон измен.

Одинокая участь светла.
Безначальная доля свята.
Эта Вечность Сама снизошла
И навеки замкнула уста.

3 июня 1905

* * *

Болото — глубокая впадина
Огромного ока земли.
Он плакал так долго,
Что в слезах изошло его око

И чахлой травой поросло.
Но сквозь травы и злаки
И белый пух смеженных ресниц —
Пробегает зеленая искра,
Чтобы снова погаснуть в болоте.
И тогда говорят в деревнях
Неизвестно откуда пришедшие
Колдуны и косматые ведьмы:
«Это шутит над вами болото.
Это манит вас темная сила».
И когда они так говорят,
Старики осеняются знаменьем крестным,
Пожилые — смеются,
А у девушек — ясно видны
За плечами белые крылья.

Июнь 1905

* * *

Осень поздняя. Небо открытое,
И леса сквозят тишиной.
Прилегла на берег размытый
Голова русалки больной.

Низко ходят туманные полосы,
Пронизали тень камыша.
На зеленые длинные волосы
Упадают листы, шурша.

И опушками отдаленными
Месяц ходит с легким хрустом и глядит,
Но запутана узлами зелеными,
Не дышит она и не спит.

Бездыханный покой очарован.
Несказанная боль улеглась.
И над миром, холодом скован,
Пролился звонко-синий час.

Август 1905

■

Пляски осенние

Волновать меня снова и снова —
В этом тайная воля твоя,
Радость ждет сокровенного слова,
И уж ткань золотая готова,
Чтоб душа засмеялась моя.

Улыбается осень сквозь слезы,
В небеса улетает мольба,
И за кружевом тонкой березы
Золотая запела труба.

Так волнуют прозрачные звуки,
Будто милый твой голос звенит,
Но молчишь ты, поднявшая руки,
Устремившая руки в зенит.

И округлые руки трепещут,
С белых плеч ниспадают струи,
За тобой в хороводах расплещут
Осенницы одежды свои.

Осененная реющей влагой,
Распустила ты пряди волос.
Хороводов твоих по оврагу
Золотое кольцо развилось.

Очарованный музыкой влаги,
Не могу я не петь, не плясать,
И не могут луга и овраги
Под стопою твоей не сгорать.

С нами, к нам — легкокрылая младость,
Нам воздушная участь дана...
И откуда приходит к нам Радость,
И откуда плывет Тишина?

Тишина умирающих злаков —
Это светлая в мире пора:
Сон, заветных исполненный знаков,
Что сегодня пройдет, как вчера,

Что полеты времен и желаний —
Только всплески девических рук —

На земле, на зеленой поляне,
Неразлучный и радостный круг.

И безбурное солнце не будет
Нарушать и гневить Тишину,
И лесная трава не забудет,
Никогда не забудет весну.

И снежинки по склонам оврага
Заметут, заровняют края,
Там, где им заповедала влага,
Там, где пляска, где воля твоя.

1 октября 1905
(Лесной)

* * *

Я вам поведал неземное.
Я все сковал в воздушной мгле.
В ладье — топор. В мечте — герои.
Так я причаливал к земле.

Скамья ладьи красна от крови
Моей растерзанной мечты,
Но в каждом доме, в каждом крове
Ищу отважной красоты.

Я вижу: ваши девы слепы,
У юношей безогнен взор.
Назад! Во мглу! В глухие склепы!
Вам нужен бич, а не топор!

И скоро я расстанусь с вами,
И вы увидите меня
Вон там, за дымными горами,
Летящим в облаке огня!

16 апреля 1905

* * *

В туманах, над сверканьем рос,
Безжалостный, святой и мудрый,
Я в старом парке дедов рос,
И солнце золотило кудри.

Не погасил лесной пожар,
Но, гарью солнечной влекомый,
Стрелой бросался я в угар,
Целуя воздух незнакомый.

И проходили сонмы лиц,
Всегда чужих и вечно взрослых,
Но я люблю взлетанье птиц,
И лодку, и на лодке весла.

Я уплывал один в затон
Бездонной заводи и мутной,
Где утлый остров окружен
Стеною ельника уютной.

И там в развесистую ель
Я доску клал и с нею реял,
И таяла моя качель,
И сонный ветер тихо веял.

И было как на Рождестве,
Когда игра давалась даром,
А жизнь всходила синим паром
К сусально-звездной синеве.

Июль 1905

Осенняя воля

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званый,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Июль 1905
Рогачевское шоссе

■

Моей матери

Тихо. И будет всё тише.
Флаг бесполезный опущен.
Только флюгарка на крыше
Сладко поет о грядущем.

Ветром в полнебе раскинут,
Дымом и солнцем взволнован,
Бедный пастух очарован,
В синюю глубь опрокинут.

В круге окна слухового
Лик мой, как нимбом украшен.
Профиль лица воскового
Правилен, прост и нестрашен.

Смолы пахучие жарки,
Дали извечно туманны...
Сладки мне песни флюгарки:
Пой, петушок оловянный!

Июль 1905

* * *

Евгению Иванову

Вот он — Христос — в цепях и розах
За решеткой моей тюрьмы.
Вот агнец кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо.
Но лик и синее небо — одно.

Единый, светлый, немного грустный —
За ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.

И всё так близко и так далёко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам как стезя...

Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.

10 октября 1905

* * *

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,— плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Август 1905

Митинг

Он говорил умно и резко,
И тусклые зрачки
Метали прямо и без блеска
Слепые огоньки.

А снизу устремлялись взоры
От многих тысяч глаз,
И он не чувствовал, что скоро
Пробьет последний час.

Его движенья были верны.
И голос был суров,
И борода качалась мерно
В такт запыленных слов.

И серый, как ночные своды,
Он знал всему предел.
Цепями тягостной свободы
Уверенно гремел.

Но те, внизу, не понимали
Ни чисел, ни имен,
И знаком долга и печали
Никто не заклеймен.

И тихий ропот поднял руку,
И дрогнули огни.
Пронесся шум, подобный звуку
Упавшей головни.

Как будто свет из мрака брызнул,
Как будто был намек...
Толпа проснулась. Дико взвизгнул
Пронзительный свисток.

И в звоны стекол перебитых
Ворвался стон глухой,

И человек упал на плиты
    С разбитой головой.

Не знаю, кто ударом камня
    Убил его в толпе,
И струйка крови, помню ясно,
    Осталась на столбе.

Еще свистки ломали воздух,
    И крик еще стоял,
А он уж лег на вечный отдых
    У входа в шумный зал...

Но огонек блеснул у входа...
    Другие огоньки...
И звонко брякнули у свода
    Взведенные курки.

И промелькнуло в беглом свете,
    Как человек лежал,
И как солдат ружье над мертвым
    Наперевес держал.

Черты лица бледней казались
    От черной бороды,
Солдаты, молча, собирались
    И строились в ряды.

И в тишине, внезапно вставшей,
    Был светел круг лица,
Был тихий ангел пролетавший,
    И радость — без конца.

И были строги и спокойны
    Открытые зрачки,
Над ними вытянулись стройно
    Блестящие штыки.

Как будто, спрятанный у входа
    За черной пастью дул,
Ночным дыханием свободы
    Уверенно вздохнул.

10 октября 1905

* * *

Вися над городом всемирным,
В пыли прошедшей заточен,
Еще монарха в утре лирном
Самодержавный клонит сон.

И предок царственно-чугунный
Всё так же бредит на змее,
И голос черни многострунный
Еще не властен на Неве.

Уже на до́мах веют флаги,
Готовы новые птенцы,
Но тихи струи невской влаги,
И слепы темные дворцы.

И если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен
Сверкнувших колец чешуи.

18 октября 1905

* * *

Еще прекрасно серое небо,
Еще безнадежна серая даль.
Еще несчастных, просящих хлеба,
Никому не жаль, никому не жаль!

И над заливами голос черни
Пропал, развеялся в невском сне.
И дикие вопли: «Свергни! О, свергни!»
Не будят жалости в сонной волне...

И в небе сером холодные светы
Одели Зимний дворец царя,
И латник в черном не даст ответа,
Пока не застигнет его заря.

Тогда, алея над водной бездной,
Пусть он угрюмей опустит меч,
Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь...

18 октября 1905

* * *

Ты проходишь без улыбки,
Опустившая ресницы,
И во мраке над собором
Золотятся купола.

Как лицо твое похоже
На вечерних богородиц,
Опускающих ресницы,
Пропадающих во мгле...

Но с тобой идет кудрявый
Кроткий мальчик в белой шапке,
Ты ведешь его за ручку,
Не даешь ему упасть.

Я стою в тени портала,
Там, где дует резкий ветер,
Застилающий слезами
Напряженные глаза.

Я хочу внезапно выйти
И воскликнуть: «Богоматерь!
Для чего в мой черный город
Ты младенца привела?»

Но язык бессилен крикнуть.
Ты проходишь. За тобою
Над священными следами
Почивает синий мрак.

И смотрю я, вспоминая,
Как опущены ресницы,
Как твой мальчик в белой шапке
Улыбнулся на тебя.

29 октября 1905

* * *

Прискакала дикой степью
На вспененном скакуне.
«Долго ль будешь лязгать цепью?
Выходи плясать ко мне!»

Рукавом в окно мне машет,
Красным криком зажжена,

Так и манит, так и пляшет,
И ласкает скакуна.

«А, не хочешь! Ну, так с богом!»
Пыль клубами завилась...
По тропам и по дорогам
В чистом поле понеслась...

Не меня ты любишь, Млада,
Дикой вольности сестра!
Любишь краденые клады,
Полуночный свист костра!

И в степях, среди тумана,
Ты страшна своей красой —
Разметавшейся у стана
Рыжей спутанной косой.

31 октября 1905

Сытые

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

И вот — в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных —
Свет электрический потух.

К чему-то вносят, ставят свечи,
На лицах — желтые круги,
Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.

Так — негодует всё, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,

И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

Пусть доживут свой век привычно —
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям — неприлично
Их старой скуке подражать.

10 ноября 1905

* * *

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело —
Сонноокая прошла.

Проплыла она — и стала,
Незаметная, близка.
И опять нам, как бывало,
Ноша тяжкая легка.

Меж двумя стенами бора
Редкий падает снежок.
Перед нами — семафора
Зеленеет огонек.

Небо — в зареве лиловом,
Свет лиловый на снегах,
Словно мы — в пространстве новом,
Словно — в новых временах.

Одиноко вскрикнет птица,
Отряхнув крылами ель,
И засыплет нам ресницы
Белоснежная метель...

Издали́ — локомотива
Поступь тяжкая слышна...
Скоро Финского залива
Нам откроется страна.

Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,
И какие гаснут зори
За грядою камыша.

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре
И тихонько перескажем
Все, что видели, сестре...

Кончим. Тихо встанет с кресел,
Молчалива и строга.
Скажет каждому: «Будь весел.
За окном лежат снега».

13 января 1906
(Ланская)



Незнакомка

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирён и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» * кричат.

* «Истина в вине!» (*лат.*).

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906
Озерки



Ангел-Хранитель

Люблю тебя, Ангел-Хранитель, во мгле,
Во мгле, что со мною всегда на земле.

За то, что ты светлой невестой была,
За то, что ты тайну мою отняла.

За то, что связала нас тайна и ночь,
Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.

За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы — муж и жена!

За цепи мои и заклятья твои.
За то, что над нами проклятье семьи.

За то, что не любишь того, что люблю.
За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить,
За то, что хочу и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных в тюрьму,
Кто долго не верил огню моему.

Кто хочет за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня...

За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколенье рабов,

И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа...

Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.

Что огнем сожжено и свинцом залито —
Того разорвать не посмеет никто!

С тобою смотрел я на эту зарю —
С тобой в эту черную бездну смотрю.

И двойственно нам приказанье судьбы:
Мы вольные души! Мы злые рабы!

Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!
Огонь или тьма — впереди?

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?
Вдвоем — неразрывно — навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

17 августа 1906

Деве-Революции

О, Дева, иду за тобой —
И страшно ль идти за тобой
Влюбленному в душу свою,
Влюбленному в тело свое?

19 августа 1906
Малиновая гора

Русь

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.

Где ведуны́ с ворожея́ми
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга
До крыши — утлое жилье,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвее.

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...

Так — я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,

И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную
Я до погоста протоптал,
И там, на кладбище ночуя,
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах, ты,
И вот — она не запятнала
Первоначальной чистоты.

Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне почивает Русь,
Она и в снах необычайна.
Ее одежды не коснусь.

24 сентября 1906

* * *

Предвечернею порою
Сходил я в сумерки с горы,
И вот передо мной — за мглою —
Черты печальные сестры.

Она идет неслышным шагом.
За нею шевелится мгла,
И по долинам, по оврагам
Вздыхают груди без числа.

«Сестра, откуда в дождь и холод
Идешь с печальною толпой,
Кого бичами выгнал голод
В могилы жизни кочевой?»

Вот подошла, остановилась
И факел подняла во мгле,
И тихим светом озарилось
Все, что незримо на земле.

И там, в канавах придорожных,
Я, содрогаясь, разглядел
Черты мучений невозможных
И корчи ослабевших тел.

И вновь опущен факел душный,
И, улыбаясь мне, прошла —
Такой же дымной и воздушной,
Как окружающая мгла.

Но я запомнил эти лица
И тишину пустых орбит,
И обреченных вереница
Передо мной всегда стоит.

Сентябрь 1906

■

Холодный день

Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,
Но вот зловонными дворами
Пошли к проклятью и труду.

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине.

И вот пошли туда, где будем
Мы жить под низким потолком,
Где прокляли друг друга люди,
Убитые своим трудом.

Стараясь не запачкать платья,
Ты шла меж спящих на полу;
Но самый сон их был проклятье,
Вон там — в заплеванном углу...

Ты обернулась, заглянула
Доверчиво в мои глаза...
И на щеке моей блеснула,
Скатилась пьяная слеза.

Нет! Счастье — праздная забота,
Ведь молодость давно прошла.

Нам скоротает век работа,
Мне — молоток, тебе — игла.

Сиди, да шей, смотри в окошко,
Людей повсюду гонит труд,
А те, кому трудней немножко,
Те песни длинные поют.

Я близ тебя работать стану,
Авось, ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
Топя отчаянье в вине.

Сентябрь 1906



Сын и мать

Моей матери

Сын осеняется крестом.
Сын покидает отчий дом.

В песнях матери оставленной
Золотая радость есть:
Только б он пришел прославленный,
Только б радость перенесть!

Вот, в доспехе ослепительном,
Слышно, ходит сын во мгле,
Дух свой предал небожителям,
Сердце — матери-земле.

Петухи поют к заутрене,
Ночь испуганно бежит.
Хриплый рог туманов утренних
За спиной ее трубит.

Поднялись над луговинами
Кудри спутанные мхов.
Метят взорами совиными
В стаю легких облаков...

Вот он, сын мой, в светлом облаке,
В шлеме утренней зари!
Сыплет он стрелами колкими
В чернолесья, в пустыри!..

Веет ветер очистительный
От небесной синевы.
Сын бросает меч губительный.
Шлем снимает с головы.

Точит грудь его пронзенная
Кровь и горние хвалы:
Здравствуй, даль, освобожденная
От ночной туманной мглы!

В сердце матери оставленной
Золотая радость есть:
Вот он, сын мой, окровавленный!
Только б радость перенесть!

Сын не забыл родную мать:
Сын воротился умирать.

4 октября 1906

В октябре

Открыл окно. Какая хмурая
    Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
    Гуляет на дворе.

Снежинка легкою пушинкою
    Порхает на ветру,
И елка слабенькой вершинкою
    Мотает на юру.

Жилось легко, жилось и молодо —
    Прошла моя пора.
Вон — мальчик, посинев от холода,
    Дрожит среди двора.

Всё, всё по-старому, бывалому,
    И будет, как всегда:
Лошадке и мальчишке малому
    Не сладки холода.

Да и меня без всяких поводов
    Загнали на чердак.

Никто моих не слушал доводов,
И вышел мой табак.

А все хочу свободной волею
Свободного житья,
Хоть нет звезды счастливой более
С тех пор, как запил я!

Давно звезда в стакан мой канула,—
Ужели навсегда?..
И вот душа опять воспрянула:
Со мной моя звезда!

Вот, вот — в глазах плывет манящая,
Качается в окне...
И жизнь начнется настоящая,
И крылья будут мне!

И даже все мое имущество
С собою захвачу!
Познал, познал свое могущество!..
Вот вскрикнул... и лечу!

Лечу, лечу к мальчишке малому,
Средь вихря и огня...
Все, все по-старому, бывалому,
Да только — без меня!

Октябрь 1906

* * *

Ищу огней — огней попутных
В твой черный, ведовской предел
Меж темных заводей и мутных
Огромный месяц покраснел.

Его двойник плывет над лесом
И скоро станет золотым.
Тогда — простор болотным бесам,
И водяным, и лесовым.

Вертлявый бес верхушкой ели
Проткнет небесный золотой,
И долго будут петь свирели,
И стадо звякать за рекой...

И дальше путь, и месяц выше,
И звезды меркнут в серебре.
И тихо озарились крыши
В ночной деревне, на горе.

Иду, и холодеют росы,
И серебрятся о тебе,
Всё о тебе, расплетшей косы
Для друга тайного, в избе.

Дай мне пахучих, душных зелий
И ядом сладким заморочь,
Чтоб, раз вкусив твоих веселий,
Навеки помнить эту ночь.

Октябрь 1906

Пожар

Понеслись, блеснули в очи
Огневые языки,
Золотые брызги ночи,
Городские мотыльки.

Зданье дымом затянуло,
Толпы темные текут...
Но вдали несутся гулы,
Светы новые бегут...

Крики брошены горстями
Золотых монет.
Над вспененными конями
Факел стелет красный свет.

И, крутя живые спицы,
Мчатся вихрем колесницы,
Впереди — скакун с трубой
Над испуганной толпой.

Скок по камню тяжко звонок,
Голос хриплой меди тонок,
Расплеснулась, широка,
Гулкой улицы река.

На блистательные шлемы
Каплет снежная роса...
Дети ночи черной — где мы?..
Чьи взывают голоса?..

Нет, опять погаснут зданья,
Нет, опять он обманул,—
Отдаленного восстанья
Надвигающийся гул...

Декабрь 1906

■ * * *

Ты смотришь в очи ясным зорям,
А город ставит огоньки,
И в переулках пахнет морем,
Поют фабричные гудки.

И в суете непобедимой
Душа туманам предана...
Вот красный плащ, летящий мимо,
Вот женский голос, как струна.

И помыслы твои несмелы,
Как складки современных риз...
И женщины ресницы-стрелы
Так часто опускают вниз.

Кого ты в скользкой мгле заметил?
Чьи окна смотрят сквозь туман?
Здесь ресторан, как храмы, светел,
И храм открыт, как ресторан...

На безысходные обманы
Душа напрасно понеслась:
И взоры дев, и рестораны
Погаснут все — в урочный час.

Декабрь 1906

■ * * *

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.

И под знойным, снежным стоном
Расцвели черты твои.
Только тройка мчит со звоном
В снежно-белом забытьи.

Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля...
Душишь черными шелками,
Распахнула соболя...

И о той ли вольной воле
Ветер плачет вдоль реки,
И звенят, и гаснут в поле
Бубенцы, да огоньки?

Золотой твой пояс стянут,
Нагло скромен дикий взор!
Пусть мгновенья все обманут,
Канут в пламенный костер!

Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!
Пусть навек не знают люди,
Как узка твоя рука!

Как за темною вуалью
Мне на миг открылась даль...
Как над белой, снежной далью
Пала темная вуаль...

Декабрь 1906

Последний путь

В снежной пене — предзакатная —
Ты встаешь за мной вдали.
Там, где в дали невозвратные
Повернули корабли.

Не видать ни мачт, ни паруса,
Что манил от снежных мест,
И на дальнем храме безрадостно
Догорел последний крест.

И на этот путь оснеженный
Если встанешь — не сойдешь.
И душою безнадежной
Безотзывное поймешь.

Ты услышишь с белой пристани
Отдаленные рога.
Ты поймешь растущий издали
Зов закованной в снега.

3 января 1907

На страже

Я — непокорный и свободный.
Я правлю вольною судьбой.
А Он — простерт над бездной водной
С подъятой к небесам трубой.

Он видит все мои измены,
Он исчисляет все дела.
И за грядой туманной пены
Его труба всегда светла.

И, опустивший меч на струи,
Он не смежит упорный взор.
Он стережет все поцелуи,
Паденья, клятвы и позор.

И Он потребует ответа,
Подъемля засветлевший меч.
И канет темная комета
В пучины новых темных встреч.

3 января 1907

И опять снега

И опять, опять снега
Замели следы...

Над пустыней снежных мест
Дремлют две звезды.

И поют, поют рога.
Над парами злой воды
Вьюга строит белый крест,
Рассыпает снежный крест,
Одинокий смерч.

И вдали, вдали, вдали,
Между небом и землей
Веселится смерть.

И за тучей снеговой
Задремали корабли —
Опрокинутые в твердь
Станы снежных мачт.

И в полях гуляет смерть —
Снеговой трубач...

И вздымает вьюга смерч,
Строит белый, снежный крест,
Заметает твердь...

Разрушает снежный крест
И бежит от снежных мест...
И опять глядится смерть
С беззакатных звезд...

8 января 1907



На снежном костре

И взвился́ костер высокий
Над распятым на кресте.
Равнодушны, снежнооки,
Ходят ночи в высоте.

Молодые ходят ночи,
Сестры — пряхи снежных зим,
И глядят, открывши очи,
Завивают белый дым.

И крылатыми очами
Нежно смотрит высота.
Вейся, легкий, вейся, пламень,
Увивайся вкруг креста!

В снежной маске, рыцарь милый,
В снежной маске ты гори!
Я ль не пела, не любила,
Поцелуев не дарила
От зари и до зари?

Будь и ты моей любовью,
Милый рыцарь, я стройна,
Милый рыцарь, снежной кровью
Я была тебе верна.

Я была верна три ночи,
Завивалась и звала,
Я дала глядеть мне в очи,
Крылья легкие дала...

Так гори, и яр и светел,
Я же — легкою рукой
Размету твой легкий пепел
По равнине снеговой.

13 января 1907

* * *

Я ухо приложил к земле.
Я муки криком не нарушу.
Ты слишком хриплым стоном душу
Бессмертную томишь во мгле!
Эй, встань, и загорись, и жги!
Эй, подними свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!
Ты роешься, подземный крот!
Я слышу трудный, хриплый голос...
Не медли. Помни: слабый колос
Под их секирой упадет...
Как зерна, злую землю рой
И выходи на свет. И ведай:
За их случайною победой
Роится сумрак гробовой.
Лелей, пои, таи ту новь,
Пройдет весна — над этой новью,
Вспоенная твоею кровью,
Созреет новая любовь.

3 июня 1907

* * *

Тропами тайными, ночными,
При свете траурной зари,
Придут замученные ими,
Над ними встанут упыри.
Овеют призраки ночные
Их помышленья и дела,
И загниют еще живые
Их слишком сытые тела.
Их корабли в пучине водной
Не сыщут ржавых якорей,
И не успеть дочесть отходной
Тебе, пузатый иерей!
Довольных сытое обличье,
Сокройся в темные гроба!
Так нам велит *времен величье*
И *розоперстая судьба!*
Гроба, наполненные гнилью,
Свободный, сбрось с могучих плеч!
Всё, всё — да станет легкой пылью
Под солнцем, не уставшим жечь!

3 июня 1907

Осенняя любовь

1

Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет гроздь,—
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь,—

Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте,—

Тогда — просторно и далёко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.

В глазах — такие же надежды,
И то же рубище на нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.

Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой — будет ли причален
К моей распятой высоте?

2

И вот уже ветром разбиты, убиты
Кусты облетелой ракиты.

И прахом дорожным
Угрюмая старость легла на ланитах.

Но в темных орбитах
Взглянули, сверкнули глаза невозможным...

И радость, и слава —
Всё в этом сияньи бездонном,
И дальном.

Но смятые травы
Печальны,
И листья крутятся в лесу обнаженном...

И снится, и снится, и снится:
Бывалое солнце!
Тебя мне всё жальче и жальче...

О, глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?

3

Под ветром холодные плечи
Твои обнимать так отрадно:
Ты думаешь — нежная ласка,
Я знаю — восторг мятежа!

И теплятся очи, как свечи
Ночные, и слушаю жадно —

Шевелится страшная сказка,
И звездная дышит межа...

О, в этот сияющий вечер
Ты будешь всё так же прекрасна,
И, верная темному раю,
Ты будешь мне светлой звездой!

Я знаю, что холоден ветер,
Я верю, что осень бесстрастна!
Но в темном плаще не узнают,
Что ты пировала со мной!..

И мчимся в осенние дали,
И слушаем дальние трубы,
И мерим ночные дороги,
Холодные выси мои...

Часы торжества миновали —
Мои опьяненные губы
Целуют в предсмертной тревоге
Холодные губы твои.

3 октября 1907

* * *

О, весна, без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

24 октября 1907

* * *

Работай, работай, работай:
Ты будешь с уродским горбом
За долгой и честной работой,
За долгим и честным трудом.

Под праздник — другим будет сладко,
Другой твои песни споет,
С другими лихая солдатка
Пойдет, подбочась, в хоровод.

Ты знай про себя, что не хуже
Другого плясал бы — вон как!
Что мог бы стянуть и потуже
Свой золотом шитый кушак!

Что ростом и станом ты вышел
Статнее и краше других,
Что та молодица — повыше
Других молодиц удалых!

В ней сила играющей крови,
Хоть смуглые щеки бледны,
Тонки ее черные брови,
И строгие речи хмельны...

Ах, сладко, как сладко, так сладко
Работать, пока рассветет,

И знать, что лихая солдатка
Ушла за село, в хоровод!

26 октября 1907

* * *

Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!

Там с посвистом да с присвистом
Гуляют до зари,
Кусточки тихим шелестом
Кивают мне: смотри.

Смотрю я — руки вскинула,
В широкий пляс пошла,
Цветами всех осыпала
И в песне изошла...

Неверная, лукавая,
Коварная — пляши!
И будь навек отравою
Растраченной души!

С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя, люблю,
Что вся ты — ночь, и вся ты — тьма,
И вся ты — во хмелю...

Что душу отняла мою,
Отравой извела,
Что о тебе, тебе пою,
И песням нет числа!..

9 ноября 1907

* * *

Под шум и звон однообразный,
Под городскую суету
Я ухожу, душою праздный,
В метель, во мрак и в пустоту.

Я обрываю нить сознанья
И забываю, что́ и как...

Кругом — снега, трамваи, зданья,
А впереди — огни и мрак.

Чтó, если я, завороженный,
Сознанья оборвавший нить,
Вернусь домой уничиженный,—
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?

2 февраля 1909

* * *

Так. Буря этих лет прошла.
Мужик поплелся бороздою
Сырой и черной. Надо мною
Опять звенят весны крыла...

И страшно, и легко, и больно;
Опять весна мне шепчет: *встань...*
И я целую богомольно
Ее невидимую ткань...

И сердце бьется слишком скоро,
И слишком молодеет кровь,
Когда за тучкой легкоперой
Сквозит мне первая любовь...

Забудь, забудь о страшном мире,
Взмахни крылом, лети туда...
Нет, не один я был на пире!
Нет, не забуду никогда!

14 февраля 1909
(7 февраля 1914)

* * *

В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.

Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?

Что лето, шелестят во мраке,
То выпрямляясь, то клонясь
Всю ночь под тайным ветром, злаки:
Пора цветенья началась.

Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.

15 февраля 1909



Утро в Москве

Упоительно встать в ранний час,
Легкий след на песке увидать.
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя.

Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная нежность Кремля
В это утро — как прелесть твоя.

Июль 1909
(Февраль 1914)
Москва

 * * *

Всё это было, было, было,
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

В час утра, чистый и хрустальный,
У стен Московского Кремля,
Восторг души первоначальный
Вернет ли мне моя земля?

Иль в ночь на Пасху, над Невою,
Под ветром, в стужу, в ледоход —

Старуха нищая клюкою
Мой труп спокойный шевельнет?

Иль на возлюбленной поляне
Под шелест осени седой
Мне тело в дождевом тумане
Расклюет коршун молодой?

Иль просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях?

И в новой жизни, непохожей,
Забуду прежнюю мечту,
И буду так же помнить дожей,
Как нынче помню Калиту?

Но верю — не пройдет бесследно
Всё, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл!

Август 1909

* * *

В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Запомним оба,
Что встретиться судил нам бог
В час искупительный — у гроба.

Я верю: новый век взойдет
Средь всех несчастных поколений.
Недаром славит каждый род
Смертельно оскорбленный гений.

И все, как он, оскорблены
В своих сердцах, в своих певучих.
И всем — священный меч войны
Сверкает в неизбежных тучах,

Пусть день далек — у нас всё те ж
Заветы юношам и девам:
Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева — есть мятеж.

Разыгрывайте жизнь, как фант.
Сердца поэтов чутко внемлют,
В их беспокойстве — воли дремлют;
Так точно — черный бриллиант

Спит сном неведомым и странным,
В очарованьи бездыханном,
Среди глубоких недр,— пока
В горах не запоет кирка.

1910—6 февраля 1914

* * *

Земное сердце стынет вновь,
Но стужу я встречаю грудью.
Храню я к людям на безлюдьи
Неразделенную любовь.

Но за любовью — зреет гнев,
Растет презренье и желанье
Читать в глазах мужей и дев
Печать забвенья иль избранья.

Пускай зовут: *Забудь, поэт!*
Вернись в красивые уюты!
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!
Уюта — нет. Покоя — нет.

1911—6 февраля 1914

* * *

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже,—
Оттуда зримей мир иной...
Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне,—
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...

Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только — лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как боязливый крот, от света
Заройся в землю — там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя,—
Дням настоящим молвив: *нет!*

Сентябрь 1911—7 февраля 1914

К Музе

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты — и Муза, и чудо.
Для меня ты — мученье и ад.

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?

Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Все проклятье своей красоты?

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои...

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь!

29 декабря 1912

* * *

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,—
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

5 февраля 1914

* * *

Вновь богатый зол и рад,
Вновь унижен бедный.
С кровель каменных громад
Смотрит месяц бледный,

Насылает тишину,
Оттеняет крутизну
Каменных отвесов,
Черноту навесов...

Всё бы это было зря,
Если б не было царя,
Чтоб блюсти законы.

Только не ищи дворца,
Добродушного лица,
Золотой короны.

Он — с далеких пустырей
В свете редких фонарей
Появляется.

Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком
Улыбается.

7 февраля 1914

БЛОК — БЕЛОМУ

3 января 1903. Петербург

Многоуважаемый Борис Николаевич.

Только что я прочел вашу статью «Формы искусства» и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья гениальна, откровенна. Это — «песня системы», которой я давно жду. На Вас вся надежда. Но меня глубоко тревожит одно (единое) в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде всего должен оговориться. Я до отчаяния ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке как искусстве ни с какой стороны. Таким образом я осужден на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего бы то ни было существенного из музыки искусства. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, т. е. просто безумия, сумасшествия (и то — гадательно). По всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо, не с т⟨очки⟩ зр⟨ения⟩ музыки-искусства, а с т⟨очки⟩ зр⟨ения⟩ интуитивной, от голоса музыки, поющего внутри, откуда мне слышны окружающие меня «слова о музыке», более или менее доступные. С этой оговоркой и пишу. Есть ли Ваша статья только «формы искусства»? Конечно — нет. «Не имеем ли мы здесь намека на превращение жизни в ми-

стерию»? Следующая фраза еще настойчивее, как настойчивы Вы всегда, как настойчивы и неотвязны Ваши духовные стихи в «Симфонии» и в статье об Алениной. И, остановившись на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик оттого, что Вы (дай бог, чтобы это не было так!) заполонили всю жизнь «миром искусства». «Глубина музыки и *отсутствие в ней внешней действительности* наводят на мысль о нуменальном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну *бытия*». Ведь Вы *хотите* слушать музыку *будущего*! Ведь тут вопрос последней важности, который Вы *обошли* в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо *во избежание соблазна* здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалиптическая труба не «искусна» (Ваша 344 страница). Вы последнего слова не сказали, и оттого последние страницы — ужас и сомнение. Ведь это окраина, вьющаяся тропинка, на которой Вы исчезаете за поворотом, и последние слова слышны как-то уже издалека, под сурдинку, в сеточке, а Вас мы уже не видим. Ваше лицо уже спряталось тогда именно, когда пришлось говорить о том, последнее ли музыка или не последнее? А главное, какая это музыка там, в конце? Под «формой» ли она искусства? Ведь это в руку эстетизму, метафизикам, «Новому Пути», «Миру искусства». ⟨...⟩ В прошлом году я читал Ваше письмо к Зин⟨аиде⟩ Ник⟨олаевне⟩ Гиппиус с подписью «студент-естественник». Теперь оно, кажется, в Нов⟨ом⟩ Пути, но я не видел журнала. В этом письме все *белое,* целый свод апокалипсической белизны. В «формах искусства» Вы *замолчали* ее. Вам неизменно приходится ссылаться на Платона, на Ницше, на Вагнера, на «бессознательного» (конечно!) Верлэна. Но ведь «музыка сфер» — *мифологическая глубина*, ведь это пифагорейское общество, в котором все считали друг друга равными блаженным богам... ⟨...⟩

Весь вопрос теперь в том, где у Вас *последняя* музыка, лучше сказать, то, что *перестанет* быть музыкой-искусством, как только мы «вернемся к религиозному пониманию действительности». Действительно ли Вы считаете нуменальной только такую музыку (уже не «искусную»)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где лежит граница между феноменальным и нуменальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно «неподвижностью солнца любви»?

Есть ли эта последняя музыка — яблоня, обсыпающая монашку белыми цветами забвения (2-я Сим⟨фония⟩, 4 часть) («Не верь мгновенному, люби и позабудь»)? Есть ли это «грустно-задумчивое»? Или это ужасный, опять манящий и зовущий компромисс (хотя бы только «льдины прибрежной пятно голубое»)? Только ли это «пророка ведущие сны», или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам (снявшему покровы и полюбившему вечность)? Не все ли еще «мистический колодезь»? Я задаю бездны вопросов, оттого, что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в белом», но не творить белое. От моего «греха» задаю я Вам вопросы и потому, что совсем понял, что центр может оказаться в Вас, а, конечно, не в соединяющем две бездны Мережковском и проч⟨их⟩. И потому хочу кричать Вам, пока не поздно. Может быть, я Вас не понял, но тут во многом Ваша недосказанность виновата. Вам *необходимо* сказать больше, вопить о границах, о том, что Изида не имеет ничего общего с Девой Радужных ворот, тем более, что вся глубина, вся «субстанция» Ваших песен о системе — белая, *не* «бездонная», *не* «без-óбразная». Здесь, у нас, где все «гонят лени сон угрюмой», необходимо, чтобы *Вы* сочли число зверя, потому что Вы из стоящих «в челе» и на Вас «возлагаются надежды» («Симфония» 2-я). Ваши слова гениально прозревают, потому что нужно их *все*. Пора угадать имя «Лучезарной Подруги», не уклоняйтесь и пронесите знамя, веющее и *без складок*. В складках могут «прятаться». От складок страшно. Скажите прямо, что «все мы изменимся скоро, во мгновение ока». ⟨...⟩

Преданный Вам
Ал. Блок.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

4 января 1903. Москва

Многоуважаемый Александр Александрович!
⟨...⟩
Лично мы не знаем друг друга. Я затрудняюсь — о чем мне писать? Важно не то, с «погоды» или «непогоды» я начну — важно то, что у меня возникает ес-

тественная потребность ближе познакомиться с Вами. Разбросанные *здесь* и *там*, мы уже можем не удовольствоваться *для самих себя и только* нашим субъективизмом. Это уже не бред единичных чудаков, разделенных ото всех глухой стеною, так что солидарность с окружающими достигается единственно при условии *внешности... слишком внешности.* В бездне индивидуального оказалось нечто и объективное, и «*интимно*»-личное. Личное не оказалось индивидуальным. В то время, когда каждый думал, что он один пробирается в темноте, без надежды, с чувством гибели, оказалось — и другие совершали тот же путь. И вот — разными путями прошли какую-то промежуточную зону, лежащую между «*внешним*» и «*внутренним*» знанием, соприкоснулись с Одной Истиной, хотя часто и с разных сторон. Значит, существовало то, что заставляло *начать бред среди бела дня.* Значит, возможно общение друг с другом из «*бессмертных далей*».

Легче дышать.

Веселей путь. Не чувствуешь себя таким одиноким. Проверяешь себя. Проверяешь других. Просишь помощи. Советуешься. Помогаешь.

Не знаю, это ли внушило мне мысль так прямо обратиться к Вам — но мне приятно ближе узнать Вас.

Вот и Ваши стихи.

Они мне *знакомы.* Как-то лично заинтересован ими, пристально читаю — не потому ли, что есть в них что-то общее — общее, неразрешенное? Точно мы стоим перед решением вечной задачи, неизменной... и чуть, чуть страшной.

Или это не так?

Я не коснусь подробного изложения всего того, что, как мне чудится, звучит в них. Это, быть может, задело бы Вас, а меня ввело бы в круг вопросов, которых я не желал бы, да и не мог касаться в первом же письме.

Я скажу только то, что Ваши стихи мне чрезвычайно нравятся и с чисто эстетической стороны. В них положительно видишь преемственность. Вы точно рукоположены Лермонтовым, Фетом, Соловьевым, продолжаете их путь, освещаете, вскрываете их мысли. Необычайная современность, скажу, даже преждевременность, тем не менее уживается с *кровной преемственностью.* Этой преемственности, не говоря уже о бесконечной плеяде «*стихистов*», не хватает у таких безусловно интересных поэтов, как Бальмонт, Ф. Соло-

губ и мн⟨огие⟩ др⟨угие⟩. Скажу прямо — Ваша поэзия заслоняет от меня почти всю современную русскую поэзию. Быть может, это и не так, но *не* я компетентен в критике.

Надеюсь, Вы простите этот нестерпимо глупый тон моего письма и оправдаете меня: мне ведь хотелось написать Вам, не касаясь *того* или *другого*, а просто так... Мне было чрезвычайно приятно, если Вы пожелаете откликнуться на мое «*приглашение к переписке*».

Остаюсь искренне уважающий Вас и расположенный

Борис Бугаев

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

*6 ⟨января⟩ * 1903. Москва*

Многоуважаемый Александр Александрович!

⟨...⟩ Центр вашего письма — указание на недостаточно резкую границу у меня между искусством и более чем искусством, т. е. теургией; но мой угол зрения в статье — формы «*Искусства с т⟨очки⟩ з⟨рения⟩ истории и современности*». Взгляд на эволюцию искусства, рассматриваемого 1) формально (дух музыки), 2) идейно (искание Лучесветной Подруги), 3) мистически (последняя музыка Конца).

В статье перспектива не соблюдена. Смутно намекаю «*о главном*» в чуждой сфере формальности. Свожу пространство к плоскости. Сливаю музыкальность в собственном смысле с мистически переносным. Если захотите придраться, получается прямо абсурд: вневременное и внепростр⟨анственное⟩, раскрывая тайну движения, оказывается в пространстве и во времени, т. е. в движении. Определение самого себя самим собою! Но вещь может определяться собою, если плоскостную проекцию мы переведем на пространственный язык. Тут теософское воззрение об отношении личного к индивидуальному. Тут вечный вопрос о механизме и организме, о рабстве и свободе, о возвратном и безвозвратном, о круге и прямой (и совме-

---

* У Белого описка: «декабря»,— исправленная Блоком.

щении их в спирали), о времени и безвременьи, о символизме и воплощении, об искусстве и теургии. Тут о двуединстве в природе человека, *о двух* и *их единении*, но в надмирном, потусветном и потуцветном, а не здешне-делательном. Тут об утонченной веселости безмерно-пьянящего, белого аскетизма свободы и о гнетуще бессильном в своей огненности языческом оргиазме. Тут о самоутверждении в Нем и не в Нем — т. е. в *«другом»*. Тут — скажу избито — о Христе и антихристе.

Тут мы врезываемся в следующую зону о музыке. Тут приходится говорить несколько центральнее.

Музыка как внутренне звучащее, так и внешнее ее выражение в обычно понимаемом смысле — ближе всего к прозрению запредельного. Здесь явственный отблеск запредельного. Запредельно добро. Но и зло тоже запредельно. Итак, двойственность запредельного, двойственность музыкальных отражений. Музыка — последняя оболочка — Преддверие Храма. Вокруг святыни и вне ее — всегда роится мерзкая туча. Недаром на Соборе Пар⟨ижской⟩ богоматери изображения демонов.

В музыке, вокруг музыки *«старый бой разгорается вновь»* и с мучительной силой. Если бы воплотить всю силу музыки в образы, этот бой подавил бы нас своей величиной и мистическим значением. Отсутствие в музыке внешней действительности ослабляет эту силу боя (иначе душа бы не выдержала).

На каждую музыку (в существе своем двойственную) в человеке отзывается преобладающее в нем начало. Помимо разнообразия *«музык»*, одна и та же музыка одних просветляет, других омрачает (увертюра к «Тангейзеру» меня страшит, а других умиляет). Каждый понимает бессознательно, что музыкой решится судьба его. С одной стороны, музыка еще искусство, поскольку она вне добра и зла как женское начало само по себе — *«начало двусмыслия»*. *«Душа Мира есть существо двойственное»* (Вл. Сол⟨овьев⟩). Воплощая Христа, Она — София, Лучистая Дева; не воплощая Христа — Лунная Дева, Астарта, Огнезарная Блудница, Вавилон. Встреча с господом необходим⟨а⟩ путем искания Лучезарной Подруги, которая в момент встречи явит господа. В этом смысле Она — *«Дева Радужных Ворот»*. Встреча со Зверем — в астартизме. *«Конец»* — в символическом и воплощенно-историчес-

ком смысле понимается или ужасом, или любовью. Апокалипсическая труба — и радость, и ужас. В Апокалипсисе — и жгучесть огня, и белизна холодного снега — убеленность.

Эти противоположные отблески звучат и борются в музыке. *«Она — искусство движения»*. Недаром в *«симфониях»* всегда две борющиеся темы; в музыкальной теме — она сама, отклонение от нее в многочисленных вариациях, и возврат *сквозь огонь диссонанса*.

Ритм — как повторность временного пульса — связан с идеей Вечного Возвращения, музыкальной по своему существу [недаром Ницше, величайший стилист (т. е. музыкант в душе), автор понятия *«дух музыки»*, наконец, сам прекрасный музыкант и даже композитор,— первый выкрикнул это носящееся в воздухе «Возвращение»]. «Кольцо колец — кольцо возврата» — мистический атеизм. Но в самой идее о веч⟨ном⟩ возвращении есть нечто иррационально недосказанное (это хорошо у Шестова и Мережковского). Мистический атеизм — это первая зона, а за ней нечто мягкое, чуть ли не *белое в Возврате*... Ведь Ницше тоже сначала *белое дитя*, задохнувшееся в когтях — козлище отпущения. Он смешал феноменальное с нуменальным. Захотел видеть свечение Вечности там, где существует лишь двусмысленная относительность. Преждевременно провозгласивший, заголосивший Ницше не совладал с собственным голосом, не узнал в этом ржании кентавра свою дивно звучную музыку. Утих. Ушел. Быть может, *«вернулся»*.

Борьба Астарты с Лучезарной Подругой (как Вы это прекрасно понимаете), антихриста и Христа — вот одна линия раскола в музыке. Борьба эстетического и мистического в ней же — вот раскол в плоскости как бы перпендикулярной. И вся борьба — вихрь боя, ритм. Недаром величайшие музыканты Бетховен и Вагнер ритмичны, возвратны до невозможности.

⟨...⟩

Остаюсь весь Ваш

Борис Бугаев.

БЛОК — БЕЛОМУ

9 января 1903. Петербург

Многоуважаемый Борис Николаевич.

⟨...⟩

Для того чтобы поговорить о музыке, мне придется сделать известный компромисс, на который, впрочем, Вы, мож⟨ет⟩ б⟨ыть⟩, согласитесь. Мне придется спуститься ниже — от «искусства движения» к «мосту между временем и пространством», т. е. от музыки к поэзии. При этом попытаюсь говорить о певучем и самом певучем в поэзии для возможно большего приближения ее к музыке. Словом, по возможности закрывать глаза на пространственные элементы для того, чтобы сосредоточиться на временных. Этот компромисс кажется мне возможным потому, что: 1) И в поэзии, как в музыке, в менее совершенном виде лежит эволюция, система, хотя бы новая трихотомия [например: I. Форма (положим — эпос). II. Содержание, идейность, искание Лучезарной Девы (положим, лирика). III. Синтез, мистическая зона (положим — драма-мистерия). Подобная схема, разумеется, только пример]. 2) Потому что поэзия, стоя рядом с музыкой, окрыляется ей и сама чует устремленное тяготение к последней, как будто две точки силятся сбежаться, избирая кратчайшее расстояние (символ поэзии — прямая), в одну (символ музыки). В этом представлении — поэзия представляет из себя то, «что нужно преодолеть», для того чтобы взойти к музыке. Она — уменьшенное движение, отраженное. Она — в пути, и, преклоняя ухо к содрогающейся земле, можно слышать, как «цветет сердце». Она — *шатается* в противоположность трем первым «формам» искусства, которых не оторвать. Но четвертое уже мост к пятому, близко ему, греется около него и,— кто знает? — не перейдет ли в него, как вышло из него, не возвратится ли, тогда как те три не сделают скачка и отпадут. Может быть, обновленный ученик, очарованный близостью песен, которых он лишь слабое подобие, хоть и не станет «выше учителя», но научится многому и безболезно вернется к нему? От этой мысли то страшно и весело, то гнетуще и тоскливо.

Вся эта аргументация (и подобная), разумеется, зиждется на компромиссе и сама в себе имеет что-то

глухое, даже тугое, натянутое, но мне приходится ввести ее просто уже по личному бессилию что-либо выводить из чистой музыки. Веду я к тому, чтобы поставить вопрос, может ли поэзия в своем maximum'е приблизиться к Запредельному настолько, чтобы расслышать и познать? Утвердительный ответ возможен хотя бы только на том основании, что наши времена поэзии ощутили, как никогда, до пророчественного прозрения, двойственную природу вселенной, и именно ощутили музыкально, путем все большего отрицания пространственных образов и все большего прислушиванья к «ритму» (кстати, ритм в Вашем озарении близок к Гераклитовскому «огню-Логосу»?). 〈...〉

Преданный Вам
Ал. Блок.

БЛОК — БЕЛОМУ

18 июня 1903. Bad Nauheim
1 июля

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич.

〈...〉 Прежде я *думал* о Ней чаще, чем теперь. Теперь все меньше и все безрезультатнее. Два преобладающие настроения (может быть, и у Вас, как у меня?) — мистическое и скептическое (равнодушное) — первое «просит» не отравлять его мыслью (просит, как только может просить «бирюзовая вечность» своего раба, скорее — приказывает),— а второе или обязывает мысль к молчанию, или направляет ее к тому, чтобы она «знала свое место». Потому *мыслить* в этом направлении (о Ней) мне представляется наименее доступным способом проникновения.

Скептицизм (принадлежность рассудка) лежит камнем на дороге и объехать его нельзя. Потому *непророкам* приходится разбавить вино мистицизма его (скептиц〈изма〉) водой. Если бы этого не было, то вероятно доступнее было бы и мышление о Ней, оно имело бы притягательную силу, собирало бы под свои знамена больше, чем теперь. Теперь же «мистический разум» только зарождается, по-видимому. А потому наличность известного «опыта» отрешает от многих прежних попыток и замыкает, суживает круг. Без су-

живания невозможно «прожить», нужно, по крайней мере, углубляться, если нельзя идти вширь. Непременный удел зовущих на брань *народы* или *общества* — стоянье «идолом над кручей, раздирая одежды свои». Потому что «рано». Это раннее утро, пусть и розовое, не позволяет голосу достигать туда, куда он стремится. Значит — Она — еще только *потенциально* воплощена в *народе* и *обществе.* Удел зовущего на брань *отдельное лицо* «стократ завидней», потому что никогда не получится в ответ меньше, чем эхо (а там и эхо отсутствует по причине равнинности и отдаленности гор). Часто же получается в ответе и больше, чем эхо. Потому, мне кажется, Она скорее может уже воплощаться в отдельном лице. Потому-то и доверие (в этом) к отдельн⟨ому⟩ лицу больше, чем к народу и обществу. Для взываний к лицам можно удержаться в «своей среде», для взываний к народам приходится уродиться гигантом или довести себя до парения и метафизического безразличия на случай окружающей глухоты «спящих». Так⟨им⟩ обр⟨азом⟩, я думаю, что приближается Она ко всем лишь в потенции, а к отд⟨ельной⟩ личности уже в действительности. Вопрос, в какой мере (настроением,— дуновением, или «под оболочкой зримой»)? Я чувствую Ее как настроение, чаще всего. Думаю, что можно Ее увидать, но *не* воплощенную в лице, и само лицо не может знать, присутствует Она в нем или нет. Только минутно (в порыве) можно увидать как бы Тень Ее в другом лице (и неодушевленном). Это не исключает грезы о Ней как о Душе Мира, потому что мир для мистика (или находящегося в мистическом состоянии) *ближе*, чем народ, целое понятнее части, макрокосм (мир), как и микрокосм (личность) ближе, чем все посредствующие между ними звенья (общество — народ — земной шар!). Таким образом — общество (народ) в отнош⟨ении⟩ к Ней не является мистически-заинтересованным (для моего сознания) и извергается. Здесь, именно, очередной вопрос об Ее отношенье к Христу, ибо Христос не разделен с обществом (народом). Приидите ко мне *все* труждающиеся — есть знак *доброты* Христа (не один этический момент). Христос всегда *добрый*, у Нее же это *не* существенно, ибо «Свет Немеркнущий Новой богини» есть не добрый и не злой, а более. Я скажу, что я люблю Христа меньше, чем Ее и в «славословии, благодарении и прошении» всегда прибегну к Ней. ⟨...⟩

Вопрос, по-моему, *самый существенный*, ответ на который может быть не утвердит⟨ельным⟩ или отрицат⟨ельным⟩, а утешительным или неутешительным. Соблазны: Астарта незабвеннее Ее в жизни; Астарта действительно, «переплетается» вокруг Нее. Не утешительно ли здесь констатир⟨овать⟩ такой факт: Астарта выражена всего более в двух конечных пунктах человеческого бытия (в широк⟨ом⟩ смысле, если его выразить прямой): в утонченной половой чувственности и в утонченной головной диалектике (физиологич⟨еские⟩ центры — головной и спинной мозг). Первое ясно. Второе подтвержд⟨ается⟩ примером послесократовских и софистических школ.

Она изгоняет ту и другую чувственность. Астарта «подвижна», так что одно претворяет (из вышеуказ⟨анного⟩) в другое в один миг.

Она — Неподвижна. Это — один из главных Ее признаков (если хотите,— символом уже́,— может служить разноцветность Астарты и синтезирующая одноцветность Ее). Главным «утешением», однако, является, я думаю, *не* диалектическое развитие различия Ее и Астарты, а интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения. Это — при мистическом состоянии. Но вопрос столь краеуголен, что необходимо ввести скептицизм. Сначала, переходя к «мистическому скептицизму», можно уловить слияние Ее и Астарты в одно. При полном скептицизме (без мистиц⟨изма⟩) остается «незабвенной» одна Астарта, потерявшая свое древнее имя, и вместе — религиозные краски. На такой, вполне невыгодной, позиции стоит логический угол зрения на Нее. Впрочем, едва ли Вы назовете его истинно логическим, а между тем я затрудняюсь совсем залезть в холодную воду и хочу разбавить логику *хоть своей* психологией. На Ваши вопросы я не ответил вполне прямо и не знаю, возможно ли это? Все-таки попробую прийти к некоторым заключениям. Вы верите «больше всего *знанию*», *непосредственному*, как я понял (если не так, то я вполне неудовлетворит⟨ельно⟩ ответил Вам на вопросы). Если это так, то, пожалуй, на почве этого непосредств⟨енного⟩ знания нельзя быть *более* логичным (предмет не соответствует чисто логическому способу его рассмотрения), даже во имя «многострунности».

Итак, *мыслить* о Ней приходится все реже и реже. Но «усвоенные» мысли о Ней таковы: Она *единственна*

в своих явлениях, ничего общего ни с чем не имеет, ощущение Ее *странно* и в высшие моменты *вполне отлично* от Астарты. Здесь выступает Ее *Неподвижность*. Однако же, хотя и по известному мистическому шаблону, следует не придавать Ей никаких определений по существу, только увивая мысль о Ней розами хвалы.

Милый Борис Николаевич! Вы знаете все это. Мне кажется, что я ничего нового Вам не уясню. Я ведь только наметил пункты ответов на самые существенные Ваши вопросы. Главное, на чем здесь *должна*, мне кажется, остановиться мысль,— это *предварительный скептицизм*, даже *самый грубый*, «оправдывающий» забвения о Ней, врожденный нам. Он лежит в основе мистицизма, построенного не на песке, и составляет тот «страх», который «изгоняет совершенная любовь». То, что лежит за гранью скептицизма *точнее* познается молчаньем *логики*. «Очистку совести» я понимаю, но не хочу с ней согласиться, именно в силу одного из главнейших моих пунктов: *Добр Христос, но не Она*, потому что Она — Окончательна. Совесть же в отношении к Ней явилась бы мерилом Добра. *Она*, если Добра, то лишь в эстетических воплощениях (у поэтов), напр⟨имер⟩, у Фета (Пой, *добрая*) или у Бодлера (A la très *bonne*). Сознание же о Ней едва ли *углубилось* со времен Гете, оно, пожалуй, только *расширилось:* вместо «помещения» Ее Престолов «по ту сторону» теперь «помещают» и по сю сторону. Иначе говоря, «благосклонно» расширяют Ее «территорию» и «сферу власти». Грех этой благосклонности лежит, разумеется, на поэтах, которые молчанию не научатся. Но не нужно ли и *им* замолчать? И это для меня под сомнением. Правда, что поэты дорого платятся за свои хвалы. ⟨...⟩

Преданный Вам и любящий Вас

Ал. Блок.

БЛОК — БЕЛОМУ

1 августа 1903. Шахматово

Милый, дорогой Борис Николаевич.

⟨...⟩ Благодаря тому, что Вы в Вашем письме поставили окончательные грани (в вопросах о Христе и феноменальности пола) — пишу Вам, по крайней ме-

ре, искренно, не то, что «признаюсь», а говорю опять-таки под строжайшим вопросительным знаком: зачем бы мне был подобный вышеописанному скепсис?

Вот зачем:

1) Еще (или уже, или никогда) *не чувствую* Христа. *Чувствую Ее* *, Христа иногда только *понимаю*.

2) *Страдаю* (?) крайним *индивидуализмом* * (вытекает из первого?): люблю «махать колпаком» и *не хочу* «крестных мук». Не чувствую участия *народа* и общества в Ее Благодати. В *жизни* иногда отделываюсь *презрением*. Пишу стихи *по преимуществу*.

3) Вытекает из второго: страдаю *ленью* (как в узком, так и в широком смысле обладая малым запасом положительных знаний), *не чувствую* глубокой потребности в них и нахлобучиваю метафизические фуражки то с тоской, то охотно.

4) *Боюсь еще* * (м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, *перестану* бояться) утратить Соловьевские костыли, подпиравшие меня *сильно* (при жизни Мих⟨аила⟩ Серг⟨еевича⟩). Не переставая «тянуться в голубоватую мглу», рискую встретиться черт знает с кем. Угрожающие симптомы: никогда не предполагаю феноменальности пола, *хотя* * это *непременный* (с точки зр⟨ения⟩ единства) вывод из Соловьевских слов, цитированных Вами (о перенесении животн⟨ых⟩ отнош⟨ений⟩... велич⟨айшая⟩ мерзость). Но ...

...Не знаю внезапной причины,—
...Приходят веселые дни

(А. М. Добролюбов!!!)

Вот, это главное.

Однако я знаю, что *Она отлична от Трехвенечной*. Знаю *внутренно*. Каково же отношение *аскетизма* к обеим — не знаю... Все время ношу в себе неизгладимое подозрение: не исключает *ли чистое* (?) служение, пребывание «в свете немеркнущем Новой Богини» — необходимость и самую *возможность поэтического* творчества? Если бы не стояли на пути постоянно пленительной загадкой стихи Соловьева и, в последнее время, Ваши,— я сказал бы утвердительно: *исключает*. Скажу даже так: именно *Ваши* стихи: они удиви-

* Отмечены слова, подчеркнутые дважды.

тельны мне особенно по одной причине: при крайнем богатстве формы, еще более крайнем — содержании и, наконец, главное, *субстанции* (неизреченности) — *полное** отсутствие «натуралистических» образов (при реальности их). Вы купаете вещи в эфире, насыщаете их «горным воздухом». Даже «кентавры» таковы, даже Сомов! Я бы сказал, что Ваши стихи безгневны — и сам Соловьев гневнее Вас в стихах. У него «созревший расцвет», «сладкая тоска». Несравненно «бесстрастнее»

Ей машу колпаком:
Скоро, скоро увидимся мы,

чем:

К нам скорей через запад дождливый —
Для тебя мы безоблачный юг.

И вместе — равно пленительно.

⟨...⟩

Ваш «эсотеризм» я нежно люблю. Не надо дальше. Это просто вытекает из самого важного для меня расхождения с Вами: Вы любите Христа больше Ее. Я не могу. *Знаю, что Вы впереди — без сомнений.* Но — не могу. Отсюда происходит: у Вас устранена часть мучительного, древнего, терзающего меня часто мысленного соблазна: «вечной мужественности». Оттого Она мне меньше знакома. Оттого я кутаюсь часто в старый халат (символически). Мне бы место у настоящих декадентов — без дна и покрышки. Но часто не хочется — и отступаю еще назад.

Там стерегут мое паденье
Веселых ангелов четы.

⟨...⟩

Любящий Вас
Ал. Блок.



РОДИНА (1907—1916)

* * *

Ты отошла, и я в пустыне
К песку горячему приник.

Но слова гордого отныне
Не может вымолвить язык.

О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да. Ты — родная Галилея
Мне — невоскресшему Христу.

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где приклонить ему главу.

30 мая 1907

* * *

В густой траве пропадешь с головой.
В тихий дом войдешь, не стучась...
Обнимет рукой, оплетет косой
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь.

Вот здесь у меня — куст белых роз,
Вот здесь вчера — повилика вилась.
Где был, пропадал? что за весть принес?
Кто любит, не любит, кто гонит нас?»

Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь — тучи вдали встают,
И слушаешь песни далеких сел...

Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой — зовет и мани́т...
Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне» —
И опять за травой колокольчик звенит...

12 июля 1907

* * *

Задебренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.

Теперь пастуший кнут не свистнет,
И песни не споет свирель.
Лишь мох сырой с обрыва виснет,
Как ведьмы сбитая кудель.

Навеки непробудной тенью
Ресницы мхов опушены,
Спят, убаюканные ленью
Людской врагини — тишины.

И человек печальной цапли
С болотной кочки не спугнет,
Но в каждой тихой, ржавой капле —
Зачало рек, озер, болот.

И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.

Октябрь 1907—29 августа 1914



На поле Куликовом

1

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.

В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

7 июня 1908

2

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат...

На пути — горючий белый камень.
За рекой — поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб недаром биться с татарвою,
За святое дело мертвым лечь!»

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

8 июня 1908

3

В ночь, когда Мамай залег с ордою
Степи и мосты,

В темном поле были мы с Тобою,—
Разве знала Ты?

Перед Доном темным и зловещим,
Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
В криках лебедей.

С полунóчи тучей возносилась
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.

Орлий клёкот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.

И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

14 июня 1908

4

Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издалú...

Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.

И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на белом коне...
Встречаются вольные тучи
Во мглистой ночной вышине.

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...

«Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!»
Вздымается конская грива...
За ветром взывают мечи...

31 июля 1908

5

И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.

Вл. Соловьев

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.

За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал.— Молись!

23 декабря 1908

Россия

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,—
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет,—
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,

Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

18 октября 1908



* * *

Вот он, ветер,
Звенящий тоскою острожной,
Над бескрайною топью
Огонь невозможный,
Распростершийся призрак
Ветлы придорожной...

Вот — что ты мне сулила:
    Могила.

4 ноября 1908



Осенний день

Идем по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви темной.

Осенний день высок и тих,
Лишь слышно — ворон глухо
Зовет товарищей своих,
Да кашляет старуха.

Овин расстелет низкий дым,
И долго под овином
Мы взором пристальным следим
За лётом журавлиным...

Летят, летят косым углом,
Вожак звенит и плачет...
О чем звенит, о чем, о чем?
Чтó плач осенний значит?

И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...

О, нищая моя страна,
Что́ ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?

1 января 1909

* * *

Не уходи. Побудь со мною,
Я так давно тебя люблю.

Дым от костра струею сизой
Струится в сумрак, в сумрак дня.
Лишь бархат алый алой ризой,
Лишь свет зари — покрыл меня.

Всё, всё обман, седым туманом
Ползет печаль угрюмых мест.
И ель крестом, крестом багряным
Кладет на даль воздушный крест...

Подруга, на вечернем пире,
Помедли здесь, побудь со мной.
Забудь, забудь о страшном мире,
Вздохни небесной глубиной.

Смотри с печальною усладой,
Как в свет зари вползает дым.
Я огражу тебя оградой —
Кольцом из рук, кольцом стальным.

Я огражу тебя оградой —
Кольцом живым, кольцом из рук.
И нам, как дым, струиться надо
Седым туманом — в алый круг.

Август 1909

* * *

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что́ там услышишь из песен твоих?

Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых...

Лодки да грады по рекам рубила ты,
Но до Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь распустила ты —
Кинулась и́з степи черная мгла...

За́ море Черное, за́ море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Что́ же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

28 февраля 1910



На железной дороге

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом

Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд в даль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...

Да чтó — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — всё больно.

14 июня 1910

Посещение

Голос

То не ели, не тонкие ели
На закате подъемлют кресты,
То в дали снеговой заалели
Мои нежные, милый, персты.
Унесенная белой метелью
В глубину, в бездыханность мою,—
Вот я вновь над твоею постелью
Наклонилась, дышу, узнаю...
Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи,
Я сквозь темные ночи — в венце.
Вот они — еще синие очи
На моем постаревшем лице!
В твоем голосе — возгласы моря,
На лице твоем — жала огня,

Но читаю в испуганном взоре,
Что ты помнишь и любишь меня.

Второй голос

Старый дом мой пронизан метелью,
И остыл одинокий очаг.
Я привык, чтоб над этой постелью
Наклонялся лишь пристальный враг,
И душа для видений ослепла,
Если вспомню,— лишь ветр налетит,
Лишь рубин раскаленный из пепла
Мой обугленный лик опалит!
Я не смею взглянуть в твои очи,
Все, что было,— далёко оно.
Долгих лет нескончаемой ночи
Страшной памятью сердце полно.

Сентябрь 1910
Шахматово

* * *

Там неба осветленный край
    Средь дымных пятен.
Там разговор гусиных стай
    Так внятен.

Свободен, весел и силён,
    В дали любимой
Я слышу непомерный звон
    Неуследимый.

Там осень сумрачным пером
    Широко реет,
Там старый лес под топором
    Редеет.

Сентябрь 1910

* * *

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
    Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,
    Не дыша.

Снится — снова я мальчик, и снова любовник,
И овраг, и бурьян,
И в бурьяне — колючий шиповник,
И вечерний туман.

Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое,
Глянет небо опять, розовея от краю до краю,
И окошко твое.

Этот голос — он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.

2 мая 1912

Сны

И пора уснуть, да жалко:
Не хочу уснуть!
Конь качается качалка,
На коня б скакнуть!

Луч лампадки, как в тумане,
Раз-два, раз-два, раз!..
Идет конница... а няня
Тянет свой рассказ...

Внемлю сказке древней, древней
О богатырях,
О заморской, о царевне,
О царевне... ах...

Раз-два, раз-два! Конник в латах
Трогает коня
И манит и мчит куда-то,
За собой меня...

За моря, за океаны
Он манит и мчит,
В дымно-синие туманы,
Где царевна спит...

Спит в хрустальной, спит в кроватке
Долгих сто ночей,
И зеленый свет лампадки
Светит в очи ей...

Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,
Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены...

С кем там бьется конник гневный,
Бьется семь ночей?
На седьмую — над царевной
Светлый круг лучей...

И сквозь дремные покровы
Стелятся лучи,
О тюремные засовы
Звякают ключи...

Сладко дремлется в кроватке.
Дремлешь? — Внемлю... сплю.
Луч зеленый, луч лампадки,
Я тебя люблю!

Октябрь 1912



Новая Америка

Праздник радостный, праздник великий,
Да звезда из-за туч не видна...
Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.

За снегами, лесами, степями
Твоего мне не видно лица.
Только ль страшный простор пред очами,
Непонятная ширь без конца?

Утопая в глубоком сугробе,
Я на утлые санки сажусь.
Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами — кресты, да кресты...

Только ладан твой синий и росный
Просквозит мне порою иным...
Нет, не старческий лик и не постный
Под московским платочком цветным!

Сквозь земные поклоны, да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —
Шепотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои...

Дальше, дальше... И ветер рванулся,
Черноземным летя пустырем...
Куст дорожный по ветру метнулся,
Словно дьякон взмахнул орарем...

А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды в далекой дали...

Иль опять это — стан половецкий
И татарская буйная крепь?
Не пожаром ли фески турецкой
Забуянила дикая степь?

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...

Нет, не вьются там пó ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер,— и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

На пустынном просторе, на диком
Ты всё та, что была, и не та,

Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Черный уголь — подземный мессия,
Черный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!

Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воет руда...
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

12 декабря 1913

* * *

Моей матери

Ветер стих, и слава заревая
    Облекла вон те пруды.
Вон и схимник. Книгу закрывая,
    Он смиренно ждет звезды.

Но бежит шоссейная дорога,
    Убегает вбок...
Дай вздохнуть, помедли, ради бога,
    Не хрусти, песок!

Славой золотеет заревою
    Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою?
    Да и что за жизнь без клобука?..

И опять влечет неудержимо
    Вдаль из тихих мест
Путь шоссейный, пробегая мимо,
    Мимо инока, прудов и звезд...

Август 1914

Последнее напутствие

Боль проходит понемногу,
Не навек она дана.

Есть конец мятежным стонам.
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина.

Ты смежил больные вежды,
Ты не ждешь — она вошла.
Вот она — с хрустальным звоном
Преисполнила надежды,
Светлым кругом обвела.

Слышишь ты сквозь боль мучений,
Точно друг твой, старый друг,
Тронул сердце нежной скрипкой?
Точно легких сновидений
Быстрый рой домчался вдруг?

Это — легкий образ рая,
Это — милая твоя.
Ляг на смертный одр с улыбкой.
Тихо грезить, замыкая
Круг постылый бытия.

Протянуться без желаний,
Улыбнуться навсегда,
Чтоб в последний раз проплыли
Мимо, сонно, как в тумане,
Люди, зданья, города...

Чтобы звуки, чуть тревожа
Легкой музыкой земли,
Прозвучали, потомили
Над последним миром ложа
И в иное увлекли...

Лесть, коварство, слава, злато —
Мимо, мимо, навсегда...
Человеческая тупость —
Всё, что мучило когда-то,
Забавляло иногда...

И опять — коварство, слава,
Злато, лесть, всему венец —
Человеческая глупость,
Безысходна, величава,
Бесконечна... Что ж, конец?

Нет... еще леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

А когда пройдет всё мимо,
Чем тревожила земля,
Та, кого любил ты много,
Поведет рукой любимой
В Елисейские поля.

14 мая 1914

* * *

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.

А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

26 августа 1914

* * *

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.

И, садясь, запевали *Варяга* одни,
А другие — не в лад — *Ермака*,
И кричали *ура*, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило *ура* без конца.

Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей всё неслось к нам *ура*,
В грозном клике звучало: *пора*!

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...

1 сентября 1914

* * *

Я не предал белое знамя,
Оглушенный криком врагов,

Ты прошла ночными путями,
Мы с тобой — одни у валов.

Да, ночные пути, роковые,
Развели нас и вновь свели,
И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чужой земли.

Крест и насыпь могилы братской,
Вот где ты теперь, тишина!
Лишь щемящей песни солдатской
Издали несется волна.

А вблизи — всё пусто и немо,
В смертном сне — враги и друзья.
И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

3 декабря 1914

* * *

З. Н. Гиппиус

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата,
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье,—
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твое!

8 сентября 1914

* * *

Дикий ветер
Стекла гнет,
Ставни с петель
Буйно рвет.

Час заутрени пасхальной,
Звон далекий, звон печальный,
Глухота и чернота:
Только ветер, гость нахальный,
Потрясает ворота.

За окном черно и пусто,
Ночь полна шагов и хруста,
Там река ломает лед,
Там меня невеста ждет...

Как мне скинуть злую дрёму,
Как мне гостя отогнать?
Как мне милую — чужому,
Проклято́му не отдать?

Как не бросить все на свете,
Не отчаяться во всем,
Если в гости ходит ветер,
Только дикий черный ветер,
Сотрясающий мой дом?

Что ж ты, ветер,
Стекла гнешь?
Ставни с петель
Дико рвешь?

22 марта 1916



Коршун

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг.
В избушке мать над сыном тужит:
«На́ хлеба, на́, на́ грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.—
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

22 марта 1916



ВОЗМЕЗДИЕ

Юность — это возмездие.

Ибсен

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в года, когда революция уже произошла, я хочу предпослать наброску последней главы рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причины ее возникновения, откуда произошли ее ритмы.

Интересно и небесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и — увы! — забыть их нельзя,— они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы и не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах.

Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году. Что это были за годы?

1910 год — это смерть Коммиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Коммиссаржевской умерла лирическая нота на сцене; с Врубелем — громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий — вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность — мудрая человечность.

Далее, 1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек — но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то «первозданный Адам».

Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые вырастало сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также — в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею.

Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения. Ясно стал слышен северный жесткий голос Стриндберга, которому остался всего год жизни. Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Весной 1911 года П. Н. Милюков прочел интереснейшую лекцию под заглавием «Вооруженный мир и сокращение вооружений». В одной из московских газет появилась пророческая статья: «Близость большой войны». В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Летом этого года, исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодорожных рабочих, в Средиземном море — разыгрался знаменательный эпизод «Пантера — Агадир».

Неразрывно со всем этим связан для меня расцвет французской борьбы в петербургских цирках; тысячная толпа проявляла исключительный интерес к ней; среди борцов были истинные художники; я никогда не забуду борьбы безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мускульная система которого представляла из себя совершеннейший музыкальный инструмент редкой красоты.

В этом именно году, наконец, была в особенной моде у нас авиация; все мы помним ряд красивых воздушных петель, полетов вниз головой,— падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов.

Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции.

Все эти факты, казалось бы столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор.

Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был *ямб*. Вероятно, потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время.

Тогда мне пришлось начать постройку большой поэмы под названием «Возмездие». Ее план представлялся мне в виде концентрических кругов, которые становились всё у́же и у́же, и самый маленький круг, съежившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать на периферию. Такова была жизнь чертежа, который мне рисовался,— в сознание и на слова я это стараюсь перевести лишь сейчас; тогда это присутствовало преимущественно в понятии музыкальном и мускульном; о мускульном сознании я говорю недаром, потому что в то время всё движение и развитие поэмы для меня тесно соединилось с развитием мускульной системы. При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые — бицепсы, а потом уже — постепенно — более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и ее основная идея, и тема.

Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой; но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто

более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д.; ценою, наконец, потери тех бесконечно высоких свойств, которые в свое время сияли, как лучшие алмазы в человеческой короне (как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная честность, высокая нравственность и проч.).

Словом, мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек — и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду; таким образом, род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человечьей ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него...

Что же дальше? Не знаю, и никогда не знал; могу сказать только, что вся эта концепция возникла под давлением всё растущей во мне ненависти к различным теориям прогресса.

Такую идею я хотел воплотить в моих «Rougon-Macquar'ах» в малом масштабе, в коротком обрывке рода русского, живущего в условиях русской жизни: «Два-три звена, и уже видны заветы темной старины»... Путем катастроф и падений мои «Rougon-Macquar'ы» постепенно освобождаются от русско-дворянского éducation sentimentale *, «уголь превращается в алмаз», Россия — в новую Америку; в новую, а не в старую Америку.

Поэма должна была состоять из пролога, трех больших глав и эпилога. Каждая глава обрамлена описанием событий мирового значения; они составляют ее фон.

Первая глава развивается в 70-годах прошлого века, на фоне русско-турецкой войны и народовольческого движения, в просвещенной либеральной семье; в эту семью является некий «демон», первая ласточка «индивидуализма», человек, похожий на Байрона, с какими-то нездешними порываниями и стремлениями, притупленными, однако, болезнью века, начинающимся fin de siècle **.

Вторая глава, действие которой развивается в конце XIX и начале XX века, так и не написанная, за исключением вступления, должна была быть посвящена сыну этого «демона», наследнику его мятежных порывов и болезненных падений,— бесчувственному сыну нашего века. Это — тоже лишь одно из звеньев длинного рода; от него тоже не останется, по-видимому, ничего, кроме искры огня, заброшенной в мир, кроме семени, кинутого им в страстную и грешную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа.

В третьей главе описано, как кончил жизнь отец, что сталось с бывшим блестящим «демоном», в какую бездну упал этот яркий когда-то человек. Действие поэмы переносится из русской столицы, где оно до сих пор развивалось, в Варшаву — кажущуюся сначала «задворками России», а потом призванную, по-видимому, играть некую мессианическую роль, связанную с судьбами забытой богом и истерзанной Польши. Тут, над свежей могилой отца, заканчивается развитие и

---

* Чувствительного воспитания (*фр.*).

** Концом века (*фр.*).

жизненный путь сына, который уступает место собственному отпрыску, третьему звену всё того же высоко взлетающего и низко падающего рода.

В эпилоге должен быть изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чем не ведающая. Но она баюкает и кормит грудью сына, и сын растет; он начинает уже играть, он начинает повторять по складам вслед за матерью: «И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот».

Вот, по-видимому, круг человеческой жизни, съежившийся до предела, последнее звено длинной цепи; тот круг, который сам, наконец, начнет топорщиться, давить на окружающую среду, на периферию; вот отпрыск рода, который, может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю.

Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом «возмездия»; этот лейтмотив есть *мазурка*, танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах. В первой главе этот танец легко доносится из окна какой-то петербургской квартиры — глухие 70-е годы; во второй главе танец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских шпор, подобный пене шампанского fin de siècle, знаменитой veuve Clicquot *; еще более глухие — цыганские, апухтинские годы; наконец, в третьей главе мазурка разгулялась: она звенит в снежной вьюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенными снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос Возмездия.

12 июля 1919

Пролог

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет,— поймешь, где тьма.
Пускай же всё пройдет неспешно,

* Вдова Клико (*фр.*) — фамилия владелицы фирмы, производившей шампанские вина.

Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Так Зигфрид правит меч над горном:
То в красный уголь обратит,
То быстро в воду погрузит —
И зашипит, и станет черным
Любимцу вверенный клинок...
Удар — он блещет, Нотунг верный,
И Миме, карлик лицемерный,
В смятеньи падает у ног!

Кто меч скует? — Не знавший страха.
А я беспомощен и слаб,
Как все, как вы,— лишь умный раб,
Из глины созданный и праха,—
И мир — он страшен для меня.
Герой уж не разит свободно,—
Его рука — в руке народной,
Стоит над миром столб огня,
И в каждом сердце, в мысли каждой —
Свой произвол и свой закон...
Над всей Европою дракон,
Разинув пасть, томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?..
Не ведáем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
И пахнет гарью. Там — пожар.

Но песня — песнью всё пребудет,
В толпе всё кто-нибудь поет.
Вот — голову его на блюде
Царю плясунья подает;
Там — он на эшафоте черном
Слагает голову свою;
Здесь — именем клеймят позорным
Его стихи... И я пою,—
Но не за вами суд последний,
Не вам замкнуть мои уста!..
Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит; я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.

Ты, поразившая Денницу,

Благослови на здешний путь!
Позволь хоть малую страницу
Из книги жизни повернуть.
Дай мне неспешно и нелживо
Поведать пред Лицом Твоим
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом — юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа.
Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода —
Два-три звена,— и уж ясны
Заветы темной старины:
Созрела новая порода,—
Угль превращается в алмаз.
Он, под киркой трудолюбивой,
Восстав из недр неторопливо,
Предстанет — миру напоказ!
Так бей, не знай отдохновенья,
Пусть жила жизни глубока:
Алмаз горит издалека —
Дроби, мой гневный ямб, каменья!

Первая глава

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий
Бескровных душ и слабых тел!
С тобой пришли чуме на смену
Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций,
И малодейственных умов,
И дарований половинных
(Так справедливей — пополам!),
Век не салонов, а гостиных,

Не Рекамье,— а просто дам...
Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...
А человек? — Он жил безвольно:
Не он — машины, города,
«Жизнь» так бескровно и безбольно
Пытала дух, как никогда...
Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран,—
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас:
Там — распри кровные решают
Дипломатическим умом,
Там — пушки новые мешают
Сойтись лицом к лицу с врагом,
Там — вместо храбрости — нахальство,
А вместо подвигов — «психоз»,
И вечно ссорится начальство,
И длинный громоздко́й обоз
Воло́чит за собой команда,
Штаб, интендантов, грязь кляня,
Рожком горниста — рог Роланда
И шлем — фуражкой заменя...
Тот век немало проклинали
И не устанут проклинать.
И как избыть его печали?
Он мягко стлал — да жестко спать...

Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,

Кующей гибель день и ночь,
Сознанье страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...

И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...
Что́ ж, человек? — За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
О чем — машин немолчный скрежет?
Зачем — пропеллер, воя, режет
Туман холодный — и пустой?

Теперь — за мной, читатель мой,
В столицу севера больную,
На отдаленный финский брег!

Уж осень семьдесят восьмую
Дотягивает старый век.
В Европе спорится работа,
А здесь — по-прежнему в болото
Глядит унылая заря...
Но в половине сентября
В тот год, смотри, как солнца много!
Куда народ валит с утра?
И до заставы всю дорогу
Горохом сыплется *ура*,
И Забалканский, и Сенная
Кишат полицией, толпой,
Крик, давка, ругань площадная...
За самой городской чертой,
Где светится золотоглавый
Новодевичий монастырь,
Заборы, бойни и пустырь
Перед Московскою заставой,—
Стена народу, тьма карет,
Пролетки, дрожки и коляски,

Султаны, кивера и каски,
Царица, двор и высший свет!
И пред растроганной царицей,
В осенней солнечной пыли,
Войска проходят вереницей
От рубежей чужой земли...
Идут, как будто бы с парада.
Иль не оставили следа
Недавний лагерь у Царьграда,
Чужой язык и города?
За ними — снежные Балканы,
Три Плевны, Шипка и Дубняк,
Незаживающие раны,
И хитрый и неслабый враг...
Вон — павловцы, вон — гренадеры
По пыльной мостовой идут;
Их лица строги, груди серы,
Блестит Георгий там и тут,
Разрежены их батальоны,
Но уцелевшие в бою
Теперь под рваные знамена
Склонили голову свою...
Конец тяжелого похода,
Незабываемые дни!
Пришли на родину они,
Они — средь своего народа!
Чем встретит их родной народ?
Сегодня — прошлому забвенье,
Сегодня — тяжкие виденья
Войны — пусть ветер разнесет!
И в час торжественный возврата
Они забыли обо всем:
Забыли жизнь и смерть солдата
Под неприятельским огнем,
Ночей, для многих — без рассвета,
Холодную, немую твердь,
Подстерегающую где-то —
И настигающую смерть,
Болезнь, усталость, боль и голод,
Свист пуль, тоскливый вой ядра,
Зальдевших ложементов холод,
Негреющий огонь костра,
И даже — бремя вечной розни
Среди штабных и строевых,
И (может, горше всех других)

Забыли интендантов козни...
Иль не забыли, может быть? —
Их с хлебом-солью ждут подносы,
Им речи будут говорить,
На них — цветы и папиросы
Летят из окон всех домов...
Да, дело трудное их — свято!
Смотри: у каждого солдата
На штык надет букет цветов!
У батальонных командиров —
Цветы на седлах, чепраках,
В петлицах выцветших мундиров,
На конских челках и в руках...

Идут, идут... Едва к закату
Придут в казармы: кто — сменять
На ранах корпию и вату,
Кто — нá вечер лететь, пленять
Красавиц, щеголять крестами,
Слова небрежные ронять,
Лениво шевеля усами
Перед униженным «штрюком»,
Играя новым темляком
На алой ленточке,— как дети...
Иль, в самом деле, люди эти
Так интересны и умны?
За что они вознесены
Так высоко, за что в них вера?

В глазах любого офицера
Стоят видения войны.
На их, обычных прежде, лицах
Горят заемные огни.
Чужая жизнь свои страницы
Перевернула им. Они
Все крещены огнем и делом;
Их речи об одном твердят:
Как Белый Генерал на белом
Коне, средь вражеских гранат,
Стоял, как призрак невредимый,
Шутя спокойно над огнем;
Как красный столб огня и дыма
Взвился над Горным Дубняком;
О том, как полковое знамя
Из рук убитый не пускал;

Как пушку горными тропами
Тащить полковник помогал;
Как царский конь, храпя, запнулся
Пред искалеченным штыком,
Царь посмотрел и отвернулся,
И заслонил глаза платком...
Да, им известны боль и голод
С простым солдатом наравне...
Того, кто побыл на войне,
Порой пронизывает холод —
То роковое *всё равно,*
Которое подготовляет
Чреду событий мировых
Лишь тем одним, что не мешает...
Всё отразится на таких
Полубезумною насмешкой...
И власть торопится скорей
Всех тех, кто перестал быть пешкой,
В тур превращать, или в коней...

А нам, читатель, не пристало
Считать коней и тур никак,
С тобой нас нынче затесало
В толпу глазеющих зевак,
Нас вовсе ликованье это
Заставило забыть вчера...
У нас в глазах пестрит от света,
У нас в ушах гремит *ура!*
И многие, забывшись слишком,
Ногами штатскими пылят,
Подобно уличным мальчишкам,
Близ марширующих солдат,
И этот чувств прилив мгновенный
Здесь — в петербургском сентябре!
Смотри: глава семьи почтенный
Сидит верхом на фонаре!
Его давно супруга кличет,
Напрасной ярости полна,
И, чтоб услышал, зонтик тычет,
Куда не след, ему она.
Но он и этого не чует
И, несмотря на общий смех,
Сидит, и в ус себе не дует,
Каналья, видит лучше всех!..
Прошли... В ушах лишь стонет эхо,

А всё — не разогнать толпу;
Уж с бочкой водовоз проехал,
Оставив мокрую тропу,
И ванька, тумбу огибая,
Напер на барыню — орет
Уже по этому случа́ю
Бегущий подсобить народ
(Городовой — свистки дает)...
Проследовали экипажи,
В казармах сыграна заря,—
И сам отец семейства даже
Полез послушно с фонаря,
Но, расходясь, все ждут чего-то...
Да, нынче, в день возврата их,
Вся жизнь в столице, как пехота,
Гремит по камню мостовых,
Идет, идет — нелепым строем,
Великолепна и шумна...

Пройдет одно — придет другое,
Вглядись — уже не та она,
И той, мелькнувшей, нет возврата,
Ты в ней — как в старой старине...

Замедлил бледный луч заката
В высоком, невзначай, окне.
Ты мог бы в том окне приметить
За рамой — бледные черты,
Ты мог бы некий знак заметить,
Которого не знаешь ты,
Но ты проходишь — и не взглянешь,
Встречаешь — и не узнаешь,
Ты за другими в сумрак канешь,
Ты за толпой вослед пройдешь.
Ступай, прохожий, без вниманья,
Свой ус лениво теребя,
Пусть встречный человек и зданье —
Как все другие — для тебя.
Ты занят всякими делами,
Тебе, конечно, невдомек,
Что вот за *этими* стенами
И твой скрываться может рок...
(Но, если б ты умом раскинул,
Забыв жену и самовар,
Со страху ты бы рот разинул
И сел бы прямо на троттуар!)

Смеркается. Спустились шторы.
Набита комната людьми,
И за прикрытыми дверьми
Идут глухие разговоры,
И эта сдержанная речь
Полна заботы и печали.
Огня еще не зажигали
И вовсе не спешат зажечь.
В вечернем мраке тонут лица,
Вглядись — увидишь ряд один
Теней неясных, вереницу
Каких-то женщин и мужчин.
Собранье не многоречиво,
И каждый гость, входящий в дверь,
Упорным взглядом молчаливо
Осматривается, как зверь.
Вот кто-то вспыхнул папироской:
Средь прочих — женщина сидит:
Большой ребячий лоб не скрыт
Простой и скромною прической,
Широкий белый воротник
И платье черное — всё просто,
Худая, маленького роста,
Голубоокий детский лик,
Но, как бы что найдя за далью,
Глядит внимательно, в упор,
И этот милый, нежный взор
Горит отвагой и печалью...
Кого-то ждут... Гремит звонок.
Неспешно отворяя двери,
Гость новый входит на порог:
В своих движениях уверен
И статен; мужественный вид;
Одет совсем как иностранец,
Изысканно; в руке блестит
Высокого цилиндра глянец;

Едва приметно затемнен
Взгляд карих глаз сурово-кроткий;
Наполеоновской бородкой
Рот беспокойный обрамлен;
Большеголовый, темновласый —
Красавец вместе и урод:
Тревожный передернут рот
Меланхолической гримасой.

И сонм собравшихся затих...
Два слова, два рукопожатья —
И гость к ребенку в черном платье
Идет, минуя остальных...
Он смотрит долго и любовно,
И крепко руку жмет не раз,
И молвит: «Поздравляю вас
С побегом, Соня... Софья Львовна!
Опять — на смертную борьбу!»
И вдруг — без видимой причины —
На этом странно-белом лбу
Легли глубоко две морщины...

Заря погасла. И мужчины
Вливают в чашу ром с вином,
И пламя синим огоньком
Под полной чашей побежало.
Над ней кладут крестом кинжалы.
Вот пламя ширится — и вдруг,
Взбежав над жженкой, задрожало
В глазах столпившихся вокруг...
Огонь, борясь с толпою мраков,
Лилово-синий свет бросал,
Старинной песни гайдамаков
Напев согласный зазвучал,
Как будто — свадьба, новоселье,
Как будто — всех не ждет гроза,—
Такое детское веселье
Зажгло суровые глаза...

Прошло одно — идет другое,
Проходит пестрый ряд картин.
Не замедляй, художник: вдвое
Заплатишь ты за миг один
Чувствительного промедленья,
И, если в этот миг тебя
Грозит покинуть вдохновенье,—
Пеняй на самого себя!
Тебе единым на потребу
Да будет — *пристальность* твоя.

В те дни под петербургским небом
Живет дворянская семья.
Дворяне — все родня друг другу,
И приучили их века

Глядеть в лицо другому кругу
Всегда немного свысока.
Но власть тихонько ускользала
Из их изящных белых рук,
И записались в либералы
Честнейшие из царских слуг,
А всё в брезгливости природной
Меж волей царской и народной
Они испытывали боль
Нередко от обеих воль.
Всё это может показаться
Смешным и устарелым нам,
Но, право, может только хам
Над русской жизнью издеваться.
Она всегда — меж двух огней.
Не всякий может стать героем,
И люди лучшие — не скроем —
Бессильны часто перед ней,
Так неожиданно сурова
И вечных перемен полна;
Как вешняя река, она
Внезапно тронуться готова,
На льдины льдины громоздить
И на пути своем крушить
Виновных, как и невиновных,
И нечиновных, как чиновных...

Так было и с моей семьей:
В ней старина еще дышала
И жить по-новому мешала,
Вознаграждая тишиной
И благородством запоздалым
(Не так в нем вовсе толку мало,
Как думать принято теперь,
Когда в любом семействе дверь
Открыта настежь зимней вьюге,
И ни малейшего труда
Не стоит изменить супруге,
Как муж, лишившейся стыда).
И *нигилизм* здесь был беззлобен,
И дух естественных наук
(Властей ввергающий в испуг)
Здесь был религии подобен.
«Семейство — вздор, семейство —
блажь»,—

Любили здесь примолвить гневно,
А в глубине души — всё та ж
«Княгиня Марья Алексевна»...
Живая память старины
Должна была дружить с неверьем —
И были все часы полны
Каким-то новым «двоеверьем»,
И заколдован был сей круг:
Свои словечки и привычки,
Над всем чужим — всегда кавычки,
И даже иногда — испуг;
А жизнь меж тем кругом менялась,
И зашаталось всё кругом,
И ветром новое врывалось
В гостеприимный старый дом:
То нигилист в косоворотке
Придет и нагло спросит водки,
Чтоб возмутить семьи покой
(В том видя долг гражданский свой),
А то — и гость весьма чиновный
Вбежит совсем не хладнокровно
С «Народной волею» в руках —
Советоваться впопыхах,
Что́ неурядиц всех причиной?
Что́ предпринять пред «годовщиной»?
Как урезонить молодежь,
Опять поднявшую галдеж? —
Всем ведомо, что в доме этом
И обласкают, и поймут,
И благородным мягким светом
Всё осветят и обольют...

Жизнь старших близится к закату.
(Что ж, как полудня ни жалей,
Не остановишь ты с полей
Ползущий дым голубоватый).
Глава семьи — сороковых
Годов соратник; он поныне,
В числе людей передовых,
Хранит гражданские святыни,
Он с николаевских времен
Стоит на страже просвещенья,
Но в буднях нового движенья
Немного заплутался он...
Тургеневская безмятежность

Ему сродни; еще вполне
Он понимает толк в вине,
В еде ценить умеет нежность;
Язык французский и Париж
Ему своих, пожалуй, ближе
(Как всей Европе: поглядишь —
И немец грезит о Париже),
И — ярый западник во всем —
В душе он — старый барин русский,
И убеждений склад французский
Со многим не мирится в нем;
Он на обедах у Бореля
Брюжжит не плоше Щедрина:
То — недоварены форели,
А то — уха им не жирна.
Таков закон судьбы железной:
Нежданный, как цветок над бездной,
Очаг семейный и уют...

В семье нечопорно растут
Три дочки: старшая — томится
И над кипсэком мужа ждет,
Второй — всегда не лень учиться,
Меньшая — скачет и поет,
Велит ей нрав живой и страстный
Дразнить в гимназии подруг
И косоплеткой ярко-красной
Вводить начальницу в испуг...
Вот подросли: их в гости водят,
В карете возят их на бал;

Уж кто-то возле окон ходит,
Меньшой записку подослал
Какой-то юнкер шаловливый —
И первых слез так сладок пыл,
А старшей — чинной и стыдливой —
Внезапно руку предложил
Вихрастый идеальный малый;
Ее готовят под венец...
«Смотри, он дочку любит мало,—
Ворчит и хмурится отец,—
Смотри, не нашего он круга...»
И втайне с ним согласна мать,
Но ревность к дочке друг от друга
Они стараются скрывать...
Торопит мать наряд венчальный,

Приданое поспешно шьют,
И на обряд (обряд печальный)
Знакомых и родных зовут...
Жених — противник всех обрядов
(Когда «страдает так народ»).
Невеста — точно тех же взглядов:
Она — с ним об руку пойдет,
Чтоб вместе бросить луч прекрасный,
«Луч света в царство темноты»
(И лишь венчаться не согласна
Без флер д'оранжа и фаты).
Вот — с мыслью о гражданском браке,
С челом мрачнее сентября,
Нечесаный, в нескладном фраке
Он предстоит у алтаря,
Вступая в брак «принципиально»,—
Сей новоявленный жених.
Священник старый, либеральный,
Рукой дрожащей крестит их,
Ему, как жениху, невнятны
Произносимые слова,
А у невесты — голова
Кружи́тся; розовые пятна
Пылают на ее щеках,
И слезы тают на глазах...

Пройдет неловкая минута —
Они воротятся в семью,
И жизнь, при помощи уюта,
В свою вернется колею;
Им рано в жизнь; еще не скоро
Здоровым горбиться плечам;
Не скоро из ребячьих споров
С товарищами по ночам
Он выйдет, честный, на соломе
В мечтах почиющий жених...
В гостеприимном добром доме
Найдется комната для них,
А разрушение уклада
Ему, пожалуй, не к лицу:
Семейство просто будет радо
Ему, как новому жильцу,
Всё обойдется понемногу:
Конечно, младшей по нутру
Народницей и недотрогой

Дразнить замужнюю сестру,
Второй — краснеть и заступаться,
Сестру резоня и уча,
А старшей — томно забываться,
Склонясь у мужнина плеча;
Муж в это время спорит втуне,
Вступая в разговор с отцом
О социализме, о коммуне,
О том, что некто — «подлецом»
Отныне должен называться
За то, что совершил донос...
И вечно будет разрешаться
«Проклятый и больной вопрос»...

Нет, вешний лед круша, не смоет
Их жизни быстрая река:
Она оставит на покое
И юношу, и старика —
Смотреть, как будет лед носиться,
И как ломаться будет лед,
И им обоим будет сниться,
Что их «народ зовет вперед»...
Но эти детские химеры
Не помешают наконец
Кой-как приобрести манеры
(От этого не прочь отец),

Косоворотку на манишку
Сменить, на службу поступить,
Произвести на свет мальчишку,
Жену законную любить,
И, на посту не стоя «славном»,
Прекрасно исполнять свой долг
И быть чиновником исправным,
Без взяток видя в службе толк...
Да, этим в жизнь — до смерти рано;
Они похожи на ребят:
Пока не крикнет мать,— шалят;
Они — «не моего романа»:
Им — всё учиться, да болтать,
Да услаждать себя мечтами,
Но им навеки не понять
Тех, *с обреченными глазами:*
Другая стать, другая кровь —
Иная (жалкая) любовь...

Так жизнь текла в семье. Качали
Их волны. Вешняя река
Неслась — темна и широка,
И льди́ны грозно нависали,
И вдруг, помедлив, огибали
Сию старинную ладью...
Но скоро про́бил час туманный —
И в нашу дружную семью
Явился незнакомец странный.

Встань, выйди по́утру на луг:
На бледном небе ястреб кружит,
Чертя за кругом плавный круг,
Высматривая, где похуже
Гнездо припрятано в кустах...
Вдруг — птичий щебет и движенье...
Он слушает... еще мгновенье —
Слетает на прямых крылах...
Тревожный крик из гнезд соседних,
Печальный писк птенцов последних,
Пух нежный по́ ветру летит —
Он жертву бедную когтит...
И вновь, взмахнув крылом огромным,
Взлетел — чертить за кругом круг,
Несытым оком и бездомным
Осматривать пустынный луг...
Когда ни взглянешь,— кружит, кружит...

Россия-мать, как птица, тужит
О детях; но — ее судьба,
Чтоб их терзали ястреба.

На вечерах у Анны Вре́вской
Был общества отборный цвет.
Больной и грустный Достоевский
Ходил сюда на склоне лет
Суровой жизни скрасить бремя,
Набраться сведений и сил
Для «Дневника». (Он в это время
С Победоносцевым дружил.)
С простертой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи.
Какой-то экс-министр смиренно
Здесь исповедовал грехи.
И ректор университета

Бывал ботаник здесь Бекетов,
И многие профессора,
И слуги кисти и пера,
И также — слуги царской власти,
И недруги ее отчасти,
Ну, словом, можно встретить здесь
Различных состояний смесь.
В салоне этом без утайки,
Под обаянием хозяйки,
Славянофил и либерал
Взаимно руку пожимал
(Как, впрочем, водится издавна
У нас, в России православной:
Всем, слава богу, руку жмут).
И всех — не столько разговором,
Сколь оживленностью и взором,—
Хозяйка в несколько минут
К себе привлечь могла на диво.
Она, действительно, слыла
Обворожительно-красивой,
И вместе — добрая была.
Кто с Анной Павловной был связан,—
Всяк помянет ее добром
(Пока еще молчать обязан
Язык писателей о том).
Вмещал немало молодежи
Ее общественный салон:
Иные — в убежденьях схожи,
Тот — попросту в нее влюблен,
Иной — с конспиративным делом...
И всем нужна она была,
Все приходили к ней,— и смело
Она участие брала
Во всех вопросах без изъятья,
Как и в опасных предприятьях...
К ней также из семьи моей
Всех трех возили дочерей.

Средь пожилых людей и чинных,
Среди зеленых и невинных —
В салоне Вревской был как свой
Один ученый молодой.
Непринужденный гость, привычный —
Он был со многими на «ты».
Его отмечены черты

Печатью не совсем обычной.
Раз (он гостиной проходил)
Его заметил Достоевский.
«Кто сей красавец? — он спросил
Негромко, наклонившись к Вревской: —
Похож на Байрона».— Словцо
Крылатое все подхватили,
И все на новое лицо
Свое вниманье обратили.
На сей раз милостив был свет,
Обыкновенно — столь упрямый;
«Красив, умен» — твердили дамы,
Мужчины морщились: «поэт»...
Но, если морщатся мужчины,
Должно быть, зависть их берет...
А чувств прекрасной половины
Никто, сам чорт, не разберет...
И дамы были в восхищеньи:
«Он — Байрон, значит — демон...» —
Что ж?
Он впрямь был с гордым лордом схож
Лица надменным выраженьем
И чем-то, что хочу назвать
Тяжелым пламенем печали.
(Вообще, в нем странность замечали —
И всем хотелось замечать.)
Пожалуй, не было, к несчастью,
В нем только *воли* этой... Он
Одной какой-то тайной страстью,
Должно быть, с лордом был сравнен:
Потомок поздний поколений,
В которых жил мятежный пыл
Нечеловеческих стремлений,—
На Байрона он походил,
Как брат болезненный на брата
Здорового порой похож:
Тот самый отсвет красноватый,
И выраженье власти то ж,
И то же порыванье к бездне.
Но — тайно околдован дух
Усталым холодом болезни,
И пламень действенный потух,
И воли бешеной усилья
Отягчены сознаньем.
Так

Вращает хищник мутный зрак,
Больные расправляя крылья.

«Как интересен, как умен»,—
За общим хором повторяет
Меньшая дочь. И уступает
Отец. И в дом к ним приглашен
Наш новоявленный Байрóн.
И приглашенье принимает.

В семействе принят, как родной,
Красивый юноша. Вначале
В старинном доме над Невой
Его, как гостя, привечали,
Но скоро стариков привлек
Его дворянский склад старинный,
Обычай вежливый и чинный:
Хотя свободен и широк
Был новый лорд в своих воззреньях,
Но вежливость он соблюдал
И дамам ручки целовал
Он без малейшего презренья.
Его блестящему уму
Противоречия прощали,
Противоречий этих тьму
По доброте не замечали,
Их затмевал таланта блеск,
В глазах какое-то горенье...
(Ты слышишь сбитых крыльев треск? —
То хищник напрягает зренье...)
С людьми его еще тогда
Улыбка юности роднила,
Еще в те ранние года
Играть легко и можно было...
Он тьмы своей не ведал сам...

Он в доме запросто обедал
И часто всех по вечерам
Живой и пламенной беседой
Пленял. (Хоть он юристом был,
Но поэтическим примером
Не брезговал: Констан дружил
В нем с Пушкиным, и Штейн — с Флобером.)
Свобода, право, идеал —
Всё было для него не шуткой,

Ему лишь было втайне жутко:
Он, утверждая, отрицал
И утверждал он, отрицая.
(Всё б — в крайностях бродить уму,
А середина золотая
Всё не давалася ему!)
Он ненавистное — любовью
Искал порою окружить,
Как будто труп хотел налить
Живой, играющею кровью...
«Талант» — твердили все вокруг,—
Но, не гордясь (не уступая),
Он странно омрачался вдруг...
Душа больная, но младая,
Страшась себя (она права),
Искала утешенья: чу́жды
Ей становились все слова...
(О, пыль словесная! Что нужды
В тебе? — Утешишь ты едва ль,
Едва ли разрешишь ты муки!) —
И на покорную рояль
Властительно ложились руки,
Срывая звуки, как цветы,
Безумно, дерзостно и смело,
Как женских тряпок лоскуты
С готового отдаться тела...
Прядь упадала на чело...
Он сотрясался в тайной дрожи...
(Всё, всё — как в час, когда на ложе
Двоих желание сплело...)
И там — за бурей музыкальной —
Вдруг возникал (как и тогда)
Какой-то образ — грустный, дальный,
Непостижимый никогда...
И крылья белые в лазури,
И неземная тишина...
Но эта тихая струна
Тонула в музыкальной буре...

Что ж стало? — Всё, что быть должно:
Рукопожатья, разговоры,
Потупленные долу взоры...
Грядущее отделено
Едва приметною чертою
От настоящего... Он стал

Своим в семье. Он красотою
Меньшую дочь очаровал.
И царство (царством не владея)
Он обещал ей. И ему
Она поверила, бледнея...
И дом ее родной в тюрьму
Он превратил (хотя нимало
С тюрьмой не сходствовал сей дом...).
Но чуждо, пусто, дико стало
Всё, прежде милое, кругом —
Под этим странным обаяньем
Сулящих новое речей,
Под этим демонским мерцаньем
Сверлящих пламенем очей...
Он — жизнь, он — счастье, он — стихия,
Она нашла героя в нем,—
И вся семья, и все родные
Претят, мешают ей во всем,
И всё ее волненье множит...
Она не ведает сама,
Что уж кокетничать не может.
Она — почти сошла с ума...
А он? —
Он медлит; сам не знает,
Зачем он медлит, для чего?
И ведь нимало не прельщает
Армейский демонизм его...
Нет, мой герой довольно тонок
И прозорлив, чтобы не знать,
Как бедный мучится ребенок,
Что счастие ребенку дать —
Теперь — в его единой власти...
Нет, нет... но замерли в груди
Доселе пламенные страсти,
И кто-то шепчет: погоди...
То — ум холодный, ум жестокий
Вступил в нежданные права...
То — муку жизни одинокой
Предугадала голова...
«Нет, он не любит, он играет,—
Твердит она, судьбу кляня,—
За что терзает и пугает
Он беззащитную, меня...
Он объясненья не торопит,
Как будто сам чего-то ждет...»

(Смотри: так хищник силы копит:
Сейчас — больным крылом взмахнет,
На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь
Уже от ужаса — безумной,
Дрожащей жертвы...) — Вот — любовь
Того вампирственного века,
Который превратил в калек
Достойных званья человека!

Будь трижды проклят, жалкий век!

Другой жених на этом месте
Давно отряс бы прах от ног,
Но мой герой был слишком честен
И обмануть ее не мог:
Он не гордился нравом странным,
И было знать ему дано,
Что демоном и Дон-Жуаном
В тот век вести себя — смешно...
Он много знал — себе на горе,
Слывя недаром «чудаком»
В том дружном человечьем хоре,
Который часто мы зовем
(Промеж себя) — бараньим стадом...
Но — «глас народа — божий глас»,
И это чаще помнить надо,
Хотя бы, например, сейчас:
Когда б он был глупей немного
(Его ль, однако, в том вина?),—
Быть может, лучшую дорогу
Себе избрать могла она,
И, может быть, с такою нежной
Дворянской девушкой связав
Свой рок холодный и мятежный,—
Герой мой был совсем не прав...

Но всё пошло неотвратимо
Своим путем. Уж лист, шурша,
Крутился. И неудержимо
У дома старилась душа.
Переговоры о Балканах
Уж дипломаты повели,
Войска пришли и спать легли,
Нева закуталась в туманах,

И штатские пошли дела,
И штатские пошли вопросы:
Аресты, обыски, доносы
И покушенья — без числа...
И книжной крысой настоящей
Мой Байрон стал средь этой мглы;
Он диссертацией блестящей
Стяжал отменные хвалы
И принял кафедру в Варшаве...
Готовясь лекции читать,

Запутанный в гражданском праве,
С душой, начавшей уставать,—
Он скромно предложил ей руку,
Связал ее с своей судьбой
И в даль увез ее с собой,
Уже питая в сердце скуку,—
Чтобы жена с ним до звезды
Делила книжные труды...

Прошло два года. Грянул взрыв
С Екатеринина канала.
Россию облаком покрыв.
Всё издалёка предвещало,
Что час свершится роковой,
Что выпадет такая карта...
И этот века час дневной —
Последний — назван *первым марта.*

В семье — печаль. Упразднена
Как будто часть ее большая:
Всех веселила дочь меньшая,
Но из семьи ушла она,
А жить — и путанно, и трудно:
То — над Россией дым стоит...
Отец, седея, в дым глядит...
Тоска! От дочки вести скудны...
Вдруг — возвращается она...
Что с ней? Как стан прозрачный тонок!
Худа, измучена, бледна...
И на руках лежит ребенок.

Вторая глава

⟨Вступление⟩

I

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно,—
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти...
Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный...
Колдун одной рукой кадил,
И струйкой синей и кудрявой
Курился росный ладан... Но —
Он клал другой рукой костлявой
Живые души под сукно.

II

В те незапамятные годы
Был Петербург еще грозней,
Хоть не тяжеле, не серей
Под крепостью катила воды
Необозримая Нева...
Штык светил, плакали куранты,
И те же барыни и франты
Летели здесь на острова,
И так же конь чуть слышным смехом
Коню навстречу отвечал,
И черный ус, мешаясь с мехом,
Глаза и губы щекотал...

Я помню, так и я, бывало,
Летал с тобой, забыв весь свет,
Но... право, проку в этом нет,
Мой друг, и счастья в этом мало...

III

Востока страшная заря
В те годы чуть еще алела...
Чернь петербургская глазела
Подобострастно на царя...
Народ толпился в самом деле,
В медалях кучер у дверей
Тяжелых горячил коней,
Городовые на панели
Сгоняли публику... «Ура»
Заводит кто-то голосистый,
И царь — огромный, водянистый —
С семейством едет со двора...
Весна, но солнце светит глупо,
До Пасхи — целых семь недель,
А с крыш холодная капель
Уже за воротник мой тупо
Сползает, спину холодя...
Куда ни повернись, всё ветер...
«Как тошно жить на белом свете»,—
Бормочешь, лужу обходя;
Собака под ноги суется,
Калоши сыщика блестят,
Вонь кислая с дворов несется,
И «князь» орет: «Халат, халат!»
И встретившись лицом с прохожим,
Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же
В его глазах не прочитал...

IV

Но перед майскими ночами
Весь город погружался в сон,
И расширялся небосклон;
Огромный месяц за плечами
Таинственно румянил лик
Перед зарей необозримой...

О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?..
Ты помнишь: выйдя ночью белой
Туда, где в море сфинкс глядит,
И на обтесанный гранит
Склонясь главой отяжелелой,
Ты слышать мог: вдали, вдали,
Как будто с моря, звук тревожный,
Для божьей тверди невозможный
И необычный для земли...
Провидел ты всю даль, как ангел
На шпиле крепостном; и вот —
(Сон, или явь): чудесный флот,
Широко развернувший фланги,
Внезапно заградил Неву...
И Сам Державный Основатель
Стоит на головном фрегате...
Так снилось многим наяву...
Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?..
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...
Да и народу не бывало
На площади в сей дивный миг
(Один любовник запоздалый
Спешил, поднявши воротник...),
Но в алых струйках за кормами
Уже грядущий день сиял,
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл,
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя Девятым января...

Третья глава

Отец лежит в «Аллее Роз» *,
Уже с усталостью не споря,
А сына поезд мчит в мороз
От берегов родного моря...
Жандармы, рельсы, фонари,

* Улица в Варшаве.

Жаргон и пейсы вековые,—
И вот — в лучах больной зари
Задворки польские России...
Здесь всё, что было, всё, что есть,
Надуто мстительной химерой;
Коперник сам лелеет месть,
Склоняясь над пустою сферой...
«Месть! Месть!» — в холодном чугуне
Звенит, как эхо, над Варшавой:
То Пан-Мороз на злом коне
Бряцает шпорою кровавой...
Вот оттепель: блеснет живей
Край неба желтизной ленивой,
И очи панн чертя́т смелей
Свой круг ласкательный и льстивый...
Но всё, что в небе, на земле,
По-прежнему полно печалью...
Лишь рельс в Европу в мокрой мгле
Поблескивает честной сталью.

Вокзал заплеванный; дома,
Коварно преданные вьюгам;
Мост через Вислу — как тюрьма,
Отец, сраженный злым недугом,—
Всё внове баловню судеб;
Ему и в этом мире скудном
Мечтается о чем-то чудном;
Он хочет в камне видеть хлеб,
Бессмертья знак — на смертном ложе,
За тусклым светом фонаря
Ему мерещится заря
Твоя, забывший Польшу, боже! —
Что́ здесь он с юностью своей?
О чем у ветра жадно просит? —
Забытый лист осенних дней
Да пыль сухую ветер носит!
А ночь идет, ведя мороз,
Усталость, сонные желанья...
Как улиц гадостны названья!
Вот, наконец, «Аллея Роз»!..—
Неповторимая минута:
Больница в сон погружена,—
Но в раме светлого окна
Стоит, оборотясь к кому-то,
Отец... и сын, едва дыша,

Глядит, глазам не доверяя...
Как будто в смутном сне душа
Его застыла молодая,
И злую мысль не отогнать:
«Он жив еще!.. В чужой Варшаве
С ним разговаривать о праве,
Юристов с ним критиковать!..»
Но всё — одной минуты дело:
Сын быстро ищет ворота
(Уже больница заперта),
Он за звонок берется смело
И входит... Лестница скрипит...
Усталый, грязный от дороги,
Он по ступенькам вверх бежит
Без жалости и без тревоги...
Свеча мелькает... Господин
Загородил ему дорогу
И, всматриваясь, молвит строго:
«Вы — сын профессора?» — «Да, сын...»
Тогда (уже с любезной миной):
«Прошу вас. В пять он умер. Там...»

Отец в гробу был сух и прям.
Был нос прямой — а стал орлиный.
Был жалок этот смятый одр,
И в комнате, чужой и тесной,
Мертвец, собравшийся на смотр,
Спокойный, желтый, бессловесный...
«Он славно отдохнет теперь»,—
Подумал сын, спокойным взглядом
Смотря в отворенную дверь...
(С ним кто-то неотлучно рядом
Глядел туда, где пламя свеч,
Под веяньем неосторожным
Склоняясь, озарит тревожно
Лик желтый, туфли, узость плеч,—
И, выпрямляясь, слабо чертит
Другие тени на стене...
А ночь стоит, стоит в окне...)
И мыслит сын: «Где ж праздник Смерти?
Отцовский лик так странно тих...
Где язвы дум, морщины муки,
Страстей, отчаянья и скуки?
Иль смерть смела бесследно их?» —
Но все утомлены. Покойник

Сегодня может спать один.
Ушли родные. Только сын
Склонен над трупом... Как разбойник,
Он хочет осторожно снять
Кольцо с руки оцепенелой...
(Неопытному трудно смело
У мертвых пальцы разгибать.)
И только преклонив колени
Над самой грудью мертвеца,
Увидел он, *какие* тени
Легли вдоль этого лица...
Когда же с непокорных пальцев
Кольцо скользнуло в жесткий гроб,
Сын окрестил отцовский лоб,
Прочтя на нем печать скитальцев,
Гонимых пó миру судьбой...
Поправил руки, образ, свечи,
Взглянул на вскинутые плечи
И вышел, молвив: «Бог с тобой».
Да, сын любил тогда отца
Впервой — и, может быть, в последний,
Сквозь скуку панихид, обедней,
Сквозь пошлость жизни без конца...
Отец лежал не очень строго:
Торчал измятый клок волос;
Всё шире с тайною тревогой
Вскрывался глаз, сгибался нос;
Улыбка жалкая кривила
Неплотно сжатые уста...
Но разложенье — красота
Неизъяснимо победила...
Казалось, в этой красоте
Забыл он долгие обиды
И улыбался суете
Чужой военной панихиды...
А чернь старалась, как могла:
Над гробом говорили речи;
Цветками дама убрала
Его приподнятые плечи;
Потом на ребра гроба лег
Свинец полоскою бесспорной
(Чтоб он, воскреснув, встать не мог).
Потом, с печалью непритворной,
От паперти казенной прочь
Тащили гроб, давя друг друга...

Бесснежная визжала вьюга.
Злой день сменяла злая ночь.

По незнакомым площадям
Из города в пустое поле
Все шли за гробом по пятам...
Кладби́ще называлось: «Воля».
Да! Песнь о воле слышим мы,
Когда могильщик бьет лопатой
По глыбам глины желтоватой;
Когда откроют дверь тюрьмы;
Когда мы изменяем женам,
А жены — нам; когда, узнав
О поруганьи чьих-то прав,
Грозим министрам и законам
Из запертых на ключ квартир;
Когда проценты с капитала
Освободят от идеала;
Когда...— На кладбище был мир,
И впрямь пахнуло чем-то вольным:
Кончалась скука похорон,
Здесь радостный галдеж ворон
Сливался с гулом колокольным...
Как пусты ни были сердца,
Все знали: эта жизнь — сгорела...
И даже солнце поглядело
В могилу бедную отца.

Глядел и сын, найти пытаясь
Хоть в желтой яме что-нибудь...
Но всё мелькало, расплываясь,
Слепя глаза, стесняя грудь...
Три дня — как три тяжелых года!
Он чувствовал, как стынет кровь...
Людская пошлость? Иль — погода?
Или — сыновняя любовь? —
Отец от первых лет сознанья
В душе ребенка оставлял
Тяжелые воспоминанья —
Отца он никогда не знал.
Они встречались лишь случайно,
Живя в различных городах,
Столь чуждые во всех путях
(Быть может, кроме самых тайных).

Отец ходил к нему, как гость,
Согбенный, с красными кругами
Вкруг глаз. За вялыми словами
Нередко шевелилась злость...
Внушал тоску и мысли злые
Его циничный, тяжкий ум,
Грязня туман сыновних дум.
(А думы глупые, младые...)
И только добрый льстивый взор,
Бывало, упадал украдкой
На сына, странною загадкой
Врываясь в нудный разговор...
Сын помнит: в детской, на диване
Сидит отец, куря и злясь;
А он, безумно расшалясь,
Вертится пред отцом в тумане...
Вдруг (злое, глупое дитя!) —
Как будто бес его толкает,
И он стремглав отцу вонзает
Булавку около локтя...
Растерян, побледнев от боли,
Тот дико вскрикнул...
Этот крик
С внезапной яркостью возник
Здесь, над могилою, на «Воле»,—
И сын очнулся... Вьюги свист;
Толпа; могильщик холм ровняет;
Шуршит и бьется бурый лист...
И женщина навзрыд рыдает
Неудержимо и светло...
Никто с ней не знаком. Чело
Покрыто траурной фатою.
Чтó там? Небесной красотою
Оно сияет? Или — там
Лицо старухи некрасивой,
И слезы катятся лениво
По провалившимся щекам?
И не она ль тогда в больнице
Гроб вместе с сыном стерегла?..
Вот, не открыв лица, ушла...
Чужой народ кругом толпится...
И жаль отца, безмерно жаль:
Он *тоже* получил от детства
Флобера странное наследство —

Éducation sentimentale *.

От панихид и от обедней
Избавлен сын; но в отчий дом
Идет он. Мы туда пойдем
За ним и бросим взгляд последний
На жизнь отца (чтобы уста
Поэтов не хвалили мира!).
Сын входит. Пасмурна, пуста
Сырая, темная квартира...
Привыкли чудаком считать
Отца — на то имели право:
На всем покоилась печать
Его тоскующего нрава;
Он был профессор и декан;
Имел ученые заслуги;
Ходил в дешевый ресторан
Поесть — и не держал прислуги;
По улице бежал бочком
Поспешно, точно пес голодный,
В шубенке никуда не годной
С потрепанным воротником;
И видели его сидевшим
На груде почернелых шпал;
Здесь он нередко отдыхал,
Вперяясь взглядом опустевшим
В прошедшее... Он «свел на нет»
Всё, что мы в жизни ценим строго:
Не освежалась много лет
Его убогая берлога;
На мебели, на грудах книг
Пыль стлалась серыми слоями;
Здесь в шубе он сидеть привык
И печку не топил годами;
Он всё берег и в кучу нес:
Бумажки, лоскутки материй,
Листочки, корки хлеба, перья,
Коробки из-под папирос,
Белья нестиранного груду,
Портреты, письма дам, родных
И даже то, о чем в своих
Стихах рассказывать не буду...

* Чувствительное воспитание (*фр.*); «Education sentimentale» — заглавие романа Г. Флобера.

И наконец — убогий свет
Варшавский падал на киоты
И на повестки и отчеты
«Духовно-нравственных бесед»...
Так, с жизнью счет сводя печальный,
Презревши молодости пыл,
Сей Фауст, когда-то радикальный,
«Правел», слабел... и *всё* забыл;
Ведь жизнь уже не жгла — чадила,
И однозвучны стали в ней
Слова: «свобода» и «еврей»...
Лишь музыка — одна будила
Отяжелевшую мечту:
Брюзжащие смолкали речи;
Хлам превращался в красоту;
Прямились сгорбленные плечи;
С нежданной силой пел рояль,
Будя неслыханные звуки:
Проклятия страстей и скуки,
Стыд, горе, светлую печаль...
И наконец — чахотку злую
Своею волей нажил он,
И слег в лечебницу плохую
Сей современный Гарпагон...

Так жил отец: скупцом, забытым
Людьми, и богом, и собой,
Иль псом бездомным и забитым
В жестокой давке городской.
А сам... Он знал иных мгновений
Незабываемую власть!
Недаром в скуку, смрад и страсть
Его души — какой-то гений
Печальный залетал порой;
И Шумана будили звуки
Его озлобленные руки,
Он ведал холод за спиной...
И, может быть, в преданьях темных
Его слепой души, впотьмах —
Хранилась память глаз огромных
И крыл, изломанных в горах...
В ком смутно брезжит память эта,
Тот странен и с людьми не схож:
Всю жизнь его — уже поэта
Священная объемлет дрожь,

Бывает глух, и слеп, и нем он,
В нем почивает некий бог,
Его опустошает Демон,
Над коим Врубель изнемог...
Его прозрения глубоки,
Но их глушит ночная тьма,
И в снах холодных и жестоких
Он видит «Горе от ума».

Страна — под бременем обид,
Под игом наглого насилья —
Как ангел, опускает крылья,
Как женщина, теряет стыд.
Безмолвствует народный гений,
И голоса не подает,
Не в силах сбросить ига лени,
В полях затерянный народ.
И лишь о сыне, ренегате,
Всю ночь безумно плачет мать,
Да шлет отец врагу проклятье
(Ведь старым нечего терять!..).
А сын — он изменил отчизне!
Он жадно пьет с врагом вино,
И ветер ломится в окно,
Взывая к совести и к жизни...

Не также ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляко́в,
Дремать принудила орава
Военных русских пошляков?
Жизнь глухо кроется в подполье,
Молчат магнатские дворцы...
Лишь Пан-Мороз во все концы
Свирепо рыщет на раздольи!
Неистово взлетит над вами
Его седая голова,
Иль откидные рукава
Взметутся бурей над домами,
Иль конь заржет — и звоном струн
Ответит телеграфный провод,
Иль вздернет Пан взбешённый повод,
И четко повторит чугун
Удары мерзлого копыта
По опустелой мостовой...
И вновь, поникнув головой,

Безмолвен Пан, тоской убитый...
И, странствуя на злом коне,
Бряцает шпорою кровавой...
Месть! Месть! — Так эхо над Варшавой
Звенит в холодном чугуне!

Еще светлы кафэ и бары,
Торгует телом «Новый свет»,
Кишат бесстыдные троттуары,
Но в переулках — жизни нет,
Там тьма и вьюги завыванье...
Вот небо сжалилось — и снег
Глушит трескучей жизни бег,
Несет свое очарованье...
Он вьется, стелется, шуршит,
Он — тихий, вечный и старинный...
Герой мой милый и невинный,
Он и тебя запорошит,
Пока бесцельно и тоскливо,
Едва похоронив отца,
Ты бродишь, бродишь без конца
В толпе больной и похотливой...
Уже ни чувств, ни мыслей нет,
В пустых зеницах нет сиянья,
Как будто сердце от скитанья
Состарилось на десять лет...
Вот робкий свет фонарь роняет...
Как женщина, из-за угла
Вот кто-то льстиво подползает...
Вот — подольстилась, подползла,
И сердце торопливо сжала
Невыразимая тоска,
Как бы тяжелая рука
К земле пригнула и прижала...
И он уж не один идет,
А точно с кем-то новым вместе...
Вот быстро пóд гору ведет
Его «Кракóвское предместье»;
Вот Висла — снежной бури ад...
Ища защиты за домами,
Стуча от холода зубами,
Он повернул опять назад...
Опять над сферою Коперник
Под снегом в думу погружен...
(А рядом — друг или соперник —

Идет тоска...) Направо он
Поворотил — немного в гору...
На миг скользнул ослепший взор
По православному собору.
(Какой-то очень важный вор,
Его построив, не достроил...)
Герой мой быстро шаг удвоил,
Но скоро изнемог опять —
Он начинал уже дрожать
Непобедимой мелкой дрожью
(В ней всё мучительно сплелось:
Тоска, усталость и мороз...),
Уже часы по бездорожью
По снежному скитался он
Без сна, без отдыха, без цели...
Стихает злобный визг метели,
И на Варшаву сходит сон...
Куда ж еще идти? Нет мочи
Бродить по городу всю ночь.—
Теперь уж некому помочь!
Теперь он — в самом сердце ночи!
О, черен взор твой, ночи тьма,
И сердце каменное глухо,
Без сожаленья и без слуха,
Как те ослепшие дома!..
Лишь снег порхает — вечный, белый,
Зимой — он площадь оснежит,
И мертвое засыплет тело,
Весной — ручьями побежит...
Но в мыслях моего героя
Уже почти несвязный бред...
Идет... (По снегу вьется след
Один, но их, как было, двое...)
В ушах — какой-то смутный звон...
Вдруг — бесконечная ограда
Саксонского, должно быть, сада...
К ней тихо прислонился он.

Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой, иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Все, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,

И тяжелит ресницы иней,
Тогда — остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушённым садом,
И небо — книгу между книг;
Найдешь в душе опустошенной
Вновь образ матери склоненный,
И в этот несравненный миг —
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь —
Всё вспыхнет в сердце благодарном,
Ты всё благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем *quantum satis* * Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда.
. . . .



ДВЕНАДЦАТЬ

1

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!

---

* «В полную меру» (*лат.*) — лозунг Бранда, героя одноименной драмы Г. Ибсена.

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что́ значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия —
Должно быть, писатель —
Вития...

А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что́ нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?..

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Ужь мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:
...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на́ ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...

Хлеба!
Что́ впереди?
Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

— А Ванька с Катькой — в кабаке...
— У ей керенки есть в чулке!

— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни..
Оплечь — ружейные ремни...

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!

Мы на го́ре всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
    Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Елекстрический фонарик
    На оглобельках...
    Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
    Да покручивает,
    Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
Вот так Ванька — он речист!
    Катьку-дуру обнимает,
      Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчуго́м...
    Ах ты, Катя, моя Катя,
      Толстоморденькая..

5

У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!

    Эх, эх, попляши!
    Больно ножки хороши!

  В кружевном белье ходила —
  Походи-ка, походи!

С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреши!
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзаду забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
. . . .
Как с девочкой чужой гулять!..
Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Все быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шее —
Не оправиться никак...

— Что́, товарищ, ты не весел?
— Что́, дружок, оторопел?
— Что́, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгореча... ах!

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидава́ет,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох ты, горе-горькое!
Скука, скучная,
Смертная!

Ужь я времячко
Проведу, проведу...

Ужь я темячко
Почешу, почешу...

Ужь я семячки
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, Господи, душу рабы твоея...

Скучно!

9

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке

И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
    Ой, вьюга́, ой, вьюга́!
Не видать совсем друг друга
    За четыре за шага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

— Ох, пурга какая, Спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —

Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!

    Вперед, вперед, вперед,
      Рабочий народ!

11

...И идут без имени святого
    Все двенадцать — вдаль.
      Ко всему готовы,
      Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...

Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга́ пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Вперед, вперед,
Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи! —
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..—
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстает —
Пес холодный — пес безродный...
— Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

— Всё равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом,
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невиди́м,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Январь 1918



Скифы

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Владимир Соловьев

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома́ лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,
  Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
  Когда наставить пушек жерла!

Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
  И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
  От ваших Пестумов, быть может!

О старый мир! Пока ты не погиб,
  Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
  Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
  И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
  И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,
  Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
  Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё — и жар холодных числ,
  И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
  И сумрачный германский гений...

Мы помним всё — парижских улиц ад,
  И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
  И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
  И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
  В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
  Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
  И усмирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны
  Придите в мирные объятья!

Пока не поздно — старый меч в ножны,
  Товарищи! Мы станем — братья!

А если нет — нам нечего терять,
  И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинать
  Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам
  Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
  Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
  Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
  С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит,
  Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
  Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
  В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
  И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир!
  На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
  Сзывает варварская лира!

30 января 1918



3. Гиппиус

(При получении «Последних стихов»)

Женщина, безумная гордячка!
Мне понятен каждый ваш намек,
Белая весенняя горячка
Всеми гневами звенящих строк!

Все слова — как ненависти жала,
Все слова — как колющая сталь!

Ядом напоенного кинжала
Лезвее целую, глядя в даль...

Но в дали я вижу — море, море,
Исполинский очерк новых стран,
Голос ваш не слышу в грозном хоре,
Где гудит и воет ураган!

Страшно, сладко, неизбежно, надо
Мне — бросаться в многопенный вал,
Вам — зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у ирландских скал.

Высоко — над нами — над волнами,—
Как заря над черными скалами —
Веет знамя — Интернацьонал!

1—6 июня 1918



Пушкинскому Дому

Имя Пушкинского Дома
    В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
    Не пустой для сердца звук!

Это — звоны ледохода
    На торжественной реке,
Перекличка парохода
    С пароходом вдалеке.

Это — древний Сфинкс, глядящий
    Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
    На недвижном скакуне.

Наши страстные печали
    Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
    Белой ночью огневой.

Что́ за пламенные дали
    Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
    А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! *Тайную свободу*
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

11 февраля 1921

БЛОК — БЕЛОМУ

2 октября 1905. Петербург

Милый Боря.

Мне вдруг захотелось послать Тебе много всяких моих стихов, и плохих и получше. Напиши мне когда-нибудь, как они Тебе *вообще* кажутся, и покажи Сереже. Кроме того, можно посвятить Тебе стихотворение, приложенное здесь же? Я изумился, читая «Зеленый Луг». Дело в том, что все это время я писал статью, в которой последняя глава называется «Зеленые луга». И вдруг! Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне нет ничего.〈...〉

Право, я Тебя люблю. Иногда совсем нежно и сиротливо. Тебя никто не знает, но как ты думаешь, знаю ли я Тебя? По кр〈айней〉 мере, я этого всегда хочу.

Ты знаешь, что со мной летом произошло что-то страшно важное. Я изменился, но *радуюсь* этому. Говорить об этом могу пока только с *непосвященными*. Но посвященным можешь быть разве Ты, никто кроме Тебя не услышит и знать не захочет. Но рядом с этим я совсем перестал бояться людей внутренно и доброжелателен ко многим больше, чем прежде. Куда-то совсем ушли Мережковские, и я перестал знать их, а они совершенно отвергли меня. Можно сказать, наплевали. Не знаю, надо так или не надо. Надрыва же никакого нет. У меня и вообще нет надрыва. Я больше не люблю города или деревни, а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему. Часто из нее исходят все только одни гармоничные ощущения. Я никогда ничего не забуду в прошлом. Кто-то мне говорит, что я очень легко могу стать Купиной. Нет причины не верить. Преследуемый Аполлоном, я превращусь в осенний куст золотой, одетый сеткой дождя на лесной поляне. Ветер повеет, и колючие мои руки запляшут свободно.

Не могу сказать, как радостно и постоянно Тебя люблю. Если иногда в этом сиротливость, то я — «сам господь своих вериг». 〈...〉

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

〈13 октября 1905. Москва〉

Дорогой друг,

как мне благодарить Тебя за присылку стихов: давно у меня не было таких приятных, радостных минут, как в тот день, когда Ты мне прислал стихи. Что мне сказать о стихах? Что они мне нравятся? Это было бы общим местом: ну, конечно, нравятся. Все та же неуловимая прелесть, все тоньше и тоньше знакомая прелесть Твоей музы вплетается в новые темы, за которые Ты взялся: олицетворение стихийных сил русской природы ждет своего выразителя: этим выразителем, думается мне, являешься Ты. Как совместится Твой призыв к «*Прекрасной Даме*» с этими новыми для Тебя темами, как совместится «*долг*» рыцаря с «*просто*» бытием хотя бы сил даймонических, как совместится долг твор-

чества жизни (теургизм) с параличом долга жизни (шаманизмом) — я не знаю. Между тем это важно — важнее всего. Но прежде чем говорить с этой точки зрения о присланных стихах, я коснусь Твоего письма ко мне и свяжу его с тем, что мне хочется формулировать.

Ты пишешь мне: «Надеюсь, что она (душа)... приготовится к будущему». Дорогой друг, о каком будущем идет речь: есть ли радующее Тебя будущее — общественное обновление России, рассвет российской словесности, реформа церкви или форм земского самоуправления, или *что*? Будущее бывает разное: каждое направление имеет будущее. Любя очерченность и точность *хотя бы* и символических переживаний, а также заинтересованный (столь важным для меня) Твоим путем, я решительно спрашиваю: какое содержание Ты мыслишь, когда ссылаешься на «*будущее*»? Ссылкой на будущее можно себя и навеки связать определенностью целей и средств (реального пути) — связать долго ли; и развязать, уклониться, вынырнуть в другом можно ссылкой на то же *будущее*. Действительно ли Твое будущее (есть ли оно — конституция, всеобщая и тайная подача голосов, синтез науки, философии и религии) или оно — литературная фигура речи — скобки пустоты (или пустота в скобках, под которыми можно предполагать все, что угодно, *необязательное, нереальное, пустое*)? Ты — «*захлопнул заслонку своей души*» — для чего? Для того, чтобы готовить избирательные списки или *для* чего-нибудь иного? Насколько я Тебя понимаю, Ты много надеешься на преображение личности, но есть ли преображение без ясно⟨го⟩ сознания *средств* (реализации пути), поставленных целей? Ты так и полагаешь, говоря, что надеешься стать «Купиной». Но купина — символ богоматери. Итак, Ты надеешься стать символом богоматери — Ты, студент императорского С.-Петербургского Университета, сотрудник «Вопросов Жизни»? Тут или я идиот, или — Ты играешь мистикой, а играть с собой она не позволяет никому. Мистика всегда реальна, если она *есть*, если вместо нее не даются удобные для жизни, не оформленной долгом,— *скобки*. Для меня путь мистического будущего определенно *реален*. Неопределенность пути есть лишь выбор *мотивов* долга, борьба средств, из которых *каждое* — реальность. Ты пишешь, что готовишься к будущему — стать *купиной*. Я года

умираю, истекаю кровью, подвергаюсь оскорблениям, непониманию, грубым подменам, *ища средств пути.* Ты спокойно *знаешь,* что нужно для того, чтобы стать «*купиной*». Ради бога, научи, выскажись. Пока же Ты не не раскроешь скобок, мне все будет казаться, что Ты или бесцельно кощунствуешь, называя себя Купиной (а такие кощунства *не прощаются — знай*), или говоришь «*только так*». Но тогда это будет, так сказать, кейфование за чашкой чая... А я ведь всегда, с прочтения первого Твоего стихотворения, полагал, что Ты работаешь во имя долга перед «*Прекрасной Дамой*».

Может быть, Ты рассердишься на меня, но я не писал бы Тебе всего этого, если бы не глубоко любил Тебя, не ждал от Тебя... Летом, когда мы с Сережей были в Шахматове, мы оба страдали от внезапных осложнений в одном для меня и Сережи реальном мистическом пути, о котором я много и долго говорил Тебе в свое время и против которого Ты не *в о з р а ж а л* * (почему?). Многое определилось и реально приблизилось с тех пор (и если хочешь, одно время полагал, что это приблизившееся связало нас, ибо Ты всегда во всем прежде молчаливо соглашался). Когда же нужно было совершить отплытие в сторону долга и Истины, а не *бытия просто за чаем и мистическими разговорами,* все запуталось: тут, без сомнения, Твоя неподвижность оказала влияние. Все осложнилось. Мы с Сережей почти обливались кровью... Кто-то грубо клеветал в это время, а Ты — Ты потом мне писал, что ждешь несказанного(?!). Ты эстетически наслаждался чужими страданиями. *Ведь тут абрикосовым компотом пахнет* (помни Достоевского). — Ты, во время наших реальных мучений, сам не вступил на путь реальной мистики (от слов и беспочвенных переживаний не приближался к делу). — Ты должен тогда был бы вступить в борьбу с моим мнением о пути, со всеми моими разговорами, Ты должен был бы все это проклясть или *делом принять* — ни того, ни другого Ты не сделал: созерцал наши мучения и они возбудили Твою «эстетическую» природу. Ты ничего не сделал для *пути* и в то же время рассматривал нас с Сережей как актеров, писал про Сережу, что он, кажется, не туда попал, и т. д.

Знай: я не мальчик, и мистические мои «*выходки*» — не выходки экстатического гимназиста. Меня не соблаз-

* Отмечены слова, подчеркнутые дважды.

нишь мистическими скобками, ибо я — искушенный теорией познания. И то, что для меня *мистика* и *путь*, оно вполне ясно, просто и неопровержимо.

Ты летом отказался от будущего, которое мне ясно до очевидности — почему же Ты определенно не вступаешь на путь бытия, путь прошлого (ибо настоящего нет: оно — или долг перед будущим, либо инстинкт прошлого, т. е. *зверство): это путь растительной жизни,* имеющий свое основание. Там зверь. В долге — «*Жена*». Третьего нет: или зверь, или жена. Смешение — производит Сфинкса, психологическую мистику (я проклинаю «психологию» мистицизма). Зверь завивается в символ.

Если Ты о будущем, или спорь против моего будущего, переубеди меня, а не то я склоню Тебя к моим представлениям о будущем, или же — обернись на *Содом* и *Гомору,* т. е. на прошлое.

Но Ты пишешь о *будущем*, называешь себя купиной, говоришь, что Аполлон будет преследовать Тебя (?!!) — это насмешка надо мной, скобки или *реальный путь*?

Откройся, наставь, научи. Я не ребенок, чтобы мне всяким словам удивляться и верить.

Вот теперь я скажу о Твоих стихах. Над ними стоит туман несказанного, но они полны «скобок» и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны.

Дорогой Саша, прости мне мои слова, обращенные к Тебе от любви моей, но я говорю Тебе, как облеченный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предашь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь — *Тайну*. Нельзя быть одновременно и с богом и с чертом.

Да помогут Тебе силы. Прости за прямоту. Но сейчас ничто не мешает мне *сказать*, ибо я —

властный.

БЛОК — БЕЛОМУ

⟨14 или 15 октября 1905. Петербург⟩

Милый Боря.

Сегодня я получил Твое письмо — такое, какого я ждал. Это последнее (т. е. что ждал) делает мне честь. Я даже хотел в прошлом письме спросить Тебя, отчего Ты мне этого до сих пор не сказал. Отчего

Ты спрашиваешь о том, буду ли сердиться, и объясняешь, что Ты ответственен? Я тоже не ребенок, чтобы не отказаться от той словесной мерзости, которой я угостил Тебя в прошлом письме. Целый день сегодня мне было очень больно, но совсем не обидно. Все, что Ты говоришь, я знаю за собой (оттого и больно), — *кроме одного*: я не «наслаждался эстетически Твоими и Сережиными страданиями», и это место Твоего письма совсем не ранило меня. Это я твердо говорю. Теперь отвечу на остальные вопросы и слова Твои, которые я на этот раз понял лучше, чем обыкновенно: «Приготовление души к будущему», «заслонка души» и даже Купина (под которой я разумел, как вспоминаю, вовсе не символ богоматери, а обыкновеннейший терновый куст, который растет себе среди поля и горит) — *все это* —речи идиотски бессвязные, понахватанные черт их знает откуда. Оправдываюсь я в этом (хотя и не нужно, потому что все равно глупо) только тем, что с первых же моих писем к Тебе помню за собой такие витиеватые нагромождения. Эти нагромождения приходили совсем не для литературных завитков и не «просто так», а очень мучительно, и были мне всегда противны (помню, что очень давно я совершенно в этом роде писал о числе 4), и, несмотря на это, я их продолжал аккуратно писать до последнего письма. Я вообще никогда (заметь, *никогда,* даже когда писал *все* стихи о Прекрасной Даме) не умел выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто, беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не нужно совсем), а, перестав, и понимать многого не могу. Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, мож⟨ет⟩ быть, не совсем с Тобой Провидцем, знающим пути, а с М. Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают.

Я пишу так, Ты знаешь, отчего. Но разница между декад⟨ентами⟩ и мной есть. Например, мне декаденты противны все больше и больше. Затем, — они не знают, а я «спокойно знаю» (и это бывает, правда) и притом «что», а не «как». Объяснить этого никогда не смогу и даже на словах склонен отречься от этого, когда заставят объяснять. Если Ты будешь искать кощунств в моих словах, то найдешь их слишком

много, и, мож⟨ет⟩ быть, достаточно тяжелых, чтобы хватить ими меня по голове и убить. Мои мозги элементарны до того, что не выдерживают и более слабых давлений, чем Твои. Раз поймут много, а раз — ничего. Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глубине, — а также «неподвижности», как Ты ее называешь. Но отсутствие дисциплины хуже, чем неподвижность.

Все это действительно так и надлежит студенту имп⟨ераторского⟩ Спб. университета и сотруднику «Вопр⟨осов⟩ Жизни». Но я не играю мистикой, а играю словами, очень нудно и скверно. Относит⟨ельно⟩ мистики я знаю, что она *реальна* и страшна, и что накажет меня. Но как наказать меня больше, чем я наказан, и что отнять у меня, когда я нищ? Я не понимаю, почему Ты считаешь меня богатым или «кейфующим за чашкой чая»? Я знаю, что Тебе отвратительна моя косность — во мне ее много. Когда Ты командовал «про-сияй!», и в подобных случаях я спрашивал, не нужно ли командовать это мне? А ты сказал, что мне не нужны экзамены. Но я совсем не поверил этому: мне экзамен нужен строгий, но я ни за что не пойду на него, потому что я лентяй. Как Ты думал, что я «работаю во имя долга перед Прекрасной Дамой»? Я, который никогда не умел и не умею организовать в себе что-нибудь, который имел в самый разгар стихов о Прекрасной Даме отчаянную склонность к «психологической мистике» (только что теперь не люблю ее)?!

Милый Боря. Если хочешь меня вычеркнуть — вычеркни. В этом пункте я маревом оправданий не занавешусь. Мож⟨ет⟩ быть, меня давно надо вычеркнуть. Часто развертывается во мне огромный нуль. Но что мне делать, если бывает весело? Я далек от всяких ломаний, и, представь себе, я до сих пор думаю, что я чист, если и не целомудрен и кощунствен. Я чувствую Твою любовь и Твой гнев, и они справедливы.

Ты спрашиваешь, отчего я не возражал? Я теперь не помню, но на что я должен был возражать и что проклясть, вероятно, я не понимал и не умел возразить. Но пусть я должен был возражать и проклинать — я этого не делал до сих пор никогда, а буду ли делать, не знаю. Говорить мне, что я Тебя «соблазняю пустотой в скобках», напоминать, что Ты искушен теорией познания и утверждать, что я «смеюсь» над Тобой — значит, меня не знать. Что у Тебя за метод? Ты ополчаешься

на меня письменно, я так защищаться не стану. Не хочу, и не знаю слов, все забыл. Я думал, что Ты и представляешь меня бессловесным и не осуждаешь за это, но Тебе теперь хочется моих словесных признаний. Говорю *теперь*, потому что я *всегда* был бессловесным, и Ты не жаловался на это. Если пришло время меня за это уничтожить — уничтожь. Если думаешь, что меня можно научить — научи, ведь я верю Тебе неизменно.

Чему мне-то учить *Тебя*? Я думаю, что могу быть достойным Тебя противником, когда бываю настоящим — собой. Все это пишет Тебе городская подделка под меня, именно не «преображенная», хоть Ты и говоришь о необходимости реальных «путей» для Преображения, я думаю, что или, правда, иногда беспутно преображаюсь, или у меня и пути есть, только указать их не могу ни одного.

Больнее всего, конечно, когда Ты упрекаешь в насмешке. Некто во мне смеется тогда, когда Ты чувствуешь насмешку (или, просто, говоришь о ней?), но скорее — переворачивает острые камни. Если любишь, поверь этому, а наказание я принимаю. Пожалуйста, не выуживай Аполлонов и не задавай о них вопросов. Ты можешь знать, где тут «скобки» (т. е. пустота, она же — боль), а где «реальный путь» (т. е. радость, которую я испытываю и не умею выразить).

О стихах я во всем согласен. Знаю это, редко признаюсь себе. Но неужели не самое большое кощунство — «двусмысленные умалчиванья, выдаваемые порой за тайны»? А на них Ты не нападаешь.

В заключение, я тебе скажу, что Твое письмо мне близко и драгоценно. Если еще напишешь (ради бога, *все прямо*), будет также драгоценно. В меня теперь Твои слова могут запасть еще больше, чем прежде, потому что теперь я таких слов никому, *кроме Тебя*, не позволю. Я очень многих ненавижу, а многих терплю, пока они говорят только приятное.

Если я предатель — прокляни меня и обо мне забудь. И скорей, чтобы я не мешал Твоему пути. Если видишь возможность, научи. Я знаю, что Ты — властный.

Твой *Саша*.

Все, что я писал, во многом — не то. Мне важнее сказать Тебе, наконец: о Тебе, Боря, как о Времени, никто не плачет, кроме меня. Если бы Ты был распят, я бы стоял у креста и смотрел бы на красную луну в черных небесах над Твоей головой. И это несмотря на то, что «первый подвиг» совершал я в непреодолимой тоске, как будто предчувствуя, что за первым будет (*должен* быть) второй и третий — преодоление дракона и смерти. Второго подвига я, мож⟨ет⟩ быть, никогда не свершу. Но буду стоять у Твоего креста, хоть душа тогда будет совсем испепеленной.

Независимо от этого, ответь: распинаю ли я Тебя? Существую ли я? Ведь

Предо мною куст терновый
Огнем горел и *не сгорал* *

Я помню об этом не из стихоплетства. Так сделай так, чтобы я чувствовал еще бóльшую боль, или — совсем никакой боли.

* * *

Вот он Христос — в цепях и розах —
За решеткой моей тюрьмы.
Вот агнец кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо,
Но лик и синее небо — одно.

Единый светлый — немного грустный, —
За ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.

И все так близко и так далеко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам, как стезя.

Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.

---

* Подчеркнуто дважды.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨Между 11 и 14 апреля 1906. Москва⟩

Саша, милый, милый, мой не⟨и⟩зреченно любимый брат,

прости, что я этим письмом нарушаю, быть может, тишину, необходимую для Тебя теперь. Но причина моего письма внутренно слишком важна, чтобы само письмо я мог отложить. Прочти, прими, и если нет времени и настроения, ради Бога, не отвечай. Ответишь потом когда-нибудь. Не ответа хочу я: я хочу только высказаться перед Тобой, готому что я хочу, чтобы все мои поступки и намерения были четко означены.

Ты знаешь мое отношение к Любе; что оно всё пронизано несказанным. Что Люба для меня самая близкая изо всех людей: сестра и друг. Что она понимает меня, что в ней я узнаю самого себя, преображенный и цельный. Я сам себя узнаю в Любе. Она мне нужна духом для того, чтобы я мог выбраться их тех пропастей, в которых — гибель. Я всегда борюсь с химерами, но химеры обступили меня. И спасение мое воплотилось в Любу. Она держит в своей воле мою душу. Самую душу, ее смерть или спасение я отдал Любе, и теперь, когда еще не знаю, что она сделает с моей душой, я — бездушен, мучаюсь и тревожусь. Люба нужна мне для путей несказанных, для полетов *там*, где *«всё новое»*. В *«новом»* и в *«Тайне»* я ее полюбил. И я *всегда* верю в возможность несказанных отношений к Любе. Я всегда готов быть ей *только* братом в пути по небу.

Но я еще и влюблен в Любу. Безумно и совершенно. Но этим чувством я *умею управлять.*

И вот теперь, когда мне ясно, что всё дальнейшее для меня в *«Главном»* (в том, что привело к Мер⟨еж-ковским⟩) — *быть* или *не быть,* — соединено с отношением моим к Любе, я не могу не вносить в эти отношения сериозности необычайной. Ведь решается для меня вопрос, *стоит* или *не стоит* жить. Ведь душа-то моя в руках у Любы. Ведь она мне душу не вернула. Ведь стремясь к дружбе и общению с ней, я стремлюсь к самой высокой чистоте и ясности — к свету и правде. Ведь близость и общение с Любой для меня прежде всего единственно возможный путь просветить и возвысить другое мое чувство к Любе

(влюбленность). Раз нет этого общения и просветляющего зова к высям, *я срываюсь*. Вот почему *теперь* этой весной мне так важно и необходимо видаться с Любой, чтобы привести к должным нормам свое отношение к Любе. Пока точной выясненности нет, каждый миг для меня — острый нож в душу, каждый день без нее ужас. Я не могу строить своих чисто внешних планов, без того, чтобы не поговорить с Любой долго, внимательно. Пойми, Саша, что вот уже месяц, как все часы мои — ножи, воткнутые в сердце, что эта боль не стихает, пока я обстоятельно не поговорю с Любой как на духу, пока я не прочту у нее *о своей душе,* которой у меня теперь нет. Ведь за своей душой я должен вернуться в Петербург и видеться с Любой. Более без души я жить не могу. Саша, если Ты веришь в меня, если Ты знаешь, что я могу быть благороден, Тебе мне нечего объяснять, чтобы Ты не думал обо мне внешне, дурно и пошло. Ты — не такой. Ты должен взглянуть на мои отношения к Любови Дмитриевне только с двух противоположных точек зрения. Или поверить в несказанность моего отношения к Любе; но тогда, тогда я должен, прежде чем ехать за границу, или определяться в ненужном и внешнем, теперь же видеться с Любой. Ты должен снять с меня все тени, которые на меня могут быть наброшены просто необычностью со стороны внешнего моих отношений к Любе. Тогда, например, я не понимаю, почему должен я отложить поездку в Петербург. Если Тебе нельзя быть со мной, ведь я приеду к Любе, чтобы многое, многое из заветного и глубокого выяснить себе — чтобы понять тайны Вечности и Гроба, которые вокруг меня разверзлись. Сейчас я уже обессилен очами сфинксов, со всех сторон на меня глянувших. Люба для меня — «*Феникс*», могущий сфинксов прогнать. Я уже на границе сумасшествия, ведь когда я уезжал из Петербурга, то только на две недели — так мне и Люба говорила. *Иначе я бы не уехал, не решив всё для себя.* И вот теперь оказывается я должен испытывать пытки непомерные. Но я согласен и не приезжать, если Любе нужна тишина, если она не хочет моего приезда, лишь бы я только знал, что в этой отсрочке неопределенной не играют роли никакие *внешние причины.*

Если же все мои отношения к Любе мерить внешним масштабом (Ты это имеешь право), тогда придется

отрицать всю несказанность моей близости к Любе; придется сказать: «Это только влюбленность». Но тогда мне становится невозможным опираться на несказанный критерий: тогда я скажу Тебе: «я не могу не видать Любу». Но признаю Твое право, взглянув на всё *«слишком просто»*, налагать veto на мои отношения к Любе. Только, Саша, тогда начинается драма, которая должна кончиться смертью одного из нас. Стоя на первой, *несказанной,* точке зрения, *я готов каждую минуту сойти на внешнюю точку зрения.* Милый брат, знай это: если несказанное во мне будет оскорблено, если несказанное мое кажется Тебе оскорбительным, мой любимый, единственный брат, *я на всё готов!* Смерти я не боюсь, а ищу.

Теперь подхожу к моим открыткам, написанным Александре Андреевне.

Ты знаешь, что в таком напряжении я только и живу часом отъезда в Петербург. И вот мне пишешь, чтобы я не приезжал. Неужели Ты не знаешь, что в моей душе, которая с минуты на минуту готова разорваться, такое письмо *без точных указаний* причин моего неприезда, без точных указаний, когда мне приехать, — что такое письмо — искра к пороховому погребу. Я вдруг оказался окутан черными клубами дыма, застившего мне глаза. И в этом дыму неудивительно, что мне показалось, будто единственная возможность объяснения всего — внешние причины: желание меня отдалить от Любы тогда, когда это без *моей смерти* уже не может быть, ибо за своей душой я приду к Любе отсюда или *оттуда* — всё равно. Ты — думал я — не можешь не знать этого. Стало быть только Александра Андреевна *может так подумать.* Я сказал себе: «напрасно», всякая внешняя мера только средство ускорить катастрофу, если нужна катастрофа. А я ведь верю, что катастрофы быть не может; верю в несказанный путь с сестрою своей. Но если этого не хотят понять, я иду на катастрофу.

И вот непроизвольно я написал открытки, словно в трансе, но теперь, уясняя себе свой поступок сознанием, я вижу, что открытки мои должны были означать *сигнал* к тому, что и на катастрофу я готов.

Но здесь не было с моей стороны злобного, нехорошего намерения.

Саша, горько мне и больно писать. Я хотел бы, чтобы всё это само собою подразумевалось, и только

потому, что усомнился, подразумевается ли всё, мною написанное, Тобой и Ал⟨ександрой⟩ Андреевной, заставило *меня заговорить* теперь с болью, с ужасом, любимый, милый, соединенный в Главном со мною, брат мой.

Саша, знай, что у меня к Тебе лично ничего кроме любви и ясности нет и не будет, что бы ни было.

Саша, я должен до июня видеть Любу, потому что видеть ее теперь мне *исключительно важно*: наше теперешнее свидание всё будущее оформит и определит. Живой или мертвый увижу Ее.

Буду ждать от Любы срока для приезда пока терпеливо.

Можешь показать мое письмо Александре Андреевне (мне бы даже хотелось бы, чтобы она прочла его, потому что писать Тебе обо всем этом я могу, а ей не могу. А она должна знать мои намерения).

Милый, милый брат, повторяю еще раз, что люблю, люблю Тебя.

Твой брат *Боря.*

БЛОК — БЕЛОМУ

12 августа 1906. ⟨Шахматово⟩

Боря, милый!

Прочтя Твое письмо, я почувствовал опять, что люблю Тебя. Летом большей частью я совсем не думал о Тебе или думал со скукой и ненавистью. Все время все, что касалось Твоих отношений с Любой, было для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня будто и нет. По всей вероятности, — чем беспокойнее Ты, — тем спокойнее теперь я. Так протекает все это для меня, и я нарочно пишу Тебе об этом, чтобы Ты знал, где я нахожусь относительно этого и что *верю себе* в этом. Внешним образом, я ругал Тебя литератором, так же, как Ты меня, и так же думал о дуэли, как ты. Теперь я больше не думаю ни о том, ни о другом. Я думаю совершенно определенно, так же, как Люба и мама, каждый со своим оттенком, что Тебе лучше теперь не приезжать в П⟨етер⟩б⟨ур⟩г, — и лучше *решительно для всех нас.*

В ответ на Твое письмо мне хочется крепко обнять Тебя и сообщить Тебе столько моего здоровья, сколько

нужно, чтобы у Тебя отнялось то, что лежит в одних нервах — только больное и ненужное. Я думаю, Ты согласен, что частью Тебя отравляет истерия.

Ты знаешь, Боря, милый, что я не могу «пытать», «мучить» и «бичевать» и что я не могу также бояться Тебя. Это все, что я могу сказать — и повторить еще раз, что я Тебя люблю.

Относительно «Нечаянной Радости»: *не* посвящаю ее Тебе; во-первых, потому, что не вижу теперь — «откуда» Тебе ее посвящу; во-вторых, наши отношения стали глубже и они не безмятежны так, как требуется при посвящении. Наконец, я не знаю и не понимаю теперь, «где Ты», и посвящение было бы внешним.

Милый Боря, Ты знаешь теперь, что я люблю и уважаю Тебя. Пишу Тебе все без малейших натяжек и лжи.

Крепко целую Тебя.

Твой *Саша.*

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨28 августа 1906. Петербург⟩

Милый, глубокоуважаемый и близкий душе моей Саша,

я не знаю, получил ли Ты мое заказное письмо. *Но* еще раз прошу у Тебя прощения. *Дуэль,* которую я хотел предложить Тебе, вытекала не из личного чувства неприязни, а из полного недоумения, непонимания ни себя, ни Тебя, ни всего окружающего. Я запутался: *марево* привалилось к очам — все закрыло: и в этом облаке мрака я ощущал невидимого, старинного, всю жизнь стерегущего меня врага. Я знал, что марево рассеется только от *личных отношений,* а не литературных, письменных, а Вы все противились моему переезду. Тут я увидел что-то провиденциально злое, и мне хотелось погибнуть лучше (я, *конечно,* не стал бы в Тебя стрелять), чем оставаться навсегда при ужасе. Вот как появилась моя клятва, в которой я видел единственное средство *мирным путем* спасти что-то огромное, дорогое и незабвенное в себе.

Прости, прости, прости меня: я никогда не питал *зла* лично к Тебе, а только к силам, которые иногда, мне казалось, остановились у Тебя за плечами и действовали непроизвольно против святыни моей души. Все это марево: всеми силами души постараюсь развеять его. А это невозможно на расстоянии. Не сердись на мой приезд. Почти на коленях я прошу снисхождения. Я так устал, так безумно устал. Прости — усталость моя во мне говорила, когда я так грубо отнесся к Твоему *такому хорошему, такому ласковому* письму. Милый брат, можешь ли Ты меня простить?

Любящий Тебя

Твой *Боря*

⟨...⟩

Андрей БЕЛЫЙ



Из книги стихов «ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ»



ЗАКАТЫ

1

Даль — без конца. Качается лениво,
шумит овес.
И сердце ждет опять нетерпеливо
всё тех же грез.
В печали бледной, виннозолотистой,
закрывшись тучей
и окаймив дугой ее огнистой,
сребристо жгучей,
садится солнце красно-золотое...
И вновь летит
вдоль желтых нив волнение святое,
овсом шумит:
«Душа, смирись: средь пира золотого
скончался день.
И на полях туманного былого
ложится тень.
Уставший мир в покое засыпает,
и впереди
весны давно никто не ожидает.
И ты не жди.
Нет ничего... И ничего не будет...
И ты умрешь...
Исчезнет мир, и бог его забудет.
Чего ж ты ждешь?»
В дали зеркальной, огненно-лучистой,
закрывшись тучей
и окаймив дугой ее огнистой,

пунцово-жгучей,
огромный шар, склонясь, горит над нивой
багрянцем роз.
Ложится тень. Качается лениво,
шумит овес.

Июль 1902
Серебряный Колодезь

2

Я шел домой согбенный и усталый,
главу склонив.
Я различал далекий, запоздалый
родной призыв.
Звучало мне: «Пройдет твоя кручина,
умчится сном».
Я вдаль смотрел — тянулась паутина
на голубом
из золотых и лучезарных ниток...
Звучало мне:
«И времена свиваются, как свиток...
И всё — во сне...
Для чистых слез, для радости духовной,
для бытия,
мой падший сын, мой сын единокровный,
зову тебя...»
Так я стоял счастливый, безответный
Из пыльных туч
над далью нив вознесся златосветный
янтарный луч.

Июнь 1902
Серебряный Колодезь

3

Шатаясь, склоняется колос.
Прохладой вечерней пахнёт.
Вдали замирающий голос
в безвременье грустно зовет.

Зовет он тревожно, невнятно
туда, где воздушный чертог,
а тучек скользящие пятна
над нивой плывут на восток.

Закат полосою багряной
бледнеет в дали за горой.
Шумит в лучезарности пьяной
вкруг нас океан золотой.

И мир, догорая, пирует,
и мир славословит Отца,
а ветер ласкает, целует.
Целует меня без конца.

Март 1902
Москва

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Д. С. Мережковскому

1

Пронизала вершины дерев
желто-бархатным светом заря.
И звучит этот вечный напев:
«Объявись — зацелую тебя...»

Старина, в пламенеющий час
обуявшая нас мировым, —
старина, окружившая нас,
водопадом летит голубым.

И веков струевой водопад,
вечно грустной спадая волной,
не замоет к былому возврат,
навсегда засквозив стариной.

Песнь всё ту же поет старина,
душит тем же восторгом нас мир.
Точно выплеснут кубок вина,
напоившего вечным эфир.

Обращенный лицом к старине,
я склонился с мольбою за всех.
Страстно тянутся ветви ко мне
золотых, лучезарных дерев.

И сквозь вихрь непрерывных веков
что-то снова коснулось меня,—
тот же грустно задумчивый зов:
«Объявись — зацелую тебя...»

2

Проповедуя скорый конец,
я предстал, словно новый Христос,
возложивши терновый венец,
разукрашенный пламенем роз.

В небе гас золотистый пожар.
Я смеялся фонарным огням.
Запрудив вкруг меня троттуар,
удивленно внимали речам.

Хохотали они надо мной,
над безумно-смешным лжехристом.
Капля крови огнистой слезой
застывала, дрожа над челом.

Гром пролеток, и крики, и стук,
Ход бесшумный резиновых шин...
Липкой грязью окаченный вдруг,
побледневший утих арлекин.

Яркогазовым залит лучом,
я поник, зарыдав, как дитя.
Потащили в смирительный дом,
погоняя пинками меня.

3

Я сижу под окном.
Прижимаюсь к решетке, молясь
В голубом
всё застыло, искрясь.

И звучит из дали:
«Я так близко от вас,
мои бедные дети земли,
в золотой, янтареющий час...»

И под тусклым окном
за решеткой тюрьмы

ей машу колпаком:
«Скоро, скоро увидимся мы...»

С лучезарных крестов
нити золота тешат меня...
Тот же грустно задумчивый зов:
«Объявись — зацелую тебя...»

Полный радостных мук,
утихает дурак.
Тихо падает на пол из рук
сумасшедший колпак.

Июнь 1903
Серебряный Колодезь



Образ Вечности

Бетховену

Образ возлюбленной — Вечности —
встретил меня на горах.
Сердце в беспечности.
Гул, прозвучавший в веках.
В жизни загубленной
образ возлюбленной,
образ возлюбленной — Вечности,
с ясной улыбкой на милых устах.

Там стоит,
там манит рукой...
И летит
мир предо мной —
вихрь крутит
серых облак рой.

Полосы солнечных струй златотканые
в облачной стае горят...
Чьи-то призывы желанные,
чей-то задумчивый взгляд.

Я стар — сребрится
мой ус и темя,
но радость снится.

Река, что время:
летит — кружится...
Мой челн сквозь время,
сквозь мир промчится.

И умчусь сквозь века в лучесветную даль...
И в очах старика
не увидишь печаль.

Жизни не жаль
мне загубленной.
Сердце полно несказа́нной беспечности —
образ возлюбленной,
образ возлюбленной —
— Вечности!..

Апрель 1903



В полях

Солнца контур старинный,
золотой, огневой,
апельсинный и винный
над червонной рекой.

От воздушного пьянства
онемела земля.
Золотые пространства,
золотые поля.

Озаренный лучом, я
опускаюсь в овраг.
Чернопыльные комья
замедляют мой шаг.

От всего золотого
к ручейку убегу —
холод ветра ночного
на зеленом лугу.

Солнца контур старинный,
золотой, огневой,
апельсинный и винный
убежал на покой.

Убежал в неизвестность.
Над полями легла,
заливая окрестность,
бледносиняя мгла.

Жизнь в безвременье мчится
пересохшим ключом:
всё земное нам снится
утомительным сном.

⟨1904⟩



Душа мира

Вечной
тучкой несется,
улыбкой
беспечной,
улыбкой зыбкой
смеется.
Грядой серебристой
летит над водою —
— лучисто —
волнистой
грядою.

Чистая,
словно мир,
вся лучистая —
золотая заря,
мировая душа.
За тобой бежишь,
весь
горя,
как на пир,
как на пир
спеша.
Травой шелестишь:
«Я здесь,
где цветы...
Мир
вам...»
И бежишь,
как на пир,

но ты —
Там...

Пронесясь
ветерком,
ты зелень чуть тронешь,
ты пахнёшь
холодком
и смеясь
вмиг
в лазури утонешь,
улетишь на крыльях стрекозовых.
С гвоздик
малиновых,
с бледнорозовых
кашек —
ты рубиновых
гонишь
букашек.

1902

Прежде и теперь



Заброшенный дом

Заброшенный дом.
Кустарник колючий, но редкий.
Грущу о былом:
«Ах, где вы — любезные предки?»

Из каменных трещин торчат
проросшие мхи, как полипы.
Дуплистые липы
над домом шумят.

И лист за листом,
тоскуя о неге вчерашней,
кружится под тусклым окном
разрушенной башни.

Как стерся изогнутый серп
средь нежно белеющих лилий —

облупленный герб
дворянских фамилий.

Былое, как дым...
И жалко.
Охрипшая галка
глумится над горем моим.

Посмотришь в окно —
часы из фарфора с китайцем.
В углу полотно
с углем нарисованным зайцем.

Старинная мебель в пыли,
да люстры в чехлах, да гардины...
И вдаль отойдешь... А вдали —
Равнины, равнины.

Среди многоверстных равнин
скирды золотистого хлеба.
И небо...
Один.

Внимаешь с тоской,
обвеянный жизнию давней,
как шепчется ветер с листвой,
как хлопает сорванной ставней.

Июнь 1903
Серебряный Колодезь



Сельская картина

М. А. Эртелю

Сквозь зелень воздушность одела
их пологом солнечных пятен.
Старушка несмело
шепнула: «День зноен, приятен...»

Девица
клубнику варила средь летнего жара.
Их лица
омыло струею душистого пара.

В морщинах у старой змеилась
как будто усмешка...

В жаровне искрилась,
дымя, головешка.

Зефир пролетел тиховейный...
Кудрявенький мальчик
в пикейной
матроске к лазури протягивал пальчик:
«Куда полетела со стен, ты,
зеленая мушка?»

Чепца серебристого ленты,
вспотев, распускала старушка.

Чирикнула птица.
В порыве бескрылом
девица
грустила о милом.
Тяжелые ко́сы,
томясь, через плечи она перекинула разом.

Звенящие желтые осы
кружились над стынущим тазом.

Девица за ласточкой вольной
следила завистливым оком,
грустила невольно
о том, что разлу́чены роком.
Вдруг что-то ей щечку ужалило больно —
она зарыдала,
сорвавши передник...
и щечка распухла.

Варенье убрали на ледник,
жаровня потухла.

Диск солнца пропал над лесною опушкой,
ребенка лучом искрометным целуя.

Ребенок гонялся
за мушкой
средь кашек.
Метался,
танцуя,
над ним столб букашек.

И вот дуновенье
струило прохладу
волною.
Тоскливое пенье
звучало из тихого саду.

С распухшей щекою
бродила мечтательно дева.
Вдали над ложбиной —
печальный, печальный —
туман поднимался к нам призраком длинным.

Из птичьего зева
забил над куртиной
фонтанчик хрустальный,
пронизанный златом рубинным.

Средь розовых шапок левкоя
старушка тонула забытым мечтаньем.
И липы былое
почтили вздыханьем.
Шептала
старушка: «Как вечер приятен!»

И вот одевала
заря ее пологом огненных пятен.

1904
Москва

Воспоминание

Посвящается Л. Д. Блок

Задумчивый вид:
Сквозь ветви сирени
сухая известка блестит
запущенных барских строений.

Всё те же стоят у ворот
чугунные тумбы.
И нынешний год
всё так же разбитые клумбы.

На старом балкончике хмель
по ветру качается сонный,

да шмель
жужжит у колонны.

Весна.
На кресле протертом из ситца
старушка глядит из окна.
Ей молодость снится.

Всё помнит себя молодой —
как цветиком ясным, лилейным
гуляла весной
вся в белом, в кисейном.

Он шел позади,
шепча комплименты.
Пылали в груди
ее сантименты.

Садилась, стыдясь,
она вон за те клавикорды.
Ей в очи, смеясь,
глядел он, счастливый и гордый.

Зарей потянуло в окно.
Вздохнула старушка:
«Все это уж было давно!..»
Стенная кукушка,
хрипя,
кричала.
А время, грустя,
над домом бежало, бежало...

Задумчивый хмель
качался, как сонный,
да бархатный шмель
жужжал у колонны.

1903
Москва

■

Отставной военный

Вот к дому, катя по аллеям,
с нахмуренным Яшкой —

с лакеем,
подъехал старик, отставной генерал с деревяшкой.

Семейство,
чтя русский
обычай, вело генерала для винного действа
к закуске.

Претолстый помещик, куривший сигару,
напяливший в полдень поддевку,
средь жару
пил с гостем вишневку.

Опять вдохновенный,
рассказывал, в скатерть рассеянно тыча окурок,
военный
про турок:
«Приехали в Яссы...
Приблизились к Турции...»
Вились вкруг террасы
цветы золотые настурции.

Взирая
на девку блондинку,
на хлеб полагая
сардинку,
кричал
генерал:
«И под хохот громовый
проснувшейся пушки
ложились костьми батальоны...»

В кленовой
аллее носились унылые стоны
кукушки.

Про душную страду
в полях где-то пели
так звонко.
Мальчишки из саду
сквозь ели,
крича, выгоняли теленка.

«Не тот, так другой
погибал,
умножались

могилы»,—
кричал,
от вина огневой...
Наливались
на лбу его синие жилы.

«Нам страх был неведом...
Еще на Кавказе сжигали аул за аулом...»

С коричневым пледом
и стулом
в аллее стоял,
дожидаясь,
надутый лакей его, Яшка.

Спускаясь
с террасы, военный по ветхим ступеням стучал
деревяшкой.

1904
Москва

Незнакомый друг

Посвящается П. Н. Батюшкову

1

Мелькают прохожие, санки...
Идет обыватель из лавки,
весь бритый, старинной осанки...
Должно быть, военный в отставке.
Калошей стучит по панели,
Мальчишкам мигает со смехом,
в своей необъятной шинели,
отделанной выцветшим мехом.

2

Он всюду, где жизнь,— и намедни
Я встретил его у обедни.
По церкви ходил он с тарелкой...
Деньгою позвякивал мелкой...
Все знают: про замысел вражий
он мастер рассказывать страсти...
Дьячки с ним дружатся — и даже

квартальные Пресненской части.
В мясной ему всё без прибавки —
Не то, что другим — отпускают...
И с ним о войне рассуждают
хозяева ситцевой лавки...

Приходит, садится у окон
с улыбкой, приветливо ясный...
В огромный фулярово-красный
сморкается громко платок он.
«Китаец дерется с японцем...
В газетах об этом писали...
Ох, что не творится под солнцем...
Недавно... купца обокрали...»

3

Холодная, зимняя вьюга.
Безрадостно-темные дали.
Ищу незнакомого друга,
исполненный вечной печали...
Вот яростно с крыши железной
рукав серебристый взметнулся,
как будто для жалобы слезной
незримый в хаосе проснулся,—
как будто далекие трубы...

Оставленный всеми, как инок,
стоит он средь бледных снежинок,
подняв воротник своей шубы...

4

Как часто средь белой метели,
детей провожая со смехом,
бродил он в старинной шинели,
отделанной выцветшим мехом...

1903
Москва



Весна

Всё подсохло. И почки уж есть.
Зацветут скоро ландыши, кашки.

Вот плывут облачка, как барашки.
Громче, громче весенняя весть.

Я встревожен назойливым писком:
Подоткнувшись, ворчливая Фекла,
нависая над улицей с риском,
протирает оконные стекла.

Тут известку счищают ножом...
Тут стаканчики с ядом... Тут вата...
Грудь апрельским восторгом объята.
Ветер пылью крутит за окном.

Окна настежь — и крик, разговоры,
и цветочный качается стебель,
и выходят на двор полотеры
босиком выколачивать мебель.

Выполз кот и сидит у корытца,
умывается бархатной лапкой.

Вот мальчишка в рубашке из ситца,
пробежав, запустил в него бабкой.

В небе свет предвечерних огней.
Чувства снова, как прежде, огнисты.
Небеса всё синей и синей,
Облачка, как барашки, волнисты.

В синих далях блуждает мой взор.
Все земные стремленья так жалки...
Мужичонка в опорках на двор
с громом ввозит тяжелые балки.

1903
Москва



Из окна

Гляжу из окна я вдоль окон:
здесь — голос мне слышится пылкий,
и вижу распущенный локон...
Там вижу в окне я бутылки...

В бутылках натыкана верба.
Торчат ее голые прутья.
На дворике сохнут лоскутья...
И голос болгара иль серба

гортанный протяжно рыдает...
И слышится: «Шум на Марица...»
Сбежались. А сверху девица
с деньгою бумажку бросает.

Утешены очень ребята
прыжками цепной обезьянки.
Из вечно плаксивой Травьяты
мучительный скрежет шарманки.

Посмотришь на даль — огороды
мелькнут перед взором рядами,
заводы, заводы, заводы!..
Заводы блестят уж огнями.

Собравшись пред старым забором,
портные расселись в воротах.
Забыв о тяжелых работах,
орут под гармонику хором.

1903

Свидание

На мотив из Брюсова

Время плетется лениво.
Всё тебя нету да нет.

Час простоял терпеливо.
Или больна ты, мой свет?

День-то весь спину мы гнули,
а к девяти я был здесь...

Иль про меня что шепнули?..
Тоже не пил праздник весь...

Трубы гремят на бульваре.
Пыль золотая летит.

Франтик в истрепанной паре,
знать, на гулянье бежит.

Там престарелый извозчик
парня в участок везет.

Здесь оборванец разносчик
дули и квас продает.

Как я устал, поджидая!..
Злая, опять не пришла...

Тучи бледнеют, сгорая.
Стелется пыльная мгла.

Вечер. Бреду одиноко.
Тускло горят фонари.

Там... над домами... далеко
узкая лента зари.

Сердце сжимается больно.
Конка протяжно звенит.

Там... вдалеке... колокольня
образом темным торчит.

1902



Кошмар среди бела дня

Солнце жжет. Вдоль тротуара
под эскортом пепиньерок
вот идет за парой пара
бледных, хмурых пансионерок.

Цепью вытянулись длинной,
идут медленно и чинно —
в скромных, черненьких ботинках,
в снежнобелых пелеринках...

Шляпки круглые, простые,
заплетенные косицы —
точно всё не молодые,
точно старые девицы.

Глазки вылупили глупо,
спины вытянули прямо.
Взглядом мертвым, как у трупа,
смотрит классная их дама.

«Mademoiselle Nadine, tenez vous
Droit...» * И хмурит брови строже.
Внемлет скучному напеву
обернувшийся прохожий...

Покачает головою,
удивленно улыбаясь...
Пансион ползет, змеею
между улиц извиваясь.

1903
Москва

На окраине города

Был праздник: из мглы
неслись крики пьяниц.
Домов огибая углы,
бесшумно скользил оборванец.

Зловещий и черный,
таская короткую лесенку,
забéгал фонарщик проворный,
мурлыча веселую песенку.

Багрец золотых вечеров
закрыли фабричные трубы
да пепельно-черных дымов
застывшие клубы.

⟨1904⟩

[1] Мадемуазель Надин, держитесь прямо *(фр.)*.

БЛОК — БЕЛОМУ

24 марта 1907. Петербург

Милый Боря

Приношу Тебе мою глубокую благодарность и любовное уважение за рецензию о «Неч⟨аянной⟩ Радости», которую Ты поместил в «Перевале». Она имела для меня очень большое значение простым и наглядным выяснением тех опаснейших для меня пунктов, которые я сознаю не менее. Но, принимая во внимание Твои заключительные слова о «тревоге» и «горячей любви к обнаженной душе поэта», я только прошу Тебя, бичуя мое кощунство, не принимать «Балаганчика» и подобного ему — за «горькие издевательства над своим прошлым». Издевательство искони чуждо мне, и это я знаю так же твердо, как то, что сознательно иду по своему пути, мне предназначенному, и *должен* идти по нему неуклонно.

Я убежден, что и у лирика, подверженного случайностям, может и должно быть сознание ответственности и серьезности, — это сознание есть и у меня, наряду с «подделкой под *детское* или просто *идиотское*» — слова, которые я принимаю по отношению к себе целиком.

Пишу это Тебе *не* казенно, а надеюсь, что Ты услышишь меня, как услышал в отзыве о «Неч⟨аянной⟩ Радости».

Александр Блок.

БЛОК — БЕЛОМУ

6 августа 1907. ⟨Шахматово⟩

Многоуважаемый и дорогой Борис Николаевич.

За последние месяцы я очень много думал о Тебе, очень внимательно читал все, что Ты пишешь, и слышал о Тебе от самых разнообразных людей самые разнообразные вещи. По-видимому, и Ты был в том же положении относительно меня; ввиду наших прежних отношений и того, что мы оба служим одному делу русской литературы, я считаю то положение, которое установилось теперь, совершенно ненормальным. Не

только чувствую душевную потребность, но и считаю своим долгом написать Тебе это письмо.

Начну с того, что было последней побудительной причиной. Тастевен сейчас написал мне те условия, на которых Ты согласен возвратиться в «Зол⟨отое⟩ Руно». Первое: чтобы «Руно» перестало опираться на группу, идейное значение которой равно нулю. Я не понимаю, какую группу Ты разумеешь; «Руно» определяет ее чисто *внешним* образом: «петербургские литераторы» и разумеет под этим *в данный момент* Вяч⟨еслава⟩ Иванова, Городецкого и меня. Если Ты считаешь, что эти трое и *внутренним образом* составляют группу, и ищешь в ней значения, как «в группе», то Ты жестоко ошибаешься; впрочем, я буду говорить *только о себе и только за себя*, ибо в последнее время все менее и менее чувствую свое согласие с кем бы то ни было и предпочитаю следовать завету — *оставаться самим собой*. Между тем, собрав отзывы обо мне из Твоих статей и заметок в «Весах», «Перевале» и Киевском журнальчике, я увидал, что Ты: 1) противоречишь себе на каждом шагу, а именно: называя меня одним из «корифеев русской литературы» (название, конечно, злое и ироническое) и намекая на мою «скромность и честность» (?), находишь в моих стихах «идиотское» (вяжется ли это с «корифейством»?), говоришь, что я «неустанно кощунствую» и что я хвалю Чулкова за то, что он меня похвалил (где же тогда честность? Где Ты прочитал, что я его хвалю, или как мог счесть за похвалу цитированье одного удачного стихотворения? Уж не думал ли Ты, что я *его* называю «светловзором»?).

2) Исходя из понятия ненавистного Тебе «мистического реализма», ты наклеиваешь на меня этот ярлык, *с которым я ничего общего не имел и не имею,* и с этой точки зрения критикуешь меня, уверяя, что я «описываю крендель булочной так, что волосы становятся дыбом» (?) и что я хуже Чехова (утверждение справедливое, но странное).

Имею ответить на все это следующее:

1) Критику на свои произведения и критику самую строгую хочу слушать и хочу ею руководствоваться.

2) С «мистич⟨еским⟩ реализмом», «мистическим анархизмом» и «соборным индивидуализмом» *никогда не имел, не имею и не буду иметь ничего общего.* Считаю эти термины глубоко бездарными и ровно ничего не выражающими. Считаю, что мистический анархизм

был бы давно забыт, если бы все Вы его не раздували так отчаянно.

3) Критики, основанной на бабьих сплетнях (каковую позволила себе особенно Зин⟨аида⟩ Гиппиус в статье о «Перевале», по пов⟨оду⟩ меня и Чулкова), — *не признаю*. Считаю, что такая критика должна оставаться на совести ее сочинителя.

4) Не считаю допустимым намеков на личные отношения в литерат⟨урной⟩ полемике.

5) К *Георгию Чулкову* имею отношение как к человеку и возмущаюсь выливанием помоев на голову его как человека. Считаю это *непорядочным*. Вяч⟨еслава⟩ Иванова ценю как писателя образованного и глубокого и как прекрасного поэта, мировоззрения же его («мифотворчество») воспринимаю как лирику. Сергея Городецкого ценю как прекрасного поэта. Твои произведения высоко ценю и со многими из Твоих принципов соглашаюсь.

6) Построением философских и литературных теорий сам не занимаюсь и упираюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было школу.

7) Думаю, что все *до сих пор* написанные мной произведения, которые я считаю удачными (а таковых немного), — *символические* и *романтические* произведения.

8) Считаю, что стою на твердом пути и что все написанное мной служит органическим продолжением первого — «Стихов о Прекрасной Даме». Ввиду этого не понимаю Твоего отношения к моей литературной деятельности, поскольку ты считаешь мои новые произведения не связанными с прежними.

9) Упрек в *кощунстве* принимаю только *ограничительно*, считая, что все мы повинны в нем, и я не более остальных. Никакого «оргиазма» не понимаю и желаю трезвого и простого отношения к действительности.

Жму твою руку

Александр Блок.

⟨...⟩

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨5 или 6 августа 1907. Москва⟩

Милостивый государь Александр Александрович.

Спешу Вас известить об одной приятной для нас

обоих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне было трудно поставить крест на Вашем внутреннем облике, ибо я имею обыкновение сериозно относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучался, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было неприятно и для меня и для Вас). Я издали продолжал за Вами следить. Наконец, когда Ваше *«прошение»*, pardon, статья о реалистах появилась в «Руне», где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно. Объяснение с Вами оказалось излишним. Теперь мне легко и спокойно. Спешу Вас уведомить, что, если бы нам суждено когда-нибудь встретиться (чего не дай бог) и Вы первый подадите мне руку, я с Вами поздороваюсь. Если же Вы постараетесь сделать вид, что мы незнакомы, или уклониться от встречи со мной, это будет мне тем приятнее.

Примите и прочее

Борис Бугаев.

БЛОК — БЕЛОМУ

8 августа 1907. Шахматово

Милостивый государь Борис Николаевич.

Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевеща на меня, заявляете, что все время «следили за мной издали»,— и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете «страдаете», и никто, кроме Вас, не умеет страдать,— все это в достаточной степени надоело мне.

Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение — или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном *до* получения Вашего), или особого рода душевной болезни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши на-

падки на меня, я предоставляю Вам *десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо,* для того чтобы Вы — или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите,— или прислали мне Вашего секунданта. Если до *18 августа* Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры.

Александр Блок.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

10 — 11 августа ⟨19⟩07. Москва

Милостивый государь
Александр Александрович!
⟨...⟩
Посему не могу, не могу ответить точно на Вашу просьбу: «Прошу Тебя, хотя бы кратко, указать мне основной пункт Твоего со мной расхождения». Я, во-первых, не знаю *точной формулы* Вашего миросозерцания, Вашего литературного, общественного, религиозного, этического, философского *credo*. Свое *credo* формально при Вашем желании могу охарактеризовать. Думаю, что сейчас Вам это не интересно. Я знаю и глубоко люблю Вашу поэзию. Последние периоды Вашей поэзии объективно (как искусство) ценю; многое по *«настроению»* мистически кажется мне абсолютно враждебным. В *«Драмах»* Ваших вижу постоянное *богохульство*; оно, с моей точки зрения, может иметь и нравственно высокий и очень низкий смысл. Не знаю, из *каких* оно фондов, ибо, повторяю, «внутренне» потерял Вас из виду. В статьях Вы пишете образно; из-под образов трудно уловить *формальный* смысл, а *форма* — единственный компас при внутреннем непонимании. ⟨...⟩

Примите мои пожелания

Борис Бугаев.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

11 августа 1907. Москва

Милостивый государь Александр Александрович!
⟨...⟩
Теперь перехожу к моей фразе о Вашей статье, как о *«прошении»*, фразе, очевидно и вызвавшей у Вас столь решительный ответ. Согласен, она вырвалась в минуту

раздражения, когда после прочтения Вашей статьи, где Вы восхваляете глубоко бездарные «очерки» Скитальца, мне передали люди, возмущенные вашей статьей, что будто Вы черновик читали Л. Андрееву. Быть может, все это и не так (фактически), но что-то во мне вспыхнуло негодованием, и я тут же написал Вам в тоне, действительно оскорбительном. Охотно беру назад слова о «*прошении*», потому что не призван судить Ваши литературные вкусы. В заключение, Милостивый государь, могу сказать только одно, мы друг другу чужды. И если когда-нибудь мы встретимся (не формально), то только тогда, когда Вы искренно захотите объясниться со мной не в превратно понимаемых письмах, не при помощи полемики (о ней я Вам пишу в неотправленном еще письме в ответ на Ваше письмо о литературных делах), а в личной беседе с глазу на глаз, где я мог бы Вам высказать все накопившиеся за $1^1/_2$ года мои недоумения и выслушать какие угодно обвинения меня с Вашей стороны. Как скоро Вы согласитесь искренно на такую беседу, я охотно сделаю все возможное, чтобы не умом только, но и сердцем понять, *что же это, наконец, происходит между нами.*

⟨...⟩

Примите и прочее

Борис Бугаев

БЛОК — БЕЛОМУ

15 — 17 августа 1907. Шахматово

Милостивый государь Борис Николаевич.

Ваши два письма получил. Вопрос о дуэли, конечно, отпадает. Так же, как Вы берете назад слова о прошении, так и я беру назад «словечки о шпионстве и лакействе», вызванные озлоблением.

Ваши письма заставляют меня опять писать Вам. Вы ставите вопрос о наших личных и литерат⟨урных⟩ отношениях так, что я чувствую потребность ответить со всей искренностью, какую могу выразить на словах. У меня нет здесь Ваших писем, но я помню главное и постараюсь объяснить, как все началось для меня, что я испытывал, получая их и встречаясь с Вами, и т. д.

Наше письменное знакомство завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне. Я сейчас же написал Вам, и первые наши

письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказалось различие наших *темпераментов* и странное несоответствие между нами — роковое, сказал бы я. Вот как это выражалось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши стихи. Ваши мысли были необыкновенно важны для меня и, сверх всего (это самое главное), я чувствовал между нами *таинственную близость*, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или страшное напряжение мистич⟨еских⟩ переживаний *(всегда высоких)*, или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, я думаю, что в моей жизни все так и шло, и долго еще будет идти тем же путем. *Теперь* вся разница только в том, что надо мною «холодный белый день», а тогда я был «в тумане утреннем». Благодаря *холоду белого дня* я нахожу в себе трезвость и бо́льшую работоспособность, чем прежде, но и *только. По-прежнему*, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне — во мне *всё те же* огненные переживания (правда, «поднимающиеся с ледяных полей души», как написал недавно — по пов⟨оду⟩ «Снежной Маски» — В. Я. Брюсов; за эти слова я глубоко благодарен ему, так как, почти не зная меня лично, он так тонко определил то, чего я сам бы не сумел), сменяющиеся мозговой ленью + трезвость белого дня (желанье слушать, учиться, определиться). Итак, я стою на том, что *по существу* — не изменился. Теперь — далее. В ту пору моей жизни, когда мы встретились с Вами, я узнал и драм⟨атическую⟩ симфонию (не помню, до или после знакомства), и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности. *Я не разбирался в этой сложности.* Знаю одно: *мне было трудно понимать Вас и писать Вам.* Я объяснял это —*ленью*. Ровно через год мы встретились. *Мне было трудно говорить с Вами,* и я опять объяснял это своей ленью. Но это было *н е** единственной причиной... Причина, *вероятно главная,* сказалась при след⟨ующих⟩ обстоятельствах: Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь нашего знакомства при луне, и Вы много говорили, а я, по обыкно-

* Отмеченное подчеркнуто дважды.

вению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам *мистический страх*. Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом — м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ — моя большая мистическая вина. В ту ночь я почувствовал и пережил напряженно то, что мы *«разного духа»,* что мы — духовные враги. Но я — *очень скептик,* тогда был мучительно скептик, — и следующее утро разогнало мой страх. Мне было по-прежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы тогда почувствовали, что происходило во мне, как вообще *непостижимо* (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое, как чувствовали и затрудненность нашего с Вами личного и письменного общения. Потом — пошли опять наши письма и наши встречи, которые в последние годы участились благодаря тому, что известно Вам. Я решительно думаю: я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узнавать никого, это — не мой прием. Я — принимаю или не принимаю, верю или не верю, но *не узнаю,* не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда, Вы, по темпераменту, пытливый, торопливый, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг другу, но делали это по-разному — и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою «моральную, философскую, религиозную физиономию». Я *не умею,* фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторые из этих событий и переживаний не знает *никто на свете,* и я не хотел и не хочу сообщать их и Вам. Это никогда не препятствовало и до с⟨их⟩ п⟨ор⟩ не преп⟨ятствует⟩ моим отношениям к Вам. Зовите это «скрытностью», если хотите, но таков я был и есть. Я готов сказать Вам теперь и письменно и устно, хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротики, я не хочу *душной атмосферы,* которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского credo» я не имею, ибо не образован философски; в бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в бога — иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли. Но, *уверяю Вас,* эти сообщения *ничего* не прибавят к моей физиономии. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я — *очень* верю в себя, что ощущаю в себе ка-

кую-то *здоровую цельность* и способность и уменье быть *человеком* — вольным, независимым и честным. Но ведь и это не дает Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня. Вы знаете, что, говоря все это, я не хвастаюсь и не унижаюсь, что это *не* признания, *не* выкрики, *не* фразы, *не* «гам». *Все это я пережил и ношу в себе* — свои психологич⟨еские⟩ свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу.

И вот одно из моих психологич⟨еских⟩ свойств: *я предпочитаю людей идеям.* Мож⟨ет⟩ быть, это значит: я предпочитаю *бессознательных людей, но пусть и так. Вы должны, если захотите,* понять, в какой мере это так, потому что знаете мое отношение к «родственности» и т. п. — Из этого предпочтения вытекает моя боязнь «обидеть человека». Да, я согласен с Вами глубоко: каждый порознь — милый, но 10 этих милых — *нестерпимая* теплая компания. И я отмахиваюсь от этих десяти, производящих «гам», молчу, *«попускаю».* Вина моя перед литературой — велика, если у меня вообще могут быть крупные вины или заслуги перед *русской литературой:* я допускаю, чтобы Чулков таскал по всем квартирам свою дурацкую схему поэтов, уверяя всех, оспаривающих ее, что она «верна только в данное мгновение» и что отнюдь не следует ее принимать «вообще» (или что-то в этом роде), и чтобы он же всучил ее какому-то идиотическому Семенову из Merc⟨ure⟩ de France (в чем я не был уверен до Вашего письма, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ не читаю M⟨ercure⟩ de Fr⟨ance⟩). (*Кстати:* я напишу на этот раз письмо в ред⟨акцию⟩ «Весов», где публично, как Вы советуете, отрекусь от мист⟨ического⟩ анарх⟨изма⟩. Но мне нужно для этого знать точно, как именно выражается Семенов, чтобы, опровергая, не провраться. Потому — откладываю это до П⟨етер⟩бурга). Но, послушайте: неужели Вы думаете, что я «предаю друзей врагам», когда пишу Вам или Эллису насмешливо о Чулкове, а потом — «противоречу себе». Когда мне говорят: не правда ли — Чулков *подозрителен* в таком и таком-то отнош⟨ениях⟩? — я уклоняюсь, виляю (да, да), боюсь признаться другому в том, что подозреваю сам. Ведь когда один человек думает о другом, он свободен, когда же об этом другом уже «перемигнутся двое» — дело кончено, затравлен человек, и от травли еще увеличатся его пороки и еще уменьшатся добродетели. Когда же мне говорят: если Вы честный человек, Вы обязаны признать, что Чул-

ков — негодяй — я отвечаю злостно (о, это не формализм и не чиновничанье!).

Как все это сонно, томительно и странно, Борис Николаевич. Я вязать и разрешать не берусь. Вчера, под впечатлением Ваших писем, я поехал в Москву, написал Вам из ресторана «Прага» письмо о том, что хотел бы говорить с Вами искренно и серьезно. Это письмо прервал на половине, показалось, что письменно не изложить всего. Теперь продолжаю — и вот почему: когда лакей воротился с ответом, что Вас нет дома (это было в 10-м часу вечера), мне показалось, что так и надо, что нам все равно не сговориться устно. Но писать решаюсь продолжать, сейчас воротился из Москвы и вот пишу. Говорил всю дорогу с молодым ямщиком. У меня теперь очень крупные сложности в личной жизни. Когда же говорит ямщик, оказывается, что он — представитель 40-а простых миллионов, а я — представитель сотни «кающихся дворян» со сложностями. Ямщик ничего поделать не может с тем, что он темен, а я с тем, что я — еще темнее, даже с «мистич⟨еским⟩ анархизмом» ничего не могу поделать, не говоря о важном. Но я здоров и прост, становлюсь *все проще*, как только могу. В чем же дело? Вы скажете, что это — лень, ребячливые проклятые вопросы, что надо действовать, а не каяться, что я не знаю, наконец, теории познания. Так, все верно. Но и Л. Андреев (какой еще сплетник сообщил Вам, что я читал «черновик» Андрееву? Ни черновика, ни Андреева не было. Ох, уж эти Тата, Зина, Чулков, Вяч⟨еслав⟩ Иванов и пр. и пр. Не верьте рассказам и предположениям третьих лиц. Этой зимой вышло однажды из этих рассказов, что я уже умер), но и Л. Андреев, которого Вы уважаете, мучится проклятыми, аляповатыми, некультурными вопросами, мучается Россией, — зная ее немногим больше меня, пожалуй. Ведь вот откуда мое хватанье за Скитальца; я за Волгу ухватился, за понятность слога, за отзывчивость души, за ее здоровую и тупую боль. Ведь я не стою на том, что *это* — искусство.

Чувствую, что всем, что пишу, делаюсь еще более чуждым Вам. Но я *всегда* был таким, почему же Вы прежде любили меня? «Или Вы были слепы?», спрошу в свою очередь.

Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я — *лирик*. Быть лириком — жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна,

куда можно полететь — и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное покрывало. *Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала*, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет *только моя душа*, — я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.

Теперь о другом.

Где «богохульство» в моих драмах? (кроме «Балаганчика»). Почему кощунственны строки: «в подушках, в креслах, на диване...». Это просто — скверные строки, как *почти* все мои стихи — в «Цветнике Ор». Сверх того, именно эти строки еще банальны и «дурного тона». Другое дело — стихи о «Весне» — они кощунственны. Но объясните, что кощунственнее всего и что такое — кощунство? Когда я издеваюсь над своим святым — *болею*. Но «*Балаганчику*» Вы придаете смысл чудовищный — зачем и за что? Если повернуть вопрос так, как Вы — он омерзителен, вреден, пожалуй, «мистико-анархичен». Поверните *проще* — выйдет ничтожная декадентская пьеска не без изящества и с какими-то типиками — неудавшимися картонными фигурками живых людей.

Мои «хроники» в «Руне» суть *рассуждения* на изв⟨естные⟩ темы. Никаких *синтетических* задач не имел, ничего *окончательного* не высказывал; раздумывал и развивал клубок своих мыслей, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, никому не нужных. Если бы мне предложили «создать журнал», быть редактором или что-либо в этом роде, принял бы это за насмешку или наивность. У меня нет *на то* ни образования, ни умелости, ни тактики, ни твердой почвы. В Вашем *войске* (войске людей с отточенными мировоззрениями) *действовать* я не могу, потому что не умею принять приглашения укреплять теорию символизма. Сердце же мое, *по-прежнему*, лежит ближе к Вам, чем к факельщикам. Вот почему мне бывает больно, когда Вы или лица из Вашего кружка относятся ко мне как к совершенно чужому. Среди факельщиков (неуловимых, как я с Вами совершенно согласен) стоит особняком для меня Вяч⟨еслав⟩ Иванов, человек глубоких ума и души — не пустышка. Мы оба — лирики, оба любим колебания друг друга, так как за этими колебаниями стоят и сторожат наши лирические души. Сторожат они совершенно разное, потому, когда дело переходит на почву более твердую, мы расходимся с Вяч⟨еславом⟩ Ивановым.

К пунктам расхождения, очень важным, принадлежит, например, Л. Андреев, или мистич⟨еский⟩ анархизм.

Если я кощунствую, то кощунства мои *с избытком* покрываются *стоянием на страже*. Так было, так есть и так будет. Душа моя — часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же — сомнения и страхи находят и на часового. Если мы *действительно* расходимся с Вами «в глубине глубин», то, значит, основательны мои мистические страхи при встрече с Вами, которые я описал, и основательны Ваши мистические подозрения «Снежной Маски» (впрочем, кое-что и я *подозреваю** в «Снежной Маске», но и *здесь** кощунство тонет в ином — высоком).

«Мы друг другу чужды», говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы *верить лирику*, каков я, т. е., в худшем случае, — слепому, с миросозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит *нет*, чем да. Примите во внимание, что речь идет *обо мне, никогда не изменявшемся* по существу. В таком случае, если и Вы — неизменны — нет причин *не верить* теперь, *или* не было причин *верить* тогда. Если же Вы изменились, то есть, быть может, причины не верить теперь. Я же полагаю, что тот сильнейший перелом, который Вы переживаете теперь, *не изменяет Вас по существу*; Вы — все тот же, каким я Вас знал, и теперь, когда я знаю о Вас по журналам и от третьих лиц. Переживаю перелом и я, но меня, уж я наверное знаю, он не меняет по существу. Если же все это так, то признайтесь: *надоело* Вам считаться с такою зыблемой, лирической душой, как моя. И я допускаю, что Вы правы — перед Вашим делом, что *во мне есть то*, из-за чего людей «покидают друзья», становящиеся на путь более твердый в *идейном* смысле.

Я допускаю, что нам надо разойтись, т. е. *не сходиться так*, как сходились мы до сих пор. Но думаю, что и в расхождении надо сохранить друг о друге то знание, которое дали нам опыт и жизнь. Я *храню* его сквозь все сплетни, сомнения, недоумения, озлобления, забвения. Считаюсь с Вами всегда, Вы, *я допускаю*, в положении более трудном: труднее хранить верное воспоминание о душе более зыблемой и неверной, чем Ваша. Но тут я и спрашиваю Вас, «как на духу», по Вашему выражению: уверены ли Вы, что Вы — *вернее* меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки — я *верен*.

Предоставляю Вам сказать, что все, что пишу — слова, слова, слова. Но, *право*, я бы не писал, если бы это были слова, писать мне трудно, и для слов я не писал бы. В основании моей души лежит *не Балаганчик, клянусь*. Если бы в ее основе лежал Балаганчик, я не написал бы ни строчки этого письма, как не написал бы большинства своих стихов; написал бы разве стихи «о сажании символа на пароход», которые, опять-таки, — поверните проще, проще, проще. Да не стоит и повертывать, об этом стихотворении я готов просто сказать — черт с ним.

Вы готовы сказать: «он пишет все о себе, когда дело идет о важном, об изгнании из литературы мистич⟨еского⟩ анархизма, которому он потакает, да и еще кое о чем — более важном». Хорошо, я буду *отвечать* Вам на Ваше письмо со всею четкостью, на которую я способен в прозе. А пока скажу Вам. Я думаю, что все, что изложил письменно, не удалось бы мне сказать устно. Хотя письмо вышло очень хаотическое, но говорил бы я еще хаотичнее. Потому, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, лучше, что мы не говорили с Вами в «Праге». *Теперь*, после этого письма, нам скорее можно говорить; если хотите, я готов снова приехать в Москву; м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, это нужно, т. е. нужно, чтобы Вы видели меня, а не читали только мои слова.

Снова перечитываю Ваши письма и отвечаю, как могу.

Да, мистич⟨еский⟩ анархизм, соборн⟨ый⟩ индивидуализм, эротизм, мистич⟨еский⟩ реализм — я анализировать также не считаю возможным в том виде, в каком они существуют или не существуют в книгах Чулкова и Гофмана. Да, я разделяю Ваши опасения относит⟨ельно⟩ «зари мистич⟨еского⟩ хулиганства». Да, я признаю себя виновным в «потакательстве», которое выражалось в том, что я допускаю *такие* заявления, как в «Mercure de France». Не оправдываюсь. Потому сочту своим долгом сказать *нет* этим теориям в письме в ред⟨акцию⟩ «Весов». Считаю, что должен это сделать скорее, потому обращаюсь с просьбой к Вам; не имею в Москве другого источника. «Merc⟨ure⟩ de France» я не имею возможности видеть, Вы же бываете в «Весах». Если бы Вы выписали мне точно ту *фразу*, в которой я причисляюсь к мист⟨ическим⟩ анархистам, я был бы Вам очень обязан. Подписана ли статья Семеновым или кем-ниб⟨удь⟩ другим? Это — первое. Впрочем, при-

бавлю все-таки: неужели я *литературно* подавал повод причислять меня к мист⟨ическому⟩ анархизму? Думаю, что мои стихи свидетельствуют о противном. Таким образом, и «Весы» и Вы имеете лишь *формальные* поводы причислять меня к эт⟨ому⟩ направлению (на основ⟨ании⟩ статей Чулкова и пр.), но где же право внутреннее? Вы могли бы знать меня настолько, чтобы не считать причастным сюда? Это говорит еще раз за то, что Вы не знаете или забыли меня.

Мое письмо в редакцию будет иметь для меня значение развязыванья рук и окончательного разрыва с теми тенденциями, которые желают поставить на *первый план мою зыблемость* (мистич⟨еский⟩ анархизм и значит — адогматизм, иррационализм и т. д.), между тем как я *сам* ставлю на первый план мою незыблемую душу, «верную, сквозь всю свою неверность».

Далее: при всей неточности своего мировоззрения, я сознаю, что теория из настроения создана быть не может и не должна. Поэтому я издавна отношусь к вышеук⟨азанным⟩ теориям как к *лирике* — и *никогда не возвожу их в теории, принципы, пути*. Но зачем Вы говорите о *карьеризме* и т. п. Всем нам приходит это в голову. Но, ради бога, не будем судить душу человеческую собором, пусть судит ее каждый из нас в отдельности. Совместное подчеркивание пороков или наклонностей к порокам — раздувает их, треплет и губит *человека, а не писателя*. Можно ли, например, писать, как З. Н. Гиппиус: «Чулков пристал к Блоку». Ведь это — неуважение к самой себе.

Если я не ответил на все частные пункты Ваших писем, то Вы можете вывести, как я отношусь к ним — из всего остального. Но письмо разрослось. Если бы Вы ответили мне, я был бы очень рад. Говорить с Вами готов. Никаких бездонных умолчаний у меня нет. Я хочу проще, проще, проще. М⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, если бы мы говорили с Вами, нам удалось бы выяснить подробности наших отношений, провинности друг перед другом в областях более интимных. Писать об этом — невозможно. Ну, так я готов говорить, хотя не знаю, скажу ли Вам что-либо новое.

Пока же примите мое уверение в уважении к Вам.

Александр Блок.

⟨...⟩

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨19 августа 1907. Москва⟩

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

я отправил Вам сегодня письмо, но спохватился: отправил его *не заказным*. Ввиду частой потери писем считаю нужным повторить Вам резюме отправленного письма *еще раз*.

Ваше письмо для меня — событие большой важности. Я радуюсь, во-первых, тому, что Ваш образ выясняется в моей душе, приближаясь к тому месту, которое он *должен занимать независимо* от того, сходимся мы или нет, враждебны мы по духу или сходственны. Все эти различия темпераментов, вкусов, индивидуальности, конечно, имеют значение в определении *рельефа* отношений, но они не касаются вопроса о нравственном пьедестале личности. Считая, что этот пьедестал независимо от всех моих недостатков, падений, кощунств у меня остался незыблемым, я долгое время не мог сообразоваться, как же мне на Вас смотреть (сверху вниз, снизу вверх, на одном уровне). А я всегда бы хотел Вас видеть независимо от всех возможных сближений и удалений психологических для себя на пьедестале. Ваше письмо открыло мне глаза на многое. Лирический пафос души, предполагающий слова о несказанном, я способен и ценить и понимать; я никогда не требую объяснений; но раз многое во взаимной лирике столкновений переходит в диссонанс, то нужно для исчезновения химер взаимного недоверия перейти к твердыням трезвого уяснения. И вот тут-то и невольно хочешь, чтобы туман несказанности на время рассеялся и обозначилось то, что под ним: вершина или болото. Ваше письмо меня во многом успокаивает *раз навсегда*.

Во-вторых, я рад, что Вы стали на ту точку зрения по отношению ко мне, на какую я пытался стать по отношению к Вам еще в бытность мою в Париже; но, вероятно, письмо мое не выражало сущности моих намерений, и Вы отнеслись к нему лишь как к лирическому моменту, а не как к трезво обдуманному решению. Это и породило дальнейшую неясность наших отношений. *Сегодня я в первый раз за полтора года чувствовал себя нравственно успокоенным:* это показы-

вает Вам без слов, насколько тяжело мне было мое вынужденное отношение к Вам и насколько я люблю Ваш образ в своей душе (каким бы он ни был, родственным или враждебным) видеть на подобающем пьедестале.

Александр Александрович, Вы напрасно полагаете, что я *забыл Вас:* вопреки кажущейся экспансивности и легкости я *никогда ничего не забываю.* Но я был вынужден не смотреть в те области наших отношений, где все у меня звучало «симфонией». Это было, вероятно, тяжелее всего мне самому. Но я решил не щадить *во имя* (правильно или неправильно) *понятого долга* ни себя, ни кумиров, ни тем более друзей. С своей точки зрения я нес тяжелый и добровольный крест; насколько объективно правильна была моя точка зрения, это другой вопрос.

Ваше письмо успокоило меня: Ваша ясная и безусловная искренность пробила глубокую брешь в моем непроизвольно выросшем за полтора года недоверии к Вам как объективно высокой и благородной личности. Есть сфера глубоких и интимных отношений наших, где я хотел бы выяснить *«наши провинности»* друг относительно друга (если желаете только формально, если желаете и интимнее); и потому-то мне было бы дорого видеть Вас в Москве; это было бы *очень важным* для меня, быть может, это было бы нужно и Вам — не знаю... *Я жду с нетерпением* * Вас в Москве (чем скорее, тем лучше) или же уведомления о Вашем точном адресе; в последнем случае я отвечу Вам возможно искреннее и подробнее в ответ на Ваше письмо, не обязывая Вас, конечно, отвечать (не напрашиваясь на переписку — сохрани боже!). Я сообщил бы Вам тотчас подлинную выдержку «M⟨ercure⟩ de Fr⟨ance⟩» (буду в «Весах» только послезавтра, а потому и не привожу ее в отсылаемом письме). *Я очень* * хотел бы видеть Вас, но... при условии, что Вы сочтете и для себя нужным наше свидание.

Вообще я хотел бы абсолютной свободы, простоты, честности и возможной открытости в наших отношениях, и потому бога ради не делайте никаких *вынужденных* поступков ради меня.

Смотрите на меня как на человека, который при всей своей слабости, неуверенности, тактике поведения в *последнем счете с Судьбою* не стремится ни к чему иному, кроме Правды. Если он выбирает не те пути, если запутывается в сложности *«многоликости»* и *«дву-*

смысленности» явлений жизни, если в борьбе с кажущейся ему *«многоликостью»* надевает подчас разные маски, он искренно стремится к единому лику цели, он считает свои маски только забралами опущенных на лицо шлемов, когда враждебные силы наносят меч над тем, что ему дорого.

В течение последнего года смерть не раз глядела в мои глаза, и я полюбил ее тихое дуновение, ее «синие пустыни». Каким бы я ни казался Вам издали, мне терять нечего, ибо все временные ценности заколебались предо мной, а сердце не устало биться навстречу ценностям вечным. И *«летейский шепот»* слушаю я сквозь всю суету внешних отношений, литературной тактики и пр. со сладкой грустью.

Я не боюсь смерти, но и не ищу ее. Я знаю, она меня найдет; но я не устал верить, что через смерть я приду к *воскресению.*

Простите меня за это невольное признание. Оно вызвано тем лирическим подъемом, который пробудило во мне Ваше письмо.

Остаюсь глубокоуважающий и признательный Вам за Ваше дорого мне прозвучавшее письмо

Борис Бугаев.



ПЕПЕЛ

Посвящаю эту книгу
памяти Некрасова.

Что ни год — уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней...
Мать-отчизна! Дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!
Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведренный день впереди;
Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья
Человеческой крови и слез.

Н. А. Некрасов

Россия



Отчаянье

З. Н. Гиппиус

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

Века́ нищеты и безволья.
Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать: —

Туда, на равнине горбатой,—
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой,
В косматый свинец облаков,

Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И в ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,

Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков,—

Туда,— где смертей и болезней
Лихая прошла колея,—
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

Июль 1908
Серебряный Колодезь



Деревня

Г. А. Рачинскому

Снова в поле, обвеваем
Легким ветерком.

Злое поле жутким лаем
Всхлипнет за селом.

Плещут облаком косматым
По полям седым
Избы, роем суковатым
Изрыгая дым.

Ощетинились их спины,
Как сухая шерсть.
День и ночь струят равнины
В них седую персть.

Огоньками злых поверий
Там глядят в простор,
Как растрепанные звери
Пав на лыс-бугор.

Придавила их неволя,
Вы — глухие дни.
За бугром с пустого поля
Мечут головни,

И над дальним перелеском
Просверкает пыл:
Будто змей взлетает блеском
Искрометных крыл.

Журавель кривой подъемлет,
Словно палец, шест.
Сердце оторопь объемлет,
Очи темень ест.

При дороге в темень сухо
Чиркает сверчок.
За деревней тукнет глухо
Дальний колоток.

С огородов над полями
Взмоется лоскут.
Здесь встречают дни за днями:
Ничего не ждут.

Дни за днями, год за годом:
Вновь за годом год.
Недород за недородом.
Здесь — немой народ.

Пожирают их болезни,
Иссушает глаз...
Промерцает в синей бездне —
Продрожит — алмаз,

Да заря багровым краем
Над бугром стоит.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет; и молчит.

1908
Серебряный Колодезь



Шоссе

Д. В. Философову

За мною грохочущий город
На склоне палящего дня.
Уж ветер в расстегнутый ворот
Прохладой целует меня.

В пространство бежит — убегает
Далекая лента шоссе.
Лишь перепел серый мелькает,
Взлетая, ныряя в овсе.

Рассыпались по полю галки.
В деревне блеснул огонек.
Иду. За плечами на палке
Дорожный висит узелок.

Слагаются темные тени
В узоры промчавшихся дней.
Сижу. Обнимаю колени
На груде дорожных камней.

Сплетается сумрак крылатый
В одно роковое кольцо.
Уставился столб полосатый
Мне цифрой упорной в лицо.

Август 1904
Ефремов



На вольном просторе

Муни

Здравствуй,—
Желанная
Воля —
Свободная,
Воля
Победная,
Даль осиянная,—
Холодная,
Бледная.

Ветер проносится, желтые травы колебля,—
Цветики поздние, белые.
Пал на холодную землю.

Странны размахи упругого стебля,
Вольные, смелые.

Шелесту внемлю.
Тише...
Довольно:
Цветики
Поздние, бледные, белые,
Цветики,
Тише...
Я плачу: мне больно.

Август 1904
Серебряный Колодезь



На рельсах

Кублицкой-Пиоттух

Вот ночь своей грудью прильнула
К семье облетевших кустов.
Во мраке ночном утонула
Там сеть телеграфных столбов.

Застыла холодная лужа
В размытых краях колеи.

Целует октябрьская стужа
Обмерзшие пальцы мои.

Привязанность, молодость, дружба
Промчались: развеялись сном.
Один. Многолетняя служба
Мне душу сдавила ярмом.

Ужели я в жалобах слезных
Ненужный свой век провлачу?
Улегся на рельсах железных,
Затих: притаился — молчу.

Зажмурил глаза, но слезою —
Слезой овлажнился мой взор.
И вижу: зеленой иглою
Пространство сечет семафор.

Блеснул огонек, еле зримый,
Протяжно гудит паровоз.
Взлетают косматые дымы
Над купами чахлых берез.

1908
Москва



Из окна вагона

Эллису

Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.

Пролетаю: так пусто, так голо...
Пролетают — вон там и вон здесь —
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь; —

И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей: —
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.

Мать Россия! Тебе мои песни,—
О немая, суровая мать! —

Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.

Поезд плачется. Дали родные.
Телеграфная тянется сеть —
Там — в пространства твои ледяные
С буреломом осенним гудеть.

Август 1908
Суйда

Телеграфист

С. Н. Величкину

Окрестность леденеет
Туманным октябрем.
Прокружится, провеет
И ляжет под окном,—

И вновь взметнуться хочет
Большой кленовый лист.
Депешами стрекочет
В окне телеграфист.

Служебный лист исчертит.
Руками колесо
Докучливое вертит,
А в мыслях — то и се.

Жена болеет боком,
А тут — не спишь, не ешь,
Прикованный потоком
Летающих депеш.

В окне кустарник малый.
Окинет беглый взгляд —
Протянутые шпалы
В один тоскливый ряд,

Вагон, тюки, брезенты
Да гаснущий закат...
Выкидывает ленты,
Стрекочет аппарат.

В лесу сыром, далеком
Теряются пески,
И еле видным оком
Мерцают огоньки.

Там путь пространства чертит...
Руками колесо
Докучливое вертит;
А в мыслях — то и се.

Детишки бьются в школе
Без книжек (где их взять!):
С семьей прожить легко ли
Рублей на двадцать пять: —

На двадцать пять целковых —
Одежа, стол, жилье.
В краях сырых, суровых
Тянись, житье мое! —

Вновь дали мерит взором: —
Сырой, осенний дым
Над гаснущим простором
Пылит дождем седым.

У рельс лениво всхлипнул
Дугою коренник,
И что-то в ветер крикнул
Испуганный ямщик.

Поставил в ночь над склоном
Шлагбаум пестрый шест:
Ямщик ударил звоном
В простор окрестных мест.

Багрянцем клен промоет —
Промоет у окна.
Домой бы! Дома ноет,
Без дел сидит жена,—

В который раз, в который,
С надутым животом!..
Домой бы! Поезд скорый
В полях вопит свистком;

Клокочут светом окна —
И искр мгновенный сноп

Сквозь дымные волокна
Ударил блеском в лоб.

Гремя, прошли вагоны.
И им пропел рожок.
Зеленый там, зеленый,
На рельсах огонек...—

Стоит он на платформе,
Склонясь во мрак ночной,—
Один, в потертой форме,
Под стужей ледяной.

Слезою взор туманит.
В костях озябших — лом.
А дождик барабанит
Над мокрым козырько̀м.

Идет (приподнял ворот)
К дежурству — изнемочь.
Вдали уездный город
Кидает светом в ночь.

Всю ночь над аппаратом
Он пальцем в клавиш бьет.
Картонным циферблатом
Стенник ему кивнет.

С речного косогора
В густой, в холодный мрак —
Он видит — семафора
Взлетает красный знак.

Вздыхая, спину клонит;
Зевая над листом,
В небытие утонет,
Затянет вечным сном

Пространство, время, бога
И жизнь, и жизни цель —
Железная дорога,
Холодная постель.

Бессмыслица дневная
Сменяется иной —
Бессмыслица дневная
Бессмыслицей ночной.

Листвою желтой, блеклой,
Слезливой, мертвой мглой
Постукивает в стекла
Октябрьский дождик злой.

Лишь там на водокачке
Моргает фонарек.
Лишь там в сосновой дачке
Рыдает голосок.

В кисейно нежной шали
Девица средних лет
Выводит на рояли
Чувствительный куплет.

1906—1908
Серебряный Колодезь



В вагоне

Т. Н. Гиппиус

Жандарма потертая форма,
Носильщики, слезы. Свисток —
И тронулась плавно платформа;
Пропел в отдаленье рожок.

В пустое, в раздольное поле
Лечу, свою жизнь загубя:
Прости, не увижу я боле —
Прости, не увижу тебя!

На дальних обрывах откоса
Прошли — промерцали огни;
Мостом прогремели колеса...
Усни, мое сердце, усни!

Несется за местностью местность —
Летит: и летит — и летит.
Упорно в лицо неизвестность
Под дымной вуалью глядит.

Склонилась и шепчет: и слышит
Душа непонятную речь.
Пусть огненным золотом дышит
В поля паровозная печь.

Пусть в окнах шмели искряные
Проносятся в красных роях,
Знакомые лица, дневные,
Померкли в суровых тенях.

Упала оконная рама.
Очнулся — в окне суетня:
Платформа — и толстая дама
Картонками душит меня.

Котомки, солдатские ранцы
Мелькнули и скрылись... Ясней
Блесни, пролетающих станций
Зеленая россыпь огней!

Август 1905
Ефремов



Станция

Г. А. Рачинскому

Вокзал: в огнях буфета
Старик почтенных лет
Над жареной котлетой
Колышет эполет.

С ним дама мило шутит,
Обдернув свой корсаж,—
Кокетливо закрутит
Изящный сак-вояж.

А там: — сквозь кустик мелкий
Бредет он большаком *.
Мигают злые стрелки
Зелененьким глазком.

Отбило грудь морозом,
А некуда идти: —
Склонись над паровозом
На рельсовом пути!

Никто ему не внемлет.
Нигде не сыщет корм.

* Большая дорога.

Вон: — станция подъемлет
Огни своих платформ.

Выходят из столовой
На волю погулять.
Прильни из мглы свинцовой
Им в окна продрожать!

Дождливая окрестность,
Секи-секи их мглой!
Прилипни, неизвестность,
К их окнам ночью злой!

Туда, туда — далеко,
Уходит полотно,
Где в ночь сверкнуло око,
Где пусто и темно.

Один... Стоит у стрелки.
Свободен переезд.
Сечет кустарник мелкий
Рубин летящих звезд.

И он на шпалы прянул
К расплавленным огням:
Железный поезд грянул
По хряснувшим костям —

Туда, туда — далеко
Уходит полотно:
Там в ночь сверкнуло око,
Там пусто и темно.

А всё: — в огнях буфета
Старик почтенных лет
Над жареной котлетой
Колышет эполет.

А всё: — среди лакеев,
С сигары армянин
Пуховый пепел свеяв,—
Глотает гренадин.

Дождливая окрестность,
Секи, секи их мглой!

Прилипни, неизвестность,
К их окнам ночью злой!

1908
Серебряный Колодезь



Каторжник

Н. Н. Русову

Бежал. Распростился с конвоем.
В лесу обагрилась земля.
Он крался над вечным покоем,
Жестокую месть утоля.

Он крался, безжизненный посох
Сжимая холодной рукой.
Он стал на приволжских откосах —
Поник над родною рекой.

На камень упал бел-горючий.
Закутался в серый халат.
Глядел на косматые тучи.
Глядел на багровый закат.

В пространствах, где вспыхивал пламень,
Повис сиротливый дымок.
Он гладил и землю, и камень,
И ржавые обручи ног.

Железные обручи звоном
Упали над склоном речным:
Пропели над склоном зеленым —
Гремели рыданьем родным.

Навек распростился с Сибирью:
Прости ты, родимый острог,
Где годы над водною ширью
В железных цепях изнемог.

Где годы на каменном, голом
Полу он валяться привык:
Внизу — за слепым частоколом —
Качался, поблескивал штык;

Где годы встречал он со страхом
Едва прозябающий день,

И годы тяжелым размахом
Он молот кидал на кремень;

Где годы так странно зияла
Улыбка мертвеющих уст,
А буря плескала-кидала
Дрожащий, безлиственный куст;

Бросали бренчавшие бревна,
Ругаясь, они на баржи,
И берегом-берегом, ровно
Влекли их, упав на гужи;

Где жизнь он кидал, проклиная,
Лихой, клокотавшей пурге,
И едко там стужа стальная
Сжигала ветрами в тайге,

Одежду в клочки изрывая,
Треща и плеща по кустам; —
Визжа и виясь — обвивая,—
Прощелкав по бритым щекам,

Где до крови в холоде мглистом,
Под жалобой плачущий клич,
Из воздуха падая свистом,
Кусал его бешеный бич,

К спине прилипая и кожи
Срывая сырые куски...
И тучи нахмурились строже.
И строже запели пески.

Разбитые плечи доселе
Изъел ты, свинцовый рубец.
Раздвиньтесь же, хмурые ели!
Погасни, вечерний багрец!

Вот гнезда, как черные очи,
Зияя в откосе крутом,
В туман ниспадающей ночи
Визгливо стрельнули стрижом.

Порывисто знаменьем крестным
Широкий свой лоб осенил.
Промчался по кручам отвесным,
Свинцовые воды вспенил.

А к телу струя ледяная
Прижалась колючим стеклом.
Лишь глыба над ним земляная
Осыпалась желтым песком.

Огни показались. И долго
Горели с далеких плотов;
Сурово их темная Волга
Дробила на гребнях валов.

Там искры, провеяв устало,
Взлетали, чтоб в ночь утонуть;
Да горькая песнь прорыдала
Там в синюю, синюю муть.

Там темень протопала скоком,
Да с рябью играл ветерок.
И кто-то стреляющим оком
Из тучи моргнул на восток.

Теперь над волной молчаливо
Качался он желтым лицом.
Плаксивые чайки лениво
Его задевали крылом.

1906—1908
Серебряный Колодезь



Вечерком

Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряснет,
Хворостом шуршит.
Солнце меркнет, виснет, гаснет,
Пав в семью ракит.

Иссыхают в зыбь лохмотьев
Сухо льющих нив
Меж соломы, меж хоботьев,
Меж зыбучих ив —

Иссыхают избы зноем,
Смотрят злым глазком
В незнакомое, в немое
Поле вечерком,—

В небо смотрят смутным смыслом,
Спины гневно гнут;
Да крестьянки с коромыслом
Вниз из изб идут;

Да у старого амбара
Старый дед сидит.
Старый ветер нивой старой
Исстари летит.

Тенью бархатной и черной
Размывает рожь,
Вытрясает треском зерна;
Шукнет — не поймешь:

Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряснет,
Хворостом шуршит.
Солнце: — меркнет, виснет, гаснет,
Пав в семью ракит.

Протопорщился избенок
Кривобокий строй,
Будто серых старушонок
Полоумный рой.

1908
Ефремов



Бурьян

Г. Г. Шпету

Вчера завернул он в харчевню,
Свой месячный пропил расчет.
А нынче в родную деревню,
Пространствами стертый, бредет.

Клянет он, рыдая, свой жребий.
Друзья и жена далеки.
И видит, как облаки в небе
Влекут ледяные клоки.

Туманится в сырости — тонет
Окрестностей никнущих вид.

Худые былинки наклонит,
Дождями простор запылит —

Порыв разгулявшейся стужи,
В полях разорвется, как плач.
Вон там: — из серебряной лужи
Пьет воду взлохмаченный грач.

Вон там: — его возгласам внемлет
Жилец просыревших полян —
Вон: — колкие руки подъемлет
Обсвистанный ветром бурьян.

Ликует, танцует: «Скитальцы,
Ища свой приют, припадут
Ко мне: мои цепкие пальцы
Их кудри навек оплетут.

Вонзаю им в сердце иглу я...
На мертвых верхах искони.
Целю я, целуя-милуя,
Их раны и ночи, и дни.

Здесь падают иглы лихие
На рыхлый, рассыпчатый лёсс;
И шелестом комья сухие
Летят, рассыпаясь в откос.

Здесь буду тебя я царапать,—
Томить, поцелуем клонясь...»
Но топчет истрепанный лапоть
Упорнее жидкую грязь.

Но путник, лихую сторонку
Кляня, убирается прочь.
Бурьян многолетний вдогонку
Кидает свинцовую ночь.

Задушит — затопит туманом:
Стрельнул там летучей иглой...
Прокурит над дальним курганом
Тяжелого олова слой.

Как желтые, грозные бивни,
Размытые в россыпь полей,
С откосов оскалились в ливни
Слои вековых мергелей.

Метется за ним до деревни,
Ликует-танцует репье:
Пропьет, прогуляет в харчевне
Растертое грязью тряпье.

Ждут: голод да холод — ужотко;
Тюрьма да сума — впереди.
Свирепая, крепкая водка,
Огнем разливайся в груди!

1905—1908
Ефремов



Арестанты

В. П. Поливанову

Много, брат, перенесли
На веку с тобою бурь мы.
Помнишь — в город нас свезли.
Под конвоем гнали в тюрьмы.

Била ливнем нас гроза:
И одежда перемокла.
Шел ты, в даль вперив глаза,
Неподвижные, как стекла.

Заковали ноги нам
В цепи.
Вспоминали по утрам
Степи.

За решеткой в голубом
Быстро ласточки скользили.
Коротал я время сном
В желтых клубах душной пыли.

Ты не раз меня будил.
Приносил нам сторож водки.
Тихий вечер золотил
Окон ржавые решетки.

Как с убийцей, с босяком,
С вором,
Распевали вечерком
Хором.

Здесь, на воле, меж степей
Вспомним душные палаты,
Неумолчный лязг цепей,
Наши серые халаты.

Не кручинься, брат, о том,
Что морщины лоб изрыли.
Всё забудем: отдохнем —
Здесь, в волнах седой ковыли.

1904
Серебряный Колодезь

Веселье на Руси

Как несли за флягой флягу —
Пили огненную влагу.

Д'накачался —
Я.
Д'наплясался —
Я.

Дьякон, писарь, поп, дьячок
Повалили на лужок.

Эх —
Людям грех!
Эх — курам смех!

Трепаком-паком размашисто пошли: —
Трепаком, душа, ходи-валяй-вали:

Трепака да на лугах,
Да на межах, да во лесах —

Да обрабатывай!

По дороге ноги-ноженьки туды-сюды
пошли,
Да по дороженьке вали-вали-вали —

Да притопатывай!

Что там думать, что там ждать:

Дунуть, плюнуть — наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.

Гомилетика, каноника —
Раздувай-дува-дувай, моя гармоника!

Дьякон пляшет —
                    — Дьякон, дьякон —
Рясой машет —
                    — Дьякон, дьякон —
Что такое, дьякон, смерть?

— «Что такое? То и это:
Носом — в лужу, пяткой — в твердь...»

. . . .

Раскидалась в ветре,— пляшет —
Полевая жердь: —

Веткой хлюпающей машет
Прямо в твердь.

Бирюзовою волною
Нежит твердь.

Над страной моей родною
Встала Смерть.

1906
Серебряный Колодезь



Осинка

А. М. Ремизову

1

По полям, по кустам,
По крутым горам,
По лихим ветрам,
По звериным тропам
Спешит бобыль-сиротинка
Ко святым местам —

Бежит в пространство
Излечиться от пьянства.

Присел под осинкой
Бобыль-сиротинка.
— «Сломи меня в корне»,—

Осинка лепечет листвяная —
Лепечет
Ветром пьяная —

Над откосами
В ветре виснет;
Слезными росами
Праздно прыснет —
— «Сломи меня в корне»,—

Осинка лепечет.
Осинка — кружев узорней —
Лепечет
В лес, в холод небес,
В холод горний —
— «Сломи меня в корне»,—

Осинка лепечет.
Листики пламенные
Мечет
В провалы каменные,—
Всё злей, всё упорней
— «Сломи меня в
корне»,—

Лепечет:
Бормочет
В сердитой сырости,
Листами трескочет:

«Свой посох
Скорей —
Багрецом перевитый,
Свой посох —

Скорее
Сломи ты: —

Твой посох
В серебре
Да в серебряных росах.

Твой посох

Тебе не изменит: —
Врагов подорожных в пространство
Размечет —
От пьянства
Излечит».

Молчит сиротинка
Да чинит
Свой лапоть
Над склоном зеленым.

Согнется поклоном,—
И хочет
Его молодая осинка
Слезами своими окапать.

2

И срезал осинку
Да с ней и пошел в путь-дороженьку —

По полям, по кустам,
По крутым горам,
По лихим ветрам,
По звериным тропам
Ко святым местам —

Славит господа-боженьку:

«Господи-боженька,
Мой посох
Во слезах —
Во серебряных росах.

Ныне, убоженький,
С откосов
В пустыни
Воздвигаю свой посох.

Господи-боженька,
Ныне сим посохом
Окропляю пространства:
Одеваю пространства
В золотые убранства —

Излечи меня от пьянства!

В путь-дороженьку
Уносите меня, ноженьки,—
По полям, по кустам
Ко святым местам».

3

Привели сиротинку кривые
Ноги
Под склон пологий.
Привели сиротинку сухие
Ветви
В места лихие.

— «Замолю здесь грехи я».

Зашел в кабачишко —
Увязали бутыль
С огневицею —
С прелюбезной сестрицею.

Курил табачишко.
Под вышкой песчаной
Склонил нос багряный
В пыль.

Бобыль —
Пьяница!
У бобыля нос —
Румянится!

— «Ты скажи мне, былиночка,
Как величают места сии?»

Отвечала былиночка:

«Места сии —
Места лихие,
Песчаные:
Здесь шатаются пьяные —

Места лихие
Зеленого Змия».

— «Замолю здесь грехи я!»

4

Плыла из оврага
Вечерняя мгла;
И, булькая, влага
Его обожгла.

Картуз на затылок надвинул,
Лаптями взвевая ленивую пыль.
Лицо запрокинул,
К губам прижимая бутыль.

Шатался детина —
Шатался дорогой кривой;
Вскипела равнина
И взвеяла прах над его головой;

Кивала кручина
Полынной метлой; —

Подсвистнула ей хворостина
В руках багряневшей листвой:
«Ты — мой, сиротина,
Ты — мой!»

Рванулась,
Метнулась,
Помчалась в поля —

Кружится,
Пляшет
Вокруг бобыля:

«Бобыль —
Пьяница:
У бобыля —
Нос румянится» —

Кружится,
Пляшет,—

Рукавами своими
Сухими,
Колючими машет.

На́ смех тучам —
Шутам полевым и шутихам —

Пляшет
По кручам!

Гой еси, широкие поля!
Гой еси, всея Руси поля! —

Не поминайте лихом
Бобыля!

1906
Дедово



Песенка комаринская

Шел калика, шел неведомой дороженькой: —
Тень ползучую бросал своею ноженькой.

Протянулись страны хмурые, мордовские —
Нападали силы-прелести бесовские.

Приключилось тут с каликою мудреное:
Уж и кипнем закипала степь зеленая.

Тень возговорит калике гласом велием:
«Отпусти меня, калика, со веселием.

Опостылело житье мне мое скромное,
Я пройдусь себе повадочкою темною».

Да и втапоры калику опрокидывала;
Кафтанишко свой по воздуху раскидывала.

Кулаками-тумаками бьет лежачего —
Вырастает выше облака ходячего.

Над рассейскими широкими раздольями
Как пошла кидаться в люд хрестьянский
кольями.

Мужикам, дьякам, попам она поповичам
Из-под ног встает лихим Сморчом-Сморчовичем.

А и речи ее дерзкие, бесовские:
«Заведу у вас порядки не таковские;

Буду водочкой опаивать-угащивать:
Свое брюхо на напастиях отращивать.

Мужичище-кулачище я почтеннейший:
Подпираюсь я дубиной здоровеннейшей!»

Темным вихорем уносит подорожного
Со пути его прямого да не ложного.

Засигает он в кабак кривой дорожкою;
Загуторит, засвистит своей гармошкою:

«Ты такой-сякой комаринский дурак:
Ты ходи-ходи с дороженьки в кабак.

Ай люли-люли люли-люли-люли:
Кабаки-то по всея Руси пошли!..»

А и жизнь случилась втапоры дурацкая:
Только ругань непристойная, кабацкая.

Кабаки огнем моргают ночкой долгою
Над Сибирью, да над Доном, да над Волгою.

То и свет, родимый, видеть нам прохожего —
Видеть старого калику перехожего.

Всё-то он гуторит, всё-то сказы сказывает,
Всё-то посохом, сердешный, вдаль указывает:

На житье-бытье-де горькое да óховое
Нападало тенью чучело гороховое.

Июнь 1907
Петровское



На скате

Я все узнал. На скате ждал.
Внимал: и всхлипнула осинка.
Под мертвым верхом пробежал
Он подовражною тропинкой.

Над головой седой простер
Кремня зубчатого осколок.

Но, побледнев, поймав мой взор,
Он задрожал: пропал меж елок.

Песок колючий и сухой —
Взвивается волной и стонет.
На грудь бурьян, кривой, лихой,
Свой поздний пух — на грудь уронит.

Тоску любви, любовных дней —
Тоску рассей: рассейся, ревность!
Здесь меж камней, меж зеленей
Пространств тысячелетних древность.

Прозябли чахлою травой
Многогребенчатые скаты,
Над ними облак дымовой,
Ворча, встает, как дед косматый.

В полях плывет, тенит, кропит
И под собою даль означит.
На бледной тверди продымит.
Уходит вдаль — дымит и плачет.

Август 1906
Серебряный Колодезь



Пустыня

В. Ф. Эрну

Укройся
В пустыне:
Ни зноя,
Ни стужи зимней
Не бойся
Отныне.

О, ток холодный,
Скажи,
Скажи мне —
Куда уносишь?

О брег межи
Пучок
Бесплодный
Колосьев бросишь.

Туда ль, в безмерный
Покой пустынь?
Душа, от скверны,—
Душа — остынь!

И смерти зерна
Покорно
Из сердца вынь.

— А ток холодный
Ковыль уносит.
У ног бесплодный
Пучок
Колосьев бросит...

Эфир; в эфир —
Эфирная дорога.
И вот —
Зари порфирная стезя
Сечет
Сафир сафирного
Чертога.

В пустыне —
Мгла. И ныне
Славит бога
Душа моя!

Остынь —
Страстей рабыня,—
Остынь,
Душа моя!

Струи эфир,
Эфирная пустыня!
Влеки меня,
Сафирная стезя!

— А ток холодный
Ковыль уносит.
У ног бесплодный
Пучок
Колосьев бросит...—

1907
Серебряный Колодезь

Горе

Солнце тонет.
Ветер: — стонет,
Веет, гонит
Мглу.

У околицы,
Пробираясь к селу,
Паренек вздыхает, молится
На мглу.

Паренек уходит во скитаньице;
Белы-руки сложит на груди:

«Мое горе,—
Горе-гореваньице:
Ты за мною,
Горе,
Не ходи!»

Красное садится, злое око.
Горе гложет
Грудь,
И путь —
Далекий.

Белы-руки сложит
На груди:
И не может
Никуда идти:

«Ты за мною,
Горе,
Не ходи».

Солнце тонет.
Ветер стонет,
Ветер мглу
Гонит.

За избеночкой избеночка.
Парень бродит
По селу.

Речь заводит
Криворотый мужичоночка:

«К нам —
В хаты наши!
Дам —
Щей да каши...»

— «Оставь:
Я в Воронеж».
— «Не ходи:
В реке утонешь».

— «Оставь:
Я в Киев».
— «Заходи —
В хату мою:
До зеленых змиев
Напою».

— «Оставь:
Я в столицу».
— «Придешь в столицу:
Попадешь на виселицу...»

Цифрами оскалились версты полосатые,
Жалят ноги путника камни гребенчатые.
Ходят тучи по небу, старые-косматые.
Порют тело белое палки суковатые.

Дорога далека: —
Бежит века.

За ним горе
Гонится топотом.

«Пропади ты, горе,
Пропадом».

Бежит на воле:
Холмы, избенки,
Кустарник тонкий
Да поле.

Распылалось в небе зарево.

Как из сырости
Да из марева
Горю горькому не вырасти!

Январь 1906
Москва



Русь

Поля моей скудной земли
Вон там преисполнены скорби.
Холмами пространства вдали
Изгорби, равнина, изгорби!

Косматый, далекий дымок.
Косматые в далях деревни.
Туманов косматый поток.
Просторы голодных губерний.

Просторов простертая рать:
В пространствах таятся пространства.
Россия, куда мне бежать
От голода, мора и пьянства?

От голода, холода тут
И мерли, и мрут миллионы.
Покойников ждали и ждут
Пологие скорбные склоны.

Там Смерть протрубила вдали
В леса, города и деревни,
В поля моей скудной земли,
В просторы голодных губерний.

1908
Серебряный Колодезь



Родина

В. П. Свентицкому

Те же росы, откосы, туманы,
Над бурьянами рдяный восход,

Холодеющий шелест поляны,
Голодающий, бедный народ;

И в раздолье, на воле — неволя;
И в суровый свинцовый наш край
Нам бросает с холодного поля —
Посылает нам крик: «Умирай —

Как и все умирают...» Не дышишь,
Смертоносных не слышишь угроз: —
Безысходные возгласы слышишь
И рыданий, и жалоб, и слез.

Те же возгласы ветер доносит;
Те же стаи несытых смертей
Над откосами косами косят,
Над откосами косят людей.

Роковая страна, ледяная,
Проклятáя железной судьбой —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

1908
Москва

Деревня



Купец

Прогуляй со мною лето:
Я тебе, дружок,
Канареечного цвета
Заколю платок.

Коль отдашь тугие косы
Мне на ночь одну,—
Сапожки на ноги босы
Сам я натяну.

Коли нонче за целковый
Груди заголишь,—
Под завесою шелкóвой
Ночь со мной поспишь,—

Так ужо из крепких бревен
Сколочу наш дом,
Так ужо с села поповен
В гости призовем.

Ты сумей меня растрогать:
Я — купец богат —
Сею лен, скупаю деготь
И смолю канат.

Борода моя — лопата,
Волосата грудь.
Не гоняюсь за богатой:
Ты моею будь.

Плачет девка, ручки сложит:
«Не томи меня».
Без него прожить не может
Ни едина дня.

Он — высокий, чернобровый,
Статный паренек,
За целковый ей ковровый
Подарил платок.

1908
Серебряный Колодезь



Свидание

Сергею Соловьеву

Ряд соломой крытых хижин
Встал со всех сторон.
Под одною, неподвижен,
Притаился он.

Над сквозным зеленым роем
Лепет льющих лоз.
Вьет и моет дымным зноем
Рой сквозных стрекоз.

Средь горшков, помой корытец
Роет землю хряк *.

* Боров.

Уж алеет алый ситец
Там в дверной косяк.

Рдеет россыпь кос размытых,
Позументов блеск,
Бирюзовых глаз, несытых,
Бирюзовый всплеск.

Средь развешанных лохмотьев
Топчут ноги грязь.
Горсть провеянных хоботьев
Сыплет в коновязь.

Груди матовым опалом
Дышат из монист.
Под плетнем — навесцем малым —
Молодецкий свист.

Тает трепет слов медовых
В трепетных устах —
В бледнорозовых, в вишневых,
В сладких лепестках.

Под соломенный навесец
Листья льет лоза;
И подъемлет тонкий месяц
Неба бирюза.

1908
Серебряный Колодезь



Стар

Выглянут лихие очи
Из-под камня; вновь
Выглянет грозней, жесточе
Сдвинутая бровь.

И целует, и милует
Девку паренек.
На лужок летит и дует,—
Дышит: ветерок,

Стелет травные атласы.
Не отходит прочь

Старичище седовласый:
«Сердце, не морочь!»

Парень девичий упругий
Обнимает стан.
Перешукнется в испуге
С лебедой бурьян.

Выглянут лихие очи
Из-под камня; вновь
Выглянет грозней, жесточе
Сдвинутая бровь.

Задымят сырые росы
Над сырой травой.
Заплетает девка в косы
Цветик полевой.

Парень девичий упругий
Оплетает стан.
Перешукнется в испуге
С лебедой бурьян.

Отуманен, в сердце ранен,
Стар отходит прочь,
Пал на камень бездыханен:
«Ты пролейся, ночь!

Борода моя — лопата;
Стар купчина я.
Всё — мое: сребро и злато.
Люба — не моя!

И богатство мне — порука ль?»
Ветр летит с реки;
А вокруг танцует куколь,
Плещут васильки.

Тяжело дыша от зноя,
Сел в густую рожь:
«Отточу-точу ужо я,—
Отточу я нож».

Задымят сырые росы
Над сырой травой.
Заплетает девка в косы
Цветик полевой: —

Улыбнется, рассмеется.
Жаворонок — там —
Как взовьется, изольется
Песнью к небесам.

Знойный ток и жжет, и жарит.
Парит: быть грозе.
Тучей встав, она ударит
Молньей в бирюзе.

Светоч бешено багровый
Грохнет, тучи взрыв: —
С кручи куст многовенцовый
Хряснет под обрыв.

1908
Серебряный Колодезь



На откосе

Вот прошел леса и долы.
Подо мной откос.
На реке огонь веселый
Блещет с дальних кос.

В зеленях меж гнезд и норок
Протоптал я стезь.
Берегись ты, лютый ворог,
Берегись, я — здесь.

Близок час: падешь в крови ты
На груди земли,
Здесь падешь, ножом пробитый.
(Ай, люли-люли!)

Ты не бейся, сердце-знахарь.
(Ай, люли-люли!)
За сохой плетется пахарь
Там вдали, вдали.

Отнесу тебя, сердешный,
В прибережный ров.
Будут дни: смиренный, грешный,
Поплетусь в Саров.

День пройдет: вечор на воле!
Лягу под лопух.
Не усну от горькой боли
Да от черных мух.

1906
Москва



Предчувствие

Паренек плетется в волость
На исходе дня.
На лице его веселость.
Перед ним — поля.

Он надвинул разудало
Шапку набекрень.
На дорогу тень упала: —
Встал корявый пень.

Паренек, сверни с дороги,—
Паренек, сверни!
Ближе черные отроги,
Буераки, пни.

Где-то там тоскливый чибис
Пролетает в высь.
Миловались вы, любились
С девкою надысь —

В колокольчиках, в лиловых,
Грудь к груди прижав,
Средь медвяных, средь медовых,
Средь шелко́вых трав.

Что ж ты вдруг поник тоскливо,
Будто чуя смерть?
Одиноко плещет ива
В голубую твердь.

Вечер ближе. Солнце ниже.
В облаках — огни.
Паренек, сверни — сверни же,
Паренек, сверни!

1908
Суйда

Убийство

Здравствуй, брат! За око око.
Вспомни: кровь за кровь.
Мы одни. Жилье далеко.
Ей, не прекословь!

Как над этой над лужайкой
Кровь пролью твою...
Забавляюсь балалайкой,
Песенки пою.

Веселей ходите, ноги,
Лейся, говор струн!
Где-то там — в пологом логе —
Фыркает табун.

Где-то там — на скате — тройка
В отходящий день
Колокольцем всхлипнет бойко:
Тень-терень-терень!..

Протеренькай, протеренькай
Прямо на закат!
Покалякаем маленько
Мы с тобою, брат.

Отстегни-ка ворот пестрый:
К делу — что там ждать!
И всадил я ножик вострый
В грудь по рукоять.

Красною струею прыснул
Красной крови ток.
Ножик хряснул, ножик свистнул —
В грудь, в живот и в бок.

Покрывая хрип проклятий,
В бархатную новь
Из-под красной рукояти
Пеной свищет кровь.

Осыпаясь прахом, склоны
Тихо шелестят;

Галки, вóроны, вороны
Стаей налетят.

Неподвижные, как стекла,
Очи расклюют.
Там — вдали, над нивой блеклой,
Там — вдали: поют.

С богом, в путь! Прости навеки!
Ну, не обессудь.
Я бегу, смеживши веки.
Ветер свищет в грудь.

К ясным девкам, к верным любам
Не придет авось,—
Как его стальным я зубом
Просадил насквозь.

1908
Серебряный Колодезь



Бегство

Ноет грудь в тоске неясной,
Путь далек, далек.
Я приду с зарею красной
В тихий уголок.

Девкам в платьицах узорных
Песнь сыграю я.
Вот на соснах — соснах черных —
Пляшет тень моя.

Как ты бьешься, как ты стонешь —
Вижу, слышу я.
Скоро, друг сердечный, сгонишь
Стаю воронья.

Веют ветры. Никнут травки.
Петухи кричат.
Через лес, через канавки —
Прямо на закат.

Ей, быстрей! И в душном дыме
Вижу — городок.

Переулками кривыми
Прямо в кабачок.

1906
Москва



В городке

Руки в боки: ей, лебедки,
Вам плясать пора.
Наливай в стакан мне водки —
Приголубь, сестра!

Где-то там рыдает звуком,
Где-то там — орган.
Подавай селедку с луком,
Расшнуруй свой стан.

Ты не бойся — не израню:
Дай себя обнять.
Мы пойдем с тобою в баню
Малость поиграть.

За целковым я целковый
В час один спущу,
Как в семейный, как в рублевый
Номер затащу.

Ты, чтоб не было обмана,
Оголись, дружок.
В шайку медную из крана
Брызнет кипяток.

За мое сребро и злато
Мне не прекословь: —
На груди моей косматой
Смой мочалом кровь.

Растрепи ты веник колок,
Кипяток размыль.
Искусает едкий щелок,
Смоет кровь и пыль.

Обливай кипящим пылом.
На́чисто скреби

Спину, грудь казанским мылом:
Полюби — люби!

Я девчоночку другую —
Не тебя — люблю,
Но обновку дорогую
Для тебя куплю.

Хошь я черный вор-мерзавец,—
Об заклад побьюсь,
Что на вас, моих красавиц,
В ночь раскошелюсь.

Ей, откуда, ей — узнай-ка,
Заявился я?
Трынды-трынды балалайка,
Трыкалка моя!

По крутым речным излукам
Пролетит туман...
Где-то там рыдает звуком —
Где-то там — орган.

1908
Серебряный Колодезь



В деревне

Ходят плечи, ходят трясом,
Стонет в ночь она,—
Прошушукнет поздним класом
Стебель у окна.

«Ты померкни, свет постылый,—
В вечный темень сгинь!
Нет, не встанет из могилы
Сокол мой: аминь!

Как проходят дни за днями.
Палец жжет кольцо».
Мухи черными роями
Плещут ей в лицо.

Прошушукнет поздним класом
Стебель у окна.

Ходят плечи, ходят трясом,—
Стонет в ночь она.

Стар садится под оконцем
Любу обнимать:
«Задарю тебя червонцем,—
Дай с тобой поспать!»

Но в оправе серебрёной
Стукнул грозен перст.
«Сгинь»,— и молоньей зеленой
Небосвод отверст.

«Ты, обитель, богомольца
В скит принять сумей!»
Но, взвивая блеском кольца,
Прыщет в небо змей.

1907
Москва



Виселица

Жизнь свою вином расслабил
Я на склоне лет.
Скольких бил и что я грабил,
Не упомню — нет.

Под железной под решеткой
Вовсе не уснуть.
Как придут они ужотко
Узел затянуть.

Как там столб дубовый нонче
Врыли в лыс бугор.
Заливайся, песня, звонче!
Вдаль лети же, взор!

Всё не верю — не поверю...
Поздно: срок истек;
И шаги,— шаги у двери;
Заскрипел замок.

Офицер кричит конвойным.
«Сабли наголо!»

И полдневным солнцем, знойным,
Темя обожгло.

Привели. Сухою пылью
Ветер в выси взвил.
Золотой епитрахилью
Поп меня накрыл.

Вот сурово мне холодный
Под нос тычут крест.
Сколько раз я шел, свободный,
Ширью этих мест.

Сколько раз встречал, как зверь, я
В логе белый день,
Прошибал со свистом перья
Меткий мой кремень —

Скольким, скольким певчим птицам.
Вкруг окрестных сел
Скольким, скольким молодицам
Вскидывал подол.

Закрутили петлю ловко.
Леденеет кровь.
Перекинулась веревка.
«Ей, не прекословь!»

Под ногой — сухие корни,
А под носом — смерть.
Выше, виселица, вздерни
В голубую твердь!

Подвели: зажмурюсь, нет ли —
Думать поотвык.
Вот и высунул из петли
Красный свой язык.

1908
Серебряный Колодезь



С высоты

Руки рвут раскрытый ворот.
Через строй солдат

Что глядишь в полдневный город,
Отходящий брат?

В высь стреляют бриллиантом
Там церквей кресты.
Там кутил когда-то франтом
С ней в трахтире ты.

Черные, густые клубы
К вольным небесам
Фабрик каменные трубы
Изрыгают там.

Там несется издалека,
Как в былые дни —
«Распрямись ты, рожь высока,
Тайну сохрани».

Вольный ветр гудит с востока.
Ты и нем, и глух.
Изумрудом плещут в око
Злые горсти мух.

1908
Серебряный Колодезь

Паутина



Калека

Там мне кричат издалека,
Что нос мой — длинный, взор — суровый,
Что я похож на паука
И страшен мой костыль дубовый,
Что мне не избежать судьбы,
Что злость в моем потухшем взгляде,
Что безобразные горбы
Торчат и спереди, и сзади...
Так глухо надо мной в дупло
Постукивает дятел пестрый...
Глаза — как ночь; как воск — чело;
На сердце — яд отравы острый;
Угрозою кривится рот;
В ресницах стекленеют слезы...

С зарей проносится и гнет
Едва зеленые березы
Едва запевший ветерок
И кружится на перекрестках,
И плещется там мотылек
На кружевных, сребристых блестках
В косматых лапах паука;
Моя дрожащая рука
Протянется и рвет тенета...
В душе — весенняя тоска:
Душа припоминает что-то.

Подглядываю в мягких мхах,
Весь в лиственном, в прозрачном пухе,
Ребенок в голубых цветах
Там крылья обрывает мухе,—
И тянется к нему костыль,
И вскрикивает он невольно,
И в зацветающую пыль
Спасается — мне стыдно, больно: —
Спасается, в кулак свистя,
И забирается в валежник.

Я вновь один. Срываю я
Мой нежный, голубой подснежник,—

А вслед летят издалека
Трусливые и злые речи,
Что я похож на паука
И что костыль мне вздернул плечи,
Что тихая моя жена,
Потупившись, им рассказала,
Когда над цветником она,
Безропотная, умирала,
Как в мраке неживом, ночном
Над старым мужем — пауком —
Там плакала в опочивальне,
Как изнывала день за днем,
Как становилась всё печальней; —
Как безобразные горбы
С ней на постель ложились рядом,
Как, не снеся своей судьбы,
Утаивала склянку с ядом,
И вот...

Так медленно бреду.
Трещат и цикают стрекозы
Хрустальные — там, на пруду.
В ресницах стекленеют слезы;
Душа потрясена моя.
Похрустывает в ночь валежник.

Я вновь один. Срываю я
Цветок единственный, подснежник.

1908
Москва

Весенняя грусть

Одна сижу меж вешних верб.
Грустна, бледна: сижу в кручине.
Над головой снеговый серп
Повис, грустя, в пустыне синей.

А были дни: далекий друг,
В заросшем парке мы бродили.
Молчал: но пальцы нежных рук,
Дрожа, сжимали стебли лилий.

Молчали мы. На склоне дня
Рыдал рояль в старинном доме.
На склоне дня ты вел меня,
Отдавшись ласковой истоме,

В зеленоватый полусвет
Прозрачно зыблемых акаций,
Где на дорожке силуэт
Обозначался белых граций.

Теней неверная игра
Под ним пестрила цоколь твердый.
В бассейны ленты серебра
Бросали мраморные морды.

Как снег бледна, меж тонких верб,
Одна сижу. Брожу в кручине.
Одна гляжу, как вешний серп
Летит, блестит в пустыне синей.

Март 1905
Москва



Предчувствие

Чего мне, одинокой, ждать?
От радостей душа отвыкла...
И бледная старушка мать
В воздушном капоре поникла,—

У вырезанных в синь листов
Завившегося винограда...
Поскрипывающих шагов
Из глубины немого сада

Шуршание: в тени аллей
Урод на костылях, с горбами,
У задрожавших тополей,
Переливающих листами,

Подсматривает всё за мной,
Хихикает там незаметно...
Я руки к выси ледяной
Заламываю безответно.

1906
Москва



Паук

Нет, буду жить — и буду пить
Весны благоуханный запах.
Пусть надо мной, где блещет нить,
Звенит комар в паучьих лапах.
Пусть на войне и стон, и крик,
И дым пороховой — пусть едок: —
Зажгу позеленевший лик
В лучах, блеснувших напоследок.
Пусть веточка росой блеснет;
Из-под нее, горя невнятно,
Пусть на меня заря прольет
Жемчужно-розовые пятна...
Один. Склонился на костыль.
И страстного лобзанья просит
Душа моя...

И ветер пыль
В холодное пространство бросит,—
В лазуревых просторах носит.

И вижу: —
Ты бежишь в цветах
Под мраморною, старой аркой
В пурпуровых своих шелках
И в шляпе с кисеею яркой.
Ты вот: застенчиво мила,
Склоняешься в мой лед и холод;
Ты не невестой мне цвела:
Жених твой и красив, и молод.
Дитя, о улыбнись,— дитя!
Вот рук — благоуханных лилий —
Браслеты бледные,— блестя,
Снопы лучей озолотили.
Но урони, смеясь сквозь боль,
Туда, где облака-скитальцы,—
Ну, урони желтофиоль
В мои трясущиеся пальцы!
Ты вскрикиваешь, шепчешь мне:
«Там, где ветвей скрестились дуги,
Смотри,— крестовик в вышине
Повис на серебристом круге...»
Смеешься, убегаешь вдаль;
Там улыбнулась в дали вольной.

Бежишь — а мне чего-то жаль.
Ушла — а мне так больно, больно...

Так в бирюзовую эмаль
Над старой, озлащенной башней
Касатка малая взлетит —
И заюлит, и завижжит,
Не помня о грозе вчерашней;
За ней другая — и смотри:
За ней, повизгивая окол,
В лучах пурпуровой зари
Над глянцем колокольных стекол —
Вся черная ее семья...

Грызет меня тоска моя.
И мне кричат издалека,—
Из зарослей сырой осоки,

Что я похож на паука:
Прислушиваюсь... Смех далекий,
Потрескиванье огонька...
Приглядываюсь... Спит река...
В туманах — берегов излучья...

Туда грозит моя рука,
Сухая, мертвая... паучья...

Иду я в поле за плетень.
Рожь тюкает перепелами;
Пред изумленными очами
Свивается дневная сень.
И разольется над лугами
В ночь умножаемая тень —
Там отверзаемыми мглами,
Испепеляющими день.

И над обрывами откоса,
И над прибрежною косой
Попыхивает папироса,
Гремит и плачет колесо.
И зеленеющее просо
Разволновалось полосой...
Невыразимого вопроса —
Проникновение во всё...

Не мирового ль там хаоса
Забормотало колесо?

1908
Москва



Мать

Она и мать. Молчат — сидят
Среди алеющих азалий.
В небес темнеющих глядят
Мглу ниспадающей эмали.

«Ты милого,— склонив чепец,
Прошамкала ей мать,— забудешь,
А этот будет, как отец:
Не с костылями век пробудешь».

Над ними мраморный амур.
У ног — ручной, пуховый кролик.
Льет яркордяный абажур
Свой яркордяный свет на столик.

Пьет чай и разрезает торт,
Закутываясь в мех свой лисий;
Взор над верандою простер
В зари порфировые выси.

Там тяжкий месяца коралл
Зловещий вечер к долам клонит.
Там в озера литой металл
Темноты тусклые уронит; —

Тускнеющая дымом ночь
Там тусклые колеблет воды: —
Там — сумерками кроет дочь,
Лишенную навек свободы.

1908
Серебряный Колодезь



Судьба

Меж вешних камышей и верб
Отражена ее кручина.
Чуть прозиявший, белый серп
Летит лазурною пустыней —
В просветах заревых огней
Сквозь полосы далеких ливней.

Урод склоняется над ней.
И всё видней ей и противней
Напудренный, прыщавый нос,
Подтянутые, злые губы,
Угарный запах папирос,
И голос шамкающий, грубый,
И лоб недобрый, восковой,
И галстух ярко огневой;
И видит: —
　　　　　　где зеленый сук
Цветами розовыми машет
Под ветром,— лапами паук
На паутинных нитях пляшет;

Слетает с легкой быстротой,
Качается,— и вновь слетает,
И нитью бледно золотой
Качается, а нить блистает:
Слетел, и на цветок с цветка
Ползет по росянистым кочкам.
И падает ее рука
С атласным кружевным платочком;
Платочек кружевной дрожит
На розовых ее коленях;
Беспомощно она сидит
В лиловых, в ласковых сиренях.

Качается над нею нос,
Чернеются гнилые зубы;
Угарной гарью папирос
Растянутые дышат губы;
Взгляд оскорбительный и злой
Впивается холодной мглой,
И голос раздается грубый:
«Любовницей моею будь!»
Горбатится в вечернем свете
В крахмал затянутая грудь
В тяжелом, клетчатом жилете.

Вот над сафьянным башмачком
В лиловые кусты сирени
Горбатым клетчатым комком
Срывается он на колени.
Она сбегает под откос;
Безумие в стеклянном взгляде...
Стеклянные рои стрекоз
Летят в лазуревые глади.

На умирающей заре
Упала (тяжко ей и дурно)
В сырой росе, как серебре,
Над беломраморною урной.

Уж в черной, лаковой карете
Уехал он...
                    В чепце зеленом,
В колеблемом, в неверном свете,
Держа флакон с одеколоном,
Старушка мать над ней сидит,

Вся в кружевах,— молчит и плачет.

То канет в дым, то заблестит
Снеговый серп; и задымит
Туманами ночная даль;
Извечная висит печаль:

И чибис в полунощи плачет...

1906
Москва



Свадьба

Мы ждем. Ее всё нет, всё нет...
Уставившись на паперть храма
В свой черепаховый лорнет,
Какая-то сказала дама

Завистливо: «Si jeune... Quelle ange...» *
Гляжу — туманится в вуалях:
Расправила свой флер д'оранж,—
И взором затерялась в далях.

Уж регент, руки вверх воздев,
К мерцающим, златым иконам,
Над клиросом оцепенев,
Стоит с запевшим камертоном.

Уже златит иконостас
Вечеровая багряница.
Вокруг уставились на нас
Соболезнующие лица.

Блеск золотых ее колец...
Рыдание сдавило горло
Ее, лишь свадебный венец
Рука холодная простерла.

Соединив нам руки, поп
Вкруг аналоя грустно водит,
А шафер, обтирая лоб,
Почтительно за шлейфом ходит.

* Такая молодая... Какой ангел... *(фр.)*.

Стою я, умилен, склонен,
Обмахиваясь «chapeau-claque'ом» *,
Осыпала толпа княжон
Нас лилиями, мятой, маком.

Я принял, разгасясь в углу,
Хоть и не без предубежденья,
Напечатленный поцелуй —
Холодный поцелуй презренья.

Между подругами прошла
Со снисходительным поклоном.
Пусть в вышине колокола
Нерадостным вещают звоном,—

Она моя, моя, моя...
Она сквозь слезы улыбнулась.
Мы вышли... Ласточек семья
Над папертью, визжа, метнулась.

Мальчишки, убегая вдаль,
Со смеху прыснули невольно.
Смеюсь,— а мне чего-то жаль.
Молчит,— а ей так больно, больно.

А колокольные кресты
Сквозь зеленеющие ели
С непобедимой высоты
На небесах заогневели.

Слепительно в мои глаза
Кидается сухое лето;
И собирается гроза,
Лениво громыхая где-то.

1905—1908
Серебряный Колодезь



После венца

Глядят — невеста и жених
Из подвенечной паутины,

* Складная шляпа, цилиндр на пружинах *(фр.)*.

Прохаживаясь вдоль куртины,
Колеблемой зефиром; их —

Большой серебряный дельфин,
Плюющийся зеркальным блеском,
Из пурпуро́вых георгин
Окуривает водным блеском.

Медлительно струит фонтан
Шушукающий в выси лепет...
Жених, охватывая стан,
Венчальную вуаль отцепит;

В дом простучали костыли;
Слетела штора, прокачавшись.
Он — в кружевной ее пыли,
К губам губами присосавшись.

Свой купол нежно снеговой
Хаосом пепельным обрушит —
Тот облак, что над головой
Взлетающим зигзагом душит;

И вспучилась его зола
В лучей вечеровые стрелы;
И пепел серый сеет мгла,
Развеивая в воздух белый;

Чтоб неба темная эмаль
В ночи туманами окрепла,—
Там водопадом топит даль
Беззвучно рушимого пепла.

1908
Москва

Город



Старинный дом

В. Ф. Ходасевичу

Всё спит в молчанье гулком.
За фонарем фонарь

Над Мертвым * переулком
Колеблет свой янтарь.

Лишь со свечою дама
Покажется в окне: —
И световая рама
Проходит на стене;

Лишь дворник встрепенется,—
И снова головой
Над тумбою уткнется
В тулуп бараний свой.

Железная ограда;
Старинный барский дом;
Белеет колоннада
Над каменным крыльцом.

Листвой своей поблеклой
Шушукнут тополя.
Луна алмазит стекла,
Прохладный свет лия.

Проходят в окнах светы: —
И выступят из мглы
Кенкэты и портреты,
И белые чехлы.

Мечтательно Полина
В ночном дезабилье
Разбитое пьянино
Терзает в полумгле.

Припоминает младость
Над нотами: «Любовь,
Мечта, весна и сладость —
Не возвратитесь вновь.

Вы где, условны встречи
И вздох: «Je t'aime, Poline...» **
Потрескивают свечи,
Стекает стеарин.

Старинные куранты
Зовут в ночной угар.

---

* Переулок в Москве.
** Я люблю тебя, Полина... *(фр.)*.

Развеивает банты
Атласный пеньюар.

В полуослепшем взоре
Воспоминаний дым,
Гардемарин, и море,
И невозвратный Крым,

Поездки в Дэрикоэ,
Поездки к Учан-Су...
Пенснэ лишь золотое
Трясется на носу.

Трясутся папильотки,
Колышется браслет
Напудренной красотки
Семидесяти лет.

Серебряные косы
Рассыпались в луне.
Вот тенью длинноносой
Взлетает на стене.

Рыдает сонатина
Потоком томных гамм.
Разбитое пьянино
Оскалилось — вон там.

Красы свои нагие
Закрыла на груди,
Как шелесты сухие
Прильнули к ней: «Приди,—

Я млею, фея, млею...»
Ей под ноги луна
Атласную лилею
Бросает из окна.

А он, зефира тише,
Наводит свой лорнет:
С ней в затененной нише
Танцует менуэт.

И нынче, как намедни,
У каменных перил
Проходит вдоль передней,
Ища ночных громил.

Как на дворе собаки
Там дружною гурьбой
Пролаяли,— Акакий —
Лакей ее седой,

В потертом, сером фраке,
С отвислою губой: —
В растрепанные баки
Бормочет сам с собой.

Шушукнет за портретом,
Покажется в окне: —
И рама бледным светом
Проходит на стене,

Лишь к стеклам в мраке гулком
Прильнет его свеча...
Над Мертвым переулком
Немая каланча.

Людей оповещает,
Что где-то — там — пожар,—
Медлительно взвивает
В туманы красный шар.

Август 1908
Суйда



Маскарад

М. Ф. Ликиардопуло

Огневой крюшон с поклоном
Капуцину черт несет.
Над крюшоном капюшоном
Капуцин шуршит и пьет.

Стройный черт,— атласный, красный,—
За напиток взыщет дань,
Пролетая в нежный, страстный,
Грациозный па д'эспань,—

Пролетает, колобродит,
Интригует наугад.
Там хозяйка гостя вводит.
Здесь хозяин гостье рад.

Звякнет в пол железной злостью
Там косы сухая жердь: —
Входит гостья, щелкнет костью,
Взвеет саван: гостья — смерть.

Гость: — немое, роковое,
Огневое домино —
Неживою головою
Над хозяйкой склонено.

И хозяйка гостя вводит.
И хозяин гостье рад.
Гости бродят, колобродят,
Интригуют наугад.

Невтерпеж седому турке:
Смотрит маске за корсаж.
Обжигается в мазурке
Знойной полькой юный паж.

Закрутив седые баки,
Надушен и умилен,
Сам хозяин в черном фраке
Открывает котильон.

Вея веером пуховым,
С ним жена плывет вдоль стен;
И муаром бирюзовым
Развернулся пышный трэн.

Чей-то голос раздается:
«Вам погибнуть суждено»,—
И уж в дальних залах вьется,—
Вьется в вальсе домино

С милой гостьей: желтой костью
Щелкнет гостья: гостья — смерть.
Прогрозит и лязгнет злостью
Там косы сухая жердь.

Пляшут дети в ярком свете.
Обернулся — никого.
Лишь, виясь, пучок конфéтти
С легким треском бьет в него.

«Злые шутки, злые маски»,—
Шепчет он, остановясь.

Злые маски строят глазки,
В легкой пляске вдаль несясь.

Ждет. И боком, легким скоком,—
«Вам погибнуть суждено»,—
Над хозяйкой ненароком
Прошуршало домино.

Задрожал над бледным бантом
Серебристый позумент;
Но она с атласным франтом
Пролетает в вихре лент.

В бирюзу немую взоров
Ей пылит атласный шарф.
Прорыдав, несутся с хоров,—
Рвутся струны страстных арф.

Подгибает ноги выше,
В такт выстукивает па,—
Ловит бэби в темной нише —
Ловит бэби — grand papa *.

Плещет бэби дымным тюлем,
Выгибая стройный торс.
И проносят вестибюлем
Ледяной, отрадный морс.

Та и эта в ночь из света
Выбегает на подъезд.
За каретою карета
Тонет в снежной пене звезд.

Спит: и бэби строит куры
Престарелый grand papa.
Легконогие амуры
Вкруг него рисуют па.

Только там по гулким залам —
Там, где пусто и темно —
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.

Июль 1908
Серебряный Колодезь

---

* Дедушка *(фр.)*.



Меланхолия

М. Я. Шику

Пустеет к утру ресторан.
Атласами своими феи
Шушукают. Ревет орган.
Тарелками гремят лакеи —

Меж кабинетами. Как тень,
Брожу в дымнотекущей сети.
Уж скоро золотистый день
Ударится об окна эти,

Пересечет перстами гарь,
На зеркале блеснет алмазом...
Там: — газовый в окне фонарь
Огнистым дозирает глазом.

Над городом встают с земли,—
Над улицами клубы гари.
Вдали — над головой — вдали
Обрывки безответных арий.

И жил, и умирал в тоске,
Рыдание не обнаружив.
Там: — отблески на потолке
Гирляндою воздушных кружев

Протянутся. И всё на миг
Зажжется желтоватым светом.
Там — в зеркале — стоит двойник;
Там вырезанным силуэтом —

Приблизится, кивает мне,
Ломает в безысходной муке
В зеркальной, в ясной глубине
Свои протянутые руки.

1904
Москва



Отчаянье

Е. П. Безобразовой

Веселый, искрометный лед.
Но сердце — ледянистый слиток.
Пусть вьюга белоцвет метет,—
Взревет; и развернет свой свиток.

Срывается: кипит сугроб,
Пурговым кружевом клокочет,
Пургой окуривает лоб,
Завьется в ночь и прохохочет.

Двойник мой гонится за мной;
Он на заборе промелькает,
Скользнет вдоль хладной мостовой
И, удлинившись, вдруг истает.

Душа, остановись — замри!
Слепите, снеговые хлопья!
Вонзайте в небо, фонари,
Лучей наточенные копья!

Отцветших, отгоревших дней
Осталась песня недопета.
Пляшите, уличных огней
На скользких плитах иглы света!

1904
Москва



Праздник

В. В. Гофману

Слепнут взоры: а джиорно
Освещен двухсветный зал.
Гость придворный непритворно
Шепчет даме мадригал,—

Контредансом, контредансом
Завиваясь в «chinoise» *,

---

* Китайский *(фр.)*.

Искры прыщут по фаянсам,
По краям хрустальных ваз.

Там — вдали — проходит полный
Седовласый кавалер.
У окна вскипают волны
Разлетевшихся портьер.

Обернулся: из-за пальмы
Маска черная глядит.
Плещут струи красной тальмы
В ясный блеск паркетных плит.

«Кто вы, кто вы, гость суровый —
Что вам нужно, домино?»
Но, закрывшись в плащ багровый,
Удаляется оно.

Прислонился к гобелэнам,
Он белее полотна...
А в дверях шуршит уж трэном
Гри-де-перлевым жена.

Искры прыщут по фаянсам,
По краям хрустальных ваз.
Контредансом, контредансом
Вьются гости в «chinoise».

Июль 1908
Серебряный Колодезь



Пир

С. А. Полякову

Проходят толпы с фабрик прочь.
Отхлынули в пустые дали.
Над толпами знамена в ночь
Кровавою волной взлетали.

Мы ехали. Юна, свежа,
Плеснула перьями красотка.
А пуля плакала, визжа,
Над одинокою пролеткой.

Нас обжигал златистый хмель
Отравленной своей усладой.

И сыпалась — вон там — шрапнель
Над рухнувшею баррикадой.

В «Aquarium'е» с ней шутил
Я легкомысленно и метко.
Свой профиль теневой склонил
Над сумасшедшею рулеткой,

Меж пальцев задрожавших взяв
Благоуханную сигару,
Взволнованно к груди прижав
Вдруг зарыдавшую гитару.

Вокруг широкого стола,
Где бражничали в тесной куче,
Венгерка юная плыла,
Отдавшись огненной качуче.

Из-под атласных, темных вежд
Очей метался пламень жгучий;
Плыла: — и легкий шелк одежд
За ней летел багряной тучей.

Не дрогнул юный офицер,
Сердито в пол палаш ударив,
Как из раздернутых портьер
Лизнул нас сноп кровавых зарев.

К столу припав, заплакал я,
Провидя перст судьбы железной:
«Ликуйте, пьяные друзья,
Над распахнувшеюся бездной.

Луч солнечный ужо взойдет;
Со знаменем пройдет рабочий:
Безумие нас заметет —
В тяжелой, в безысходной ночи.

Заутра брызнет пулемет
Там в сотни возмущенных грудей;
Чугунный грохот изольет,
Рыдая, злая пасть орудий.

Метелицы же рев глухой
Нас мертвенною пляской свяжет,—
Заутра саван ледяной,

Виясь, над мертвецами ляжет,
Друзья мои...»

И банк метал
В разгаре пьяного азарта;
И сторублевики бросал;
И сыпалась за картой карта.

И, проигравшийся игрок,
Я встал: неуязвимо строгий,
Плясал безумный кэк-уок,
Под потолок кидая ноги.

Суровым отблеском покрыв,
Печалью мертвенной и блеклой
На лицах гаснущих застыв,
Вилось сквозь матовые стекла —

Рассвета мертвое пятно.
День мертвенно глядел и робко.
И гуще пенилось вино,
И щелкало взлетевшей пробкой.

1905
Москва

Укор

Кротко крадешься креповым трэном,
Растянувшись, как дым, вдоль паркета;
Снеговым, неживым манекеном,
Вся в муар серебристый одета.

Там народ мой — без крова; суровый
Мой народ в униженье и плене.
Тяжелит тебя взор мой свинцовый.
Тонешь ты в дорогом валансьене.

Я в полях надышался свинцами.
Ты — кисейным, заоблачным мифом
Пропылишь мне на грудь кружевами,
Изгибаясь стеклярусным лифом.

Или душу убил этот грохот?
Ты молчишь, легкий локон свивая.

Как фонтан, прорыдает твой хохот,
Жемчуговую грудь изрывая.

Ручек матовый мрамор муаром
Задымишь, запылишь. Ты не слышишь?
Мне в лицо ароматным угаром
Ветер бледнопуховый всколышешь.

⟨1909⟩
Серебряный Колодезь

Поджог

Заснувший дом. Один, во мгле
Прошел с зажженною лучиною.
На бледном, мертвенном челе
Глухая скорбь легла морщиною.

Поджег бумаги. Огонек
Заползал синей, жгучей пчелкою.
Он запер двери на замок,
Объятый тьмой студеной, колкою.

Команда в полночь пролетит
Над мостовой сырой и тряскою; —
И факел странно зачадит
Над золотой, сверкнувшей каскою.

Вот затянуло серп луны.
Хрустальные стрекочут градины.
Из белоструйной седины
Глядят чернеющие впадины.

Седины бьются на челе.
Проходит улицей пустынною...
На каланче в туманной мгле
Взвивается звезда рубинная.

1905
Петербург

На улице

Сквозь пыльные, желтые клубы
Бегу, распустивши свой зонт.
И дымом фабричные трубы
Плюют в огневой горизонт.

Вам отдал свои я напевы —
Грохочущий рокот машин,
Печей раскаленные зевы!
Всё отдал; и вот — я один.

Пронзительный хохот пролетки
На мерзлой гремит мостовой.
Прижался к железной решетке —
Прижался: поник головой...

А вихри в нахмуренной тверди
Волокна ненастные вьют; —
И клены в чугунные жерди
Багряными листьями бьют.

Сгибаются, пляшут, закрыли
Окрестности с воплем мольбы,
Холодной отравленной пыли —
Взлетают сухие столбы.

1904
Москва



Вакханалия

И огненный хитон принес,
И маску черную в кардонке.
За столиками гроздья роз
Свой стебель изогнули тонкий.

Бокалы осушал, молчал,
Камелию в петлицу фрака
Воткнул, и в окна хохотал
Из душного, ночного мрака —

Туда,— где каменный карниз
Светился предрассветной лаской,—

И в рдяность шелковистых риз
Обвился и закрылся маской,

Прикидываясь мертвецом...
И пенились — шипели вина.
Возясь, перетащили в дом
Кровавый гроб два арлекина.

Над восковым его челом
Крестились, наклонялись оба —
И полумаску молотком
Приколотили к крышке гроба,

Один — заголосил, завыл
Над мертвым на своей свирели;
Другой — цветами перевил
Его мечтательных камелий.

В подставленный сосуд вином
Струились огненные росы,
Как прободал ему жезлом
Грудь жезлоносец длинноносый.

1906
Мюнхен

Арлекинада

Посвящается
современным арлекинам

Мы шли его похоронить
Ватагою беспутно сонной.
И в бубен похоронный бить
Какой-то танец похоронный

Вдруг начали. Мы в колпаках
За гробом огненным вопили
И фимиам в сквозных лучах
Кадильницами воскурили.

Мы колыхали красный гроб;
Мы траурные гнали дроги,
Надвинув колпаки на лоб...
Какой-то арлекин убогий —

Седой, полуслепой старик,—
Язвительным, немым вопросом
Морщинистый воскинул лик
С наклеенным картонным носом,

Горбатился в сухой пыли.
Там в одеянии убогом
Надменно выступал вдали
С трескучим, с вытянутым рогом —

Герольд, предвозвещавший смерть;
Там лентою вилась дорога;
Рыдало и гремело в твердь
Отверстие глухого рога.

Так улиц полумертвых строй
Процессия пересекала;
Рисуясь роковой игрой,
Паяц коснулся бледноалой —

Камелии: и встал мертвец,
В туман протягивая длани;
Цветов пылающий венец
Надевши, отошел в тумане: —

Показывался здесь и там;
Заглядывал — стучался в окна;
Заглядывал — врывался в храм,
Сквозь ладанные шел волокна.

Предвозвещая рогом смерть,
О мщении молил он бога:
Гремело и рыдало в твердь
Отверстие глухого рога.

«Вы думали, что умер я —
Вы думали? Я снова с вами.
Иду на вас, кляня, грозя
Моими мертвыми руками.

Вы думали — я был шутом?..
Молю, да облак семиглавый
Тяжелый опрокинет гром
На род кощунственный, лукавый!»

Ноябрь 1906
Мюнхен

Преследование

Опять над нею залучился
Сияньем свадебный венец.
За нею в дрогах я тащился,
Неуспокоенный мертвец.

Сияла грешным метеором
Ее святая красота.
Из впадин ей зияла взором
Моя немая пустота.

Ее венчальные вуали
Проколебались мне в ответ.
Ее глаза запеленали
Воспоминанья прежних лет.

На череп шляпу я надвинул.
На костяные плечи — плед.
Жених бледнел и брови сдвинул,
Как в дом за ними шел я вслед.

И понял он, что обвенчалась
Она не с ним, а с мертвецом.
И молча ярость занималась
Над бледно бешеным лицом.

Над ней склоняюсь с прежней лаской;
И ей опять видны, слышны:
Кровавый саван, полумаска,
Роптанья страстные струны,

Когда из шелестящих складок
Над ней клонюсь я, прежний друг.
И ей невыразимо гадок
С ней почивающий супруг.

1906
Серебряный Колодезь



Похороны

Толпы рабочих в волнах золотого заката.
Яркие стяги свиваются, плещутся, пляшут.

На фонарях, над железной решеткой,
С крыш над домами
Платками
Машут.

Смеркается.
Месяц серебряный, юный
Поднимается.

Темною лентой толпа извивается.
Скачут драгуны.

Вдоль оград, тротуаров,— вдоль скверов,
Над железной решеткой,—
Частый, короткий
Треск
Револьверов.

Свищут пули, кося...
Ясный блеск
Там по взвизгнувшим саблям взвился.

Глуше напев похорон.
Пули и плачут, и косят.
Новые тучи кровавых знамен —
Там, в отдаленье — проносят.

1906
Москва

* * *

Пока над мертвыми людьми
Один ты не уснул, дотоле
Цепями ржавыми греми
Из башни каменной о воле.

Да покрывается чело,—
Твое чело, кровавым потом.
Глаза сквозь мутное стекло —
Глаза — воздетые к высотам.

Нальется в окна бирюза,
Воздушное нальется злато.
День — жемчуг матовый — слеза —
Течет с восхода до заката.

То серый сеется там дождь,
То — небо голубеет степью.
Но здесь ты, заключенный вождь,
Греми заржавленною цепью.

Пусть утро, вечер, день и ночь —
Сойдут — лучи в окно протянут:
Сойдут — глядят: несутся прочь.
Прильнут к окну — и в вечность канут.

Июнь 1907
Петровское

В летнем саду

Над рестораном сноп ракет
Взвивается струею тонкой.
Старик в отдельный кабинет
Вон тащит за собой ребенка.

Над лошадиною спиной
Оголена, в кисейной пене,—
Проносится — ко мне, за мной!
Проносится по летней сцене.

Прощелкает над ней жокей —
Прощелкает бичом свистящим.
Смотрю... Осанистый лакей
С шампанским пробежал пьянящим.

И пенистый бокал поднес...
Вдруг крылья яркокрасной тоги
Так кто-то над толпой вознес —
Бежать бы: неподвижны ноги.

Тяжелый камень стекла бьет —
Позором купленные стекла.
И кто-то в маске восстает
Над мертвенною жизнью, блеклой.

Волнуются: смятенье, крик.
Огни погасли в кабинете; —
Оттуда пробежал старик
В полузастегнутом жилете,—

И падает,— и пал в тоске
С бокалом пенистым рейнвейна
В протянутой, сухой руке
У тиховейного бассейна; —

Хрипит, проколотый насквозь
Сверкающим, стальным кинжалом:
Над ним склонилось, пролилось
Атласами в сиянье алом —

Немое домино: и вновь,
Плеща крылом атласной маски,
С кинжала отирая кровь,
По саду закружилось в пляске.

1906
Серебряный Колодезь

Прохождение

Я фонарь
Отдаю изнемогшему брату.

Улыбаюсь в закатный янтарь,
Собираю душистую мяту.

Золотым огоньком
Скорбный путь озаряю.

За убогим столом
С бедняком вечеряю.

Вы мечи
На меня обнажали.

Палачи,
Вы меня затерзали.

Кровь чернела, как смоль,
Запекаясь на язве.

Но старинная боль
Забывается разве?

Чадный блеск, смоляной,
Пробежал по карнизам.

Вы идете за мной,
Прикасаясь к разодранным ризам.

— «Исцели, исцели
Наши темные души...»

Ветер листья с земли
Взвеет шелестом в уши...

Край пустынен и нем.
Нерассветная твердь.

О, зачем
Не берет меня смерть!

1906
Мюнхен

Безумие



В полях

Я забыл. Я бежал. Я на воле.
Бледным ливнем туманится даль.
Одинокое, бедное поле,
Сиротливо простертое вдаль.

Не страшна ни печаль, ни тоска мне:
Как терзали — я падал в крови:
Многодробные, тяжкие камни
Разбивали о кости мои.

Восхожу в непогоде недоброй
Я лицом, просиявшим как день.
Пусть дробят приовражные ребра
Мою черную, легкую тень!

Пусть в колючих, бичующих прутьях
Изодрались одежды мои.
Почивают на жалких лоскутьях
Поцелуи холодной зари.

Над простором плету, неподвижен,
Из колючей крапивы венок.
От далеких поникнувших хижин
Подымается тусклый дымок.

Ветер, плачущий брат мой,— здесь тихо.
Ты пролей на меня свою сонь.
Исступленно сухая гречиха
Мечет под ноги яркий огонь.

1907
Париж



Матери

Я вышел из бедной могилы.
Никто меня не встречал —
Никто: только кустик хилый
Облетевшей веткой кивал.

Я сел на могильный камень...
Куда мне теперь идти?
Куда свой потухший пламень —
Потухший пламень...— нести.

Собрала их ко мне — могила.
Забыли все с того дня.
И та, что — быть может — любила,
Не узнает теперь меня.

Испугаю их темью впадин;
Постучусь — они дверь замкнут.
А здесь — от дождя и градин
Не укроет истлевший лоскут.

Нет.— Спрячусь под душные плиты...
Могила, родная мать,
Ты одна венком разбитым
Не устанешь над сыном вздыхать.

Январь 1907
Париж



Полевой пророк

В. В. Владимирову

Средь каменьев меня затерзали:
Затерзали пророка полей.
Я на кость — полевые скрижали —
Проливаю цветочный елей.

Облечен в лошадиную кожу,
Песью челюсть воздев на чело,
Ликованьем окрестность встревожу,—
Как прошло: всё прошло — отошло.

Разразитесь, призывные трубы,
Над раздольем осенних полей!
В хмурый сумрак оскалены зубы
Величавой короны моей.

Поле — дом мой. Песок — мое ложе.
Полог — дым росянистых полян.
Загорбатится с палкой прохожий —
Приседаю покорно в бурьян.

Ныне, странники, с вами я: скоро ж
Дымным дымом от вас пронесусь —
Я — просторов рыдающих сторож,
Исходивший великую Русь.

Январь 1907
Париж

Успокоение

Ушел я раннею весной.
В руках протрепетали свечи.
Покров линючей пеленой
Обвил мне сгорбленные плечи,

И стан — оборванный платок.
В надорванной груди — ни вздоха.
Вот приложил к челу пучок
Колючего чертополоха;

На леденистое стекло
Ногою наступил и замер...
Там — время медленно текло
Средь одиночных, буйных камер.

Сложивши руки, без борьбы,
Судьбы я ожидал развязки.
Безумства мертвые рабы
Там мертвые свершали пляски:

В своих дурацких колпаках,
В своих ободранных халатах,
Они кричали в желтый прах,
Они рыдали на закатах.

Там вечером,— и нем, и строг —
Вставал над крышами пустыми
Коралловый, кровавый рог
В лазуревом, но душном дыме.

И как повеяло весной,
Я убежал из душных камер;
Упился юною луной;
И средь полей блаженно замер;

Мне проблистала бледность дня;
Пушистой вербой кто-то двигал;
Но вихрь танцующий меня
Обсыпал тучей льдяных игол.

Мне крова душного не жаль.
Не укрываю головы я.
Смеюсь — засматриваюсь вдаль:
Затеплил свечи восковые,

Склоняясь в отсыревший мох;
Кидается на грудь, на плечи —
Чертополох, чертополох:
Кусается,— и гасит свечи.

И вот свеча моя, свеча,
Упала — в слякоти дымится;
С чела, с кровавого плеча
Кровавая струя струится.

Лежу... Засыпан в забытье
И тающим, и нежным снегом,
Слетающим — на грудь ко мне,
К чуть прозябающим побегам.

1904—1906
Москва

В темнице

Пришли и видят — я брожу
Средь иглистых чертополохов.
И вот опять в стенах сижу.
В очах — нет слез, в груди — нет вздохов.

Мне жить в застенке суждено.
О да — застенок мой прекрасен.
Я понял всё. Мне всё равно.
Я не боюсь. Мой разум ясен.

Да,— я проклятие изрек
Безумству ввысь взлетевших зданий.
Вам не лишить меня вовек
Зари текучих лобызаний.

Моей мольбой, моим псалмом
Встречаю облак семиглавый,
Да оборвет взрыдавший гром
Дух празднословия лукавый.

Мне говорят, что я — умру,
Что худ я и смертельно болен,
Но я внимаю серебру
Заклокотавших колоколен.

Уйду я раннею весной
В линючей, в пламенной порфире
Воздвигнуть в дали ледяной
Двузвездный, блещущий дикирий.

1907
Москва



Утро

Рой отблесков. Утро: опять я свободен и волен.
Открой занавески: в алмазах, в огне, в янтаре
Кресты колоколен. Я бóлен? О нет — я не болен.
Воздетые руки горé на одре — в серебре.

Там в пурпуре зори, там бури — и в пурпуре бури.
Внемлите, ловите: воскрес я — глядите: воскрес.
Мой гроб уплывет — золотой в золотые лазури.

Поймали, свалили; на лоб положили компресс.

1907
Москва



Отпевание

Лежу в цветах онемелых,
Пунцовых,—
В гиацинтах розовых и лиловых,
И белых.

Без слов
Вознес мой друг —

Меж искристых блесток
Парчи —

Малиновый пук
Цветов —

В жестокий блеск
Свечи.

Приходите, гостьи и гости,—
Прошепчите «О боже»,
Оставляя в прихожей

Зонты и трости:

Вот — мои кости...

Чтоб услышать мне смех истерический,—
Возложите венок металлический!

Отпевание, рыдания
В сквозных, в янтарных лучах:

До свидания —
В местах,
Где нет ни болезни, ни воздыхания!

Дьякон крякнул,

Кадилом звякнул:

«Упокой, господи, душу усопшего раба
твоего...»

Вокруг —
Невеста, любовница, друг
И цветов малиновый пук,

А со мной — никого,
Ничего.

Сквозь горсти цветов онемелых,
Пунцовых —
Савана лопасти —
Из гиацинтов лиловых
И белых —
Плещут в загробные пропасти.

1906
Серебряный Колодезь

У гроба

Со мной она —
Она одна.

В окнах весна.
Свод неба синь.
Облака летят.

А в церквах звонят;
«Дилинь динь-динь...»

В черном лежу сюртуке,
С желтым —
С желтым
Лицом;
Образок в костяной руке.

Дилинь бим-бом!

Нашел в гробу
Свою судьбу.

Сверкнула лампадка.
Тонуть в неземных
Далях —
Мне сладко.

Невеста моя зарыдала,
Крестя мне бледный лоб.
В креповых, сквозных
Вуалях
Головка ее упала —

В гроб...

Ко мне прильнула:
Я обжег ее льдом.
Кольцо блеснуло
На пальце моем.

Дилинь бимбом!

1906
Серебряный Колодезь



Вынос

Венки снимут.—
Гроб поднимут —

Знаю,
Не спросят.

Над головами
Проплываю
За венками —

Выносят —

В дымных столбах,
В желтых свечах,
В красных цветах —

Ах!..

Там колкой
Елкой,—
Там можжевельником

Бросят
На радость прохожим
бездельникам —

Из дому
Выносят.

Прижался
Ко лбу костяному
Венчик.

Его испугался
Прохожий младенчик.

Плыву мимо толп,
Мимо дворни
Лицом —
В телеграфный столб,
В холод горний.

Толпа отступает.
Служитель бюро
Там с иконой шагает,

И плывет серебро
Катафалка.

Поют,
Но не внемлю.

И жалко,

И жалко,
И жалко
Мне землю.

Поют, поют:
В последний
Приют
Снесут
С обедни —

Меня несут
На страшный суд.

Кто-то там шепчет невнятно:
«Твердь — необъятна».

Прильнула и шепчет невнятно
Мне бледная, бледная смерть.

Мне приятно.

На желтом лице моем выпали
Пятна.

Цветами —
Засыпали.
Устами —
Прославили.
Свечами —
Уставили.

1906
Серебряный Колодезь

Друзьям

Н. И. Петровской

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему цветок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

Цветы на нем побиты.
Образок полинял.
Тяжелые плиты.
Жду, чтоб их кто-нибудь снял.

Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.

Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите —

Я, быть может, не умер, быть может,
проснусь —
Вернусь!

Январь 1907
Париж

Просветы



Поповна

З. Н. Гиппиус

Свежеет. Час условный.
С полей прошел народ.
Вся в розовом поповна
Идет на огород.

В руке ромашек связка.
Под шалью узел кос.
Букетиками баска —
Букетиками роз.

Как пава, величава.
Опущен шелк ресниц.
Налево и направо
Всё пугала для птиц.

Жеманница срывает
То злак, то василек.
Идет. Над ней порхает
Капустный мотылек.

Над пыльною листвою,
Наряден, вымыт, чист,—
Коломенской верстою
Торчит семинарист.

Лукаво и жестоко
Блестят в лучах зари —
Его младое око
И красные угри.

Прекрасная поповна,—
Прекрасная, как сон,

Молчит,— зарделась, словно
Весенний цвет пион.

Молчит. Под трель лягушек
Ей сладко, сладко млеть.
На лик златых веснушек
Загар рассыпал сеть.

Кругом моркови, репы.
Выходят на лужок.
Танцуют курослепы.
Играет ветерок.

Вдали над косарями
Огни зари горят.
А косы лезвиями —
Горят, поют, свистят.

Там ряд избенок вьется
В косматую синель.
Поскрипывая, гнется
Там длинный журавель *.

И там, где крест железный,—
Все ветры на закат
Касаток стаи в бездны
Лазуревые мчат.

Не терпится кокетке
(Семь бед — один ответ).
Пришпилила к жилетке
Ему ромашкин цвет.

А он: «Домой бы, Маша,
Чтоб не хватились нас
Папаша и мамаша.
Домой бы: поздний час».

Но розовые юбки
Расправила. В ответ
Он ей целует губки,
Сжимает ей корсет.

Предавшись сладким мукам
Прохладным вечерком,

---

* Колодезь.

В лицо ей дышит луком
И крепким табаком.

На баске безотчетно
Раскалывает брошь
Своей рукою потной,—
Влечет в густую рожь.

Молчит. Под трель лягушек
Ей сладко, сладко млеть.
На лик златых веснушек
Загар рассыпал сеть.

Прохлада нежно дышит
В напевах косарей.
Не видит их, не слышит
Отец протоиерей.

В подряснике холщовом
Прижался он к окну:
Корит жестоким словом
Покорную жену.

«Опять ушла от дела
Гулять родная дочь.
Опять не доглядела!»
И смотрит — смотрит в ночь.

И видит сквозь орешник
В вечерней чистоте
Лишь небо, да скворечник
На согнутом шесте.

С дебелой попадьею
Всю ночь бранится он,
Летучею струею
Зарницы осветлен.

Всю ночь кладет поклоны
Седая попадья,
И темные иконы
Златит уже заря.

А там в игре любовной,
Клоня косматый лист,
Над бледною поповной
Склонен семинарист.

Колышется над ними
Крапива да лопух.
Кричит в рассветном дыме
Докучливый петух.

Близ речки ставят верши
В туманных камышах.
Да меркнет серп умерший,
Висящий в облачках.

1906
Москва



Тройка

Ей, помчались! Кони бойко
Бьют копытом в звонкий лед;
Разукрашенная тройка
Закружит и унесет.

Солнце, над равниной кроясь,
Зарумянится слегка.
В крупных искрах блещет пояс
Молодого ямщика.

Будет вечер: опояшет
Небо яркий багрянец.
Захохочет и запляшет
Твой валдайский бубенец.

Ляжет скатерть огневая
На холодные снега.
Загорится расписная
Золотистая дуга.

Кони встанут. Ветер стихнет.
Кто там встретит на крыльце?
Чей румянец ярче вспыхнет
На обветренном лице?

Сядет в тройку. Улыбнется.
Скажет: «Здравствуй, молодец...»
И опять в полях зальется
Вольным смехом бубенец.

Июнь 1904
Серебряный Колодезь

Жизнь

В. И. Иванову

Всю-то жизнь вперед иду покорно я.
Обернуться, вспять идти — нельзя.
Вот она — протоптанная, торная,
Жаром пропыленная стезя!

Кто зовет благоуханной клятвою,
Вздохом сладко вдаль зовет идти,
Чтобы в день безветренный над жатвою
Жертвенною кровью изойти?

Лучевые копья, предзакатные,
Изорвали грудь своим огнем.
Напоили волны перекатные
Ароматно веющим вином.

Как зарей вечернею, зеленою,—
Как поет восторг, поет в груди!
Обрывутся полосой студеною
Надо мной хрустальные дожди.

Всё поля — кругом поля горбатые,
В них найду покой себе — найду:
На сухие стебли, узловатые,
Как на копья острые, паду.

Август 1906
Серебряный Колодезь

Вечер

Вечер. Коса золотистая,
Видишь,— в лесу замелькала осиновом.

Ветка далекая,
Росистая,
Наклоняется
В небе малиновом.

И сорока качается
На ней белобокая.

Слежу за малюткою:
С видом рассеянным
То постоит
Над незабудкою,
То побежит
За одуванчика пухом развеянным.

Милая, ясная,
Синеокая,—
Засмотрелась, как белочка красная
Проскакала по веточке, цокая.

Ласковый, розовоматовый
Вечер.
В небо вознесся агатовый
Блещущий глетчер.

1906
Дедово

Работа

П. И. Астрову

На дворе с недавних пор
В услуженье ты у прачки.
День-деньской свожу на двор
Кирпичи для стройки в тачке.

День-деньской колю дрова,
Отогнав тревогу.
Все мудреные слова
Позабыл, ей богу!

От зари до поздних рос
Труд мой легок и налажен.
Вот согнулся я, и тес
Под рубанком срезан, сглажен.

Вдоль бревна скользит рубанок,
Завивая стружки.
Там в окне я из-за банок
Вижу взгляд подружки.

Там глядишь ты из угла
На зеленые березки...

С легким присвистом пила,
Накалясь, вопьется в доски.

Растяжелым утюгом
Обжигаешься и гладишь.
Жарким, летним вечерком
Песенку наладишь: —

Подхвачу... Так четко бьет
Молоток мой по стамеске:
То взлетит, то упадет,
Проблистав в вечернем блеске.

1904
Ефремов



Всё забыл

Г. Гюнтеру

Я без слов: я не могу.
Слов не надо мне.

На пустынном берегу
Я почил во сне.

Не словам,— молчанью, брат,
О, внемли, внемли.

Мы — сияющий закат,
Взвеянный с земли.

Легких воздухов крутят
Легкие моря.

Днем и сумраком объят,—
Я, как ты,— заря.

Это я плесну волной
Ветра в голубом.

Говорю тебе одно,
Но смеюсь — в другом.

Пью закатную печаль —
Красное вино.

Знал: забыл — забыть не жаль —
Всё забыл давно.

Март 1906
Москва



Кроткий отдых

Я изранен в неравном бою.
День мой труден и горек.
День пройдет: я тебя узнаю
В ласке тающих зорек.

От докучных вопросов толпы
Я в поля ухожу без ответа:
А в полях — золотые снопы
Беззакатного света.

Дробный дождик в лазурь
Нежным золотом сеет над нами:
Бирюзовые взоры не хмурь —
Процелуй, зацелуй ветерками.

И опять никого. Я склонен,—
Я молюсь пролетающим часом.
Только лен
Провевает атласом.

Только луг
Чуть сверкает в сырой паутине,
Только бледно сияющий круг
В безответности синей.

Февраль 1905
Москва



Ты

Меж сиреней, меж решеток
Бронзовых притих.
Не сжимают черных четок
Пальцы рук твоих.

Блещут темные одежды.
Плещет темный плат.
Сквозь опущенные вежды
Искрится закат.

У могил, дрожа, из келий
Зажигать огни
Ты пройдешь — пройдешь сквозь ели:
Прошумят они.

На меня усталым ликом
Глянешь, промолчишь.
Золотое небо криком
Остро взрежет стриж.

И, нарвав сирени сладкой,
Вновь уйдешь ты прочь.
Над пунцовою лампадкой
Поднимаюсь в ночь.

Саван крест росою кропит,
Щелкнет черный дрозд,
Да сырой туман затопит
На заре погост.

1906
Дедово



Обет

Ты шепчешь вновь: «Зачем, зачем он
Тревожит память мертвых дней?»
В порфире легкой, легкий демон,
Я набегаю из теней.

Ты видишь — мантия ночная
Пространством ниспадает с плеч.
Рука моя, рука сквозная,
Приподняла кометный меч.

Тебе срываю месяц — чашу,
Холодный блеск устами пей...
Уносимся в обитель нашу
Эфиром плещущих степей.

Не укрывай смущенных взоров.
Смотри — необозримый мир.
Дожди летящих метеоров,
Перерезающих эфир,

Протянут огневые струны
На лире, брошенной в миры.
Коснись ее рукою юной:
И звезды от твоей игры —

Рассыплются дождем симфоний
В пространствах горестных, земных:
Там вспыхнет луч на небосклоне
От тел, летящих в ночь, сквозных.

Июль 1907
Москва

Горемыки



Изгнанник

М. И. Сизову

Покинув город, мглой объятый,
Пугаюсь шума я и грохота.
Еще вдали гремят раскаты
Насмешливого, злого хохота.

Там я года твердил о вечном —
В меня бросали вы каменьями.
Вы в исступленье скоротечном
Моими тешились мученьями.

Я покидаю вас, изгнанник,—
Моей свободы вы не свяжете.
Бегу — согбенный, бледный странник —
Меж золотистых, хлебных пажитей.

Бегу во ржи, межой, по кочкам —
Необозримыми равнинами.
Перед лазурным василечком
Ударюсь в землю я сединами.

Меня коснись ты, цветик нежный.
Кропи, кропи росой хрустальною!
Я отдохну душой мятежной,
Моей душой многострадальною.

Заката теплятся стыдливо
Жемчужно розовые полосы.
И ветерок взовьет лениво
Мои серебряные волосы.

Июнь 1904
Москва



Бегство

Шоссейная вьется дорога.
По ней я украдкой пошел.
Вон мертвые стены острога,
Высокий, слепой частокол.

А ветер обшарит кустарник.
Просвистнет вдогонку за мной.
Колючий, колючий татарник
Протреплет рукой ледяной,

Тоскливо провьется по полю;
Так сиверко в уши поет.
И сердце прославит неволю
Пространств и холодных высот.

Я помню: поймали, прогнали —
Вдоль улиц прогнали на суд.
Босые мальчишки кричали:
«Ведут — арестанта ведут».

Усталые ноги ослабли,
Запутались в серый халат.
Качались блиставшие сабли
Угрюмо молчавших солдат;

Песчанистой пыли потоки,
Взвивая сухие столбы,
Кидались на бритые щеки,
На мертвые, бледные лбы.

Как шли переулком горбатым,
Глядел, пробегая, в песок
Знакомый лицом виноватым,
Надвинув на лоб котелок.

В тюрьму засадили. Я днями
Лежал и глядел в потолок...
Темнеет. Засыпан огнями
За мной вдалеке городок.

Ночь кинулась птицею черной
На отсветы зорь золотых.
Песчаника круглые зерна
Зияют на нивах пустых.

Я тенью ночной завернулся.
На землю сырую пал ниц.
Безжизненно в небо уткнулся
Церковный серебряный шпиц.

И ветел старинные палки;
И галки,— вот там, и вот здесь;
Подгорные, длинные балки *
Пустынная, торная весь.

Сердитая черная туча.
Тревожная мысль о былом.
Камней придорожная куча,
Покрытая белым крестом:

С цигаркой в зубах среди колец
Табачных в просторе равнин,
Над нею склонил богомолец
Клоки поседевших седин.

Россия, увидишь и любишь
Твой злой полевой небосклон.
«Зачем ты, безумная, губишь» —
Гармоники жалобный стон;

Как смотрится в душу сурово
Мне снова багровая даль!
Страна моя хмурая, снова
Тебя ли я вижу, тебя ль?!

Но слышу, бездомный скиталец,
Погони далекую рысь,

* Овраги.

Как в далях шлагбаум свой палец
Приподнял в холодную высь.

1906
Малевка



В полях

В далях селенье
Стеклами блещет надгорное.

Рад заведенье
Бросить свое полотерное.

Жизнь свою муча,
Годы плясал над паркетами.

Дымная туча
Вспыхнула душными светами.

Воля ты, воля:
Жизнь подневольная минула.

Мельница с поля
Руки безумные вскинула.

В ветре над логом
Дикие руки кувыркает.

В логе пологом
Лошадь испуганно фыркает.

Нивой он, нивой
Тянется в дальнюю сторону.

Свищет лениво
Старому черному ворону.

1906
Москва



Хулиганская песенка

Жили-были я да он:
Подружились с похорон.

Приходил ко мне скелет
Много зим и много лет.

Костью крепок, сердцем прост —
Обходили мы погост.

Поминал со смехом он
День веселых похорон: —

Как несли за гробом гроб,
Как ходил за гробом поп:

Задымил кадилом нос.
Толстый кучер гроб повез.

«Со святыми упокой!»
Придавили нас доской.

Жили-были я да он.
Тили-тили-тили-дон!

Июль 1906
Серебряный Колодезь



Путь

Измерили верные ноги
Пространств разбежавшихся вид.
По твердой, как камень, дороге
Гремит таратайка, гремит.

Звонит колоколец невнятно.
Я болен — я нищ — я ослаб.
Колеблются яркие пятна
Вон там разоравшихся баб.

Меж копен озимого хлеба
На пыльный, оранжевый клен
Слетела из синего неба
Чета ошалелых ворон.

Под кровлю взойти да поспать бы,
Да сутки поспать бы сподряд.
Но в далях деревни, усадьбы
Стеклом искрометным грозят.

Чтоб бранью сухой не встречали,
Жилье огибаю, как трус,—
И дале — и дале — и дале —
Вдоль пыльной дороги влекусь.

1906
Дедово



Вспомни!

Вспомни: ароматным летом
В сад ко мне, любя,
Шла: восток ковровым светом
Одевал тебя.

Шла стыдливо,— вся в лазурных
В полевых цветах —
В дымовых, едва пурпурных,
В летних облачках.

Вспомни: нежный твой любовник,
У ограды ждал.
Легкий розовый шиповник
В косы заплетал.

Вспомни ласковые встречи —
Вспомни: видит бог,—
Эти губы, эти плечи
Поцелуем жег.

Страсти пыл неутоленной —
Нет, я не предам!..
Вон ромашки пропыленной —
Там — и там: и там —

При дороге ветром взмыло
Мертвые цветы.
Ты не любишь: ты забыла —
Всё забыла ты.

1906
Мюнхен

Побег

Твои очи, сестра, остеклели:
Остеклели — глядят, не глядят.
Слушай! Ели, ветвистые ели
Непогодой студеной шумят.

Что уставилась в дальнюю просинь
Ты лицом, побелевшим, как снег.
Я спою про холодную осень,—
Про отважный спою я побег.

Как в испуге, схватившись за палку,
Крикнул доктор: «Держи их, держи!»
Как спугнули голодную галку,
Пробегая вдоль дальней межи —

Вдоль пустынных, заброшенных гумен.
Исхлестали нас больно кусты.
Но, сестра: говорят, я безумен;
Говорят, что безумна и ты.

Про осеннюю мертвую скуку
На полях я тебе пропою.
Дай мне бледную, мертвую руку —
Помертвевшую руку свою:

Мы опять убежим; и заплещут
Огневые твои лоскуты.
Закружатся, заплещут, заблещут,
Затрепещут сухие листы.

Я бегу... А ты?

1906
Москва



Осень

Мои пальцы из рук твоих выпали.
Ты уходишь — нахмурила брови.

Посмотри, как березки рассыпали
Листья красные дождиком крови.

Осень бледная, осень холодная,
Распростертая в высях над нами.

С горизонтов равнина бесплодная
Дышит в ясную твердь облаками.

1906
Мюнхен



Время

1

Куда ни глянет
Ребенок в детстве,
Кивая, встанет
Прообраз бедствий.

А кто-то, древний,
Полночью душной
Окрест в деревни
Зарницы точит —

Струей воздушной
В окно бормочет:

«В моем далеком
Краю истают
Годины.

Кипя, слетают
Потоком
Мои седины:

Несут, бросают
Туда:
Слетают
Года —

Туда, в стремнины...»

Слетают весны.
Слетают зимы.
Вскипают сосны.

Ты кто, родимый?

— «Я — время...»

2

Много ему, родненькому, лет:
Волосы седые, как у тучек.

Здравствуй, дед!
— Здравствуй, внучек!

— Хочешь, дам тебе цветок:
Заплету лазуревый венок.

Аукается да смеется,
Да за внучком, шамкая, плетется.

Он ли утречком румяным — нам клюкою не грозит?
Он ли ноченькою темной под окошком не стучит.

Хата его кривенькая с краю:
Прохожу — боюсь: чего — не знаю.

3

Как токи бури,
Летят годины.

Подкосит ноги
Старик и сбросит
В овраг глубокий,—
Не спросит.
Власы в лазури —
Как туч седины.

Не серп двурогий —
Коса взлетела
И косит.

Уносит зимы.
Уносит весны.
Уносит лето.

С косой воздетой
Укрылся в дымы:
Летит, покрытый
Туманным мохом.

Коси, коси ты,—

Коси ты,
Старик родимый!

Паду со вздохом
Под куст ракиты.

4

Пусть жизни бремя
(Как тьмой объяты)
Нам путь означит,
А Время,
Старик косматый,
Над нами плачет.

Несутся весны.
Несутся зимы.

Коси, коси ты,—
Коси ты,
Старик родимый!

⟨1909⟩
Москва



Успокоение

Л. Л. Кобылинскому

1

Вижу скорбные дали зимы,
Ветер кружева вьюги плетет.

За решеткой тюрьмы
Вихрей бешенный лёт.

Жизнь распыляется сном —
День за днем.

Мучают тени меня
В безднах и ночи, и дня.

Плачу: мне жалко
Былого.

Времени прялка
Вить
Не устанет нить
Веретена рокового.

Здесь ты терзайся, юдольное племя:
В окнах тюрьмы —
Саван зимы.

Время,
Белые кони несут;
Грива метельная в окна холодные
просится;

Скок бесконечных минут
В темные бездны уносится.

Здесь воздеваю бессонные очи,—
Очи,
Полные слез и огня.

Рушусь извечно в провалы я ночи
Здесь с догорающим отсветом дня.

В окнах тюрьмы —
Скорбные дали,—
Вуали
Зимы.

2

Ночь уходит. Луч денницы
Гасит иглы звезд.

Теневой с зарей ложится
Мне на грудь оконный крест.

Пусть к углу сырой палаты
Пригвоздили вновь меня:

Улыбаюсь я, распятый —
Тьмой распятый в блеске дня.

Простираю из могилы
Руки кроткие горé,

Чтоб мой лик нездешней силой
Жег и жег, и жег в заре,

Чтоб извечно в мире сиром,
Вечным мертвецом,

Повисал над вами с миром
Мертвенным челом —

На руках своих пронзенных,
В бледном блеске звезд...

Вот на плитах осветленных
Теневой истаял крест: —

Гуще тени. Ярче звуки.
И потоки тьмы.

Распластал бесцельно руки
На полу моей тюрьмы.

3

Плачу. Мне жалко
Света дневного.

Времени прялка
Вновь начинает вить
Нить
Веретена рокового.

Время белые кони несут:
В окна грива метельная просится;

Скок бесконечных минут
В неизбежность уносится.

Воздеваю бессонные очи —
Очи,
Полные слез, и огня,
Я в провалы зияющей ночи,
В вечереющих отсветах дня.

1905
Москва

Из книг стихов «КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ» и «ЗВЕЗДА»

Родина

Наскучили
Старые годы...
Измучили:
Сердце,
Скажи им: «Исчезните, старые
Годы!»

И старые
Годы
Исчезнут.

Как тучи, невзгоды
Проплыли.
Над чащей
И чище и слаще
Тяжелый, сверкающий воздух;
И — отдыхи...

В сладкие чащи
Несутся зеленые воды.
И песня знакомого
Гнома
Несется вечерним приветом.

«Вернулись
Ко мне мои дети
Под розовый куст розмарина...

Склоняюсь над вами
Цветами
Из старых столетий...»
Ты, злая година,—
Рассейся!
В уста эти влейся —
— О нектар! —

Тяжелый, сверкающий воздух
Из пьяного сладкого кубка.

Проснулись:
Вернулись!..

Апрель 1909
Москва



Россия

Луна двурога.
Блестит ковыль.
Бела дорога.
Летает пыль.

Летая, стая
Ночных сычей —
Рыдает в дали
Пустых ночей.

Темнеют жерди
Сухих осин;
Немеют тверди...
Стою — один.

Здесь сонный леший
Трясется в прах.
Здесь — конный, пеший
Несется в снах.

Забота гложет;
Потерян путь.
Ничто не сможет
Его вернуть.

Болота ржавы:
Кусты, огни,
Густые травы,
Пустые пни!

Декабрь 1916
Москва

Родине

В годины праздных испытаний,
В годины мертвой суеты —
Затверденей алмазом брани
В перегоревших углях — Ты.

Восстань в сердцах, сердца исполни!
Произрастай, наш край родной,
Неопалимой блеском молний,
Неодолимой купиной.

Из моря слез, из моря муки
Судьба твоя — видна, ясна:
Ты простираешь ввысь, как руки,
Свои святые пламена —

Туда,— в развалы грозной эры
И в визг космических стихий,—
Туда,— в светлеющие сферы,
В грома летящих иерархий.

Октябрь 1916
Москва



Родине

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия,—
Безумствуй, сжигая меня!

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины,—
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.

Не плачьте: склоните колени
Туда — в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!

Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе — и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро,—
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

Август 1917
Поворовка

Антропософии

Русскому будущему

Из глубины проговорившей ночи
В моем окне
Нежданные, сияющие очи
Восходят мне.

Блистает луч из ясной рукояти,
Как острый меч.
Мой бедный ум к ногам смущенных братий
Слетает с плеч.

Я — обезглавлен в набежавшем свете
Лучистых глаз.
Мы — вспыхнувшие, вспыхнувшие дети:
Не бойтесь нас.

Проснулись мы, но для земли погасли.
Мы — тихий стих.
Мы — образуем солнечные ясли,
Ребенок в них.

Слепую мглу бунтующей стихии —
Преобрази!
Влекут меня Твои, Христософия,
Твои стези!

Ты снилась мне, смеясь, когда-то, где-то,
Сестра моя.
Люблю Тебя... Ты — персикова цвета
Цветущая заря.

Как вешний вихрь, гласят неумолимо,
Гласят в голубизне,—
Твои слова, промчавшиеся мимо,
Но сказанные — мне.

В Твоих глазах блистают воды, суши...
Бросаюсь в них.
Из глаз Твоих я просияю в души,
Как тихий стих.

Пусть сердце, обезумевшая птица,
В немой мольбе,
Взрывая грудь, как легкая зарница,
Летит — к Тебе.

Февраль 1918

Мы,— русские

Братьям антропософам

Мы взвиваем в мирах неразвеянный прах,
Угрожаем провалами мертвенных лет.
В просиявших пирах, в отпылавших мирах
Мы — летящая стая горящих комет.

Завиваем из дали спирали планет:
Заплетаются нити судьбин и годин...
Мы — серебряный, зреющий, веющий свет
Среди синих, таимых, любимых годин.

Февраль 1918

Младенцу

Играй, безумное дитя,
Блистай летающей стихией:
Вольнолюбивым светом «Я»,
Явись, осуществись,— Россия.

Ждем: гробовая пелена
Падет мелькающими мглами;
Уже Небесная Жена
Нежней звездеет глубинами,—

И, оперяясь из весны,
В лазури льются иерархии;
Из легких крылий лик Жены
Смеется радостной России.

Март 1918
Москва



Голубь

Вестью овеяны,
Души прострем —
В светом содеянный
Радостный гром.

В неописуемый,
В огненный год,—
Духом взыскуемый
Голубь сойдет.

Март 1918
Москва



К России

Россия — Ты?.. Смеюсь и умираю,
И ясный взор ловлю...
Невероятная, Тебя — (я знаю) —
В невероятности люблю.

Опять в твои незнаемые муки
Слетает разум мой:
Пролейся свет в мои немые руки,
Глаголющие тьмой.

Как веющие, тающие маки,
Мелькающие мне,—
Как бабочки, сияющие знаки
Летят на грудь ко мне.

Судьбой — (Собой) — ты чашу дней наполни
И чашу дней испей.
Волною молний душу преисполни,
Мечами глаз добей.

Я — знаю всё... Я — ничего не знаю.
Люблю, люблю, люблю.
Со мною — Ты... Смеюсь и умираю.
И ясный взор ловлю.

Май 1918
Москва



Христос воскрес

Поэма

1

В глухих
Судьбинах,
В земных
Глубинах,
В веках,
В народах,
В сплошных
Синеродах
Небес
 — Да пребудет
 Весть:
 — «Христос
 Воскрес!» —
Есть.
Было.
Будет.

2

Перегорающее страдание
Сиянием
Омолнило
Лик,
Как алмаз,—
 — Когда что-то,
 Блеснувши неимоверно,

Преисполнило этого человека,
Простирающего длани
От века и до века —
За нас;
— Когда что-то
Зареяло
Из вне-времени,
Пронизывая Его от темени
До пяты...

И провеяло
В ухо
Вострубленной
Бурею Духа: —
— «Сын,
Возлюбленный —
Ты!»

Зарея
Огромными зорями,
В небе
Прорезалась Назарея...
Жребий —
Был брошен.

3

Толпы народа
На Иордане
Увидели явственно: два
Крыла.

Сиянием
Преисполнились
Длани
Этого человека...

И перегорающим страданием
Века
Омолнилась
Голова.

И по толпам
Народа
Желтым
Маревом,

Как заревом,
Запрядала разорванная мгла,—

Над, как дым,
Сквозною головою
Веющею
Верою
Кропя Его слова,—

Из лазоревой окрестности,
В зеленеющие
Местности
Опускалось что-то световою
Атмосферою...

Прорезывался луч
В Новозаветные лета...

И, помавая кровавыми главами
Туч,
Назарея
Прорезывалась славами
Света.

4

После Он простер
Мертвеющие, посинелые от муки
Руки
И взор —

В пустые
Тверди...

Руки
Повисли,
Как жерди,
В густые
Мраки...

Измученное, перекрученное
Тело
Висело
Без мысли.
Кровавились
Знаки,
Как красные раны,

На изодранных ладонях
Полутрупа.

Глаз остеклелою впадиною
Уставился пусто
И тупо
В туманы
И мраки,
Нависшие густо.

А воины в бронях,
Поблескивая шлемами,
Проходили под перекладиною.

5

Голова
Окровавленного,
Лохматого
Разбойника,
Распятого —
— Как и Он —
Хохотом
Насмешливо приветствовала:
«Господи,
Приемли
Новоявленного
Сына Твоего!»

И тяжелым грохотом
Ответствовали
Земли.

6

В опрокинутое мировое дно,
Где не было никакого солнца, которое
На Иордани
Слетело,
Низринутое
В это тело
Перстное и преисполненное бремени —

Какое-то ужасное *Оно*,
С мотающимися перепутанными волосами,
Угасая

И простирая рваные
Израненные
Длани,—
В девятый час
Хрипло крикнуло из темени
На нас:
— «Или... Сафахвани!»

7

Деревянное тело
С темными пятнами впадин
Провалившихся странно
Глаз
Деревенеющего Лика,—

Проволокли,—
Точно желтую палку,
Забинтованную
В шелестящие пелены —

Проволокли
В ей уготованные
Глубины.

Без слов
И без веры
В воскресение...

Проволокли
В пещеры —
В тусклом освещении
Красных факелов.

8

От огромной скорби
Господней
Упадали удары
Из преисподней —

В тяжелый,
Старый
Шар.

Обрушились суши
И горы,

Изгорбились
Бурей озера...
И изгорбились долы...
Разламывались холмы...
А души —
Душа за душою —
Валились в глухие тьмы.

Проступали в туманы
Неясные
Пасти
Чудовищной глубины...

Обнажались
Обманы
И ужасные
Страсти
Выбежавшего на белый свет
Сатаны.

В землетрясениях и пожарах
Разрывались
Старые шары
Планет.

9

По огромной,
По темной,
Вселенной,
Шатаясь,
Таскался мир,
Облекаясь,
Как в саван тленный,
В разлагающийся эфир.

Было видно, как два вампира,
С гримасою красных губ,
Волокли по дорогам мира
Забинтованный труп.

10

Нам желтея,
В нас без мысли
Подымаясь, как вопрос,—

Эти проткнутые ребра,
Перекрученные руки,
Препоясанные чресла —
В девятнадцатом столетии провисли:

— «Господи,
И это
Был —
Христос?»

Но это —
Воскресло...

11

Снова там —
Терновые
Венцы.

Снова нам —
Провисли
Мертвецы
Под двумя столбами с перекладиною.

Хриплыми глухими голосами,
Перепутанными волосами,
Остеклелой впадиною
Глаз —
Угрожая, мертвенные
Мысли
Остро, грозно, мертвенно
Прорезываются в нас.

12

Разбойники
И насильники —
Мы.

Мы над телом Покойника
Посыпаем пеплом власы
И погашаем
Светильники.
В прежней бездне
Безверия
Мы,—
Не понимая,

Что именно в эти дни и часы —

Совершается
Мировая
Мистерия...

13

Мы забыли: —

Из темных
Расколов
В пещеру, где труп лежал,
С раскаленных,
Огромных
Престолов
Преисподний пламень
Бежал.

Отбросило старый камень;
Сорваны пелены:
Тело,
От почвы оторванное,
Слетело
Сквозь землю
В разъятые глубины.

14

Труп из вне-времени
Лазурей,
Пронизанный от темени
До пяты,
Бурей
Вострубленной
Вытянулся от земли до эфира...

И грянуло в ухо
Мира:
— «Сын,
Возлюбленный —
Ты!»
Пресуществленные божественно
Пелены,
Как порфира,
Расширенная без меры,

Пронизывали мировое пространство,
Выструиваясь из земли.

Пресуществленное невещественно
Тело —
В пространство
Развеяло атмосферы,
Которые сияюще протекли.

Из пустыни
Вне-времени
Преисполнилось светами
Мировое дно,—

Как оно —
Тело
Солнечного Человека,
Сияющее новозаветными летами
И ставшее отныне
И до века —
Телом земли.
Вспыхнула Вселенной
Голова,
И нетленно
Простертые длани
От Запада до Востока,—

Как два
Крыла
Орла,
Сияющие издалека.

15

Страна моя
Есть
Могила,
Простершая
Бледный
Крест,—

В суровые своды
Неба
И —
В неизвестности
Мест.

Обвили убогие
Местности
Бедный,
Убогий Крест —
В сухие,
Строгие
Колосья хлеба,
Вытарчивающие окрест.

Святое,
Пустое
Место,—
В святыне
Твои сыны!

Россия,
Ты ныне
Невеста...
Приемли
Весть
Весны...

Земли,
Прордейте
Цветами
И прозеленейте
Березами:

Есть —
Воскресение...
С нами —
Спасение...

Исходит огромными розами
Прорастающий Крест!

16

Железнодорожная
Линия...
Красные, зеленые, синие
Огоньки,
И взлетающие
Стрелки,—

Всё, всё, всё
Сулит
Невозможное...
Твердят
Голосящие
Вдали паровики,

Убегающие
По линии:
«Да здравствует третий
Интернационал».

Мелкий
Дождичек стрекочет
И твердит:
«Третий
Интернационал».

Выкидывает телеграфная лента:
«Интернационал»...

Железнодорожная
Линия,
Убегающая в сети
Туманов —
Голосит свистками
распропагандированного
Паровика
Про невозможное.

И раскидывает свои блески —
За ветвями зеленеющего тополя...
Раздаются сухие трески
Револьверных переливов.

17

А из пушечного гула
Сутуло
Просунулась спина
Очкастого, расслабленного
Интеллигента.
Видна,—
Мохнатая голова,
Произносящая
Негодующие

Слова
О значении
Константинополя
И проливов,—
В дующие
Пространства
И в сухие трески
Револьверных взрывов...

На мгновение
Водворяется странная
Тишина,—
В которую произносятся слова
Расслабленного
Интеллигента.

18

Браунинг
Красным хохотом
Разрывается в воздух,—

Тело окровавленного
Железнодорожника
Падает под грохотом.

Подымают его
Два безбожника

Под забором...
На кого-то напали...

На крик и на слезы —
Ответствуют паровозы,
Да хором
Поют о братстве народов...

Знамена ответствуют
Лепетом.

И воробьи с пригородных огородов
Приветствуют
Щебетом —

Падающих покойников.

19

Обороняясь от кого-то,
Заваливает дровами ворота
Весь домовый комитет.

Под железными воротами —
Кто-то...

Злая, лающая тьма
Прилегла —
Нападает
Пулеметами
На дома,—
И на членов домового комитета.

Обнимает
Странными туманами
Тела,—

Злая, лающая тьма
Нападает
Из вне-времени —
Пулеметами...

20

Из раздробленного
Темени
С переломленной
Руки —
Хлещут красными
Фонтанами
Ручьи...

И какое-то ужасное *Оно*
С мотающимися перекрученными
Руками
И неясными
Пятнами впадин
Глаз —
Стремительно
Проволокли —
Точно желтую забинтованную
Палку,—

Под ослепительный
Алмаз
Стоящего вдали
Автомобиля.

21

Это жалкое, желтое тело
Пятнами впадин
Глаз,—

Провисая между двух перекладин,
Из тьмы
Вперяется
В нас.

Это жалкое, желтое тело
Проволакиваем:
Мы —
    — В себя: —
Во тьмы
И в пещеры
Безверия,—

Не понимая,
Что эта мистерия
Совершается нами —
            — в нас.

Наше жалкое, желтое тело
Пятнами впадин
Глаз,—

Провисая меж двух перекладин,
Из тьмы
Вперяется
В нас.

22

А весть
Прогремела Осанной.

Есть
Странный
Пламень
В пещере безверия, —

Когда озаряется
Мгла
И от нас
Отваливаются
Тела, —

Как падающий камень.

23

Россия,
Страна моя —

Ты — та самая,
Облеченная солнцем Жена,
К которой
Возносятся
Взоры...

Вижу явственно я:

Россия,
Моя, —
Богоносица,
Побеждающая Змия...

Народы,
Населяющие Тебя,
Из дыма
Простерли
Длани

В Твои пространства, —
Преисполненные пения
И огня
Слетающего Серафима.

И что-то в горле
У меня
Сжимается от умиления.

24

Я знаю: огромная атмосфера
Сиянием

Опускается
На каждого из нас, —

Перегорающим страданием
Века
Омолнится
Голова
Каждого человека.

И Слово,
Стоящее ныне
Посередине

Сердца,
Бурями вострубленной
Весны,
Простерло
Гласящие глубины
Из огненного горла:

— «Сыны
Возлюбленные, —

Христос Воскрес!»

Апрель 1918
Москва

БЛОК — БЕЛОМУ

24 апреля 1908. ⟨Петербург⟩

Милый Боря.

Я долго не отвечал на Твои письма, потому что не умел ответить. Сделать это мне трудно и до сих пор. Я прочел «Кубок Метелей» и нашел эту книгу не только чуждой, но глубоко враждебной мне по духу. С моей точки зрения там очень много кощунственного, но, так как Ты находил со своей стороны кощунственное в моей «Нечаянной Радости» и в пьесах, то я теряюсь и готов признать, что мы окончательно и бесповоротно не можем судить друг о друге. Ты пишешь, что симфония эта — самая искренняя из всех; в таком случае я ничего в Тебе не понимаю, никогда не пойму, и никто не поймет.

Даже с внешней стороны (литературной) я совершенно отрицаю эту симфонию, за исключением немногих мест, уже по одному тому, что половины не понимаю, но и никто не понимает. К этому присоединяется ужасно неприятное впечатление от Твоих рецензий в «Весах» о Сологубе, Гиппиус, «обозной сволочи». Я не могу не верить в наше с Тобой отношение друг к другу, основанное на чем-то большем, чем мы, потому что за это всегда говорили и говорят мистические факты. Но более запутанных внутренних отношений у меня нет и не было ни с кем. Всю жизнь у меня была и есть единственная «неколебимая истина» мистического порядка, и с точки зрения этой истины я принужден признать твою симфонию враждебной мне по-существу.

⟨...⟩

Твой *Ал. Блок.*

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨3 мая 1908. Москва⟩

Дорогой Саша,

очень благодарен за Твое правдивое мнение обо мне. Оно показывает, насколько мы чужды друг другу. Ты утверждаешь, что все же мистические факты нас связывают; *я утверждаю, что их нет и не было вовсе* (то, что Ты называешь «*мистикой*», очевидно не то, что разумею я). Ввиду «*сложности*» наших отношений *я ликвидирую* эту сложность, прерывая с Тобой сношения (кроме случайных встреч, шапочного знакомства и пр.).

Не отвечай.

Всего хорошего.

Борис Бугаев.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨8 сентября 1908. Москва⟩

Дорогой Саша,

сегодня весь день читал Тебя. Во многом Тебя не понимаю. Но захотелось выразить Тебе восхищение за

некоторые стихи, которые навсегда останутся в русской поэзии перлами; сегодня перечел Тебя от доски до доски. Так отчетливо вспомнил Тебя: и *многое* вспомнилось невозвратное.

Грустно на этом свете: люди сходятся и расходятся *вопреки* чему-то *основному*. Это *основное* у меня к Тебе — любовь и надежда на Тебя, за Тебя: где-то всё это покоится в глубине; а извне — какая-то пляска марионеток (литер⟨атурные⟩ отношения и прочее). *Неужели* же эта далекость от Тебя во внешнем и есть *Истина.*

Извини меня: я Тебе послал раздраженное письмо весною: очень обидело меня, что Ты, не зная моих мотивов, по-моему, честных, порицаешь мою полемику. Это была вспышка. Прошу у Тебя, милый, прощения.

Во внешнем мы люди диаметрально противоположные; внутри же — там, там, — любовь у меня к Тебе; я очень мучался, что у нас *такие* сложились отношения, точно мы — враги. Прости меня, в чем я виноват перед Тобой.

Это тем охотнее я пишу, чем больше понимаю, что пути наши в *интимном* безвозвратно разошлись, и я пишу Тебе как бы из далекого, иного мира.

Еще несколько недель тому назад собрался Тебе писать, да глупое самолюбие не позволило. Сегодня же: грустно на душе — нет мира от сознания, что я в отношении к Тебе позволил себе резкость; а я в душе Тебя люблю.

Ну вот.

Можешь мне не писать: мне все равно; если напишешь, буду рад.

Я же *должен* Тебе написать это письмо; оттого и пишу: больше не от чего. Это вовсе не желание завязать с Тобой переписку, а влечение сердца. Если напишешь, буду рад; не напишешь, не надо.

Ну, Господь с Тобой, милый.

Прости и не сердись. Я хочу только правды.

Любящий тебя

Борис Бугаев.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨Конец августа — начало сентября 1910. Москва⟩

Глубокоуважаемый и снова близкий Саша,

прежде всего позволь мне Тебе принести покаяние во всём том, что было между нами. Я уже очень давно (более году) не питаю к Тебе и тени прошлого (смутного). Но как-то странно было об этом говорить Тебе. Да и незачем. Теперь, только что прочитав Твою статью в «*Аполлоне*», я почувствовал *долг* написать Тебе, чтобы выразить Тебе мое глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды, которой... ведь почти никто не услышит, кроме нескольких лиц, как услышало эту *правду* несколько лиц в Москве. Сейчас я глубоко взволнован и растроган. Ты нашел слова, которые я уже вот год ищу, всё не могу найти: а Ты — сказал не только за себя, но и за всех нас.

Еще раз, спасибо Тебе, милый брат: называю Тебя братом, потому что слышу Тебя таким, а вовсе не потому что хочу Тебя видеть или Тебя слышать. Можешь мне писать и не писать; может во внешнем быть и не быть между нами разрыв — всё равно: не для возобновления наших сношений я пишу, *а во имя долга*. Во имя правды прошу у Тебя прощения в том, в чем бес нас всех попутал.

Аминь...

⟨...⟩

Остаюсь искренне преданный и любящий

Б. Бугаев

БЛОК — БЕЛОМУ

6 сентября 1910. Шахматово

Милый и дорогой Боря.

Твое письмо, пришедшее с прошлой почтой, глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более, чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно. Я, как и ты, скажу тебе, что у меня нет определенного желания встретиться. Этой зимой мне было даже как-то неловко при встрече

(впрочем, и Тебе). Но внутренно я давно с Тобой, временами страшно близко, временами — с толпою дум о Тебе и чувств к Тебе.

Недавно где-то близко от нас с Тобой прошла Минцлова и показался Вячеслав. Мне от этого было хорошо, тут было со стороны их обоих — много нежности и... такта.

Также мне хорошо то, что Ты просишь прощения у меня, — но я не принимаю этого. Или — принимаю лишь с тем, что и... Ты меня простишь за то, чего мы никогда не скажем (и не должны сказать) словами, но что я знаю, может быть, лучше Тебя. Есть какая-то великая отрада в том, что *есть*, за *что* прощать друг друга; потому что действит⟨ельно⟩, то, что было, — *было*, это *не* пустое место, это «бес всех нас попутал».

Еще — мне очень дорого Твое отношение к моей статье. Оно меня поддержит более, чем чье-либо мнение; когда я писал эту статью (и не одну эту), я внутренно, почти бессознательно, справлялся у Тебя, отсутствующего: «так ли?» Да, по-братски.

Ну, так правда торжествует. И я скажу: аминь.

⟨...⟩

Люблю Тебя до дна души и уже совсем без слов.

Твой *Ал. Блок.*

БЛОК — БЕЛОМУ

22 октября 1910. Шахматово

Милый Боря.

Продолжаешь ли Ты относиться к моей статье о символизме с прежним доверием? Спрашиваю Тебя об этом сейчас по нескольким причинам. Во-первых, если бы *теперь* могла возникнуть между нами хотя тень недоразумения, это было бы просто *нелепым* фактом, не могло бы иметь ни малейшего внутреннего значения; во-вторых: я уверен, что Ты понял статью, как никто, взвесил все выводы из нее, как только возможно; и, однако, достаточно ли ясно она написана, и следоват⟨ельно⟩, *достаточно* ли ясна она для Тебя? Т. е., учел ли Ты то

обстоятельство, что я остаюсь самим собой, тем, что был всегда, т. е. статья *не есть покаяние*, отречение от своей *породы*; я бы мог назвать ее «исповедью», если бы то мое лицо, от которого она исходит, *могло* исповедаться. Но *там* я не исповедуюсь, потому что это *больше* «кающегося дворянства», «интеллигенции и народа» и т. д. Это — я сам, неизменный, и *никогда не противоречивший себе*. Исповедь есть размягчение душевное, желание «исправиться»; но *там* я говорю холодно, жестоко (и к самому себе), прямолинейно, без тени психологии: «вот что произошло со мной, в частности, и, по моему наблюдению, также и с теми, о ком я могу сказать „мы, символисты". Происшедшее — совершившийся факт, хорошо или плохо — другой вопрос (т. е. лучше сказать — *более, чем плохо*, вне категории «плохого» и «хорошего»). Но это «более чем» (или эту *гибель*) *я лично люблю*.

Так вот, учел ли ты то, что я *люблю гибель*, любил ее искони и остался при этой любви.Настаиваю на том, что я никогда себе *не противоречил в главном*. Мне остается только подчеркнуть в данный момент и для Тебя то свойство моей породы, что я, *любя и понимая*, мож⟨ет⟩ быть, более всего на свете людей, собирающих свой собственный «пепел» в «урну», чтобы не заслонить света своему живому «я» (Ты, Ницше), — сам остаюсь в тени, в пепле, любящим гибель. Ведь вся история моего внутреннего развития «напророчена» в «Стихах о Прекрасной Даме». Я *тороплюсь только еще раз* подчеркнуть для Тебя их *вторую* часть, также — последующие книги, «Балаганчик», «Незнакомку» и т. д. Указать, что они *мои*; я могу отрекаться от них, как угодно, но не могу не признать их своими.

⟨...⟩

Еще иначе формулирую свои вопросы: я всегда был *последователен* в основном (многие, заводя обо мне речь *серьезно*, т. е., не касаясь «собутыльничества» и т. п., считают моей истинной природой неверность, противоречивость; например — Чулков; но я не считаю этого правильным); я последователен и в своей любви к *«гибели»* (незнание о будущем, окруженность неизвестным, вера в судьбу и т. д. — свойства моей природы, более чем психологические). Теперь: Ты знаешь меня давно, между нами прошло многое, что *больше* нас обоих, что *должно* было заслонять нас друг от друга. Теперь, когда мы можем стоять лицом к лицу, веришь ли

Ты мне, *всему* * моему «я», или только тому, от которого исходит статья о символизме, понятая Тобой лишь *частично* — (так как, мож⟨ет⟩ быть, она написана неясно и в ней не видно всего, хотя она и исходит от *всего* меня — человека)?

⟨...⟩

Любящий тебя глубоко

Александр Блок.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨Конец октября 1910. Москва⟩

⟨...⟩

Дорогой, старинный друг, бывший не раз и моим врагом (верю — это уже сожжено раз и навсегда), да, я Тебе верю; принимаю всяким. Всё личное между нами, психологически затруднявшее меня, сгорело бесследно: могу относиться к Тебе спокойно. И в этом спокойствии нахожу в себе мою любовь к Тебе: кто бы Ты ни был, принимаю; если Ты хочешь *гибели себе*, или вообще *гибель* преобладает в Твоей душе, я могу нежно жалеть, что душа Твоя еще в «*пепле*»; но умалит ли *погибельность* Твоих переживаний любовь мою к Тебе? Если Ты вообще хочешь гибели всем, если Ты активно от *погибельного* и деятельность Твоя сеет смерть, то я объективно бы это почувствовал и не написал бы Тебе письма. Более того: Ты не писал бы того, что Ты пишешь, ибо Твою статью в «*Аполлоне*» я понимаю и принимаю *до конца, до дна*. Ты пишешь мне, что «*Балаганчик*» и «*Незнакомка*» — *Твои*: не сомневаюсь. Но в эпоху появления этих драм мне казалось, прости меня, если я ошибался, *что ужасное подразумеваемое содержание* Ты преподнес нам всем с каким-то тайным злорадством. «На-те», «*съешьте*». Этот аккомпанемент, быть может, послышался мне потому, что между нами стояла стена взаимных подозрений; все, что Ты писал, воспринимал я сквозь туман болезненных отношений между нами. И потому не стою на своем; не в факте существования «*Балаганчика*» и «*Незнакомки*» суть дела, а в отношении автора к ноте гибели в себе; одно

---

* Подчеркнуто дважды.

дело, если он говорит своей нотой «*не чувствую, что свет победит тьму*»; другое дело, если он говорит «*разрушу в вас свет*». Итак: знаю, что «*Балаганчик*» — Твой до конца (ведь и у меня есть свой «*Балаганчик*» — «Панихида»); и все-таки *приемлю Тебя.*

Статья Мережковского есть *позор* и *гадость*; слышать о ней не хочу; после этой статьи, как и многого другого, я просто без всякого объяснения отвернулся от Мережковских; фактически я отвернулся от них два года; есть в памяти любовь к *людям*; полемизировать и бороться с ними не хочу, как не хочу вообще ни с кем никакой полемики; просто фактически молчаливо я ушел от них. Статья же о Тебе и Иванове есть форменная провокация; смысл: символисты «*начали сладью — кончили гадью*» (слова Мережковского). Блок изобразил революцию в виде «*Балаганчика*» (это — донос читателям «*Русс⟨кого⟩ Слова*»). После статьи я написал было Мережковскому: «*Разрываю с Вами все*». Но не послал: они поняли бы, что это — истерика; а у меня никакой истерики нет; все, что делаю, делаю четко и холодно. И я холодно закупорился от них еще более. Между нашими отношениями — горы льдов. Вот все, что чувствую к Д⟨митрию⟩ С⟨ергеевичу⟩. И странно: Булгаков, Бердяев, Гершензон ближе мне Мережковских.

Мне было бы обидно за Тебя, если бы Ты не дал понять так или иначе Мережковским, что данная статья о символистах не есть просто «*полемика*», а либеральный дешевый донос ⟨...⟩ на своих друзей.

Вот что я почувствовал в статье Мережковского; после нее еще более уверовал в *нужность Твоих слов.*

⟨...⟩

Остаюсь любящий Тебя неизменно

Б. Бугаев.

Статьи А. Блока

Безвременье

1. Очаг

Был на свете самый чистый и светлый праздник. Он был воспоминанием о золотом веке, высшей точкой того чувства, которое теперь уже на исходе, — чувства домашнего очага.

Праздник Рождества был светел в русских семьях, как елочные свечки, и чист, как смола. На первом плане было большое зеленое дерево и веселые дети; даже взрослые, не умудренные весельем, меньше скучали, ютясь около стен. И все плясало — и дети, и догорающие огоньки свечек.

Именно так чувствуя этот праздник, эту непоколебимость домашнего очага, законность нравов добрых и светлых, — Достоевский писал (в «Дневнике писателя», 1876 г.) рассказ «Мальчик у Христа на елке». Когда замерзающий мальчик увидал с улицы, сквозь большое стекло, елку и хорошенькую девочку и услышал музыку, — это было для него каким-то райским видением; как будто в смертном сне ему привиделась новая и светлая жизнь. Что светлее этой сияющей залы, тонких девических рук и музыки сквозь стекло?

Так. Но и Достоевский уже предчувствовал иное: затыкая уши, торопясь закрыться руками в ужасе от того, что можно услыхать и увидеть, он все-таки слышал быструю крадущуюся поступь и видел липкое и отвратительное серое животное. Отсюда — его вечная торопливость, его надрывы, его «Золотой век в кармане». Нам уже не хочется этого Золотого века, — слишком он смахивает на сильную лекарственную дозу, которой доктор хочет предупредить страшный исход болезни. Но и лекарственная трава Золотого века не помогла; большое серое животное уже вползало в дверь, нюхало, осматривалось, и не успел доктор оглянуться, как оно уже стало заигрывать со всеми членами семьи, дружить с ними и заражать их. Скоро оно разлеглось у очага,

как дома, заполнило интеллигентные квартиры, дома, улицы, города. Все окуталось смрадной паутиной; и тогда стало ясно, как из добрых и чистых нравов русской семьи выросла необъятная серая паучиха скуки.

Стало как-то до торжественности тихо, потому что и голоса человеческие как будто запутались в паутине. Орали до потери голоса только писатели, но действия уже не оказали. Их перестали слушать; они не унимались; тогда придумали новое средство: стали звать их «декадентами», что в те времена было почти нецензурно и равнялось сумасшествию.

Паучиха, разрастаясь, принимала небывалые размеры: уютные intérieur*, бывшие когда-то предметом любви художников и домашних забот, цветником добрых нравов, — стали как «вечность» Достоевского, как «деревенская баня с пауками по углам». В будуарах, кабинетах, в тишине детских спаленок теплилось заразительное сладострастие. Пока ветер пел свои тонкие песенки в печной трубе, жирная паучиха теплила сладострастные лампадки у мирного очага простых и добрых людей.

За всей эстетической возней, за нестройными криками отщепенцев, заклейменных именем «декадентов», можно было услышать биение здорового пульса, желание жить красивой и стройной жизнью, так, чтобы паучиха уползла за тридевять земель. Но сами декаденты были заражены паучьим ядом. Вместе с тем у их читателей появились признаки полной заразы.

Люди стали жить странной, совсем чуждой человечеству жизнью. Прежде думали, что жизнь должна быть свободной, красивой, религиозной, творческой. Природа, искусство, литература — были на первом плане. Теперь развилась порода людей, совершенно перевернувших эти понятия и тем не менее считающихся здоровыми. Они стали суетливы и бледнолицы. У них умерли страсти, — и природа стала чужда и непонятна для них. Они стали посвящать все свое время государственной службе — и перестали понимать искусства. Музы стали невыносимы для них. Они утратили понемногу, идя путями томления, сначала бога, потом мир, наконец — самих себя. Как бы циркулем они стали вычерчивать какой-то механический круг собственной жизни, в котором разместились, теснясь и давя друг

* Внутренняя часть здания, помещения (*фр.*).

друга, все чувства, наклонности, привязанности. Этот заранее вычерченный круг стал зваться жизнью нормального человека. Круг разбухал и двигался на длинных, тонких ножках; тогда постороннему наблюдателю становилось ясно, что это ползает паучиха, а в теле паучихи сидит заживо съеденный ею нормальный человек.

Сидя там, он обзаводится домком, плодится — и все дела свои сопровождает странными и смешными гримасами, так что совсем уже посторонний зритель, наблюдающий объективно и сравнивающий, как, например, художник,— может видеть презабавную картину: мир зеленый и цветущий, а на лоне его — пузатые пауки-города, сосущие окружающую растительность, испускающие гул, чад и зловоние. В прозрачном теле их сидят такие же пузатые человечки, только поменьше: сидят, жуют, строчат, а потом едут на уморительных дрожках отдыхать и дышать чистым воздухом в самое зловонное место.

Внутренность одного паучьего жилья воспроизведена в рассказе Леонида Андреева «Ангелочек». Я говорю об этом рассказе потому, что он наглядно совпадает с «Мальчиком у Христа на елке» Достоевского. Тому мальчику, который смотрел сквозь большое стекло, елка и торжество домашнего очага казались жизнью новой и светлой, праздником и раем. Мальчик Сашка у Андреева не видал елки и не слушал музыки сквозь стекло. Его просто затащили на елку, насильно ввели в праздничный рай. Что же было в новом раю?

Там было положительно нехорошо. Была мисс, которая учила детей лицемерию, была красивая изолгавшаяся дама и бессмысленный лысый господин; словом, все было так, как водится во многих порядочных семьях,— просто, мирно и скверно. Была «вечность», «баня с пауками по углам», тишина пошлости, свойственная большинству семейных очагов.

Все это было бы только скверно, не больше и не меньше, если бы писатель, описавший все это, не бросил одной крикливой фразы, разрушающей тишину пошлости. Без этой фразы нечего было бы обличать, и все осталось бы на своем месте.

Дело в том, что уже в этом старом рассказе («Ангелочек» написан в 1899 году) звучит нота, роковым образом сблизившая «реалиста» Андреева с «проклятыми» декадентами. Это — нота безумия, непосредственно вы-

текающая из пошлости, из паучьего затишья. Мало того, это — нота, тянущаяся сквозь всю русскую литературу XIX века, ставшая к концу его только надорванной, пронзительней и потому — слышнее. В ней звучит безмерное отчаянье, потому что в ней причина розни писателей и публики, в ней выражает писатель свой страх за безумие себя и мира, и она-то именно еще долго останется непонятой теми, кто тянет ее во имя своей неподвижной святости, не желая знать, что будет, когда она внезапно оборвется. Будет злая тишина, остановившиеся глаза, смерть, сумасшествие, отчаянье.

Эта нота слышна в одной фразе рассказа Андреева. Он рассказывает, что когда хозяйские дети, в ожидании елки, стреляли пробкой в носы друг другу, *девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь.* Это такая обычная, такая мелкая черта, что, казалось бы, не стоило замечать ее. Но в одной этой фразе я слышу трепет, объяснимый только образно.

Передо мною картина: на ней изображена только девочка-подросток, стоящая в позе, описанной Андреевым. Она перегнулась, и, значит, лицо ее рисуется в форме треугольника, вершиной обращенного вниз; она смеется; значит, под щелками смеющихся глаз ее легли морщинки, чуждые лицу, точно старческие морщинки около молодых глаз; и руки ее прижаты к груди, точно она придерживает ими тонкую кисею, под которой очнулось мутное, уже не девическое тело. Это напоминает свидригайловский сон о девочке в цветах, безумные врубелевские портреты женщин в белом с треугольными головами. Но это — одна и та же жирная паучиха ткет паутину сладострастия.

Я не придумываю, развивая содержание андреевской позы. Быть может, сам писатель чувствовал его, хотя бы и бессознательно. Стоит вспомнить, как все рассказы его горят безумием; в сущности, все это один рассказ, где изображены с постепенностью и сдержанностью огромного таланта все стадии перехода от тишины пошлой обыденщины к сумасшествию. В нашем рассказе легко, но уже несомненно намечен этот самый переход.

Сашка снял с райской елки одного только ангелочка, чтобы не страшен и сладок был путь, сужденный всем таким Сашкам, и ушел из рая в холодную ночь, в глухой переулок, за перегородку, к пьяному отцу. Там к нему не приставала дама, господин не предлагал поместить

в ремесленное училище, девочки не смеялись, перегибаясь. Отец с Сашкой заснули блаженным сном, а ангелочек растаял в отдушине печки..

И в окно уже «пробивался синеватый свет начинающегося дня».

Что же делать? Что же делать? Нет больше домашнего очага. Необозримый, липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золотого Века. Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера — все заткано паутиной, и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь.

2. С площади на «луг зеленый» *

Но и на площади торжествует паучиха.

Мы живем в эпоху распахнувшихся на площадь дверей, отпылавших очагов, потухших окон. Мне часто кажется, что наше общее поприще — давно знакомый мне пустой рынок на петербургской площади, где особенно хищно воет вьюга вокруг запертых на ночь ставен. Чуть мигают фонари, пустыня и безлюдие; только на нескольких перекрестках словно вихрь проносит пьяное веселье, хохот, красные юбки; сквозь непроглядную ночную вьюгу женщины в красном пронесли шумную радость, не знавшую, где найти приют. Но больная, увечная их радость скалит зубы и машет красным тряпьем; улыбаются румяные лица с подмалеванными опрокинутыми глазами, в которых отразился пьяный, приплясывающий мертвец — город. Смерть зовет взглянуть на свои обнаженные язвы и хохочет промозгло, как будто вдали тревожно бьют в барабан.

Наша действительность проходит в красном свете. Дни все громче от криков, от машущих красных флагов; вечером город, задремавший на минуту, окровавлен зарей. Ночью красное поет на платьях, на щеках, на губах продажных женщин рынка. Только бледное утро гонит последнюю краску с испитых лиц.

Так мчится в бешеной истерике все, чем мы живем и в чем видим смысл своей жизни. Зажженные со всех концов, мы кружимся в воздухе, как несчастные маски, застигнутые врасплох мстительным шутом у Эдгара По. Но мы, дети своего века, боремся с этим головокруже-

* Статья Андрея Белого в «Весах», 1905 г.

нием. Какая-то дьявольская живучесть помогает нам гореть и не сгорать.

Среди нас появляются бродяги. Праздные и бездомные шатуны встречаются на городских площадях. Можно подумать, что они навсегда оторваны от человечества, обречены на смерть. Но бездомность и оторванность их — только видимость. Они вышли, и на время у них «в пути погасли очи»; но они знают веянье тишины.

На сквозняках безлюдных улиц эти бродяги точно распяты у стен. Они встречаются глазами, и каждый мерит чужой взгляд своим, и еще не видит дна, не видит, где приютилась обнищавшая душа человеческая. Только одежды взвиваются в лохмотьях снежной пыли. Кажется, эти люди, как призраки, поднимутся вместе с бурей в черную пропасть неба, точно полетят на крыльях. Голос вьюги вывел их из паучьих жилищ, лишил тишины, очага, напел им в уши,— и они поняли песню о вечном круженье — песню, сулящую полет. В глубинах неба открылся звездный узор; его разрывают снежные хлопья, мчатся, слепя глаза.

Там, в ночной завывающей стуже,
В поле звезд отыскал я кольцо
Вот лицо возникает из кружев,
Возникает из кружев лицо.

Вот плывут ее вьюжные трели,
Звезды светлые шлейфом влача,
И взлетающий бубен метели,
Бубенцами призывно бренча.

С легким треском рассыпался веер,
Разверзающий звездную месть,
Но в глазах, обращенных на север,
Мне холодному — жгучая весть.

И, над мигом свивая покровы,
Вся окутана звездами вьюг,
Уплываешь ты в сумрак снеговый,
Мой от века загаданный друг.

Исчезает лицо, и опять кутается в снежное кружево, и опять возникает мечтой о бесконечной равнине. Мелькнувший взор, взор цыганки, чей бубен звенит, чей голос сливается с песнями вьюги, зовет в путь бесконечный. Горе тому, кто заглядится в стеклянный, астральный взор. Он обречен на игру случайностей, на вечное круженье среди хлопьев, улетающих во мрак.

Он застынет в ликовании вьюги, и не будет исхода из великой радости над великой пустотой.

Но вьюга знает избранников. Ее ласки понятны шатунам, распятым у заборов. Вьюга, распевая, несет их, кружит и взметает крылья лохмотий. И вот уже во мраке нет ни улиц, ни площадей. Все исчезло: хрип далеких барабанов, хохот рынка, зияющие дыры потухших окон. Пустыня полей и еле заметный шоссейный путь. Города больше нет. Голос вьюги распевает в телеграфных столбах.

Простота линий, простота одиночества за городом. В бегстве из дому утрачено чувство собственного очага, своей души, отдельной и колючей. В бегстве из города утрачена сложная мера этой когда-то гордой души, которой она мерила окружающее. И взор, утративший память о прямых линиях города, расточился в пространстве.

Существа, вышедшие из города,— бродяги, нищие духом. Привычный, далеко убегающий, струящийся по равнинам каменный путь, и, словно приросшее к нему, без него немыслимое, согнутое вперед очертание человека с палкой и узелком.

За мною грохочущий город
На склоне палящего дня...

(*А. Белый*)

Днем и ночью, в октябрьскую стужу и в летний жар, бредут здесь русские люди — без дружбы и любви, без возраста — потомки богатырей.

Привязанность, молодость, дружба,—
Исчезли, развеялись сном...

(*А. Белый*)

Нет конца и края шоссейным путям, где они тащатся, отдыхают и снова идут. Неприметливому взору покажется, что эти «горемыки» — сирые, обреченные, изгнанные, что они не знают, где приклонить голову, потому что одежды их в лохмотьях, а лица обезображены голодной тоской.

Но они — блаженные существа. Добровольно сиротея и обрекая себя на вечный путь, они идут куда глядят глаза. И глядят они прямо перед собой, на каменный путь по бескрайным равнинам России. Они как бы состоят из одного зрения, точно шелестят по российским дорогам одни глаза — угли, провожатаи в открытую

даль. Дороги вьются, и тянутся, и опять возвращаются, и одно многотысячное око России бредет и опять возвращается, неизвестно откуда берется и не зависит от времени и дел людских. Уже и города почти сметены путями. Как неуклонные стрелы, пронзают их дороги, улицы превращаются в шоссейные пути.

На равнинах, по краям дорог, в зеленях или в сугробах, тлеют, гниют, обращаются в прах барские усадьбы с мрамором, с амурами, с золотом и слоновой костью, с высокими оградами вокруг столетних липовых парков, с шестиярусными скульптурными иконостасами в барских церквах. Вокруг заброшенных домов, все шире, уже забегая в спутанные куртины — прежние клумбы нежных цветов,— разрастаются торговые села, зеленеют вывески казенной винной лавки, растут серо-красные постоялые дворы. Все это, наскоро возведенное, утлое, деревянное,— больше не заграждает даль. И сини дали, и низки тучи, и круты овраги, и сведены леса, застилавшие равнины,— и уже нечему умирать и нечему воскресать. Это быт гибнет, сменяется безбытностью.

Шоссейными путями нищей России идут, ковыляют, тащатся такие же нищие с узлами и палками, неизвестно откуда, неизвестно куда. Их лица осунулись, и выкатившиеся глаза с красной орбитой щупают даль. Бесцельно и праздно идут вереницами. Все ясно для них и просто, как высокое небо над головой, как груды щебня и пласты родной глины по краям шоссе. Они обнищали так же, как великий простор, который обнажился вкруг них.

Это — священное шествие, стройная пляска праздной тысячеокой России, которой уже нечего терять; всю плоть свою она подарила миру и вот, свободно бросив руки на ветер, пустилась в пляс по всему своему бесцельному, непридуманному раздолью.

Открытая даль. Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безбытности, о протекающих мигах, о пробегающих полосатых верстах. Где-то вдали заливается голос или колокольчик, и еще дальше как рукавом машут рябины, все осыпанные красными ягодами. Нет ни времен, ни пространств на этом просторе. Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем, народ, будто удалой запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе

смеется и плачет. И рябина машет рукавом. И странные люди приплясывают по щебню вдоль торговых сел. Времени больше нет.

Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься,— даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний. Когда же наступит вечер и туманы оденут окрестность,— даль станет еще прекраснее и еще недостижимее. Думается, все, чему в этой дали суждено было сбыться,— уже сбылось. Не к чему стремиться, потому что все уже достигнуто; на всем лежит печать свершений. Крест поставлен и на душе, которая, вечно стремясь, каждый миг знает пределы свои.

Это бесцельное стремление всадника на усталом коне, заблудившегося ночью среди болот. Баюкает мерная поступь коня, и конь свершает круги; и, неизменно возвращаясь на то же и то же место, всадник не знает об этом, потому что нет сил различить однообразную поверхность болота. И пока ночь мирно свивает и развивает концы своих волос-вервий,— мерно качается и кружится всадник. Глаза его, закинутые вверх, видят на своде небесном одну только большую зеленую звезду. И звезда движется вместе с конем. Оторвав от звезды долгий взор свой, всадник видит молочный туман с фиолетовым просветом. Точно гигантский небывалый цветок — Ночная Фиалка — смотрит в очи ему гигантским круглым взором невесты. И красота в этом взоре, и отчаянье, и счастье, какого никто на земле не знал, ибо узнавший это счастье будет вечно кружить и кружить по болотам, от кочки до кочки, в фиолетовом тумане, под большой зеленой звездой.

3. Русская литература

Литературы великих мировых эпох таят в себе присутствие чего-то страшного, то приближающегося, то опять отходящего, наконец разражающегося смерчем где-то совсем близко, так близко, что, кажется, почва уходит из-под ног: столб крутящейся пыли вырывает воронки в земле и уносит вверх окружающие цветы и травы. Тогда кажется, что близок конец и не может более существовать литература. Она сметена смерчем, разразившимся в душе писателя.

Так кажется иногда в наше время; но это обманчиво. То, что имеет подобие смерча, есть только дикий вопль души одинокой, на миг повисшей над бесплодьями

русских болот. Прошумит этот крутящийся столб из пыли, крови и болотной воды, и оставит за собой все то же бесплодие, и где-нибудь далеко упадет и иссякнет, так что никто и не узнает об этом.

А над трясиной мирно качается голубой цветик — большой глазок, открытый невинно и... сентиментально.

Смерчи всегда витали и витают над русской литературой. Так было всегда, когда душа писателя блуждала около тайны преображения, превращения. И, может быть, ни одна литература не пережила в этой трепетной точке стольких прозрений и стольких бессилий, как русская.

Передо мной вырастают два демона, ведущие под руки третьего — слепого и могучего, пребывающего под страхом вечной пытки. Это — Лермонтов, Гоголь и Достоевский.

Лермонтов восходил на горный кряж и, кутаясь в плащ из тумана, смотрел с улыбкой вещей скуки на образы мира, витающие у ног его. И проплывали перед ним в тумане ледяных игол самые тайные и знойные образы: любовница, брошенная и все еще прекрасная, в черных шелках, в «таинственной холодной полумаске». Проплывая в туман, она видела сны о нем, но не о том, что стоит в плаще на горном кряже, а о том, кто в гусарском мундире крутит ус около шелков ее и нашептывает ей сладкие речи. И призрак с вершины с презрительной улыбкой напоминал ей о прежней любви.

Но любовница и двойник исчезали, крутясь, во мгле туманной, и возвращались опять, кутаясь в лед и холод, вечно готовясь заискриться, зацвести небесными розами, и снова падая во мглу. А демон, стоящий на крутизне, вечно пребывает в сладком и страстном ужасе: расцветет ли «улыбкой розовой» ледяной призрак?

В ущельях, у ног его, дольний мир вел азартную карточную игру; мир проносился, одержимый, безумный, воплощенный на страдание. А он, стоя над бездной, никогда не воплотил ничего и с вещей скукой носил в себе одно знание:

Я знал, что голова, любимая тобою,
С моей груди на плаху не падет.

На горном кряже застал его случай, но изменил ли он себе? «На лице его играла спокойная и почти веселая

улыбка... Пуля пробила сердце и легкие...» Кому? Тому ли, кто смотрел с крутизны на мировое колесо? Или тому, двойнику, кто в гусарском мундире, крутя ус, проносился в безднах и шептал сладкие речи женщине в черных шелках?

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне...
...И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той...

В этом сцеплении снов и видений ничего уже не различить — все заколдовано; но ясно одно, что где-то в горах и доныне пребывает неподвижный демон, распростертый со скалы на скалу, в магическом лиловом свете.

Другой колдун также не воплощал ничего. Гоголь зарывался в необозримые ковыли степей украинских, где нога человеческая не ступала и никогда не нарушалась тишина. Только Днепр тянул серебряную ленту свою, да пел однообразный, как степные цикады, колокольчик, да мать-казачка билась о стремя сына, пропадающего в тех же необозримых ковылях.

Небо и степь вбирали, поглощали все звуки, там, где востроносый колдун выводил из земли, треснувшей под зноем, казака, на страх и потеху есаулу: «приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать краткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака. Кто он таков, никто не знал. Но он уже протанцевал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак — старик». Так выпроводили казака, не узнав в нем колдуна и забавника Гоголя, у которого и нос наклонился на сторону, и подбородок заострился, как копье. А колдун появился уже на Карпатах: «вдруг стало видимо далеко во все концы света... Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи» («Страшная месть»). Это были шутки

колдуна, который лежал себе в ковылях и думал одну долгую думу. А мгновенные видения его, призраки невоплощенные, тревожно бродили по белу свету.

Третий был слеп. Оттого он забрел на конец света, где, в сущности, нет ничего, кроме болот с чахлыми камышами, переходящими в длинное серое море. Он основался там, где

...крайняя заводь глухая,
Край лиманов и топей речных,
И над взморьем клубится, вздыхая,
Дым паров и снарядов стальных.

(*И. Коневской*)

Кто-то уверил его, что там будто бы находится столица России, что туда стянулись интересы империи, что оттуда правят ее судьбами. Под стук извозчичьих дрожек, катающих бледных существ взад и вперед по болоту, под звуки фабричных гудков, в дыму торчащих из мглы труб,— слепец расхлебывал вино петербургских туманов. Он был послан в мир на страдание и воплотился. Он мечтал о боге, о России, о восстановлении мировой справедливости, о защите униженных и оскорбленных и о воплощении мечты своей. Он верил и ждал, чтобы рассвело. И вот перед героем его, перед ему подобными, действительно рассвело, на повороте темной лестницы, в глубине каменных ворот самое страшное лицо, воплощение хаоса и небытия: лицо Парфена Рогожина. Это был миг ослепительного счастья. И в тот же миг все исчезло, крутясь как смерч. Пришла падучая.

Таков был результат воплощения прежде времени: воплотилось небытие. Вот почему в великой триаде хитрые и мудрые колдуны ведут под руки слепца; Лермонтов и Гоголь ведали приближение этого смерча, этой падучей, но они восходили на вершины или спускались в преисподнюю, качая только двойников своих в сфере падучей; двойники крутились и, разлетаясь прахом, опять возникали в другом месте, когда смерч проносился, опустошая окрестность. А колдуны смотрели с вещей улыбкой на кружение мглы, на вертящийся мир, где были воплощены не они сами, а только их двойники.

Потому же нам окончательно понятен Достоевский только через Лермонтова и Гоголя. Для нас они как бы руководят им, учат слепца той мудрости, которой он сам не желал. Он очертя голову бросается в туман, летит и падает в падучей; он носит в душе вечную

тревогу, надрыв, подступает вплотную к мечте, ищет в ней плоти и крови; они парят, прислушиваясь, осязая туман, но никогда не портя мечты своей, не ища в ней плоти и крови.

Достоевскому снится и вечная гармония; проснувшись, он не обретает ее, горит и сгорает; Гоголь и Лермонтов бессознательно и невоплощенно касаются крылами к вечной гармонии и летят прочь, горя, но не сгорая. Достоевский, как падучая звезда, пролетает в летучих туманах Гоголя и Лермонтова; он хочет преобразить несбыточное, превратить его в бытие, и за это венчается страданием. Они свершают над несбыточным обряд легких прикосновений: коснутся крылами — и опять летят в туман.

Потому два современных писателя, о которых я хочу сказать, более близки к Лермонтову и Гоголю, чем к Достоевскому. От первых перешла к нам мудрость, от второго, может быть,— только опыт его страдания. Они свершают легкие обряды над новой нитью превращений, протянутой тихим торжествующим лучом. Они крылаты и витают над туманами, не падая в их беспросветную глубь. И потому они узнали ту кристальную тишину, звонкую, как голос золотой свирели. Поет тишина, и цветет она; что нужно, кроме такой тишины, думаем мы, читая их произведения?

Бледный закат и тонкий зеленоватый серп месяца — музыка легких прикосновений у З. Гиппиус. Преображение совершается в глубинах зеркала, в тенистой вечерней комнате, в падении пушистых снежинок. Нет в этой вечно осенней и вечно разлучной дымке мечтаний — никакой несбыточности счастья. Скорее это несбыточность бытия от счастья. Медленно проходят, смотря вперед и поверх мира, тонкие, узкие, гибкие женщины — от Марты («Яблони цветут») до Марии-Май,— давно обрученные, дивящиеся чужому неведенью об обручении с влюбленностью, белой, прозрачной и бескровной в мире, воплощенной за порогом мира,— прежде, потом, всегда. Кажется, шествующим над миром так легко вступить в мир и творить в нем легкие чудеса. В их шествии есть глубина знания о бесконечной свободе и какая-то вольная нищета — в узоре слабых, девических рук. Нам кажется, что они идут мимо, не задевая и не тревожа, но они уже среди нас; они несбыточно близки. Мы же узнаем, что одна из них, проходя, задела нас длинным прозрачным покрывалом.

Неизвестно, откуда приходят они и куда уходят, то изнемогая от своей бесцельной свободы, то побеждая одним мановением мир, плещущийся вокруг них усталой и нежной волной. Он непонятен для них, как и они для него; полудевушкам, полурусалкам — им «ни счастия, ни радости не надо». Они знают одну только невозмутимую Тишину.

И слышу я, как шепчет тишина
О тайнах красоты невоплощенной,
Лишь неразгаданным мечтанья полны,
Не жду и не хочу прихода дня.

Сологуб знает тайну преображения, свершающегося во мгле стихий. Он совершенно одинокий — «бог таинственного мира». Для него существует «я», в котором, преломляясь, преображается прекрасное: смерть, любовь, красота — и хаотический мир, в котором все стихийно: день и ночь, земля и вода, и море человеческой пошлости. И когда стихии, смутные и неопределенные, выносятся на берега его романа и рассказа, написанного дремучим незапятнанно-чистым языком, равным разве только гоголевскому языку, они становятся его творением, ясным преображением. Для Сологуба существует весь мир, вся нелепость скомканных плоскостей и сломанных линий, потому что среди них ему является преображенное лицо. Он оставляет себе полную радость встречи с этим лицом и, насладившись им, отпускает его обратно — в хаос. Мы же, его читатели, видим это всерадостное лицо только с одной стороны, откуда оно вселяет чувства сострадания, ужаса, уныния, сладострастия. Отсюда — магическое в творчестве Сологуба: он властен показать нам только часть того, что сам видит вполне. Это возможно потому, что полнота его видений всегда лежит далее того, что может быть воплощено в слове. Для Сологуба — Смерть звучит иначе, чем ее обыкновенно воспринимают. Но он позволяет воспринять ее во всяком смысле потому, что он любит всякую свободу, в том числе свободу гражданскую и свободу восприятий. Он позволяет пронзительно жалеть ребенка обиженного, ребенка «с нестерпимой головной болью»; наконец, он позволяет вскрикнуть от сострадания к замученному мальчику, бросившемуся на мостовую с высоты четвертого этажа («Утешение»).

Но вместе с этим, в момент торжества простейших человеческих чувств — боли, жалости, сладостра-

стия — автор мгновенно поворачивает к нам то светящееся радостью лицо, на которое он сам любуется в это мгновение. И тогда, в сиянии риз райских и всеблаженной улыбки, становится ясно, что обида, боль и сама гибельная Смерть — преображены: Смерть есть Красота. Она — легкое прикосновение, мечта о радости сбывающейся, не сбывшейся только в магическом хаосе Недотыкомки-жизни, вертящейся на распутьях. Смерть — сияние звезды Маир, блаженство обрученного с тихой страной Ойле. Смерть — радость успокоения, Невеста — Тишина.

Так современная литература научилась из колдовства Лермонтова и Гоголя, из падений Достоевского — мудрости глубокой, в которой не видно дна. Смерчи обходят стороной равнину, на которой мы слушаем Тишину. Приложим ухо к земле родной и близкой: бьется ли еще сердце матери? Нет, тишина прекрасная снизошла, согрелись мы в ее заботливо опущенных крыльях: точно сбылось уже пророчество о Другом Утешителе, ибо нам нечего больше жалеть; мы все отдадим, нам уже ничего не жаль и, как будто ничего не страшно. Мудры мы, ибо нищи духом; добровольно сиротеем, добровольно возьмем палку и узелок и потащимся по российским равнинам. А разве странник услышит о русской революции, о криках голодных и угнетенных, о столицах, о декадентстве, о правительстве? Нет, потому что широка земля, и высоко небо, и глубока вода, а дела человеческие незаметно пройдут и сменятся другими делами... Странники, мы — услышим одну Тишину.

А что, если вся тишина земная и российская, вся бесцельная свобода и радость наша — соткана из паутины? Если жирная паучиха ткет и ткет паутину нашего счастья, нашей жизни, нашей действительности,— кто будет рвать паутину?

Самый страшный демон нашептывает нам теперь самые сладкие речи: пусть вечно смотрит сквозь болотный туман прекрасный фиолетовый взор Невесты — Ночной Фиалки. Пусть беззвучно протекает счастье всадника, кружащего на усталом коне по болоту, под большой зеленой звездой.

Да не будет так.

Октябрь 1906

■

«Религиозные искания» и народ

Реакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо проснувшейся было жизни. Перед глазами нашими — несколько поколений, отчаявшихся в своих лучших надеждах. Редко, даже среди молодых, можно встретить человека, который не тоскует смертельно, прикрывая лицо свое до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утонченности, исключительного себялюбия.

Иначе говоря, почти не видишь вокруг себя настоящих людей, хотя и веришь, что в каждом встречном есть запуганная душа, которая могла бы, если бы того хотела, стать очевидной для всех. Но люди не хотят становиться очевидными, все еще притворяются, что им есть, что терять. Это понятно для тех, у кого еще не перержавели цепи всяческих «отношений», чье сознание еще смутно. Но это *преступно* у тех, кто помнит, что он родился в глухую ночь, увидал сияние одной звезды и простер руки к ней, и к ней одной.

Вся жизнь для такого человека — темная музыка, звучащая только об одной звезде. Для врагов он — «идиот», «свихнувшийся»; для друзей — порою досадный «однодум». Это ему надо понять: ведь он — неприятное недоразумение, он никому в мире не может угодить, ибо ничему в мире, кроме увиденной им звезды, не предана его душа.

Если он поймет это,— поймет и то, за что и почему его гонят; и пусть гонят!

Если нет,— он предатель, тайный прелюбодей, всеобщий примиритель, «карьерист». Пускай бы это было преступлением против себя самого только: мало ли мошенников на свете! Но это — преступление не только личное: он убивает в себе ту страсть своей души, ту ее преданность, ту ее обреченность, которая могла бы стать в одну из черных ночей путеводным заревом для других заблудившихся людей.

Говорю я особенно о писателях: об эстетах, уставших еще до начала своей карьеры; об эстетах младшего поколения по преимуществу; о тех, кому неугодно сознать, что жизнь их должна быть сплошным мучительством — тайным и явным; должно им исколоть себе руки обо все шипы на стеблях красоты; нельзя им отдыхать на розо-

вом ложе, чужими руками, не их руками, для них разостланном. Они должны знать, что они ответственны, потому что одарены талантами.

Если они — поэты-лирики, их должно мучить их одинокое болото, освещенное розовой зорькой; если беллетристы — марксисты ли, народники ли,— пусть помнят, что никто из них до сей поры не указал, как быть с рабочим и мужиком, который вот сейчас, сию минуту спрашивает, как быть; если они драматурги, пусть знают, что еще ни одна из современных драм не осветила по-настоящему будней жизни, не принесла «очищения».

Мне скажут, что я говорю о невозможном, о том, о чем давно пора забыть, что я наивен, что литература давно перестала играть в жизни ту роль, какую играла когда-то. Возражений много, они известны; но я все-таки говорю именно так; только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами; писатель ведь — звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои надежды, пусть несвершившиеся, свои замыслы, пусть недовершенные.

Если те писатели и интеллигенты, о которых я говорю, «представители религиозно-философского сознания», то они должны были бы мучиться больше всех: тем, что они уже несколько лет возвещали с кафедры религиозно-философских собраний гордые истины, что они самоуверенно поучали, надменно ехидствовали, сладострастно полемизировали с туполобыми попами.

Теперь они опять возобновили свою болтовню; но все эти образованные и обозленные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе, их супруги и свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы и лоснящиеся от самодовольства попы, знают, что за дверями стоят нищие духом, которым нужны дела. Вместо дел — уродливое мелькание слов. Тоненький священник в бедной ряске выкликает Иисуса,— и всем неловко, «неприлично» — переглядываются. Честный социал-демократ с шишковатым лбом злобно бросает десятки вопросов; в ответ — лысина, елеем помазанная: нельзя, дескать, сразу ответить на столько вопросов. Все это становится уже модным, доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам.

А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — «реакция»; а в Рос-

сии жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому на свете, кроме «утонченных натур», ненужных,— ничего в России бы не убавилось и не прибавилось!

Что и говорить, хорошо сказал красивый анархист, что нужна «перманентная революция»; хорошо подмигнул дамочкам молодой поп; хорошо резюмировал прения философ. Но ведь они говорят о *Боге*; о том, о чем можно плакать одному, или... мало ли, как; но не в этой безобразной, разваливающейся людской каше, не при этом обилии электрического света! Это — тоже, своего рода, потеря стыда; лучше бы ничем не интересовались и никаких «религиозных» сомнений не знали, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно посплетничать о Христе.

Разве у Мережковского «религиозно-философская» известность? Нет, ведь и сам он до последних лет не забывал, что он — *художник*; кто не знает теперь о его «религиозном холоде» (из тех, кто вообще что-либо об этом слышал)? А «Юлиана» и «Леонардо» перечитывать еще будут. Также и Розанов дорог отнюдь не своей нововременской «религиозно-философской» деятельностью, а своим тайным и тяжким однодумьем.

Мало сказать, что с религиозных собраний уходишь с чувством неудовлетворенности; есть еще чувство грызущей скуки, озлобления на всю неуместность происходившего, оскорбления за красоту, за безобразность. Между романами Мережковского, некоторыми книгами Розанова и их религиозно-философскими докладами — глубокая пропасть. Это — своего рода словесный кафешантан, и не я один предпочту ему кафешантан обыкновенный, где сквозь скуку прожжет порою «буйное веселье, страстное похмелье».

Право, человек естественный, здоровый, «провинциал», положим, непременно прямо с этих самых религиозных собраний угодит в кафешантан, и притом — в большой компании: чтобы жизнь, насильственно на два-три часа остановленная, безболезненно восстановилась, чтобы совершился переход ко сну; а то еще из-за оживленной и непритязательной мордочки какой-нибудь Марты всплывет ненароком — тьфу, ты, пропади-пропадом — какое-нибудь «одухотворенное», а то и просто духовное лицо.

Что же, просвещайтесь, интеллигенты; не думайте только, что «простой человек» придет говорить с вами

о Боге. Мы поглядим на вас и на ваши серьезные «искания»; поглядим, да и выплеснем — нет-нет — на вас немножко винной лирической пены: вытирайте лысины, как знаете.

Ах я, хулиган, хулиган! — Ведь все сбились с панталыку, все скучают от безделья. Дрянны все факты интеллигентской жизни этого года; и прения с попами, в том числе лишь; это — один из видов самоуслаждения — и не самый кощунственный.

Да и что могут сказать русские интеллигенты Столыпину и синоду? Даже за бездарные слова им заткнут рот, и, надо отдать справедливость, крепкой пробкой: еще лет на десять хватит. Право, не смешно, а больно смотреть на человека, который все еще пытается бунтовать (на словах, правда), а ему все время затыкают рот. Да и унизительно это для человека: уж лучше бы помолчали.

Я не говорил бы обо всем этом, если бы не имел в запасе противоположных примеров: примеров мучительных, но и поучительных для всех нас. Все эти примеры, как нарочно, исходят от людей, не носящих сюртуков и смокингов, не гримасничающих благородной скукой и утонченностью гнилого дворянства, пишущих совсем не так, как все мы, каких бы ни было лагерей, бог нас разберет.

Вот что пишет мне крестьянин северной губернии, начинающий поэт. Слова его письма кажутся мне золотыми словами:

«Простите мою дерзость, пишет он, но мне кажется, что, если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!.. И хочется встать высоко над миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звездными слезами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю»...

«Вы — господа, чуждаетесь нас, но знайте, что много нас, неутоленных сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть с высоты, когда всё, что внизу, кажется однородной массой; но крошка искренности, и из массы выступают ясные очертания сынов человеческих. Их души, подобные яспису и сардису, их ребра, готовые для прободения»...

«Наш брат вовсе не дичится «вас», а попросту завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только

до тех пор, покуда видит от «вас» какой-либо прибыток».

«О, как неистово страдание от «вашего» присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без «вас» пока не обойдешься! Это-то сознание и есть то «горе-гореваньице» — тоска злючая-клевучая, кручинушка злая, беспросветная, про которую писали Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без «вас» пока не обойдешься,— есть единственная причина нашего духовного с «вами» несближения, и редко, редко встречаются случаи холопской верности нянь или денщиков, уже достаточно развращенных господской передней».

«Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни, есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что «вы» везде, что «вы» *можете*, а мы *должны*, вот необоримая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с «вашей»? Кроме глубокого презрения и чисто-телесной брезгливости — никаких».

«У прозревших из «вас» есть оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишите вы, и это ложь, особенно в ваших устах — так мне хочется верить. Я чувствую, что вы, зная великие примеры мученичества и славы, великие произведения человеческого духа, обманываетесь в себе... Из ваших слов можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех, кто „имеет на спине несколько дворянских поколений“».

Что можно ответить на эти слова, заключающие в себе столь беспощадную правду? Как оправдаться?

Я думаю, что оправдаться нельзя. Вот так, как написано в этом письме, обстоит дело в России, которую мы видим из окна вагона железной дороги, из-за забора помещичьего сада, да с пахучих клеверных полей, которые еще Фет любил обходить в прохладные вечера, при этом «минуя деревни».

А в обеих столицах Российской империи дело обстоит иначе. Здесь устраиваются религиозные словопрения и вечера «свободной эстетики»; режиссеры взапуски проваливают сомнительные и несомненно никуда не годные сценические произведения; литераторы ссорятся и сплетничают; чиновники служат из пятого в десятое, и т. д.

В то время, как литература наша вступает в период «комментариев» (или проще: количество критических разговоров несравненно превышает количество литературных произведений), в то время, как мы в интеллигентских статьях ежедневно меняем свои мнения и воззрения и болтаем,— в России растет одно грозное и огромное явление. Корни его — не в одном «императорском периоде», на котором все мы, начиная с Достоевского, помешались, а в веках гораздо ранних. Явление это — «сектантство», как мы привыкли называть его; всё мы привыкли называть, надо всем ставить кавычки; отбросьте кавычки, раскройте смысл, докопайтесь до корня. И выйдет, что слово это мы, как сотни других слов, произносим для собственного успокоения; его коренной смысл — широк, грозен, слово это — пламенное слово.

Принято у нас интересоваться «сектантством» только людям «толстовского» толка: позволено это Наживину, Бирюкову, Пругавину. Едва ли особенно ласкали своим вниманием это «явление русской жизни» такие люди, как Мережковский, как вообще — люди «высокой культуры», очень «образованные».

Отношение «образованных» людей к религиозной жизни народа очень остроумно и злостно определил Толстой: «отношение это похоже на отношение лакея к своему хозяину, ученому математику. Хозяин пишет на доске какие-то цифры, буквы, ставит радикалы, знаки равенства, плюсы, минусы, а лакей смотрит сзади и думает: «Как нескладно у него все это выходит, я напишу куда лучше». И вот, когда хозяин, решив задачу, уходит, лакей стирает все написанное им с доски и сам начинает старательно выводить и буквы, и плюсы, и радикалы, и цифры. Все это выходит у него много красивее, чем у хозяина, но — не имеет никакого смысла».

Цитирую я пятикопеечную брошюру, изданную «Посредником» (И. Наживин, «Что такое сектанты и чего они хотят»). В этих пятикопеечных брошюрах случается находить иногда больше полезного, нежели в толстых и дорогих книгах и журналах. Есть в них, например, описание тех страшных пыток, которым подвергали так называемых «сектантов». Многие ли из аристократических интеллигентов наших дней выдержат сибирские пытки? Все почти издохнут под первой плетью; сами сгноили себя — свои мускулы, свою волю — на

религиозных собраниях и на вечерах «свободной эстетики».

Ноябрь — декабрь 1907

Солнце над Россией

Когда в 1881 году Победоносцев убедил правительство повесить пятерых «цареубийц», Лев Толстой написал просьбу о помиловании их и просил Победоносцева передать эту просьбу. Несмотря на отказ Победоносцева, письмо дошло до царя (через генерала Черевина). Тогда в знаменитом заседании Государственного совета 8 марта Победоносцев произнес свою историческую речь, настоял на требовании о повешении и, ухватив кормило государственного корабля, не выпускал его четверть века, стяжав себе своей страшной практической деятельностью и несокрушимым, гробовым холодом своих теорий — имя старого «упыря».

Старый упырь теперь в могиле. Но мы знаем одно: в великую годовщину 28 августа, в сиянии тихого осеннего солнца, среди спящей, усталой, «горестной», но *все той же* великой России, под знакомый аккомпанемент административных распоряжений и губернаторско-урядницких запрещений шевелиться, говорить и радоваться по поводу юбилея Льва Толстого,— прошла все *та же* чудовищная тень.

Тень старого упыря наложила запрет на радость. День 28 августа прошел, как принято выражаться, «в общем спокойно». Это значит, в переводе на русский язык,— зловеще, в мрачном молчании. «Реакция». «Усталость». Толстому дарят плуг и самовар. Толстому шлют телеграммы о победе света над тьмою. Несколько газет выпускают юбилейные номера... Таков день 28 августа.

Все привычно, знакомо, как *во все великие дни, переживаемые в России.* Вспоминается все мрачное прошлое родины, все, как подобает в великие дни. Чья мертвая рука управляла пистолетами Дантеса и Мартынова? Кто пришел сосать кровь умирающего Гоголя? В каком тайном и быстро сжигающем огне сгорели Белинский

и Добролюбов? Кто увел Достоевского на Семеновский плац и в мертвый дом? И когда в России не было *реакции*, того, что с нею и за нею, того, что мы, пережившие ясные и кровавые зори 9 января, осуждены переживать теперь *каждый день*? Или это так мало — «политическая реакция»? За этим вульгарным словом стоит та обыденность и каждодневность, которую мы ощущаем на собственной шкуре, с доподлинной силой и яркостью. Это не только «неудобно», «скучно», «томительно». Это — *страшно и странно.*

Величайший и единственный гений современной Европы, высочайшая гордость России, человек, одно имя которого — благоухание, писатель великой чистоты и святости — *живет среди нас.* И неусыпно *следит за ним* чье-то зоркое око. Кто же это: министр ли, который ведает русскую словесность, простой ли сыщик или урядник? Да неужели нам всем, любящим Толстого как часть своей души и своей земли, было бы так *странно* и так *страшно*, если бы за душой и землей нашей следили *только* они? И разве видно *им* сокровенное земли и души нашей, благословенные дали Ясной Поляны? Нет, не они смотрят за Толстым, их глазами глядит мертвое и зоркое око, подземный, могильный глаз упыря. И вот при свете ясного и неугасимого солнца, в *несомненный* день рождения Льва Николаевича Толстого, а следовательно, в день ангела и моего и тысяч других людей,— становится нам жутко, и мы, писательская братия, говорим слова тревожные, говорим древним, хаотическим, «двоеверным» языком могильных преданий.

Часто приходит в голову: все ничего, все еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твердые, гранитные устои: точно на плечах своих держит и радостью своею поит и питает свою страну и свой народ. Ничего, что нам запретил радоваться Святейший Синод, мы давно уже привыкли без него печалиться и радоваться. Пока Толстой жив, идет по борозде, за плугом, за своей белой лошадкой,— еще росисто утро, свежо, нестрашно, упыри дремлют, и — слава богу. Толстой идет — ведь это солнце идет. А если закатится солнце, умрет Толстой, *уйдет последний гений*,— что тогда?

Дай господи долго еще жить среди нас Льву Николаевичу Толстому. Пусть он знает, что *все* современные

русские граждане, без различия идей, направлений, верований, индивидуальностей, профессий, впитали с молоком матери хоть малую долю его великой жизненной силы.

Конец августа — начало сентября 1908

■

Народ и интеллигенция

На первом собрании религиозно-философского общества (в 1908 году) был прочитан доклад Германа Баронова «О демотеизме» (обожествление народа в «Исповеди» Максима Горького).

Баронов говорит: «Когда общественное возбуждение улеглось и река общественной жизни вступила в свои берега, на берегах осталось много сора. Этот сор разделяется на «честный» и «нечестный». К «честному» сору относятся только те, кто сам себя сознал «сором», кто томительно ищет живого Бога; к «нечестному» — вся та часть интеллигентного общества, которая прямо или косвенно склоняется на сторону той или другой партии».

Основываясь на некоторых цитатах из «Исповеди» Горького, Баронов отождествляет мировоззрение этого писателя с мировоззрением социал-демократов, в частности Луначарского; докладчик упрекает Луначарского и Горького за то, что они обожествляют народ, отождествляют религиозный процесс с процессом хозяйственным, надевают «седло религии» на «корову науки».

Не опровергая положений Баронова по существу и признавая всю важность затронутого им вопроса, я хочу сначала определить свое воззрение на творчество Горького (с воззрением Баронова несогласное) и перейти затем к важнейшему для меня вопросу об отношениях между интеллигенцией и народом. Эти отношения представляются мне не только ненормальными, не только недолжными. В них есть нечто жуткое; душа занимается страхом, когда внимательно приглядишься к ним; страшно становится, когда интеллигент начинает чувствовать себя «животным общественным», как только сознает он, что существует некоторая *круговая порука* среди «людей культуры», что каждый член культурного общества, без различия партий, литературных

направлений или классов,— представляет из себя *одно из слагаемых* какого-то целого. Это общественное чувство, перешедшее в сознание, и заставляет интеллигента почувствовать ответственность свою перед целым, хочет он или не хочет, подойти к вопросам о болезнях всероссийских; и, мне думается, да и сама действительность показывает, что насущнейшим из таких вопросов является вопрос об «интеллигенции» и «народе».

Баронов разрешает этот вопрос одною фразой; его разрешение не удовлетворяет меня. Я хотел бы поставить вопрос резче и беспощаднее; это самый больной, самый лихорадочный для многих из нас вопрос. Боюсь даже, вопрос ли это? Не свершается ли уже, пока мы говорим здесь, какое-то страшное и безмолвное дело? Не обречен ли уже кто-либо из нас бесповоротно на гибель?

Но я — интеллигент, литератор, и оружие мое — слово. Боясь слов, я их произношу. Боясь «словесности», боясь «литературщины», я жду, однако, ответов словесных; есть у всех нас тайная надежда, что не вечна пропасть между словами и делами, что есть слово, которое переходит в дело.

Прежде всего — несколько слов о Горьком. Рассуждение Баронова о «демотеизме» интересно, как критический разбор «Исповеди». Я думаю, что упреки, обращенные Бароновым к Горькому, идут мимо Горького; несмотря на хороший подбор цитат, Баронову не удалось доказать «обожествления народа» у Горького; ибо, если в выводах своих Горький соприкасается с Луначарским, то в своих подходах к делу, в размахе души, в бессознательном — он бесконечно дальше и выше Луначарского. Горький — русский художник, и Луначарский — теоретик социал-демократии — несоизмеримые величины.

Есть факты неоспоримые, но сами по себе не имеющие никакого значения; например: Бэкон Веруламский — взяточник, Спиноза — стекольщик, Гаршин — переплетчик, Горький — социал-демократ. «Социал-демократизм» Горького говорит мне гораздо меньше, чем, например, землепашество Толстого или медицинская практика Чехова. Бледная повесть Горького «Мать» — только один из этапов его длинного и сложного пути от «Мальвы» и «Челкаша» к «Исповеди».

Горький никогда не был «догматичен» ни в теоретическом, ни в практическом смысле этого слова. Догма-

тов теоретических он всегда инстинктивно боялся; это делает его родным всей русской литературе, которая всегда — от славянофила до западника, от общественника до эстета — питала некоторую инстинктивную ненависть к сухому и строгому мышлению, стремилась переплеснуться через логику.

Отношение Горького к догматам дурного, практического свойства, к догматам быта общественного и государственного слишком известно; многие выражения его, вроде «строителей жизни», стали выражениями обиходными, вошли в поговорку.

Если свою «Исповедь» Горький и заканчивает молитвой к какому-то народу, то пафос его повести лежит гораздо глубже. Вслед за русской литературой Горький отказывается проповедовать; он только смятенно ищет.

Если бы Горький говорил о *найденном* Боге, совсем иначе звучал бы его голос. Он звучал бы торжественной хвалой. Но еще недавно Горький задыхался от злобы; если теперь присоединилось к этой злобе какое-то иное чувство, которым и нова его последняя повесть, то это никак не чувство человека, нашедшего что-то, чего не нашли другие. В этом чувстве нет пока ничего конкретного. К нам Горький неизменно обращен лицом художника; мы сомневаемся, есть ли у него иное лицо. Именно таково мнение широкой публики, которая верила Горькому до тех пор, пока он не ударился в публицистику, и готова опять слушать его, когда он заговорит художественным языком.

В «Исповеди» слышится еще отзвук публицистической проповеди; но он безмерно слабее основной, все возрастающей ноты, и гораздо слабее, чем в предыдущих произведениях. Вульгарная публицистика и наивная проповедь, может быть милая сердцу Горького, но ничего не говорящая нам, уходит от него, как уходит от героя «Исповеди» монахиня, «черная, как обрывок тучи в ветреный день». Вместе с нею уходит его бездейственная злоба, проклятия, никуда не попавшие, которые он произносил с пеной у рта. Очищается его глубокое и прозрачное, как река, сердце, которому мы верим больше, чем разуму — случайным обрывкам темных облаков, пролетающих над рекой.

Вот почему возражения Баронова не попадают в цель. В «Исповеди» Горького ценно в действительности то, о чем Баронов молчит; ценно то, что роднит

Горького не с Луначарским, а с Гоголем; не с духом современной «интеллигенции», но с духом «народа». Это и есть любовь к России в целом, которую, может быть, и «обожествляет» разум Горького, попавший в тенета интеллигентских противоречий и высокопарных «боевых» фраз, свойственных Луначарскому; сердце же Горького тревожится и любит, не обожествляя, требовательно и сурово, по-народному, как можно любить мать, сестру и жену в едином лице родины — России. Это конкретная, если можно так выразиться, «ограниченная» любовь к родным лохмотьям, к тому, чего «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный». Любовь эту знали Лермонтов, Тютчев, Хомяков, Некрасов, Успенский, Полонский, Чехов.

Я остановился на Горьком и на «Исповеди» его потому, что положение Горького исключительно и знаменательно; это писатель, вышедший из народа, таких у нас немного. Может быть, более чем кто-либо из современных писателей, достойных внимания, Горький запутался в интеллигентстве, в торопливых, противоречивых и отвлеченных построениях; зато, может быть, он принадлежит к тем немногим, кому не опасен яд этой торопливости и отвлеченности, у кого есть противоядие, «хорошая кровь — вещество, из коего образуется гордая душа».

«Хорошая кровь — вещество, из коего образуется гордая душа»,— внятно говорит отец Антоний в «Исповеди» и *смеется*. «Близость к Богу отводит далеко от людей»,— догадывается *про себя* герой повести. «Неподвижны сомнения этого человека, ибо мертвы они... да и зачем полумертвому Бог?.. Бог есть сон твоей души, повторяю я, но спорить с этим нужды не чувствую,— легкая мысль»,— соображает опять-таки *про себя* тот же герой «Исповеди».

Горький всегда больше всего любил таких сдержанно смеющихся людей «себе на уме», умеющих в пору помолчать и в пору ввернуть разрушительное словечко, притом непременно обладающих большой физической силой, которая все время чувствуется. Поговорите с таким человеком: никогда нет уверенности, что он, вместо словесного возражения, не двинет попросту кулаком в зубы или не обругает. В период упадка, который пережил Горький, его герои стали неожиданно сентиментальны; теперь они опять вернулись к прежнему, к молчанию и усмешке «себе на уме».

Что же, *«свои»* это люди или *«не свои»*?

С екатерининских времен проснулось в русском интеллигенте народолюбие, и с той поры не оскудевало. Собирали и собирают материалы для изучения «фольклора»; загромождают книжные шкафы сборниками русских песен, былин, легенд, заговоров, причитаний; исследуют русскую мифологию, обрядности, свадьбы и похороны; печалуются о народе; ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются; наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец *поняли даже душу народную*; но как поняли? Не значит ли понять *все* и полюбить *все* — даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя,— не значит ли это *ничего* не понять и *ничего* не полюбить?

Это — со стороны «интеллигенции». Нельзя сказать, чтобы она всегда сидела сложа руки. Волю, сердце и ум положила она на изучение народа.

А с другой стороны — та же все легкая усмешка, то же молчание «себе на уме», та благодарность за «учение» и извинение за свою «темноту», в которых чувствуется «до поры, до времени». Страшная лень и страшный сон, как нам всегда казалось; или же медленное пробуждение великана, как нам все чаще начинает казаться. Пробуждение с какой-то усмешкой на устах. Интеллигенты не так смеются, несмотря на то, что знают, кажется, все виды смеха; но перед усмешкой мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научили нас Гейне и еврейство, на гоголевский смех сквозь слезы, на соловьевский хохот,— умрет мгновенно всякий наш смех; нам станет страшно и не по себе.

Действительно ли это все так, как я говорю, не придумано ли, не создано ли праздным воображением страшное разделение? Иногда сомневаешься в этом, но, кажется, это действительно так, то есть есть действительно не только два понятия, но две реальности: народ и интеллигенция; полтораста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч — с другой; люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном.

Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение, непрестанная смена направлений, настроений, боевых знамен. Над городами стоит гул, в котором не разобраться и опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание. Скрипят бесчисленные телеги за

Непрядвой, стоит людской вопль, а на туманной реке тревожно плещутся и кричат гуси и лебеди.

Среди десятка миллионов царствуют, как будто, сон и тишина. Но и над станом Дмитрия Донского стояла тишина; однако заплакал воевода Боброк, припав ухом к земле: он услышал, как неутешно плачет вдовица, как мать бьется о стремя сына. Над русским станом полыхала далекая и зловещая зарница.

Есть между двумя станами — между народом и интеллигенцией — некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие. Такой соединительной черты не было между русскими и татарами, между двумя станами, явно враждебными; но как тонка эта нынешняя черта — между станами, враждебными тайно! Как странно и необычно схождение на ней! Каких только «племен, наречий, состояний» здесь нет! Сходятся рабочий, и сектант, и босяк, и крестьянин — с писателем и с общественным деятелем, с чиновником и с революционером. Но тонка черта; по-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам.

Не так ли тонка эта черта, как туманная речка Непрядва? Ночью перед битвой вилась она, прозрачная, между двух станов; а в ночь после битвы, и еще семь ночей подряд, она текла, красная от русской и татарской крови.

На тонкой согласительной черте между народом и интеллигенцией вырастают подчас большие люди и большие дела. Эти люди и эти дела всегда как бы свидетельствуют, что вражда исконна, что вопрос о сближении не есть вопрос отвлеченный, но практический, что разрешать его надо каким-то особым, нам еще неизвестным, путем. Люди, выходящие из народа и являющие глубины народного духа, становятся немедленно враждебны нам; враждебны потому, что в чем-то самом сокровенном непонятны.

Ломоносов, как известно, был в свое время ненавидим и гоним ученой коллегией; народные сказители представляются нам забавной диковиной; начала славянофильства, имеющие глубокую опору в народе, всегда были роковым образом помехой «интеллигент-

ским» началам; прав был Самарин, когда писал Аксакову о «недоступной черте», существующей между «славянофилами» и «западниками». На наших глазах интеллигенция, давшая Достоевскому умереть в нищете, относилась с явной и тайной ненавистью к Менделееву.

По-своему, она была права; между ними и ею была та самая «недоступная черта» (пушкинское слово), которая определяет трагедию России. Эта трагедия за последнее время выразилась всего резче в непримиримости двух начал — менделеевского и толстовского; эта противоположность даже гораздо острее и тревожнее, чем противоположность между Толстым и Достоевским, указанная Мережковским.

Последним знаменательным явлением на черте, связующей народ с интеллигенцией, было явление Максима Горького. Еще раз подтверждает он, что страшно и непонятно интеллигентам то, что́ он любит и как он любит. Любит он ту же Россию, которую любим и мы, но иной и непонятной любовью. Его герои, в которых живет его любовь,— чужие нам; это — молчаливые люди «себе на уме», с усмешкой, сулящей неизвестное. Горький по духу — не интеллигент; «мы» любим одно, но разной любовью; и от разлагающих ядов «нашей» любви у него есть противоядие — «здоровая кровь».

Реферат Баронова, «литературный» по преимуществу, говорит о том, что не надо обоготворять народ; я думаю, мало людей, которые обоготворяют его; мы не дикари, чтобы творить божество из неизвестного и страшного. Но, если мы давно не поклоняемся народу, то мы не можем и отступиться или махнуть рукой: ибо искони тянутся туда наша любовь и наши помыслы.

Что же делать?

«Не обоготворять народ надо, а просто работать над ним, вытаскивать его (прежде всего, конечно, вытащив себя самого) из всероссийского трупного болота»,— говорит Баронов.

Это и есть единственная сверхлитературная часть его доклада. Путей и способов действия здесь никаких не указано. Да путей этих, которых только и ищет русская литература, и не может указать один человек.

Нужно любить Россию, нужно «проездиться по России», писал перед смертью Гоголь. «Как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить

одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы — русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь — есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию,— возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви»... «Монастырь наш — Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она теперь зовет сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни.— Друг мой! или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия!»

Понятны ли эти слова интеллигенту? Увы, они и теперь покажутся ему предсмертным бредом, вызовут все тот же истерический бранный крик, которым кричал на Гоголя Белинский, «отец русской интеллигенции».

В самом деле, нам непонятны слова о сострадании как начале любви, о том, что к любви ведет Бог, о том, что Россия — монастырь, для которого нужно «умертвить всего себя для себя». Непонятны, потому что мы уже не знаем той любви, которая рождается из сострадания, потому что вопрос о Боге — кажется, «самый нелюбопытный вопрос в наши дни», как писал Мережковский, и потому что, для того, чтобы «умертвить себя», отречься от самого дорогого и личного, нужно знать, во имя чего это сделать. То и другое, и третье непонятно для «человека девятнадцатого века», о котором писал Гоголь, а тем более для человека двадцатого века, перед которым вырастает только «один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста»... «Черствее и черствее становится жизнь... Все глухо, могила повсюду» (Гоголь).

Или действительно непереступима черта, отделяющая интеллигенцию от России? Пока стоит такая застава, интеллигенция осуждена бродить, двигаться и вращаться в заколдованном круге; ей незачем отрекаться от себя, пока она не верит, что есть в таком отречении прямое жизненное требование. Не только отрекаться нельзя, но можно еще утверждать свои сла-

бости — вплоть до слабости самоубийства. Что возражу я человеку, которого привели к самоубийству требования индивидуализма, демонизма, эстетики или, наконец, самое неотвлеченное, самое обыденное требование *отчаянья и тоски*,— если сам я люблю эстетику, индивидуализм и отчаянье, говоря короче, если я сам *интеллигент*? Если во мне самом нет ничего, что любил бы я больше, чем свою влюбленность индивидуалиста и свою тоску, которая, как тень, всегда и неотступно следует за такою влюбленностью?

Интеллигентных людей, спасающихся положительными началами науки, общественной деятельности, искусства,— все меньше; мы видим это и слышим об этом каждый день. Это естественно, с этим ничего не поделаешь. Требуется какое-то иное, высшее начало. Раз его нет, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного «богоборчества» декадентов и кончая неприметным и откровенным самоуничтожением — развратом, пьянством, самоубийством всех видов.

В народе нет ничего подобного. Человек, обрекающий себя на одно из перечисленных дел, тем самым выходит из стихии народной, становится интеллигентом по духу. Самой душе народной подобное дело до брезгливости противно. Если интеллигенция все более пропитывается «волею к смерти», то народ искони носит в себе «волю к жизни». Понятно в таком случае, почему и неверующий бросается к народу, ищет в нем жизненных сил: просто — по инстинкту самосохранения; бросается и наталкивается на усмешку и молчание, на презрение и снисходительную жалость, на «недоступную черту»; а может быть, на нечто еще более страшное и неожиданное.

Гоголь и многие русские писатели любили представлять себе Россию как воплощение тишины и сна; но этот сон кончается; тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом, непохожим на смешанный городской гул.

Тот же Гоголь представлял себе Россию летящей тройкой. «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ». Но ответа нет, только «чудным звоном заливается колокольчик».

Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка,

вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух»,— *летит прямо на нас*? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель.

Отчего нас посещают все чаще два чувства: самозабвение восторга и самозабвение тоски, отчаянья, безразличия? Скоро иным чувствам не будет места. Не оттого ли, что вокруг уже господствует тьма? Каждый в этой тьме уже не чувствует другого, чувствует только себя одного. Можно уже представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта.

Ноябрь 1908



Стихия и культура

На доклад мой, озаглавленный «Народ и интеллигенция», было сделано очень много возражений, устных и печатных. То, о чем я буду говорить сегодня, представляет развитие все той же темы.

Защищать себя от упреков я не хочу, но защищать свою тему буду. Если у самого меня действительно не хватило голоса (как сказал Д. С. Мережковский), то тема моя, я в этом уверен, рано или поздно, погасит все докучные партийные и личные споры.

Мои вопросы поставлены не мною,— их поставила история России. На один из поставленных вопросов — о «недоступной черте», существующей между интеллигенцией и народом, ответил утвердительно не я,— ответила история России. Думаю, что споры о том, совершился или не совершился крупный и очевидный факт, свидетелями которого были не только мы, но и предки наши,— надо отнести к спорам, возникающим по недоразумению, по недоверию, по непониманию; или — к спорам тактического свойства, выдерживающим критику в стенах «третьих» Дум, но не на вольном воздухе жизни.

Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, вызванное чрезмерным накоплением реальнейших фактов, часть которых — дело свершившееся, другая часть —

дело, имеющее свершиться. Совершенно понятно, что люди стремятся всячески заглушить это чувство, стремятся как бы отбить свою память, о чем-то не думать, полагать, что все идет своим путем, игнорировать факты, так или иначе напоминающие о том, что уже было и что еще будет. Другие, напротив, видят сны от «множества забот», как говорит Экклезиаст; они суетливы во всех делах своих, потому что мучатся воспоминанием и не могут припомнить; в каждом деле своем они чувствуют, что за ними стоит что-то, что одно только может разрешить сомнения и муки; а без такого разрешения — никакое дело не в дело.

Словом, как будто современные люди нашли около себя бомбу; всякий ведет себя так, как велит ему его темперамент; одни вскрывают обойму, пытаясь разрядить снаряд; другие только смотрят, выпучив от страха глаза, и думают, завертится она или не завертится, разорвется или не разорвется; третьи притворяются, что ровно ничего не произошло, что круглая штука, лежащая на столике, вовсе не бомба, а так себе — большой апельсин, а все совершающееся — только чья-то милая шутка; четвертые, наконец, спасаются бегством, все время стараясь устроиться так, чтобы их не упрекнули в нарушении приличий или не уличили в трусости.

Однако никто не шутил, никто не хотел ни напугать, ни позабавить. История, та самая история, которая, говорят, сводится попросту к политической экономии, взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу. И бомбу не простую, а усовершенствованную, вроде той сверлящей и образующей аккуратные трещины пульки, которую англичане придумали для усмирения индусов. Эта пулька уже приведена в действие; пока мы рассуждали о цельности и благополучии, о бесконечном прогрессе,— оказалось, что высверлены аккуратные трещины между человеком и природой, между отдельными людьми и, наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля.

И потому, хотим мы или не хотим, помним или забываем,— во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва. Это чувство разрыва никто не станет отрицать в целом, но, чуть только попытаешься перевести его на конкретное,— немедленно найдутся ярые отрицатели болезни и защитники своей цельности. Можно было быть заранее уверенным, что, как только заговоришь о разрыве между народом и интелли-

генцией, найдутся люди, отрицающие даже возможность разрыва или просто переводящие разговор на домашние дела. Если заговоришь о том, что неблагополучно ни в одной семье, сейчас же найдется семьянин, который скажет, что он живет двадцать пять лет в мире и согласии с женой и детьми. Если скажешь, что наука бессильна перед провалом южной Италии, сейчас же поднимется геолог и заявит, что в Калабрии не отвердела земная кора и что наука если еще и не совсем победила природу, то через три тысячи лет победит.

Когда я оговорился, что есть, может быть, часть интеллигенции, не оторванная от народа, некоторые мои оппоненты обрадовались чрезвычайно. Г. Чулков заявил печатно, что вся моя тема, в сущности, совсем не об интеллигенции, а о декадентах, и что вся масса уездных врачей, фельдшеров и проч. живет с народом душа в душу; но стоило ли «огород городить», если дело идет всего только о том, что декаденты отделены от народа? И будто уж так благополучно живется уездным врачам среди русских мужиков? Откуда такой оптимизм? Неужели так существенна моя оговорка? Ведь исключения подтверждают правило; а счастливыми исключениями, людьми, способными идти навстречу народу, являются как раз передовые люди, вдохновляемые своим трудом, стоящие на честном посту, охраняющие от врага своих невидимых, спящих друзей.

Но бывает и бывало уже так, что всю ночь напролет стоит стража на башнях, охраняя сон своих. Наступает утро, и уже одни только передовые посты оказываются налицо. Они стояли высоко и думали высокую думу, но тех, во имя кого они не спали всю ночь, нет уже на лице земли: их похитила стихия — подземная, или народная, ночь. Астрономы наблюдали звезды из горных обсерваторий, человеческие умы работали неустанно, и ни одна машина не ошиблась в ту ночь, когда побережья южной Италии стерлись с лица земли.

Если бы тема моя была философской темой или касалась политической злобы дня, я не имел бы права говорить таким языком. Но тема моя — не философская и не политическая. Если я не исчерпываю всех вопросов, прилегающих к ней, то она сама намечает их, как знают это те, кто действительно услыхал меня. Для того, чтобы отвечать на недоумения противников, я

считаю себя вправе не прибегать к определению понятий, но считаю своим долгом развивать и углублять все ту же тему *на своем языке*. Я должен восходить к истокам той реки, к бурному устью которой я пришел со стороны.

Когда я заговорил о разрыве между Россией и интеллигенцией, более всего поразил меня удивительный оптимизм большинства возражений: до того удивительный, что приходит в голову, не скрывается ли за ним самый отчаянный пессимизм? Говорил я о смерти, мне отвечали, что болезнь излечима. Вспоминались слова умирающего Ивана Ильича у Толстого: «Дело не в блуждающей почке, а в жизни и смерти». Я говорил о расколе, мне говорили, что нет раскола, да и нечему раскалываться. Я говорил о том, что мы любим и ненавидим вместе далекую от нас Россию — набегающую гоголевскую тройку; мне отвечали: «Мы сами — Россия».

Страшно слышать: «Болезнь излечима, болезни нет, мы сами — все можем». Когда ступишь ногой на муравейник, муравьи начинают немедленно восстанавливать разрушенное; через несколько часов им кажется, что никто не разрушал их благополучия. Они — в своей вечной работе, в своем чувстве всепоправимости, в ощущении вечного прогресса,— как во сне. В таком же сне — бабочка, танцующая у пламени свечи. В том же предсмертном сне можно завести веселый хоровод вокруг кратера вулкана. Работают, поют, ведут мировые хороводы — во сне, в самозабвении, во хмелю.

Такой же великий сон и разымчивый хмель — сон и хмель бесконечной культуры. Говоря термином Ницше — «аполлинический сон». Всякий сон характеризуется тем, что все происходит в нем по каким-то чуть-чуть измененным, нездешним, неземным, нелюдским законам. Например, по муравьиным законам. Солнце восходит, и солнце заходит, идет гроза, уходит гроза,— а муравейник растет. Можно увидать себя во сне муравьем; строю, строю муравейник, лезу за хвоей на тонкую елку, ветер покачнул елку,— я падаю на землю, но немедленно начинаю взбираться опять. И так без конца, без конца. И наконец — проснуться и обрадоваться, что ты не муравей, а человек, что у тебя есть свободная воля.

Цвет интеллигенции, цвет культуры пребывает в вечном аполлиническом сне, или — в муравьином сне.

Это — бесконечное и упорное строительство, с пеной у рта, с падениями. Один сорвался — лезет другой, другой сорвался — лезет третий. И муравейник растет. Завоевана земля и недра земли, море и дно морское, завоеван воздух, который завтра весь будет исчерчен аэропланами.

И вдруг нога лесного зверя, который десять лет ходил на водопой мимо муравейника, ступает в самую середину его. Вдруг, в минуту истории, когда Толстой пишет «Войну и мир», Менделеев открывает периодическую систему элементов, когда в недрах земли поет руда, покорная человеческой кирке, когда железнодорожные поезда пожирают пространство во всех направлениях, когда император германский надменно обнимает «чудотворного строителя», благодетеля человечества, завоевателя воздуха,— в этот самый момент отклоняется в обсерватории стрелка сейсмографа.

Еще неизвестно, где произошло событие, какое событие. Через день телеграф приносит известие, что уже не существуют Калабрия и Мессина — двадцать три города, сотни деревень и сотни тысяч людей. Нахлынувший океан и проливной дождь затопили все, чего не поглотила земля и не выжег огонь. Мы знаем, что́ значат благоуханные имена Калабрии и Сицилии, но только молчим и бледнеем, зная, что если исчезли на земле древние Харибда и Скилла, то впереди, в сердце нашем и в сердце нашей земли — нас ждет еще более страшная Харибда и Скилла. Что можем мы, пребывающие в аполлиническом, в муравьином сне? Мы можем только облекаться в траур, праздновать свою печаль перед лицом катастрофы; броненосец приспускает флаг до половины флагштока,— как бы в знак того, что флаг спущен в самом сердце нашем.

Перед лицом разбушевавшейся стихии приспущен надменный флаг культуры.

Да, перед событиями в Сицилии и Калабрии мы только и можем, что торжественно приспустить флаг. Ведь отклонилась только стрелка сейсмографа. Ученые сказали только, что югу Италии и впредь угрожают землетрясения; что там еще не отвердела земная кора. А уверены ли мы в том, что довольно «отвердела кора» над другой, такой же страшной, не подземной, а земной стихией — стихией народной?

Мы делаем все, что можем. Король воротился с охоты, папа отменил аудиенцию. Все аккредитованные при

итальянском дворе послы выразили соболезнование, военные суда спустили флаги. Судно, отправленное на розыски города, не нашло места, где он был. Русские матросы — «popolo d'eroi» *— являют чудеса самоотвержения, копаясь в миазмах заразы, в которые в сорок секунд превратились человеческое мясо и морской ил. Ползут поезда, нагруженные мертвецами, архиепископ носит мощи св. Агаты, смирительницы подземных сил. Телеграф стучит по всей Европе; а у нас не хватает извести, чтобы засыпать бывшую Мессину. Вульгарные слова газетных телеграмм приобретают силу древних итальянских хроник; а из Этны вырываются столбы желтого дыма. Сицилия продолжает содрогаться, и нам не усмирить ее дрожь.

Неужели *этим* фактам нужно противопоставлять оптимизм? И неужели нужно быть пессимистом или человеком суеверным, чтобы указывать на то, что флаг культуры может быть всегда приспущен, если приближается гроза?

Не раз уже сотрясала землю подземная лихорадка, и не раз уже мы праздновали свою немощь перед мором, трусом, гладом и мятежом. Какая же страшная *мстительность* должна была за столетия накопиться в нас? Человеческая культура становится все более железной, все более машинной; все более походит она на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть стихии: растет наука, чтобы поработить землю; растет искусство — крылатая мечта — таинственный аэроплан, чтобы улететь от земли; растет промышленность, чтобы люди могли расстаться с землею.

Всякий деятель культуры — демон, проклинающий землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее. Сердце сторонника прогресса дышит черною местью на землю, на стихию, все еще не покрытую достаточно черствой корой; местью за все ее трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую, тягостную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, отборные интеллигенты — с пеной у рта строят машины, двигают вперед науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь. И только иногда, просыпаясь, озираясь кругом себя,— они ви-

* Народ героев (*ит.*).

дят ту же землю,— проклятую, до времени спокойную,— и смотрят на нее как на какое-то театральное представление, как на нелепую, но увлекательную сказку.

Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из нее,— «стихийные люди». Они спокойны, как она, до времени, и деятельность их, до времени, подобна легким, предупреждающим подземным толчкам. Они знают, что «всему свое время и время всякой вещи под небом; время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить» (Экклезиаст).

Какой-то земной промысел им нужней и родней промышленности и культуры.

Они тоже пребывают во сне. Но их сон непохож на наши сны, так же, как поля России непохожи на блистательную суетню Невского проспекта. Мы видим во сне и мечтаем наяву, как улетим от земли на машине, как с помощью радия исследуем недра земного и своего тела, как достигнем северного полюса и последним синтетическим усилием ума подчиним вселенную единому верховному закону.

Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу ее, о монастырях, где стоит статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что, когда ветер ночью клонит рожь,— это «Она мчится по ржи», о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда,— обломки иностранных кораблей, потому что пруд этот — «отдушина океана». Земля с ними, и они с землей, их не различить на ее лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик — живой. Только все на этой равнине еще спит, а когда двинется,— все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощенные Богородицы, пойдут с холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдет вся земля.

Я хочу привести два письма, большой, по моему мнению, ценности. Одно — письмо крестьянина, рисующее настроение одной из северных губерний; другое — письмо сектанта, адресованное Д. С. Мережковскому.

«Только два-три искренних, освященных кровью сло-

ва революционеров,— пишет крестьянин,— неведомыми, неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так, например: «земля Божья», «вся земля есть достояние всего народа»,— великое, неисповедимое слово... «все будет, да не скоро»,— скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое «все» — с бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет «греха», что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничтожено бременем вечного труда.

Наша губерния, как я сказал, находится в особых условиях. Земли у нас много, лесов — тоже достаточно. Аграрно, если можно так выразиться, мы довольны...

Наружно вид нашей губернии крайне мирный, пьяный по праздникам и голодный по будням. Пьянство растет не по дням, а по часам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казенки процветают, яко храмы, а хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова... Вообще мы живем, как под тучей — вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы земли...».

А вот отрывки из письма сектанта:

«Как известно, нас называют рационалистами. Находятся такие курьезные историки, которые ведут нашу родословную чуть ли не от самого Лютера... Не верю я им...

Русский народ недаром слывет самым одухотворенным...

Если внимательно всмотреться в наше сектантство (автор письма говорит обо всех сектантах, даже о духоборах), то придется развести руками и согласиться, что мы никогда не были рационалистами, а были и суть — *мистики* самой чистой воды.

Мистики мы особого рода: на русский лад. Мы действительно люди земли, ибо веруем, что Тысячелетнее Царствие наше будет не за гробом, не на небе, а на земле...

Все наши воздыхания можно смело свести на краткую молитву: «Да приидет Царствие Твое, как на небе, так и на земле».

Немногие подозревают эту нашу грядущую Валгаллу — Сион.

Скажу вам еще, что не раз в наших деревнях подымались ложные тревоги. Народ бросал все и бежал в Сион. Бросали посевы, дом, родных и забирали только скот с собой...

Наши сектанты мне представляются тоже революционерами, но только их программа писалась под диктовку Неведомой Силы».

Несмотря на реакцию, на отсутствие религиозного подъема в современном сектантстве,— «вся наша масса представляет теперь застывший поток лавы — нужно пробить верхний, зачерепевший слой, чтобы вырвалась наружу сжатая огненная сила...»

Так вот: с одной стороны — народ православный, убаюканный казенкой, с водкой в церковных подвалах, с пьяными попами. С другой — этот «зачерепевший слой лавы» над жерлом вулкана.

Эти — «пеньем сладкозвучным сердца погибших привлекают». Они поют:

Ты любовь, ты любовь,
Ты любовь святая,
От начала ты гонима,
Кровью политая.

Те поют другие песни:

У нас ножики литые,
Гири кованые,
Мы ребята холостые,
Практикованные...
Пусть нас жарят и калят,
Размазуриков-ребят —
Мы начальству не уважим,
Лучше сядем в каземат...
Ах ты, книжка-складенец,
В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя немножко...

В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поет про «литые ножики», и те, кто поет про «святую любовь»,— *не продадут друг друга*, потому что — стихия с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, «земля Божья», «земля — достояние всего народа».

Распалилась месть Культуры, которая вздыбилась «стальной щетиною» штыков и машин. Это — только знак того, что распалилась и другая месть — месть стихийная и земная. Между двух костров распалившейся мести, между двух станов мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под «очерепевшей лавы»? Такой ли, как тот, который опустошил Калабрию, или это — очистительный огонь?

Так или иначе — мы переживаем страшный кризис.

Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но *в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа.* Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы.

Декабрь 1908

Дитя Гоголя

Если бы сейчас среди нас жил Гоголь, мы относились бы к нему так же, как большинство его современников: с жутью, с беспокойством и, вероятно, с неприязнью: непобедимой внутренней тревогой заражает этот, единственный в своем роде, человек: угрюмый, востроносый, с пронзительными глазами, больной и мнительный.

Источник этой тревоги — творческая мука, которою была жизнь Гоголя. Отрекшийся от прелести мира и от женской любви, человек этот сам, как женщина, носил под сердцем плод: существо, мрачно сосредоточенное и безучастное ко всему, кроме одного; не существо, не человек почти, а как бы один обнаженный слух, отверстый лишь для того, чтобы слышать медленные движения, потягивания ребенка.

Едва ли встреча с Гоголем могла быть милой, приятельской встречей: в нем можно было легко почувствовать старого врага; душа его гляделась в другую душу мутными очами старого мира; отшатнуться от него было легко.

Только способный к восприятию нового в высшей мере мог различить в нем новый, нерожденный мир, который надлежало Гоголю явить людям.

Заглянувшему в новый мир Гоголя, верно, надолго «становился как-то скучным разумный возраст человека».

Когда Гоголь говорил в «Портрете» о какой-то черте, до которой художника «доводит высшее познание искусства и, через которую шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека, вырывает что-то жи-

вое из жизни»; когда Гоголь мучился, бессильный создать желаемое, и годами переписывал свои творения, безжалостно уничтожая гениальное, бросая на середине то, что для нас неоцененно и лишь для его художнической воли сомнительно; когда Гоголь мечтал о «великих трудах» и звал «пободрствовать своего гения»; когда он слушал все одну, отдаленную и разрастающуюся, музыку души своей — бубенцы тройки и вопли скрипок на фоне однообразно звенящей струны (об этой музыке — и в «Портрете», и в «Сорочинской ярмарке», и в «Записках сумасшедшего», и в «Мертвых душах»); когда, замышляя какую-то несозданную драму, мечтал Гоголь «осветить ее всю минувшим... обвить разгулом, казачком и всем раздольем воли... и в поток речей неугасимой страсти, и в беспечность забубенных веков»; — тогда уже знал Гоголь сквозь все тревоги, что радость и раздирающая мука творчества суждены ему неизбежно.

Так женщина знает с неизбежностью, что ребенок родится, но что она будет кричать от боли, дорогой ценою платя за радость рождения нового существа.

Перед неизбежностью родов, перед появлением нового существа содрогался Гоголь; как у русалки, чернела в его душе «черная точка». Он знал, что сам он — ничто, сравнительно со своим творением; что он — только несчастный сумасшедший рядом с тем величием, которое ему снится.— «Спасите меня! Возьмите меня!» — кричит замученный Поприщин; это крик самого Гоголя, которого схватила творческая мука.

«Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего! Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; *струна звенит в тумане... вон и русские избы виднеются. Дом ли то мой синеет вдали?* Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!»

Так влечет к себе Гоголя новая родина, синяя даль, в бреду рождения снящаяся Россия.

«Русь! Русь!.. Какая непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается неумолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в

этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? — Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?»

Чего она хочет? — *Родиться, быть*. Какая связь между ним и ею? — Связь творца с творением, матери с ребенком.

Та самая Русь, о которой кричали и пели кругом славянофилы, как корибанты, заглушая крики матери бога; она-то сверкнула Гоголю, как ослепительное видение, в кратком творческом сне. Она далась ему в красоте и музыке, в свисте ветра и в полете бешеной тройки. «У, какая сверкающая, чудная, *незнакомая земле даль*!.. Русь! куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух».

Что изменило ослепительное видение Гоголя в действительной жизни? Ничего. *Здесь* — осталась прежняя, хомяковская, «недостойная избранья» Россия:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена.

Там сверкнуло чудесное видение. Как перед весною разрываются иногда влажные тучи, открывая особенно крупные, точно новорожденные и омытые звезды, так разорвалась перед Гоголем непроницаемая завеса дней его мученической жизни; а с нею вместе — завеса вековых российских буден; открылась, омытая весенней влагой, синяя бездна, «незнакомая земле даль», будущая Россия. Точь-в-точь как в «Страшной мести»: «За Киевом показалось неслыханное чудо: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская». Еще дальше — Карпаты, «с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там».

Такая Россия явилась только в красоте, как в сказке, зримая духовным очам. Вслед за Гоголем снится она и нам. Он же, первый приподнявший завесу, за дерзкое свое прозрение изведал все унижение тоски и серую всероссийскую мразь; не выдержав «очерствения жизни», глухой «могилы повсюду», Гоголь сломился. Перед смертью он кричал что-то о «лестнице»; до того вещественно было у него представление о какой-то спасительной лестнице, выбрасываемой из небесного окна, по

которой можно «взлететь» в синюю бездну, виденную когда-то в творческом сне.

В полете на воссоединение с целым, в музыке мирового оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок — родилось дитя Гоголя. Этого ребенка назвал он Россией. Она глядит на нас из синей бездны будущего и зовет туда. Во что она вырастет,— не знаем; как назовем ее,— не знаем.

Чем безлюдней, чем зеленее кладбище, тем громче песня соловья в березовых ветвях над могилами. Все кончается, только музыка не умирает. «Если же и музыка нас покинет, что будет тогда с нашим миром?» — спрашивал «украинский соловей» Гоголь. Нет, музыка нас не покинет.

Март 1909

⟨Ответ Мережковскому⟩

В своем фельетоне «Религия и балаган», посвященном критике статей Вяч. И. Иванова и моей о символизме, Д. С. Мережковский, между прочим, уличал нас в сатанинской гордости и цитировал мою фразу: ⟨«Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами. И сама Россия в лучах этой новой (вовсе не некрасовской, но лишь традицией связанной с Некрасовым) гражданственности оказалась нашей собственной душой».⟩

Ужасно презрительное и предвзятое отношение к делу. Впрочем, Мережковский не виноват в том, что его личная тема мешает ему отнестись сколько-нибудь внимательно к чьей бы то ни было чужой теме; виноват он только в том, что почел необходимым обругать то, до чего ему не было никакого дела: символическую школу поэзии (к которой сам он, однако, принадлежит); да и в этом он, пожалуй, не виноват, потому что в тяжелых условиях русской культуры лежит, по-видимому, до сих пор эта непримиримая вражда современников между собою; всякий только и смотрит и ищет, как бы ему кого-нибудь обругать, притом,— чем ближе человек, тем язвительней и беспощадней. Кто знает, может быть, в те времена, когда взаимные отношения людей в

России станут, что называется, вполне культурными, кто-нибудь вспомнит старое и вздохнет о нем, как о золотом детстве.

Я совсем не хочу спорить с Мережковским, но начал с него потому, что многие вслед за ним, пожалуй, считают гордым и самоуверенным утверждение: «как Россия, так и мы».

На самом же деле, что особенно самоуверенного в том, что писатель, верующий в свое призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями, сораспинается с нею, и в те минуты, когда ее измученное тело хоть на минуту перестают пытать, чувствует себя отдыхающим вместе с нею?

Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотней представляешь ее себе, как живой организм; мы имеем на это право, потому что мы, писатели, должны смотреть жизни как можно пристальней в глаза; мы не ученые, мы другими методами, чем они, систематизируем явления и не призваны их схематизировать. Мы также не государственные люди и свободны от тягостной обязанности накидывать крепкую стальную сеть юридических схем на разгоряченного и рвущегося из правовых пут зверя. Мы люди, люди по преимуществу, и значит — прежде всего обязаны уловить дыхание жизни, то есть увидать лицо и тело, почувствовать, как живет и дышит то существо, которого присутствие мы слышим около себя.

Родина — это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное, ласковое, беспомощное, чем отдельный человек; человек — маленькая монада, состоящая из веселых стальных мышц телесных и душевных, сам себе хозяин в этом мире, когда здоров и здрав, пойдет, куда захочет, и сделает, что пожелает, ни перед кем, кроме Бога и себя, не отвечает он за свои поступки. Так пел человека еще Софокл, таков он всегда, вечно юный.

Родина — древнее, бесконечно древнее существо, большое, потому неповоротливое, и самому ему не счесть никогда своих сил, своих мышц, своих возможностей, так они рассеяны по матушке-земле. Родине суждено быть некогда покинутой, как матери, когда сын ее, человек, вырастет до звезд и найдет себе невесту. Эту обреченность на покинутость мы всегда видим в боль-

ших материнских глазах родины, всегда печальных, даже тогда, когда она отдыхает и тихо радуется. Не родина оставит человека, а человек родину. Мы еще дети и не знаем сроков, только читаем их по звездам; но, однако, читаем уже, что близко время, когда границы сотрутся и родиной станет вся земля, а потом и не одна земля, а бесконечная вселенная, только мало крыльев из полотна и стали, некогда крылья Духа понесут нас в объятия Вечности. Время близко, потому что мы читаем о нем в звездах, но оно бесконечно далеко для нашего младенческого духа, так далеко, как звезды от авиатора, берущего мировой рекорд высоты. И земная родина еще поит нас и кормит у груди, мы ей обязаны нашими силами и вдохновениями и радостями.

Родина подобна своему сыну — человеку. Когда она здорова и отдыхает, все ее тело становится таким же чувствительным, как здоровое человеческое тело; нет ни одного пункта, подверженного анестезии, все дышит, видит, на каждый удар или укол она поднимает гневную голову, под каждой лаской становится нежной и страстной. Органы чувств ее многообразны, диапазон их очень велик. Кто же играет роль органов чувств этого подобного и милого нам существа?

Роль этих органов играют, должны играть все люди. Мы же, писатели, свободные от всех обязанностей, кроме человеческих, должны играть роль тончайших и главнейших органов ее чувств. Мы — не слепые ее инстинкты, но ее сердечные боли, ее думы и мысли, ее волевые импульсы.

Так ли это на самом деле есть, как должно быть?

Я думаю, что это, как было прежде, так и есть теперь. Если и есть неблагополучие в этом вопросе, то неблагополучие поправимое. Ничто не погибло, все поправимо, потому что не погибла она и не погибли мы.

Неблагополучие было в том, что мы были слишком слабы, чтобы руководить тяжко страдающим существом, и во всем уподобились ему. Но поистине нечеловеческие силы надо было иметь, чтобы руководить существом, каким была вздернутая на дыбы, разгневанная и рвущая путы Россия начала нашего века.

Многие недоумевали и негодовали на мое описание «лиловых туманов» и были, пожалуй, правы, потому что это самое можно было сказать по-другому и проще. Тогда я не хотел говорить иначе, потому что не видел

впереди ничего, кроме вопроса — «гибель или нет», и самому себе не хотел уяснить. Когда чувствуешь присутствие нездешнего существа, но знаешь, что все равно не сумеешь понять, кто оно и откуда,— не надо разоблачать его лица.

Россия была больна и безумна, и мы, ее мысли и чувства, вместе с нею. Была минута, когда все чувства нашей родины превратились в сплошной, безобразный крик, похожий на крик умирающего от мучительной болезни. Тело местами не чувствует уже ничего, местами — разрывается от боли, и все это многообразие выражается однообразным, ужасным криком. Этим криком был одно время Л. Андреев, но, к сожалению, он продолжал кричать тогда, когда уже ничто кругом не кричало, он стал пародией своей собственной некогда подлинной муки, являя неумный и смешной образ барабанщика, который, сам себя оглушая, продолжает барабанить, когда оркестр, которому он вторил, замолк.

Ноябрь 1910

Пламень *

Книга, озаглавленная «Пламень», не может быть отнесена ни к какому роду литературных произведений; это — ни «роман», ни «повесть», ни «бытовые очерки», хотя есть признаки и того, и другого, и третьего; книга не только литературно бесформенна, она бесформенна во всех отношениях.

И, однако, ее нельзя обойти молчанием. «Пламень» — не «проба пера» «обещающего автора»; он не принадлежит к «исканиям» более или менее «мятежных» молодых людей, не могущих решить определенно, писать им стихи и романы или поступить в департамент; автор «Пламени» — *никто*, книга его — не книга вовсе; писана она чернилами и печатана типографской краской, но в этом есть условность; кажется, автор прошел много путей для исполнения возложенной на него обязанности, обязанности не личной, а родовой, где-то в глубине веков теряющейся, и теперь выбрал путь «книжный». Если же и этот путь не приведет к

* По поводу книги Пимена Карпова «Пламень» — из жизни и веры хлеборобов. Спб., 1913.

цели, он будет искать других путей; если не найдет их он, то найдет их следующий за ним, может быть еще не родившийся, тот, кто будет звеном того же от начала Руси и до конца ее тянущегося рода «хлеборобов». Вот в чем сила «Пламени», и вот отчего молчать о нем не приходится.

Роду хлеборобов, которые исполняют этот завет, не будет конца, пока не разрешится самое сокровенное и самое страшное дело в России.

Поэтому книга Карпова посвящена «пресветлому духу отца, страстотерпца и мученика, сожженного на костре жизни»; плохая аллегория, суконный язык и... святая правда.

Карпов не видит в русской жизни ничего, кроме рек крови и моря огня: страсть, насилия, убийства, казни, все виды мучительств душевных и телесных — это «фон» повести; на таком фоне борются два начала: начало тьмы, сам дьявол, помещик, «камергер-деторастлитель» Гедеонов, который сам себя называет «железным кольцом государства»; и начало света, хлыст Крутогоров, который сквозь мрак и страдание идет к Светлому Граду. Все остальные лица — мужики, хлысты, «злыдота», колдунья, светлая девушка, монахи, родственники камергера и пр.— такие же «олицетворенные начала»: не лица, а отпрыски двух родов, светлого и проклятого. Карпов не может видеть иначе: кровь и огонь только и стоят у него в глазах.

Книга Карпова взбудоражила критиков, которые писали о ней очень много: А. Столыпин — в «Новом времени», Ясинский — в «Биржевке», Бонч-Бруевич — в «Киевской мысли», Патрашкин — в «Дне», Философов — в «Речи». Вспомнили отвратительный (со всех сторон) процесс Бейлиса и лишний раз сцепились друг с другом по поводу «легенды об употреблении крови», ибо Пимен Карпов «показывает, что в русских монастырях перед Светлым Воскресеньем в подпольях служат кровавые мессы сатане и приобщаются человеческой кровью».

Рядом с верными мыслями журналисты опять и опять проявляют такое ужасное неверие, такое незнание народа, такую брезгливость и такой цинизм, что за интеллигенцию русскую опять становится страшно. Разумеется, рекорд цинизма побивает, как всегда, «Новое время», десятки лет успешно развращавшее русскую молодежь. Г-н Столыпин говорит: «Книга Пи-

мена Карпова потому-то и производит такое удручающее впечатление, что свидетельствует о возможности подобных душевных состояний в среде русского народа, свидетельствует о том, что такие драгоценные народные качества, как несокрушимая вера, как безграничная способность претерпевать муки за ценности высшего порядка, то есть за убеждения и правду, как жажда духовного совершенства и мистической высоты, что такие качества могут вырождаться в мерзость, которой нет ни имени, ни оправдания».

Эти грязные и ханжеские слова неинтеллигентной газеты я привожу не потому, что они сами по себе интересны, а потому, что слишком мало разницы в отношении к П. Карпову проявляет настоящая интеллигенция.

Критики «Пламени» твердят на все лады о том, что это — «бред»; одни — с брезгливостью, другие — с похвалой; слово, во всяком случае, считается найденным. Они правы, если слово «бред» что-нибудь определяет. Ничего нет легче, чем взять на себя «литературную», «медицинскую» или «психологическую» экспертизу в деле Карпова; признать, что это «уголовщина»; но ведь не всякие формы бреда можно раскрыть при помощи уголовного процесса.

Бред Карпова — не тот, который у больных проходит от леченья, у декадентов — от возраста, у пьяниц — оттого, что они кладут зарок; играя словами, можно сказать, что это — «непроходимый бред», неизлечимый. Один из рецензентов полагает даже, что бред автора будет увенчан и над его головой зашумят лавры.

Лавры над этой несчастной головой — какая горькая насмешка!

Критики говорят еще, по поводу Карпова, об Андрее Белом. Один — что Карпов подражает, другой — что язык Карпова гораздо сильнее языка А. Белого. Подражание А. Белому одинаково считается при этом непозволительным и неприличным.

Верно, что Карпов «подражает» А. Белому; чтобы убедиться в этом, стоит сличить любую страницу «Пламени» с любой страницей «Серебряного голубя». Что же тут неестественного? Именно у А. Белого найдет Карпов ответ на многие свои муки: найдет в той музыке, в том ладе, которыми проникнуты глубоко русские творения А. Белого. Дело, конечно, не в технике, которой

владеет А. Белый и до которой нет дела П. Карпову. Есть трогательное в том, что «отверженец» Карпов со своим делом, которое всем не ко двору, ищет поддержки в музыке самого отверженного современного писателя, того писателя, чьих непривычных для слуха речей о России никто еще не слыхал как следует, но которые рано или поздно услышаны будут.

Литературные сравнения, наблюдения над стилем или языком, отыскиванье характеров в «Пламени» — задача неблагодарная. Были у нас книги, подобные «Пламени»; например, «Антихрист» В. Свенцицкого или «Записки Анны» Н. Санжарь. От них, как от книг, не сохранилось ничего, что можно оформить и поставить на полку; сохранилось только похожее на воспоминание о физической боли, на сильное и мимолетное впечатление, с которым не расстанешься.

Так и из «Пламени» нам придется, рады мы или не рады, запомнить кое-что о России. Пусть это приложится к «познанию России»: лишний раз испугаемся, вспоминая, что наш бунт, так же, как был, может опять быть «бессмысленным и беспощадным» (Пушкин); что были в России «кровь, топор и красный петух», а теперь стала «книга»; а потом опять будет кровь, топор и красный петух.

Не все можно предугадать и предусмотреть. Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной.

Октябрь 1913



〈«Может ли интеллигенция работать с большевиками?»〉

(Ответ на анкету)

Может ли интеллигенция работать с большевиками? — Может и обязана.

Этой теме я посвящу на днях ряд фельетонов под заглавием «Россия и интеллигенция».

Я политически безграмотен и не берусь судить о тактике соглашения между интеллигенцией и большеви-

ками. Но по внутреннему побуждению это будет соглашение музыкальное.

Вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков.

Интеллигенция всегда была революционна. Декреты большевиков — это символы интеллигенции. Брошенные лозунги, требующие разработки. Земля божия... разве это не символ передовой интеллигенции? Правда, большевики не произносят слова «божья», они больше чертыхаются, но ведь из песни слова не выкинешь.

Озлобление интеллигенции против большевиков на поверхности. Оно, кажется, уже проходит. Человек думает иначе, чем высказывается. Наступает примиренность, примиренность музыкальная...

14 января 1918

Интеллигенция и Революция

«Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память России», слышу я вокруг себя.

Но передо мной — Россия: та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели; тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой.

Россия — буря. Демократия приходит «опоясанная бурей», говорит Карлейль.

России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой.

В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России, тоска, ужас, покаяние, надежда.

То были времена, когда царская власть в последний раз достигла, чего хотела: Витте и Дурново скрутили революцию веревкой; Столыпин крепко обмотал эту веревку о свою нервную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не стало этого последнего дворянина, власть, по выражению одного весьма сановного лица, перешла к «поденщикам»; тогда веревка ослабла и без труда отвалилась сама.

Все это продолжалось немного лет; но немногие

годы легли на плечи как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь.

Распутин — все, Распутин — всюду; Азефы разоблаченные и неразоблаченные; и, наконец, годы европейской бойни; казалось минуту, что она очистит воздух; казалось нам, людям чрезмерно впечатлительным; на самом деле она оказалась достойным венцом той лжи, грязи и мерзости, в которых купалась наша родина.

Что такое война?

Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные снегом; на западе — унылый немецкий прожектор — шарит — из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбегаются дымки: белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы — нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных; бомба упадет иногда — на кладбище, иногда — на стадо скотов, иногда — на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это — тысячи народных рублей в болоте.

Люди глазеют на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда уже успели перетащить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.

Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт».

Люди — крошечные, земля — громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что «великая европейская война» так убога.

Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то *безделье*, та *скука*, та *пошлятина*; имя обеим — «великая война», «отечественная война», «война за освобождение угнетенных народностей», или

как еще? Нет, под этим знаком — никого не освободишь.

Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья, люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество, и в частности — российские патриоты.

Поток предчувствий, прошумевший над иными из нас между двух революций, также ослабел, заглох, ушел где-то в землю. Думаю, не я один испытывал чувство болезни и тоски в годы 1909—1916. Теперь, когда весь европейский воздух изменен русской революцией, начавшейся «бескровной идиллией» февральских дней и растущей безостановочно и грозно, кажется иногда, будто и не было тех недавних, таких древних и далеких годов; а поток, ушедший в землю, протекавший бесшумно в глубине и тьме,— вот он опять шумит, и в шуме его — новая музыка.

Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы... в оркестре. Но, если мы их *действительно любили*, а не только щекотали свои нервы в модном театральном зале после обеда, мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового оркестра; и, слушая, понимать, что это — о том же, все о том же.

Музыка ведь не игрушка; а та *бестия*, которая полагала, что музыка — игрушка,— и веди себя теперь как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!

Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую немного равных себе по величию. Вспоминаются слова Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир,
Он их высоких зрелищ зритель...

Не дело художника — смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься о том, исполнится оно или нет. У художника — все бытовое, житейское, быстро сменяющееся — найдет свое выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто уцелеет, кого не «изомнет с налету вихорь шумный», окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ. Овладеть ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион;

он, «выброшенный волною на берег», будет петь «прежние гимны» и «ризу влажную свою» сушить «на солнце, под скалою».

Дело художника, *обязанность* художника — видеть то, *что* задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух».

Что же задумано?

Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.

Когда *такие* замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное — называется мятежом, бунтом, переворотом. Но *это* называется *революцией.*

Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — *о великом.*

Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет,— гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны — теплый ветер и нежный запах апельсинных рощ; увлажнит спаленные солнцем степи юга — прохладным северным дождем.

«Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать.

Русские художники имели достаточно «предчувствий и предвестий» для того, чтобы ждать от России именно таких заданий. Они никогда не сомневались в том, что Россия — большой корабль, которому суждено боль-

шое плаванье. Они, как и народная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчетливостью, умеренностью, аккуратностью: «все, всё, что гибелью грозит», таило для них «неизъяснимы наслажденья» (Пушкин). Чувство неблагополучия, незнание о завтрашнем дне, сопровождало их повсюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких мечтах, было *все* или *ничего*. Они знали, что только о прекрасном стоит думать, хотя «прекрасное трудно», как учил Платон.

Великие художники русские — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой — погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянье, часто — злобе. Но они знали, что, рано или поздно, *все будет по-новому*, потому что *жизнь прекрасна*.

Жизнь прекрасна. Зачем жить тому народу или тому человеку, который втайне разуверился во всем? Который разочаровался в жизни, живет у нее «на подаянии», «из милости»? Который думает, что жить «не особенно плохо, но и не очень хорошо», ибо «все идет своим путем»: путем... эволюционным; люди же так вообще плохи и несовершенны, что дай им только бог прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов, условных отношений...

Так думать не стоит; а тому, кто так думает, ведь и жить не стоит. Умереть легко: умереть можно безболезненно; сейчас в России — как никогда: можно даже без попа; поп не обидит отпевальной взяткой...

Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь *отдаст* нам это, ибо она — *прекрасна*.

Смертельная усталость сменяется животной бодростью. После крепкого сна приходят свежие, умытые сном мысли; среди бела дня они могут показаться *дурацкими*, эти мысли. Лжет белый день.

Надо же почуять, откуда плывут такие мысли. Надо вот сейчас понять, что народ русский, как Иванушка-дурачок, только что с кровати схватился и что в его мыслях, для старших братьев если не враждебных, то дурацких, есть великая творческая сила.

Почему «учредилка»? (Между прочим, это вовсе не так обидно. У крестьян есть обычное — «потребилка».) — Потому, что мы сами рядили о «выборных агитациях», сами судили чиновников за «злоупотребления» при этих агитациях; потому, что самые цивилизованные страны (Америка, Франция) сейчас захлебнулись в выборном мошенничестве, выборном взяточничестве.

Потому, что (я по-дурацки) самому все хочется «проконтролировать», сам все хочу, не желаю, чтоб меня «представляли» (в этом — великая жизненная сила: сила Фомы Неверного); потому еще, что некогда в многоколонном зале раздастся трубный голос весьма сановного лица: «Законопроект такой-то в тридцать девятом чтении отклоняется»; в этом трубном голосе будет такой тупой, такой страшный сон, такой громовой зевок «организованной общественности», такой ужас без имени, что опять и опять наиболее чуткие, наиболее музыкальные из нас (русские, французы, немцы — все одинаково) бросятся в «индивидуализм», в «бегство от общественности», в глухую и одинокую ночь. Потому, наконец, что бог один ведает, как выбирала, кого выбирала, куда выбирала неграмотная Россия сегодняшнего дня; Россия, которой нельзя втолковать, что Учредительное Собрание — не царь.

Почему «долой суды»? — Потому, что есть томы «уложений» и томы «разъяснений», потому, что судья-барин и «аблакат»-барин толкуют промеж себя о «деликте»; происходит «судоговорение»; над несчастной головой жулика оно происходит. Жулик — он жулик и есть; уж согрешил, уж потерял душу; осталась одна злоба или одни покаянные слезы: либо удрать, либо на каторгу; только бы с глаз долой. Чего же еще над ним, напакостившим, измываться?

Либерального «аблаката» описал Достоевский; Достоевского при жизни травили, а после смерти назвали «певцом униженных и оскорбленных». Описал еще то, о чем я говорю, Толстой. А кто обносил решеточкой могилу этого чудака? Кто теперь голосит о том, как бы над этой могилой не «надругались»? А почем вы знаете, может быть, рад был бы Лев Николаевич, если б на его могиле поплевали и побросали окурков? Плевки — Божьи, а решоточка — не особенно.

Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью.

Всё так.

Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие».

Не беспокойтесь. Неужели может пропасть хоть крупинка истинно-ценного? Мало мы любили, если трусим за любимое. «Совершенная любовь изгоняет страх». Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, потеряв их, народ не все потеряет. Дворец разрушаемый — не дворец. Кремль, стираемый с лица земли,— не кремль. Царь, сам свалившийся с престола,— не царь. Кремли у нас в сердце, цари — в голове. Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с головой.

Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? Что сотни обыкновенных жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так «бескровно» и так «безболезненно» и разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью, между «образованными» и «необразованными», между интеллигенцией и народом?

Не вас ли надо будить теперь от «векового сна»? Не вам ли надо крикнуть: «Noli tangere circulos meos» *? Ибо вы мало любили, а с вас много спрашивается, больше, чем с кого-нибудь. В вас не было этого хрустального звона, этой музыки любви, вы оскорбляли

* «Не тронь моих кругов» *(лат.)*.

художника — пусть художника,— но через него вы оскорбляли самую душу народную. Любовь творит чудеса, музыка завораживает зверей. А вы (все мы) жили без музыки и без любви. Лучше уж молчать сейчас, если нет музыки, не слышать музыки. Ибо все, кроме музыки, все, что без музыки, всякая «сухая материя» — сейчас только разбудит и озлит зверя. До человека без музыки сейчас достучаться нельзя.

А лучшие люди говорят: «Мы разочаровались в своем народе»; лучшие люди ехидничают, надмеваются, злобствуют, не видят вокруг ничего, кроме хамства и зверства (а человек — тут, рядом); лучшие люди говорят даже: «никакой революции и не было»; те, кто места себе не находил от ненависти к «царизму», готовы опять броситься в его объятия, только бы забыть то, что сейчас происходит; вчерашние «пораженцы» ломают руки над «германским засильем», вчерашние «интернационалисты» плачутся о «Святой Руси»; безбожники от рождения готовы ставить свечки, молясь об одолении врага внешнего и внутреннего.

Не знаю, что страшнее: красный петух и самосуды в одном стане или эта гнетущая немузыкальность — в другом?

Я обращаюсь ведь к «интеллигенции», а не к «буржуазии». Той никакая музыка, кроме фортепьян, не снилась. Для той все очень просто: «в ближайшем будущем наша возьмет», будет «порядок», и все — по-старому; гражданский долг заключается в том, чтобы беречь добро и шкуру; пролетарии — «мерзавцы»; слово «товарищ» — ругательное; свое уберег — и сутки прочь: можно и посмеяться над дураками, задумавшими всю Европу взбаламутить, потрясти брюхом, благо удалось урвать где-нибудь лишний кусок.

С этими не поспоришь, ибо дело их — бесспорное: брюшное дело. Но ведь это — «полупросвещенные» или совсем «непросвещенные» люди; слыхали они разве только о том, что нахрюкали им в семье и школе. Что нахрюкали, то и спрашивается:

Семья: «Слушайся папу и маму». «Прикапливай деньги к старости». «Учись, дочка, играть на рояли, скоро замуж выйдешь». «Не играй, сынок, с уличными мальчишками, чтобы не опорочить родителей и не изорвать пальто».

Низшая школа: «Слушайся наставников и почитай директора». «Ябедничай на скверных мальчишек». «По-

лучай лучшие отметки». «Будь первым учеником». «Будь услужлив и угодлив». «Паче всего — закон божий».

Средняя школа: «Пушкин — наша национальная гордость». «Пушкин обожал царя». «Люби царя и отечество». «Если не будете исповедоваться и причащаться, вызовут родителей и сбавят за поведение». «Замечай за товарищами, не читает ли кто запрещенных книг». «Хорошенькая горничная — гы».

Высшая школа: «Вы — соль земли». «Существование Бога доказать невозможно». «Человечество движется по пути прогресса, а Пушкин воспевал женские ножки». «Вам еще рано принимать участие в политической жизни». «Царю показывайте кукиш в кармане». «Заметьте, кто говорил на сходке».

Государственная служба: «Враг внутренний есть студент». «Бабенка недурна». «Я тебе покажу, как рассуждать». «Сегодня приедет его превосходительство, всем быть на местах». «Следите за Ивановым и доложите мне».

Что спрашивать с того, кто все это добросовестно слушал и кто всему этому поверил? Но ведь интеллигенты, кажется, «переоценили» все эти ценности? Им приходилось ведь слышать и другие слова? Ведь их просвещали наука, искусство и литература? Ведь они пили из источников не только загаженных, но также — из источников прозрачных и головокружительно бездонных, куда взглянуть опасно и где вода поет неслыханные для непосвященных песни?

У буржуа — почва под ногами определенная, как у свиньи — навоз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконе, царь на троне. Вытащи это — и все полетит вверх тормашками.

У интеллигента, как он всегда хвалился, такой почвы никогда не было. Его ценности невещественны. Его царя можно отнять только с головой вместе. Уменье, знанье, методы, навыки, таланты — имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи,— что же нам терять?

Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон.

Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастьем ехидства подкла-

дывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг — сухие полешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя),— бегать кругом и кричать: «Ах, ах, сгорим!»

Я не говорю о политических деятелях, которым «тактика» и «момент» не позволяют показывать души. Думаю, не так уж мало сейчас в России людей, у которых на душе весело, которые хмурятся по обязанности.

Я говорю о тех, кто политики не делает; о писателях, например (если они делают политику, то грешат против самих себя, потому что «за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь»: политики не сделают, а свой голос потеряют). Я думаю, что не только право, но и обязанность их состоит в том, чтобы быть нетактичными, «бестактными»: слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра.

Русской интеллигенции — точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо отмалчиваться на «дурацкие» вопросы? Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках?

Это — всякий лавочник умеет. Этим можно только озлобить человека и разбудить в нем зверя.

Как аукнется — так и откликнется. Если считаете всех жуликами, то одни жулики к вам и придут. На глазах — сотни жуликов, а за глазами — миллионы людей, пока «непросвещенных», пока «темных». Но просветятся они не от вас.

Среди них есть такие, которые сходят с ума от самосудов, не могут выдержать крови, которую пролили в темноте (своей); такие, которые бьют себя кулаками по несчастной голове: мы — глупые, мы понять не можем; а есть и такие, в которых еще спят творческие силы; они могут в будущем сказать такие слова, каких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная литература.

Надменное политиканство — великий грех. Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, невкусная «адогматическая догматика», приправленная снисходительной

душевностью. За душевностью — кровь. Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно.

А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки.

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию.

9 января 1918



Размышления о скудости нашего репертуара

1

Нас, русских, довольно часто и в некоторых отношениях правильно сравнивают с итальянцами. Один умный немец, историк культуры прошлого столетия, говорит об Италии начала XIX века: «Небольшое число вполне развитых писателей чувствовало унижение своей нации и не могло ничем противодействовать ему, потому что массы стояли слишком низко в нравственном отношении, чтобы поддерживать их».

Где тут бедным «массам» угнаться за нравственностью «вполне развитых» писателей! Им это никогда не удавалось, да и до сих пор не удается, что мы именно сейчас чувствуем, кажется, с достаточной ясностью — на собственной спине.

Однако «вполне развитые» итальянцы прошлого века определили собою движение карбонаров, выделили из своей среды Леопарди и Сильвио Пеллико, Гарибальди и Мадзини и создали тот десятилетиями длившийся прилив, который носит название «национального подъема» и привел к «национальному возрождению», давшему политические свободы и прочие культурные ценности.

«Литераторы,— говорит историк литературы,— играли в этом случае самую большую роль: как прежде своим поклонением чужому и чужеземным образцам они существенно содействовали гибели независимости и достоинства Италии, так впоследствии они считали

своей священной обязанностью искупить эту вину, возвышая сердца, пробуждая национальное чувство».

Результатом такого подъема было, в частности, как во всех странах, так и в Италии, образование «художественной среды». Между прочим, и итальянский театр получил обширный национальный репертуар — ряд авторов и произведений, счастливо совмещающих в себе литературные и сценические достоинства. Сюда относятся имена Никколини, Джакометти, Косса, Феррари, делл'Онгаро, Джакоза, Каррера, Траверси, Гаццолетти...

Словом, на почве древней, дикой и грозной Италии построилась новая: ручная и карманная Италия Кавуров и Викторов-Эммануилов; к ней с уважением прислушался весь цивилизованный мир; из ее культурной сокровищницы приходится черпать и нам, невзирая на окрики Маринетти, в сущности столь же ручного, как вся цивилизация, которой он окружен.

Итак, существует не только древняя, но и новая итальянская культура. Существует итальянское Возрождение не только XV, но и XIX века. Страна с честью искупила свои посленаполеоновские «национальные позоры». Правда, в Италии, как во всякой другой стране, существует *народ*; но мы пока еще мало слышали о нем; это ведь — «массы», все еще продолжающие «стоять на низкой нравственной ступени». У этих «масс» можно заимствовать великолепные «народные сюжеты» для литературы и театра; можно превосходно изображать их «угнетенное положение»; можно лечить их «социальные недуги» — по-домашнему, в пределах собственной страны; можно заигрывать с ними, как с дремлющим зверем, вытянувшим мягкую лапу, при помощи всех возможных политических режимов, на изменения и приспособления которых не поскупилось прошлое столетие; можно, наконец, признать, как признал тот самый умный немец, который находит, что итальянские народные массы «стоят слишком низко в нравственном отношении»,— что весь *«характер века определяется массами»*; а в связи с этим — «явления (века) поражают своей пестротой и причудливостью... Серьезные умы уже десятки лет замечают, что наше время похоже на сумерки... Основная черта современного общества состоит в разрозненности, в отсутствии всякого прочного единства. Во всех слоях общества мы замечаем необыкновенную тревожность, болезненное волнение и ис-

кание чего-то... Мы очень ясно и убедительно рассуждаем о своей гнили и порче, но не видим ни одного верного средства избавиться от них... Мы имеем полное право сказать о себе словами Паскаля — что человек бежит от самого себя...»

Удивительное дело: все страны света пережили в прошлом веке национальный подъем; у всех есть десятки крупных и славных имен; у всех есть сотни и тысячи культурных ценностей, доступных... всякому, кто сумеет ими воспользоваться; но «народные массы» «не умеют» ими пользоваться; и в создании этих ценностей они принимали только косвенное и слабое участие. Между тем «характер века определяется ими».

Что же это за загадочные «массы», которые жнут, где не сеяли, и собирают, где не расточали? — Corpus ibi agere non potest, ubi non est — тело не может действовать там, где его нет (в чем, впрочем, сомневался еще Карлейль)...

На этот вопрос мы получим ответ, когда проснется европейский зверь.

2

В России до сих пор никогда не было тех больших национальных движений, какие пережила Западная Европа.

Национальное чувство, когда оно у нас возникало или стремилось перерасти себя, принимало черты трагические, мистические, роковые, или — что было чаще — вырождалось в национализм.

Из этого положения могут быть сделаны два противоположных вывода: один из них — тот, что Россия — молодая и отсталая страна, которой суждено пойти по пути европейскому; сторонники этого вывода ждут национального возрождения в России.

Сторонники национального возрождения могут утешиться; талантливые и умные люди у нас были, есть и будут; известно, что у русской интеллигенции не хватало пока, главным образом, воли; но теперь, после того «национального позора», в который ввергла Россию, по мнению некоторых, революция, надо полагать, что в интеллигенции проснется и воля; а ведь известно также, что стоит пожелать чего-нибудь очень сильно, и желаемое сбудется; лишь бы это было делом рук человеческих... Захотите, и у вас будут свои карбонары и

Гарибальди; а в результате — десятки своих Джакометти и Гаццолетти...

Ждать этого немножко долго — несколько десятков лет. За это время может случиться кое-что, что помешает планомерному созданию неворующих чиновников, хороших драм, электрических железных дорог и других плодов «культуры».

Но если ничего чрезвычайного не случится, то, право, это будет очень недурно: например, можно будет заказать какой-нибудь литературной коллегии несколько десятков переделок классических произведений литературы в пьесы для «народного театра»; и, что главное, все это будет очень прилично переделано и быстро поставлено на разных сценах сразу; и актеры будут настолько грамотны, что «народу» вовсе не придется даже и читать, например, Дон-Кихота, или Гаргантюа, или Пиквика,— все они встанут перед ним как живые.

Пока же этого нет, и мечтать об этом трудно; всякий, знакомый с нашим театральным делом, знает, как приходится на практике ограничивать свои самые скромные мечтания в стране Грибоедова, Пушкина и Гоголя. Поэтому я позволю себе указать на другой возможный вывод.

3

Другой вывод заключается в том, что России суждено играть в мире свою особую роль, отличную от Европы, и идти по пути своего, ей одной присущего, развития.

Казалось бы, развитие народов и государств совершается по одним и тем же законам, и, следовательно, в том утверждении, что Россия развивается как-то особенно, содержится противоречие.

Оно в нем и содержится. Однако назвать его лучше не противоречием, а *антиномией*, следуя примеру нашего историка Ключевского, который, полагая, что «обязанные во всем быть искренними искателями истины, мы всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить свой исторический рост»,— решился назвать все процессы исторического развития России с начала XVII века «полными противоречий аномалиями» или историческими *антиномиями*, исключениями из правил исторической жизни, произведениями своеобразного местного склада условий.

Ключевский делает из этого основного положения тот вывод, что русская жизнь порождала «ненормальные явления» и что ход развития России «напоминает полет птицы, которую вихрь несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев». С этими выводами также можно спорить, а второй из них, недаром заключенный в столь блестящую форму образа, открывает, по моему мнению, безбрежные перспективы и дает возможность развивать совершенно новые точки зрения на русское будущее.

4

Я начал речь издали, потому что только самые общие причины объясняют, по-моему, почему наш национальный репертуар до сих пор так беден, да, кажется, таким и останется; почему постоянно возобновляемый разговор о нем вертится все на одних и тех же немногих именах и воображение наше осекается на них; при этом все мы испытываем тайную или явную неудовлетворенность и желание найти что-то, чего, в сущности, нет; чего, по моему мнению, и ждать не стоит, ибо все наши надежды и помыслы надлежит обратить в другую сторону; от России надо ждать большего, чем «национальное возрождение» и связанный с ним литературный подъем.

Тот путь — европейский; наш путь — иной путь; путь «презренный и несчастный», развитие, идущее скачками, сопровождаемое вечными упадками, постоянными растратами и потерями того немногого, что удалось скопить и сколотить; величайшие наши достижения — не закономерны, случайны, как будто украдены у времени и пространства ценою бесконечных личных трагедий, надрывов и отчаяний наших величайших творцов.

Разве не это сказывается в той великой неудовлетворенности, которая овладевала нашими лучшими художниками? — Автор «Горя от ума» писал по поводу своего создания: «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь, в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было».— Автор «Ревизора» оставил заметку

под заглавием: «Как нужно создать эту драму»: «Облечь ее в месячную чудную ночь и ее серебряное сияние и в роскошное дыхание юга. Облить ее сверкающим потоком солнечных ярких лучей, и да исполнится она вся нестерпимого блеска! Осветить ее всю минувшим и вызванным из строя удалившихся веков, полным старины временем, обвить разгулом, козачком и всем раздольем воли. И в поток речей неугасаемой страсти, и в решительный, отрывистый лаконизм силы и свободы, и в ужасный, дышащий диким мщением порыв, и в грубые, суровые добродетели, и в железные несмягченные пороки, и в самоотвержение неслыханное, дикое и нечеловечески-великодушное. И в беспечность забубенных веков».

Те и другие слова принадлежат русским гениальным писателям, которые и до сих пор возглавляют наш репертуар. Первый скорбит о неудаче того произведения, которое доселе кажется нам непревзойденным, единственным в мировой литературе, неразгаданным до конца, символическим в истинном смысле этого слова.— Слова второго полны напряжения, гипербол, противоречий, казалось бы несовместимых; точно художник ищет вырвать у жизни самое драгоценное, после чего жизнь сама оскудеет, уступая место воссиявшему над ней искусству.

Русские *гениальные* писатели все шли путями трагическими и страшными; они урывали у вечности мгновение для того, чтобы после упасть во мрак и томиться в этом мраке до нового озарения. Они искали каких-то сверхрациональных источников для своего творчества. Русские *талантливые* писатели пытались укрепиться на случайных плотах, несомых течением, или сами попадали в благоприятную волну, которая, казалось им, несла их по одному направлению; но внезапно поднимавшиеся бури смывали их с плотов, бросали в водовороты; благополучны сравнительно были одни *ремесленники*, которые, крепко цепляясь за политическую и религиозную скорлупу России — самодержавие и православие,— сидели за этим до времени «безопасным рубежом» и «лаялись, как псы, из-за ограды».

Ныне скорлупа отвалилась, и, кажется, не за что уж ухватиться; почва ушла из-под ног, литературе и драме не на чем расцвесть. Да, в европейском смысле им расцвесть пока не на чем; но ведь, в сущности, такой почвы в России никогда не было; то, что питало патриоти-

ческое вдохновение ремесленников, оказалось лишней скорлупой, а в лучшем случае — вымыслом гениального воображения; сжимаемое отовсюду, оно шло только демоническими путями и играло бармами и шапкой Мономаха, нам ненужными.

Трагические же прозрения Грибоедова и Гоголя остались: будущим русским поколениям придется возвращаться к ним; их конем не объехать. Будущим поколениям надлежит глубже задуматься и проникнуть в источник их художественного волнения, переходившего так часто в безумную тревогу.

Эти заветы так же антиномичны, как русская жизнь и как все великое в искусстве. Источник же этого волнения лежит на глубине, едва ли доступной для понимания какой бы то ни было художественной среды.

Причина — едва ли не в том, что всякая художественная среда до сих пор мало народна, мало стихийна; она создала много художественных произведений, но она не создала и не может создать *артиста* — о котором мечтал Вагнер, ставивший это понятие в неразрывную связь с революционными, народными, стихийными движениями.

Истинные причины той лихорадочной тревоги, которой проникнуты все лучшие творения XIX века, в том числе и наши, обнаружатся впоследствии; судя по тому, как развертываются события, можно ожидать этого еще в нашем столетии. Мы увидим тогда, много ли уцелеет в мире плодов европейских «национальных возрождений».

29 августа 1918

Владимир Соловьев и наши дни

(К двадцатилетию со дня смерти)

Со дня физической смерти Владимира Соловьева прошло двадцать лет, то есть промежуток времени совершенно ничтожный с исторической точки зрения. Людям нашего поколения пришлось пережить этот промежуток времени в сознательном возрасте. В это время лицо мирового переворота успело определиться

в очень существенных чертах,— хотя далеко еще не во всех. Во всяком случае, глубина изменения в мире социальном, в мире духовном и в мире физическом уже такова, что она будет измеряться, вероятно, столетиями. Значительность пережитого нами мгновения истории равняется значительности промежутка времени в несколько столетий.

Вл. Соловьев жил и занимал совершенно особое положение, играл роль, смысл которой далеко еще не вполне определен, в русском обществе второй половины XIX века. В этом периоде зачиналась и подготовлялась эпоха, наступившая непосредственно вслед за его кончиной; он скончался в июле 1900 года, то есть за несколько месяцев до наступления нового века, который сразу обнаружил свое лицо, новое и непохожее на лицо предыдущего века. Я позволяю себе сегодня, чисто догматически, без всякого критического анализа, в качестве свидетеля, не вовсе лишенного слуха и зрения и не совсем косного, указать на то, что уже январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года, что самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий.

Вл. Соловьеву судила судьба в течение всей его жизни быть духовным носителем и провозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире.Рост размеров этих событий ныне каждый из нас, не лишившийся зрения, может наблюдать почти ежедневно. Вместе с тем каждый из нас чувствует, что конца этих событий еще не видно, что предвидеть его невозможно, что совершилась лишь какая-то часть их,— какая, большая или малая, мы не знаем, но должны предполагать скорее, что свершилась часть меньшая, чем предстоит.

Если Вл. Соловьев был носителем и провозвестником будущего, а я думаю, что он был таковым, и в этом и заключается смысл той странной роли, которую он играл в русском и отчасти в европейском обществе,— то очевидно, что он был одержим страшной тревогой, беспокойством, способным довести до безумия. Его весьма бренная физическая оболочка была как бы приспособлена к этому; весьма вероятно, что человек вполне здоровый, трезвый и уравновешенный не вынес бы этого постоянного стояния на ветру из открытого в будущее окна, этих постоянных нарушений равновесия. Такой человек просто износился бы слишком скоро, он занемог бы или сошел бы с ума.

Наше время сравнивали с временем великой французской революции. Такое сравнение напрашивается само собой, ибо в нем заключена правда, но не вся правда. Чем дальше развертываются события, тем больше утверждаюсь я в мысли, что такое сравнение недостаточно,— оно слишком осторожно, в некоторых случаях даже трусливо. Все отчетливее сквозят в нашем времени черты не промежуточной эпохи, а новой эры, наше время напоминает не столько рубеж XVIII и XIX века, сколько первые столетия нашей эры.

На рубеже XVIII и XIX века европейский мир кипел в котле переворотов, конечно не только политических. Заново перестраивалось человеческое общество, разбушевалась социальная стихия, мир раскололся на две части: старые сословия умирали, отходили, уступали, новые — вступали в жизнь. Первоисточником переворотов была Франция; эта самая немузыкальная в мире страна весь мир наполнила звуками своей музыки. Эти звуки были грозны и величественны, то били барабаны революционных наполеоновских армий — и только. Такая музыка взрывает лишь поверхностные покровы человеческой души, она освобождает социальную стихию, но она еще не властна разбудить всю человеческую душу, во всем ее объеме. Человек с проснувшимся социальным инстинктом — еще не целый человек, он разбужен еще не до конца, он еще не представляет из себя совершенного орудия борьбы: ибо в составе его души есть еще сонные, неразбуженные или омертвелые, а потому — легко уязвимые части. Словом, я хочу сказать, что рубеж XVIII и XIX века, время великой французской революции, имеет черты какого-то еще неразвитого и первичного времени.

В первом столетии нашей эры обстановка была несколько иная. В историческое действие вступил весь известный в то время мир. Разумеется, прежде всего, как и у нас в Европе, была взрыта стихия политическая и вслед за ней стихия социальная, но это произошло сравнительно давно, довольно задолго до рождения Иисуса Христа. К тому времени, о котором мы стараемся вспомнить, на теле Римской империи уже не было ни одного не наболевшего места; оно во всех направлениях было покрыто ранами сверх рубцов от старых ран; только снившаяся кое-кому «древняя доблесть» (virtus antiqua) давно перепылала в огне гражданской войны. Конечно, мир, как и у нас в Европе, был расколот

прежде всего пополам; старая половина таяла, умирала и погружалась в тень, новая вступала в историю с варварской дикостью, с гениальной яростью. Но сквозь величественные и сухие звуки римских труб, сквозь свирепое и нестройное бряцание германского оружия уже все явственнее был слышен какой-то третий звук, не похожий ни на те, ни на другие; долго, в течение двух-трех столетий, заглушался этот звук, которому, наконец, суждено было покрыть собою все остальные звуки. Я говорю, конечно, о третьей силе, которая тогда вступила в мир и, быстро для истории, томительно долго для отдельных людей — стала равнодействующей между двумя мирами, не подозревавшими о ее живучести. В те времена эта сила называлась христианством. Никаких намеков на существование подобной третьей силы европейский XVIII век нам еще не дает.

Различны сравниваемые нами эпохи, и существо этого различия заключается, конечно, в атмосфере, в том воздухе, которым приходилось дышать людям той и другой эпохи. Историческая наука до сих пор не знает, не умеет учесть этой атмосферы; но она ведь и является часто решающим моментом, то есть только знание о ней и помогло бы нам установить истинные причины многих событий первостепенной важности. Вот это-то обстоятельство и заставляет нас гадать об атмосфере той эпохи, которую мы хотим припомнить.

Гадая об атмосфере двух сравниваемых эпох, я думаю, что в людях первых веков нашей эры было гораздо больше косности, чем в людях XVIII—XIX века. Человек, косный по природе, часто проявляет животные черты, притом черты, роднящие его с животным не в его силе, инстинктах, ловкости, а в его слабости, в беспомощности, в беспамятстве. Чем решительнее и грознее изменяется окружающий мир, тем чаще человек стремится не заметить этого, заткнуть уши, потушить сознание и притвориться, что ничего особенного не происходит. В этой косной спячке человек надеется выиграть время, протянуть его незаметно, и всегда, между прочим, проигрывает, как жук, притворяющийся мертвым слишком долго, до тех пор, пока его не клюнет птица.

Вот почему я думаю, что в эпоху, когда мир уже весь был охвачен огнем, когда уже все его тело, и физическое, и социальное, было покрыто трещинами и ранами,— люди спали крепче, чем когда-либо; сон этот мож-

но сравнить со сном иных людей вчерашнего и сегодняшнего дня. Великолепно написано, например, в «Историях» и «Летописи» Тацита, каким крепким сном спали люди, ежедневно боровшиеся между собой и не подозревающие о том, что их борьбу уже осеняет третья сила, что все голоса их боевых труб уже заглушаются голосом третьей трубы. Если можно так выразиться, спали крепчайшим сном вечно бодрствовавшие и призвавшие на помощь все древнее лукавство цивилизаторов — римляне; не менее крепко спали и варвары, сквозь сон и храп кулаком наотмашь сгоняя цивилизаторов со своего тела, попирая при этом все бывшие и будущие законы человеческих обществ, как их умеет попирать во все века только народ; крепко спал, между прочим, сам гениальный Тацит, описывавший все эти деяния через сто лет после смерти Христа, не подозревая по-видимому, что ветер дует не из Рима, не из Германии, не из Британии, не из Испании, не из Малой Азии, а с какого-то нового материка. Об этом материке помнили когда-то элеаты и Платон; но цивилизованных заставил забыть о нем Аристотель; а нецивилизованным вспоминать было не о чем.

Я говорю так долго об этих давних порубежных временах потому, что стараюсь восстановить в слабой памяти атмосферу эпохи, сходную с атмосферой, которой дышал Вл. Соловьев. Его житейский подвиг был велик потому, что среди необозримых равнин косности и пошлости пришлось ему тащиться с тяжелой ношей своей тревоги, с его «сожженным жестокой думой лицом», как говорил А. Белый. Он жил в мире Александра III, позитивизма, идеализма, обывательщины всех видов. Люди дьявольски беспомощно спали, как многие спят и сегодня; а новый мир, несмотря на все, неудержимо плыл на нас, превращая годы, пережитые и переживаемые нами, в столетие.

Почти неуместным, неловким кажется сейчас вспоминать Вл. Соловьева по поводу случайной годовщины. Вспоминать тома, в которых немногие строки отвечают сегодняшнему дню; но это потому, что не исполнились писания, далеко не все черты новой эры определились. Нам предстоит много неожиданного; предстоят события, ставящие крест на жизнях и миросозерцаниях дальновиднейших людей, что происходило уже в ближайшие к нам годы не однажды.

Куда же поместить нам сегодня разные знакомые

лики Соловьева, где найти для них киот? Нет такого киота, и не надо его; ибо все знакомые лики Соловьева — личины, как ясно указывал в воспоминаниях о нем А. Белый; а я уверен, что это — лучшее, что до сих пор было сказано о Вл. Соловьеве. Соловьев философ — личина, публицист — тоже личина, Соловьев — славянофил, западник, церковник, поэт, мистик — личины; Соловьев, как говорит А. Белый, был всегда «мучим несоответствием между всей своей литературно-философской деятельностью и своим сокровенным желанием ходить перед людьми». Сейчас, в наши дни, уже слишком ясно, что без некоего своеобразного «хождения перед людьми» всякая литературно-философская деятельность бесцельна и по меньшей мере мертва.

Целью моих слов была только попытка указать то место, которое для некоторых из нас занимает сегодня память о Вл. Соловьеве. Место это еще полускрыто в тени, не освещено лучами еще никакого дня. Это происходит потому, что не все черты нового мира определились отчетливо, что музыка его еще заглушена, что имени он еще не имеет, что третья сила далеко еще не стала равнодействующей и шествие ее далеко не опередило величественных шествий мира сего.

Вл. Соловьев, которому при жизни «не было приюта меж двух враждебных станов», не нашел этого приюта и до сих пор, ибо он был носителем какой-то части этой третьей силы, этого, несмотря ни на что, идущего на нас нового мира.

13 августа 1920

БЛОК — БЕЛОМУ

3/16 марта 1911. ⟨Петербург⟩

Милый Боря.

Ну, вот — *китайская война.*

Поздравляю Тебя со всеми новыми испытаниями и переменами, которые предстоят нам скоро. Все-таки, возвращайся в Россию. Может быть, *такой* — ее уже недолго видеть и знать.

А наши письма — все еще натянутые. Пусть так,

это еще необходимо должно быть; все, что было, нелегко.

Живу сосредоточенно. Пишу поэму. Открытки из Кэруана не получал. «Мусагет» что-то не дает о себе никаких вестей.

У меня много планов. Не знаю еще, как и где проведу лето.

Целую Тебя крепко. Господь с Тобой.

Твой *Ал. Блок.*

БЛОК — БЕЛОМУ

$\frac{12}{25}$ *марта* ⟨*1911. Петербург*⟩

Милый Боря.

Сегодня узнал из Твоего письма о сфинксе. Да, есть и это. Я бы, может быть, испугался сейчас. Сейчас — грустная минута: после напряжения многих дней — чувство одиночества. Один — и за плечами огромная жизнь — и позади, и впереди, и в настоящем. Уже «меня» (того ненужного, докучного, вечно самому себе нравящегося или не нравящегося «меня» — мало осталось, почти нет; часто — вовсе нет; чаще и чаще). Но за плечами — все «мое» и все «не мое», равно великое: «священная любовь», и 9-е января, и Цусима — и над всем единый большой, строгий, *милый, святой* крест. Настоящее — страшно важно, будущее — так огромно, что замирает сердце,— и *один*: бодрый, здоровый, не «конченный», отдохнувший. Так долго длилось «вочеловеченье».

Может быть, мы не вместе сейчас, но из будущего гляжу на Тебя взглядом нежного друга; в настоящем — целуюсь при встрече с Тобой, но в глазах у нас — *дело:* более, чем когда-нибудь, мы на «флагманском корабле»; не знаю, какую работу исполняю я,— но исполняю, както каждый день готовлюсь к сражению.

Крепко целую Тебя и жму Твою руку, милый друг.

Твой *Ал. Блок.*

P. S. Получаю корректуры из «Мусагета».

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨$\frac{15}{28}$ марта 1911. Каир⟩

Дорогой Саша.

Крайне взволновало меня Твое письмо. Да, слышу, знаю — о Востоке. Знаю и то, откуда идет чума. Знаю и то, что как во всё это мы замешаны судьбами. Скажу дальше больше: знаю, кто сорвал наши зори 1900—1901 года: «*Ждали Утешителя, а надвигался Мститель*» (Симфония), «*Мы дрались с желтым монголом, а теперь мы будем умирать*» (Симфония), «*И близко появленье, но страшно мне: изменишь облик Ты*» («Пр⟨екрасная⟩ Дама»). Знаю бесконечно более, чем могу передать словами. Нас, слишком рано заговоривших, провокационно стукнули лбами. Нас заманили ложными зорями. И скажу прямо: Твой грех был в недостаточно резкой черте между Прекрасной Дамой и Незнакомкой. Мой грех — сначала в истерическом, слишком явном выкрикивании, отчего приключился... сначала «Lapan», а потом — не стану говорить: слишком все это тяжело. И в результате в полях русских *заводил нас леший*. И вот у Тебя: «зеленеют колпачки задом наперед». У меня: «исчезни в пространство, исчезни — Россия, Россия моя...» В это время мы ненавидели, любя друг друга: Ты винил меня, я — Тебя. Мы одинаково виноваты, или... одинаково невиноваты, ибо леший, водивший нас, оказался... японским шпионом. Штука попросту разрешилась. И то, что мутило наши души, теперь оно начинает грохотать на востоке: скорей бы... «*Куликово поле*», милый — то «*Куликово поле*», которое показало мне, что и Ты... *Ты знаешь*. Стало быть, наши дороги, не нами избранные, до смерти одного из нас будут всегда неожиданно... (сейчас погасло электричество: не верю — дрянной бесенок, японский «*шпиончик*» пугает хлопушками)... сходиться.

И какая тут прямая, явная, ясная линия — в этих ломаных, которые мы с таким упорством рисовали все эти годы друг для друга и... для себя.

Не скрываю... Гибель подстерегает каждого из нас ежеминутно всякими неожиданностями, но подстерегает нас гибель, *как русских*, ибо русские... среди интеллигенции... *все наперечет*, все друг друга знают, и все... кому не след знать... о нас знают. Но наплевать. Даже и смерть... на *поле Куликовом*... ясная смерть.

Принимаю Твои слова об испытании, быть может, уже близком. Жму руку.

⟨...⟩

Крепко жму руку и нежно люблю

Твой *Б⟨оря⟩*.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨20 марта⟩ / 3 апреля 1911. Каир

Милый Саша!

⟨...⟩

Пусть мы разные, но то «*психология*», но Русь, будущее, ответственность — не «психология» вовсе, и как же не радоваться: *мы — русские*, а Русь — на гребне волны мировых событий. Русь чутко слушает и *ее* чутко слушают. *Я, Ты*, мы не покинуты в сокровенном; за нами следят *благие силы*, не покинут нас, поскольку мы — *русские*.

Тише, скрытнее, медленнее, важнее — вот мое желание. А там, в великом деле собирания Руси, многие встретятся: инок, солдат, чиновник, революционер, скажут, сняв шапки: «За Русь; за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете»...

Аминь.

⟨...⟩

Б⟨оря⟩.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

29 апреля ⟨1911⟩. Луцк ⟨Боголюбы⟩

Милый Саша,

где Ты! Что? С Каира нет о Тебе вестей. Ответь — куда писать летом. Мы в Афины не заезжали: понежились в стране обетованной недельки две, встретили пасху (Христос воскресе!) и после 11 дней прокачались от Яффы до Одессы. Первое впечатление от *русского* (не России): пароходная грязь заставила меня выругать вслух пароход; но, к моему удивлению (так странно после

иностранного быта), прислуга, команда, служащие, чуть ли не сам капитан были в восторге от моей брани и стали все еще пуще ругать высшее пароходное начальство; пароходная горничная Нина заявила во всеуслышание, что у нее нервный смех, а пароходный доктор мрачно заявил, что он никогда не лечится, ибо не дорожит жизнью (надо сказать, что с первым нашим случайным знакомцем-русским в Иерусалиме мы в пять минут пришли к убеждению, что пора всем сойти с ума... к сожалению, он скоро уехал приводить в исполнение свое намерение на Принцевы Острова); один из первых русских на берегу с негодованием нам заметил, что разгромлен московский университет, гордость России; предварительно этот *протестант* перерыл наши сундуки, ища контрабанду (он был таможенным чиновником), но, не найдя оной, хотя мой сундук только и был, что сплошная контрабанда, состоящая из привозных мелочей, заговорил о политике.

Эти *очаровательные* впечатления хочется отметить прежде всего... А потом пошла уже менее очаровательная, но не менее удивительная музыка: мы видели марширующие по случаю царского дня гимназии с барабанным боем и развернутыми знаменами, ведомые *марширующим* (!) преподавательским персоналом в белых перчатках и при орденах; и тут пахнуло таким «*мелким бесом*», что ой-ой-ой... Лица преподавателей выражали чрезвычайное удовольствие по этому поводу, с томным налетом грусти о том, что им не привелось еще маршировать на карачках; но после того, что увидел, я думаю, что в следующий проезд через Одессу я буду осчастливлен этой последней идиллией...

Таковы были первые аккорды России...

⟨...⟩

Нежно целую.

Бугаев.

БЛОК — БЕЛОМУ

8 мая 1911. ⟨Петербург⟩

Милый Боря.

⟨...⟩

До ужаса знакомо то, что Ты пишешь о первом впечатлении о России; у меня было подобное: моросящий

дождь — стражник трусит по намокшей пашне с винтовкой за плечами; и чувствую, что все города России (и столица в том числе) — одна и та же станция «Режица» (жандарм, красная фуражка и баба, старающаяся перекричать ветер).— В этих глубоких и тревожных снах мы живем и должны постоянно вскакивать среди ночи и отгонять сны. И я люблю вскакивать среди ночи — все больше.

Все дело в том, есть ли сейчас в России *хоть один человек,* который здраво, честно, наяву и *по-божьи* (т. е. имея в себе в самых глубинах скрытое, но верное «Да»), сумел бы сказать «*нет*» всему настоящему; впрочем, я начал и сейчас же бросаю развивать ту длинную нить, которую я лелеял всю эту зиму и которой я не оставляю. Пишу и хочу писать об этом, но в письмах — не стоит и не выйдет. ⟨...⟩

Твой *Ал. Блок.*

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨Конец мая 1911. Боголюбы⟩

Милый Саша!

⟨...⟩

Огромное спасибо за книгу и за надпись: мы радуемся с Метнером, что у нас вышел Блок; вчера читал вслух «*Стихи о Прекрасной Даме*»; опять, и опять, и опять радовался, что *такие стихи* есть в русской литературе; и *вот что главное: ничто не угасло* из того, *о чем* стихи; все только перенесено в другую плоскость; все ревниво оберегается молчанием, но оно *есть* в сердцах...

Милый друг, нам ли удивляться срывам; Ты пишешь, что на страстной все сорвалось у Тебя... Вся Россия *идет от срыва к срыву,* все только срывается; но то, что срывается, и то, *где* срывается, есть все та же действительность («*современность*»), которой Ты хочешь сказать свое «*нет*». Пусть срывается; пусть даже во все стороны рассыпаются осколки человеческих душ; мы, усталые, кошмарные, слабые, оказавшиеся в безумии своем крепче здоровых и крепких и все же уцелевшие, полюбившие Россию — мы *тоже* люди духовные. Душа наша погибала не раз, и, бездушные марионетки, мы

корячились на «*площадях, в переулках, в извивах*»; потом мы бегали в кинематограф, подозрительно озираясь на всех, себе подобных. И все-таки за бездушным обликом нашим стоял *Дух*; душу свою мы в срывах не сберегли, но как знать,— Дух угасили ли? И если все еще мы есмы — живем, утверждаем, болеем за родину нашу и любим,— то Дух не угас в нас. Как знать, не калится ли пламенней он в пепле душевном. И не пора ли относиться к каждому новому срыву как к новой единице, прибавляемой к общей сумме... Много было у меня срывов, и я устал от них; я устал даже им верить, и тогда вдруг в глубине души моей ощутил я *Духа* (смотри пред⟨исловие⟩к *Урне*); и робкая улыбка зари, и новое верное счастье улыбнулось мне жизнью; и я понял, что душа моя умирала иллюзорной смертью (См. *Пепел, Панихиду*). И опять и опять старое...

«*Все кружась исчезает во мгле...*
Неподвижно лишь Солнце любви...»

⟨...⟩

Б⟨оря⟩.

БЛОК — БЕЛОМУ

6 июня 1911. Шахматово

Милый Боря.

⟨...⟩

Милый друг, между нами стояли и наши матери, и бесконечные друзья и враги, не говоря о самом важном; и все это еще тогда, когда мы оба по-разному, но и чудесно сходно, были так далеки от «воплощения» или «вочеловечения»; когда мы оба вступали в ночную глушь, неизбежную для увидевших когда-то слишком яркий свет. Можно сказать, что человеческого почти и не было между нами; было или нечеловечески несказанное, или не по-людски ужасное, страшное, иногда — уродливое. Теперь все меняется для нас обоих (опять-таки), мы выходим из ночи, проблуждав по лесам и дебрям долгие годы; по разным дебрям — и по-разному выходим; долгие годы не слышали голоса друг друга, а, если и доносился иногда голос, то лесные дебри преломляли его, делали иным. Все это я чувствую за

плечами, точно прожито сто лет; но для меня это были годы, умерщвляющие душу, но освежающие дух, и я их всегда благословлю. Верно — и ты. *Сходились* не по-человечески, *сходно* переживали этот долгий и странный поединок души и духа, *сходно* окончившийся (частичным) поражением души; должны выйти из ночи — *чудесно разные**, как подобает *человеку*. Сходствует несказанное или страшное, безликое, но человеческие лица различны. Сходны бывают «счастливцы» («счастливчики»), осужденные *не* воплотиться, носясь по океану удач и легких побед. Воплощенный — всегда «несчастливец», лик человека — строгий и сумрачный (Вольфинг) — «нуждой и горем вдаль гонимый».

Думаю, что ты согласен со всем этим, пишу Тебе, потому что думаю об этом давно.

Не думай, что я могу сердиться на полемику, перепечат⟨анную⟩ в «Арабесках» (я их получил от Кожебаткина). Во-первых — я почти под всем, что обо мне тогдашнем (полемического), подписываюсь; единственно, что мне необходимо ответить Тебе как самому проникновенному *критику* моих писаний,— это то, что таков мой *путь*, что теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе — «*трилогия вочеловечения*» (от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес ** — к отчаянью, проклятию, «возмездию» и...— к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный матерьял, вглядываться в контуры «добра и зла» — ценою утраты части души). Отныне я не посмею возгордиться, как некогда, когда, неопытным юношей, задумал тревожить темные силы — и уронил их на себя. Потому отныне *я* * *не лирик*. ⟨...⟩

⟨...⟩

Твой *Ал. Блок*.

---

* Отмеченное подчеркнуто дважды.

** «Нечаянная Радость» — книга, которую я за немногими исключениями терпеть не могу *(примеч. А. Блока)*.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨Июнь 1911. Боголюбы⟩

Дорогой Саша,

получил на днях Твое письмо, долго вчитывался; несколько мест поразили меня близостью к тому, что переживал я. Сначала отмечу места близости. *«От слишком яркого света через необходимо болотистый лес... к рождению человека общественного...»*

Два года тому назад (в 1909-м году), после ужасов 5, 6, 7 и 8-го *года*, после непрерывного умирания 6, 7 и 8-го годов, только в 1909-м году я почувствовал, что *максимум смертности* уже за плечами и что то, что, как надежда, брезжит (надежда не на *слишком яркий свет*, а на окончание чудовищно ужасного), уже тем самым смягчала жгучесть переживаемого *все еще* ужаса. И вот тогда-то я сразу понял неизбежность того, что было. Что же было? Несколько одиноких путников въехали на холм и на холме встретились: позади их местность равнинная, прихлопнутая войлоком туч (чеховщины), грозно синеющих у холма (Ибсен, декаден⟨т⟩ство, кошмаризм). В эту зону декаден⟨т⟩ства вступил я в 1897 году, и свет блеснул с холма в 1900 году. *Северная симфония* отметила холм: «Мчался вперед безумный кентавр (на холм), крича, что вдали он увидел розовое небо, что оттуда виден рассвет». На холме встретил меня Вл. Соловьев, а потом раздались тревожные, жгуче близкие *Твои песни*, сливаясь с 2-й симфонией. Кучкой людей, вместе глядящих на зарю, были мы: *«Возвращается... Опять возвращается: невозможное, грустное, милое, старое и новое во все времена»* (2-я Симф⟨ония⟩), *«Предчувствую Тебя»* (Ст⟨ихи⟩ о Пр⟨екрасной⟩ Даме).

Мы не увидели, что по ту сторону был лес; тропинки с холма расходились, затучиваясь в глуши; идя навстречу *заре*, мы удивились, что завеса заколдованного леса, вырастая, заслонила зарю. Мы обернулись друг к другу: между нами стояли стволы; между стволами мелькали *оборотни*. Мы думали, что мы уже провозвестники света и что за плечами одержанная победа; а *свет* — был лишь приглашением к будущему испытанию; мы себя вообразили *уже рыцарями, а рыцарство* должно увенчать в будущем наш тернистый путь.

Так я себе сказал. И это было началом *отрезвления.* С этого периода я понял, что *Пепел* мой уже за плечами, что он то, что для Тебя «*Нечаянная Радость*», а *«Четвертая Симфония»* во мне адекватна Твоим драмам. Тогда же в предисловии к *«Урне»* я это высказал опять-таки в наивноглупой форме.

За *Пеплом* меня встретило *общественное*: проблема Востока и Запада, Серебряный Голубь, или, вернее, *Оловянный Голубь* химер, наваждения над Россией: я нашел бодрость в том, что судьба моя, нечеловечески гадкое 1906—1908 года, есть отражение наваждения над всей Россией: «*злое око, Россию ненавидящее*» (посылающее и монголов и евреев). То, в чем я сорвался, я назвал *впадением в монгольство. Вдохновение от зари* подменил я шаманством. Любовь к дали и подвигу подменил «*заколдованной темной любовью*» — наваждением.

Только скоро ль погаснут огни
Заколдованной, темной любви?

Но когда я понял, что заколдованный круг образовался от *медиумизма всех нас и что главный виноватый — «злое око, Россию ненавидящее»,* чары смертного сна стали тихо спадать.

Я услышал вновь и *«Голос Безмолвия»,* и твердую руку, пожавшую *мою* со словом «*Мужайтесь*», и заря личного счастья вернулась (встреча с Асей) тогда, когда всем существом своим подлинно от *себя* я готов был отречься.

Последние два года, 1910—1911, я уж еду с предчувствием, что лес редеет (пролеты между дерев, после гущины издали брезжит заря), а *главное — шум моря впереди* (верный знак окончания леса).

Это море я слышал и два года тому назад: я себе сказал: «Будет берег моря, будет отдых на берегу», чтобы потом началось плавание.

Корабль, команда, ответственность, разность функций на корабле (тот — рулевой, этот — кочегар) — разность индивидуальности плывущих — все это будущее пронеслось мне с чувством уже зачисленности в число мне неизвестных матросов будущего (и сейчас не знаю, кто они): еще вокруг остатки леса, еще моря не видно (только шум приближается), а уже знаю, что команда корабля (мне за лесом невидные путники) *есть.*

Не хочу упреждать событий, но жду, верю в *миссию*, в *твердую*, нужную работу.

В Твоей прошлогодней статье расслышал в Тебе себя — написал. Вот основания нашей все еще *будущей встречи*: при всей разности нас, при разных функциях, которые мы будем нести на будущем корабле, мы встретимся, если верно то, чем обмениваемся мы в письмах; основания моей веры — вот они: оба мы видели свет с холма, оба ехали тем же лесом; море, к которому сбегает лес,— одно; берега его пустынны; здесь нет городов. *Нет и кораблей*: корабль, высланный к пустынному берегу, куда немногие попадают (большинство даже еще не в лесу, а на холме перед лесом, либо в зоне моих 1896—1900 годов, в зоне декаден⟨т⟩ства). Многие бывшие спутники заплутались в лесу, иные погибли; немногие оставшиеся выйдут к берегу: следовательно, они останутся либо между морем и лесом, либо — поплывут на корабле, где неожиданно встретятся: желание нести ответственность, чувство общественного долга, родина — вот условие стремления к кораблю.

Еще до письма к Тебе, в эпоху 1910 года, мы с Вячеславом говорили о далеком будущем, когда мы вновь неожиданно встретимся.

И *встретимся*...

Ты понимаешь теперь, почему слова Твои о *свете и болоте*, о человеке, задумывающемся над контурами добра и зла, мне близки.

⟨...⟩

Читаю *«Войну и Мир»* и мне ясно: 1912, 1913, 1914-й годы еще впереди. Мы живем в эпоху Аустерлица; и поступь грядущих вторжений видимых (монголы, евреи), невидимых осознаем одинаково («Куликово поле»).

Мы оба любим Россию...

Герои *«Войны и Мира»* сначала танцевали в зале у Ростовых, потом вызывали друг друга на дуэли, но... *все сошлись* на полях сражений. *Все были под одним Бородином.*

Так и мы.

Может быть, действительная наша встреча еще далека, но даже сознание возможности этой грядущей встречи есть уже начало всяких малых встреч, отрешенных от психологии.

Еще раз повторю: я встречаюсь с людьми, теперь только воодушевленный одним сознанием: нужно, чтобы

уделы русские положили оружие: скрип повозок татарских уже слышен, а удельные князья *еще* ссорятся.

Да не будет Калки!

Я знаю, что тут, в этом сознании, Ты — брат мне (по какому-то), как брат мне и Вячеслав; то же, что связывает нас всех, не может разбиться; если бы могло разбиться, то *уже* разбилось бы; факт, что мы говорим о том, о чем говорим, после *всего бывшего,* показывает, что *после всего бывшего* основания возможной связи — не литература, не психология, еще менее симпатия или антипатия друг к другу...

Пока и *этого сознания достаточно.*

⟨...⟩

Остаюсь искренне любящий и близко чувствующий

Тебя

Борис Бугаев.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨$\frac{1}{14}$ *мая 1912. Брюссель*⟩

Милый, бесконечно дорогой друг!

⟨...⟩ С осени 1911 года Штейнер заговорил изумительнейшие вещи о России, ее будущем, душе народа и Вл. Соловьеве (в России он видит громадное и единственное будущее. Вл. Соловьева считает замечательнейшим человеком второй половины XIX века, монгольскую опасность знает, утверждает, что с 1900 года с землей совершилась громадная перемена и что *закаты с этого года переменились:* если бы это не был Штейнер, можно было бы иногда думать, что, говоря о России, он читал Александра Блока и *«2-ю симфонию»*). ⟨...⟩

⟨...⟩ В эти дни (по письмам из Москвы я узнал впоследствии) в Гельсингфорсе двое из наших встречали со Штейнером русскую пасху, разговлялись вместе (в Гельсингфорсе были лекции Штейнера); в эти же дни тайно от немцев (чтобы их не обидеть) Штейнер говорил долго о значеньях и судьбах России кучечке русских, приехавших к нему из Москвы; о содержании лекции писали мне, что его передать невозможно, что *«будущего России нельзя ждать, что это — чудо, можно лишь его призывать»*. И еще вот его слова: «Она (Россия) так долго плакала детскими слезами, и еще ей предстоит этими же слезами столько же проплакать...» С этими словами он подошел к окну, взял портрет

Вл. Соловьева и долго в задумчивости смотрел на него... 〈...〉

Нежно любящий брат

Боря.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

〈28 декабря 1912〉 / 10 января 1913 *Берлин*

〈...〉

Дорогой друг: при всей разности наших темпераментов, у нас нечто общее, что отличает нас, символистов, от Гумилевых: наше творчество было не эстетическим скептицизмом, а четверостишием Фета: некогда мы видели *зори*, зори были чем-то столь важным, что у нас и не возникало слов, искусство *это* или не искусство; прежде всего *«это»*, а потом уже ярлычки. И вот поверь мне: я теперь знаю, что *это* было не только искусство; многое в нашем творчестве было не от ковки форм, а от *медитации*, т. е. от бессознательных, часто оккультных движений чего-то в своей душе; мы были в положении любителей, случайно забредших в паровоз и в неведении повернувших рычаг неизвестной машины: вдруг машина взревела, и мы стремительно понеслись в роковое, неизвестно куда, неизвестно зачем; вместо зари — столб дыма в глаза; вместо духовного тепла — паровой котел паровоза. В итоге: столкновение поездов, стоны раненых. Вот как восприняли мы само собой очевидное для эстетика-скептика:

Миг еще — и нет волшебной сказки.

Вместо пути в Академию, вместо классицизма и культа красоты: «Снежная маска», «Пепел»: распыление мира в метели.

И вот когда на смену нам появились здоровые, юные, прямо-таки начавшие с перифразы Фета:

Не надо нам сказок, не надо чудес...
Возможное — только оно и прекрасно.

Мы — калеки, потерпевшие катастрофу с зарей — вдруг дружно сказали: «Нет: мы не приемлем этого». Оба мы одинаково возлюбили народную душу (знаю я теперь отчего); и оба встретились вновь, *«после дол-*

гой разлуки», как символисты (Твои слова о *Капелле*, мое письмо к Тебе после этого). *Это* мы называем символизмом, а когда пытаемся оформлять, то сходимся оба, что *в искусстве* есть еще *нечто*... Дело не в слове, не в оформлении (Ты можешь соглашаться и не соглашаться с моими статьями, оба мы можем даже поразному понимать *«Символизм»* — дело даже не в слове) — так в чем же? В служении родине? Да, но надо уметь ей служить. Нет сил *сызнова* над собою работать, нет сил сызнова вернуться к юности.

Молчите, проклятые книги,
Я вас никогда не писал...

А. Блок

Нет, спрячусь под смертные плиты,
Могила, родная мать...

А. Белый

Опять-таки — соответствие.

⟨...⟩

Теперь-то я знаю реально, что такое сказки для нас, т. е. что такое игривое отношение с телом Христовым (землею), к нам взывающей русской народной души (это к ней вопил Гоголь: «Что Ты смотришь на меня», и на этот вопль отвечает нам Штейнер: «Ваша народная душа ждет от Вас, чтобы Вы (русские) поняли, расслышали ее слова»).

Полусознательными медитациями (ворожбою) мы бессознательно кощунствовали, лишь кокетничая с Великою Страдалицею Землей Русской; отчего-то были верны наши предчувствия:

Ворожбой полоненные дни.

⟨...⟩

Целую Тебя нежно.

Твой *Б. Бугаев.*

■ ■ ■ Статьи А. Белого

■

Луг зеленый

Вспомни, вспомни луг зеленый —
Радость песен, радость пляск.

В. Брюсов

I

Общественный строй, определенно складываясь, должен отчетливо наметить основные принципы; эти принципы должны лежать в его основе.

Основные принципы общественности должны иметь свои отвлеченные основоположения. Эти основоположения должны соединять вопросы социальной техники с общими вопросами, волнующими человеческий дух.

В социологии мы часто встречаемся с понятиями *о силах*, регулирующих общественную жизнь, и направляющих *целях*. Для нас важно отчетливо уяснить себе понятие *о силе и цели*. Но понятие *о силе* наиболее разработано в механическом мировоззрении. *Целесообразность* — принцип, по существу упраздняющий детерминизм. Следует поэтому определенно очертить область механического и органического целесообразного развития общества.

При методологической раздельности непрерывности (детерминизма) и целесообразности (прерывности) вопрос о силах, механизирующих общественный строй, не может сочетаться с вопросом о целях, организующих человечество, ни в каком согласованном единстве. Поэтому возможны только два взаимно-противоположные руководящие начала общественности.

Общество может рассматриваться как мировая машина, проглатывающая всякую личность, не давая ей взамен ничего, что могло бы быть равноценным личности. При такой обстановке вопроса рушится основная теория общественного развития — теория прогресса; между тем учение о механических силах общественного развития явилось как бы одним из выводов теории прогресса.

Принимая целесообразность как руководящий принцип социальной жизни, я обязан возвыситься над своими личными целями во имя целей общественных. Но общественные цели не исчерпываются пониманием общества как некоторой самоцели. Такое понимание вновь повергло бы нас в центр механических теорий, в корне отрицающих идею прогресса. Организация целесообразности предъявляет самому обществу осуществление некоторых целей; эти цели не могут корениться в отдельных индивидуумах. Они не могут корениться и в сумме индивидуумов. Область их, стало быть,— область трансцендентного идеала.

Отсюда символизация общественных целей. Отсюда понимание общества как индивидуального организма — «Жены, облеченной в Солнце». Религиозный принцип венчает принцип социальный.

Итак:

Или общество — машина, поедающая человечество,— паровоз, безумно ревущий и затопленный человеческими телами.

Или общество — живое, цельное, нераскрытое, как бы вуалью от нас занавешенное Существо, спящая Красавица, которую некогда разбудят от сна.

II

Лик Красавицы занавешен туманным саваном механической культуры — саваном, сплетенным из черных дымов и железной проволоки телеграфа. Спит, спит Эвридика, повитая адом смерти,— тщетно Орфей сходит во ад, чтобы разбудить ее. Сонно она лепечет:

Ты ведешь — мне быть покорной.
Я должна идти — должна.
Но на взорах облик черный,
Черной смерти пелена.

В. Брюсов

Пелена черной смерти в виде фабричной гари занавешивает простирающуюся Россию, эту Красавицу, спавшую доселе глубоким сном.

Только тогда, когда будет снесено всё, препятствующее этому сну, Красавица сама должна выбрать путь: сознательной жизни или сознательной смерти,— путь целесообразного развития всех индивидуальностей взаимным проникновением и слиянием в интимную,

а следовательно религиозную жизнь, или путь автоматизма. В первом случае общество претворяется в общину. Во втором случае общество поедает человечество.

Еще недавно Россия спала. Путь жизни, как и путь смерти — были одинаково далеки от нее. Россия уподоблялась символическому образу спящей пани Катерины, душу которой украл страшный колдун, чтобы пытать и мучить ее в чуждом замке. Пани Катерина должна сознательно решить, кому она отдает свою душу: любимому ли мужу, казаку Даниле, борющемуся с иноплеменным нашествием, чтоб сохранить для своей красавицы родной аромат зеленого луга, или колдуну из страны иноземной, облеченному в жупан огненный, словно пышущий раскаленным жаром железоплавильных печей.

В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины — Красавицы, стоящей на распутье между механической мертвенностью и первобытной грубостью.

У Красавицы в сердце бьется несказанное. Но отдать душу свою несказанному значит взорвать общественный механизм и идти по религиозному пути для ковки новых форм жизни.

Вот почему, среди бесплодных споров и видимой оторванности от жизни, сама жизнь — жизнь зеленого луга — одинаково бьется в сердцах и простых, и мудрых людей русских.

III

Вот село. Сельский учитель спорит яро, долго, отягощая речь иностранными словами, вычитанными из дрянной книжонки. Зевает ослабевший помещик. Зевает волостной писарь и крестит рот.

А вот вышли из душной избы на зеленый луг. Учитель взял гитару, тряхнул длинными волосами, и здоровая русская песня грянула таким раздольем, трепетом сердечным: «Каа-к в сте-пии глуу-хоой уу-мии-раал ямщи-ик...»

И дышит луг зеленый. И тонкие злаки, волнуясь, танцуют с цветами. И над лугом встает луна. И аромат белых фиалок просится в сердце. И вспоминается тысячелетняя жизнь зеленого луга. И забытая, мировая правда — всполыхнулась, встала, в упор уставилась с горизонта, как эта большая золотая луна.

Вспоминается время, когда под луной на зеленом лугу взвивались обнаженные юноши, целомудренно кружились, завиваясь в пляске. Бархатнокрасные, испещренные пятнами, леопарды, ласково мяуча, мягко скакали вокруг юношей. И носилось над лугом бледное золото распущенных кос: то в ласковой грусти взлетали юные девушки над тонкими травами. Их серебряные хитоны, точно струи прохлады, вечно слетали, пенясь складками.

Это на зеленом лугу посвященные в жизнь несказанную вели таинственный разговор душ.

IV

В тяжелые для России январские дни мне пришлось переживать в Петербурге весь ужас событий. Что-то доселе спавшее всколыхнулось. Почва зашаталась под ногами.

Как-то странно было идти на зрелище, устраиваемое иностранной плясуньей.

Но я пошел.

И она вышла, легкая, радостная, с детским лицом. И я понял, что она — о несказанном. В ее улыбке была заря. В движеньях тела — аромат зеленого луга. Складки ее туники, точно журча, бились пенными струями, когда отдавалась она пляске вольной и чистой.

Помню счастливое лицо, юное, хотя в музыке и раздавались вопли отчаянья. Но она в муках разорвала свою душу, отдала распятию свое чистое тело пред взорами тысячной толпы. И вот неслась к высям бессмертным. Сквозь огонь улетала в прохладу, но лицо ее, осененное Духом, мерцало холодным огнем — новое, тихое, бессмертное лицо ее.

Да, светилась она, светилась именем, обретенным навеки, являя под маской античной Греции образ нашей будущей жизни — жизни счастливого человечества, предавшегося тихим пляскам на зеленых лугах.

А улицы Петербурга еще хранили следы недавних волнений.

V

Есть несказанные лица. Есть улыбки невозвратные. Есть бархатный смех заликовавших о лазури уст. Есть слова, веющие ветром,— сквозные, как золотое, облачное кружево на пылающем горизонте.

Есть слова тишины, в которых слышатся громы неимоверного приближения души к душе — громы вселенских полетов и молнии херувимской любви.

Когда тишина говорит на зеленом лугу и глаза передают глазам несказанное, когда люди, невольно брошенные в вечную глубину, к которой еще нельзя прикоснуться ни формой, ни словами, как понятен тиховейный зеленый луг, таящий воспоминания!..

Помнит он песни и пляски священного экстаза, в котором глубокие души сливались с зарей и друг с другом.

Зеленый луг хранит свою тайну. Вот почему так невыразимо щемит сердце на зеленом лугу, когда ветер, блеском озаренный, уносит сердца,— и кружит, и кружит их в тихой пляске неизреченного. Еще ближе становятся охрипшие звуки гармонии и нестройная жалоба подгородных мещан, вышедших на зеленый луг вспомнить о несказанной старине в час несказанный: «Уу-ноосии тыы маа-ее гооо-ре быы-ии-ии-стра-рее-чуу-шкаа с саа-боой...»

VI

Есть отношения, вполне выразимые — глубокие душевные волнения, запечатленные формой. Следует помнить, что переживание первее формы, его облекающей. Форма является как результат необходимой потребности запечатлеть переживание.

Религия есть связь переживаний. Переживания бывают единоличные и коллективные. Религия есть связь единоличных и коллективных переживаний.

Наличность единоличных переживаний необходима для образования переживаний коллективных. Форма коллективных переживаний объединяет переживающих в органически цельную замкнутую религиозную группу. Такая группа есть религиозная община, противопоставленная обществу. По граням соприкосновения между общиной и обществом возникает ряд необходимых конфликтов. Община может казаться началом, разлагающим общество. Общество являет, наоборот, общине свой лик звериный.

В религии впервые намечаются пути к запечатлению переживаний, еще не запечатленных формой. Религия поэтому всегда о будущем.

Теория Дарвина построена на сохранении рода путем полового подбора, т. е. путем отысканных и уста-

новленных форм общения и связи индивидуумов. Благодаря такому роду общения человечество, сохраняясь, достигает своего относительного бессмертия даже при наличности существующих пространственно-временных форм.

Религия есть своего рода подбор переживаний, к которым еще не найдены формы. Жизнь общины основана на подборе и расположении переживаний отдельных членов, как скоро в переживаниях своих они соединяются друг с другом. Понятно, что только в общине куются новые формы жизни.

Подбор переживаний первее подбора форм (социального, полового и т. д.). Подбор форм не может осуществиться ранее подбора переживаний.

Вот почему религия, устанавливая общение между людьми в переживаниях, которым еще не найдены формы, всегда *реальна* еще неоформленной реальностью. Религия, как и Дарвинова теория,— явление *подбора*.

Религия всегда предвкушает новые формы жизни: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откровение).

Я утверждаюсь для окружающих меня людей не в переживаниях, меня преобразующих, а в формах, меня образовавших. Форма — это переживания, некогда воплощенные, а теперь потухающие, ибо они вогнаны в инстинкт.

Совокупность форм, меня определяющих, очерчивает мой пространственно-временной образ. Но в душе моей живет неоформленное, неизреченное, мое взволнованное счастье. В душе я — обладатель «нового имени, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откровение). Это новое имя начертано согласно Откровению Иоанна на *белом камне* души.

Я для других — нераскрытая загадка. Если окружающим меня людям смутно мерещится невоплощенная глубина жизни, они с невольным трепетом взглянут на меня то с надеждой, то с опасением. Им будет казаться, что я *нечто* утаиваю от них.

Те немногие, которые определили пережитые и оковавшие нас формы жизни,— те узнают во мне своего тайного друга. Они поймут, что мы обречены на совместное отыскивание новых форм, потому что невыразимая тишина нас соединила: там, в бирюзовой, как небо,

тишине, встречаются наши души; и когда из этих бирюзовых пространств мы глядим друг на друга бирюзовыми пространствами глаз, невольный вихрь кружит души наши. И бирюзовое небо над нами становится нашей общей единой Душой — Душой Мира. Крик ласточек, безумно жгучий, разрывает пространство и ранит сердце неслыханной близостью. Над нами поет голубая птица Вечности, и в сердцах наших просыпается голубая, неслыханная любовь — любовь, *в белизне засквозившая бездной.*

И мы видим *одно*, слышим *одно*, в формах неоформленное. Установленные формы становятся средством намекнуть о том, что еще должно оформиться. Тут начинается особого рода символизм, свойственный нашей эпохе. В ней намечаются методы образования новых форм жизни.

Так совершается подбор переживаний. Так намечается остов будущей общины. Так преображается мертвенная жизнь общества в жизнь, как вином озаренную жертвенной кровью любовного причастия.

Я начинаю сознавать, что когда-нибудь буду — *раскроюсь для близких в новом для меня имени.*

Белый камень, мне данный, прорастет благоухающими лилиями и розами. Я стану сам, как лилия полевая, тихо зыблемая на зеленом лугу.

VII

Есть тайная связь всех тех, кто перешагнул за грань оформленного. Они знают друг друга. Пусть не знает каждый о себе, другой, взглянув на него несказанным, взволнует, откроет, укажет.

Бирюзовая сеть неба опутает сердца посвященных — бирюзовые нити навеки скрепят. Души становятся, что зори.

Душа одного — вся розовая зорька, задумчиво смеющаяся нетленной радостью. Душа другого — бархатнопьяный закатный пурпур. А вот душа — прекрасная шкура рыси, тревогой глянувшая с горизонта.

Когда я один, родственные души не покидают меня. Мы всегда совершаем полет наш — *возвращение наше* — на голубую, старинную родину, свои объятья распростершую над нами. Ты близка нам, родина, голубая, как небо,— голубая, как наши затосковавшие о небе души. Голубое пространство наших душ и голубое небо,

нам смеющееся,— одна реальность, один символ, высветляемый зорями наших восхождений и приближений. Вижу, вижу, тебя, розовая зорька — знаю, откуда ты! И душа моя, черная ласточка, канувшая в небо, с визгом несется тебе навстречу.

Я знаю, мы вместе. Мы идем к одному. Мы — вечные, вольные. Души наши закружились в вольной пляске великого Ветра. Это — Ветер Освобождения.

Он качает цветы на зеленом лугу, и цветы посылают цветам свое ласковое благоволение.

VIII

Россия — большой луг, зеленый. На лугу раскинулись города, селенья, фабрики.

Искони был вольный простор. Серебрилась ковыль. Одинокий казак заливался песнью, несясь вдоль пространств, над Днепром — несясь к молодой жене Катерине.

Пани Катерина, ясное солнышко, ты в терему,

Открыла веселые окна.
День смеялся и гас: ты следила одна
Облаков розоватых волокна.

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои».

Но пришел из стран заморских пан, назвавшийся отцом твоим, Катерина,— казак в красном жупане; пришел и потянул из фляжки черную воду, и вот стали говорить в народе, будто колдун *опять* показался в этих местах. И все предались болезненным снам. И сама ты заснула в горнице, пани Катерина, и вот чудится тебе, будто пани Катерина пляшет на зеленом лугу, озаренная красным светом месяца — то не месяц, то старый пан, как отец — казак, в красном, задышавшем пламенем жупане, на нее уставился.

Эй, берегись...

Пани Катерина, безумная, что завертелась бесцельно в степи, одна, когда муж твой лежит неотмщенный, простреленный на зеленых лугах? Он защищал родные луга от поганого нашествия.

Эй, безумная, ну чего ты пляшешь, когда дитя твое, твоя будущность — задушена?..

Но нет, еще есть время, сонная пани: еще жив твой муж, еще дитя твое — твоя будущность — не погибло, а ты пляшешь во сне, озаренная красным светом меся-

ца... То не месяц: то неведомый казак, тебе из заморских стран ужас приносящий... Вот покрывает он зеленые луга сетью мертвых городов; вот занавешивает небо черным пологом фабричных труб — не казак, а колдун, отравляющий свободный воздух родного неба — души.

Россия, проснись: ты не пани Катерина — чего там в прятки играть! Ведь душа твоя Мировая. Верни себе Душу, над которой надмывается чудовище в огненном жупане: проснись, и даны тебе будут крылья большого орла, чтоб спасаться от страшного пана, называющего себя твоим отцом.

Не отец он тебе, казак в красном жупане, а оборотень — Змей Горыныч, собирающийся похитить тебя и дитя твое пожрать.

IX

Верю в Россию. Она — будет. Мы — будем. Будут люди. Будут новые времена и новые пространства. Россия — большой луг, зеленый, зацветающий цветами.

Когда я смотрю на голубое небо, я знаю, что это — небо моей души. Но еще полней моя радость от сознания, что небо моей души, родное небо.

Верю в небесную судьбу моей родины, моей матери.

Мы пока молчим. Мы о будущем. Никто нас не знает, но мы знаем друг друга — мы, чьи новые имена восходят в душах вечными солнцами. Голубое счастье нам открыто, и в голубом счастье тонут, вижжат, и кружатся, и носятся — ласточки.

Мы говорим о пустяках, но наши души — души посвященных в тишину — вечно улыбаются друг другу.

И зеленый луг хранит воспоминания. И сидишь, успокоенный на зеленом лугу. Там... из села, раздаются звуки гармоники, и молодые голоса заливаются тоской на зеленом лугу:

«Каа-к в стее-пии глуу-хоой паа-мии-раал ямщиик».

1905

Блок.

«Нечаянная радость»

Блок — один из виднейших современных русских поэтов. Поклонники могут его восхвалять. Враги — бранить. Верно одно: с ним необходимо считаться. Рядом с именами Мережковского, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус и Сологуба в поэзии мы неизменно присоединяем теперь имя Александра Блока. Первый сборник стихов поэта появился только в 1905 году. Тем не менее есть уже школа Блока. Недавно хлынула на нас волна бальмонтистов. Большинство молодых подражает ныне Валерию Брюсову. Тем не менее есть у нас и «*блокисты*».

Критика часто выводит русский символизм из французского. Это ошибочно. Русский символизм и глубже, и почвеннее. Виднейшие его представители кровно связаны с отечественной литературой и поэзией. Достоевский, Гоголь и Чехов оспоривают у Ницше, Ибсена и Гамсуна влияние на молодую русскую литературу. Фет, Лермонтов, Баратынский, Тютчев больше влияли на наших поэтов, нежели Бодлер, Верлен, Метерлинк, Роденбах и Верхарн. Лучшие поэты наших дней кровно связаны с нашим славным прошлым, хотя подражатели их, соединенные с ними только общими недостатками, ничего не имеют общего с классиками. Блок принадлежит к первым. «*Блокисты*» — ко вторым.

Любой поэт в росте своем определим рядом перекрестных влияний, кующих его стих, сообщающих стиху структуру и ритм, а поэту также и выбор тем. Эти влияния, соединяясь в новое единство, определяют исходную точку развития любого творчества, как бы ни было оно самостоятельно.

Даже поверхностное рассмотрение поэзии А. Блока убеждает нас в несомненном влиянии на него Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева, Гиппиус и Сологуба. Из иностранных поэтов больше других влиял на него Метерлинк. Если бы мы не боялись историко-литературных определений, мы могли бы назвать его русским Метерлинком, без аристократизма, свойственного этому поэту, но с большей близостью к истокам души народной. Впрочем, мы не стоим за это сравнение.

Останавливаясь на творчестве поэта, отправляешься из разных источников характеристики. Можно опреде-

лить идейное содержание творчества или анализировать структуру стиха. В том и другом случае приходится исходить из прошлого, устанавливая преемственность поэта, или из будущего, намечая цели, к которым он идет. То и другое определение, в отдельности взятое, не исчерпывает цельной характеристики.

Каково идейное содержание высокочтимого поэта? Но тут приходится остановиться, потому что второй сборник стихов А. Блока выдвигает совершенно новые для поэта мотивы. «*Стихи о Прекрасной Даме*» окрашены совершенно определенным и весьма значительным содержанием. В неуловимых и нежных строчках поэт воспевает приближение «*вечноженственного начала*» жизни. Здесь он является продолжателем целого ряда имен. В ароматный венец его поэзии вплетены и раздумья Платона, Филона, Плотина, Шеллинга, Вл. Соловьева, и гимны Данте, Лермонтова, Фета. Древние гностики вместе с греческой философией всесторонне разработали учение о мировой душе и «вечноженственном» начале Божества. Шеллинг в сочинении «Weltseele» пытался дать учению о мировой душе естественнонаучную подкладку. Гете, Данте, Петрарка сумели из любимого образа создать символ вечноженственного, соединяя универсализм гностических догматов с индивидуальными переживаниями. Фет и Лермонтов бессознательно касались того же. Вл. Соловьев, соединяя размышления гностиков с гимнами поэтов, сказал новое слово о близком сошествии к нам лика Вечной Жены. Тут началась поэзия Блока. Тема его — глубокая. Цель его — значительная.

Вдруг он все оборвал...

В драме «*Балаганчик*» горькие издевательства над своим прошлым. Последнее время злоупотребляли плохо понятой гностикой — это правда. Но правда и то, что издевательством не опровергнешь ни Платона, ни Плотина, ни Гете, ни Данте. Ожидания могут быть неуместны. Но проблема остается проблемой. Она не терпит издевательств.

И вот во втором сборнике мы узнаем, что «*Прекрасная Дама*» не путешествует на пароходах. Вместо «*Сиянья красных лампад*» мы видим болотных чертенят, у которых «*колпачки задом наперед*». Вместо храма — болото, покрытое кочками, среди которого торчит избушка, где старик, старуха и «*кто-то*» для «*чего-то*» столетия тянут пиво. Нам становится страшно за ав-

тора. Да ведь это не «*Нечаянная Радость*», а «*Отчаянное Горе*»! В прекрасных стихах расточает автор ласки чертенятам и дракончикам. Опасные ласки! Ведь любой дракончик может вытянуться в настоящего дракона (туманы, как известно, растут). Рыцарь Жены всегда — в борьбе с Драконом. А вот превратился Дракон в дракончика, и поэт его пожалел: пожалел и пригрел. Помнит ли он, что с нечистью шутки плохи?

Но, сбросив с себя идейный балласт, поэзия А. Блока расцвела махровым, пышным цветком! Темы настроений утончились, стих стал виртуозней, гибче, роскошней. Прежде нам приходилось спорить с одним известным поэтом, утверждавшим, что «*Стихи о Прекрасной Даме*» не выражают истинный лик поэта. Поэт оказался прав. «*Нечаянная Радость*» глубже выражает сущность А. Блока. В этом отношении Блок настолько же выиграл как поэт, насколько он упал в наших глазах как предвестник будущего, потому что мы предпочитаем оставаться при загадках, загаданных мудрецом (пусть не решенных, но требующих от нас жизни для решения), нежели при издевательствах (хотя бы и поэтических, прекрасных) над этими загадками.

Второй сборник стихов А. Блока интересней, пышнее первого. Как удивительно соединен тончайший демонизм здесь с простой грустью бедной природы русской, всегда той же, всегда рыдающей ливнями, всегда сквозь слезы пугающей нас оскалом оврагов,— соединен в бирюзовой нежности просвета болотного, в вечном покое зеленых мхов. И нам страшно этого покоя: зачем эта нежность, когда она — «*прелесть*», наваждение.

И ушла в сиреневую даль,
Где дымилась весенняя таль.
Где кружилась над лесом печаль.
Но ушла к колдуну; и колдун
Закричал и запрыгал на пне
— Ты, красавица, верно — ко мне!

И нам становится больно, когда вечерняя заря обвивает не только «весеннюю проталинку», но и того, кто на ней. А на ней

Попик болотный виднеется.
Ветхая ряска над кочкой
Чернеется
Чуть заметною точкой.

Страшна, несказуема природа русская. И Блок понимает ее, как никто. Только он может сказать так:

Выхожу я в путь, открытый взорам.
Ветер гнет упругие кусты.
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Искони здесь леший морочит странников, ищущих «нового града»; искони мужичка, оседлав, погоняет Горе-горькое хворостиной. Скольких погубило оно: закричал Гоголь, заплутался тут Достоевский, тут на камне рыдал Некрасов беспомощно, здесь Толстой провалился в немоту, как в окошко болотное, и сошел с ума Глеб Успенский, много витязей здесь прикончило быть,— «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Здесь Блок становится поэтом народным.

Здесь рыскает леший, а Блок увидел *«своего полевого Христа»*. Не надо нам полевых Христов. Христос Бог да сохранит нас от таких пришествий!

Где же Та, Которую призывал поэт еще так недавно? Там, где он не кощунствует, у него вырывается:

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой.

Прекрасно поет он о наших убогих полях, так прекрасно, что мы, завороженные *«прелестью»*, начинаем верить, что все тут благополучно. Ведь здесь все *«вечно прекрасно — но сердце несчастно»*. Откуда этот стон у сказителя полей, зовущего нас к *полевому Христу, колдуну, да к попикам черным*?

Так — и чудесным очарованы —
Не избежим своей судьбы.
И в цепи новые закованы
Бредем печальные рабы.

Цепи «Прекрасной Дамы» — гирлянды роз — поэт с себя сбросил. Откуда же эти *«новые цепи»*. Не цепи ли *«болотных чертеняток»*?

Страшно, страшно, идти больше некуда в отчаянии, когда и в *«Нечаянной Радости»* (см. последний отдел сборника) из огорода капустного приходит к поэту все тот же оборотень *«Единый, Светлый — немного грустный»*, когда такую картину рисует поэт своей нечаянной радости:

И сидим мы, дурачки,—
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Уж подлинно не зачаешь такой радости! Уж подлинно нечаянная она!

«Новой радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли». (Вместо предисловия.)

Перед лицом народов сложные задачи; они требуют определенного образа решений, определенного, ясного, как Божий день, слова. И радоваться только тому, что из-за узкого мыса плывут корабли, еще рано: большие корабли часто приносят большую заразу.

«Нечанная радость» определенно пронизана все тем же воплем нищего:

Кто взманил меня на путь знакомый?
. . . .
Нищий, распевающий псалмы?

Нищий ли это странник, или горе-гореваньице? Во всяком случае не псалмы распевает нищий, а панихиду:

Со святыми меня упокой.

Сквозь бесовскую прелесть, сквозь ласки, расточаемые чертеняткам, подчас сквозь подделку под детское или просто идиотское обнажается вдруг надрыв души глубокой и чистой, как бы спрашивающей судьбу с удивительной напористостью: «Зачем, за что?» И, увидав этот образ, мы уже не только преклоняемся перед крупным талантом, не только восхищаемся совершенством и новизною стихотворной техники,— мы начинаем горячо любить обнаженную душу поэта. Мы с тревогой ожидаем от нее не только совершенной словесности, но и совершенных путей жизни.

1907

Обломки миров

«Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь,— говорит В. Брюсов.— На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя».

«Пусть поэт творит свои строчки, а не свою жизнь,— как бы возражает ему А. Блок...— На алтарь Ничего мы бросаем наше божество и себя».

Символ — соединение; символизм — соединение образов созидающей воли — для чего? Все равно, для здешней или будущей, старой или новой жизни, но жиз-

ни. Чем глубже внутренний путь, тем новее, загадочней образы, тем более усилий затрачиваем мы, современники, для опознания и переживания созданной ценности: таково было для современников появление «Заратустры».

Но есть символизм и иного рода: соединение обломков когда-то цельной действительности (той или этой), соединение первичных ассоциаций души, безвольно сложившей оружие перед роком.

За первого рода символизмом — рождающая действительность будущего, предощущаемого как греза. За второго рода символизмом — небытие, великий мрак, пустота.

Блок — талантливый изобразитель пустоты: пустота как бы съела для него действительность (ту и эту). Красота его песни — красота погибающей души: красота *«оторопи»*, а не красота созидания ценности.

Вот перед нами изящный томик в картонном переплетике; обложка Сомова, как венок из роз, венчает книгу; переверните обложку: вас встретит предисловие: «лирика не принадлежит... к областям... творчества, которые учат жизни...» Далее узнаем, что переживания лирики хаотичны; чтобы разобраться в них, нужно самому быть «немножко в этом роде»; под обложкой в предисловии встречает вас пустота мысли. Далее встречает вас ароматный венок самого творчества: символы, как розы, гирляндой закрывают смысл и цельность переживаемых драм; приподымите эту гирлянду; на вас глянет провал в пустоту; грациозно, нежно, трогательно слетают туда образы Блока током розовых лепестков.

Как атласные розы, распускались стихи Блока; изпод них сквозило «виденье, непостижимое уму» для многих его почитателей, для нас, когда-то пламенных его поклонников, встретивших его как созидателей новых ценностей. Но когда облетел покров его музы (раскрылись розы) — в каждой розе сидела гусеница,— правда, красивая гусеница (бывают красивые насекомые — золотые, изумрудные жуки), но все же гусеница; из гусениц вылупились всякие попики и чертенята, питавшиеся лепестками небесных (для нас) зорь поэта; с той минуты стих поэта окреп. Блок, казавшийся действительным мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого, прекрасного поэта гусениц; но зато мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой

гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину, нечто в роде«$\sqrt{-1}$»); призыв к жизни (той или этой — вообще новой жизни) оказался призывом к смерти.

Но далее: Блок стал еще более совершенным техником, а Незнакомка, Смерть, жизнь, проститутки, рыцари, кабачки — все, к чему ни касался Блок, превращалось в изящный, как изящная виньетка, покров над... чем? И вот в «драмах» оказалось, что это «*что-то*» есть... большое «Ничто». Сначала распылил мир явлений, потом распылил мир сущностей. «Драмы» Блока — обломки рухнувших миров (того и этого), как попало соединенные в своем полете в пустоту: здесь к реальному образу приставлена голова Небесного Виденья, там к образу Виденья приставлена голова восковой Клеопатры, или чертяки, или даже голова из сыра «*бри*» — всё равно; ведь сила своеобразной прелести рыдающих драм Блока (которые рыдают всем, чем угодно: Бетховеном, камаринской и т. д.) в том, что в них нет ничего, они — ни о чем; «ряд встающих двойников — бег предлунных облаков». Лирика Блока, разорванная в клочки драма, не перешла в драму; драма предполагает борьбу или гибель за что-то: в драмах Блока гибель ни за что, ни про что: так, гибель для гибели. Лирика разорвалась и только; и все просыпалось в пустоту. Мы читаем и любуемся, а ведь тут погибла душа, не *во имя*, а так себе: «ужас, ужас, ужас!»

Без связи, без цели, без драматического смысла мягко струит на нас гибнущая душа ряд своих образов: символизм — ряд синематографических ассоциаций, бессвязность — вот смысл блоковской драмы. Пусть читатель не примет мои слова за осуждение этих «*драм*»: в них есть особая красота «*оторопи*», красота мертвенности.

«Коса смерти — коса девушки: девушка с косой (волос) за плечами, но с косой смерти в руках» — вот ход ассоциаций Блока. «Корабли плывут» в «Короле на площади». Далее в «Незнакомке» эти корабли уже бумажные корабли: тем не менее, они уплывают, подобно картонной невесте (пресловутой девушке с косой и «косой»), которая тоже куда-то исчезает.

«Человек в пальто (*громко, как ружейный залп*): Бри! Собеседник. Ну это... это... знаете. Человек в пальто (*угрожающе*): Что знаете? (*Все вертится*)» (1-е действие «Незнакомки»).

Через действие.

«Из общего разговора доносятся слова: «рокфор», «камамбер». Вдруг толстый человек... выскакивает на середину комнаты с криком: «Бри!» Поэт сразу останавливается. Мгновение кажется, что он вспомнил «все» (3-е действие «Незнакомки»).

Попробуйте подойти к драмам Блока с точки зрения цели, смысла, ценности. «Бри» — и все тут! Вот безвольно вырастает чудесный образ, но как ружейный залп пустота выпаливает: «Бри!» И подстреленная, насмерть подстреленная душа струит на нас синематограф образов. И если есть захват в драмах Блока, если плачем мы вместе с поэтом, то плачем мы не над героями его (его герои — картонные манекены), плачем над драмой самого Блока. С нежной улыбкой погибающего вырезывает он свои картонажи и вот: мистики ждут смерти, Пьеро — невесту; приходит невеста с косою за плечами — мистики думают, что коса не за плечами, а в руках; Коломбина верна Пьеро, Арлекин, пропев четверостишие, уводит Коломбину, автор врывается в картонный мир; Арлекин проваливается в бумажную бездну, в разрывах бумаги появляется невеста с двумя косами (косой и «косой»). В заключение Пьеро играет на дудочке.

«Бри» — и все тут.

Вы говорите, нельзя понять драм Блока; да их нечего понимать: их надо пропустить сквозь себя: ведь это обломки ценностей, которым, быть может, молился поэт. Захватывающая сила этих драм есть бесцельная тризна поэта над своей душой, которая и себя, и свои кумиры бросила на алтарь... пустоты. Эту тризну я слышу и сейчас и болезненной любовью, любовью-жалостью принимаю я плач больной души над собой: плач и насмешка от чистого сердца.

«Бри» — и все тут!

Эта изящная книжечка — не заурядное явление нашей художественной жизни: Блок — незабываемый изобразитель «*пустых*» ужасов: тут перед вами бесшумный провал всего, что вообще может провалиться. Искренностью *провала, краха, банкротства* покупается сила впечатления и смысл этой «*бессмысленности*»: *но... какою ценой?*

«Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь,— говорит Брюсов...— на алтарь нашего божества мы бросаем самих себя».

«Пусть поэт творит свои строчки: поэт вообще — это строчка с пишущим аппаратом в виде так называемой человеческой личности»,— отвечает А. Блок.

1908

■

Вместо предисловия

⟨к сборнику «Пепел», 1909⟩

Да, и жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота, и страдания пролетария — все это объекты художественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака, потому что то и другое в художественном изображении — символы некоей реальности: фантастика, быт, тенденция, философское размышление предопределены в искусстве живым отношением художника. И потому-то *действительность* всегда выше искусства; и потому-то художник — прежде всего *человек*. Но чтобы жизнь была действительностью, а не хаосом синематографических ассоциаций, чтобы жизнь была жизнью, а не прозябанием, необходимо служение вечным ценностям; такими ценностями могут быть и идеальные стремления нашего духа, и неизменность в переживании факторов реального бытия — и заря, и келья — символы ценностей, если художник вкладывает в них свою душу; то, что создает из случайного переживания, мысли или конкретного факта ценность, есть долг. Основные ценности не могут меняться, меняется форма их: идти к этим ценностям — долг человека, а потому и художника. Долг пуст и формален, взятый безотносительно к жизни; жизнь хаотична и бессмысленна, не оформленная определенным волевым устремлением, соединение долга с жизнью — вот ценность. Своеобразное соединение художественного переживания (объект этого переживания безразличен) с внутренним велением долга определяет путь художника, создает из него символиста: *художник всегда символист; символ всегда реален* (в каких бы образах ни выражался он); символизм — всегда есть показатель того, что формой образа художник указывает нам на свой сокровенный, незыблемый путь; эзотеризм присущ

искусству: под *маской* (эстетической формой) таится указание на то, что самое искусство есть один из путей достижения высших целей. В высочайшей тайне своей, укрытой под эстетикой, художник *опять, вторично* возвращается к людям: и потому-то в заявлении художника о своем праве быть свободным кроется огромная тяжесть ответственности: и если он восстает против той или иной формы символизации ценностей, то вовсе не потому, что не верит в ценности: художник может нам казаться кощунственным, когда он называет идолами наших богов: но если он назовет идолом и свое божество, то «*последнее кощунство*» ему не простится; тут он перестает быть человеком, тут он не символист, не реален он. Тут мы ему не прощаем, потому что «*не во имя свое*» мы приближаемся к нему, «*не во имя свое*» он зовет нас: нас соединяет с ним общий путь, общий долг, *как людей.*

Теперь, когда понятие о свободе и долге, искусстве и жизни, молитве и кощунстве, символизме и реализме, заре и кабаке перепутались, я считаю нужным сказать эти простые слова о том, что я требую от искусства, чего жду от художника и как понимаю символизм.

В предлагаемом сборнике собраны скромные, незатейливые стихи, объединенные в циклы; циклы, в свою очередь, связаны в одно целое: целое — беспредметное пространство, и в нем оскудевающий центр России. Капитализм еще не создал у нас таких центров в городах, как на Западе, но уже разлагает сельскую общину; и потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, деревеньками — живой символ разрушения и смерти патриархального быта. Эта смерть и это разрушение широкой волной подмывают села, усадьбы; а в городах вырастает бред капиталистической культуры.

Лейтмотив сборника определяет невольный пессимизм, рождающийся из взгляда на современную Россию (пространство давит, беспредметность страшит — вырастают марева: горе-гореваньице, осинка, бурьян и т. д.). Спешу оговориться: преобладание мрачных тонов в предлагаемой книге над светлыми вовсе не свидетельствует о том, что автор — пессимист.

В свой сборник я поместил до 40 еще не напечатанных стихотворений, а также до 20 стихотворений, значительно переработанных с точки зрения основного лейтмотива, как-то:«*Поповна*», «*Телеграфист*», «*Бурьян*», «*Каторжник*», «*Осинка*» и многие другие.

Сюда не вошли почти все стихотворения 1907 года, а также ряд стихотворений 1908 года, как не согласные с идеей сборника.

Считаю нужным заметить, что в «Пепле» собраны наиболее доступные по простоте произведения мои, долженствующие составить подготовительную ступень к «*Симфониям*»; и что смысл моих переживаний в данной книге периферичен по отношению к «*Симфониям*», особенно к «*Кубку Метелей*», единственной книге, которой я более или менее доволен и для понимания которой надо быть немного «*эзотериком*». Брань, которой встретила критика мою книгу, и непонимание ее со стороны лиц, сочувствовавших доселе моей литературной деятельности,— все это укрепляет меня в мысли, что оценка этого произведения (окончательное осуждение или признание) в будущем: судить можно то, что понимаешь, а наиболее сокровенные символы души требуют вдумчивого отношения со стороны критиков: неудивительно, что произведение, выношенное годами, они встретили только как забавный парадокс.

Автор

Предисловие

⟨к сборнику «Пепел», 1929⟩

Темы «*Пепла*» рождались в сознании автора в эпоху 1904—1906 годов, когда перед его художественным оком стояла картина тогдашней России; и тема эта завершалась лирически в 1907—1908 годах. Через 20 с лишком лет, возвращаясь к пересмотру материала стихов, автор впервые увидел, до чего его лирическое «я» отразило политические моменты эпохи 1904—1906 годов; эти моменты: революционный взрыв, его внешний слом, распыление революционных энергий, отчасти, перерождение и вырождение их в отчаяние и субъективизм; с 1907 года уже выступают на поверхности разгромленной жизни темы огарочничества, крайнего субъективизма, индивидуального террора; это эпоха переживаемого отчаяния с решительным «*нет*», видимо, оправившемуся царизму и буржуазии.

Художественные произведения, отразившие момент, изучаемы; признавая за «*Пеплом*» ряд художественных недочетов, я, тем не менее, вижу и ряд оснований, заставляющих меня возобновить издание.

Во-первых, книга, отпечатанная в 1908 году в ограниченном количестве экземпляров, была вскоре же распродана, а вопрос о возобновлении издания с 1910 года мало меня интересовал; с 1917 года вступают в силу трудности переиздания (бумажный кризис и т. д.). Книга современному читателю неизвестна; а она заслуживает некоторого внимания; неспроста первое издание посвящено Некрасову; «*Пепел*» — не подражание Некрасову, а созвучие органическое (разумеется, 1905 года, не 60-е годы).

«*Пепел*» — не только исторический документ, но и право мое ожидать некоторого внимания к стихам, написанным скоро тому назад четверть века; и если в некоем разрезе Некрасов не устарел, то и «*Пепел*» не вовсе устарел.

«*Пепел*» я переиздаю с некоторым видоизменением; я его сильно сокращаю; я прилагаю к нему 2—3 стихотворения, написанных гораздо позднее «*Пепла*», но в теме «*Пепла*»; я прилагаю несколько стихотворений, черновик которых был написан в эпоху «*Пепла*»; они не появились в печати или по цензурным соображениям, или потому, что после «*Пепла*» я отдавал в печать стихотворения «*Урны*» и других сборников; лирические эмбрионы, пережитые и недописанные, остались ненапечатанными; к этому изданию я их доработал; таковы: «*Декабрь*», «*Помойная яма*», «*Японец, возьми*» и т. д.; они лишь дорисовывают уже данную в 1908 году основную линию «*Пепла*». Наконец, ряд стихотворений я то слегка, то существенней ретушировал в техническом отношении; но это — право автора с более зрелой техникой по отношению к технике еще не окрепшей; пришить пуговицу к толстовке — право носящего эту толстовку (при ее наличии). Стихотворения с правкой я помечаю двумя годами: годом написания и годом ретуши; например, 07 (25) (правлено в 1925-м, написано в 1907-м).

Композиция стихов в отделы являет самую тему «*Пепла*» в виде лирической поэмы в 4-х частях: герой «*Пепла*» — шатун, бродяга, люмпен-пролетарий; нарисована его судьба; в «*Глухой России*» он ищет свободы и воли, а перед ним встают «Лихие места»: «Глухая Россия» — лихое место.

Город? Но город 1908 года — «*Мертвый город*»; этот город рисует 2-й отдел; в отделе «*В полях*» — попытка отдаться деревенской природе: попытка к «*Во здравие*»; но она оканчивается в отделе «*Злая деревня*» полным

«Заупокоем»; Россия 1904—1908 годов — кошмар; и *«Бобыли»*, *«Бродяги»* именно потому что *«Бобыли»* — сходят с ума: ноты безумия и анархического субъективизма правомерно отражены в этой «Драме» моего «Бродяги».

Прошу читателей не смешивать с ним меня: лирическое «я» есть «мы» зарисовываемых сознаний, а вовсе не «я» Б. Н. Бугаева (Андрея Белого), в 1908 году *не бегавшего по полям*, но изучавшего проблемы логики и стиховедения.

Андрей Белый

Кучино, 28 года. Ноябрь



Революция и культура

Как подземный удар, разбивающий все, предстает революция; предстает ураганом, сметающим формы; и изваянием, камнем застыла скульптурная форма. Революция напоминает природу: грозу, наводнение, водопад; все в ней бьет *«через край»*, все чрезмерно.

В умелом *«чуть-чуть»* создается гармония контуров Аполлоновой статуи.

Обилие произведений искусства обычно в предреволюционное время; и — после. Наоборот: напряженность художеств ослаблена в миг революции.

Меж революцией и искусством установима теснейшая связь; но эту связь нелегко обнаружить: она сокровенна; неуловима прямая зависимость завершенных творений искусства от волн революции: направления роста стеблей и корней из единого центра обратны друг другу; рост проявленной творческой формы и рост революции тоже обратны друг другу.

Но центр роста один.

Произведения искусства суть формы культуры, предполагающей *культ*, т. е. бережный, кропотливый уход, предполагающей непрерывность развития; вся культура искусств обусловлена эволюцией.

Как подземный удар, разбивающий все, предстает революция; эволюция — в непрерывности формования жизни; в эволюции революционная лава твердеет в пло-

доносящую землю, чтобы из семени встал зеленеющий юный росток.

Цвет культуры — *зеленый*, и цвет революции — огненный. С точки зрения этой изорвана эволюция человечества революционными взрывами; то бежит раскаленная лава *кровавым* потоком по зеленеющим склонам вулкана, то по ним пробегает *зеленая* поросль культуры, скрывая остывшую, оземляневшую лаву; революционные взрывы сменяют волну эволюций; но их кроют покровы бегущих за ними культур; за зеленым покровом блистает кровавое пламя, и за пламенем этим опять зеленеет листва; но *зеленый* цвет дополнителен *красному*.

Пересечение революционных и эволюционных энергий, *зеленого* с *красным*,— в блистающей белизне Аполлонова света: в искусстве. Но этот свет есть невидимый свет (видима, как мы знаем, поверхность свечения): искусство духовно.

Материальное выраженье его есть недолжное, временное уплотнение культуры; в нем искусство, культурный продукт, есть предмет потребленья: товарная ценность, фетиш, идол, звонкие, разменные деньги. Таковые продукты культуры, подобно подброшенным в воздухе грузом, остановившиеся, падают, как курок на пистон. Энергией революционного взрыва ответствует творческий, их породивший процесс.

Превращенье культурной, формующей силы в продукт потребления превращает хлеб жизни в черствеющий, мертвенный камень; он куется в монету; и копится капитал. Видоизменяются формы культуры; наука приобретает технический, узкопрактический смысл; и гастрономией процветает эстетика: золотеющим отблеском солнца обогащают себя, как червонцами; и, как в шелка, облекаются нежные колориты зари; в творчестве правовых отношений царит принудительный кнут, как полицейская мера для обуздания всё растущего эгоизма утонченной чувствительности; то, что было когда-то игрою моральных фантазий, предстает теперь властью; сила власти без творчества, в свою очередь, оплотневает, как власть принудительной силы; и карающим молотом высекает она Прометеев огонь из груди.

Прометеев духовный огонь есть очаг революции в предреволюционное время; он — бунт против фальши подмены: текучей, пластической формы ее материальным каркасом; революция начинается в духе; в ней мы

видим восстание на материальную плоть; выявление духовного облика наступает позднее; в революции экономических и правовых отношений мы видим последствия революционно-духовной волны; в пламенном энтузиазме она начинается; ее окончание — опять-таки в духе: в семицветной заре, восстающей из брызг: в романтической, тихой, сияющей радуге новорожденной культуры.

Неоформленность содержания революций порой угрожает культуре; обратно: насильственный штемпель на ценностях и продуктах культуры, взгляд на них как на ходкий товар обладает магическим свойством, он становится прикосновеньем Мидаса; прикосновенье Мидаса, гласит мифология, превращало предметы в куски неподвижных металлов; прикосновение грубой власти к культуре сжимает свободу течения жизни; в государственном капитализме культура — продукт; в революции искусство — процесс, не имеющий явственной, проявленной формы; здесь продукт и процесс противопоставлены; буйственно бьющая мощь противопоставлена дремлющей, тяжелеющей косности.

Цвет культуры, *зеленый*, и цвет революции, *красный*, одинаково суть отвлечения от единого, белого, материально не зримого цвета: Аполлонов свет творчества есть воистину свет духовный. И он — светоч миру.

Средь культурных, законченных форм и искусство — культурная форма; тем не менее в недрах его совершается революционно-духовный процесс; противоречие в свое время осознано Ницше; и — принято нами. Примирение в трагедии творящей души; здесь процесс сотворения есть кованье меча, долженствующего нам разбить цепи рока, сотканные с прошлым: продукты, созданные нами и очертившие оплотневший магический круг; встреча с роком как с собственным двойником есть огромная сила трагедии; раздвоение в жизни искусств примиряется в осознании раздвоения «я» человека: его высшее «я» начинает борьбу с косным «я». От исхода борьбы изменяется всё течение творчеств отставшей культуры; столкновения революции и культуры — диалог двух «я» человеческих в проявлениях общественной жизни.

Корень всех трагических столкновений есть воистину встреча моя с моим собственным «я»; корень всех проявлений искусства — трагедия; и поэтому нам понятно:

борьба человека и рока друг с другом отражена в построении трагедией порождаемых форм; из первичной трагедии выпали все первичные формы; двойственность их отменила все. Эта двойственность в том, что, с одной стороны, произведенье искусства не ограничено временем, местом и формою; и — безгранично оно расширяет себя в наших недрах души; а, с другой стороны, оно — форма во времени, в определенном пространстве; и — неподвижно закована в материале.

Место статуи — определенно: в Музее ее охраняют от взора музейные стены; чтоб увидеть ее, необходимо мне совершить путешествие в определенную местность и, быть может, подолгу искать ее скрывший музей; но, с другой стороны, эту статую я уношу из ее оболочки в моем восприятии; восприятие — навеки со мною; над ним я работаю; из работы моей возникают подвижные поросли великолепнейших образов; неподвижная статуя в них течет, в них растет, как зерно в прорастающей, ветром зыблемой ниве, и льется вовне рядом статуй и красочных звуков, исходит дождями сонетов; впечатление их творится опять-таки в им внимающих душах. Неподвижная статуя ожила в *становлении*; в нем раскрыта, как роза, когда-то единая форма искусства; и в нем же раскрыта природа процессов, создавших ее: вторая природа — природы, нам данной; природа и формы искусства — во мне протекающий огненный, революционный процесс, не имеющий формы, невидимый окоп: во мне и в сочувственных душах когда-то застывшая статуя прядает ясными струями тысячемысленных чувств.

Жизнь лица — в выражениях; центр лица — не глаза, а мгновенно зажегшийся взгляд; вот он есть, вот — и нет его вовсе; не изваять его в мрамор; жизнь лица изобразима в искусстве не прямо, а своеродными, условными средствами. И такими же средствами выражаема буря общественной жизни; прямых соответствий здесь нет никогда. Рассудочны все обычные проведения параллелей меж искусством и струями революций; абстрактно вменение тенденциозных эстетик: живописать революцию серией протоколов и фотографий, ее брать сюжетом ее и т. д. Вдохновение есть создание образов, не совпадающих с вдохновляющим образом. Вдохновляющий образ Сикстинской Мадонны взрывает в душе бури образов, арабесок, градацию симфонических звуков; и под пеною их разверзается голубая беззвучная

немота; не в описанье Мадонны — Мадонна; нет, скорее она в переливах вздыхающей лиры Новалиса.

Революция, проливаяся в душу поэтов, оттуда растет не как образ действительно бывший; нет, она вырастает скорей *голубыми* цветами романтики и золотом солнца; и золото солнца, и нежная нега лазури обратно влекут революцию с большей стихийностью, чем нелепо составленный революционный сюжет.

Я напомню читателю: 1905 год в жизни творчества — что нам подлинно дал? Многообразие бледнейших рассказов о бомбах, расстрелах, жандармах. Но отразился он ярко — поздней; и — отражается ныне; революция по отношению к бледным рассказам революционной эпохи осталась живым, полным жизни лицом, в нас вперенным; все же снимки с нее — суть портреты без взгляда; 1905 год оживает позднее в волнующих строфах поэзии Гиппиус; но эти строфы написаны вольно, в них нет фотографии; произведенье искусства с сюжетом на тему суть слепки из гипса с живого лица; и таковыми являются вялые славословья поэтов в рифмованных строчках: «свобода», «народа»; но знаю наверное я: в колоссальнейших образах отобразится великая русская революция в ближайшей эпохе с тем большею силой, чем меньше художники слова будут ее профанировать в наши грозные дни.

Революцию взять сюжетом почти невозможно в эпоху теченья ее; и невозможно потребовать от поэтов, художников, музыкантов, чтобы они восхваляли ее в дифирамбах и гимнах; этим гимнам, мгновенно написанным и напечатанным завтра на рыхлой, газетной бумаге, признаться, не верю; потрясение, радость, восторг погружают нас в немоту; целомудренно я молчу о священных событиях моей внутренней жизни; и потому-то противны мне были недавние вопли поэтов на темы войны; и потому-то все те, кто сейчас изливает поверхность души в очень гладко рифмованных строчках по поводу мирового события — никогда не скажут о нем своего правдивого слова; быть может, о нем скажет слово свое не теперь, а потом главным образом тот, кто молчит.

Революция — акт зачатия творческих форм, созревающих в десятилетиях; после акта зачатия зачавшая временно блекнет; ее жизнь не в цветении, а в приливе питающих соков к... младенцу; в момент революции временно блекнут цветы перед нами процветших ис-

кусств; оболочка их вянет: так вянут ланиты беременных женщин; но в угасании внешнего блеска — сияние скрытой красоты; прекрасно молчание творчеств в минуту глаголящей жизни; вмешательство их голосов в ее бурную речь наступает тогда, когда речь будет сказана.

Мне рисуется жест художника в революционном периоде; это есть жест отдачи себя, жест забвенья себя как жреца красоты: ощущенье себя рядовым гражданином всеобщего дела; вспомните огромного Вагнера: он, услышавши пение революционной толпы, взмахом палочки обрывает симфонию и, бросаясь с дирижерского пульта, убегает к толпе: говорит; и — спасается бегством из Лейпцига; Вагнер мог бы написать великолепные дифирамбы; и дирижировать ими... в Швейцарии; но дифирамбов не пишет он вовсе, а... обрывает симфонию: забывает достоинство мудрого охранителя культа; ощущает себя рядовым агитатором. Но это вовсе не значит, что жизнь революции не отразилась в художнике; нет, глубоко запала она,— так глубоко запала в душе, что в момент революции гений Вагнера онемел: то была немота потрясенья; она разразилась позднее огромными взрывами: тетралогией *«Нибелунгов»*, живописаньем сверженья кумиров и торжеством человека над гнетом отживших божеств; отразилась она заклинательным взрывом огней революции, охватившим Вальгаллу.

Вагнер — подлинный революционер в своей сфере, как Ибсен, переживавший события сорок восьмого года с отзывчивой пылкостью; в диалоге Ибсена — взрыв драматургии; да, печать революции духа сверкает на нем. И Вагнер, и Ибсен в себе отразили стихию; меж революцией и проявлением их творчеств не явная, но теснейшая связь. Но еще большая связь их с начавшейся революционной эпохой: предреволюционное время окрашено отблесками набегающих революционных огней; эти отблески почиют на искусствах.

Революция — проявление творческих сил; в оформлениях жизни тем силам нет места, содержание жизни текуче; оно утекло из-под форм: формы ссохлись давно; в них бесформенность бьет из подполья. Оформление — выявление содержанья вовне; но в обычных условиях жизни процесс оформления заменен уплотнением, образующим вместо форм неподвижные накипи; все абстракции и все материальные формы суть накипи собственно форм, ненормальные отложения на форме, напоминаю-

щие отложения кожи: какие-то роговые щиты; в оформлениях жизни они образуют недвижный и косно растущий балласт; так скелет внутри нас: предстает в его образе смерть; наш скелет — не живой отпечаток живого пластического образа в минеральной материи; в этом смысле он труп: мы его отлагаем в себе; и отлагая в себе, мы его за собою таскаем; мы словно прикованы к трупу жизни; но это не значит, что мы суть скелеты; пока живы мы, скелет спрятан; выступает из нас наша *«смерть»* лишь позднее, когда отлетит дух движения из разложившихся тканей; вот такое-то выступленье *«скелета»* из жизненной формы до смерти являет собою подмена процесса творения отбросом: материальным продуктом; и такое же точно явленье *«скелета»* до смерти — распад диалектики мысли на отдельные части свои: на неживые понятия; эти понятия — кости; номенклатура их есть система костей: сотворенье скелета. Мы себе сотворяем досмертную смерть, механизируем процесс эволюции. В нашей мертвенной мысли плоть жизни разложена на элементы материи; оттого-то законы движения материальных продуктов (товаров) — нам становятся и законами проявлений общественной жизни; так сведе́ние сил лишь к механике экономических отношений — преждевременно выявляет из нас наш скелет, на которого изливаем мы наше страшное вдохновение; и мертвец механически увлекает нас за собой — в мир машинного производства; символ смерти — скелет; и подобье скелета — машина; этот новый гомункул, машина, восставши из нас, увлекает нас в смерть; неосторожное обращенье с машинами, переоценка машин, есть источник катастроф обставшей действительности; и оттого-то процессы творения жизни уже не играют существенной роли в эволюционной действительности: в эволюции (так, как мы понимаем ее) изучаем мы только процессы движений товарных вагонов; и нагрузку их зернами; не изучаем процессы мы жизни зерна внутри колоса и — наливание колоса.

В механическом взгляде на жизнь революция — взрыв, обрывающий мертвую форму в бесформенный хаос; но ее выражение иное: скорее она есть давление силы ростка, разрыванье ростком семянной оболочки, пророст материнского организма в таинственном акте рождения; революцию в таком случае с полным правом мы можем назвать *инволюцией* — воплощением духа в условия органической жизни; революционное выра-

жение инволюции есть один частный случай инволютивных процессов; а именно: столкновение силы ростка с ненормально утолщенным коростом формы; здесь насильственно сброшена форма — каркас.

Акт революции двойственен; он — насильственен; он — свободен; он есть смерть старых форм; он — рождение новых; но эти два проявленья — две ветви единого корня; в этом корне нам нет распадения меж содержанием и формой; в нем динамика духа (процесс) сочетаема с статикой плоти (продуктом); нам примером возможности подобного парадоксального сочетания является мышление; в нем субъект, идеальная деятельность, субстанциально отождествима с объектом, идеей, которая есть продукт этой деятельности; и потому-то в нем нет никакого разрыва меж содержанием и формой. И оттого-то нам мысль предстоит неустанно текучею формою — формой в движении.

Инволюция есть такая же текучая форма; и она-то связует в корнях революционное содержание с эволюционными формами; в ее свете толчок революции — показатель того, что *младенец взыгрался во чреве.*

Революционные силы суть струи артезианских источников; сначала источник бьет грязью; и — косность земная взлетает в струе; но струя очищается; революционное очищение — организация хаоса в гибкость движения новорожденных форм. Первый миг революции — образование паров, а второй — их сгущение в гибкую и текучую форму: то — облако; облако в движении есть всё, что угодно: великан, город, башня; в нем господствует метаморфоза; на нем появляется краска; оно гласит громом; громовые гласы в немом и бесформенном паре есть чудо рождения жизни из недр революции.

Революционной эпохе предшествует смутное прозревание будущих форм зареволюционной действительности... в фантастической дымке искусств; там, в неясно гласящей нам сказке преподносится смутно грядущая быль; то она — мифология; то — под покровами прошлого, преображенного сказочным ореолом; это прошлое, в сущности, нам говорит тем, что не было никогда; вся романтика воспоминаний о прошлом есть, в сущности, чаянье: будущее, не имея законченной формы, встает нам под маскою бывшего; и потому это *«бывшее»* — не было никогда: оно — страна Мечты;

«Embaraquement pour Citere» * отражает томления предреволюционной действительности.

В романтизме, в фантастике, в сказочной дымке искусств есть уже забастовка; она указует, что где-то в сознании накопилась энергия революционного взрыва, что скоро из облачных волн романтизма покажется... молния. Революционный период начала истекшего века бежит по Европе в волне романтизма; и наше время проходит перед нами в волне символизма.

Революция в области формы — последствие романтизма: ощущение безглагольности, несказанности вечно сопутствует ей; тайна будущей формы не вскрыта, а сущие формы изношены; и они упадают; революция в области форм иллюзорна: она — эволюция разложения мертвых, застывших каркасов под давлением внутренних импульсов, не явивших свой лик.

В революционное время душа утонченных художников раскрывается женственно внутренним импульсом духа; акт зачатия духом в душе происходит; переживаются в образах тайны грядущих форм жизни; зареволюционное время не видится явственно; но оно проницается вещим чувством художника; и оно облекает грядущую некогда быль в оперение сказок и в складки обставшей действительности; так действительность эта приобретает двоящийся смысл; и сама превращается в символ, не разрываясь на части, а — становясь всё прозрачней: таковы драмы Ибсена — величайшего анархиста предреволюционного времени; и оттого эти драмы гремят по Европе громами летящих лавин; и — потрясают паденьями, взлетами, песнью и сумасшедшими криками. Драмы Ибсена — это стрелка компаса: в них падение Сольнеса, Бранта и Рубека с высоты ледников есть падение стрелки компаса пред налетающей бурей; нам в лавинном грохоте всей драматургии Ибсена уже слышны иные далекие грохоты: грохоты пушек войны, мировой, небывалой; и — гром революций.

Первые революционные грохоты крадутся на голубиных шагах... внутри нас. Всей романтикой творчества обрамлена революция. И из нее, из романтики, вытекают новейшие лозунгу материалы: они в реализме; как ни странно сказать, наши Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский и Пушкин — наследия отгремевшей до них революционной волны.

---

* Картина Ватто «Путешествие на остров Цитеру».

Революционная эра текущей эпохи себя начинает в искусстве разрывами сложенной, натуралистической формы: импрессионизм начинает разрыв, не сознавая своей разрушительной миссии и полагая, что он утверждает натуру; но он распыляется в атомы футуризмом, кубизмом, супраматизмом и прочими новейшими формами; из разрывов встает нераскрытое содержанье грядущей эпохи в волне символизма.

Революция форм еще не есть революция; нет, она — разложение косной материи творчеств; новое содержание под обломками формы являет себя в разрушительных вихрях, опустошающих формы; но в душе оно — ритм, а не вихрь: оно *лад*, а не шум; оно — стих; и оно — не слепая стихия; и этот лад постигается не в гримасах умершего слова, а в уменье прочесть прорастающий смысл в самой трещине слова; нужен взгляд сквозь сюжет для конкретного пониманья сюжетов искусства недавнего прошлого; и тогда нам откроется: революцией, мировою войною и многим еще, не свершившимся в поле зрения нашем, чреваты творения отцов символизма. Кто проникнет в не ясно гласящие мифы недавнего прошлого, скажет, как Блок:

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней.

Современный художник давно уже слышит вменения *«царства свободы»*, летящие вдали; отвергнуть каркасы искусств, оскудевшие формы, и стать самому своей собственной формой; мы работали не над тем материалом: не глина, не слово, не краска, не звук — наши формы; наша форма — душа; изменяя ее, вырываемся мы из необходимостей творчества в страны свободы его. От вменения преображать вещество современный художник стремится возвыситься к нравственной жажде: пересоздать свою душу. Революция духа его восхищает к преобразам будущих форм, как орел Ганимеда. Эта жажда давно уж сказалась в Толстом, в его жесте отказа от бренных форм творчества; и сказалась она в *драматическом эпилоге* у Ибсена; тот же жест, проявляясь мучительно в Гоголе, нас лишает второй половины бессмертной поэмы его: *«Мертвых душ»*, ибо *«мертвые»*, мы,— *«пробуждаемся»*; царство свободы — уж в нас! *Оно будет вне нас!*

Бренный образ изломанной формы есть символ; мир нам данных искусств — он не есть мир искусства;

искусства создания жизни; он — все еще *символ*, который, по Ницше, всего лишь *кивает без слов*; мир искусств, нам доселе гласивший, давно уж молчит и *кивает без слов*; заговорили далекие грохоты еще невнятного слова, которого первая буква — *война*, а вторая — *восстанье... из мертвых*.

Революция до революции, до войны еще — издали внятно *кивает без слов*: ее взгляд без единого слова — романтика. И когда говорит министр Керенский *«будем романтиками»* *, мы, поэты, художники,— мы ему отвечаем: «мы — будем, мы — будем...»

Этот жест в грозный час революций не разрешается внятно в искусстве, а переходит в стремление: слиться с внутренним ритмом *стихий*; пережить их, как *стих*; речь художника к голосу революционной стихии есть внутренний стих о прекрасной возлюбленной даме; душе русской жизни; отношение к революции, как к возлюбленной, есть проявление инстинктивной уверенности, что брак ее с творчеством состоится; мы ведь любим ее не в ее бренных формах — в *ребенке*, который родится от брака:

> Нет, не тебя так пылко я люблю...
> В твоих чертах ищу черты иные...

И далее:

> Сияй же, указанный путь!
> Веди к недоступному счастью
> Того, кто надежды не знал...
> И сердце утонет в восторге
> При виде тебя...

Соединение революционера с художником в *пламенном энтузиазме* обоих, в романтике отношения к происходящим событиям.

Творчество есть процесс воплощения духа; оно — инволюция; материя — разломанный дух; в материализации — иссякновение творчества; противоречие между революцией и искусством есть столкновение материалистического отношения к искусству с абстракциями революции; столкновение выглядит столкновением равно отрицательных сил: силы косности форм и бесформенной силы порыва.

В текущих столетиях дух подменился: абстракцией духа; абстракция духа есть *принцип*; его жизнь — диа-

---

* Из его речи на митинге в московском Большом театре, произнесенной в мае 1917 года.

лектика мертвых понятий по роковому и логикой разоблаченному кругу; разоблаченье порочного круга есть смерть диалектики в номенклатуре понятий, которых значение в умении прилагать их к предмету: предмет — материален; субстанция духа сменилась субстанцией мира материи в абстракциях мысли; от этого мысль революций (раскрытие духа в материи) естественно подменяется мыслью о революции материальных условий обставшего быта; и — только. В экономическом материализме — абстракция революции духа; революционного организма в нем нет; есть его уплощенная тень. Революция производственных отношений есть отражение революции, а не сама революция; экономический материализм полагает лишь в ней чистоту; и полагает он: революции духа — не чисты; они буржуазны.

Революция чистая, революция-собственно, еще только идет из туманов грядущей эпохи. Все иные революции по отношению к этой последней — предупреждающие толчки, потому что они *буржуазны* и находятся внутри эволюционного круга огромной эпохи, именуемой нами *«история»*; эпоха грядущая вне-исторична, всемирна. Так абстрактное взятие революции подменяет ее эволюционным процессом. Действительно.

Обобществленье орудий товарного производства вытекает естественно из эволюции экономических отношений; переход к социализму в условиях нашей мысли вскрывает лишь стадии ликвидации старых форм; и — не вскрывает нам новых; диктатура трудящихся масс завершает последнюю стадию; но она вытекает естественно из условий развития капитала: социальная революция в этом смысле не есть революция; и она — буржуазна. Подлинный эволюционный прерыв, революция-собственно, наступает поздней,— но тут занавес падает; новые социальные формы по существу нам не вскрыты; мы знаем о них лишь одно, что они не вскрываемы, потому что орудия вскрытия (философия и научная мысль) суть *продукты* ветшающей буржуазной культуры; вместе с ней они падают; там, в моменте раскрытия новых творческих форм, проецирует бренная мысль свои бренные образы трудового хозяйства; труд — абстракция творчества; и трудовое хозяйство реально не вскрыто; невозможность конкретно раскрыть содержание будущей за-революционной эпохи теорией социализма осознана; в этом месте теория нам рисует скачок — в вовсе новое *царство свободы*; это *царство свободы*

есть в сущности лишь признание нового измерения жизни вне бренных условий товарной культуры и ей обусловленной бренной рассудочной мысли. Только *новыми сознанием* измеримо грядущее *царство свободы*; но сознание это лежит за пределом сознания, нам данного.

Так попытка нам выявить квинтэссенцию революции подменяется вынесением содержания ее за все виды ее проявлений, которые всё еще — эволюция упадающих, материально воспринятых форм.

Точно так же теории наши о вещественно данных искусствах заставляют по-новому нас поставить вопрос: «Что такое искусство?» Не чудачество, а *трагедия творчества*, поднимает вопрос в том решительном виде, как он восстает у Толстого. И защищая искусство Бетховена, Вагнера, Гете от вопроса Толстого, невольно смешны мы,— ни Вагнеры, ни Бетховены, ни Толстые, а только... любители красоты, ему посвящающие разве что часок перед сном.

В XIX и XX столетии представленья о творчестве у сильнейших его представителей парадоксальны до крайности; по отношению к прежним воззрениям революционны они; наблюдается естественный рост этих взглядов; открываются с большею ясностью и причины возникновенья его; самая эволюция творчеств мучительно вскрыла в текущем столетии противоречивый смысл творчества; покровы классической формы разорваны; недра, сокрытые прежде, нам выперты всюду из форм; произведенья искусств нашей эры не суть Аполлоновы статуи, а клубки нас пугающих и друг друга терзающих змей. Для искусства начала истекшего века до крайности характерно признание Пушкина: «мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Начало XX века характеризует признание Владимира Маяковского о... *распятых перекрестком городовых*. Признания эти, не правда ли, разделяет огромная бездна.

Распадение мира искусств на отдельные русла обусловлено сложностью нарастающих технических средств; искусство кольцом обложили орудия производства; они ворвались в мир искусства; они сломали искусство; процесс усложнения производств, полоняя мир творчеств, увлек за собой мир искусств в ту же сферу Аида: в коптящую дымами сферу промышленности; превращение города в крупный промышленный центр, разбивая

искусство в его целомудренном облике, уплотнит материально разбитые части его; ускорение темпа развития русл есть развитие лишь его технических коростов; динамический ритм под щитом нарастающих форм превращается в черепаху под ними; черепаший ход творчеств плодит суррогаты; и легкокрылая мода, играя поверхностью формы, не проницает ядра замерзающих импульсов духа.

В материальной недвижности форм не находит исхода себе огневая динамика импульса; она утекает из формы... в под-форменный хаос; и безглагольной романтикой, внутренне революционно-духовным порывом, она рвет эти формы, техника революционизирует скрытую энергию творчеств вовсе не тем, что она изменяет вид творчеств, а тем, что она подавляет своею броней выявление его скрытого духа; технизация формы естественно превращает ее в оболочку от бомбы, а свободно летающий творческий воздух сжимает она до его косной твердости; так становится он динамитом, взрывающим форму; но осколки разбившейся формы впоследствии становятся бомбами; и они разрываются; роковой круг распада растет: дифференциация творчеств в условиях материальной культуры ведет к декадентству.

Внутри жизни искусств поднимается бунт против форм; осознается, что творчество — в творчестве новых духовно-душевных стихий; его форма — не бренная: нет, не глина, не краска она; и — не звук; нет, она есть душа человека.

В пластике внутренней жизни, в овладевании новыми царствами духа — движение творчества, а не в технике воплощения в материальное вещество. Воплощение есть выдыхание огненно-духовной стихии в морозную атмосферу отставшей действительности; воплощение есть свободное образование кристаллов из влаги дыхания; но самое выдыхание в сущности есть пассивный процесс, обусловленный вздохом; самый вздох зависит от легких; творчество не в сложенье кристаллов из инея пара; творчество и не вдох; нет, оно есть работа над легкими; изменение организма творца.

В перенесенье внимания от кристаллов распавшихся творчеств (от воздуха творчеств) к источнику выдыхания, к легким, впервые вскрывается *царство свободы* его вне революции форм, которая *«буржуазна»* всегда. *Царство свободы* — в пересоздании самих возможностей творчеств, в воссоздании новых условий, доселе

не бывших. Необходимость технических средств, этот рок, этот Новый Египет, воистину есть иллюзия творчества, нарисованная двойником подлинно духовного «я»: человеческим эгоизмом и человеческой косностью.

Отрицание Гоголем, Ибсеном, Ницше, Толстым, Достоевским обычного творчества есть начало *исхода* творцов из Египта искусств. Здесь художник воистину Моисей, поднимающийся к Синаю за новым законодательством жизни; меньшего он не может поставить себе; но такое внимание творчествам быть законами *царства свободы* есть вмененье творцам: не нарушить моральной фантазии вновь создаваемой жизни; вменение это неисполнимо в условиях данной жизни; отсюда — трагедия творчества, где драматург — исполнитель, а исполнение — не сцена, а жизнь.

Первый акт творчества есть создание мира искусств; акт второй: созидание себя по образу и подобию мира; но мир созданных форм не пускает творца в им созданное царство свободы; у порога его стоит страж: наше косное «я»; борьба с собственной бренною формой, *со стражем порога*, и есть встреча с *роком*, трагедия творчества; во время этой трагедии происходит отказ наш от творчеств, уход из искусства; тут становятся нам понятным сожжение *«Мертвых душ»*, сумасшествие Ницше, глухое молчанье Толстого. Акт третий: вступление в царство свободы и новая связь безусловно свободных людей для создания общины жизни по образу и подобию новых имен, в нас таинственно вписанных духом.

Только в этом моменте своем всё искусство становится подлинной революцией жизни; но до этого мига еще исчезает оно, как мир форм; этот третий момент запределен условиям осуществленной культуры; и потому в ней бесформенен он; и потому-то воистину *царство свободы* в искусстве нашей мыслью встречается, как вторжение беззаконной кометы; нашей мысли грозит этот миг анархической революции, не могущей себя проявить в революции социальной. Но это всё потому, что наша мысль есть абстракция, обращенная к материальному миру; материя есть разломанный дух; материя есть кривое зеркало духа; и оттого-то в условиях материальной культуры и в революциях форм всё духовное в содержании жизни революционной культуры называют подчас индивидуалистическим, анархическим хаосом.

Подлинно революционны и Ибсен, и Штирнер, и Ницше, а вовсе не Энгельс, не Маркс; в глубине их сознания гремят нам огромные революционные взрывы; и они-то нам подлинно рвут неприятельский фронт; неприятельский фронт — это наша душевная косность; и *герои из царства свободы* встают нам неясно в своем титаническом облике на вершинах искусства: Прометеи и Данте, и Фаусты, и Эмпедоклы, летящие вниз головой в жерло кратера, и Заратустры, бегущие вверх к ледникам,— эти мощные образы только неясные прорезы граждан свободного града осуществленной за-революционной культуры.

И нам ясно: лежащие в будущем формы общественной жизни, осуществленные революцией-собственно, не суть вовсе формы какой-нибудь *«большевистской»* культуры, а — вечносущее, скрытое под формальной вуалью искусств. Оплотнение искусства в условиях социальной действительности есть всегда превращение живой плоти его в поедаемый хлеб, но в таком понимании его этот хлеб черственеет: становится камнем; современная нам культура давно уж глаголет камнями; ее ценность — в монете; современная революция устремляется ко хлебам. Но *«не о хлебе едином»* печется душа человека. Ни в хлебах, ни в камнях нет живой плоти жизни.

Царство нашей свободы, осуществимое в будущем, уже здесь: ныне с нами; оно *«вечносущее»*, скрытое в мире искусств. Его формы, обставшие нас, рассмотримы по плотности, т. е. по толще завесы, скрывающей подлинный лик мира будущей жизни. Наиболее косная форма есть зодчество; здесь *таимое* в творчестве как бы грузно заставлено огромными материальными массами; это *таимое*, проницая толщу косных форм, одушевленней в скульптуре; и оно лишь завеса, горящая красками в живописи; эта завеса в поэзии заволновалась течением образов; образы здесь не даны; воображение поэзии всё еще есть завеса воображаемых образов; музыка — наиболее романтична; наиболее слышима сквозь безóбразный голос ее революция духа, гласящая царством свободы. Меж революцией и искусством проводима теснейшая параллель через музыку именно.

Чем понять речи музыки? Внутренним, что она вызывает: встающим в *нас* отзывом; но этот отзыв не музыка, а ее перевод на душевный язык. Мы должны внятно вникнуть в себя, чтоб правдиво описывать то, что встает

в нас, как отклик: встают нам и мысли, и чувства, и жесты, и импульсы; но эти мысли, но чувства, но жесты, внушенные музыкой,— не вскрытие музыки. Они многозначны и преломимы по-своему каждой отдельной душой, между тем: звуки музыки однозначны, точны, как мелодия, определенны, всё те же; почти они числа. Музыка, так сказать, математика нашей души; по отношению к многообразию пробуждаемых ею и мыслей, и образов, она как бы есть тот закон, который их вызывает в душе, есть единство раствора, а мысли и образы музыки в нас суть кристаллы. Музыка есть источник рождения в нас каких-то сложнейших образований души, как безоблачность неба — источник рождения облака; музыка — глубже всего, что она в нас рождает; не простое — сложнейшее и тончайшее в нас пробуждаемо ей.

Если бы нам создать по образу и подобию пережитого в музыке образ встающего человека, он превысил бы нас, взятых в будничных наших делах.

Слушая музыку, переживаем мы какие-то огромные судьбы огромных людей, к которым нет у нас подступа; слушая музыку, мы чего-то хотим, но хотения наши оборваны повседневною жизнью; осуществить жизнь по музыке невозможно в условиях теперешней жизни; в ней мы себя ощущаем, как... в сапогах великана; но великан этот все-таки — мы; верней, мы — в нашем будущем; ритмы будущих наших деяний в сошедшем к нам царстве свободы — даны; самые ж законы деяний нам остаются не вскрытыми: музыка — глубже даже законов, нам данных в словах; она есть закон внутри нас нашей вечной свободы; и речь — порожденье ее.

Многообразье сложных чувств подымается музыкой из безглагольных глубин человеческой жизни; из-за порога сознания ей, только ей зажигаются зори невошедших сознаний; рисуются образы жизни еще недостигнутых человеческих отношений; в ней — уже лицо жизни — оттуда, из-за катастрофы образов; музыка, проливаяся в формы пред нею возникших искусств, размывает их контуры; воображение, образы — в чистой музыке тонут; и потому сама ее форма прообразует нам революцию творчества, в ней призыв к осуществлению царства свободы, и потому-то лишь в ней предельное обнажение творчеств; и поздней других форм нам сложилась в истории формой; в ее форме попытка оформить за-форменный хаос, раскрыть революцию духа под рево-

люцией формы; музыка есть попытка выразить формою квинтэссенцию процессов творения.

Пролетариат, по учению социалистов, есть класс среди классов; и однако в нем — выход из классовой градации общества; его миссия утопить уплотненные продукты труда (капиталы) в процессе труда. Так и музыка: она форма средь форм; и однако в ней выход за форму; ее миссия утопить уплотненные продукты творения (формы искусства) в изображении самого процесса творения.

Представления о реальном раскрытии форм трудового хозяйства в условиях нашей мысли абстракты; представления эти суть, в сущности, перепрыги в пределы свободы плененною необходимостью мыслью. Трудовое хозяйство нам мыслимо, как градация индивидуальных трудов; но их корень есть творчество; трудовое хозяйство в реально раскрытой свободе или есть парадокс, или есть не хозяйство, а новый, неведомый, небывалый, свободою созидаемый мир.

В музыке долетают впервые к нам звуки из этого мира; она воля к нему; и оттого-то она не мирится ни с образом, ни с отдельною мыслью, ни с их совокупностью; по отношению к ней это всё только классы и формы; в ее форме загадан нам выход из формы; она то, что в нас хочет прекрасного, но что мы в себе еще не осознали научно; она — *пламенный энтузиазм*; она — путь; она — жизнь.

Музыка — внутренне еще не вскрывшиеся представления об индивидуальном труде, облагораживающем и свободном до возможности создавать мир искусств из каждого проявления человека.

Музыка есть невскрытый конверт с содержанием нашей судьбы: в музыке — содержание будущей исторической жизни; музыка это голубь с вершины грядущего Арарата, приносящая в наш ковчег свою первую, масличную ветвь; эта весть есть решение участи всех заключенных в ковчеге; оттого-то она всенародна; и вместе — индивидуальна, интимна: касается каждого; в ней раскрытие каждой индивидуальной души до подлинно всенародного образа; но этот образ наш внутри нас, как звезда; он — не виден; он дан в пучке блесков.

Революция духа — комета, летящая к нам из запредельной действительности; преодоление необходимости в царстве свободы, рисуемый социальный прыжок; он —

паденье кометы на нас; но и это падение есть иллюзия зрения: отражение в небосводе происходящего в сердце: в нашем сердце мы видим уже звездный луг новорожденного облика нас в нашем будущем, явленный музыкой; расширение точки звезды до летящего диска кометы уже происходит в глубинах сердечного знания: пламенный энтузиазм развивает в комету звезду; и мы слушаем звездные звуки о нас — в нашем будущем.

Уразумение внутренней связи искусств с революцией в уразумении связи двух образов: упадающей над головою кометы и... неподвижной звезды внутри нас. Тут-то подлинное пересечение и двух заветов евангельских: *«алчущего накорми»* и *«не о хлебе едином...»*

1917



〈Вступительное слово и речь на LXXXIII открытом заседании Вольной Философской Ассоциации 28 августа 1921 года, посвященном памяти Александра Блока〉

Открываю заседание, посвященное памяти Александра Александровича Блока.

Россия потеряла своего любимого поэта, который был тесно сплетен с нею. Современность потеряла своего наиболее чуткого сына. Вольная Философская Ассоциация — своего основателя, члена Совета, неизменно духом присутствовавшего среди нас. Многие потеряли друга...

Почтим память покойного вставанием. 〈...〉

Почтить память Блока-поэта — найти смысл его Музы: нащупать сердце его поэтического организма и пережить это сердце в биениях личной жизни его; эта личная жизнь Музы Блока выражается в образе, как лик, как индивидуальное имя. Лик, имя Музы поэта — конкретный разум его. Поэзия есть философия конкретного разума. 〈...〉

Понять Блока-поэта — понять организующий центр само-со-знания Блока: его *само* или «Атман», действующий сквозь личность; это значит — понять: Блок, как крупный поэт, был поэтом-философом, конкретным фи-

лософом. Это значит: рассмотреть мир его Музы в русле имени этой Музы, как организующего начала его «фантазийных» стихий, в русле Софии, Премудрости,— той Дамы Прекрасной, к которой божественный Дант обращал свой сонет; это значит понять неслучайность, органичность события написания *«Двенадцати»* не кем иным, как автором стихов о Прекрасной Даме; это значит понять: Блок именно потому написал *«Двенадцать»*, что был он автором и стихов о Прекрасной Даме, и автором *«Незнакомки»*, и автором *«Балаганчика»*. Это значит понять, ухватить: связующий нерв между надрывом, карнавальной иронией Пьеро, Арлекина и глубоко пророческой нотой огромного «Куликова Поля» и «Скифов». Выключить *то* или *иное* из Блока, раскромсать организм мысле-образов Блока не значит ли: поступить с его *памятью* так, как поступили Менады с Дионисом; раскромсывателям памяти Блока на части мы скажем: «руки прочь!» ⟨...⟩

Товарищи! Когда говоришь о поэте, когда говоришь о центральных образах-мифах крупного поэта, следует помнить, что каждый образ требует дешифрирования и комментарий. ⟨...⟩

Философ — не тот, кто пишет кипы абстрактных философских книг, а тот, кто свою философию переживает во плоти. Такое стремление к воплощению своих философских переживаний в образах и есть воплощение в известный период идеологических устремлений Блока в образ «Прекрасной Дамы».

Понять «Прекрасную Даму» без эпохи девятьсотого, девятьсот первого года — невозможно. Национальные поэты суть всегда органы дыхания, органы самосознания или широких, или малых кругов, но всегда каких-то коллективов, и если Блок в девятьсотом, девятьсот первом и втором годах пропел нам о «Прекрасной Даме», то мы понимаем, что он «интериндивидуален», что он выразитель каких-то устремлений, каких-то философских чаяний. ⟨...⟩

Это было время смерти Владимира Соловьева, время начинающегося интереса к его философии. Линия от пессимизма, с одной стороны, вела к трагизму Ницше и к активному боевому мистицизму, с другой стороны, через Шопенгауера и Гартмана она вплотную придвигала нас к проблеме, выдвинутой Владимиром Соловье-

вым. Философию Владимира Соловьева в то время не понимали как динамическую — она понималась как абстрактная философия; но были иные из соловьевцев, которые понимали, что это — философия жизненного пути, что без жизненного пути и конкретизации, без всех выводов из религиозно-философской концепции Владимира Соловьева к жизни эта философия мертва,— она лишь метафизика среди других отвлеченных метафизик. Вот в этом — максимализм: в стремлении «низвести зарю», в стремлении конкретизировать максимум теоретических чаяний в первом же конкретном шаге... ⟨...⟩

И вот, когда мы хотим понять конкретное устремление девятисотых годов, понять ту зарю, которая светила поколению молодых символистов того времени, надо именно в этом стремлении найти пересечение между абстрактной теорией и конкретным жизненным путем — соединить временное с вечным, т. е. *прийти к Символу*, потому что только такое соединение есть Символ, а всё остальное — пустые игрушки.

Блок был символист до мозга костей, теоретик и поэт в их неразрывной связи. Он понял призывы зари Владимира Соловьева как наступление громадной мировой эпохи, переворачивающей все, революционизирующей наше сознание до последней конкретности. Что Блок был в этом периоде именно таким философом, показывает его многочисленная переписка, хотя бы те письма, которыми он обменивался в тот период со мной: в них именно выдвигались вопросы о том, что есть теократия Соловьева, что есть Третий Завет, что есть новая религиозная эпоха, что есть воплощение духовного в жизненном. В конце концов мобилизовался в то переломное время целый ряд вопросов, которые в истории культуры неоднократно в разных столетиях поднимались и в своем синтетическом образе встали и соединились в тот Символ, который Соловьев провозгласил как прославленное человечество Третьей Эры культуры, той новой эры, о которой он сказал: «Знайте же, Вечная Женственность ныне в теле нетленном на землю идет...» (*В теле* — слышите!) «В свете немеркнущем новой богини небо слилося с пучиною вод». ⟨...⟩

И вот, если мы с этой точки зрения подошли бы к первому периоду поэзии Александра Александровича Блока, то мы увидели бы, что вместе с целыми толстыми теоретическими кирпичами, всевозможными анализами

проблем, выдвинутых Кантом, Владимиром Соловьевым и другими мыслителями, вместе с этим аппаратом сознание наше сохранило подлинный грунт, откуда вставали эти зори, откуда рождалось это конкретное чувство эпохи.

Александр Александрович был в этот период действительным *философом*. Он эпоху чувствовал конкретно, так, как он говорит это в одной неизданной заметке, которую я в конце своей речи оглашу. Он говорит в этой своей заметке так: «во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира...» Здесь характерна эта физиологичность, эта органистичность восприятия, это ощущение стихий, почти физическое. Вот такой-то «шум», такую зарю ощущали все те, кто встречали появление нового столетия, когда как бы «расставлялись» события всего столетия со многими кризисами и многими светлыми минутами. Мы сейчас вступили в это столетие, мы разыгрываем первые «зори» этой драмы, которая будет еще разрастаться и разрастаться, которая извлечет еще из нашего сознания много горечи и много радости. Факт тот, что в девятьсотом году Блок уже знал о том, что времена изменились, что старое отрезано, что мы стоим перед новым фактором восприятия. ⟨...⟩

Вскоре умирает Вл. Соловьев, в июне девятисотого года. К моменту смерти Соловьева Александр Александрович уже осознал всю преемственность свою со всей его философской линией,— впервые проходят звуки «Прекрасной Дамы»: — «Ты Вечно-Юная, прошла в неозаренные туманы». ⟨...⟩

У Данте Беатриче, девушка, выводит его к той сфере, где цветет вечная Роза,— и Фауста должна была вывести Гретхен, но Фауст не понял роли Гретхен, случился «роман», Гретхен умирает. В поэзии Блока опять-таки эта вечная морфология темы ведется в линии раздвоения, появляется не то девушка, не то «Прекрасная Дама», т. е. то одна, то две, и это раздвоение начинает расти, и расти, и расти в его поэзии.

Что это все значит? Это знаменует двоякое: если брать плоскость внутреннего поэтического пути, индивидуального, то это знаменует, что одними глазами, одними чаяниями зорь и образов не пройдешь к миру этих образов. Сам Александр Александрович говорит, что «не поймешь синего ока, пока сам не станешь, как сте-

зя»; я перефразирую: нужно быть стезей синего ока; если ты видишь синее око, ты возьми это око в себя, перевоплоти его в свою волю, в свое чувство, и тогда возможно, что откроется дальнейшая связь грядущих образов. Но индивидуально-мистический путь, как бы он ни был ценен с той точки зрения, что дает много материала для анализа внутренней жизни, не есть путь, пока он не включит в себя проблему внешнего мира. И вот здесь — линия двух встреч, где индивидуальный путь пересекается с коллективным. Это путь, который ведет к тому, что называется «имагинацией». Разложение этих волн фантазии есть закон, но он требует уже такой специализации себя на внутренней теме, что здесь уже поэзия «рыцаря Прекрасной Дамы», Блока, поднимает вопрос о том, что этот рыцарь должен пойти таким путем, каким пошел в жизни Александр Добролюбов. Добролюбов просто ушел из мира и, так сказать, начал путь какого-то нового делания. Александр Александрович, как максималист-революционер, доходит со всей остротой своего сознания до этого момента, касается этого момента, в результате чего происходит неизбежное изменение образа в фантазии, с одной стороны, а с другой стороны — вводится извне действительность.

Прекрасная Дама по законам развития образов должна разложиться,— и вот второй этап, начало этого разложения, эпоха «Нечаянной Радости», которая нам может поверхностно казаться далеко не «радостью». Какая же это «нечаянная радость»,— отчаянное горе! но если возьмем глубже, то действительно поймем: «нечаянная радость». Когда мы открываем второй том стихов — второй этап нашего поэта-философа,— то мы видим разительные изменения во всех контурах его образов. ⟨...⟩

И Александр Александрович, так же, как он максималистически подходил и делал последние конкретные выводы из оптимистической стороны своей философии, так же беспощадно начинает теперь шаг за шагом видоизменять этот свой прекрасный мир, начинает сознательно его разрушать,— тоже по законам внутреннего мира. И мы видим: вот, Она превращается в ту девушку, вокруг которой сидят мертвые короли в поэме «Ночная фиалка». Эта девушка — королевна страны воспоминаний: стало быть, в памяти только, в воспоминании живет «Прекрасная Дама».

Это раздвоение образа «Прекрасной Дамы» соответствует раздвоению самого поэта: «но в туманном вечере нас двое, я вдвоем с другим в ночи». С кем же? — с самим собою. Или: «я, как месяц двурогий, только жалкий день серебрю, что приснится в долгой дороге всем бессильным встретить зарю». Это — органическое переживание, естественное на пути развития внутреннего самосознания. Вот именно это ощущение: «я жалкий день серебрю» — остается после былых богатств; разбитое корыто, сказка о рыбаке и рыбке, точная формула переживаний. Но вместе с тем «Прекрасная Дама» изменяет свой облик во внутреннем мире, она продолжает это изменение, делаясь «Незнакомкой», раздваиваясь между «Незнакомкой» и «звездой»; — потом звезда сверху падает — в Проститутку... Раздвоение идет своим нормальным путем до последних пределов, и Блок, с присущей ему «трагедией трезвости», с особым тщанием разлагает этот мир; но, с другой стороны, этот мир, сначала не узнанный, продолжается в нем: вдруг «в руке протянутой Петра запляшет факельное пламя», вдруг в город «небесный кузнец прикатил», и раздается совсем неожиданная у Блока нота: — «солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь, наши гимны, и песни, и сны без числа!.. Опаленным, сметенным, сожженным до тла — хвала». Вспомните, наконец, стихотворение «Митинг», где над убитым революционером встает Ангел. Ангел, встающий над революционером! — стало быть, Она — не умерла, Она — только переменила свое имя; и Арлекин, уведший Коломбину, есть первая не узнанная личина, которая, становясь яснее, приводит Блока к революционеру-интеллигенту, в самом лучшем смысле слова. Революция — встает, она есть душа человеческая. Революционный переворот своего времени, осознаваемый Александром Александровичем до конца, органически как-то вступает в его поле зрения,— путь уединенный становится путем общественным. ⟨...⟩

Фауст, убив Гретхен или будучи причиной ее смерти, не поняв ее, переживает уныние, потом восстает; вскоре мы застаем его в придворном обществе, и дело идет о привлечении Елены Прекрасной на сцену. Мефистофель говорит: — ты можешь вызвать ее, но для этого ты должен сойти в мир Матерей, и не советую тебе туда идти. Мефистофель боится: если Фауст пойдет к первично-целинному, которое находится ближе к миру богов,

т. е. пойдет в мир Парок, которые правят судьбами самих богов, то Мефистофель потеряет власть над Фаустом. Но Фауст идет в этот мир Матерей — в этот безóбразный мир. Гете характеризует этот мир, характеризует этих таинственнейших Матерей; вспомните у Пушкина: «Парок бабье лепетанье»,— это вообще тема исконного, тема родового, но и тема страшного, потому что мир хаоса, пока к нему не прикоснешься, выглядит страшно.

Характерна эта поднимающаяся тема стихотворений «К матери» у Александра Александровича, это прикосновение к ночной стихии для того, чтобы, узнавши, набраться новых сил. «Сын не забыл родную мать, сын воротился умирать», возвратился осенью в дорогое, родное жилище. Перечтите все другие стихотворения Блока «Моей матери». Или тема эта выступает в другом аспекте: — «Она веселой невестой была, но смерть пришла, она умерла, и старая мать погребла ее тут»; и сейчас же далее: «но церковь упала в зацветший пруд». Какая церковь? — тот «страшный мир», который хотел преобразить Александр Александрович: — «Будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц». Это не преобразилось, не стало святыней, а кануло в пруд и, канувши в воду, оно осуществилось: в «Балаганчике», где закостеневшие «мистики» стоят, как картонные, и невеста — картонная... «И старая мать погребла ее тут, но церковь упала в зацветший пруд... Миновали сотни и сотни лет... И счет годин старуха забыла; — как мир стара, как лунь седа, никогда не умрет (да, Матери — не умирают!) — никогда, никогда... А вдоль комодов, вдоль старых кресел мушиный танец всё также весел...» (— «Парок бабье лепетанье, жизни мышья суетня»,— жизни *мушья* суетня — «я понять тебя хочу, темный твой язык учу»). Вот что происходит во внутреннем мире Александра Александровича, и это уже откладывается, как *понимание* своего рода, потому что он — *понимает*.

Фауст из мира Матерей прямо на сцену приводит не сценическую Елену, а Елену, взятую им из мира Матерей, и эта Елена становится его женой, они рождают Эвфориона — «стремление к высшему». Но персонажи той сцены у Гете не знают, кто это — Елена Прекрасная ли, или кто? Они не могут понять, что для имеющих глаза и слух к мистике это — Елена, а для других — неизвестно кто. Словом, Фауст, непосредственно из мира

Матерей приводит в «Балаганчик» Елену, которая и должна поднять эту упавшую в пруд церковь. Прикосновение к непосредственной данности, к целинам, к истокам нашего бытия есть прикосновение к чаяниям жизни, которая дает цветы.

И опять органологически характерно стихотворение Блока этого периода «Моей матери»: «Я насадил мой светлый рай... (говорится про сад) ...и бережно обходит мать мои сады, мои заветы, и снова кличет — сын мой! где ты? цветов стараясь не измять. Всё тихо. Знает ли она, что сердце зреет за оградой? что прежней радости не надо...» (Да, не надо, ибо «прежнее» — нельзя консервировать и жить консервами былого периода; Александр Александрович никогда консерватором не был) — «что прежней радости не надо вкусившим райского вина». Это прикосновение к миру Матерей есть, таким образом, источник какого-то райского чувства, которое и выражается чудесно в стихотворении «Принимаю». «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!» Первое испытание — побеждено. Имя Елены сейчас же узнается. Это есть имя *России.*

Блок становится, прикоснувшись к земле, тут впервые нашим *национальным поэтом.* Он понял, что мировая София не может быть без оправы человеческой, но он понял еще и то, что эта оправа человечества без народного лика, без народной души, без прикосновения к корням народности, не может дать плодов. Интернационал может быть только со-национал, ко-национал; «интер» — «лежащий между» — может быть иногда и тем мертвецом большим, о котором Гоголь говорит в «Страшной мести»: его грызут другие мертвецы. Этот «интернационал» должен войти в душу «национала» для осуществления, для конкретного воплощения человеческих задач.

Это всё понял Александр Александрович. Низведение «Прекрасной Дамы» в хаос, в чернозем — продолжается, углубляется и конкретизируется, и в этом нисхождении появляются ноты прекрасного снисхождения, сердечности, расширенного сердца. Можно сказать, что теперь «Прекрасная Дама» существует для Александра Александровича в каждой женской душе; в каждом сознании русском живет она, живет и продолжает жить, и ее имя — Россия, которая и становится

женой поэта: «О Русь моя! Жена моя!» Вот кто Прекрасная Елена, которую он вывел из хаоса.

И в это время нам становится понятным интерес Александра Александровича, казавшийся многим немотивированным, к народнической литературе, его даже переоценка слабых писателей (в статьях «Золотого Руна») с точки зрения этого глубокого пафоса к черноземнорусским поэтам. Это время, когда зачинаются в сознании Блока статьи о русской интеллигенции, потому что именно интеллигентское органистическое начало должно соединиться с народом. Но, увы, русская интеллигенция этого как раз и не делает, по его мнению. Не против интеллигенции, а за интеллигенцию говорит он (с девятьсот седьмого, восьмого года) горькие слова о русской интеллигенции, потому что есть интеллигенция и интеллигенция. Интеллигенция должна быть интеллигенцией большого Разума — Манаса, большого «Mens», который только и делает Манас из «Mann», «Mensch», который есть всегда Манас, который делает человека «челом века».

Вот таким «челом века» начинает делаться расширенное сознание Александра Александровича, которое расширяется постольку, поскольку оно могло углубиться в глубочайшие, сокровеннейшие темы. Продолжение темы «Прекрасной Дамы» есть органическое развитие всей линии искания, всего духовного максимализма, стремления воплотить в жизнь мечту, показать, что эта мечта не мечта, а наша действительность. Эта тема снисхождения и кротости появляется у Блока: — «Божья Матерь «Утоли мои печали» перед гробом шла, светла, тиха. А за гробом в траурной вуали шла невеста, провожая жениха. Был он только литератор модный, только слов кощунственных творец... Но мертвец — родной душе народной: всякий свято чтит она конец». И далее, про невесту: «словно здесь, где пели и кадили, где и грусть не может быть тиха, убралась она фатой от пыли и ждала Иного Жениха...» И в других стихах, посвященных кому-то, но могущих быть посвященными каждой русской женщине: — «Не подходите к ней с вопросами, вам всё равно, а ей — довольно; любовью, грязью иль колесами она раздавлена — всё больно». Пока не полюбишь раздавленных во всей конкретной их раздавленности, облепленных грязью, во всей конкретности их грязи, до тех пор всякие превыспренности — ложь. Это и делает Александра Алек-

сандровича поэтом, вобравшим в себя стихию России. ⟨...⟩

Луна есть мертвое тело когда-то бывшего солнца: Александр Александрович в своем сознании как бы переносит в страну луны своего старого «мертвеца» — когда-то прекрасное индивидуальное мистическое прозрение, которое во всяком конкретном человеке *должно* быть; на мистике — не проживешь, но без мистики — ни одного действительно жизненного переживания не проведешь. Вот эта «луна», второе я, живет и продолжает по законам смерти естественный внутренний путь; та оболочка,— которою когда-то обволакивалась Прекрасная Дама, ставшая Незнакомкой, Проституткой,— с одной стороны, скрывает всякую русскую женщину, а, с другой стороны, становится очень страшным лицом, лицом противообраза Прекрасной Дамы (образ равен противообразу!), о котором Александр Александрович говорит: — «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть, есть проклятье заветов священных, поругание счастия есть!..» А затем: — «И коварнее северной ночи, и хмельней золотого Аи, и любови цыганской короче были страшные ласки твои»,— страшные потому, что видеть это разложение прежнего образа значит отразиться в противообразе. Это опять событие внутренней жизни, совершенно закономерное; и поэт — обречен; чему? — «Я обречен в далеком мраке спальной, где спит *она* и дышит горячо, склонясь над ней влюбленно и печально, вонзить свой перстень в белое плечо». А *она* отвечает тем, что заставляет его воскликнуть: — «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук!»

Этот «удар в сердце» вызывает такое сопоставление: в мистике утверждается, что подхождение к какому-нибудь порогу, рубежу, за которым идет новый этап сознания, всегда сопровождается чувством затруднения, как будто на пороге стоит Страж. Подходы к порогам внутренней жизни бывают неоднократны. Первый подход имеет вид встречи с Ангелом и прикосновения к смерти; второй подход имеет вид встречи со Львом. Помните рассказ Федора Сологуба, в котором некий Лев взламывает ударом лапы стену и вонзает когти в сердце подошедшего к опасному рубежу. Этот Лев — есть образ женский, и второе испытание состоит в способности перенести — удар Льва в сердце.

Второе испытание, вторая встреча — одолевается,

и одолевается тем, что Александр Александрович становится *национальным поэтом*, воспринимает Россию, воспринимает с той суммой любви, которая перемогает эти остатки прошлого, консервированного мира. Когда он начинает говорить о России, то совершенно неизгладимые ноты звучат в его поэзии. Для всего можно умереть, но для чего жить? — «Лесть, коварство, слава, злато — мимо, мимо навсегда... Человеческая тупость — всё, что мучило когда-то, забавляло иногда... И опять — коварство, слава, злато, лесть, всему венец — человеческая глупость безысходна, величава, бесконечна... Что ж, конец? — Нет... *еще леса, поляны и проселки, и шоссе, наша русская дорога, наши русские туманы, наши шелесты в овсе...* А когда пройдет все мимо, чем тревожила земля, Та, кого любил ты много, поведет рукой любимой в Елисейские поля». И в дальнейших стихотворениях описывается Россия, страшная Россия, преступная, пьяная; и поэт говорит: — «да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!» Но он уже чувствует, что этой России грозит опасность. Тут его индивидуальное чувство и национальное чувство перекликаются. С одной стороны, он говорит России: — «Тебя жалеть я не умею»,— иди, иди в проститутки,— да, ты Катька из «Двенадцати», ты блудила с офицерами, а теперь поблуди с солдатами. И вот при таком реализме поэт как бы говорит: — и в тебе, Катька, сидит Прекрасная Дама... И если Катька не спасется — никакой «Прекрасной Дамы» нет и не должно быть.

По этой линии идут углубляющиеся устремления Блока; он говорит о России: — «Тебя жалеть я не умею и крест свой бережно несу... Какому хочешь чародею отдай разбойную красу! Пускай заманит и обманет,— не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты...» А что забота — есть, что можно сгинуть, что надвигается опасность для самой внутренней души России — это поэт знал. И тут звучит великолепным синтезом изумительное творение Александра Александровича, которое перекликается и подает руку через несколько лет «Скифам» — «Куликово поле». Александр Александрович был национален, когда переживал период «зорь» в девятисотых годах; также был он национален, когда остро переживал девятьсот седьмой год, год реакции; и также он был национален в девятьсот восьмом году, когда он уже

знал и сказал нам ясно о событиях четырнадцатого года и дальнейших годов... «Река раскинулась. Течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь! Наш путь — стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь! и даже мглы — ночной и зарубежной — я не боюсь. Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь... И вечный бой! покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль... И нет конца! мелькают версты, кручи... Останови! Идут, идут испуганные тучи, закат в крови! Закат в крови! из сердца кровь струится! плачь, сердце, плачь... Покоя нет! Степная кобылица несется вскачь!» Россия несется навстречу к своим страшным годам, и как не вспомнить дальнейшее: — «к земле склонившись головою, говорит мне друг: — Остри свой меч, чтоб недаром биться с татарвою, за святое дело мертвым лечь!»

Что же происходит? Александр Александрович, переживший эпоху «Прекрасной Дамы», опять имеет видение: всё Та же,— «и с туманом над Непрядвой спящей, прямо на меня Ты сошла в одежде, свет струящей, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда, на утро, тучей черной двинулась орда, был в щите Твой лик нерукотворный светел навсегда». И тут же — переход: — «Опять с вековою тоскою пригнулись к земле ковыли, опять за туманной рекою Ты кличешь меня издали...» И в последнем отрывке этих стихов — эпиграф из Соловьева: — «И мглою бед неотразимых грядущий день заволокло»: — «Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и, словно облаком суровым, грядущий день заволокла». Вспомните девятьсот восьмой, девятьсот девятый год — когда «за тишиною непробудной» отплясывали канкан и танго, когда существовало растленное общество эпохи реакции — и в эту эпоху он пел: — «За тишиною непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молньи боевой... Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней! Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал.— Молись!»

Твой час настал,— настал час России; индивидуальных переживаний образа больше нет, есть образ коллективный — душа народа. И с этого времени мы уже не имеем индивидуально субъективного Александра Александровича,— перед нами поэт Русский, с большой буквы. Так следует подходить ко всем этим прекрасным образам Блока, от Прекрасной Дамы и до России.

Третьим испытанием является встреча с Драконом. Уже не Лев, а Дракон. Кто переживет это испытание, тот должен стать Георгием Победоносцем и убить этого Дракона или быть им убитым. Это вполне конкретно и реально выражено в поэзии Блока. Чувство опасности возникает. Входит великолепный сэр и говорит: — «Пора смириться, сэр!» Александр Александрович субъективно чувствует ноты, о которых нам так несравненно рассказал Стриндберг в «Инферно», «Шхерах» и других произведениях.— «Есть игра: осторожно войти, чтоб вниманье людей усыпить; и глазами добычу найти; и за ней незаметно следить. Как бы ни был нечуток и груб человек, за которым следят,— он почувствует пристальный взгляд хоть в углах еле дрогнувших губ... Ты и сам иногда не поймешь, отчего так бывает порой, что собою ты к людям придешь, а уйдешь от людей — не собой». Вот это чувство «глаза индивидуального» есть не что иное, как чувство глаза того единственного образа, того нерукотворного образа, который в сердце Александра Александровича, как вы знаете, отныне отпечатан: России. К этому сводится дальнейшая идеология России: — Россия есть первая целина, она не Восток и не Запад, она — не варвары и не эллины. Шрадер в своих работах доказывает, что первейшее праарийское племя было расселено на юге России и что уже потом две ветки индоарийского племени расселились — на Запад и на Восток. По теории Шрадера оказывается, что была исконная раса и что стволом, не стволом даже, а между-двух-ствольным маленьким завитком были *Скифы*, т. е. те первичные обитатели, которые в себе сохранили что-то от исконного, исконно арийского; и несомненно,— я уже говорю теперь символически,— есть какой-то образ Скифианина, который встречается у нас, у современных искателей; это был «скифийский посвященный», это был духовный *Скиф*. Но начало будет всегда концом. Россия искони была не Востоком, не Западом, она должна стать не Востоком, не Западом, в ней встреча Востока и Запада, в ней есть, в ее личных судь-

бах, символ судеб всего человечества. Вот эта всечеловечность и человечность, вот эта идеология — делает Александра Александровича, во-первых, *Скифом*, во всех смыслах слова, как максималиста, как того, кто доводит свой ход мысли — не в абстрактных схемах, но в жизненных переживаниях — до конца. Это особенно его связует с судьбами русского народа, с судьбами народа, призванного примирить Восток и Запад, создать условия действительного братства народов. И когда разразилась мировая война, то Блок был один из немногих поэтов, воздержавшихся от всяких националистических стихотворений. Но какою же любовью к России, каким же вызовом, «какому хочешь чародею» — является этот звук «Скифов», написанных Блоком, вы помните, в каких условиях русской действительности: — когда русской армии уже не существовало, Брестский мир еще не был подписан, и все себя спрашивали — что же за положение создается? Александр Александрович именно в этом катастрофическом положении увидел начало первого конкретного шага, который так и не осуществился за Брестским миром: — не могли, не решились этого конкретного шага максимализма революционного провести до конца...

Александр Александрович является в «Скифах» своим лицом выразителем действительно народной души: «Мильоны — вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы; да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами... Вот срок настал» (тот срок, о котором он говорил за восемь почти лет до этого: — «твой час настал») — «вот срок настал. Крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет — не станет и следа от ваших Пестумов, быть может! О, старый мир! пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред Сфинксом с древнею загадкой!..» (В одной этой фразе: — «Сфинкс с древнею загадкой» — опять-таки целое философское откровение, целые теории коренятся). «Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя» (в Запад) «и с ненавистью и с любовью!.. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит! Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит!». Дальше говорится о том, как мы любим всё — «и сумрачный германский гений», и старую Галлию, и «лимонных рощ аромат», и «венецьян-

ские прохлады» — да, мы берем это в себя, но не как синкретизм; мы, как долженствующие соединить Восток и Запад, мы, скифы, должны бережно вобрать в себя это всё и положить не в мертвый музей, а в живой музей нашего сердца, нашего русского сознания.— «Придите к нам! От ужасов войны придите в мирные объятья! Пока не поздно — старый меч в ножны, товарищи! Мы станем — братья!» Да, братья, братья; «товарищи» — это только начало... Александр Александрович теперь уже знает, что политическая революция,— «граждане» — сон пустой, она взывает к социальной; и социальная революция («товарищи!») — сон пустой, она взывает к духовной, к революции сознания. Если мы не исправим наших индивидуальных путей, если мы, реформируя экономику, не станем каждый «стезею» — какая же чертовская гримаса получается из всего этого!

«Товарищи! мы станем — братья!» Стали ли мы братья? — вот вопрос, который поднимает сознание Александра Александровича,— стали ли мы братья?» «А если нет — нам нечего терять, и нам доступно вероломство! Века, века — вас будет проклинать больное позднее потомство!.. Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою» (— наш «бой» — не «Маркизова лужа» заговоров, даже война была «Маркизовой лужей» для подлинного максималиста) — «мы очищаем место бою» (— какому же бою?) «стальных машин, где дышит интеграл» (— механика) «с монгольской дикою ордою»,— с волной еврейских погромов и других прелестей Востока, не вобравшего из всех трех революций — революции сознания. Да, стальной интеграл натыкается на Восток, и в этом «интеграле» — и Ллойд Джордж, и «сэр», и те однобокие, материалистические, только материалистические, механические мировоззрения, которые, вопреки всему конкретному, продвигают свои контрреволюционные идеологии под флагом изжитого материализма. И на этом идеологи контрреволюции пытаются создать тот братский коллектив, который Александр Александрович всю жизнь искал на всех путях! Все его искания, весь его максимализм был — воплощение, воплощение и воплощение: довоплотить до *братства*; потому что «товарищ» — это еще недовоплощенный «брат»; «товарищ» — это еще официальное имя; пока «товарищ» не станет «братом» — не будет в «товарище» товарища. Так вот, если этого не будет, если «стальной интеграл» и Восток не сольются в Восток

и Запад, если Россия не будет тем, чем она может быть и должна быть, если какой-то враг символический ее погубит,— третье испытание Дракона, и государственный Левиафан, безжалостный, стальной, съедающий,— что же будет тогда? Тогда — «мы очищаем место бою!.. Но сами мы — отныне вам не щит, отныне в бой не вступим сами! Мы поглядим, как смертный бой кипит, своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый Гунн в карманах трупов будет шарить, жечь города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить!»

В тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда писались эти строки, Александр Александрович был в том же настроении, в каком он не раз в жизни бывал, начиная с ранних эпох стихов — «Будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц».— А теперь — «в последний раз — опомнись, старый мир!» Вот в каком настроении создаются «Двенадцать», которые выходят в это же время. Здесь та же линия. «Логос» Владимира Соловьева вошел в рыцаря, и не в рыцаря, а просто в Пьеро, а Пьеро стал — «только литератор модный, только слов кощунственных творец», и в нем — русский интеллигент; и дальше этот интеллигент стал босяком — «молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда!» — и, наконец, этот босяк стал Петькой из «Двенадцати». А «Прекрасная Дама» была «Незнакомкой», «Проституткой» и даже проституткой низшего разряда, «Катькой». И вот в Катьке и Петьке «Двенадцати», в том звуке крушения старого мира, который Александр Александрович услышал со всей своей максималистической реалистичностью, должно было быть начало восстания, начало светлого воскресения, Христа и Софии, России будущей: — впереди — «в светлом венчике из роз, впереди — Исус Христос». Да не так же это надо понимать, что идут двенадцать, маршируют, позади жалкий пес, а впереди марширует Иисус Христос,— это было бы действительно идиотическое понимание. «Впереди Исус Христос» — что это? — Через всё, через углубление революции до революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств, наших мыслей, до изменения нас в любви и братстве, вот это «всё» идет к тому, что «впереди»,— вот к какому «впереди» это идет.

Я, товарищи, извиняюсь, что так много отнял у вас, времени, но вы видите — даже краткий пробег по основным символам поэзии Блока, лишь краткое пере-

числение этих символов показало нам глубокую органологическую связь всего его творчества от «Прекрасной Дамы» до «Двенадцати». И вот, что же есть «Двенадцать»? — «Двенадцать» — не «стальной интеграл» и не Восток, не то и не другое, а нечто третье, соединяющее и то и другое, нечто совсем новое.

Можно ли Александра Александровича как поэта разрывать, можно ли его брать с эстетической точки зрения? Я знаю, что я бы, например, мог написать о словесных инструментовках и ритме поэзии Блока — целые тома, но было бы пошло и стыдно, если бы на эту тему я заговорил сегодня, здесь, где мы вспоминаем его.

Можно ли причислить Александра Александровича к тем или другим партийным влияниям? С Гете ведь всячески поступали. Но послушаем, что Александр Александрович говорил сам об этом своем периоде,— он сам, Блок «Двенадцати», какое понимание политическое придавал «Двенадцати» он. Вот заметка Александра Александровича о «Двенадцати», написанная им 1-го апреля 1920 года, которая нашлась после его кончины. Вольная Философская Ассоциация поручила мне,— по моей просьбе,— дать мне возможность обнародовать ее вслух. Вот она.

«С начала 1918-го года приблизительно до конца октябрьской революции (три — семь месяцев?) существовала в Петербурге и Москве свобода печати; т. е., кроме правительственных агитационных листков, были газеты разных направлений и доживали свой век некоторые журналы (не из-за отсутствия мыслей, а из разрушения типографского дела, бумажного дела и т. д.); кроме того, в культурной жизни, в общем, уже тогда заметно убывавшей, было одно особое явление: одна из политических партий, пользовавшаяся во время революции поддержкой правительства, уделила место и культуре: сравнительно много места в большой газете, и почти целиком — ежемесячный журнал. Газета выходила месяцев шесть (кроме предшествующего года); журнал на втором номере был придержан и потом — воспрещен. Небольшая группа писателей, участвовавшая в этой газете и в этом журнале, была настроена революционно, что и было причиной терпимости правительства (пока оно относилось терпимо к революции). Большинство других органов печати относилось к этой группе враждебно, почитая ее

даже собранием прихвостней правительства. Сам я участвовал в этой группе, и травля, которую поднимали против нее, мне очень памятна. Было очень мелкое и гнусное, но было и острое. Иных из тогдашних врагов уже нет на свете, иные — вне пределов бывшей (и будущей) России; со многими я помирился даже лично; только один до сих пор не подает мне руки. Недавно я говорил одному из тогдашних врагов, едва ли и теперь простившему мне мою деятельность того времени, что я, хотя и не мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь ни в чем от писаний того года. Он отвечал мне, что не мог тогда сочувствовать движению, ибо с самого начала видел, во что оно выльется; меня же понимает постольку, поскольку знает, что я более «отдаюсь» стихии, чем он. Это совершенно верно: в январе 1918-го года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией...» (с тем звуком органическим, которого он был выразителем всю жизнь) «...например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой,— будь они враги или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую, пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать», оттого в поэме осталась капля политики. Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит всё

остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец,— кто знает! — она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но — не будем сейчас брать на себя решительного суда».

Вот что говорит автор «Двенадцати», вот как он нас учит относиться к его созданию. Мы знаем различные интерпретации «Двенадцати». Одна из них такая: когда Александр Александрович перестал быть певцом «Прекрасной Дамы», появились у него в поэзии тройки и вино, и вообще его муза стала широкой русской душой, «катай-валяй»; и «Двенадцать» такая же широкая русская душа,— Катька, Петька, размах русской души. Это — черносотенное взятие «Двенадцати». Есть другое, когда, не понимая, выхватывают «Двенадцать» из того фона, на котором эта поэма в двадцатилетние искания Александра Александровича нарастала, выхватывают и пристегивают к какой-то партии. Что же получается? «Двенадцать» выходит в купюрах,— два-три лозунга; например, можно вырезать: «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» — как я видел на одном плакате — и останется от «Двенадцати» один плакат. С точки зрения такой поэзии можно Александру Александровичу уделить скромное место на той скамейке, на которой первое место занимает Демьян Бедный. Но не должны ли мы сказать и тройкам, и этим плакатам: «руки прочь!» Руки прочь от нашего национального поэта!

Привожу здесь для иллюстрации один личный случай. Я в течение года работал с кружком пролетарских поэтов, и я знаю, в их индивидуальных и личных выявлениях, как им дорог Александр Александрович. Не потому, что можно сделать такие-то или такие-то купюры для плакатов из его строчек, а потому что он вообще был прекрасным поэтом, потому что он писал так чудесно: «золотистые пряди на лбу, золотой образок на груди...» Возьмем стихи лучших пролетарских московских поэтов, напр. тов. Александровича и др.,— сколько там черт, которые бы никогда не преломились в их творчестве так, как они преломились, если бы не было музы Александра Александровича Блока! Предоставьте говорить действительно пролетариату, а не окончившим или неокончившим Университет интеллигентам, тем, против которых писал Алек-

сандр Александрович. Эта интеллигенция — мелкая интеллигенция, господа! За интеллигенцию писал Блок, за интеллигенцию пролетарскую, за интеллигенцию крестьянскую, за интеллигенцию интеллигента, за интеллигентного человека, конкретного человека, стремящегося к свободе, равенству и братству. Вот к этому сводятся все чаяния Александра Александровича Блока.

Кончу тем, с чего начал — мы уплощаем национальных поэтов, мы берем из них только то, что нам нравится; а если бы мы пристально вгляделись в лик Пушкина, Гете, Блока, то увидели бы, что всю жизнь мы будем из этого бездонного моря, из моря символов, вычерпывать темы. Возьмем же образ Александра Александровича, переживем этот образ, проведем его, как разорванного Диониса, между тройками и плакатами, выведем его из нашего «царя в голове», не свергнутого самодержавия старого мира. Когда этот «царь в голове» будет свергнут, тогда действительно настанет третья духовная революция, которая и приведет к мистерии человеческих отношений, о которых всю жизнь мечтал Александр Александрович.

Александр Александрович в своем третьем испытании, в своей третьей ставке — задохнулся, задохнулся в том издыхании Дракона государственности, который опахнул его. Этот третий страшный порог и был собственно порогом восхождения Александра Александровича от нас в ту страну воспоминаний живой мысли, в которой он и продолжает общаться с нами. И Александр Александрович, если мы воскресим его в нашей памяти, будет долго еще в десятилетиях тем организующим центром, который всякий раз будет вставать между нами, когда мы соберемся и погрузимся в память о нем; судьба этого русского Фауста есть судьба всякого крупного человека-поэта.

Фауста разложили Лемуры, но Ангелы отобрали его младенческое сознание,— его приносят в духовный мир, где стоят три Гиерофанта — гиерофанты ума, свободы, равенства, братства, философии — Софии, любви и воли. Там, в этой из века загаданной «Вольной философской ассоциации», в треугольнике этом возникает он по-новому, там умирает Фауст «in Puppenzustand». Многие из нас берут эту последнюю сцену как сумятицу образов. Возьмите по-другому. Фауст видит Божию Матерь, или Символ всего космического,

одновременно и человеческого, и созерцает тайну Ее; в глубине Она идет в сопровождении трех грешниц — Марии Египетской, Марии Магдалины и Гретхен,— это три музы Александра Александровича. Мария Египетская — это та, чей образ земной вонзал ему в сердце французский каблук. Есть в его поэзии и тот образ земной, который в душе русской, падающей, и в падении своем остается святым — образ Марии Магдалины; и третий образ, образ Гретхен — образ той, кто первая его встретила, той, которая должна была быть для него Беатриче,— образ «Прекрасной Дамы», которая превратилась в следующем этапе — мы видели — в королевну воспоминаний. Там эти три образа, три музы сливаются опять в один образ, в тот образ, о котором Владимир Соловьев сказал: «в свете не меркнущем новой богини небо (максималистский утопизм) слилось с пучиною вод» (с конкретной человеческой жизнью). Такое слитие не разрешение вечных загадок, а слитие двух линий в одну линию — вся жизнь Александра Александровича. И мы стоим перед этой жизнью, прислушиваемся к шагам ее, и будем еще долго-долго прислушиваться...

Сотворим же в своем сознании вечную память нашему любимому, близкому, в наши страшные годы с нами бывшему, русскому поэту.



О Духе России и «духе» в России

Мне хотелось бы дать очерки, живорисующие жизнь культуры России — теперешней; чувствую, приступить не умею я к ним, не сказавши о том впечатлении, которое неизбежно выносишь от духа России.

Что же собственно происходит в России?

И — знаешь: обычное слово не поднимает России; ни термин, ни образ, но живописать,— это значит: перечертить ряд эпизодов с натуры, которая — ах, как трудна! Определить отношение в формуле? Но — в России теперешней формулы нет; есть плавление лавого процесса, то есть ландшафты сознания, ни на что не похожие ситуации, устремления, вкусы...

Да, голод и холод, болезни и смерти — всё было, всё есть, всё то будет еще: миллионы страданий, деморализация, видная всем; всё — известно... Так почему же

вопрос? Стало быть: есть-таки «*что-то*» еще? Стало быть «что-то» — точка вопросов?

Не справишься с химией без лаборатории; чтение учебника не гарантирует навыка в производстве химических опытов; а ведь Россия — лаборатория; пребывание в ней — исключительно ответственный опыт, который для лиц, не проделавших опыта,— утверждение, только.— Позвольте же: почему вес атомный азота — «14», не «17»: — «14» — всё тут... Так «что-то» в России; ты знаешь его, осязаешь его; убедить в нем — не можешь; пожалуйте в лабораторию.

— «В России и то-то и то-то... («17» есть вес азота)».

— «Не то-то, а — «это» («14» — вес азота)»...

До Лавуазье полагали: горение — разложение, выделение невидного газа; и звали тот газ *флогистоном*; в сгоревшей России ее «флогистон» (специфический дух ее) испарился; Россия — бездушная, мертвая, движимая лишь процессами разложения.

Но — Лавуазье доказал: при горении — соединение с газом; так: если собрать перегары (золу, дым, пары, газы) — всё увеличится от слияния с «чем-то» иль — с кислородом.— «Россия — распылена, как зола».— «Нет,— расширена, вес увеличен ее...» Это я утверждаю из опыта, не доказуемого при помощи формул.

В России — неосязаемый «плюс» или «что-то», чего прежде не было. Спрашиваете: «Что в России?» Ответ: «Что-то». Смеетесь. На «что-то» и «где-то» не строют ответов; но дикарю всякий «газ» — только «что-то»; приемы установления газового закона, не поддающиеся осязанию пальцами,— чушь для него; между тем на законах Дальтона и Ге-Люсака отстроилась физика. На законах «чего-то», не видного глазу,— построена будет Россия; в ней «что-то» — проснувшийся дух, открывающий зеницы самосознания.

Твердое тело — отлично от газа; оно — неизменно, предметно, недвижно и форменно; газ — беспредметен, текуч, расширяем, бесформенен. Так и Россия: она изменила свое состояние; и из предметной, границами обрисованной формы она превратилась в бесформенное расширение прядающих паров; все увидели: в пламени — разложение тела; не увидели: соединения элементов ее (индивидуумов) с некой новой, духовной стихией — соединения, образующего великолепнейшее скопление паров над золой, из которого в буду-

щем на золу изольются культурою плодотворящие ливни.

Сознание русских в России — расширено; я вот, писатель, был вынужден переменить ряд служб, писать в холоде, читать курс за ботинки и шапку; конечно — печально... Два года стремился из бедной, голодной, тифозной России; и понял на Западе, здесь, что в голодной, тифозной России вооружился единственным опытом выхождения из себя самого, позволяющим на себя самого, на писателя, поглядеть оком дворника, приобщая и дворника к интересам писателя; все бывали в России — во всех; опыт новый расширенный:

Всё — во мне; и я — во всем...

Так узнание, что коллектив — индивидуум, что индивидуум — в коллективе и что границы обычного, личного, собственного сознания — фикция, все то складывает — космическое сознание России; но о сознании этом сказать здесь — решительно утверждать, что каналы на Марсе — произведение марсиан (— «Но позвольте, ученые до сих пор еще спорят».— «Ученые не были там, а я — был...»).

Так же дики мои утверждения: солдаты, матросы, рабочие вместе с доцентами там обсуждают проблемы культуры, сознания, мысли; с востока на запад и с севера к югу стоит соловьиное пенье поэтов, как будто бы стала Россия весенним ласкающим садом, а не гниющим, воняющим кладбищем. Вот ведь вопрос, почему так поется. А здесь не поется; мне — пелось, а я испытывал и моральные, и материальные боли.

Предсмертное лебединое пение?

Всё-таки: лебединая песнь по весне есть обет о весне уходящего в смерть; умирание — без него не восстанет никто; просто встанет, пожалуй, для... отбывания очередной суеты, от которой в миг смерти отвертываются, как от чего-то пустого, а пустоты-то и нет в ощущениях современной России; присутствует — «что-то», что весит; то — вес кислорода (сошедшего духа) в процессах перегорания и разложения.

Думаю: лебединая песня теперешней, с голоду, с холоду философствующей России есть песня Сократа над чашей с ядом. Сократа нам жаль; но что было бы, если бы не светил светлый образ Сократа, приявшего яд? Его знание, нас осветившее,— знание выпитой чаши, быть может? В тот миг, когда он выпивал

свою чашу, Платон, может быть, отразил — светлый образ Сократа над чашей с ядом: векам?

Современный Сократ, отравляемый внешне и внутренне вознесенный, расширенный, соединенный с вещающим, внутренним гением (с кислородом) — теперешний русский; одет он в лохмотья; пришел — из хвостов, из промерзшего, вшивого помещения по загаженным улицам; он пришел — философствовать, сократический гул диалектики песней стоит над Россией; невероятными ужасами из сознания мужичка, разночинца, рабочего, интеллигента, студента выдавливается фаланга сократов, перед которыми ставится «чаша»: причастие Духом. Причастие Духом есть факт, отличающий новую культуру России, иль утверждение: «Вес азота — 14...»

— «Почему не 17?»

— «Пойдите за мной по моим перспективам».

А доказать тут нельзя.

Доказательство — оптимизм приезжающих из России, замученных, полубольных, истощенных; казалось, они бы должны черпать силы в довольных и сытых культурою зарубежниках — русских; но нет: зарубежники пессимисты их обрывают унынием:

— «Что вы распелись? Какой такой свет?»

Он — оттуда, из «чего-то», чего доказать вам нельзя, господа пессимисты; он — факт эмпирический. Он — факт сознания, имманентного жизни России; он — песня Сократа над ядом; она — нам поставлена так же, как Фаусту; но, поднесенная к горьким устам, опускается; слышим, как Фауст, мы: «Christ ist erstanden!» Пусть там умирают, но — там умирают любя; живут здесь, но... но... сколькие русские здесь живут для проклятия. Здесь вышел Шпенглер написанной книгой; а там произносится много Шпенглером не написанных книг; вы — не верите? Жаль. Пропустив через себя вереницы собраний, бесед, лекций, студий, кружков, утверждаю от опыта: «Вес атомный азота — 14, а не — 17».

Да, «чаша» — экзамен России; перед чашею падают в скотоподобное состояние; над «чашей» взлетает из облачка обыденной обывательской — ангелический, шестикрылатый предтеча грядущего Русского, как устремление, как пар; и Россия — не в павших, а — в устремленных горé, в окрыленных и взывающих:

— «Буди!»

Великолепно описана Достоевским смерть старца Зосимы *; в монастыре ожидали, что — будет: прославится ль тело, или — протухнет оно; ждали чуда; иные ходили обнюхивать гроб, как один любопытный монашек; он первый разнес, что — «протух».

В отношении к современной России я наблюдаю два стиля; один — стиль Алеши; другой — стиль монашка, пришедшего к гробу «понюхать», удостовериться, что «протух»; напоминают иные из зарубежников-русских такого монашка; в оттенке вопросов («Ну что, как в России?») — понюхиванье; из всего постараются вывести:

— «Вы говорите там о каком-то процессе горения, расщепляющем на элементы, соединяемые с кислородом духовной культуры. По-нашему, эти процессы понятны; процессы, происходящие в трупе».

Материалисты одиноки, «принюхиваются» к гробу; они — иль монашки, или покойники рассказа «Бобок» **, играющие словами «дух» (запах) и «Дух». Вывод их: «Дух — есть, есть: попахивает, сгнивает».

Канализация полуразрушена; и нечистоты с дворов не вывозятся (крупный профессор, покойный уже, в своей собственной комнате, где замерзла вода, на печурочке... разогревал, чтобы оттаяло то, что естественно выносимо из комнат). И всё-таки: почему не о «духе» одних нечистот, а о Духе Святом говорили мы, вернувшиеся из России? Да потому, что мы видели — «что-то», чего не узнаешь, не поживя там; перед Алешей у гроба возникло виденье Зосимы сияющего; Алеша над гробом «протухшего» тела увидел — живое нетленное тело; увидел Христа трапезующего.

Не думайте, что современные русские не умирают в сомнениях, в разуверениях, в болях; всё — есть; но есть и иное: видение живой и нетленной России. Не «принюхивающимся» монашкам и не покойникам из рассказа «Бобок», бывшим людям, кончающим лозунгом «обнажимся и заголимся» — не им различить Дух жизни России от «духа» улиц (испорчена канализация).

Помните: после видения Алеша выходит; и — видит: синесапфирное небо, покрытое звездами; небо с огромной звездой над конюшнями *«скотопригоньев-*

---

* «Братья Карамазовы».
** Достоевского.

ской» жизни увидели мы; и утверждая «*Россия есть скотный*»,— должны бы договорить: там есть ясли с «*младенцем*», которому не позволили родиться нигде, кроме «*скотного*», хозяева «*постоялых дворов*» прошлой жизни.

Взглянувши на нынешнюю Россию, вы созерцаете:

Проткнутые ребра,
Перекрученные руки,
Перепоясанные чресла!

И восклицаете:

И это —
Был
Христос?

Но —
— Это —
Воскресло!

Христос воскрес

(Предисловие к поэме)

Переживания прижизненной смерти поэмы «*Мертвец*» осмысливаются в поэме «*Христос Воскресе*» как переживания Голгофы самосознания:

В прежней бездне
Безверия
Мы —

Не понимая,
Что именно в эти дни и часы —

Совершается
Мировая
Мистерия...

Здесь «*дни*» и «*часы*» взяты не только в смысле «*дней*» и «*часов*» 1918 года, но в смысле метафорическом: в смысле «*дней*» и «*часов*» встречи переживающего бездны ужасов индивидуального «*Я*» или «*Я*» коллектива (души народа, души человечества) с роком, со стражем порога духовного мира; и этот порог — крест; и — висящий на кресте; приятие распятия пресуществляет тему смерти в тему воскресения; в этой теме каждое «*Я*» или Ich становится I.Ch. — монограммой божественного «*Я*».

Подчеркиваю: мотивы индивидуальной мистерии преобладают в этой поэме над мотивами политическими; обстановка написания поэмы заслонила от критиков основной момент поэмы: она живописует событие индивидуальной духовной жизни; точка зрения автора: события социальной действительности подготовляются в движениях индивидуальной жизни; они — оплотнения, осадки, выпадающие вовне.

Поэма была написана приблизительно в эпоху написания «*Двенадцати*» Блока; вместе с «*Двенадцатью*» она подвергалась кривотолкам; автора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии. На этот «вздор» автор даже не мог печатно ответить (по условиям времени), но для него было ясно, что появись «*Нагорная проповедь*» в 1918 году, то и она рассматривалась бы с точки зрения «*большевизма*» или «*антибольшевизма*». Что представитель духовного сознания и антропософ *не может* так просто присоединиться к политическим лозунгам,— никто не подумал (все влипли в стадные переживания); между тем: тема поэмы — интимнейшие, индивидуальные переживания, независимые от страны, партии, астрономического времени. То, о чем я пишу, знавал еще мейстер Эккарт; о том писал апостол Павел. Современность — лишь внешний покров поэмы. Ее внутреннее ядро не знает времени.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨17 марта 1918. Москва⟩

Дорогой, милый, близкий Саша,
какая странная судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) — огромны и эпохальны, как «Куликово Поле». Все, что Ты пишешь, взмывает в душе вещие те же ноты: с этими нотами я жил в Дорнахе: *я это знаю.* То же, что Ты пишешь о России, для меня расширяется до Европы. Там назревает *крах* такой же, как и у нас: *я это знаю... наверное...* Еще многое будет... *«То было в Богемии дальней...»* (твои стихи)...

Сказка иль сон?

«*Доспех тяжел, как перед боем!.. Теперь — молись...*» В горах Швейцарии я давно уже распрощался

со старым миром... В Англии воочию видел: «Пора смириться, сёр...» и «И в собрании каждом людей эти *тайные сыщики* есть...» Если Россия и Европа не стряхнет с себя *«железную пяту»* — скоро мы увидим открытые человеческие жертвоприношения... Лучше анархия, гибель, смерть, чем то, что *замыслил «сёр»* из Твоего стихотворения: казнь первенцев замыслена...

По-моему, Ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни — Тебе не *«простят» «никогда»*... Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знам⟨ени⟩ Труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим.

Помни: Ты всем нам нужен в... *еще более* трудном будущем нашем... Будь мудр: соединяй с отвагой и осторожность. Крепко обнимаю Тебя и люблю, как никогда.

Твой «невольный» брат *Б. Б⟨угаев⟩*.

БЛОК — БЕЛОМУ

9 апреля 1918. Петербург

Милый Боря,

Твое письмо очень поддержало меня, и Твое предостережение я очень оценил. Было (в январе и феврале) такое напряжение, что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь. Для себя назвал это Erdgeist'ом *. Потом (ко времени Твоего письма) наступил упадок сил, и только вот теперь становится как будто легче. А то — было очень трудно: растерянность, при которой всякий может уловить.

В Москву не еду, откладываю, отчасти из-за разных дел, но, главное, от не прошедшей еще усталости.

Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все Вы) не пугался «Двенадцати»; не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга, а мне показалось, что Ты «испугался», как 11 лет назад,— «Снежной Маски» (тоже — январь и снега). Хочу, чтобы письмо передал Тебе Разумник Васильевич, с которым мне часто бывает хорошо и «особенно» (уютно и тревожно вместе).

Крепко Тебя целую.

Твой *Ал. Блок*.

---

* Духом земли.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

10 августа ⟨19⟩18. Москва

Дорогой Саша,

пользуюсь случаем, чтобы обнять Тебя и поблагодарить за книгу стихов и «12»... И еще спасибо за то, что *«Ты — Еси»* вообще. Слов у меня к Тебе внешних нет, а внутренних *очень, очень,* много. Часто думаю о вас, петербуржцах: держись крепко.

Левые «эс-еры» во всех отношениях путаники: запутали меня с Академией, сами из нее вышли, а меня подвели — тем, что в «Известиях» появилось извещение о том, что я выбран *«профессором»*. Я, разумеется, отказался: очень жаль, что все это время я не вижу ни Тебя, ни Разумн⟨ика⟩ Вас⟨ильевича⟩ — просто в смысле информационном я один: никого не вижу, ни у кого не бываю, ни от кого никаких вестей не имею.

Евг⟨ений⟩ Герм⟨анович⟩ Лундберг тоже путаник. От всех *«путаников»* устал; и — пошел служить в «Архив». Теперь — помощник Архивариуса; и это меня очень занимает. Если увидишь Раз⟨умника⟩ Вас⟨ильевича⟩, обними его от меня и передай, что нехорошо нас так забывать.

Остаюсь искренне любящий

Борис Бугаев.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

31 августа 1918. Москва

Дорогой Саша,

я — редактирую в Москве *«Альманахом»*, посвященным революции; меня просили просить Тебя в него: просить Твоих стихов. Присоединяю горячую просьбу; мне, как редактору стих⟨отворного⟩ отдела, было бы крайне радостно получить от Тебя стихов; надеюсь на получение; надеюсь, что Ты ради *меня тоже* дашь, если у Тебя найдутся стихи, связанные с революцией: совершенно не важна *тенденция*; важна органическая (пусть внутренняя) связь с переживаемым революц⟨ионным⟩ периодом времени.

⟨...⟩

Гробовое молчание Раз⟨умника⟩ Вас⟨ильевича⟩

меня удивляет; писал: не отвечает. Между тем, так во многом надо было посоветоваться; пока же: отказался от профессуры в Соц⟨иалистической⟩ Академии, отказался от *«Пролеткульта»*: причины — *«эконом⟨ический⟩ матер⟨иализм⟩»*, насаждаемый ими. Ничего не пишу: тяжело, душа молчит... От Аси ни слуху, ни духу, страшно нуждаюсь в деньгах; месяц служил в «Архиве», было хорошо, да *«профессора»* не утвердили; теперь всякими правдами и неправдами приходится зарабатывать: редактирование — заработок.

Итак, поддержи меня, дай стихов.

Остаюсь глубоко любящий Тебя

Борис Бугаев.

БЛОК — БЕЛОМУ

5 сентября 1918. ⟨Петербург⟩

Дорогой Боря,
с удовольствием посылаю Тебе: 1) цикл — «На рубеже двух миров» — 7 стихотворений («внутреннюю связь», конечно, найти можно). Стихи — старые, но все — переработанные. Имей в виду, что 2 и 6 залежались в редакции «Жизни», но ведь она, вероятно, не возникнет; что 5, 6 и 7 — *варианты* стихотворений, напечатанных давно (но *не* в книгах, а в газетах); 2) новое стихотворение, посвященное Зин⟨аиде⟩ Николаевне.— Был бы рад, если бы Ты все это напечатал (м.⟨ожет⟩ б.⟨ыть⟩, в разных местах альманаха?), ⟨...⟩

⟨...⟩ Р⟨азумник⟩ В⟨асильевич⟩ просит тебя обнять и передать, что он сочувствует причинам, по кот⟨орым⟩ Ты ушел из С⟨оциалистической⟩ А ⟨кадемии⟩ (как и я, конечно).

Целую тебя крепко, извести, когда получишь это (все пропадает или задерживается). Мне тяжело тоже, но надежд у меня (*не* личных) столько же, сколько и планов — много.

Любящий Тебя

Ал. Блок.

P. S. Алянский, кот⟨орый⟩ у Тебя был, человек деятельный, «американец». Думаю, что у нас с ним выйдут дела.

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

⟨27 сентября 1918. Москва⟩

Дорогой Саша,

⟨...⟩

Спасибо, милый, большое спасибо за несколько слов о Себе: я чувствую Тебя все время близко-близко, хотя мы не видимся и не переписываемся. Страшно хочется Тебя видеть.⟨...⟩

Остаюсь нежно любящий и преданный неизменно

Б. Бугаев.

⟨...⟩

БЕЛЫЙ — БЛОКУ

12 марта (19)19. ⟨Москва⟩

Дорогой Саша,

ты, вероятно удивишься, что я Тебе пишу (наши отношения года уже протекают без писем, но — все равно: я всегда ощущаю факт Твоего бытия). Я пишу на этот раз под впечатлением «Катилины». Брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление; в ней есть то, что именно нужно сейчас: монументальность, полет, и всемирно-исторический взгляд, соединенный с тончайшими индивидуальными переживаниями; я прочел в этой статье не только то, что Ты сказал, но и то, что Ты не сказал: прочел не в мыслях, а в ритме; и в ритме прочел, что сейчас Ты мог бы сказать многое. Признаюсь, насколько я люблю Твои стихи, настолько иные из Твоих прежних статей оставляли во мне впечатление, что *Ты* мог бы сильней выразиться в них. «*Катилина*» вполне соответствует Тебе (автору «Двенадцати», «Куликова Поля» и т. д.). Это не статья, а — «драматическая поэма»; и — главное: это — первый акт драматической поэмы; ряд актов — в Твоем (не знаю, в сознании ли, в подсознании ли?). И потому — пиши, пиши, пиши: «Катилина» дает о Тебе знать, что Ты — в Духе; а писать сейчас, это — больше, чем учреждать 10 университетов. Каждая книга — осуществленная Академия; и $^{9}/_{10}$ из проектов — «неосуществимый проект». Если бы Ты, Разумник Вас⟨иль-

евич⟩, я и Вячеслав писали бы *о самом* Главном сейчас и перекликались бы, то — «Записки Мечтателей», если бы вышло лишь 6—7 №№, были бы *эпохой*.

Звезды благоприятствуют им, звезды благоприятствуют (во внутреннем смысле) тому, что из этого объединения вокруг «Записок Мечтателей» может создаться настоящее дело. Но внешние трудности будут расти (Ариман приложит все усилия, чтобы извне препятствовать: для этого найдутся какие угодно отвлечения... дела, «Театр⟨альный⟩ Отд⟨ел⟩», бумага и т. д.). У меня есть чувство: мы *должны начать «Вольно-Философскую Академию»* маленькой кучкой писателей именно на страницах *«Записок Мечтателей»*. Я смотрю на них, как на самое близкое дело свое не потому, что я хочу там много писать, а потому, что там мы можем встречаться (Ты, Вячеслав, Я) без посредников, *«Метнеров»*, *«критиков»*, *«руководителей»* нашими внутренними голосами: говорить от сердца с собой и друг с другом. Милый, милый,— пиши: положи на сердце себе *«Записки Мечтателей»*. Пусть они будут нашим общим «детищем»; знаю, как никогда, это — нужно: *нужно, чтобы они были*.

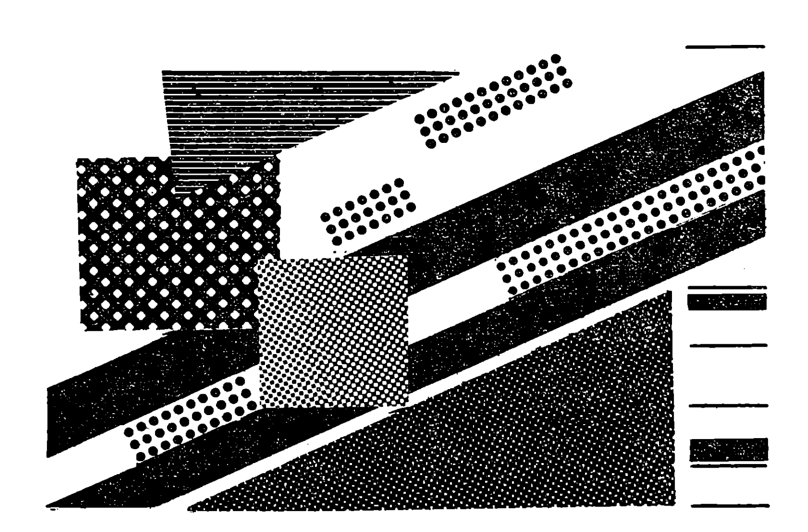
Радуюсь за Тебя, что Ты оставил председательствование в «Т⟨еатральном⟩ О⟨тделе⟩». Как бы мне хотелось отвлечь от него совершенно *«оказенившегося»* там Вячеслава, на которого грустно смотреть.

Братски обнимаю Тебя и — очень люблю.

Б. Бугаев.

С судьбой поэзии
А. Белого
и особенно А. Блока
в немалой степени
связана
вообще
судьба русской
поэзии

С. Городецкий



Сергей Соловьев *

Андрей Белый. «Пепел»

⟨Изд. «Шиповник», Спб., 1909⟩

Два направления боролись некогда в нашей поэзии: на знамени одного написан был девиз: чистый эстетизм; на знамени другого — общественность и тенденция. Вождем первого движения был Фет; второго — Некрасов.

Первому направлению суждено было скоро разложиться и затем явиться в литературе прямо уже антиэстетическим фактором. Наследники Некрасова покушались окончательно уничтожить поэзию во имя тенденции. Между тем, единственная фаланга поэтов, за которою было будущее, пошла за Фетом: имя Фета — на их знамени; их девиз — чистый эстетизм. Односторонность такого понимания искусства скоро была сознана самими символистами. «Кумир Красоты также бездушен, как и кумир Пользы»,— заявил Брюсов. Бальмонт написал восторженную статью о Некрасове.

С книгой Андрея Белого «Пепел» наша поэзия вступает в еще новый фазис развития. Если символисты начали с Фета и потом равно оценили Некрасова, то теперь равновесие нарушено в пользу Некрасова.

Большое достоинство книги Белого в том, что она реально связана с современностью. Автор говорит в предисловии:

«В предлагаемом сборнике собраны скромные, незатейливые стихи, объединенные в циклы; циклы, в свою очередь, связаны в одно целое: целое — беспредметное пространство, и в нем оскудевающий центр России. Капитализм еще не создал у нас таких центров в городах, как на Западе, но уже разлагает сельскую общину; и потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, деревеньками — живой символ разрушения и смерти патриархального быта. Эта смерть и это разрушение широкой волной подмывают села, усадьбы; а в городах вырастает бред капиталистической культуры».

Подобно Некрасову, подобно Мусоргскому, Андрей Белый является здесь певцом забитого, обиженного человека.

---

* В раздел «Приложения» включены наиболее интересные и содержательные отклики современников на стихотворные произведения А. Блока и А. Белого, связанные с темой России и революции. Они дают представление о живом, непосредственном восприятии диалога, который вели два поэта. Авторы откликов сами становились участниками диалога о России и революции. Бо́льшая часть откликов не переиздавалась со времени своего появления и только теперь вводится в широкий обиход.

Вот телеграфист « стрекочет депешами» и «колесо докучливое вертит», а

Детишки бьются в школе
Без книжек (где их взять!):
С семьей прожить легко ли
Рублей на двадцать пять: —
На двадцать пять целковых —
Одежда, стол, жилье.
В краях сырых, суровых
Тянись, житье мое!

Вот каторжник, бежавший из острога, бросается в Волгу. Вот арестанты, бежащие из тюрьмы, вспоминают, как:

Заковали ноги нам
В цепи.
Вспоминали по утрам
Степи.
За решеткой в голубом
Быстро ласточки скользили.
. . . .
Приносил нам сторож водки.
Тихий вечер золотил
Окон ржавые решетки.

Эти отверженные способны к нежным и теплым чувствам. Трогательна песня плотника, который видит «в окне, из-за банок, взгляд подружки», «поступившей в услужение к прачке». Вот закипающая негою и зноем сцена свидания «под плетнем — навесцем малым...»

Тает трепет слов медовых
В трепетных устах —
В бледнорозовых, в вишневых
В сладких лепестках.

Вот злые песни ревности и мести. И, наконец, «Виселица», быть может, самое сильное стихотворение книги, где звучат ноты некрасовского «Огородника».

Не менее удачно изображен и «бред капиталистической культуры» в стихах «Маскарад», «Праздник» и др. Ядом разлагающегося быта пропитаны все стихи в отделе «Паутина». Воздух дворянских парков, домов с мраморными колоннами, со «старушкой, разрезающей торт» и лакеем Акакием, «боящимся ночных громил»,— все это отравлено как бы дыханием незримого вампира, который иногда показывается то в виде паука, высасывающего муху, то в виде горбуна «с угарным запахом папирос», «с восковым лбом» и в «ярко-огненном галстухе».

Так противопоставлены в сознании поэта эти два мира: мир городского пролетариата и крестьянства, где среди бесконечного страдания вспыхивает пламя действительной жизни со страстями и радостями, и мир аристократии и капитализма, где жизнь давно уже умерла и на месте великолепного маркиза тащится урод-вампир с «угарной папиро-

сой». Но и тут нет-нет, да и запоет элегическая красота прошлого, и мы различим пушкинскую метрику:

Там в бирюзовую эмаль
Над старой озлащенной башней
Касатка малая взлетит —
И заюлит, и завизжит,
Не помня о грозе вчерашней;
За ней другая — и смотри:
За ней, повизгивая окол,
В лучах пурпуровой зари
Над глянцем колокольных стекол —
Вся черная ее семья...

Россия с ее разложившимся прошлым и нерожденным будущим, Россия, какой она стала после Японской войны и подавленной революции — вот широкая тема трепещущей современностью книги Андрея Белого.

Недостатков в книге Андрея Белого много. Он неумеренно пользуется слишком звонкими рифмами, аллитерациями. Слишком часто встречаются: лапоть — окопать, росах — посох, утонешь — Воронеж, сырости — вырасти, Киев — змиев, бродили — лилий, окол — стекол, лисий — выси, мифом — лифом (!?!), погибли — лилий и т. д. Бесплодно хочет стать рифмой созвучие — столицу — виселицу. И можно ли, не подавившись, прочитать стих:

Вниз из изб идут?

К оригинальным недостаткам Андрея Белого относится злоупотребление будущим многократным, напр.:

Злое поле жутким лаем
Всхлипнет за селом.

Надо бы: всхлипывает. При будущем получается ненужный оттенок многократности: нет-нет, да и всхлипнет. Примеров такого будущего много: просверкает, тукнет, взмоется, прокружится, исчертит, взвеет и т. д.

Андрей Белый идет за Некрасовым в изображении скорби народной. В безотрадных красках является ему Россия.

И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей: —
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.

Характерно, что поэт видит в России все, что видел Некрасов, все, кроме *храма*, о камни которого бился головой поэт народного горя. «Скудного алтаря», «дяди Власа», «апостола Павла с мечом» нет в книге Андрея Белого. Правда, есть дьякон, но:

Гомилетика, каноника —
Раздувай-дува-дувай, моя гармоника!

Это — озлобленный Некрасов «Последних песен» и «Кому на Руси жить хорошо».

Книга Андрея Белого называется «Пепел». Пепел чего? Прежних субъективных переживаний поэта или объективной действительности,— пепел России? И того и другого. И если суждено поэту, подобно Фениксу, восстать из пепла для новых песен жизни и утверждения, то будущая его книга может быть только о «Боге угнетенных, Боге скорбящих, Боге поколений, предстоящих пред этим скудным алтарем». Без этого Бога и Россия, и народность, и наша личность могут быть только горстью «пепла».

Вячеслав Иванов

Андрей Белый. «Пепел»

⟨Изд. «Шиповник», Спб., 1909⟩

В изящной словесности последнего времени наблюдается знаменательное передвижение. Писатели, вышедшие из реалистической школы, как Л. Андреев, усваивая приемы символистов, все чаще удаляются от живой реальности, как объекта художественных проникновений, в мир субъективных представлений и оценок, и все безнадежнее утрачивают внутреннюю связь с нею, подобно герою «Черных Масок». Эмпирическая действительность, изначала воспринятая безрелигиозно, под реактивом символического метода естественно превращается в мрачный кошмар: ибо, если для символиста «все преходящее есть только подобие», а для атеиста — «непреходящего» вовсе нет, то соединение символизма с атеизмом обрекает личность на вынужденное уединение среди бесконечно зияющих вокруг нее провалов в ужас небытия. Исконные же представители символизма, напротив, пытаются сочетать его как с реалистической манерой изображения, так и с реалистической концепцией символа. Под этою последней мы разумеем такое отношение к символу, в силу которого он признается ценным постольку, поскольку служит соответственным ознаменованием объективной реальности и способствует раскрытию ее истинной природы.

Прежде было не так: школа символистов, провозгласив неограниченные права своеначальной и самодовлеющей личности и этим изъятием ее из сферы действия общих норм замкнув и уединив ее, использовала символ как метод условной объективизации чисто субъективного содержания. Чтобы выйти из этого волшебного круга вольно зачуравшейся от мира личности, символистам нужно было преодолеть индивидуализм, обострив его до сверхиндивидуализма, т. е.

до раскрытия в личности сверхличного содержания, ее внутреннего *я*, вселенского по существу; им нужно было развить из символа изначала присущую ему религиозную идею.— Одним из показателей этой эволюции в символизме является новая книга стихов Андрея Белого «Пепел» — творение, далеко выходящее по замыслу за пределы интимного искусства поэтической секты, посвященное преимущественно проблемам нашей общественности и обращенное к обществу.

Кажется, что книга эта — самое зрелое создание поэта, яркий талант и изумительная оригинальность которого давно признаны в той же мере, в какой его своенравные особенности и странные аномалии делают спорными и сомнительными, в глазах большинства, его поэтические завоевания. Но «Пепел» знаменует какой-то поворот в творчестве А. Белого, образует в развитии его какую-то эпоху, потому что свидетельствует о коренной перемене, происходящей в художнике, о начавшемся перемещении центра его художественного сознания от полюса идеализма к полюсу реализма.

Андрей Белый, поскольку он снизился в своей прежней лирике и своих повестях — рапсодиях по эпическому, «симфониях» по музыкальному их содержанию,— где поэт подчинил фразу законам музыкально-тематического развития, лейтмотива, циклической повторности и сплошной симметрической периодизации,— прежний А. Белый являл в своем искусстве ряд характерных черт, которые, помимо воли и сознания поэта, сближали его, начинающего и еще столь беспомощного и опрометчивого новатора, по духу и приемам творчества — с Гоголем. Эта родственная связь чувствовалась в лирической волне чистомузыкального подъема, которая ритмически несла ослепительную красочность быстро сменяющихся и как бы лишенных подлинной живой существенности образов жизни, переходящей в фантасмагорию, и фантазии, причудливо сочетавшей заоблачное с тривиальным; в яркой и дерзкой выразительности своеобразно неправильного, подчиненного внутренним музыкальным импульсам, крылатого и искреннего языка; в юморе, как неизбежной, интегральной части поэтического одушевления и восторга, и в особенностях этого юмора — в быстроте его неожиданной живописи, в его фантастических преувеличениях, в тайном ужасе его сквозящих пустотою масок, в его лиризме и химеричности. Подобно Гоголю, Белый был болен прирожденным идеалистическим «неприятием мира» — не тем, которое возникает из роста самоутверждающегося высшего сознания в личности, но тем, что коренится в природной дисгармонии душевного состава и болезненно проявляется в бездушном дерзновении и внезапной угнетенности духа, в обостренности наблюдательных способностей, пробужденных ужасом, и слепоте на плотскую сущность рас-

крашенных личин жизни, на человеческую правду лиц, представляющихся только личинами — «мертвыми душами».

Глубокая и также прирожденная религиозность делала А. Белого все же реалистом; но единственная реальность в творении, ему ощутимая, была супра-реальность непосредственного мистического знания — Душа Мира, в ее глубочайшем и сокровенном лике Матери-Девы. Матери-жены, многогрудой Кибелы, родительницы и кормилицы сущего, он как бы не видел, и не было общего кровообращения живых знергий между поэтом и Землей. Тайне пола он хотел бы сказать живое *да*, но бездна между отвлеченно-одухотворившейся личностью и темной утробой Матери была столь непереходима, что это *да* в искажении и корчах кончалось криком отчаянного проклятия, который слышится в последней, недавней «симфонии» («Кубок Метелей»). Между личностью, белым Персеем и ждущей освобождения Андромедой, невыявленной супра-реальностью химерического мира, не было реальностей промежуточных: недостижимая заря закатов манила напрасным призывом; жизнь земли «распылялась» и «завивалась» в демонические вихри; самозванный искупитель, возомнивший себя сыном Девы, с бескровно-бледным лицом безумца, ударял себя в грудь стеблями сорванных маков. Люди казались только «узлами сил», большею частью вражеских, химерами-предтечами Дракона, выступающими из хаоса гиероглифами апокалиптической тайнописи: в них не было крови, они были только личинами. Их нельзя было любить — как и Гоголь не мог любить своих героев.

Что-то счастливо изменилось в душе поэта, благодатно открылось ей; что-то простил он темной Матери, первой, ближней реальности, и узнал в человеке живое «*ты*». Как Гоголь помог развитию художника, так Некрасов разбудил в Белом человека-брата; и новая книга его уже плоть от плоти и кость от кости истинной «народнической» поэзии. Но не над горем голодного народа только хотел бы он «прорыдать» в родимые пустые раздолья: во всем ужасе представляет он душевное тело народа и его злой недуг, отчаянье и оторопь горбатых полей, растрепанных, придавленных деревень, сухоруких кустов и безумных желтоглазых кабаков. Внутреннее освобождение поэта совершилось через его перевоплощение во внеличную действительность, через сораспятие с ней, через нисхождение к этой ближайшей, непосредственно данной реальности, а не восхождение до высшей и отдаленнейшей. Поэт, чаявший белой соборности в свете и святой славе, право начал с приобщения к соборности, погребенной в черные, косные глыбы. Стих его возмужал и окреп; и хотя много еще остается и прежней искусственности, и неточности в форме, и прежней химеричности в замысле,— мы, тем не менее, обогатились книгой, которая в своеобразных лирических и импрессионистических стихот-

верениях-рассказах, в этом исполненном последнего уныния и отзвуков многоустой хулы, но все же тайно оживленном верою в наш народ и его Бога «De profundis clamavi» *,— мрачною тенью отразила многоликую, недугующую, как роженица, мучимая родами, долготерпеливую — и уже нетерпеливую,— современную Россию.

Вячеслав Иванов

О русской идее

I

Наблюдая последние настроения нашей умственной жизни, нельзя не заметить, что вновь ожили и вошли в наш мыслительный обиход некоторые старые слова-лозунги, а следовательно, и вновь предстали общественному сознанию связанные с этими словами-лозунгами старые проблемы. Быть может, слова эти мы слышим порой в еще небывалых сочетаниях; быть может, эти проблемы рассматриваются в иной, чем в минувшие годы, постановке: как бы то ни было, разве не анахризмом казались еще так недавно вопросы об отношении нашей европейской культуры к народной стихии, об отчуждении интеллигенции от народа, об обращении к народу за Богом или служение народу как некоему богу?

Чем объясняется это возрождение забытых слов и казавшихся превзойденными точек зрения? Тем ли, что зачинатели всяких «новых слов» и новых идеологий — писатели и художники,— раскаявшись в своем горделивом отщепенстве от отеческого предания, вернулись, как говорят некоторые, к исконным заветам русской литературы, издавна посвятившей себя общественному воспитанию, проповеди добра и учительству подвига? Но говорить так, значит скорее описывать более или менее тенденционно факт, нежели изъяснять его причины.

По-видимому, наше освободительное движение, как бы внезапно прервавшееся по завершении одного начального цикла, было настолько преувеличено в нашем первом представлении о его задачах, что казалось концом и разрешением всех прежде столь жгучих противоречий нашей общественной совести; и, когда произошел перерыв, мы были изумлены, увидев прежние соотношения не изменившимися и прежних

* De profundis clamavi (*лат.*) — начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва над умирающим: «De profundis clamavi ad te, Domine» («Из глубины я воззвал к тебе, Господи»).

сфинксов на их старых местах, как будто ил наводнения, когда сбыло половодье, едва только покрыл их незыблемые основания.

Размышляя глубже, мы невольно придем к заключению, что какая-то огромная правда всегда виделась в зыблемых временем и мглою временных недоразумений контурах этих наших старых проблем, и как бы ни изменились в настоящую пору их очертания, не уйти нам от этой их правды. И кажется, что, как встарь, так и поныне, становясь лицом к лицу на каждом повороте наших исторических путей с нашими исконными и как бы принципиально русскими вопросами о личности и обществе, о культуре и стихии, об интеллигенции и народе,— мы решаем последовательно единый вопрос — о нашем национальном самоопределении, в муках рождаем окончательную форму нашей всенародной души, русскую идею.

⟨...⟩

III

Остановимся на нескольких последних многовыражающих фактах нашей литературной жизни. В поэзии нашей возродилось народничество. Не то «народничество» я разумею, которое мне самому не раз приписываемо было критикой, хотя лично мне чужд этот термин и превратно выражает он мою точку зрения на задачи искусства. Всенародное искусство которое в моих глазах является целью и смыслом нашей художественной эволюции от символа к мифу, закономерно развивающемуся из древнейшего религиозного содержания символа — всенародное искусство, предваряемое, по моему воззрению, уже наступившим келейным искусством, искусством художников, преодолевших в принципе недавний индивидуализм, и как форму притязаний своеначальной личности и как идеализм уединенности,— всенародное искусство, как чаемое знамение приблизившейся органической эпохи, долженствующей сменить нашу критическую,— это всенародное искусство не может быть смешано с искусством народнического типа; оно в будущем, и пути к нему — пути к мистической реальности, а не к эмпирической действительности современного народного бытия. Под новым народничеством я не разумею и попыток приблизиться к мифу, забытому или еще в народе живому, приобщиться творческим родникам примитивного мировосприятия. Эти попытки, взятые сами по себе, быть может, вырабатывают как бы некое русло для грядущего мифотворчества; но содержание этого последнего, конечно, не предваряется и даже не предчувствуется этим направлением нашей поэзии, поскольку оно не исходит из подлинно религиозного сознания истинных и основных реальностей духовной жизни народа.

Народническую струю в собственном смысле вижу я в новейшем творчестве Александра Блока и Андрея Белого;

и оба в этом отношении мне представляются характерными явлениями времени. Романтизм Блока рассматривает русскую народную душу как женское начало, загадочное, темное, неотразимо-влекущее влюбленного поэта: «Незнакомка» стала Фаиной в «Песне судьбы», под маской Фаины поэт откровенно подписал: Россия. Роковая, зазывная мелодия стихийной души позвала поэта, и он готов отозваться неведомой и темноокой возлюбленной ответным, заветным призывом:

Выйди, выйди в рожь высокую...

В этом отношении романтика к душе народной жутко чуется какой-то национальный буддизм наш, один из уклонов нашего подлинного христианства: влюбленное сердце опять, хотя иначе, чем прежде, «хочет гибели» — только «гибели». Личность не знает, что ей делать; одно знает, что броситься надо в темное море, и не может противостоять сладкой сирене Стихии.

Блок пророчит, что приблизится Стихия,— полетит русская тройка, и уже черные космы коренника у него перед глазами,— и поглотит стихия наша культуру нашу, как Стихия поглотила Мессину и Реджио. Чувство страха внушило Блоку брошенное им в лицо общества «Memento mori» *.

Как Блок, так и Белый,— народники уже потому, что хотят воскресить поэтическое предание Некрасова, его заветы и его запевы. Но А. Белый — народник по-иному, чем Блок. В «Пепле», своем лучшем создании (если не считать второй, московской или драматической симфонии), он по-некрасовски пожалел народ; больше того, он хотел сораспяться ему в духе. Ибо перед нами не изображение только беды и скудости народной, но и перевоплощение поэта в русский бурьян и русское горбатое поле, во все разнообразные личины русской «оторопи» и русского кабацкого отчаяния. Не физическое тело народа только пожалел он, не над одним голодом и нуждой хотел бы «прорыдать» в холодные просторы, но пожалел он наше душевное тело и во всем ужасе явил глубоко проникший все его психические ткани злой недуг. И у него личность как бы не знает, что ей делать, сирой и нищей; и ему как бы хочется просто идти, куда глаза глядят. Но не заветное и роковое свидание «во ржи высокой» манит поэта, а «пляска с топаньем и свистом под говор пьяных мужиков...» — увы, уже не та, на которую засматривался Лермонтов, а какая-то небывалая пляска отчаяния, новая и неслыханная кладбищенская камаринская.

Если оба поэта-народника не ведают, по-видимому, ходов к народу, кроме приобщения к его отчаянию, и не ведают выхода для народа, хотя и согласны, конечно, оба, что единственным возможным решением проблемы было бы решение

* Memento mori (*лат.*) — помни о смерти.

религиозное,— quasi религиозную концепцию народничества находим мы там, где менее всего могли бы считать ее вероятной. Правоверный большевик Максим Горький завел речь в «Исповеди» о народобожии. Итак, отныне можно говорить о народничестве не только символистов, но, что еще парадоксальнее, социал-демократов. Характерно, что это настроение последних сочетается с несомненным передвижением их идеологии в сторону соборного чувствования. Такое передвижение симптоматически намечено книгою Луначарского о «Религии» и окрещено его представителями как «богостроительство». Д. В. Философов в Петербургском Религиозно-Философском Обществе ясно показал зависимость этих тусклых проблесков элементарного религиозного сознания от Фейербаха и Конта и, вслед за мною и Мережковским, счел справедливым приветствовать этот этап, или, быть может, случайный уклон марксизма, подобно тому, как Вл. Соловьев приветствовал в строе позитивизма идею Конта о человечестве как о «Великом Существе», потому что усмотрел в ней начатки верования в бессмертный состав всечеловеческого организма, обнимающего собой наравне с живыми совокупность ушедших и еще не рожденных. Как бы то ни было, Горький по-своему говорит то же, что мы слышали уже встарь: «Если ты Бога ищешь, иди к народу и верь, во что он верует». Только прежде думали, что народ — богоносец, а Горький думает, что народ — сам бог и верует в свою божественность.

Впрочем, все же не эмпирическая, количественная совокупность людей есть этот бог, но их соборное, творческое, сверхличное, единое «я». В соборной душе раствори и потеряй душу свою,— учит Горький-народник, как мечтает народник Блок. Для интеллигенции, как носительницы сознания, отдельного от сознания народной массы, нет внутреннего оправдания; она опять и по-новому провозглашается безбожной, поскольку она вненародна.

Сергей Городецкий

Идолотворчество

⟨...⟩

2

Ἰδέα (ens realissimum) или εἴδωλον? Для многих поэтов вопрос этот является роковым. Куда направить творческую энергию: к ознаменованию ли сущего, или к преобразованию видимостей, к созданию хрупких образов, не имеющих за собой бытия, а только распространяющих бывание?

Как предпочесть женскую, молчаливую восприимчивость блестящему по внешности, самостоятельному творчеству? Не лучше ли, чем петь с чужого, хотя бы и божественного голоса, спеть свою какую ни есть песенку? Многие соблазняются второй долей. Иные, внимая голосу эпохи, всеми силами устремляются к первой. Чистые типы редки наперечет. Особенно интересны те случаи, где обе стихии находятся в энергичной борьбе, не существуют, а ратоборствуют. Такие случаи мы имеем в настоящее время в Андрее Белом * и Александре Блоке. Оба эти поэта приближаются к расцвету своих действительностей и спешат сложить последние камни своих миросозерцаний. Их творчество полно еще энергии. Избираемые ими формы ему мягки, как только что отлитые колокола. Что у старших их современников, поэтов более установившихся, лежит спокойно рядом, то у них еще бунтует.

Двумя меткими и короткими фразами Вячеслав Иванов определяет их положение:

«Андрей Белый, как поэт, хочет реализма и не может преодолеть идеализм».

«Блок, напротив, отвращается от реализма» **.

В предисловии к «Пеплу» А. Белый пишет курсивом: «художник всегда символист; символ всегда реален». По-видимому, он исповедует здесь реалистический символизм. Но или потому, что предисловие написано много позже самой книги, или потому, что одно — исповедовать, а другое — исполнять свою проповедь, только теория далеко расходится с практикой, и над всей книгой веет мертвящее дыхание идеалистического символизма.

Иллюзионизм торжествует. Жизнь проносится длинной и жуткой вереницей маскарадов, арлекинад, где среди капуцинов в капюшонах, стройных чертей, бэби, турок и разных домино, пролетает милая гостья — смерть («Маскарад»). Что такое смерть?

— Что такое? То и это:
Носом — в лужу, пяткой — в твердь...

(«*Веселье на Руси*»)

Или вот еще что:

Плыву мимо толп,
Мимо дворни
Лицом —

---

* Говоря о «Пепле» Андрея Белого только с определенной точки зрения, мы не ставим себе целью дать здесь полную характеристику этой выдающейся книги и особенно главного и самого ценного ее отдела «Россия» (*примеч. С. Городецкого*).

** Несколько расходящийся взгляд Вяч. Иванова на книгу А. Белого «Пепел» намечен в его статье, помещенной в этом же нумере (*примеч. редакции журнала «Золотое руно»*).

В телеграфный столб,
В холод горний.

(*«Вынос»*)

А когда умрешь, что с тобой?

А со мной — никого,
Ничего.

(*«Отпевание»*)

А жизнь что же такое?

Жили были я да он.
Тили-тили-тили-дон!

(*«Хулиганская песенка»*)

На мотив чижика.

Любовь? —

Мы пойдем с тобою в баню
Малость поиграть

(*«В городке»*)

Такова действительность, суматоха явлений, пляска бываний, за которыми не стоит никакого бытия. И, наглядевшись вдоволь, поэт начинает, напрягая человеческое свое разумение, строительство своих самостоятельных миров, упиваясь хрупкой красотой стекляшек, камешков и погремушек, как ушедший в игру ребенок.

Эфир; в эфир —
Эфирная дорога.
И вот —
Зари порфирная стезя
Сечет
Сафир сафирного
Чертога.

(*«Пустыня»*)

Вот та скудная собственная песенка, которая идеалистическому символисту дороже восприятия сущего; эфир, эфир, эфир, сафир, сафир — вот чем заменяется сущее! Вот истинное идолотворчество.

Когда же сквозь все стеклянные сооружения, в полете осеннего ветра, в шелесте желтых трав и поздних белых цветиков, в странных, вольных и смелых размахах упругого стебля блеснет сущее — слабое, привыкшее только к человеческому, сердце идеалистического символиста не выносит:

Тише...
Довольно:
Цветики

Поздние, бледные, белые,
Цветики,
Тише...
Я плачу: мне больно.

(«На вольном просторе»)

Этот искренний крик искупает многое. Это первая рана в глухое сердце.

Итак, уже по первому признаку очевидно, что «Пепел» произведение идеалистического символизма. Не менее удовлетворяет эта книга и второму, третьему и четвертому признакам. Остановимся хоть бегло на них. Достаточно перечислить символы небольшого (28 коротеньких строк) стихотворения «Прохождение», чтобы увидеть и то, как они лишаются самостоятельного значения, и то, как царит здесь импрессионизм. Вот что проделывает действующее лицо этого стихотворения: 1) отдает свой фонарь брату, 2) улыбается «в заказ», 3) собирает мяту, 4) вечеряет с бедняком; затем с ним происходит следующее: 5) на него обнажают мечи, 6) терзают его, 7) идут за ним, 8) требуют исцеления от него; после этого описывается пейзаж места действия: 9) ветер взвевает листья, 10) кругом немая пустыня, 11) над ней «нерасцветная твердь»; после пейзажа изображается отчаянье действующего лица: 12) «О зачем не берет меня смерть».

Такое нагромождение символов, сплетение их с необъяснимыми событиями, ошеломляя воспринимающего, не дает, конечно, ни одному символу развиться в его сознании хоть до некоторой степени, ни одному событию стать на свое место и получить логическое оправдание. Ошеломленный и порабощенный, он испытывает «аккорд чувствований», до известной степени созвучный с тем, который был в душе поэта.

Принцип субъективный и психологический чрезвычайно ярки в «Пепле». Все события, весь пейзаж, все люди, все маски воспринимаются крайне субъективно. Характерными чертами для субъекта является некоторое юродство духа, какая-то глубокая гордость искалеченной души, добровольное уничижение, с одной стороны; с другой — болезненная утонченность органов зрения и слуха; с третьей — слабость пола, пережитки детства, изощренная наивность и искусная примитивность мироотношения. Значительная часть стихотворений представляет собою крайне любопытные психологические, а часто психопатологические документы. Несравненным, классическим примером, который будет включен в учебники, останется стихотворение «Утро». Любовь к последнему обнажению своих переживаний, рассматриванию их и любованию ими часто воскрешает мучительные традиции Достоевского.

Невольно подвергаешь сомнению первую половину утверждения Вяч. Иванова: «Андрей Белый хочет реализма». В

правильности второй половины, что он еще «не может преодолеть идеализм», вряд ли остается сомневаться. Но, повторяем, возникает сомнение и в первой половине, подлинно ли он «хочет реализма»? Уж слишком безнадежными оказываются данные анализа.

3

«Блок, напротив, отвращается от реализма» *.

Постепенно затемняется мистический его облик, светивший со страниц «Стихов о Прекрасной Даме». Женственная природа этой книги обаятельна надолго. Восприимчивая душа отрока, зажигающего свечи у алтаря, берегущего «огонь кадильный» и с умилительной скромностью верующего, поистине была причастна тайне. «Ens realissimum» было для нее живой, несомненной, явной в цветах и звуках реальностью. Ознаменовать ее — вот что было подвигом робкого, ослепленного тайновидением, отрока.

Об этом ясно говорят такие признания:

Все лучи моей свободы
Заалели *там.*
Здесь снега и непогоды
Окружили храм.

Все виденья так мгновенны,
Буду ль верить им?
Но Владычицей Вселенной,
Красотой неизреченной
Я, случайный, бедный, тленный,
Может быть, любим.

Подвиг ознаменования начал свершаться в символе Прекрасной Дамы. История литературы установит происхождение этого символа и его развитие в поэзии Блока. (Отчасти это уже сделано.) Для нас же сейчас важна излишняя определенность его, подозрительная быстрота нахождения формы ознаменования и односторонность этой формы. Как-то слишком просто обошелся поэт с порученными ему тайнами. Слишком скоро поэтому он должен будет назвать их «глухими», а явление ему Сущего в облике Вечной Женственности низвести к простому обладанию сердцем какой-то женщины. («Глухие тайны мне поручены, мне чье-то сердце вручено» — «Незнакомка».) И таким образом поэтическое развитие Блока пойдет дорогой «отвращения» от реализма. «Мгновенные видения», которым он вначале не хочет верить, овладевают им слишком скоро. «Не миновать нам двойственной сей грани» — ставит он слова Владимира Соловьева над отделом

* Соглашаясь с оценкой отдельных периодов творчества А. Блока в сфере чисто эстетической, редакция расходится с автором статьи в общем прогнозе, высказываемом им относительно пути развития поэзии Блока (*примеч. редакции журнала «Золотое руно»*).

«Перекрестки» первой же своей книги и с головой окунается в мир видимостей. «Мне страшно с Тобою встречаться»,— говорит он бытию и утопает в бываниях. И сейчас же вокруг него заплетается хоровод арлекинов, масок, людей на улице, людей в комнатах. Он становится близок Андрею Белому, *внутренне* близок, благостью падения, отчаянья. В лучшие миги, когда дали окрыляются надеждой, утешает себя и его.

Из огня душа твоя скована
И вселенской мечте предана.
Непомерной мечтою взволнована —
Угадать Ее *Имена*.

Только *Имена!* Это ли не отказ от ознаменования!

Драматизм «Стихов о Прекрасной Даме» и динамика их заключается именно в борьбе реализма с идеализмом. Еще все лучшее (объективно-эстетически лучшее) принадлежит первому. Еще совсем не удаются попытки импрессионистического изображения, что возможно только при торжестве иллюзионизма. Взять хотя бы такое стихотворение, как «Обман». Но процесс «отвращения» идет настолько быстро, что скоро появляется необходимость в новой форме! Так является роковой «Балаганчик». Это произведение понятно только с нашей точки зрения. Лирика его — скорбь души, отвратившейся от реализма. Драматизм его — последняя борьба угасающего реализма с победительным идеализмом. Образы его — искалеченные символы, с цинизмом и бахвальством неофита взятые из мира видимостей. Вот где объяснение «клюквенных соков» и «картонных невест», так смутивших публику и критику.

После первого, ужасного падения наступает эпоха сравнительного равновесия. Характерными для нее являются такие стихи, как «Незнакомка». Самое заглавие второго сборника «Нечаянная Радость» указывает на некоторое возвращение к реализму. Хаотический мир видимостей снова подчиняется поэту. Ценою *видимой* покорности ему поэта, который тайком, часто не веря себе («Иль это только снится мне?»), на краткие миги опять делается причастным тайне.

Второе горшее падение связано с циклом «Снежная Маска». Здесь явное идолотворчество. Здесь прямо говорится об огнях и мгле «моего снежного города». На несчастье поэта вызванная им стихия снегов и метелей вырывается из его неопытных рук, овладевает им и уносит куда-то. Он ощущает это как смерть. Глубокий, бесконечный снег засыпает землю. Зима. Пускай. Так лучше. Мы верим в грядущую весну, тем более, что в «Стихах о Прекрасной Даме» есть верное пророчество:

Будут весны в вечной смене
И падений гнет.

Последний только что перенесен. Значит, ждать весны.

4

Так ратоборствуют два начала в современном символизме. С судьбой поэзии А. Белого и особенно А. Блока в немалой степени связана вообще судьба русской поэзии. Было б немного страшно за нее сторонникам реалистического символизма, если б она находилась в руках только этих двух не установившихся еще в самом основном поэтов.

Но защищаемая традиция имеет, к счастью, твердых вожаков как на высотах настоящего, так и у порогов будущего.

Против *идоло*творчества крепко стоит *мифо*творчество.

Сергей Городецкий

Ближайшая задача русской литературы

⟨...⟩

II

Несовпадение устремлений поэзии с историей.— Pro domo mea *.— Пафос «Пепла».— Преобладание яда безнадежности.— Психология грядущего героя.— Русская лирика, эпос и драма у порога великой задачи.

То новое, знаменательное движение в поэзии, которое я очертил как пробуждение национальной идеи, развивается слишком медленно, оно тяжело на подъем. Таящее в своем зародыше неисчерпаемые силы для будущего, оно дает неуверенные, кривые ростки, в то время как могло бы раскинуться богатым, стройным деревом. Объяснение этому я вижу только одно, оно все исчерпывается одним словом. Это то химическое словечко, которое стоит над всеми соединениями наших дней, будь то кооперация или собрание религиозно-философского общества. Это то слово, к которому мы все привыкли и которое вопит с каждого угла наших улиц, с каждой строки наших газет,— реакция. Национальная идея родилась в корчме около поля битвы. Подоспей она раньше — сменились бы роли победителей и побежденных. Подоспей она раньше — мы имели бы мир преображенным. Но этого не свершилось. Был момент, когда должны были

* Pro domo mea *(лат.)* — о себе; буквально: в защиту моего дома.

встретиться две великие сестры — революция и нация,— они не встретились. И вот уже плачет сестра над могилой сестры. Слезы ее убивают, она чахлая и больная женщина. Она как Дева-Обида реет над страной, приникая к рекам слез. Новое горе поражает ее: родимый нежный цветок на Балканах стиснут бедой. Она рвется к нему, она простирает острые, вялые крылья, но туманы встают из болота, заволакивая дали. Угрожают дни великого национального позора.

Как же расти тут зернам поэзии?

Я должен извиниться, что хочу перенести внимание на свой угол. 〈...〉

Написание главнейших частей моей книги «Ярь» совпадает с моментом напряжения революционной энергии. Я совершенно был в стороне от политики, но те интерпсихические волны, которые соединяли тогда всех в одно, доходили до меня во всей полноте и колебали меня, как волосок барометра. Я жил одной волной с народом и его землей. Я чужд был книжности, исследующей славянскую древность. Но всем бессознательным своим «я» ощущал великую задачу: воскресить сияющий мир богов и досоздать его там, где он не успел создаться. Мне смешно и горько вспомнить, как далеко оказалось осуществление от цели. Стихи про Ярилу, уже бывшего, и выдуманные мною, столько раз осмеянные, Удрас и Барыба — вот осколки моей Валгаллы.

Только первый удар в белый ствол нежной липы я сделал. Бог остался недостроенным.

Со стороны это крушение может показаться результатом недостатка возможностей. Хочу быть дерзким и думать, что возможности были. Но в той волне, которая меня питала, наряду с здоровой силою таился яд разложения, который и привел к катастрофе. Идеальный барометр не может показывать только солнце, когда будет и ветер. Поэт бессознательно отражает всю сложность момента, как основы текущих побед, так и залоги будущих поражений. Этим я объясняю тот надрыв, который раздробил цельность моего творчества. Я бесконечно благодарен критике, которая не хотела знать всех проявлений этого надрыва, всех моих: «я в гробу лежу» — «похорони меня» и т. д. Я счастлив, что осколки сияющих храмов, которые я должен был воздвигнуть, оказались общественно важнее и нужнее всех других качеств, которым я не удовлетворял как неопытный поэт. В этом заключаются великие обетования светлого будущего. Если сопоставить мои осколки с творчеством Иванова и Ремизова, то станет ясным, что дело идет о групповом явлении. Работа этой группы еще не планомерна, она в значительной степени оторвана, но, впрочем, с чем ей быть связанной теперь, все стало, и откровенное болото откровенно смотрит в пустое небо. По-видимому, предстоит затяжная, длительная эпоха, цвета серого или еще хуже — розового, вкуса кисло-сладкого, температуры тепловато-холодноватой. Надо ее пережить. «Настоящее уны-

ло». В последних произведениях поэзии чувствуется неподдельный страх смерти. «Пепел» Белого — действительно книга в высшей степени современная.

Над страной моей родною
Встала Смерть,—

эта тема книги развита с ужасающей искренностью. Поэт не дает никаких надежд, не хочет никаких иллюзий. Чем хуже, тем лучше. Будь, что будет,— вот мораль книги.

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ,—

начиная с таких слов свои печальные песни, Белый чем дальше, тем больше машет рукой в отчаянье:

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя.

⟨...⟩ С холодного поля летит крик: «умирай, как и все умирают». И покорно летит поэт на смерть.

Пролетаю в поля умереть.

Уменье умирать — это тоже незапятнанная наша национальная гордость. Пафос смерти, царящей в «Пепле», покоряет властно. Но все-таки эта власть ненужная и вредная.

И как в странах змей есть целящие от смертельного жала травы, так перед книгой есть противоядие. Это, во-первых, следующее заявление самого Белого в предисловии:

«Спешу оговориться: преобладание мрачных тонов в предлагаемой книге над светлыми не свидетельствует о том, что автор пессимист». Крайне драгоценна эта поспешность. Во-вторых, известное место из Некрасова, взятое эпиграфом к «Пеплу»: «Что ни год, уменьшаются силы» — и дальше: желал бы,

Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья
Человеческой крови и слез.

Еще не слышно этого звука полногласно, но кое-что слышится: «Жысь наша очень печальная. Прошу тебя, не скучай, пожалуста». Если б Белый не заявил сам о своем оптимизме, можно было бы обратить к нему эту просьбу.

Итак, вот последнее слово русской поэзии: «Над страной моей родной встала смерть».

Предпоследнее было иным несколько, но только теперь, когда сказано последнее, так легко из него вытекающее, мы понимаем ужасный смысл этого предпоследнего слова, которое было: *сон*. ⟨...⟩

Ты и во сне необычайна,
Твоей одежды не коснусь.

Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне ты почиешь, Русь.

Это — «Русь» Блока.

Это все тот же вековой, заклятый, недобровольный русский сон. Он уж совсем похож стал на смерть. И если б царевна не ждала, ветер и заря не звали, и за дремотой не было бы тайны, это и была бы сама смерть. Так безнадежны песни современности. Какая-то светилась надежда, золотым костром в темной пустыне. Но миг сомнения, и костер становится пеплом. Если б не было этой роковой и твердой почвы под отчаянностью Белого, если бы мысли его не были убийственно правильным выводом, яд его книги был бы не так вреден. Но именно в силу этих условий он требует великих сил для преодоления. Каждая буква «Пепла» размножает мириадами бациллы смерти. Они невидимыми полчищами витают около нас, проникают в самую глубину существа нашего, в самые нервы поступков наших. Они отравляют, разлагают и убивают каждый жизненный акт. И уж кажется растерявшимся, что ничем нельзя бороться с этими губительными тучами, что остается только пасть, изникнуть, умереть.

— Оглянитесь назад, безумные,— кричу я им. Ведь в двух шагах от вас та единственная сила, которая только и может ратоборствовать. Полчищам бацилл смерти могут противостоять только полчища бацилл жизни. Ими полна была атмосфера еще так недавно. Ведь сзади вас лежат факты, короткие миги, в которые души переплавлялись и преображались под чудесным воздействием бацилл жизни. Их невидимая работа создала эпоху. Не убивать их в себе, а размножать надо. Пусть все будет убийственной средой для них. Наперекор всему, личным волевым усилием создавайте среду благоприятную. Герой наших дней, еще не узнанный, здесь, среди нас. Он исполнен мужества и упорства. На его щите надпись: не сдаюсь. Его лицо рябое, в шрамах, обветренное и суровое. Он — сын севера. Из-под нахмуренных бровей очи далеко смотрят в море. Но в груди его — пылающее сердце, сердце, становящееся солнцем, вихрем летящее в темноту, косматое от лучей.

Гряди, герой! Мы путь усыпали тебе розами крови нашей и овили пеленами скорби нашей. Мы зажигаем серые сердца свои и учим их лететь навстречу тебе. Мы ждем тебя.— Так надо молиться нам. ⟨...⟩

Литература сумеет, без сомнения, поделить в своих пределах эту задачу. Поскольку дело идет о воплощении отдельных мигов победы атома жизни над атомом смерти, о борьбе в микрокосме — свои услуги предоставит лирика. На глазах у всех еще великая работа Бальмонта, этого солнца нашей поэзии, но солнца подчас слишком мягкого и жидкого. Теперь же необходимы поэты воссоздания энергии. Лучше немногие, но верные. Есть одно пылающее сердце, которое воистину ста-

новится солнцем и воссоздает энергию. Cor ardens * оно называется.

Поскольку предстоит задача отображения широких волн жизни, далекого пути героя, который рождается во времена прошлой реакции, растет и развивается в дни революции и выходит на поле жизни теперь — свои услуги предоставляет эпос. Но я не могу еще назвать ни одного рассказчика, ни тем менее романиста. Прототипом, как Бальмонт, для лириков, конечно, будет зеленый, крепкий дуб русского эпоса — Куприн. Но эпических работников еще видно мало.

Поскольку дело идет о действенном изображении преодолевающей души,— раскрывает свою область драма. Здесь мы уже имеем первый опыт, первый шаг нового творчества. Я говорю о «драматическом прологе», как определил Блок свою драму «Песня Судьбы». Слепыми, неуверенными движениями ступает он, но по верной дороге. Его герой Герман обладает еще коренным недостатком: сонливостью. Драма с того и начинается, что герой спит на пороге своего дома. А дом его это воплощение сна. Белые стены, жена Елена, монашек, весенние проталины — все эти темы первого акта напоминают сонливый мистицизм Нестерова. Но потом герой обнаруживает некоторые резкие жесты, определяющие в нем человека будущего. Он уходит из своей сонной белой кельи на выставку-ярмарку, где и летательные машины, и все совершенства техники, и толпа, и эстрада. На эстраде появляется Фаина, поющая песню Судьбы. Стихийная сила влечет героя к ней, но она ударяет его хлыстом в лицо, оставляя алый шрам. В дальнейших актах они соединяются и уходят в снега и метели бесконечной страны.

«Песня Судьбы» справедливо названа драматическим прологом. Но в ней есть одна черта, которая и в прологе нового творчества недопустима: это постановка темы «герой — народ». По Блоку, они разделены, и Фаина-Русь бьет бичом Германа-героя. Это пережитки декадентства. Мы имели момент, когда все переплавилось и соединилось. В этой переплавке навеки погиб старый грех русской жизни: оторванность интеллигента от народа. Воскрешать его — было бы непростительным ретроградством. В своей публицистической деятельности Блок принял участие в этом ретроградстве, но здоровые поэтические силы успели вовремя удержать его. Все-таки в драме успели отразиться эти мысли.

Крайне знаменательно, что драма пошла впереди нового творчества. Именно в драме, а не в лирике и эпосе лучше всего может воплотиться то начало жизнедействия, жизнетворчества, жизнерадостности, которая призвана в ближайшее время отразить русская литература. 〈...〉

Итак, две действенные силы живут в сегодняшней России. Одна — *сила событий,* миновавших, но оставивших по себе

* Cor ardens *(лат.)* — пламенеющее сердце.

глубокий след. Другая — *сила литературы,* стоящая на высоте своих возможностей. Друг без друга темны они и мертвы, как два угля. Сила событий иссякнет в обыденщине, если не найдет себе воплощения. Сила литературы изойдет в словесности, если не найдет себе содержания. И как два угля, *при соединении,* обе эти силы дадут сверкающую искру, тучи искр, непрерывный поток света, столь нужного пустым и темным полям России. ⟨...⟩

Георгий Иванов

«Стихи о России» Александра Блока

Мы и не подозревали, читая в каталогах об этой маленькой книжке «военных» стихов, что на серой бумаге, в грошовом издании нас ожидает книга из числа тех, которые сами собой заучиваются наизусть, чьими страницами можно дышать как воздухом...

Впрочем, в наше, хотя и чрезвычайно «эстетическое», но порядком безвкусное время, появление «Стихов о России» никакого «события» не сделало. Книга вышла, критика дала о ней десяток рецензий, сочувственных, но в меру — и всё («...да, конечно, Блок прекрасный поэт, но военные стихи, знаете,— такая область...» — вот содержание большинства рецензий!). Нельзя даже обвинять людей, по бескорыстной любви к изящной словесности не поступивших в почтово-телеграфное ведомство, нельзя их, добродушных и тупых (присяжных идейных критиков), судить за нечуткость или непонимание! Слишком много «хладных трупов» удачно конкурирует в наши дни с истинными поэтами. Мы все привыкли быть ценителями великолепных фальсификаций, восхищаться отлично сработанными манекенами, так что с людей, «профессионально» тугих на ухо и близоруких, и спрашивать не приходится. И не все ли равно в конечном счете! Пусть их осуждают за тенденцию или похлопывают Блока по плечу — «ничего, мол». Пусть их! Для тех, кто не разучился еще отличать поэзию от Игоря Северянина, «Стихи о России» — редкий и чудесный подарок.

Когда читаешь «Стихи о России», вспоминаются слова Валерия Брюсова (в авторском предисловии) о книгах, которые нельзя перелистывать, а надо читать «как роман». «Стихи о России» не сборник последних стихотворений поэта. Это *изборник,*— где рядом с новыми, впервые появляющимися стихами есть стихи, напечатанные уже несколько лет

назад. И читаешь его не как роман, разумеется, но как стройную поэму, где каждое стихотворение звено или глава. Открывается книга стихами о Куликовом поле:

На пути — горючий белый камень.
За рекой — поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.

. . . .

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

Этот цикл определяет тон всей книги — просветленную грусть и мудрую ясно-мужественную любовь поэта к России,— даже такой:

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.

. . . .

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Просветленная грусть Блока нисколько не «нытье» и не истерия наших дней. Мы знаем, что все значительное в лирической поэзии пронизано лучами некоей грусти, грусти-тревоги или грусти-покоя — все равно. «Веселеньких» великих лирических произведений не бывало. Лучшие из них — «талантливы», «милы», лучшие — плоды остроумия, находчивости, беллетристической изобретательности. И разве может быть иначе, если самое имя этой божественной грусти — *лиризм.* Тайна лиризма постигается только избранными. Знает ее и Блок.

Мастерство Блока — не сухое мастерство ремесленника, до тонкости изучившего свое дело. Поэт пришел к совершенству не путем механической работы, не путем долбления экзерсисов (экзерсисы, впрочем, вещь полезная и многим их можно только рекомендовать). Блок постиг тайну гармонического творчества силой своего творческого прозрения, той таинственной и чудесной силой, о которой в старину говорили: «Божья милость».

В «Стихах о России» — почти все совершенно. Как же, спросят нас, ведь это не сплошь новые стихи? Куда же

делись промахи и срывы, несомненно бывшие в ранних стихах Блока? Да,— и более всего безукоризненное мастерство поэта сказалось именно в плане книги. Выбор стихов сделан так, что мы иначе и не решаемся определить его как *«провидение вкуса»*.

В книге двадцать три стихотворения, и почти каждое — новый этап лирического познания России. От первых смутных и горьких откровений до заключительных строк:

И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чуждой земли.

Такой большой и сложный путь, и каким убедительно ясным и гармонически законченным представляется он нам, когда, вслед за стихами о «Куликовом поле», мы читаем «Русь», и дальше «Праздник радостный», «Последнее напутствие», и, наконец, «Я не предал белое знамя», заканчивающееся так *:

И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

Подлинно — звезда горит, «как любовь», а не наоборот. Вынесенная из мрака и смуты, она светлей даже вифлеемской звезды!

А вот стихи:

Петроградское небо мутилось дождем,
    На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
    Наполнял за вагоном вагон.

. . . .

И, садясь, запевали Варяга одни,
    А другие — не в лад — Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
    И тихонько крестилась рука.
Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
    Раскачнувшись фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
    Заиграл к отправленью сигнал.

Когда читаешь такие стихи, ясным становится, как, в конце концов, не нужны истинным поэтам все школы и «измы», их правила и поэтические «обязательные постановления».

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,

---

* Очень показательно, что Блок не включил в «Стихи о России» таких чудесных, но несомненно нарушивших бы стройность книги своею туманно-символической окраской стихотворений, как, например, «Девушка пела» *(примеч. Г. Иванова)*.

И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...

Нет, не веют там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

. . . .

Это стихи символиста. Но какой реалист (я не о поклонниках Ратгауза, разумеется, говорю) не примет их? Какой акмеист не скажет, что они прекрасны? В «Стихах о России» нет ни одного «былинного» образа, никаких молодечеств и «гой еси». Но в них — Россия былин и татарского владычества, Россия Лермонтова и Некрасова, волжских скитов и 1905 года. Как фальшиво звучат рядом с этими подлинно народными стихами подделки наших поэтов под народную поэзию, с неизменными Ярилой, Ладою и Лелем. Как не нужна в сравнении с ними вся эта интеллигентская труха, частушка пополам с Кольцовым. Книга Блока — точно чистый воздух, от соприкосновения с которым рассыпаются в прах стилизаторские мумии «под народ».

Последние стихи Блока истинно классичны, но они нисколько не походят на те стихи Брюсова, например, которые «трудно отличить» от Пушкина или Жуковского. Это естественная классичность высокого мастера, прошедшего все искусы творческого пути. Некоторые из них стоят уже на той ступени просветленной простоты, когда стихи, как песня, становятся доступными *каждому* сердцу.

Утонченное мастерство совпадает в «Стихах о России» со всем богатством творческого опыта. Любовь, муки, мудрость, вся сложность чувств современного лирика соединены в них с величественной, в веках теряющейся духовной генеалогией. Старая истина — что современникам трудно и невозможно, пожалуй, верно оценить поэта, с точностью определить удельный вес его творчества. Но что Блок не просто «мастер чеканной формы», а явление одного порядка с теми, «чьи имена звучат нам, как призывы» — после выхода «Стихов о России» можно сказать с уверенностью.

P. S. Один сердито и пристрастно полемизирующий с нами критик * из толстого журнала по поводу статей наших о «военной поэзии», между прочим, говорит: «Отмечу, что наиболее талантливый и искренний из наших символистов, А. Блок, целомудренно молчал на тему о войне». Козырь почтенного критика оказался битым. *Молча,* Блок подготовлял

---

* *Неведомский М.* [Что сталось с нашей литературой? О поэзии и прозе наших дней] // Современник. [№ 5.] 1915. Май. (*Сноска Г. Иванова.*)

именно книгу «военных» стихов,— мы смело скажем — лучшую свою книгу.

Н. Гумилев в прекрасном стихотворении о войне восклицает:

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды,
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.

Вот он, первый, тяжелый, золотой — уже упал на землю с отягченных дозревающими плодами, могучих ветвей «древа духа»!

Н. Гумилев

Письма о русской поэзии. Александр Блок. «Ночные часы»

(Четвертый сборник стихов. Изд. «Мусагет». [*М., 1911*] 〈...〉*)*

Перед А. Блоком стоят два сфинкса, заставляющие его «петь и плакать» своими неразрешенными загадками: Россия и его собственная душа. Первый — Некрасовский, второй — Лермонтовский. И часто, очень часто Блок показывает нам их, слитых в одно, органически-нераздельных. Невозможно? Но разве не Лермонтов написал «Песню о купце Калашникове»? Из Некрасовских заветов любить отчизну с печалью и гневом он принял только первый. Например, в стихотворении «За гробом» он начинает сурово, обвиняюще:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец...

но тотчас же добавляет:

Но мертвец — родной душе народной:
Всякий свято чтит она конец.

Или в стихотворении «Родине» за великолепно страшными строками:

За море Черное, за море Белое
В черные ночи и белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

непосредственно следуют строки примиряющие, уже самой ритмикой, тремя подряд стоящими прилагательными:

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...

Этот переход от негодования не к делу или призыву, а к гармонии (пусть купленной ценой новой боли — боль певуча), к Шиллеровской, я сказал бы, красоте, характеризует германскую струю в творчестве Блока. Перед нами не Илья Муромец, не Алеша Попович, а другой гость, славный витязь заморский, какой-нибудь Дюк Степанович. И не как мать любит он Россию, а как жену, которую находят, когда настает пора. В своей Лоэнгриновской тоске Блок не знает решительно ничего некрасивого, низкого, чему он мог бы сказать, наконец, мужское: нет! А, может быть, хочет, ищет? Но миг — и даже тема о забытом полустанке рыдает у него как самая полнозвучная скрипка:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

В чисто лирических стихах и признаниях у Блока — лермонтовские спокойствие и грусть, но тут тоже характерное различие: вместо милой заносчивости маленького гусара у него благородная задумчивость Микаэля Крамера. Кроме того, в его творчестве поражает еще одна черта, не свойственная не только Лермонтову, а и всей русской поэзии вообще, а именно — морализм. Проявляясь в своей первоначальной форме, нежелания другому зла, этот морализм придает поэзии Блока впечатление какой-то особенной, опять-таки Шиллеровской, человечности:

Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать,
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не будет ревновать...

размышляет он почти в момент объятия и — влюбляется в женщину за ее «юное презрение» к его желанию.

Как никто, умеет Блок соединять в одной две темы, не противопоставляя их друг другу, а сливая их химически. В «Итальянских стихах» — величавое и светлое прошлое и «некий ветр, сквозь бархат черный поющий о будущей жизни»; в «Куликовом поле» — нашествие татар и историю влюбленного воина русской рати. Этот прием открывает нам безмерные горизонты в области поэзии.

Вообще Блок является одним из чудотворцев русского стиха. Трудно подыскать аналогию ритмическому совершенству таких стихотворений, как «Свирель запела» или «Я сегодня не помню». Как стилист, он не чурается обычно красивых слов, он умеет извлекать из них первоначальное их очарование.

...Валентина, звезда, мечтанье,
Как поют твои соловьи.

И великая его заслуга перед русской поэзией в том, что он сбросил иго точных рифм, нашел зависимость рифмы от разбега строки. Его ассонансы, вкрапленные в сплошь срифмованные строфы, да и не только ассонансы, но и просто неверные рифмы (плечо — ни о чем, вести — страсти), всегда имеют в виду какой-нибудь особенно тонкий эффект и всегда его достигают.

Юрий Никольский

Александр Блок о России

Если сделать из стихов Блока удачный выбор, то получится «книжка небольшая томов премногих тяжелей». Но даже в самых серых и однообразных стихах его иногда попадается такое слово, что остановишься над ним: в самой его туманности угадывается новый, нераскрывшийся мир. Что касается стихов о России, то я не ошибусь, должно быть, если скажу: среди них есть такие, что они — лучшее из всего, что было создано в этой области со времени Тютчева *. Не все стихи одинаково ценны, но после некоторых долго остается жуткое волнение. Хотя большинство из них известны давно, но, собранные вместе, они действуют особенно неслучайностью своих мотивов. О России раскрывается новая истина.

Я остановлюсь на разборе первого стихотворения «Река раскинулась». Из цикла «На поле Куликовом» — оно бесспорно чудесное, по прозрению. Даже при беглом рассмотрении можно увидеть постепенное укорачивание строчек — оно вполне оправдано внутренне. Первая строфа характеризует застылость и грусть. Хорошо передается такая картина звуковым сочетанием «ст», как бы восходящим к праарийскому «sta»: «река ... гру*ст*ит», «в *ст*епи гру*ст*ят *ст*ога». Резкое восклицание нарушает печальную идиллию: «О, Русь моя! Жена моя!» Ведь все это «мое», «наше», и оттого боль стрелой пронзает сердце: «до боли нам ясен долгий путь...» Здесь начинается бешеный ритм с укорачиванием стоп, который один достаточно передает бешеную скачку степной кобылицы. Наездник как бы захлебывается в своем неудержимом лете, и это отражается на стиле «лестницей»: одна строка

* *Александр Блок.* Стихи о России. Изд. «Отечество», 1915 г. Ц. 40 к. (*Сноска Ю. Никольского.*)

кончается «долгий путь», другая начинается: «наш путь...» и т. д. В следующей строфе снова повторение:

Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь.

Не только грустной показалась теперь Блоку Русь,— в ней тоска, но она еще более убеждает его:

И даже мглы ночной и зарубежной
Я не боюсь.

Рысь кобылицы во второй и третьей строфе, где цезуры не вполне ясны, превращается теперь в уверенный галоп. Цезуры с однообразной четкостью начинают рубить строки. У всадника — светлая надежда: «Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами...»

Не надолго успокоение души. Будто предугадано наше время: «И вечный бой! Покой нам только снится...» — снятся грустящие в степи, призрачные стога. Кобылица — мало, что она летит, она — «летит, летит... и мнет ковыль...». В предпоследней строфе скачка становится невозможной: «мелькают версты, кручи...». В строфе, которую следует признать кульминационной по движению, уже не только человеческий бунт, но и бунт неба:

Идут, идут испуганные тучи
Закат в крови.

Вообще движение и смятенность находится в согласии с фонетической структурой. Основная мелодия — чередование гласных «i» и «у», проходящая через все стихотворение, повторяется здесь четырежды в одной строчке.

Поэт хотел разбудить родную Россию — вместо этого всюду кровь. Последняя строфа замедленнее предыдущей. С горечью произносится: «покоя нет». Ударные «а» («плачь», «вскачь») дают печальное разрешение:

Плачь, сердце, плачь:
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

Другие стихи куликовского цикла не могут стать рядом с первым, хотя и там есть поразительные строчки:

За Непрядвой лебеди кричали
И опять, опять они кричат...

или:

И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.

О той, что «сошла в одежде свет струящей» — кажется, что Блок любит ее, но как бы недостаточно в нее верует. От-

того «Лик Нерукотворный», особенно же Христос в других стихотворениях (даже там, где за ним «огород капустный»), производят — я бы сказал — только эстетическое впечатление. Нет того религиозного проникновения, которое было у Тютчева. Но у Блока есть другая Русь:

С болотами и журавлями
И мутным взором колдуна.

Это Русь не церковно-византийская, но старая Русь — какою видел ее Врубель в своем «Пане». Блок восходит к сказочно-пушкинскому ее истолкованию: «там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит». Там у Блока — «ночные хороводы под заревом горящих сел». Древняя религия, исконная, не нашла своих настоящих форм.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого Бога страстно верил,
Какую девушку любил,—

говорит поэт.

Русь укачала его живую душу на своих просторах, и не смеет он, да верно и не может, раскрыть ее тайну:

Дремлю, а за дремотой тайна,
И в тайне — почивает Русь.
Она и в снах необычайна.
Ее одежды не коснусь.

Исходя в своем понимании России из тютчевских откровений («Россия, нищая Россия»), Блок как бы дополняет Тютчева:

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...
. . . .
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Но он не умеет жалеть России — Россия может отдаваться какому угодно чародею,— так тверда его вера:

Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Пускай будет более одной слезой, все равно, все те же «лес и поле, да плат узорный до бровей» — у России:

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка...

Две темы проходят через все творчество Блока: «дорога» и «тишина». «Дорога» показывает, что поэт хорошо чувствует мир пространственно. «Тишина» связывает Блока с Некрасовым, который писал про Россию: «не угадать, что знаменует твоя немая тишина...». У Блока в том стихотворении, где ему видится: «в каждой тихой, ржавой капле — начало рек, озер, болот» — тишина — «людская врагиня», ею убаюканы мхи. Этот образ получает особенный смысл, если связать ее со стихотворением «Мэри», где у изголовья матери — «ее сиделка тишина» — какое-то, почти человеческое существо. Любовь к России у Блока не отрадная.

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы дети страшных лет России...

На наших лицах кровавый отсвет от дней войны и «дней свободы». Гул набата заградил нам уста, и мы остались немыми, а в сердцах наших — пустота.

И вот самое великое стихотворение Блока:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.

Везде неопределенное наклонение. Изображенное лицо три раза касается горячим лбом заплеванного пола, семь раз крестится, кладет грошик, целует «три да еще семь раз подряд» «столетний, бедный и зацелованный оклад», а дома на тот же грошик обмеривает кого-нибудь, икнув, отпихивает голодного пса от двери.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...

Какая «реальная правда» и уже не правда, а фантастика ясновидца. Тот ли это тихий Блок, писавший стихи о Прекрасной Даме, и как тогда мы не заметили, что его перо может быть мощным в своей беспощадности? Много душевных сил и любви, действительно иррациональной, т. е. самой истинной, надо иметь, чтобы и после этого сказать:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Блок знает, какую боль он делает своими открытиями, и вот он снова подходит к нам, грустный и ласково проникновенный в своем «Последнем напутствии».

Боль проходит понемногу,
Не навек она дана.
Есть конец мятежным стонам.
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина.

Это та самая, что была у Мэри, про которую он говорил: «но счастье было безначальней, чем тишина...». Она вошла, когда ее не ждешь, и будто бы друг «тронул сердце нежной скрипкой». Замыкается «круг постылый бытия», проплывают «как в тумане люди, зданья, города». Проходит «лесть, коварство, слава, злато, человеческая тупость». Потом в обратном порядке. Казалось бы, все уже; но тут возникают самые любимые образы:

...еще леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

А когда все — «чем тревожила земля»,— уйдет, останется одна:

Та, кого любил ты много,
Поведет рукой любимой
В Елисейские поля.

Речь Блока в этом стихотворении до растроганности взволнованная. В Блоке то и замечательно, что для него нет ни «формы», ни «содержания»,— в слове для него заключена истина в целом, и вот почему связь рифмой — для него всегда является связью «формы внутренней». И вот почему внедряющаяся в строфу непарная строчка, рифмующаяся с непарной в следующей строфе, связана с ней и своим внутренним смыслом.

Хочется думать, что не случайно связана «наша русская дорога» с той, «кого любил так много». Тут путь, «шоссе», по которому все время тосковал Блок в стихах о России, приведет его опять к его Прекрасной Даме. Не с нею ли он встретился в последнем стихотворении, когда он пришел домой от рыцаря Бертрана и трувера Рютебефа («Действо о Теофиле»)?

Да, ночные пути, роковые,
Развели нас и вновь свели,
И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чужой земли.

Нашел Блок тишину свою «у креста и могилы братской». Издали щемящая солдатская песнь, а над объятыми смертным сном людьми:

Горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

Так заканчиваются «Стихи о России».

И сейчас же к ним вспоминаешь другие, потому что теперь уже совершенно ясно: ведь все стихи Блока о России.

О России он говорит Вяч. Иванову: «в ту ночь нам судьбы диктовала восстанья страшная душа», но даже когда он влюбляется в «хладные меха», пролетая Елагиным мостом, и это — о России.

Фет, напоминающий по диапазону Блока, еще совсем недостаточно оцененный — говорил, что поэту не нужно искать сюжета. Сюжет всюду: в брошенном на стуле женском платье или в сидящих на заборе воронах.

И Фет мог на одной и той же бумажке писать изящнейшие стихи о говорящих звездах и про то, что вздорожал керосин.

Мы будем понимать Блока тогда, когда увидим, что одна истина раскрывалась ему и в «хладных мехах» и в «стихах о России». Тогда про себя мы сможем сказать:

И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чужой земли.

Ал. Ожигов

Александр Блок. «Стихи о России»

(Издание журнала «Отечество», 1915)

Стихи о России... Читателю, которому набили оскомину все милитаризованные поэты своим дешевым и расхожим патриотизмом, это название небольшой книжки стихов талантливого поэта может показаться странным. Но стихи о России продиктованы большой и сильной любовью к родине. Навеяны они войной, но совершенно лишены шовинизма. Написаны они в угарное время увлечений, но носят на себе печать объективизма, красивого спокойствия и эстетизма правды. Пропитаны они и современными ужасами, но остались в сфере и атмосфере идейного равновесия и умного такта.

Эти стихи ценны и тем, что оттеняют убожество и нищету того поэтического пресмыкательства, которое теперь лавиной свалилось на русскую литературу.

К стихам о России г. Блока можно применить его же слова, сказанные по другому поводу:

Слышишь ты сквозь боль мучений,
Точно друг твой, старый друг
Тронул сердце нежной скрипкой?
Точно легких сновидений
Быстрый рой домчался вдруг?

Среди милитаристической поэзии стихи г. Блока звучат, именно как «нежная скрипка», и волнуют сердце, как «рой легких сновидений...».

Поэт пришел к нам из тяжкого прошлого. Война встала перед ним своим ликом после тех мучительных кризисов, которые пережиты нами. И он говорит:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.
〈...〉

Но любовь выше этих переживаний.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
〈...〉

И еще о России поет поэт:

Так — я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

〈...〉

Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне почивает Русь,
Она и в снах необычайна.
Ее одежды не коснусь.

Но все же этой «тайны» поэт касается. Раскрывает ее и выдает относительно нее свои затаенные мысли.

За снегами, лесами, степями
Твоего мне не видно лица.

Только ль страшный простор пред очами,
Непонятная ширь без конца?

Утопая в глубоком сугробе,
Я на утлые санки сажусь.
Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!

За богомольством этой Руси, за ее молитвенными гласами и звонами колокольными, за крестами и ладаном, свечами, земными поклонами и ектеньями,— поэт видит новую возрождающуюся и нарождающуюся Русь, где

... чернеют фабричные трубы...
... заводские стонут гудки.

Необъятную Русь захватила новая жизнь.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер,— и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

⟨...⟩

Таков идеал поэта, и понятно, что при таких условиях «Россия» для него не слово легкое для рифмы, а волнующая мучительница и прекрасная вечная греза.

И поэт всем сердцем воспринимает эту мучительницу-грезу. В стихотворении, жутком и прекрасном, трагическом и трогательном, г. Блок создает образ, поистине, синтетический. Трепетанье Руси в нем чувствуется, ужас смерти ее и та великая любовь, которая все превозмогает и побеждает. Вот еще одно прекрасное стихотворение из сборника «Стихов о России».

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.

⟨...⟩

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Больно и мучительно, но прекрасно... Только большая любовь к родине могла родить такое вдохновенье... И в чреде барабанных излияний бранной поэзии оно сверкает всеми цветами неподдельного бриллианта любви к России. И как жалки, ничтожны и убоги кажутся в сравнении с ним казарменные произведения музы Ф. Сологуба и прочих поэтов земли русской, позоривших ее своим непристойным пустозвонством примитивного патриотизма. И среди них г. Блок — нечаянная радость.

Р. Иванов-Разумник

Испытание в грозе и буре
(«Двенадцать» и «Скифы» А. Блока)

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Александр Блок.

1

Два испытания — одно вслед за другим и одно вследствие другого — пали тяжким бременем на плечи Атланта, поддерживающего устои старого мира. Испытания огненные, испытания грозовые.

И первое испытание — испытание огнем мировой войны — сразу испепелило ростки братства «международного», и на пожарище его укрепило цементом «национальной» злобы устои старого мира. Ибо национальная рознь — крепкий цемент для старых кирпичей; пока есть она — Атлант может быть спокоен: своды не обрушатся, не погребут его под развалинами.

Но огонь, обжигающий кирпичи, укрепляет своды лишь до того мига, пока не перейдет он в пламя испепеляющее, пока из огня-раба не станет он огнем творческим, пока из огня кухонной плиты не станет он огнем молнии. И тогда — горе устоям Атланта! Ибо —

«Есть суд всего, что дышит, живет и растет —
суд огнем.
Огонь
последний судия — все судит и все разрешает.
А молния — кормчий.
Последнее испытание
через огонь».

Так слышим мы в «Предании от Гераклита Эфесского» (А. Ремизов); так знаем мы: мировой огонь обрушит на Атланта своды старого мира. И пришел огонь в грозе и буре. Молния — кормчий...

И второе испытание — испытание в грозе и буре революции — сразу расшатало крепкие своды; мировой вихрь вновь понес на старое пожарище весенние семена «международного

братства», ринулся на старые устои, покачнул великана Атланта, обрушил часть сводов на головы властителей старого мира.

И как тогда не выдержали «властители дум» испытания огнем войны, так не выдержали они теперь испытания в грозе и буре революции: испугались, пали духом, озлобились, возненавидели, понесли свои кирпичики для спешной поддержки устоев Атланта, поспешили, добродетельные муравьи, скорее вновь лепить разбросанный бурей мещанский муравейник.

Муравьи, мириадами тел, могут потушить пылающий огонь. Потушат ли? Да, если не разгорится он в мировой пожар. Разгорится ли? И с надеждою одни, со страхом другие — ждут: удастся ли старому миру сотнями тысяч тел погасить огненный вихрь, удастся ли ему гекатомбой трупов укрепить расшатанные устои? Ибо, если одна лишь революция русская такой грозой и бурей обрушилась на старые своды, то что же будет при революции мировой?

А что это *будет* — все знают, «не зная ни дня, ни часа»: будет раньше или позже, будет «наперекор стихиям», будет несмотря на гекатомбы тел и даже вследствие их: ибо если есть на земле неискупленные страдания, то зато нет на земле неоправданной жертвы.

Все муравьи это знают — и боятся, злобятся, ненавидят, тушат мировой огонь ковшиками злобы, пригоршнями мелкого ненавистничества. Подлинно: какие огромные события, какие маленькие люди!

2

В зеркале русской литературы, «как солнце в малой капле вод», отразились мировые события — и как мало оказалось в ней людей, которые увидели бы размеры совершающегося, почуяли бы веяние мирового вихря, отдали бы свои творческие силы не оплакиванию и поддержке старого, а строению и рождению нового! О мелкой злобе, о ядовитых брызгах слюны — я уже и не говорю: разверните любой газетный лист, любую книгу этих стражей и блюстителей старого Атланта...

Есть там и искренняя боль за старое, исконное, навеки уходящее, есть и мелкая трусость придавленного вихрем «взбунтовавшегося раба». Ибо, поистине, вот где его царство: в русской литературе, а не в казарме, не на фабрике, не в деревне. Взбунтовавшимся рабом оказался вчерашний «властитель дум», русский писатель во всей своей массе. Стоит ли называть имена?

Звали они революцию — и пришла она. Но пришла не в тишине, не в тихом пламени неопалимой купины, а в грозе и буре народного вихря. Ждали они ее в виде разубранного флагами корабля, торжественно салютующего холостыми за-

рядами,— пришла она в вихре пыли, грязи, крови, среди бурных валов бушующего моря. И мимо них проходит корабль революции — они с ужасом отвернулись от него.

Не узнали они друзей моряков,
Им знакомых давно,
Не узнали снастей, ни их парусов,
А сами соткали для них полотно —
Слепые, косные люди!

И проходит мимо них этот корабль,— «для тысячей нем, не понят никем, ибо слишком он был непохож на скучную ложь — на рассказы учителей местных» (Э. Верхарн)... И в мелкой злобе своей, а порою и в искренней боли своей, не слышат и не видят эти «местные учители» и их ученики того, что так ясно, казалось бы, для каждого, имеющего очи, чтобы видеть, имеющего уши, чтобы слышать.

Но есть и видящие, и слышащие. От «народных» глубин, от «культурных» вершин — поэты и художники радостно и скорбно, но чутко и проникновенно говорят нам о свершающемся в мире. Не боятся они грозы и бури, а принимают ее всем сердцем и всею душою: «вестью овеяны — души прострем в светом содеянный радостный гром» (Андрей Белый). Так говорит один, и отзывается ему другой: «грозно гремит твой гром, чудится плеск крыл,— новый Содом сжигает Егудиил» (Сергей Есенин). От вершин, от глубин — чутко чуют они то новое мировое, что идет теперь в грозе и буре революции: разрушение Содома старого мира, гибель Атланта и рождение, осуществление новой России, новой Европы, нового мира.

Видит это мировое и Александр Блок, поэт розы и креста. И подлинно — крест видит он на русской революции и розой венчает ее. Давно не писал он ничего подобного поэме своей «Двенадцать»,— да и писал ли? Лицом к революции, лицом к России стоит здесь поэт — и принимает, и понимает, и любит, и скорбит, и видит мировое значение совершающегося. Лицом к Атланту старого мира становится он в другом своем произведении «Скифы», не менее замечательном,— и негодует, и предостерегает, и клеймит... Если бы даже ничего иного не дал русской литературе год революции (а он дал нам и стихи Н. Клюева, и поэмы С. Есенина, и еще никем не оцененного изумительного «Котика Летаева» Андрея Белого, и плач «о погибели земли русской» А. Ремизова), то все же, после «Двенадцати» и «Скифов», год революции явился бы богатым годом русской литературы.

3

«Двенадцать» — поэма о революционном Петербурге конца 1917 — начала 1918 года, поэма о крови, о грязи, о преступлении, о падении человеческом. Это — в одном плане. А

в другом — это поэма о вечной, мировой правде той же самой революции, о том, как через этих же самых запачканных в крови людей в мир идет новая благая весть о человеческом освобождении. Ибо ведь и двенадцать апостолов были убийцы и грешники.

В пятой главе Деяний апостольских рассказывается, с ясным челом, как апостол Петр убил (не из «винтовочки стальной», а словом уст своих) мужа и жену, Ананию и Сапфиру за то, что утаили они часть имущества своего от христианской коммуны: «паде же абие перед ногами его, и издше»... «И бысть страх велик на всей церкви»,— эпически прибавляет бытописатель. Что же, и здесь Христос? Здесь его нет, но мимо этого, над этим — идет он впереди двенадцати, посланных им в мир.

И впереди «двенадцати» поэмы,— двенадцати убийц,— впереди разыгравшегося с красным флагом ветра —

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной поступью жемчужной.
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос...

И не может он не идти впереди этих «двенадцати», если подлинно за ними, хотя бы и помимо них, стоит то мировое, которое слышится нам теперь в грозе и буре.

Благая весть раздалась двадцать веков тому назад — весть о духовном освобождении человечества. Благая это была весть и великая, ибо духовное освобождение человечества не подразумевает ли собою и освобождения физического? Оказалось — нет, не подразумевает. Возлюбим ближнего, как самого себя — это внутренне, духовно; а внешне, физически — будем по-прежнему продавать его в рабство, предавать его казни. Формы рабства и казни менялись с веками, становились все утонченнее и больнее: от рабства физического — к экономическому, от рабства экономического — к духовному. Так от духовного освобождения пришла христианская культура к духовному рабству. И стало ясно: кроме внутренней свободы, возвещенной христианством, в мир должна прийти свобода внешняя — полное освобождение политическое, полное освобождение социальное.

Благую весть мировой социальной революции старый мир наших дней принял так же враждебно, как старый мир эпохи Петрония принял благую весть революции духовной. Но с той революцией старый мир справился очень скоро: увидев, что борьба извне невозможна, он вошел в революцию и покорил ее своему духу. Старый мир — «принял» христианство.

Тогда мало-помалу выяснилась «неудача» христианства: оно «не удалось», ибо путь от духовной революции к социальной оказался перерезанным: старый мир с мечом в руках стоял на этой дороге внутри самой христианской коммуны. И через

два тысячелетия человечество пришло к обратному пути — от социальной революции к духовной. Впереди — победа социальной коммуны; но еще долго старый мир будет становиться на пути этой мировой революции. Будут бороться с ней извне все те «буржуи», о которых говорится в поэме «Двенадцать»; будут бороться с ней изнутри более опасные враги — различные волки в овечьих шкурах.

Трудна дорога, и победа придет еще не скоро. Она придет, вероятно, лишь тогда, когда ясно станет человеку, что нет полного освобождения ни в духовной, ни в социальной революции, а только в той и другой одновременно. Но очистительная гроза и буря мировой социальной революции таит в себе великую правду. Правды этой не видят многие «писатели», «витии», «барыни в каракулях», но ее видят и чувствуют многие и многие среди выделивших из себя «двенадцать». И за эту правду, помимо их воли через них идущую в мир, поэт «белым венчиком из роз» украшает чело великой русской революции.

4

Снежная вьюга революции начинается с первых же строк поэмы; и с первых же строк ее черное небо и белый снег — как бы символы того двойственного, что совершается на свете, что творится ныне в каждой душе.

Черный вечер,
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек...

Так через всю поэму проходят, переплетаясь, два внутренних мотива. Черный вечер — кровь, грязь, преступление; белый снег — та новая правда, которая через тех же людей идет в мир. И если бы поэт ограничился только одной темой, нарисовал бы или одну только «черную» оболочку революции, или только ее «белую» сущность — он был бы восторженно принят в одном или другом из тех двух станов, на которые теперь раскололась Россия. Но поэт, подлинный поэт, одинаково далек и от светлого славословия и от темной хулы; он дает двойную, переплетающуюся истину в одной картине.

Черный вечер,
Белый снег.

Вся поэма — в этом.

И на этом фоне, сквозь белую снежную пелену рисует поэт черными четкими штрихами картину «революционного Петербурга» конца 1917 года. Тут и огромный плакат «Вся власть Учредительному Собранию!», и «невеселый товарищ поп», и старушка, которая «никак не поймет, что значит», и

оплакивающая Россию «барыня в каракуле», и злобно шипящий «писатель, вития»... И так все это мелко, так далеко от того великого, что совершается в мире, так убого, что «злобу» против этого всего можно счесть «святой злобой»:

Злоба, грустная злоба
    Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...
Товарищ! Гляди
    В оба!

И вот на этом фоне, под нависшим черным небом, под падающим белым снегом — «идут двенадцать человек»... О, поэт нисколько не «поэтизирует» их! Напротив. «В зубах цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз!» А былой товарищ их Ванька,— «в шинелишке солдатской, с физьономией дурацкой» — летит с толстоморденькой Катькой на лихаче, «електрический фонарик на оглобельках»...

И этот «красногвардеец» Петруха, уже не раз бросавшийся с ножом на Катьку («У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа, у тебя под грудью, Катя, та царапина свежа!»), этот Петруха, уложивший уже офицера («не ушел он от ножа!»), этот его товарищ, угрожающий расправою возможному сопернику: «ну, Ванька, сукин сын, буржуй! мою попробуй, поцелуй!» И сама эта Каллипига Невского проспекта («больно ножки хороши!»), эта толстоморденькая Катя, которая «шоколад Миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла»... И эти товарищи Петрухи, без минуты раздумия растреливающие мчащихся на лихаче Ваньку с Катькой: «еще разок! Взводи курок! Трах-тарарах!»... И убитая Катька,— «лежи ты, падаль, на снегу!» И насмешки товарищей над Петькой, помянувшим имя Христа: «Петька! Эй, не завирайся! От чего тебя упас золотой иконостас? — Бессознательный ты, право; рассуди, подумай здраво — али руки не в крови из-за Катькиной любви?»

Это ли апостолы новой благой вести? Это ли те «двенадцать», которым предшествует «в белом венчике из роз, впереди — Исус Христос»? Или и на этот раз он «со беззаконными вменися»? Или и на этот раз, «беззаконство» хоть и не прощается, но покрывается чем-то высшим?

Смерть Катьки не прощается Петрухе. «Ох ты горе-горькое, скука-скучная, смертная!» И пусть не раскаяние, а новая злоба лежит на его душе,— «уж я ножичком полосну, полосну! Ты лети, буржуй, воробышком! Выпью кровушку за зазнобушку, чернобровушку!» — но гнета не снять с души: «упокой, Господи, душу рабы твоея... Скучно!» И разве в раскаянии тут дело? Правда, «разбойника благоразумного во единем часе раеви сподобил еси, Господи»,— но что знаем мы о другом разбойнике, «безумном»? И в крови скольких женщин и детей были, быть может, обагрены руки его «благоразумного» товарища, сораспятого Христу евангельского

«злодея»? И ему — прощение, ему — рай за «раскаяние», за «помяни мя Господи»? И злодейства «двенадцати» тогда не покрываются ли тем, что стоит за ними, не черной стихией, а светлым сознанием? Пусть кажется им, что идут они против Христа, против креста —

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!

— но все же впереди них роза и крест в нежной поступи надвьюжной, в снежной россыпи жемчужной...

5

Черное не прощается, черное не оправдывается — оно покрывается той высшей правдой, которая есть в сознании «двенадцати». Они — темные убийцы, злодеи (нарочно ведь взял поэт именно таких) — они чуют силу и размах того мирового вихря, песчинками которого являются. Они чуют и понимают то, что злобно отрицает и «писатель, вития», и обывательница в каракуле, и «товарищ поп», и вся духовно павшая «интеллигенция» в кавычках. И за эту свою правду — «пошли наши ребята в красной гвардии служить, буйну голову сложить!» За эту правду они и убивают, и умирают. Знают ли они, что идут против мирового Атланта, что все своды его старого здания предают огню? Знают — и в этом их благая весть мировой социальной революции:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови —
Господи благослови!

Правда, сами не знают они, какого они духа, сами не знают, насколько совершающееся ныне в мире глубже видимой им внешности «буржуев» (а может быть, не знают, но чуют? — ведь «мировой пожар в крови»!). Но знают они твердо, что к старому миру возврата нет, что «Святая Русь» лежит по эту сторону разделившей всех нас пропасти (и ненавидят же их за это все заупокойные плакальщики о России!). Знают они, что «Святая Русь», что весь старый мир — отныне худшие и непримиримейшие их враги. Знают — и зовут: «вперед, вперед, рабочий народ!»

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!

И знают они, что борьба предстоит упорная, долгая, чуют они, что Атлант до конца будет стоять горой за кирпичи старого мира. И через кровь, через злодеяние слишком легко, быть может, готовы они перешагнуть: «потяжеле будет бремя нам, товарищ дорогой!» Это бремя — бремя тяжелой борьбы со старым миром, который теперь «хвост поджал — не отстает», но который еще обратится в злобного волка, отстаивающего свою старую нору мещанского мира. Не могучим Атлантом, а побитым псом представляется теперь «двенадцати» (и поэту!) старый мир. Он разбит в первой схватке — и идут дозором «двенадцать», твердо зная, что «вот — проснется лютый враг»...

Так от реального «революционного Петербурга» поэма уводит нас в захват вопросов мировых, вселенских. Все реально, до всего можно дотронуться рукой — и все «символично», все вещий знак далеких свершений. Так когда-то Пушкин в «Медном Всаднике» был на грани реального и надысторических прозрений.

Да, такие сокрушающие сравнения выдерживает поэма Александра Блока. «Как будто грома грохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой» — заканчивается в наши дни. Конец петровской России — конец старого мира. Было время его славы, расцвета, могущества,— и бережно понесем мы в новый мир вечные «эллинские» ценности мира старого: не испепелятся они и в огне. Но временные ценности его падут прахом в грозе и буре, в разыгравшейся вьюге. В просветы ее мы видим и теперь: на том самом месте, где прервалось тяжело-звонкое скаканье Медного Всадника, там теперь — «над невской башней тишина». Где же Конь? Где же Всадник? Их нет. И там, где был Конь — там теперь стоит «безродный пес, поджавши хвост»; там, где был Всадник, там, где в «неколебимой вышине над возмущенною Невою стоял с простертою рукою кумир на бронзовом коне» — там теперь «стоит буржуй на перекрестке и в воротник упрятал нос»...

Атлант, поддерживающий своды,— и «буржуй», упрятавший нос в воротник: кто, кроме поэта, может так сорвать маску с мировой сущности?

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавши хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес, голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост...

6

Куда же девалось убийство? Где же Катька? Где Петруха? Все там же. Лежит убитая Катька — «мертва, мерт-

ва! Простреленная голова»; и у Петьки руки в крови, и ничем не смыть эту кровь. Это — его внутренняя трагедия, если он до нее дорос. Но мировой вихрь, но сознание высшей иной правды, но испытание в грозе и буре — сделали черного злодея одним из «двенадцати».

И разве мы забываем, что у сораспятого «разбойника благоразумного» руки, быть может, обагрены в человеческой крови? Не забываем и не прощаем,— это только сам Распятый мог простить. Но на высоте мировой трагедии Голгофы говорит ли нам об этой крови «благая весть»? И говорит ли она нам о том, что, быть может, и другой сораспятый разбойник, «безумный», не услышавший слова прощения, вместе с первым «будет днесь в раю»?

На высоте ныне совершающейся мировой трагедии выдерживают испытание в грозе и буре символические «двенадцать». Когда постигаем мы мировой захват совершающегося — нет для нас больше Петрухи, нет цигарки в зубах, нет примятого картуза, бубнового туза на спине... Или, вернее сказать,— все это есть, но сквозь это, но через это мы видим то, что показывает нам в «двенадцати» поэт. Мы видим, как

...идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
    Ко всему готовы,
    Ничего не жаль.

И чудо поэтического творчества заставляет нас здесь в слове «вдаль» видеть не только петербургские «переулочки глухие, где одна пылит пурга», а даль мировую, где «пурга пылит им в очи дни и ночи напролет»... И уже не удивляемся мы, когда, «преображая действительность», поэт через сгорбленные спины, «рваное пальтишко, австрийское ружье» — заставляет нас видеть, как двенадцать «вдаль идут державным шагом»!.. Ибо видим мы теперь то великое мировое, что таится здесь за малым, слишком человеческим. И вся последняя глава поэмы твердо и чеканно подготовляет нас к последним ее стихам.

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстает —

Пес холодный — пес безродный...
— Эй, откликнись, кто идет?

Здесь уже мы чувствуем, здесь уже мы знаем: не забыть нам никогда, что это не шелудивый пес с поджатым хвостом бредет за «двенадцатью», а некогда миродержатель Атлант, в свое время низверженный христианством, но потом сумевший взорвать его изнутри. И не двенадцать «красногвардейцев» видим мы за снежной вьюгой, а «двенадцать», несущих миру новую благую весть избавления. Когда мы увидим, когда мы поймем все это, то поймем и примем всем сердцем и последние строки, так необходимо, так чудесно завершающие эту необходимую всем нам, эту чудесную поэму о новой благой вести, возвещаемой миру:

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Тот, кто не поймет, тот, кто не почувствует этого — не почувствует и не поймет всей глубины «древней загадки», ныне снова предлагаемой «старому миру». А кто поймет — тот и разгадает ее правильно. Ибо древняя разгадка — все та же, и гласит она: *человек*.

В свое время христианская революция рождала в мир «нового человека», духовно свободного — и потерпела крушение на встречном замысле старого мира: духовно свободного оставить все же физически, экономически, социально, а потому и духовно — порабощенным. С этим «взрывом изнутри» былой духовной революции старым миром вступила теперь в борьбу революция социальная, и ее благая весть — прежняя: освобождение человека. Но на этот раз — освобождение полное: физическое, социальное, духовное.

В грозе и буре революции задана эта загадка старому миру. И Александр Блок сумел показать нам это не отвлеченными словами, а живой тканью поэтического творчества. Вот почему поэма его «Двенадцать» десятилетия и десятилетия будет жить в русской литературе, являясь откликом души русского поэта на стихию русской, на стихию мировой социальной революции.

7

В поэме «Двенадцать» Александр Блок от революционного Петербурга повел нас «вдаль» — к горизонтам революции мировой, где стоя на старой земле грузно поддерживает Атлант старое небо. Новое небо и новую землю дает миру

каждая великая революция, но рухнувший Атлант вскоре вновь восстает из-под обломков, и скоро «новое небо» вновь становится небом старого мира. Величайший в мире духовный переворот христианства оказался бессильным разрушить старые кирпичи Рима, старые кирпичи мира.

Не будет ли и ныне повторения этого пятого акта вечно новой мировой драмы? Не будем предсказывать: мы лишь вступаем в пролог мирового переворота. Но ясно одно: безумно было бы недооценивать силы врага.

Когда поэт срывает с Атланта маску, когда под ней оказывается не полубог, не сын титана, не брат великого Прометея, не отец Плеяд, а мировой «буржуй на перекрестке» — поэт прав, он разоблачает старого мирового обманщика, всесветного мещанина в мантии титана.

Но когда старый мир этот в образе «безродного пса» ковыляет, поджав хвост, за державным шествием мира нового — я не верю ему, ибо слишком хорошо знаю его силы. И поэт знает их еще лучше меня. Это только для немногих ослепленных глашатаев новой благой вести может казаться, что старый мир уже побежден, что «жмется шерстью жесткой поджавший хвост паршивый пес»... Нет, поэт хорошо видит, что злобно «скалит зубы волк голодный», что от него штыком не отмахнешься, что он, ковыляя позади, ждет только минуты, когда можно будет наброситься и растерзать носителей мира нового.

Пусть не титан, пусть «буржуй на перекрестке», но он во всеоружии выступает теперь против нового мира. Он временно «поджал хвост» только в России, где социальная революция уже обрушила своды из старых кирпичей; мы знаем, что рухнут эти своды и в остальном мире, не могут не рухнуть. Но пока западноевропейский «буржуй на перекрестке» напрягает все силы, чтобы удержать на месте старое небо, пока он подпирает его горами трупов, себе же на погибель, пока великая русская революция не стала великой революцией мировой — до тех пор перед нами в новой форме возникает старая проблема о России и Европе, и мы от благой вести «Двенадцати» переходим к историческому вопросу современности.

«Двенадцать», несмотря на весь свой черный фон, на грязь, на кровь, на злодеяния, захватывает тему мировой революции в сфере настолько высокой, что она недоступна для исторических интересов сегодняшнего дня. Опять сравню эту поэму с «Медным Всадником», произведением слишком глубоким, исполненным надысторических прозрений и потому не отвечавшим на ряд исторических вопросов современности. Но ведь у Пушкина, кроме «Медного Всадника», есть почти тогда же написанные, глубочайшие по мысли произведения захвата исторического: «К тени полководца», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина». Там — надысторические прозрения, здесь — исторические воззрения.

Так и у Александра Блока. Если поэму «Двенадцать» мы поставили в ряду «Медного Всадника», то в ряду «Клеветников России» надо поставить его вслед за «Двенадцатью» написанных «Скифов».

8

«Скифы» с новой силой ставят старый, вечный вопрос — о Востоке и Западе, о России и Европе. Не раз русские поэты и художники (еще от «Слова о полку Игореве»!) вплотную подходили к этой теме, не раз за последние сто лет ставили они лицом к лицу две мировые силы, которые должны либо столкнуться и погибнуть под развалинами старого мира, либо слиться и воскреснуть в мире новом.

Замечательнейший из всех русских романов последних десятилетий, «Петербург» Андрея Белого, всецело посвящен этой же теме. Но если мы ограничимся только «поэтическими манифестами» крупнейших поэтов, то от «Клеветников России» до «Скифов» мы увидим твердые вехи, определяющие собою путь русского поэтического самосознания.

И если мы пройдем мимо поэтов второстепенных, вроде Хомякова, то путь этот наметят нам прежде всего Пушкин («Клеветникам России») и Тютчев («На взятие Варшавы»). От этих громадных произведений 1831 года, через более мелкие вехи славянофильской «историко-философской» поэзии, мы придем в конце XIX века к «Панмонголизму», «Дракону» и «Ex oriente lux» Вл. Соловьева и далее, в прямой преемственности от Вл. Соловьева — к «Скифам» Александра Блока.

Пушкин, Тютчев, Соловьев, Блок — вот характернейший путь русского поэтического сознания за последние сто лет в вечном вопросе о России и Европе, или — еще шире — о Востоке и Западе.

Когда появилось пушкинское «Клеветникам России», то Чаадаев, автор написанных на ту же тему о Западе и Востоке «Философических писем» (хотя и совершенно в иную сторону заостренных), увидел — один из немногих! — всю глубину исторического захвата этого произведения, казавшегося тогдашним либералам только «ура-патриотическим». Либеральный болтун (а потом болтливый реакционер) кн. Вяземский негодовал на Пушкина за эти «шинельные стихи», другой либеральный болтун, Ал. Тургенев, «защищал» Запад и иронически уговаривал Пушкина: «голубчик, съезди ты хоть в Любек...» И лишь один Чаадаев понял всю историческую глубину пушкинского захвата: «удивительны стихи к врагам России!.. В них больше мыслей, чем было сказано и создано у нас в целый век».

Мысли эти — твердо поставленный вопрос о Востоке и Западе. Восстание Польши — это для поэта только внутренний, «восточный» вопрос, «спор славян между собою», вопрос, которого Западу не дано разрешить. В восточном, русском

море должны слиться все «славянские ручьи», и если на пути слияния плотиной стоит Польша — она должна быть сломлена. Запад шумит, запад негодует — пусть: это vox et praeterea nihil *! У Востока, у России — свои задачи, и нет силы, которая бы стала на их пути.

В чем эти задачи? — Искупить русской кровью «Европы вольность, честь и мир». Так было уже при конце Наполеона. Так было и много раньше — при татарах. За сто лет до современного нам поэта Пушкин другими словами говорил о том же, о том, как мы века и века «держали щит меж двух враждебных рас — Монголов и Европы». В своем письме к Чаадаеву он ясно высказывает это. «...У нас своя особая миссия,— пишет он.— Россия своим громадным пространством поглотила победу Монголов. Татары не дерзнули перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отступили в свои пустыни — и христианская цивилизация была спасена»...

Вот миссия России — в прошлом и будущем, так верит Пушкин. Вот глубокая основа его «шинельных стихов», его «патриотизма»; вот почему ждет и жаждет он слияния славянских ручьев в русском море, вот почему восклицает он в «Бородинской годовщине»:

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?

. . . .

Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? . . . . . .
Победа! Сердцу сладкий час!
Россия, встань и возвышайся!..

Ибо у России этой — есть вечная мировая миссия к Европе. И пусть тогда еще не думал поэт о новой возможной «монгольской опасности», пусть тогда еще велико было историческое расстояние «от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая», пусть было в поэте и разочарование в европейском либерализме (vox et praeterea nihil!) — но «скифские» темы глубоко заложены в этих его исторических стихах. Это «скифство» хорошо подметил в нем, хотя и с другой точки зрения, либеральный Ал. Тургенев. «Пушкин — варвар в отношении к Польше,— писал он,— варвар, как поэт, думая, что без патриотизма, как он его понимает, нельзя быть поэтом, и для поэзии не хочет выходить из своего варварства...»

---

* Vox et praeterea nihil (*лат.*) — голос и больше ничего.

Да, в этом все дело: «патриотизм, как он его понимает...». Не квасной официальный патриотизм двигал Пушкиным, не «шинельные стихи» написал он, а первый поэтический, пророческий манифест России — Европе, Востока — Западу. Миссия России была в его глазах — государственной, национальной, и он выразил это в своих исторических стихах, в которых было «больше мыслей, чем было сказано и создано у нас в целый век...»

9

В те же дни было написано и тютчевское «На взятие Варшавы», впервые увидевшее свет лишь полувеком позднее. Здесь новое углубление все той же темы, здесь новое понимание «миссии» России — и здесь с самого же начала резкое отграничение от всех толкований «шинельного» патриотизма:

...прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой:
Не за коран самодержавья
Кровь братская лилась рекой.
Нет, нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!

Нет — «другая мысль, другая вера у русских билася в груди...» Эту мысль, эту веру лет двадцать спустя, в 1848 г., Тютчев с замечательной ясностью выразил в своей статье «La Russie et la Révolution».

В Европе уже давно (с 1789 года) стоят лицом к лицу, говорит Тютчев, только две реальные силы: Революция и Россия. Быть может, завтра между ними начнется смертная, последняя схватка. «Между ними не может быть ни переговоров, ни перемирия. Жизнь одной — смерть другой. От исхода этой борьбы, величайшей борьбы, когда-либо бывшей в мире, на долгие века определится вся политическая и религиозная будущность человечества...»

Да, подлинно — величайшая здесь историческая углубленность, и ни слова не можем мы выбросить из вдохновенного прозрения Тютчева! Одно только: за три четверти века, прошедшие с тех пор до сегодняшнего дня, Россия и Европа поменялись местами. Тогда — Россия стояла на страже старого мира против всей революционной Европы, теперь — старая Европа стоит на той же страже против революционной России...

И еще одно: Тютчев хорошо видел связь между мировой Революцией, которая пришла в мир, и той духовной революцией, которая пришла в мир двадцать веков тому назад. Он думал, что обе революции эти друг другу враждебны,

что «прежде всего революция есть антихристианство», что «дух антихристианства есть душа Революции, в этом ее подлинный, отличительный характер». И в этом он опять был прав, если противополагал духовную революцию — физической, нравственную революцию — социальной. Так или иначе, но оплотом первой он видел Россию, очагом второй — Европу.

А если так — то вот она мировая миссия России, вот вера, которая бьется в его груди:

Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленную рать...

И уже отсюда — мечты о мировом владычестве России, мечты (впоследствии так «шинельно» опошленные!) о щите Олега на вратах Цареграда: «вставай же, Русь! Уж близок час! Вставай, Христовой службы ради! Уж не пора ль, перекрестясь, ударить в колокол в Царьграде?» Отсюда уже пророчества о великом русском государстве с «семью внутренними морями» и с семью великими реками: «от Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...»

Вот царство русское... и не прейдет вовек;
Как то провидел Дух и Даниил предрек...

Здесь миссия России не только национальная, не только государственная, как это было у Пушкина: миссия эта становится уже религиозной. Ибо миссия эта — борьба с «антихристовой» революцией.

10

Славянофильские поэты измельчили и опошлили глубокие воззрения Тютчева. И лишь через три четверти века русский поэт, духовно близкий Тютчеву, но неустанно боровшийся со славянофилами, сделал еще шаг в том же направлении; национальную, государственную, религиозную миссию России он провозгласил апокалиптической. Это был Вл. Соловьев.

Когда он в 1895 г. писал «Панмонголизм», а в 1900-м — «Дракона» и «Три разговора», то пушкинский стих о потрясенном Кремле и стенах недвижного Китая перестал уже соответствовать действительности. Скорее наоборот, историческая мысль могла лететь «от стен недвижного Кремля до потрясенного Китая», но зато прежняя мысль Пушкина об «антимонгольской» миссии России получила особую остроту и силу.

И тютчевское противопоставление России и Революции потеряло свое значение: слишком стало ясно, что путь России

и Европы в этой области — общий, одинаковый, ибо революции не избежать ни Европе, ни России. Но зато с тем большей силой прозвучала для Вл. Соловьева тютчевская мысль о религиозной миссии России: да, велика эта миссия, но не в излишней борьбе с Западом, а в неизбежном столкновении с «мировым нигилизмом» Востока. Ибо с Востока надвигается «панмонголизм», которому, быть может, дана будет власть пожрать европейскую культуру, христианскую цивилизацию, однажды уже спасенную для Запада Россией. «Россия поглотила победу Монголов»,— сказал Пушкин. Поглотит ли она их и в будущем, или сама вместе с Европой будет поглощена? В этом для Вл. Соловьева были скрыты апокалиптические судьбы мира.

Надвигающееся на Европу «монгольство» — для него есть подлинный апокалиптический Дракон; и с жутким чувством ожидает он его прихода — да совершатся судьбы России, Европы, мира...

Панмонголизм! хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно...

В России исторически и мистически пересекаются эти судьбы Запада и Востока; в панмонголизме, паннигилизме — пересекаются судьбы Европы и России.

Десятилетием позднее все эти мысли положил в основу своего романа «Петербург» один из духовных наследников Вл. Соловьева, Андрей Белый. Там у него в туманной ночи пролетает мимо Медного Всадника автомобиль «с желтыми монгольскими рожами»; но — «раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, Медный конь копыт не опустит: прыжок над историей будет; великое будет волнение... Брань великая будет — брань небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка! Куликово поле, я жду тебя!..»

Так говорит ученик — так говорил и учитель. Он ждал победы апокалиптического азиатского Дракона над христианской Европой, он предсказывал России: «желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен». Он звал Россию к соединению христианства Запада и Востока (ибо «свет, исшедший от Востока, с Востоком Запад примирил»), он звал к этому для совместной борьбы с мировым нигилизмом «монгольства», грядущего войною на мир. В этом — апокалиптическая миссия России...

И когда в 1900 году все европейские «великие державы» соединились для «карательной экспедиции» в Китай, и Вильгельм II произнес по этому поводу одну из самых каннибальских речей, какие только сохранила нам от «великий людей» история,— Вл. Соловьев, на пороге смерти, вос-

торженно приветствовал этого своеобразного «Зигфрида» наших дней... Россия и Европа, Восток и Запад шли вместе, рука об руку против Азии, мирового Дракона! Так решался вековой вопрос о Западе и Востоке — и что за беда, если во имя Христа и креста шли расстреливать китайского Дракона из пушек и пулеметов! Не беда:

Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста,
Христов огонь в твоем булате
И речь грозящая — свята.

Полно любовью Божье лоно,
Оно зовет нас всех равно...
Но перед пастию Дракона
Ты понял: крест и меч — одно.

Если бы мог предвидеть Вл. Соловьев, что не пройдет пятнадцати лет, как и Европа, и Россия, забыв про Дракона, разделятся на два стана для смертельной схватки обманутых старым миром европейских народов! «И мглою бед неотразимых грядущий день заволокло...»

11

Война вновь остро поставила вечный вопрос о России и Европе. Ибо, хотя Россия и вошла «в семью великих демократических стран Запада» — но разве это поверхностное англо-франко-русское военное соглашение хоть в малой мере решало глубокие вопросы Пушкина или Тютчева?

Ибо ведь и Запад разделился сам на себя. Мало того, каждая страна Запада разделилась надвое, разделилась и Россия: давно уже прошли пушкинские времена кажущегося «единства национальных интересов». Что же касается не наций, а государств, то противопоставление Европы России сохраняло и здесь весь свой смысл — смысл и социальный и духовный.

А когда из войны родилась революция, и прежде всего революция русская,— снова прежний вопрос о Европе и России неотвратимо стал перед сознанием. Но до чего же переменился облик этого вопроса, до чего сместились его грани, до чего перевернулось его содержание! Для Пушкина миссия России была государственной и национальной,— для революции миссия та внегосударственна и интернациональна. Для Тютчева задача России была исключительно направлена к защите «христианства» от безбожной революции,— задача последней, наоборот, вместо духовного и нравственного переворота произвести сперва переворот в мире физических и социальных ценностей. И если раньше Россия стояла на страже старого мира против революционной Европы, то теперь наоборот — старая Европа стоит на страже

против революционной России. А апокалиптическая миссия России Вл. Соловьева для революции получила совсем иной смысл: Дракон оказался пока внутри каждой страны, и подлинно борьба с ним — тяжела...

Вот нити поэтического сознания, дошедшие от Пушкина до наших дней, по вечному вопросу нашей истории: Россия и Европа. Вопрос остался в прежней силе, но при глубочайшем внутреннем своем изменении. Оформить это новое сознание в поэтическом творчестве выпало на долю Александра Блока, ближайшего духовного ученика и преемника Вл. Соловьева. Его «Скифы», не приведенные в связь со всем прошлым, были бы нам мало понятны, как случайное явление русской литературы; теперь же мы их поймем не только самих по себе, но и в их связи с теми истоками, которые мы только что проследили.

12

Когда маленькие люди язвят большого поэта за то, что он теперь, в грозе и буре мировых событий — не в их утином стаде, что он чему-то «изменил», что он «вдруг» стал духовным, политическим и социальным «максималистом» — то это просто вздор, незнакомство утиного стада с творчеством того самого поэта, которого оно так глубокомысленно судит. Ибо еще в 1905 году поэт бросил этому стаду негодующее свое слово: «Сытые...»

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

А когда пришла в те дни революция и попробовала «углубиться» после политического сдвига 17-го октября, то случилось то самое, что в неизмеримо более широком захвате повторяется теперь, в наши дни:

Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.
Так — негодует все, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!
Теперь им выпал скудный жребий,
Их дом стоит не освещен,
И жгут им слух — мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!..

Это было написано в 1905 году, но не относится ли и к 1917 году? И уже тогда видел поэт, что если даже и совершится во всей своей полноте революция политическая и только политическая, то ни одно звено мировой змеи старого мира не будет еще раздавлено, человек еще не будет ос-

вобожден. И в самый день 17 октября 1905 года писал он в своем поэтическом дневнике:

И если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен
Сверкнувших колец чешуи.

Понятно отсюда, что и в 1917 году не мог поэт очутиться среди утиного стада и среди мещан социализма; понятна его связь со «скифством», с духовным максимализмом; понятны поэтому и его «Двенадцать» — неизбежное следствие всего его прошлого поэтического сознания.

Понятны теперь и «Скифы» его; ибо, еще раз повторяю: что же есть «скифство», как не духовный максимализм, выраженный в условном символе? Это — духовно; но и исторический захват «Скифов» Ал. Блока намечался уже в давнишних его произведениях, посвященных России.

В минуты духовного уныния казалось ему, что Россия — только «сонное марево», что пора с ней «разлучиться, раскаяться», повернуть на Запад и забыть про Русь, где «Чудь начудила да Меря намерила гатей, дорог да столбов верстовых...» И с сожалением, в духе тютчевском, говорил он о ней: «лодки да грады по рекам рубила ты, но до Царьградских святынь не дошла...»

Но это бывало у поэта лишь минутным настроением. И в цикле стихов «На поле Куликовом» мы слышим иные, постоянные мотивы, отзвуки которых перед нами теперь в «Скифах».

О, Русь моя! Жена моя! До боли
    Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
    Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
    В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
    Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
    Степную даль...

И пророчески видел он в прошлом и будущем России — «Куликово поле, на котором решается участь и Запада и Востока: «Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар...» И чувствовал он, что впереди еще будет решаться эта участь — и звал, и ждал пришествия этого часа:

Не может сердце жить покоем,
Не даром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал.— Молись!

И вот теперь поэт видит, что в революции 1917 года — исполнились времена и сроки:

Вот час настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит...

И он пишет своих «Скифов», в которых так тесно переплетаются и прежние мотивы его поэзии, и вечные мотивы русской поэзии всего XIX века: еще раз и вплотную становится перед поэтическим сознанием вопрос о России и Европе, о Западе и Востоке.

13

Снова перед нами, подобный «Клеветникам России», бичующий поэтический манифест русского поэта, направленный на Запад, в лицо Европы.

Но до чего все изменилось со времен Пушкина и Тютчева за это столетие — в исторических судьбах Европы и России! Тогда староукладная государственность России стояла стражем против революционных движений Европы; теперь Европа подымает меч в защиту старого мира против революционной России...

Поэт, однако, идет дальше этого внешнего противопоставления. И в Европе реакционной, и в Европе революционной, в самом духе «пригожей Европы» он видит глубокую внутреннюю противоположность свойственного России духа «максимализма»:

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

И эта духовная «жадность» России, это ее «скифство» — непримиримо сталкиваются с выдержанным и внешне сильным «постепеновством» старой Европы. Она уверенно и умеренно веками плетет крепкую сеть своего «прогресса»; грома истории, «молния — кормчий» — ей чужды и непонятны. И в этом — вечное разделение Востока и Запада.

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Чтобы наставить пушек жерла!

Вот они лицом к лицу два врага: новая Россия, с ее социальным и духовным максимализмом, с ее «скифством»,— и старая Европа, которая кует, плавит, копит, считает сроки. Я говорю (и поэт говорит) о новой России и старой Европе, ибо хорошо знаю, что есть наряду с ними и иные силы — старой России и новой Европы, силы, по различным причинам, уже и еще исторически не действенные в годину великой русской революции. И не надо забывать, что имен-

но в эту годину написаны «Скифы» — пламенное обращение поэта новой России к старому миру Европы, обращение «жадного» духовного «скифа» к европейскому мещанину.

Да, «скиф» — духовно «жаден»: эту черту когда-то Достоевский (преломивший Тютчева и родивший Вл. Соловьева) называл «всечеловечностью» русского человека. Да, «скиф» принимает все «эллинское» европейской культуры — «и жар холодных числ, и дар божественных видений», и «остый галльский смысл, и сумрачный германский гений», «парижских улиц ад, и венецьянские прохлады, лимонных рощ далекий аромат и Кельна дымные громады...» И все это для автора «Скифов» — не «самое дорогое кладбище», каким было оно для Достоевского, а подлинно живое, любимое, свое...

Два врага стоят лицом к лицу: русский, «скиф», и европеец, «мещанин», новая Россия и старая Европа. И если есть у России миссия, то вот она: взорвать изнутри старый мир Европы своим «скифством», своим духовным и социальным «максимализмом» — сделать то самое, что когда-то старый мир сделал в обратном направлении с духовным и социальным максимализмом христианства. Старый мир вошел в это «варварство» и взорвал его изнутри: он омещанил собою христианство. И вот теперь миссия новой России — насытить духом максимализма «культурный» старый мир. Ибо только этот духовный максимализм, это «скифство» — открывают путь к тому подлинному освобождению человека, которое так и не удалось христианству, ибо само христианство «не удалось».

Вот та идея, которую вкладывает поэт в вековое, в вечное противопоставление России и Европы, вот то новое, что звучит в его поэтическом манифесте. Не государственное, национальное, религиозное ставится здесь вперед, а народное — поскольку можно говорить о народной душе России. И это не «славянофильство наизнанку», как могут подумать наивные люди, а полная его противоположность: ибо, повторяю, знает поэт, что «пригожая Европа» есть и в России (культурные либералы, мещане социалисты), так же как и духовные «скифы» есть в Европе. Ибо «скифы», как и «мещане»,— интернациональны. Но поэт обращается к старой Европе, к старому миру, ибо только эта сила (и в Европе, и в России) стоит теперь с мечом в руке против идеи великой мировой революции, начавшейся в 1917 году.

14

Россия — со знаменем социальной революции, Европа — под знаком либеральной культуры: встреча эта, встреча «скифа» и «мещанина», может оказаться смертельной. «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах?..»

Но пока — старый мир идет с мечом в руке, чтобы стереть с лица земли силу революции. Духовный максимализм он хочет задавить войной, мечом и огнем. Он думает, что легко ему справиться с этой вновь пришедшей в мир силой. Когда-то он взорвал «варварское» христианство изнутри, теперь он хочет задавить дикое «скифство» извне. Не слишком ли легко думает он справиться с исконным врагом?

О, старый мир! Пока ты не погиб,
  Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
  Пред Сфинксом с древнею загадкой!

«Россия — Сфинкс». Какой? Не тот ли, о котором можно сказать, подражая ядовитой бутаде Тютчева:

Россия — Сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней...

Так ли? И не был ли загадкой ее тот самый «максимализм», сущность которого глубоко заложена в душе народной и который подлежит углубленному толкованию во всех сферах, затронутых в замечательных «манифестах» русских поэтов XIX века? И разгадкой не было ли всегда — у Пушкина, у Тютчева, у Вл. Соловьева, у Блока — одно и то же самое слово: *человек*? И не это ли слово, в области социальной, несет с собою русская революция 1917 года?

И против этого слова старый мир ощетинивается штыками, против идеи он выставляет пушку. Он думает, что на стороне революции — Vox et praeterea nihil (как все переместилось со дней Пушкина!), он слишком уверен в своей силе, он не хочет остановиться в раздумье пред Сфинксом. И голос русского поэта в эту минуту собирает, как в фокусе, голоса тысяч и тысяч, обращенных лицом с Востока на Запад к тысячам неведомых братьев:

Придите к нам! От ужасов войны
  Придите в мирные объятья!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
  Товарищи! Мы станем — братья!

Это — призыв русского «скифа» к «скифам» западным, это — призыв русской революции (ибо «скифство» — есть революция) к революции мировой. И наши дни должны показать нам — будет ли отзвук на Западе этому голосу с Востока, удастся ли самому Западу победить в себе «мещанина» — «скифом». Если удастся — хотя бы через месяцы и ближайшие годы — то с уверенностью можно будет сказать: отныне — «революция удалась» и старый мир понес возмездие за то, что по его вине «христианство не удалось», не удалась

величайшая в мире революция двадцать веков тому назад.

А если нет? Если на голос восточного «скифа» — на западе злобно и враждебно откликнется «мещанин», силою задавивший вокруг себя своих западных «скифов»? Если даже и так — то вера наша, что победа его — временна, эфемерна, что пусть через года и года, но «скифу» на Западе суждена такая же победа, какая теперь была дана его брату на востоке. За эти года восточный «скиф» будет, наверное, раздавлен своим же «мещанином» при помощи всех мещан старого мира, России и Европы. Но эта пиррова победа не будет продолжительна. Ибо нет той силы, которая могла бы стать на пути идеи духовного максимализма, на пути благой вести о полном внешнем и внутреннем освобождении человека.

Но — еще раз: — а если нет?..

На это отвечает поэт второй половиной своих «Скифов».

А если нет,— нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинать
Больное позднее потомство...

Ибо это «а если нет» — означает собою конец европейской истории и осуществление предвидений Вл. Соловьева, отказ от идеалов «миссии России» в понимании Пушкина и Тютчева. Это «а если нет» — есть гибель Европы и России в пасти азиатского Дракона.

15

Возвращаясь к историческим воззрениям Пушкина, к надысторическим прозрениям Вл. Соловьева, в ярких и образных словах вспоминает Ал. Блок о том, что

Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!

Да — держали. Но если совершится непоправимое, если западный «мещанин», победив у себя дома, с оружием в руках пойдет на Россию искоренять ненавистное ему «скифство», то — не радуйтесь европейские мещане!

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Когда-то Пушкин, помним мы, полный идеей государственности и национальности, спрашивал, обратясь к Западу лицом: «куда отдвинем строй твердынь? За Буг, до Ворсклы,

до Лимана?» Теперь поэт, пафос которого вненационален и внегосударственен, отвечает своему старшему собрату: нет, не до Лимана, а до Урала, ибо тогда мы «выходим из борьбы», отказываемся держать щит «меж двух враждебных рас, Монголов и Европы», отказываемся от этой пушкинской «миссии России»: пусть европейские мещане идут навстречу гибели!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

Здесь апокалиптический Дракон Вл. Соловьева вступает в бой уже не с Россией и Европой, а лишь со старым миром Европы, победившим внутри себя восставшего «скифа». И этот «бой на Урале» — так ли уж невероятен он после всего, что мы пережили в наши невероятные времена?

И если бы в недавние минувшие дни новая Россия, «выйдя из борьбы», сумела не пойти на капитуляцию старому миру, а решилась идти до конца, «очищая место бою», хотя бы до Урала, зная, что сила ее не во внешнем оружии, а во внутреннем взрыве — то не была ли бы победа ее впереди еще более вероятна, чем самое вероятное из совершающегося ныне?

Но не в этом теперь дело, а в последнем призыве поэта, которым он заканчивает своих «Скифов», это глубокое произведение русского поэтического сознания, завершающее собою ряд обращений русских поэтов к Западу и Востоку, к Европе и России:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

И мы верим, что эти призывы восточных «скифов» долетят раньше или позже — и пусть раньше, чем позже! — до «скифов» западных...

16

Так завершился круг от «Клеветников России» до «Скифов»; так, с другой стороны, спаялись звенья «Скифов» с «Двенадцатью». И звено, замыкающее их,— тот самый европейский мир, который, в образе Атланта, поддерживает ныне старое небо, опираясь на старую землю. Землю эту вырывает из-под ног его русская революция, небо это она стремится обрушить на его же голову.

«Двенадцать» и «Скифы» являются в литературе глубоким отражением происходящего в жизни — в этом их право на самое пристальное наше внимание. В области русской поэзии давно не было ничего, что могло бы по силе и глубине сравняться с этими произведениями. Аналогий ищешь в «Медном Всаднике», в «Клеветниках России»; а тот, кому аналогии эти кажутся преувеличенными — добросовестно может отойти в сторону от русской поэзии: она не про него писана.

А теперь, от произведений поэзии переходя к преломляемым ею лучам жизни,— еще раз повторяю: лучи эти соединяются, через революцию, в «последний суд огнем». И этот последний суд — для всего и для всех является последним испытанием. В огненной грозе и буре должны распасться старые кирпичи, должны закалиться новые мечи, проведущие нас в мир новый. В буре пожаров надо суметь увидеть то новое, то надысторическое, что таится перед нами в пыли, грязи и крови. Отвратительны часто внешние формы нового, еще духовным огнем не закаленного — и так легко за тусклой формой не увидеть светлой сущности. Но пусть не видят этого тяжковыйные мещане — видят это зато творцы и поэты. Ибо подлинно для них — «молния — кормчий».

Два этих вечных стана вечно разделены в жизни друг от друга, как разделены они в гениальных прозрениях Гете. Для мировых мещан («Сирен» второй части «Фауста») — ужасно и безумно мировое землетрясенье: «каждый благоразумный — торопись прочь от него!»

Dort ein freibewegtes Leben,
Hier ein ängstlich Erde-Beden:
Eile jeder Kluge fort!
Schauderhaft ist,s um den Ort...*

Да, поистине — «ужасно в этом месте» для всесветных мещан! Но среди этого, невыносимого для них, детей старого

---

* Слова Сирен из второй части «Фауста» Гете в переводе Б. Пастернака:

Там пловцов свободных взмахи,
Здесь — землетрясенья страхи.
Здравый смысл бежать велит,
Местность ужасом грозит.

мира, испытания в грозе и буре — окрыляется дитя Эвфорион, провозвестник мира нового:

Dort! — und ein Flügelpaar
Faltet sich los!
Dorthin! Ich muss! Ich muss!
Gönnt mir den Flug! *

И пусть как новый Икар разобьется он в своем полете — что до того! «Jammer genug!» Да, поистине — «довольно стенаний!» И от русского поэта слышим мы то же: «не плачьте! склоните колени, туда, в ураганы огней!»

В урагане огней, в грозе и буре, идет в мир великая благая весть. Подлинно мировым землетрясеньем и пожаром было «рождение в ясли» двадцать веков назад! Недаром поспешили прочь от него все «благоразумные» старого мира. Но убежать было нельзя — они вернулись и затушили своей муравьиной лавиной разгоравшийся в мире пожар. «Как бы хотел Я, чтобы он разгорелся!..»

И вот, в урагане огней, спустя двадцать веков, снова идет в мир благая весть. И снова бегут «благоразумные»,— мы же должны пройти через это испытание в грозе и буре, хотя бы оно испепелило нас: «нет исхода из вьюг — и погибнуть мне весело» (Ал. Блок). Но испепелит оно и старый мир, сорвет маску с всесветного мещанина Атланта и даст в будущем победу «скифу», пронесшему в Новый мир — «эллина» Эвфориона.

То, к чему мировая история придет в грядущем, мировая поэзия дает нам в настоящем. Припадая к истокам ее — чувствуешь себя у ключа воды живой и ясно провидишь, как на мировом перекрестке будет, будет стоять «печальный, как вопрос» всесветный мещанин, ныне еще властелин старого мира, разоблаченный титан, былой миродержатель Атлант.

Апрель 1918

---

* Слова Эвфориона из второй части «Фауста» Гете в переводе Б. Пастернака:

В ширь беспредельную
Крылья простер!
Смелый бросается
В битвы разгар!

Р. Иванов-Разумник

Весть весны *

Россия,— Ты ныне — Невеста...
Приемли — Весть — Весны...

Андрей Белый.

I

Христианство — и Социализм.

Для одних противопоставление это — кощунственно и плоско, ибо Христианство для них — безмерно больше, чем великая вселенская идея, а Социализм — бесконечно меньше, чем религиозное мировоззрение: лишь социально-политическая программа.

Для других сопоставление это — никчемно и «отстало», ибо Христос для них — безмерно меньше, чем вечный мировой символ, а Социализм — бесконечно больше, чем мировоззрение: вера их жизни и смерти.

Первые — не видят «нового вознесения» человеческого духа за социально-политической схемой исторического социализма. Вторые — заслоняют в своем понимании вечно живую мировую идею мертвым скелетом исторического христианства. И те и другие — не видят за деревьями леса.

Ибо есть Христианство и христианство.

Есть Социализм и социализм.

Не «плоско» и не «отстало», не «кощунственно» и не «никчемно» сопоставлять и противопоставлять друг другу две вселенские идеи, две мировые волны, идущие одна вслед за другою, сметающие собою мир старый, выносящие нас с собою в мир новый. Исторический социализм — есть и всегда будет тем самым, чем всегда была христианская церковь: социально-культурной силой, которая беспрерывно сменяться будет новыми формами, в связи с изменяющимися историческими условиями. Но все эти многоразличные формы «социализма», «синдикализма», «анархизма» неизбежно нам объединить условной, общей — не боюсь этого слова — религиозной идеей Социализма, новой верой и новым знанием, идущим на смену старому знанию и старой вере Христианства и его многоразличных исторических форм.

Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов, не разменявшиеся еще до степени профессиональных антисоциалистических суесловов. «В византизме, католичестве и протестантстве — говорит один

* Отрывок из статьи «Россия и Инония».

из них (проф. Тареев) — мы видим три положительных формы церковно-исторического христианства; социализм решительно идет в сторону от христианства, и его связь с христианством — в его сознательном и прямом антихристианстве». Если прибавить к этим словам, что христианство, в его церковно-исторических формах, все двадцать веков своей жизни было почти сплошь «анти-Христовым», то вопрос будет поставлен правильно и твердо. Но вопрос этот — большой, о нем нельзя говорить мимоходом; пока достаточно его только поставить.

Рождение нового мировоззрения грядущего Социализма — происходит в наши дни:

Новый Назарет
  Перед вами!
Уже славят пастыри
  Его утро.
Свет за горами...

И Россия — та страна, где в крови и муках революции совершается это рождение, рождение не голой, отвлеченной идеи, а тела мира нового. «О, родина, мое Русское поле, и вы, сыновья ее, остановившие на частоколе луну и солнце — хвалите Бога!» Многие и многие не слышат, не видят новой благой вести. Грязь и сор застилают в их глазах очистительную грозу и бурю. На радостный призыв: «новый Назарет перед вами!» — они отвечают словами своих духовных предков: «от Назарета может ли что доброе быти?..» Их много — тьмы тем; и не знают они, что распятое — воскреснет и победит, что так было, есть и будет:

В глухих
Судьбинах,
В земных
Глубинах,
В веках,
В народах
В сплошных
Синеродах
Небес
  — Да пребудет
  Весть:
— «Христос
  Воскре̄с!» —
Есть.
Было.
Будет.

II

«Христос Воскрес» — поэма Андрея Белого — еще и еще раз говорит нам, что в глубинах русской поэзии текут животворные ключи «нового Назарета». Пусть «тьмы тем», во

главе с большими художниками слова, распинают идущую в мир новую правду — нет силы в мире, которая могла бы остановить ее пришествие. И поэты русские — радостные ее глашатаи. Поэмы Сергея Есенина («Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь», «Пришествие», «Октоих», «Преображение», «Инония»), «Двенадцать» Александра Блока, «Христос Воскрес» Андрея Белого — не лучшие ли этому свидетели? Читаться и перечитываться радостно будут они через годы и годы; а пока — пусть «тьмы тем» готовят свое преходящее торжество.

Это про них говорит поэт,— про них, злобящихся и плачущих, проклинающих и копящих злобу, видящих только «безобразие и беспорядок» в грозе и буре океана революции, точь-в-точь как их духовный сородич в свое время видел только «безобразие и беспорядок» в грозе и буре подлинных океанских волн (Гончаров, «Фрегат Паллада»). Это про них говорит поэт:

Из пушечного гула
Сутуло
Просунулась спина
Очкастого, расслабленного
Интеллигента.
Видна —
Мохнатая голова,
Произносящая
Негодующие слова
О значении
Константинополя
И проливов...

Это все он же — «писатель, вития»: «длинные волосы и говорит вполголоса: — предатели! погибла Россия!» — наш знакомый из поэмы «Двенадцать».

Да, «погибла Россия!» — только *какая* Россия, вот вопрос! И если погибла «Россия» мохнатого очкастого интеллигента и длинноволосого писателя-витии, то лишь рождается, в муках рождается, Россия Блока, Белого, Есенина: «новый Назарет перед вами».

Зарея
Огромными зорями
В небе прорезалась
Назарея...

Когда совершилось, когда свершается это: «во дни оны» или теперь? О каких «новозаветных летах» говорит поэт — о тех ли, которые были двадцать веков тому назад или наступают в наши дни? О тех и о нынешних, ибо одинаково происходит в них новое рождение вселенской идеи,—

Прорезывается луч
В Новозаветные лета...
И, помавая кровавыми главами
Туч,
Назарея
Прорезывается славами
Света.

Но вселенская идея рождается лишь для того — «было; есть; будет!» — чтобы быть гонимой и распятой. Проходят времена и сроки — и вместо «слав света» мировая идея достигает славы креста. И тогда — «какое-то ужасное *оно*, угасая и простирая рваные, израненные длани» в девятый час возглашает вечное: «для чего Ты меня оставил?» Ибо тогда почти все оставляют вселенскую идею и глумятся над ней.

Оглянитесь: не близко ли стоим мы теперь от этого мирового «девятого часа»?

И тогда кажется: все погибло — и навсегда...

Навсегда пригвождены ко древу
    Красные уста,
Навсегда простер глухие длани
    Звездный твой Пилат.
«Или, Или, лима савахфани»,—
    Отпусти в закат!

(С. Есенин)

И все это — совершается теперь; и все это — «совершается нами, в нас»... И много надо силы, много надо веры, чтобы не усумниться, видя мировое Слово на кресте. Подождите: пройдет, быть может, «мало времени» — и вы увидите, как после победы ликовать будут «мимоходящие» враги нового вселенского Слова, как плакаться и посыпать пеплом главы будут маловерные ученики и мнимые друзья,— да что! уже загодя начали... И к ним, быть может, почти ко всем нам, относится вещее слово поэта:

Разбойники
И насильники —
Мы.
Мы над телом Покойника
Посыпаем пеплом власы
И погашаем
Светильники.
В прежней бездне
Безверия
Мы,—
Не понимая,
Что именно в эти дни и часы —
Совершается
Мировая
Мистерия...

Ибо если бы «мимоходящие» понимали это, то неужели плакались бы они теперь горько: «погибла Россия!» Длинно-

волосые «писатели-витии» и лохматые «расслабленные интеллигенты» — если бы понимали это, то неужели стали бы скулить и причитать они о гибели того, что теперь только рождается к новой жизни!

III

Россия погибла. Россия рождается.

И «они», и «мы» — правы, каждые по-своему. Ибо их Россия — не наша, и наша Россия не их.

Погибла Россия: какая Россия?

«Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!.. Что есть Русская Империя наша? Русская Империя наша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых — великую, и малую, белую и червонную Русь; во-вторых — грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих — она заключает... Но — прочая, прочая, прочая» (Андрей Белый, «Петербург»).

Эта Россия — погибла, и пусть плачут те, которым дорога была она, как «географическое единство», более того — как «великая держава». С ними у нас нет общего языка, мы не поймем и даже не расслышим друг друга, мы на разных сторонах пропасти. И если для них «географическое единство» односмысленно с «отечеством», а «великая держава» — с «родиной», то это значит, что мы с ними говорим на разных языках. Это не значит, чтобы наше «отечество» было только «человечество»; нет, в человечестве мы — русские, и не можем, и не хотим другими быть, мы имеем свое национальное лицо, свою народную душу. Но это именно и значит, что «родина» имеет для нас смысл не географический, а духовный, что «отечество» мы понимаем не внешне, а внутренно.

Гибнет географическая родина, гибнет великодержавное отечество. И в гибели его только нарождается, только укрепляется отечество внутреннее, родина духовная, через которых только и может пройти в мир во всякой стране вселенская идея наших дней. И гибель *той* России есть не победа, а поражение старого мира, столь извне победоносного. Я больше скажу: чем сильнее была бы видимая победа старого мира, чем полнее была бы гибель внешней России, тем глубже было бы поражение первого, тем полнее было бы торжество России внутренней.

Пример — глубокая ошибка марта 1918 года, капитуляция революции перед мещанством. Не совершись она — мы были бы теперь, быть может, «отброшены на Урал» силою старого мира, силою «стальных машин, где дышит интеграл». Взяты были бы внешнею силою Петербург и Москва, захвачена была бы вся Россия, до конца бы «погибла Россия» плакальщиц. Но этот конец — был бы началом конца старого мира, был бы началом его взрыва изнутри, взрыва тем более

сильного, чем глубже продвинул он свои «стальные машины», думая ими победить идею. Он все равно погиб и теперь, но март 1918 года дал ему отсрочку на месяцы, на годы, на десятилетия — не в сроке дело, дело в величайшей совершенной ошибке.

Пример этот, один из многих, ясно выявляет, как разно понимают «гибель России» люди старой и новой веры, старого и нового завета. *Их* Россия — подлинно погибла, *наша* Россия — подлинно народилась. Когда они злобно плачутся о настоящем, когда они зловеще и угрожающе обещают: «будет Россия!» — они говорят о воскрешении старого (о, конечно — в улучшенных, в либеральных, в «культурных», даже в терпимо-социалистических формах!), а не о рождении нового. Они похожи на тех книжников и фарисеев, которые все еще ждали «подлинного Мессии», в то время как вселенская идея христианства уже покоряла мир. Они проглядели рождение новой вселенской идеи, они не видят и распятия ее, а если и видят, то услужливо подают гвозди и помогают ставить крест.

Да, подлинно: их Россия — не наша Россия. Для них — «гибель» то, что для нас «рождение», для них смерть то, что для нас воскресение. И радостно принимаем мы слова поэта:

Страна моя
Есть
Могила,
Простершая
Бледный
Крест —
В суровые своды
Неба
И —
В неизвестности
Мест.
Обвили убогие
Местности
Бедный,
Убогий Крест —
В сухие,
Строгие
Колосья хлеба,
Вытарчивающие
Окрест.
Святое,
Пустое
Место,—
В святыне
Твои сыны!
Россия,
Ты ныне
Невеста...
Приемли
Весть
Весны...
Земли,
Прордейте
Цветами
И прозеленейте
Березами:
Есть —
Воскресение...
С нами —
Спасение...
Исходит огромными розами
Прорастающий Крест!

Для одних — Россия погибла, для других — спаслась; одни поют ей отходную, другие слышат «весть весны». Какое же взаимное понимание, какое же внутреннее соглашение возможно между этими двумя станами столь безмерно чуждых друг другу людей?

Новая вселенская идея воплощается ныне в мир через «отсталую», «некультурную», «темную» Россию,— подобно тому, как и двадцать веков назад христианство зародилось в темной, некультурной, отсталой Иудее, а не в передовом, культурном, блестящем Риме. Это не значит, что правы славянофилы, что мы «богоизбранный» народ, что победили многоименные Хомяковы, неустанно восторгавшиеся нашей богоизбранной и смело возглашавшие России: «о, недостойная избранья,— Ты избрана!» Ряд исторических, экономических, социальных причин сделал из России первую арену действия нового вселенного Слова, но скоро и весь старый мир перевернут будет до своих оснований этой новой мировой идеей. Тут нет места для «народной гордости», тут есть место лишь для всечеловеческой радости. Так и только так принимаю и понимаю я слова поэта:

Россия,
Страна моя —
Ты — та самая,
Облеченная солнцем Жена,
К которой
Возносятся
Взоры...
Вижу явственно я:
Россия,
Моя,—
Богоносица,
Побеждающая Змия...

Народы,
Населяющие Тебя,
Из дыма
Простерли
Длани
В твои пространства,—
Преисполненные пения
И огня
Слетающего Серафима.
И что-то в горле
У меня
Сжимается от умиления.

Такова Россия *наша*, рождающаяся в грозе и буре, Россия скорбного настоящего, Россия радостного будущего, бичуемая и распинаемая, но пролагающая первые пути для новой мировой идеи, для построения нового «града взыскуемого».

IV

Я не считаю поэму Андрея Белого чрезмерно удавшимся автору произведением: в ней есть растянутости, длинноты, повторения, есть и замечательно удавшиеся места — как раз те, где больше конкретного; вся вторая половина поэмы — значительно сильнее первой. Но все это — очень и очень «относительно»: к Андрею Белому предъявляешь такие большие требования, которые другому бы непосильно выполнить; автор «Петербурга» имеет право на такую тяжелую оценку. Безотносительно, однако, поэма эта, повторяю, является большим произведением большого мастерства; в ней бьют живые ключи «нового Назарета», в ней одной мы более видим живую душу новой России, чем в десятке произведений плачущих и панихидствующих, злобствующих и проклинающих.

И невольно от этой поэмы о воскресении народа и от противоположных ей похоронных слов о гибели переходишь мыслью к двум стихотворениям Андрея Белого о России: к похоронному «Отчаянью» 1908 года и радостной «Родине» 1917 года. Тогда, в годы тупого отчаянья — отчаялся и поэт; теперь в годы горшего отчаянья тех же «интеллигентских» кругов — радостно смотрит поэт в будущее сквозь ураганы огней. Слишком твердо стоял тогда старый мир, старая Россия — и отсюда, только отсюда, истекало тогда «отчаянье» поэта:

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать: —

Туда, на равнине горбатой,—
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой
В косматый свинец облаков,

Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И в ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,

Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков,—

Туда,— где смертей и болезней
Лихая прошла колея,—
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

Когда стихотворение это войдет в будущем во все школьные хрестоматии, то составители их будут делать к нему ученые примечания: «стихи эти написаны под впечатлением суровой политической реакции, воцарившейся в России после подавления революции 1905 года...» Они будут правы, эти ученые комментаторы, они будут правы, но только не до конца: ибо не в одной «политической реакции» тут дело, не в победе старого режима над революцией, а в победе и торжестве старого мира над ростками мира нового, в победе не только политической, но и социальной, не только социальной, но и духовной.

И когда в те же годы Александр Блок писал свой пророческий цикл стихов «Родина» — не о «политической реак-

ции» думал он; он знал, что «политическая реакция» — преходяща, но что после нее и через нее придется еще вступить в полосу мировой борьбы за вселенскую идею.

Когда писал он свое незабываемое:

Христос! Родной простор печален.
Изнемогаю на кресте.
И челн твой будет ли причален
К моей распятой высоте?

— то, быть может, и это отчаянье было вызвано «политическим моментом»?

Нет, другое видели и чуяли тогда поэты-пророки: они смутно сознавали, что за нищетой и безвольем, за колеей смертей и болезней — далекая тьма исторической ночи старого мира, что ввергнуты они в духовную темницу, из которой нет исхода. «...Тобой обманут, о, вечность! Подо мной растянут в дали бесконечной твой узор, Бесконечность, темница мира!» (А. Блок).

Что же удивительного, что теперь эти же самые поэты-пророки радостно приветствуют изведение души из темницы, первые лучи нового мира, рождение новой вселенской идеи? Иначе и быть не могло. И тот самый Андрей Белый, написавший одну Россию, темную, в 1908 году («Отчаянье»), пишет другую, светлую, в конце 1917 года («Родина»):

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия,—
Безумствуй, сжигая меня!

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины,—
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.

Не плачьте: склоните колени
Туда — в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!

Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе — и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро,—
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

Ученые комментаторы далеких будущих дней, быть может, поймут всю глубину внутренней связи между этими двумя «Россиями», отделенными друг от друга десятилетием, и связь их с поэмой «Христос Воскрес». Ибо связь эта — в духовной борьбе мира старого с миром новым, в «отчаянье» от победы первого, в радости за лучи света второго, пролагающего новые пути для нового вселенского мира...

Май 1918

Максимилиан Волошин

Поэзия и Революция.

Александр Блок и Илья Эренбург

Поэма «Двенадцать» является одним из прекрасных художественных претворений революционной действительности. Не изменяя самому себе, ни своим приемам, ни формам, Блок написал глубоко реальную и — что удивительно — лирически-объективную вещь. Этот Блок, уступивший свой голос большевикам-красногвардейцам, остается подлинным Блоком «Прекрасной Дамы» и «Снежной Маски».

Внутреннее сродство «Двенадцати» со «Снежной Маской» особенно разительно. Это та же петербургская зимняя ночь, та же петербургская метель с теми ветряными переливами, перезвонами и ледяными колокольчиками, та же симфоническая полнота постоянно меняющихся ритмов, тот же винный и любовный угар, то же слепое человеческое сердце, потерявшее дорогу среди снежных вихрей, тот же неуловимый образ Распятого, скользящий в снежном пламени.

Разница между этими поэмами не в лирике и не в символах, а в тональности, в которой они построены. 〈...〉

Фабула поэмы проста, хотя очертания ее несколько затуманены, как всегда у Блока. Но сущность поэмы не в фабуле, а в волнах тех лирических настроений, которые проходят сквозь душу двенадцати красногвардейцев, делающих ночной обход. 〈...〉

Выявляется основная мысль поэмы: «Идут *без имени святого* все двенадцать вдаль...» 〈...〉

И выявляется, наконец, тот незримый враг, на которого направлены винтовочки стальные. Голодный пес — старый мир,— по ироническому символизму красногвардейцев, бредет сзади, поджав хвост и, как волк, оскалив зубы, но от него только отмахиваются. Винтовки и беспокойство направлены

на кого-то другого, который все мелькает впереди, прячется в сугробах, машет красным флагом, прячется за дома. Ему грозят: «Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем! Ей, товарищ, будет худо, берегись — стрелять начнем!..» В него стреляют. А впереди (и это в первый раз за всю поэму автор говорит от своего имени):

Впереди с кровавым флагом
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди Исус Христос.

⟨...⟩ В этом появлении Христа в конце вьюжной петербургской поэмы нет ничего неожиданного. Как всегда у Блока: Он невидимо присутствует и сквозит сквозь наваждения мира, как Прекрасная Дама сквозит в чертах блудниц и незнакомок. После первого — «Эх, эх, без креста» — Христос уже здесь. ⟨...⟩

...Удивительно то, что решительно все, передававшие мне содержание поэмы Блока прежде, нежели ее текст попал мне в руки, говорили, что в ней изображены двенадцать красногвардейцев в виде апостолов и во главе их идет Исус Христос. Когда мне пришлось однажды в обществе петербуржцев, близких литературным кругам и слышавшим поэму в чтении, утверждать, что Христос вовсе не идет во главе двенадцати красногвардейцев, а, напротив, преследуется ими, то против меня поднялся вопль: «...Это все Ваши обычные парадоксы. Может, Вы будете утверждать, что и Двенадцать вовсе не апостолы?»

Отсюда я заключаю, что такое понимание поэмы общераспространено и не только среди темной интеллигенции, но и в высших литературных кругах. Неужели никто из слышавших поэму не дал себе труда вчитаться в ее смысл?..

Двенадцать блоковских красногвардейцев изображены без всяких прикрас и идеализаций («На спину б надо бубновый туз!»); никаких данных, кроме числа 12, на то, чтобы счесть их апостолами,— в поэме нет. И потом, что же это за апостолы, которые выходят охотиться на своего Христа?

Красный флаг в руках Христа? В этом тоже нет никакой кощунственной двусмыслицы. Кровавый флаг — это новый крест Христа, символ его теперешних распятий.

Можно только радоваться тому, что Блок дружит с большевиками, потому что из впечатлений того лагеря возникла эта прекрасная лирическая поэма, являющаяся драгоценным вкладом в русскую поэзию. И, если в ней нет ни панегирика, ни апофеоза большевизма, всё же она является милосердной представительницей за темную и заблудшую душу русской разиновщины.

Сейчас ее используют как произведение большевистское, с таким же успехом ее можно использовать как памфлет против большевизма, исказив и подчеркнув другие ее стороны. Но ее художественная ценность, к счастью, стоит по ту сторону этих временных колебаний политической биржи. ⟨...⟩

[Далее Волошин высоко оценивает стихотворение «Скифы», но выступает против оправдания Брестского мира, мирных объятий, которых нет, против поэтизации скифства и угроз Европе.]

Но каким же образом может быть прекрасно стихотворение, столь искажающее историческую правду и столь неверное и столь тенденциозное? Потому же, почему прекрасна поэма «Двенадцать». Там Блок уступил свой голос сознательно глухонемой душе двенадцати безликих людей, в темноте вьюжной ночи вершащих своё дело распада и в глубине темного сердца тоскующих о Христе, которого они распинают,— здесь Блок бессознательно является словоносцем обширной части русской интеллигенции. ⟨...⟩

Коктебель, 15 октября 1918

Ник. Асеев

Радуга революции

(«Двенадцать» А. Блока)

И время, тошнимое трупами, выблюет
Дрожащих, как лист кленовый,
Войти не успевших в старую библию
И не пожелавших новой!

Ник. Асеев

Возобновленный на днях на страницах «Дальневосточного обозрения» текст поэмы А. Блока, о которой мы своевременно уже высказывались в общих чертах, дает возможность ближе подойти к этому произведению, как к одному из безусловно значительнейших отражений современности в искусстве.

Нам хотелось бы, нисколько не приуменьшая этой значительности, уяснить то положение, какое займет поэма в истории поэзии вообще, как и в истории «революционного искусства», каковое, по нашему глубокому убеждению, явится предметом особого изучения в будущем. Для всего этого необходимо отрешиться от чисто чувственного, эмоционального восприятия данной вещи и попытаться из субъективных впечатлений «современника» выделить наиболее осознанные, точные и вневременные, основанные не на интуитив-

ных симпатиях к самому писателю как личности, а на бесстрастном длительном опыте:

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет!

Только при этом условии нам кажется возможным уследить то «подземное течение», в котором, как говорит Роденбах, «кроме кажущейся обыкновенной драмы, драмы реальной жизни, разыгрываются непосредственно в слиянии с душами читателей другие, развивающиеся в пределах бессознательности, светотени, тайны возбужденного мрака, где различается подводная жизнь произведения, где видны, словно корни актов, и видны только для посвященных и ясновидящих».

Но «посвященность» и «ясновидение» были магическими лозунгами для Роденбаха как апологета и истолкователя представляемого им течения в искусстве, лозунгами, произносимыми входящими в храм искусства, этот храм воплощался для него самого и его предшественников в романтико-католическом стремлении «к звездам», о котором он сам говорит следующее: «Можно сказать, что Собор Парижской Богоматери, сейчас же подхваченный Гюго, был как бы соединительным ковчегом с романтизмом. Но Гюго, точно царь Давид, удовлетворился танцами перед ковчегом с Эсмеральдою и цыганами на паперти. Следующее за ним поколение вошло в Собор Богоматери, осенило себя священной водой, приблизилось к хору, подтвердило свою приверженность к вере и таинствам: это был Барбье д'Оревильи, это был Элло и это был Бодлер».

Перечисленные Роденбахом имена не исчерпывают списка. Мистицизм романтиков, глубоко родственный символистам, перекинулся от французских мадонн к русским богородицам, и к именам д'Оревильи, Элло и Бодлера невольно хочется присоединить имя Блока в начале его поэтических выступлений. Стоит раньше вспомнить его стихи, вуализированные робким сначала, а потом все более и более обнаруживающимся внутренним самоутверждением в пределах той туманной религиозности, которая от Шатобриана и романтиков, менее увлекавшихся догмами, чем культом, через Верлена и Бодлера, который «точно составил список грехов, перечисляя их со свободой, могшей малосведущим людям показаться непристойной, по тому образцу, по какому Моисей перечисляет в Левитах некоторые гнусные поступки»,— чтобы понять окраску «Двенадцати», окраску, вписанную «корнями», с начала самого роста поэтического таланта Блока.

Вот строки из первой его книги с характерным названием «Стихи о Прекрасной Даме»:

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд,

Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

Вот более поздние «Итальянские стихи»:

Мимо, все мимо — ты ветром гонима —
Солнцем палима — Мария! Позволь
Взору — прозреть над тобой херувима,
Сердцу изведать сладчайшую боль!

Вот, наконец, стихи более зрелого возраста, где уже романтический и туманный образ «Прекрасной Дамы» вырисовывается в образ более четкий и материализованный:

Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи,
Я сквозь темные ночи — в венце.
Вот они — еще синие очи
На моем постаревшем лице!
В твоем голосе — возгласы моря,
На лице твоем — жала огня,
Но читаю в испуганном взоре,
Что ты помнишь и любишь меня.

Это первоначальное юношеское обличье поэта не закристаллизовалось в неподвижную маску, ханжи и суевера нет уже, скоро живая душа Блока, остро реагирующая на жизнь, перестанет удовлетворяться экзальтацией и отвлеченным пафосом формального образа:

Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил — но ты не снизошла,
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
. . . .
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

И вместе с уходящей молодостью, смененною «сырою ночью» реального существования, для Блока встал вопрос заполнения своего творчества новым содержанием. И вот уже в 1914 году мы видим, как поэт пытается отождествить романтический образ «мадонны» с образом своей страны, своего народа со всеми характерными его чертами:

О, Русь моя! Жена моя! до боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

. . . .

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?

Это и еще более ярко чувствуемая поэтом необходимость удержаться на уровне чувств и задач своего поколения заставляет его пристально вглядываться в окружающее, запоминать и впитывать вместе с причастием неоромантизма острую оправу современности с ее образами и формами, с ее способом выражения и выявления себя в мире. Вот строки из драмы «Король на площади», где рядом с туманнейшим заданием интуитивного творчества уживаются зачатки злободневной гражданственности:

Перед дворцом гуляет всякий,
Кто хочет отдохнуть.
Лишь демократу и собаке
Здесь не показан путь.

И уже на наших глазах «красные лампады», горевшие уже и в первых стихах Блока зловещим огнем современности, вырастают в огромные зарева костров, зажженных пред алтарем его настоящей родины — революции. Поэт-бунтарь, поэт-новатор, попытавшийся было уйти от серых будней предгрозового затишья в торжественную мглу средневековья, вдруг почувствовал себя пробужденным в родной ему стихии, живописать которую предназначено ему от рождения.

Но «первые впечатления» жизни положили резкие штрихи на облик его творчества. Уже не может А. Блок порвать с первой своей любовью и при всей своей острореагирующей, импрессионистически отражающей зеркальной душе не избавится он при описании и осознании происходящего вокруг от самого тембра своего голоса, приученного к клирному благоговению пред алтарем своей ранней «Прекрасной Дамы», от ассоциативной связи всех явлений бытия с образами, милыми с юношеских дней. Не избавится, так как:

Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,
Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь.

И отсюда объяснение и оправдание этих канонически необходимых «Двенадцати», благочестивого числа, проливающего «примирительным елеем на бунтующие воды» как внешней, так и внутренней стихии поэтического созерцания. Отсюда эта нарочитая, заранее заданная стихийная безгрешность «двенадцати», совпадающая странным образом «личная», «своя» правда поэта с правдой объективной, мировой.

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек...
. . . .

Впереди которых:

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Таков путь эволюции творчества Блока, то «подводное течение», которое вопреки сарказму и недоумению многих вывело и поставило «современного» поэта на твердую землю его истинной родины, подтвердив лишний раз внутреннюю, внеразумную реальность искусства, явственнейшую всевозможных квазинатуралистических грез и будничной сонной одури, в которых общественность наша пыталась осуществить противоположение всем «упадочным» и «реакционным» заданиям искусства.

Странно представить, а между тем это выступает с непреложной убедительностью, что вся школа русских символистов, воспринявшая культуру стиха, а вместе с тем и часть внутреннего его содержания от французских символистов, вся упорная и длительная работа целого поколения над освобождением формы и содержания от временных и преходящих традиций данного века и народа была лишь подготовительной работой, заданной хозяином — судьбой для обеспечения существования одного лишь поэта, и творчество этого поэта, в свою очередь, было подготовительной работой для одного произведения, нужного и значительного, как антропометрическая съемка характерных линий эпохи.

Могут, конечно, возразить, что это заключение слишком неубедительно. Что творчество Брюсова, Белого, Сологуба и других символистов значительны каждое само по себе, что и прежние стихи Блока прекрасны и талантливы. Мы и не будем этого оспаривать. Но разве не ясно, что все эти отдельные этапы творчества и временно (хронологически), и пространственно (по значительности и суммированию всех бывших технических особенностей) покрываются поэмой Блока, совмещающей в себе все стороны его поэтического дарования?

Вот темы отдельных достижений, сконцентрированные в поэме Блока,— темы как его личного творчества, так и творчества его соратников, учителей, восприемников и предшественников, которых мы разглядели сквозь общую архитектуру поэмы.

Главная и заданная тема «Двенадцати» — хаос. Хаос событий, хаос вьюги, хаос возмущенной стихии, сквозь которую видны обрывки проносящихся лиц, положений, действий, нелепых в своей обрывочности, но связанных общим полетом сквозь ветер и снег. Не была ли эта тема использована — без оправдания необходимого в действительности — уже Тютчевым, одним из восьми чтимых Блоком поэтов, и А. Бе-

лым в его «Симфониях», и самим Блоком («Земля в снегу», где — «двое проносятся в сфере метелей»)?

Расчленяем далее основную тему на части согласно повторению самого автора.

Черный вечер,
Белый снег,
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!

Эта тема ветра, поднимающегося и «сметающего с ног», разве не была использована как самодовлеющая уже и Э. Верхарном, и К. Д. Бальмонтом? Но все дело в том, что там их искусство не наполнялось содержанием жизни, а потому и значительность его при всей красоте и точности отдельных образов не заключала в себе трагедии, чувствуемой и ощущаемой за поэтической темой. Отдельные импрессионистические портретные вставки этой части поэмы только подтверждают наше предположение, являясь списанными с ранних этюдов того же Блока, вставленных в картину с примесью иронического мазка А. Белого (его «реалистические» попытки в «Пепле»). Чтоб не быть голословными, постараемся вспомнить хотя бы те построения диалога в стихе, которые так напоминают приемы Белого.

Вот диалог первой части «Двенадцати»:

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития...

Или:

Вот барыня в каракуле
К другой повернулась:
— Ужь мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Эта вставка отдельных фраз в строфу очень близка по манере к описательному способу Белого:

— Приехали в Яссы,
Приблизились к Турции —
Цветут у террасы
Цветы золотые настурции!

Или:

— Измена? Назначен Бестужев?
Вот палкой ударил о стол!

Конечно, здесь только формальное сходство. Но форма-то и была выковываема современной группой «аргонавтов», «артелью», работавшей вокруг «Золотого Руна».

А этот диалог проституток, звучащий теперь как один из характерных штрихов всего произведения:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, нá ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...

Не слышен ли был уже в «Незнакомке» этот диалог, столь же беспристрастно описанный, но не влившийся в общую значительность описываемого?

Вот брюсовский прием введения «интеллигентских» слов в простонародную речь, примененный чрезвычайно удачно и уместно:

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!

Разве этот прием, эта манера утрированно необычных для народного языка введенных в него слов не была в свое время без особого успеха применена В. Брюсовым?

Вспомним:

И каждую ночь регулярно
Я здесь под окошком стою,
И сердце мое благодарно,
Что видит лампаду твою.

Вот брюсовская «Фабричная». А вот его же «Солдатская»:

Что же, братцы, и с Китаем
Церемониться нам — что ль?
Шапками их закидаем.
Воевать хотят — изволь!

Как похоже даже и по построению на Блока:

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!

Но как надуманно-стилизаторски звучит эта строфа у Брюсова и так оправданно и законно у Блока!

И таких мест «параллельности» форм в поэме очень много, вплоть до стилизации народной песни с видоизмененным концом:

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!

Эти места, конечно, не самые острые строки поэмы. Они, наоборот, примелькавшаяся и будничная ее одежда. Главный интерес ее в смысле формы заключается в ином. Но все же и они свидетельствуют о правильности нашего предположения об эволюции творчества и оправдания его, казалось бы, чисто технических заданий жизнью, при условии их самоценности и целесообразной оправданности «своим временем».

Обратимся теперь к новому, что дано в поэме. Психологическая новизна поэмы не есть предмет нашего исследования. Все же должны оговориться, что и ее мы имеем в виду в нашем методе — методе нащупывания эволюции форм, поскольку эти формы общезначительны как внешне, так и внутренне. Итак, самым новым для Блока, по крайней мере в поэме, является смена лирических настроений, ранее практиковавшаяся им частично, а теперь явно принятая как необходимость. Не говоря о том, кто первый разбил традиции единообразия метрического вида произведения, мы опять-таки укажем, что сама жизнь заставила поэта прибегнуть к применению раздробленных ритмов, сама жизнь, не могущая, очевидно, вкладываться в спокойные рамки закрепощенных форм поэтики сонета, рондо, триолета, баллады, и более того, также жизнь заставила Блока уйти от заранее заданного размера. Ямб, хорей, анапест, амфибрахий — ни один из них не удовлетворил поэта, он принужден был смешать их в общую массу строк, чтобы вылепить, не руководствуясь пропорциями размеров, асимметричное лицо своего времени.

Но употребление им так называемого расплавленного ритма, введение звукоподражаний в строки не случайно, но как принятый прием, и, наконец, эта манера не считаться с эстетическим законом аудитории в выражениях — все это, вместе взятое, резко подчеркивает приятие Блоком целого ряда завоеваний новой школы поэзии, пришедшей после «его» школы, с которой он отныне должен будет вступить в явное противоречие. Самый выход на улицу и уменье сохранить на этой улице подобающее поэту самообладание, уменье быть объективным и не реагировать личностно на события, синтезируя их в области лишь творческого восприятия,— также подтверждают наше предположение о громадном пути, пройденном А. Блоком от дверей «Прекрасной Дамы» до мирового храма всечеловеческого искусства. И, приветствуя его, уже убеленного первым снегом когда-то дерзко вившихся кудрей, мы с искренним удовольствием видим, что им именно и суждено закончить последнюю главу старого завета искусства, куда он внес свои обновленные скрижали, не тоскуя и не соболезнуя о разбитых в гневе старых «Двенадцати». Это радуга не только социальной бури, пронесшейся в России,— это радуга и первой революции духа, в которой отразились все основные цвета окрашивавшего старую

землю эстетического спектра, впервые после долгого промежутка перекинутая между двумя крайними точками небосклона искусства, соединившая пылающий закат одной эпохи с украшенным тучами и молниями восходом эпохи будущего.

В. Маяковский

Умер Александр Блок

Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого.

Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию.

Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк — взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство. Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами — кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем и другим одинаково любовно памятен Блок.

Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, изящным словам символиста не под силу было выдержать и поднять ее тяжелые реальнейшие, грубейшие образы. В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме «Двенадцать» Блок надорвался.

Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо»,— сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».

Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей.

Поэмой зачитывались белые, забыв, что «хорошо», поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что «библиотека сгорела». Символисту надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Славить ли это «хорошо», или стенать над пожарищем,— Блок в своей поэзии не выбрал.

Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме — дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла.

В. Жирмунский

Поэзия Александра Блока

⟨...⟩

III

В годы, последовавшие за первой революцией, когда для многих стало ясно, что в судьбе России приближаются решительные дни, сложились стихотворения Блока, посвященные Родине. «Стихи о России» стоят в традиции религиозного течения русской общественной мысли, Хомякова, Тютчева, Достоевского, Вл. Соловьева. Не политические судьбы родной страны волнуют поэта, но религиозное спасение ее живой души — божественное призвание, предначертанный путь, победы и поражения на этом пути,— как и свою судьбу, поэт оценивал как религиозную трагедию, как борьбу за божественное призвание человеческой личности. Но от своих предшественников Блок отличается тем, что к судьбе России он подходит не как мыслитель — с отвлеченной идеей, а как поэт — с интимной любовью. Россия для него — возлюбленная, и, как меняются черты возлюбленной в его поэзии — от образа Прекрасной Дамы до образа Музы последних стихов,— так и ощущение родины находит себе выражение в меняющихся символах романтической любви. Сперва, как невеста, жена или мать, она напоминает своими просветленными чертами небесную Возлюбленную:

...Вот она — с хрустальным звоном
Переполнила надежды,
Светлым кругом обвела...
...Это — легкий образ рая,
Это — милая твоя...

В стихах «На поле Куликовом» — небесная Возлюбленная, Божия Мать охраняет спящих воинов:

Перед Доном темным и зловещим,
　　Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
　　В криках лебедей...

И когда, наутро, тучей черной
　　Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
　　Светел навсегда.

Но уже давно Возлюбленная — Родина приняла в поэзии Блока другие черты. Он подсмотрел в ней то буйное, хаотическое, восторженно-страстное, хмельное, что виделось ему одновременно в чертах Фаины или Кармен. Уже в стихах «На поле Куликовом» появляются эти новые мотивы:

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

...Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!..

...Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

Как отречение вполне сознательное от юношеской славянофильской мечты о России как о богоизбранной невесте, благочестивой деве («Святая Русь») звучат слова поэта в стихотворении «Новая Америка»:

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами — кресты да кресты...

Только ладан твой синий и росный
Просквозит мне порою иным...
Нет, не старческий лик и не постный
Под московским платочком цветным!

Сквозь земные поклоны да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —
Шопотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои...

Как пророчество о будущем появляется теперь этот новый образ Возлюбленной — России: «пьяная Русь» («буду слушать голос Руси пьяной, отдыхать под крышей кабака»), «роковая, родная страна», «разбойная краса»:

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет,—
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

В этой последовательности образов стоит поэма «Двенадцать», посвященная Октябрьской революции. В партийных спорах наших дней эта поэма слишком часто цитировалась: одни поспешили причислить автора к своим, другие — грозили ему отлучением как отступнику. Между тем поэма «Двенадцать» дает лишь последовательное завершение самых существенных элементов творчества Блока. С политикой, партийными программами, боевыми идеями и т. д. она, как и всё творчество поэта, не имеет никаких точек соприкосновения; ее проблема — не политическая, а религиозно-нравственная,— и в значительной степени индивидуальная, не общественная, и только с религиозной точки зрения можно произнести суд над творческим замыслом поэта. И здесь, как это ни покажется странным на первый взгляд, речь идет прежде всего не о политической системе, а о спасении души,— во-первых, красногвардейца Петрухи, так неожиданно поставленного поэтом в художественный центр событий поэмы, затем — одиннадцати товарищей его, наконец,— многих тысяч им подобных, всей бунтарской России — ее «необъятных просторов», ее «разбойной красы».

Конечно, «старый мир» и его представители, «товарищ поп», «писатель-вития», «барыня в каракуле» и «буржуй, как пес, голодный», не пользуются художественной симпатией автора. В этом сказывается его духовный максимализм, стихийное отрицание сложившегося, окаменевшего бытового уклада частной и общественной жизни, та жажда безмерного и безусловного, о которой мы говорили выше. Напомним стихи 1908 года, обращенные поэтом к читателю:

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,—
Я верю: то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

Конечно, он сумел подслушать в революции какие-то новые ритмы еще не написанной марсельезы:

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

...Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Но породнила его с революцией вовсе не какая-нибудь определенная система политических и социальных идей, а та

стихия народного бунта «с Богом или против Бога», в которой Блок ощутил нечто глубоко родственное своему собственному духовному максимализму, религиозному бунту, «попиранью заветных святынь».

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

Вот почему в «Двенадцати» существенно именно то, насколько органически вырастает эта поэма из всего поэтического опыта Блока, из тех художественных постижений и символов, в которых раскрылась ему религиозная трагедия его собственной жизни. Снежная метель, веянием которой он окружил свою поэму, звучала ему гораздо раньше в стихах о снежной вьюге, о снежной любви и Снежной Деве и стала привычным «ландшафтом души» в пору ее мистических восторгов и падений; и даже в «Стихах о России» уже намечено дальнейшее развитие этой художественной темы: «Где буйно заметает вьюга до крыши утлое жилье», «Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна». Быть может, не случайно и это совпадение образов с эпиграфом из пушкинских «Бесов», который предпослан Достоевским его роману на ту же тему. Любовь красногвардейца Петрухи к проститутке Кате, внезапно вырастающая до размеров центрального события «политической» поэмы, рассказана еще прежде в его цыганских стихах. Это — духовный максимализм в любви, который описал Достоевский словами Димитрия Карамазова о Грушеньке («у Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела...») и который увлекает нас в любовной лирике III тома:

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

Наконец, покрывающее победные мотивы народного бунта настроение безысходной тоски, пустоты и бесцельности жизни, тяжелого похмелья, «ацедии», также знакомо нам из стихов III книги, и здесь играет существенную роль, как ре-

лигиозное отчаяние, которое следует за опьянением религиозного бунта:

Ох, ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!

Ужь я времячко
Проведу, проведу...

Ужь я темячко
Почешу, почешу...

Ужь я семячки
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

Погрузившись в родную ему стихию народного восстания, Блок подслушал ее песни, подсмотрел ее образы, родственные его собственным настроениям, как человека из народа,— но не скрыл их трагических противоречий, как и в своей судьбе не умолчал о разорванности, запутанности, безысходности страдания,— и не дал никакого решения, не наметил никакого выхода: в этом его правдивость перед собой и своими современниками, мы сказали бы: в этом его заслуга как поэта революции (не как поэта-революционера). В этом смысле «Скифы» гораздо дальше отстоят от первичного и подлинного творческого переживания, гораздо рациональнее и тенденциознее, а «Россия и интеллигенция» находится на самой периферии творческого постижения событий и так же условны, как любой комментарий к подлинному и насыщенному жизнию видению поэта.

Религиозный суд над поэмой «Двенадцать» — не дело нашего времени, слишком непосредственно и остро ощущающего противоречия старого и нового мира. Трудно, однако, и здесь, при чтении современной поэмы, не вспомнить Достоевского, не менее Блока ощущавшего стихию народную; несмотря на свое официальное славянофильство и церковничество, Достоевский впервые усмотрел в ней черты религиозного бунта, «с Богом или против Бога». В известном рассказе «Влас», почти пятьдесят лет тому назад («Дневник Писателя» за 1873 г.), он отметил в своем герое эту «потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущеньи, дойти до самой пропасти, свеситься в нее наполови-

ну, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой *. Это — потребность отрицанья в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел ** и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем...» и т. д.

Достоевский рассказывает следующий случай. Молодой крестьянин в порыве религиозного исступления, богоборчества, индивидуалистического дерзанья («кто кого дерзостнее сделает») направляет ружье на причастие («пальнем-ка пулей в Святую Русь!»), и в минуту свершения святотатственного деяния, «дерзости небывалой и немыслимой», ему является «крест, а на нем Распятый». «Неимоверное видение предстало ему... всё кончилось». «Влас пошел по миру и потребовал страдания». Не такое ли значение имеет примиряющий образ Христа и в религиозной поэме Александра Блока?

⟨...⟩

VIII

Поэма «Двенадцать» является лишь наиболее последовательным выражением той романтической стихии в творчестве Блока и его современников, которая сделала из символизма критическую, революционную эпоху в развитии русской поэзии. Романтизм ищет безусловного в жизни; сознавая бесконечность души человеческой, он обращается к жизни с бесконечным требованием и отрицает ее конечные, ограниченные, несовершенные формы, не удовлетворяющие его «духовного максимализма». Как художественное направление, романтизм ощущает литературную традицию тяжелой условностью, в художественной норме видит ограничение творческой свободы; он устремляется к разрушению отстоявшихся, канонизированных, условных художественных форм во имя идеала новой формы, безусловной, абсолютной; и даже слово в этом отношении для него — не столько законный материал для поэтического мастерства, сколько преграда для поэта, который хотел бы «сказаться без слов». Этот ди-

---

* Ср. у Блока «Авиатор»: «Или восторг самозабвенья губительный изведал ты, безумно возалкал паденья, и сам остановил винты?» *(примеч. В. Жирмунского)*.

** Ср. у Блока «попиранье заветных святынь...» *(примеч. В. Жирмунского)*.

намизм художественного и жизненного устремления, разрушающий затвердевшие грани искусства и культуры, расплавляющий неподвижные жизненные ценности, как остывшую лаву первоначально свободного, индивидуального и творческого порыва, сам поэт в последние годы своей жизни любил называть «духом музыки» и в романтическом искусстве начала XIX в. видел исторически к нам наиболее близкое проявление этого духа (в оставшейся ненапечатанной статье о романтизме). Изучение поэтического стиля (иррациональная метафора, противоречащая вещественно-логическому смыслу слов) и даже самой фактуры стиха (деформация классического русского стихосложения) обнаруживает в этом отношении те же основные устремления, которые открылись нам раньше в фактах внутреннего развития поэта, его духовном максимализме, его трагическом разрыве между «идеалом Мадонны» и «идеалом Содомским». Какова бы ни была наша личная оценка романтического максимализма, как жизненно-религиозного и как художественного факта, мы не можем забыть исключительного значения поэзии Блока и его явления среди нас. В песнях Блока романтическая стихия русской поэзии и русской жизни достигла вершины своего развития, и «дух музыки», о котором говорил поэт, явился в самом совершенном своем обнаружении.

Иннокентий Оксенов

О композиции «Двенадцати»

⟨...⟩

2. «Двенадцать» как литературное явление

«Двенадцать» — величайшее произведение современности, мирового, непреходящего значения; последний по времени синтез в русской литературе — произведение, завершающее эпоху символизма и вместе большую историческую эпоху; поэма невероятно многослойная и, помимо всевозможных толкований, «бессмертная, как фольклор» (О. Мандельштам)...

Такое в полном смысле космическое явление властно требует не одного какого-либо, но многих методов исследования. Более чем где-либо, здесь уместен метод «общественной», идеологической критики; и мы знаем, как много уже написано в этой плоскости критиками различных направлений; мы

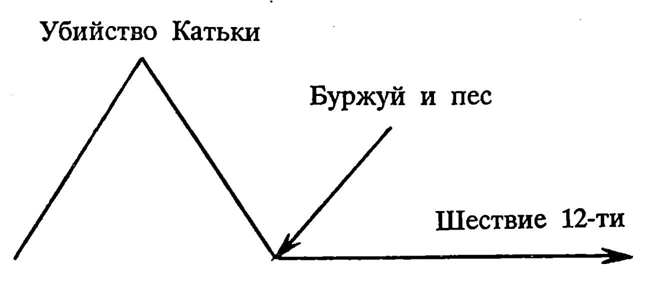
знаем, что анализ подобных произведений дает ключ к пониманию не только их самих, но и породившей их эпохи. Но, помимо этого, не забудем, что «Двенадцать» есть прежде всего художественное произведение, поэма в 12-ти главах, имеющая свою морфологию. Последняя еще никем не была описана, и именно мировое идеологическое значение поэмы побуждает нас взяться за описание ее формы.

3. О композиции «Двенадцати»

Переходим теперь собственно к нашей теме.

«Двенадцать» — поэма с драматическим, нарастающим действием. Интересно проследить развитие этого действия, его подъем, кульминацию и разрешение.

Действие поэмы перебивается неоднократно чисто эпизодическими главами, составляющими как бы «обрамление» поэмы. Такова прежде всего глава I, играющая роль прелюдии. «Двенадцать» появляются лишь в главе II, за нею следует вновь своего рода лирическое интермеццо (глава III). Со следующей главы (IV) бурным темпом идет нарастание драматического напряжения, достигающего своей кульминации в шестой главе. Эта глава в драматическом своем значении представляет вершину всей поэмы, за нею сейчас же наступает падение, быстрый спуск в болота лирической тоски (гл. VII и VIII). Нужно сказать, что планы «личный» и «общественный» в поэме проникают один в другой, так что «личная» трагедия героя поэмы Петьки может быть истолкована в гораздо более широком значении. Это падение останавливается лишь в главе IX, где образы «буржуя» и «пса» являются своего рода поворотным пунктом. Отсюда идет, уже не смущаемое ничьей тоской, никакими сомнениями, победное шествие «Двенадцати», отсюда их «державный шаг» плавно движется через последние три главы. Графически это построение поэмы можно изобразить в виде кривой, поднимающейся вначале круто кверху (гл. VI), затем спадающей вниз, но далеко не достигая исходной точки, и наконец, продолжающейся вдаль, в виде непрерывной горизонтали, стремящейся в бесконечность.



⟨...⟩ *На принципе ритмо-синтаксического параллелизма держится композиционное единство «Двенадцати».*

Подобная композиция характерна для лирики романтического, песенного (также и частушечного) склада.

Ею широко пользуется народная лирика, поэты-романтики, символисты (у Блока много примеров этой композиции можно найти в «Снежной маске»).

О том же романтически-песенном стиле поэмы свидетельствуют частые отмеченные выше *припевы.*

Подведем итоги.

«Двенадцать» — драматическая поэма песенного склада; при предельном разнообразии метрических и ритмических особенностей имеет общий композиционный принцип синтаксического (и строфического) строения — принцип, характерный для композиции и народной романтической поэзии.

Тех, кто смотрит на форму как на нечто органически вырастающее из творческого порыва, наш вывод укрепит в этом взгляде: тогда, зимой 1917—1918 гг., Блок, слушающий «гул от падения старого мира», органически не мог — ни связать себя одним каким-либо метром (напр., четырехстопным ямбом), ни взять иные,— быть может, более сложные — композиционные формы! Стихия, бившая через край, нашла себе старую, испытанную — простую и вместе дающую поэту наибольший простор — форму.

Скажем в заключение, что в звуковой инструментовке «Двенадцати» осуществлен — как и следовало ожидать — закон «звуковых повторов»; но это уже особая тема.

О. Мандельштам

Барсучья нора

⟨...⟩ Рассматривая в целом поэтическую деятельность Блока, в ней различаешь две струи, два отличных начала,— домашнее, русское, провинциальное — и европейское. Восьмидесятые годы — колыбель Блока, и недаром в конце пути, уже зрелым поэтом в поэме «Возмездие», он вернулся к своим жизненным истокам — к восьмидесятым годам.

Домашнее и европейское — два полюса не только поэзии Блока, но и всей русской культуры последних десятилетий. Начиная с Аполлона Григорьева, наметилась глубокая духовная трещина в русском обществе. Отлучение от великих европейских интересов, отпадение от единства европейской куль-

туры, отторгнутость от великого лона, воспринимаемая почти как ересь, в которой боялись себе признаться, стыдясь, была уже свершившимся фактом. Словно спеша исправить чью-то ошибку, загладить вину косноязычного поколения, чья память была короткой и любовь горячей, но ограниченной, и за себя и за них, за людей восьмидесятых, шестидесятых и сороковых годов, Блок торжественно клялся:

Мы помним все: парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат
И Кельна мощные громады.

Но более того, у Блока была историческая любовь, историческая объективность к домашнему периоду русской истории, который прошел под знаком интеллигенции и народничества. Тяжелый трехдольник Некрасова был для него величав, как «Труды и дни» Гесиода. Семиструнная гитара, подруга Аполлона Григорьева, была для него не менее священна, нежели классическая лира. Он подхватил цыганский романс и сделал его языком всенародной страсти. Кажется, будто высокий, математический лоб Софьи Перовской в блистательном свете блоковского познания русской действительности веет уже мраморным холодком настоящего бессмертия.

Не надивишься историческому чутью Блока. Еще задолго до того как он умолял слушать шум революции, Блок слушал подземную музыку русской истории, там, где самое напряженное ухо улавливало только синкопическую паузу. Из каждой строчки стихов Блока о России на нас глядят Костомаров, Соловьев и Ключевский, именно Ключевский, добрый гений, домашний дух — покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания. ⟨...⟩

⟨...⟩ Самое неожиданное и резкое из всех произведений Блока — «Двенадцать» — не что иное, как применение независимо от него сложившегося и ранее существовавшего литературного канона, а именно частушки. Поэма «Двенадцать» — монументальная драматическая частушка. Центр тяжести — в композиции, в расположении частей, благодаря которому переходы от одного частушечного строя к другому получают особую выразительность, и каждое колено поэмы является источником разряда новой драматической энергии, но сила «Двенадцати» не только в композиции, но и в самом материале, почерпнутом непосредственно из фольклора. Здесь схвачены и закреплены крылатые речения улицы, нередко эфемериды-однодневки вроде: «у ей керенки есть в чулке», и с величайшим самообладанием вправлены в общую фактуру поэмы. Фольклористическая ценность «Двенадцати» напоминает разговоры младших персонажей в «Войне и мире». Независимо от различных праздных толкований, поэма «Двенадцать» бессмертна, как фольклор. ⟨...⟩

К. Чуковский

Александр Блок как человек и поэт

*⟨(Введение в поэзию Блока)
Пг., Изд. А. Ф. Маркса, 1924⟩*

(*Отрывки*)

⟨...⟩ Никто так не верил в мощь революции, как Блок. Она казалась ему всемогущей. ...Блок был уверен, что, пережив катастрофу, все человекоподобные станут людьми. ⟨...⟩

Его творчество было во вражде с его бытом. То, чем он жил в своей жизни, он сжигал дотла в своем творчестве. ⟨...⟩ Говоря, что катастрофическое творчество Блока было во вражде с его бытом, я отнюдь не хочу сказать, что стародворянский быт не наложил отпечатка на его катастрофическое творчество.

Напротив, я заранее согласен с теми, кто, изучив его книги, рано или поздно докажет:

что, в сущности, даже революционные чувства были у него стародворянскими;

что производимое им деление человечества на две неравные части — на чернь и не-чернь (хотя бы по признаку духовной просветленности) — есть особенность мышления феодального;

что отличающая Блока ненависть к цивилизации и ко «всевозможным теориям прогресса» могла зародиться лишь в старобарском, усадебном, яснополянском быту;

что даже в тех огромных, непомерных требованиях, которые Блок предъявлял к революции, презирая ее компромиссы и будни, мечтая, чтобы она стала огненным преображением всего человечества, даже в этом максимализме отразился патриций, чрезвычайно далекий от той «груды человеческого шлака», которая, при всей кажущейся своей неприглядности, есть истинный материал революции;

что даже его патетическая *поэзия гибели* имеет корни в той же стародворянской культуре, так как эта обреченная на гибель культура не могла не воспитать в своих гениях присущее ей трагическое чувство конца. ⟨...⟩

Как все другие произведения Блока, его поэма «Возмездие» есть поэма о гибели. ⟨...⟩

Когда пришла революция, Блок встретил ее с какой-то религиозной радостью, как праздник *духовного* преображения России. ⟨...⟩

Как-то в начале января 1918 года он был у знакомых и в шумном споре защищал революцию октябрьских дней. Его друзья никогда не видели его таким возбужденным. Прежде спорил он спокойно, истово, а здесь жестикулировал и даже кричал. В споре он сказал между прочим:

— А я у каждого красногвардейца вижу ангельские крылья за плечами.

Это заявление вызвало много сарказмов. Блок ушел — и написал «Двенадцать». Казалось, что это только начало долгой, героической борьбы. Но прошел еще месяц — и Блок замолчал. Не то, чтобы он разлюбил революцию или разуверился в ней. Нет, но в революции он любил только экстаз, а ему показалось, что экстатический период русской революции кончился. ⟨...⟩ Он разочаровался не в революции, но в людях: их не переделать никакой революции. ⟨...⟩

Он умер сейчас же после написания «Двенадцати» и «Скифов», потому что именно тогда с ним случилось такое, что в сущности равносильно смерти. Он онемел и оглох. То есть он слышал и говорил, как обыкновенные люди, но тот изумительный слух и тот серафический голос, которыми обладал он один, покинули его навсегда. ⟨...⟩ Самое страшное было то, что в этой тишине перестал он творить. Едва только он ощутил себя в могиле, он похоронил даже самую мысль о творчестве. То есть он писал, и писал много, но уже не стихи, а протоколы, казенные бумаги, заказные статьи. ⟨...⟩

Он всегда не только ушами, но всей кожей, всем существом ощущал окружающую его музыку мира. В предисловии к поэме «Возмездие» он пишет, что в каждую данную эпоху все проявления этой эпохи имеют для него один музыкальный смысл, создают единый музыкальный напор. Вслушиваться в эту музыку эпох он умел, как никто. Поистине, у него был сейсмографический слух: задолго до войны и революции он уже слышал их музыку.

Эта-то музыка и прекратилась теперь... ⟨...⟩

Не поразительно ли, что всю поэму «Двенадцать» он написал в два дня? Он начал писать ее с середины, со слов:

Уж я ножичком
Полосну, полосну!

— потому что, как рассказывал он, эти два **ж** в первой строчке показались ему весьма выразительными. Потом перешел к началу и в один день написал почти всё: восемь песен, до того места, где сказано:

Упокой, господи, душу рабы твоея.
Скучно. ⟨...⟩

Человек, который мог написать об одной только Прекрасной Даме, на одну только тему *восемьсот* стихотворений подряд, *восемьсот* любовных гимнов одной женщине,— невероятный молитвенник! — вдруг (после «Двенадцати».— *М. П.*) замолчал совсем и в течение нескольких лет не может написать ни строки! ⟨...⟩

Написав «Двенадцать», он все эти три с половиной года старался уяснить себе, что же у него написалось.

Многие помнят, как пытливо он вслушивался в то, что

говорили о «Двенадцати» кругом, словно ждал, что найдется такой человек, который, наконец, объяснит ему значение этой поэмы, не совсем понятной ему самому. 〈...〉 Однажды Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой.

— Это самая злая сатира на всё, что происходило в те дни.

— Сатира? — спросил Блок и задумался.— Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю.

Он и в самом деле не знал, его лирика была мудрее его. Простодушные люди часто обращались к нему за объяснениями, чтó он хотел сказать в своих «Двенадцати», и он, при всем желании, не мог им объяснить. 〈...〉

Помню, как-то в июне в 1919 году Гумилев, в присутствии Блока, читал в Институте Истории Искусств лекцию о его поэзии и между прочим сказал, что конец поэмы «Двенадцать» (то место, где является Христос) кажется ему искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто литературный эффект.

Блок слушал, как всегда, не меняя лица, но по окончании лекции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь:

— Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос. 〈...〉

Ю. Айхенвальд

Александр Блок

7-го августа 1921 года скончался Блок — на лире современной поэзии оборвалась одна из ее певучих и драгоценных струн. 〈...〉

У Блока мнóго лишнего и пустого. Он неровен; он иногда как-то неинтересен. Его сборники нуждаются еще в эстетическом отборе. Он знает белое, но знает и бледное; и белое нередко превращается у него в белесоватое; тоже от снега, этой ненадежной сердцевины его стихов, ложится на его стихи белесоватый отблеск. Не чужда нашему поэту болезнь белокровия. Деликатны его прикосновения, но в связи с этим они бывают и вялы. 〈...〉

История нашей поэзии приучила нас к тому, что от своих лириков мы не ждали гражданственности. На гражданские мотивы строил свои не всегда складные песни Некрасов; но

истинные поэты, но Фет и Тютчев не здесь находили свое высокое вдохновенье. Между тем тончайший лирик Блок является вместе с тем, наперекор русской традиции, поэтом-гражданином. И многие страницы его проникнуты неподдельным чувством родины. Не безнаказанно, не бесследно прошла для него русская история: он ею живет и страдает, он принимает в ней моральное участие.

Необходимо оговориться: мы не имеем в виду выступлений Блока в пору революции, его публицистических статей, его нашумевшей газетной прозы. Когда говоришь о его поэзии, нет нужды вспоминать что-нибудь другое. Неизмеримо слабее, чем его стихи, вся его проза вообще (кроме такого этюда, как «Русские дэнди»). Она часто наивна и беспомощна; в ней он не мыслитель; с нею нельзя серьезно считаться, и не политике, и не идеям, а поэзии можно и должно учиться у нашего лирика. ⟨...⟩

Мистичность своей «роковой, родной страны», которая «и в снах необычайна», он прозревает и в ее недавних событиях; и на них тоже распространяется та его первая и последняя любовь, то его мистическое супружество, которое называется Россия. Но здесь уже политический мыслитель (или не-мыслитель) Блок помешал лирическому поэту Блоку, и его поэма «Двенадцать» глубоко не удовлетворяет. Хорошо воспроизводя стиль и ритм «товарищей» и их действа, вообще не чуждая, конечно, художественных достоинств, она всё же не блещет ими сплошь, отталкивает местами своей — правда, намеренной грубостью, не бедна словесными шероховатостями, а, главное, безо всякой внутренней связи, без органичности и необходимости, только внешне связывает свою фактическую фабулу с нашей революцией. Эта последняя к сюжету привлечена искусственно. В самом деле, разве то, что Петька, ревнуя к Ваньке, убил Катьку,— разве это не стоит совершенно особняком от социальной или хотя бы только политической революции? И разве революция — рама, в которую можно механически вставлять любую картину, не говоря уже о том, что и вообще рама с картиной не есть еще организм? Изображенное Блоком событие могло бы произойти во всякую другую эпоху, и столкновение Петьки с Ванькой из-за Катьки по своей психологической или физиологической сути ни революционно, ни контрреволюционно и в ткань новейшей истории своей кровавой нити не вплетает. Правда, Петька, как и остальные его одиннадцать товарищей,— красногвардеец: вот эта дань недавней моде, этот, в эпоху создания поэмы, последний крик современности и позволил автору написать свое разбойное происшествие на фоне именно революции; так получилась политика. Сама по себе она у нашего поэта двойственна. С одной стороны, он как будто сокрушается, что у нас «свобода без креста»; он находит к лицу или, лучше сказать, к спине своим двенадцати «бубновый туз», он слышит на улице города, среди снежной вьюги, не покидающей Блока и здесь,

слова женщин: «и у нас было собрание... вот в этом здании... обсудили... постановили... на время десять, на ночь — двадцать пять»; и много других штрихов заставляют думать, что писатель дал не столько поэму, сколько сатиру,— едкую сатиру на русскую революцию, на ее опошленные лозунги, на ее отношение к «буржуям», «попам», к «сознательным» и «бессознательным». С другой стороны, Блок серьезно, кажется, поступаясь художественностью, олицетворяет «старый мир» и говорит про него, будто он «стоит» позади «буржуя», «безмолвно, как вопрос» (кстати: вопрос вовсе не безмолвен,— он, скорее, настойчив, шумлив, криклив, пока его не удовлетворят, пока на него не ответят); — да, так «старый мир» стоит, «как пес безродный, поджавши хвост» (кстати: «старый мир» меньше всего можно сравнить с «безродным» существом; он именно родовит, он стар, и как раз в том его сила, что за ним — длинный ряд поколений, внушительная галерея предков). И самое название «Двенадцать», а не хотя бы «Тринадцать» (эта дюжина была бы здесь уместнее, чем обыкновенная), и не какое-нибудь другое число, символически намекает, что поэт имеет в виду некий священный прецедент: хотя все двенадцать идут вдаль «без имени святого», у нас невольно, вернее — по воле автора, возникает воспоминание о двенадцати апостолах. И что такое сближение не является произвольной выходкой со стороны кощунствующего читателя, а предположено самим писателем,— это видно из неожиданного финала поэмы:

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Этого уже за иронию никак нельзя принять. Помимо тона, заключительный аккорд поэмы, Христос с красным флагом, с кровавым флагом, должен еще и потому приниматься нами не как насмешка, а всерьез, что здесь слышатся давно знакомые и заветные лирические ноты Александра Блока — нежный жемчуг снега, снежная белая вьюга, дыхание небесной божественности среди земной метели. Двенадцать героев поэмы, собранные в одну грабительскую шайку, нарисованы, как темные и пьяные дикари,— что же общего между ними и двенадцатью из Евангелия? И пристало ли им быть крестоносцами (впрочем, они — без креста...) в борьбе за новый мир. Так не сумел Блок убедить своих читателей, что во главе двенадцати, предводителем красногвардейцев, оказывается Христос с красным флагом. Имя Христа произнесено всуе.

Точно так же и родственное «Двенадцати» стихотворение

«Скифы» полно исторических и политических несообразностей. История не сдержала тех обещаний, которые, недостаточно уполномоченный ею, дал за нее поэт, и не «хрустнул скелет» Европы «в тяжелых, нежных лапах» скифов с раскосыми глазами...

Нет, не политикой, инородным телом своим нарушающей поэтичность блоковских мелодий, оправдывает наш певец Россию и свою любовь к ней, а именно самой поэзией своей. ⟨...⟩

Н. И. Бухарин

О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР

(*Отрывок*)

В *Александре Блоке* мы, конечно, имеем поэта огромной силы. Его стих достигает чеканной монументальности и подымается до сверкающих высот «*Возмездия*», которое охватывает в ярких образах целую эпоху перелома, предчувствие обвала и всю его трагедию. «Двенадцать» навсегда останутся памятником революционного хаоса первых лет мятежного кипения, где в самой фактуре стиха, разными ритмами, передан этот калейдоскоп, объединенный внутренней незримой логикой. Его «*Скифы*» написаны с силой предельной выразительности и охватывают огромный круг идей и образов. *Блок* — за революцию, и своим «да», которое он провозгласил на весь мир, он завоевал себе право на то, чтобы в историческом ряду стоять на нашей стороне баррикады. И в то же время мы никак не можем сказать, что он — знаменосец нового мира. Квалифицированное дитя старой культуры, он чужие символы хотел поставить у врат новой эпохи. Это — поэт глубоко философский и в то же время глубоко эмоциональный. Но его философия идет от Владимира Соловьева, от религиозно-эротической мистики, от очищенного православия с католическим налетом; здесь есть нечто и от старого славянофильства, которому стал противен торгаш, подправленного народничеством; с великой болью Блок угадывал по вечерним кровавым закатам и грозовой атмосфере грядущую катастрофу и надеялся, что революционная купель, быть может, приведет к новой братской соборности. И оттого он «благословлял» революцию, и «Катьку», и «двенадцать», и заставлял «поступью надвьюжной» идти впереди революционного потока нежный образ Христа. Но разве эта опоэтизированная идеология, эти образы, эти поиски *внутреннего,* мистического смысла революции лежат в ее плане? Разве «тайный смысл»,

«дхвани» поэтической речи Блока хоть в малой степени родственен пролетариату? Разве это — прелюдия к новому миру? Конечно, нет: это, скорее, лебединая песнь лучших людей старого, которые оторвались от мрачных берегов, но совершенно не понимали и не видели новых путей. Героика «Скифов», где мускулатура образов и музыка стиха сливаются в отчетливый топот истории, на самом деле выражает *фиктивную* историю, ту, которую ждал Блок: это воспевание новой расы, азиатчины, самобытности, *скифского* мессианства, очень родственное философской позиции Блока, не напоминает ли оно некоторыми своими тонами и запахами цветов евразийства?

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Неизвестно, как развивалось бы творчество Блока дальше: ясно, что он воспринимал революцию *трагически,* но большим вопросом является, раскрывалась ли для него эта трагедия как *оптимистическая.* Блок уходил своими корнями в быт аристократическо-помещичьей усадьбы, и филигранные верхи этой культуры, с ее розами и крестами, довольно крепко держали его изнутри. Социалистический машинизм и расцвет на этой основе новой культуры не витали перед его умственным взором: Христом он думал скорее благословить и в то же время заклясть образ развертывающейся революции и погиб на этом этапе, не сказав своих последних слов.

Комментарий

Комментарий к материалам, вошедшим в настоящую книгу, поможет самостоятельному изучению публикуемых текстов. Этой цели служит как реальный комментарий к стихам, статьям и письмам А. Блока и А. Белого, так и справки текстологического и библиографического характера. Для того чтобы читатель, в особенности читатель-филолог, мог проследить за ходом воплощения художественной мысли А. Белого и А. Блока, за изменениями смысловых и эмоциональных оттенков в ее развитии и поэтической реализации, к некоторым текстам даются их черновые наброски, первоначальные варианты и редакции. Для более полного знакомства с тем или иным вопросом в состав примечаний введены библиографические отсылки к соответствующим материалам и литературоведческим работам. Более глубокому пониманию произведений А. Блока и А. Белого послужат высказывания самих поэтов об этих произведениях, а также отклики на них современников А. Белого и А. Блока.

В комментарии использованы примечания В. Н. Орлова, Н. Б. Банк и Н. Г. Захарченко к изданиям сочинений А. Блока и А. Белого, а также материалы, почерпнутые из других научно достоверных источников.

Бо́льшая часть текстов печатается по:

Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960—1963. В комментарии тома́ этого издания обозначены римскими цифрами, страницы — арабскими.

Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М.; Л., 1965. Обозначены как IX том.

Белый А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. («Б-ка поэта». Большая сер.).

Александр Блок и Андрей Белый. Переписка / Ред., вступ. ст. и коммент. В. Н. Орлова. М., 1940. Сокращенно обозначена: «Переписка».

Другие издания, по которым печатаются произведения А. Блока и А. Белого, специально оговариваются в комментарии.

Александр Блок

Стихи о России

В названии раздела использовано заглавие сборника стихотворений А. Блока «Стихи о России». В настоящем издании стихи расположены в основном в хронологическом порядке, без подразделения на книги и циклы, за исключением цикла «Родина» (из третьего тома лирики Блока), который сохранен как художественное целое. Стихи отобраны таким образом, чтобы они дали представление о широте и глубине восприятия Блоком родной страны, деревенской и городской России, о связях патриотических чувств поэта, с одной стороны, с его интимно-личными переживаниями, с другой — с его духовно-нравственными и эстетическими устремлениями к общечеловеческим идеалам, в свете которых он воспринимает русскую природу, культуру, историю, современную действительность и будущее.

С. 32.

«Я стремлюсь к роскошной воле...». Эпиграф взят из стихотворения В. А. Жуковского «Песня» («Счастлив тот, кому забавы...»); воспроизведен не совсем точно.

Гамаюн, птица вещая. Навеяно картиной Виктора Михайловича Васнецова (1848—1926) «Гамаюн», увиденной Блоком вместе с картиной «Сирин и Алконост» в феврале 1899 г. на персональной выставке живописца в петербургской Академии художеств. *Гамаюн,*— по древнерусским поверьям, сказочная птица-вещунья с человеческим лицом. *Трус* — землетрясение.

В «Автобиографии» (1915) Блок вспоминал: «От полного незнания и неумения сообщаться с миром со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю с удовольствием и благодарностью: как-то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь, 1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир Божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься *этим*, когда в университете бог знает что творится!»— и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих похвалах» (VII, 14).

В. Н. Орлов в книге «Гамаюн. Жизнь Александра Блока»

писал о стихотворении «Гамаюн, птица вещая»: «Это как бы заставка ко всему его творчеству: в незрелых юношеских стихах уже звучала та нота безумной тревоги и мятежной страсти, которая составляет самое существо великой поэзии Блока 〈...〉 Прошло несколько лет — и Блок сам стал Гамаюном России, ее вещим поэтом, предсказавшим «неслыханные перемены», что изменили весь облик нашего мира» (*Орлов Вл.* Избр. работы: В 2 т. Л., 1982. Т. 2. С. 6).

Сирин и Алконост. В рукописи подзаголовок: «Картина В. М. Васнецова». См.: *Попова З.* Сирин и Алконост — птицы древних сказаний // *Жегалова С., Жижина С., Попова З., Черняховская Ю.* Пряник, прялка и птица Сирин. 2-е изд., перераб. М., 1983. С. 46—62.

«О, как безумно за окном...». В рукописи посвящено известному драматическому актеру Василию Пантелеймоновичу Далматову (1852—1912), прекрасному исполнителю роли короля Лира в одноименной трагедии Шекспира. Блок высоко отзывался об игре Далматова.

Петр. Посвящается Евгению Павловичу Иванову (1880—1942), ближайшему другу поэта. См.: Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. М.; Л., 1936.

«Дали слепы, дни безгневны...». Написано под впечатлением от живописи Михаила Александровича Врубеля (1856—1910), в частности от его картины «Царевна Лебедь», репродукция которой висела в шахматовской библиотеке Блока. См.: статью Блока «Памяти Врубеля» (V, 421—424); А. Белый о «врубелизме» в: Литературное наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 216—218; *Альфонсов В.* Блок и Врубель // *Альфонсов В.* Слова и краски. М.; Л., 1966. С. 13—62.

«Город в красные пределы...». Образы этого стихотворения перешли в статью Блока «Безвременье» (1906). См. эту статью в наст. изд.

Голос в тучах. Четвертая глава из неоконченной поэмы «Ее прибытие», которая в рукописи озаглавлена: «Из поэмы «Прибытие Прекрасной Дамы» (первые 7 глав)».

«Барка жизни встала...». Впервые опубликовано в газете «Наша жизнь» от 26 ноября 1905 г. Было конфисковано полицией, о чем в рукописи есть помета Блока.

«Шли на приступ. Прямо в грудь...». Впервые опубликовано вместе со стихотворением «Барка жизни встала...» как отклик на петербургские события 9 января 1905 г.

Повесть. Посвящено поэту, критику, беллетристу и литературоведу Георгию Ивановичу Чулкову (1879—1939), с которым Блок познакомился и сблизился весной 1904 г. и поддерживал с ним дружеские отношения до 1908 г. О взаимоотношениях Блока и отчасти Белого с Чулковым см.: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 137—140, 226, 230, 264—265, 267, 269—271, 286, 297—303, 317—328, 347—348.

«Н а перекрестке...». Это и следующие за ним стихотворения «Болотные чертенятки», «На весеннем пути в теремок...», «Полюби эту вечность болот...», «Болото — глубокая впадина...», «Осень поздняя. Небо открытое...» и «Пляски осенние» входят в цикл «Пузыри земли», связанный с интересом Блока к жизни природы и к народным преданиям, который нашел свое выражение и в его исследовании «Поэзия заговоров и заклинаний» (см.: V, 36—65). Об этом цикле см.: *Лесневский С.* Путь, открытый взорам. М., 1980. С. 229—239.

Болотные чертенятки. Посвящено писателю-символисту Алексею Михайловичу Ремизову (1877—1957), который в своих произведениях разрабатывал темы, мотивы и образы сказочного фольклора. Переписку Блока с Ремизовым и воспоминания Ремизова о Блоке см.: Литературное наследство. М., 1981. Т. 92. Кн. 2. С. 63—142.

Осенняя воля. Тема этого стихотворения разработана Блоком в статье «Безвременье» (см. статью в наст. изд.). *Рогачевское шоссе* — вблизи Шахматова. См.: *Лесневский С.* Путь, открытый взорам. С. 259—261. Эпиграфом к «Пеплу» в редакции 1925 г. Белый взял четверостишие из «Осенней воли»:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Скудной глины желтые пласты.

(См.: *Белый А.* Стихотворения и поэмы. С. 590). У Блока: «Желтой глины скудные пласты».

А. Ахматова, рассказывая о возвращении из эвакуации — из Ташкента в Россию, писала в первом из «Трех стихотворений» о Блоке:

Пора забыть верблю́жий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там всё теперь сияет, всё в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока.

«Вот он — Христос — в цепях и розах...». В примечаниях ко 2-й книге «Собрание стихотворений» (1912) Блок отмечал: «Стихотворение навеяно теми чертами русского пейзажа, которые нашли себе лучшее выражение у Нестерова». Михаил Васильевич Нестеров (1862—1942) — известный художник, во многих картинах которого изображение русской природы связывалось с религиозно-христианскими сюжетами, образами и мотивами. Образ Христа «в белом венчике из роз» появится в поэме Блока «Двенадцать». Об отношении Блока к Христу см.: Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. М.; Л., 1936; *Лесневский С.* Путь, открытый взорам. С. 206—207 и др.

Митинг. В примечаниях ко 2-й книге «Собрание стихотворений» Блок отметил влияние на это стихотворение «Баллады Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда (1856—1900) в переводе К. Бальмонта.

«Вися над городом всемирным...». Впервые опубликовано в газете «Наша жизнь» от 26 ноября 1905 г. вместе со стихотворениями «Барка жизни встала...» и «Шли на приступ. Прямо в грудь...». Номер газеты конфискован полицией. Стихотворение написано в день опубликования царского манифеста о введении в России конституции. *...над городом всемирным...*— Петербург. *...и предок царственно-чугунный...*— памятник Петру I («Медный всадник»).

«Еще прекрасно серое небо...». 16 октября 1905 г. Блок писал Е. П. Иванову: «На Зимнем дворце теперь можно наблюдать на крыше печального латника с опущенным мечом. Острый профиль его грустит на сером небе. Петербург упоительнее всех городов мира, я думаю, в эти октябрьские дни».

Сытые. В примечаниях ко 2-й книге «Собрание стихотворений» Блок отмечал, что это стихотворение «внушено октябрьскими забастовками 1905 года в Петербурге».

«Милый брат! Завечерело...». Впервые опубликовано в альманахе «Корабли» (1907) под заглавием «Брату» и с пометкой: «Ст⟨анция⟩ Ланская Финл⟨яндской⟩ ж. д.». В рукописи озаглавлено: «Боре», т. е. Борису Николаевичу Бугаеву — Андрею Белому. В сборнике Блока «Земля в снегу» (1908) озаглавлено: «О несказáнном» и дан эпиграф из стихотворения Вл. Соловьева «У себя»:

В царство времени всё я не верю,
Силу сердца еще берегу,
Роковую не скрою потерю,
Но сказать «навсегда»— не могу.

В эпиграфе отразились сложные отношения Блока с Белым. Об этом стихотворении см. в воспоминаниях Белого о Блоке: Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 52; Эпопея, 1922, № 1. С. 205; № 3, С. 141—142. Строчки из стихотворения Блока: «*Словно мы — в пространстве новом,// Словно — в новых временах*»— варьируют слова из «Драматической симфонии» А. Белого (М., 1902. С. 141): «Это будут новые времена и новые пространства». *Сестра* — Л. Д. Блок.

Незнакомка. В примечаниях ко 2-й книге «Собрание стихотворений» Блок писал: «Развитие темы этого и смежных стихотворений — в лирической драме того же имени». Под «смежными стихотворениями» имелись в виду: «Там дамы щеголяют модами...», «Твое лицо бледней, чем было...», «Там, в ночной, завывающей стуже...» и «Шлейф, забрызганный звездами...». О первом чтении этой лирической баллады см.: *Чуковский К.* Из воспоминаний. М., 1959. С. 371—372.

Ангел-Хранитель. Написано в третью годовщину

свадьбы Блока и обращено к жене — Любови Дмитриевне Блок (1881—1936).

Русь. В сборнике Блока «Земля в снегу» (1908) с эпиграфом из стихотворения Ф. Тютчева «Эти бедные селенья...»:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Во 2-й книге «Собрание стихотворений» сопровождено примечанием автора: «„Мутный взор колдуна“, чарование злаков, ведьмы и черти в снеговых столбах на дороге, девушка, точащая под снегом лезвие ножа на изменившего милого,— все это подлинные образы наших поверий, заговоров и заклинаний,— см. мою статью „О заговорах и заклинаниях“».

«Вот явилась. Заслонила...». Впервые опубликовано в альманахе «Шиповник» (1907. Кн. 2) с посвящением Наталье Николаевне Волоховой (1878—1966), актрисе театра В. Ф. Комиссаржевской, с образом которой связаны циклы «Снежная маска» и «Фаина», а также образ Фаины в драматической поэме «Песня Судьбы». Стихотворение открывает цикл «Фаина».

Последний путь; На страже; И опять снега; На снежном костре. Входят в цикл «Снежная маска», посвященный Н. Н. Волоховой.

«Я ухо приложил к земле...». Входит в цикл «Ямбы», изданный отдельной книжкой в 1919 г.

«Тропами тайными, ночными...». Входит в цикл «Ямбы». Как и стихотворение «Я ухо приложил к земле...», написано в тот день, когда царским манифестом было объявлено о роспуске Государственной думы.

«Так. Буря этих лет прошла...»; «В голодной и больной неволе...». Входят в цикл «Ямбы».

Утро в Москве. В черновике две пометы: «На скамейке в Алекс〈андровском〉 саду. Москва» и «Воробьи проснулись недавно и умываются в песке».

«В огне и холоде тревог...». Завершает цикл «Ямбы». Первоначальный набросок стихотворения — среди черновиков третьей главы поэмы «Возмездие», относящихся к 1911 г.:

Нам суждено в огне тревог —
Сжечь жизнь. Мы не забудем оба,
Что нам судил недаром Рок
С тобою встретиться у гроба.
Я верю: новый день взойдет
И там — в стране больной и сонной:
Недаром бедный свой народ
Коперник славит оскорбленный.
И мы, как он, оскорблены
В своих сердцах, в своих певучих,

И нам священный меч войны
Сверкает в неизбежных тучах.
Пусть день далек — мечты все те ж,
Презренье зреет . . . . гневом,
А зрелость гнева есть мятеж.
Где жизнь и смерть, как праздный фант,
Разыграны в тоске гостиной,—
Там — пусть вонзится, Ангелина,
Возмездья черный бриллиант!

...*В час искупительный — у гроба.*— Т. е. у гроба отца, Александра Львовича Блока (1852—1909). *Ангелина* — Ангелина Александровна Блок (1892—1918), сестра поэта, дочь А. Л. Блока от второго брака (с М. Т. Беляевой).

«Земное сердце стынет вновь...»; «Да. Так диктует вдохновенье...». Входят в цикл «Ямбы» (сначала — в черновики третьей главы поэмы «Возмездие»).

К Музе. В последней строфе отзвук слов Дмитрия Карамазова из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (Кн. 9. Гл. III): «...попирание всякой святыни, насмешка и безверие».

«О, я хочу безумно жить...». Открывает цикл «Ямбы». В рукописи помета: «К поэме». В поэму «Возмездие», однако, не вошло.

«Вновь богатый зол и рад...». Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль» (1915. № 12) без третьей и четвертой строф, опущенных по цензурным условиям, под заглавием «Пляска смерти». Стихотворение входит в цикл «Пляски смерти».

Родина. 1907—1916

С. 107.

«Ты отошла, и я в пустыне...». В рукописи посвящено Л. Д. Блок. В сборнике «Земля в снегу» эпиграфом взяты первые две строчки собственного стихотворения:

Ты в поля отошла без возврата,
Да святится Имя Твое!

Галилея — область на севере Палестины; по Евангелию — родина Иисуса Христа (*Сын Человеческий*). Последнее двустишие — цитата из Евангелия (От Матфея, IX, 20).

«В густой траве пропадешь с головой...». Опубликовано в журнале «Трудовой путь» (1907. № 12) под заглавием «На родине». В сборнике «Земля в снегу» эпиграфом взята латинская поговорка «Parva domus — magda quies» («Малый дом — большой покой»).

«Задебренные лесом кручи...». В октябре 1907 г. Блок создает следующий первоначальный набросок:

Так смуглолица и статна,
Под заревом старинной веры...

За чернобровой, смуглолицей,
С испуганной душой.

Ты родилась вон в той избушке,
Росла на берегу речном
. . . .
Глаза сияли под платком.

Бывало, в красном сарафане
Ты мне мелькала с высоты.
Когда в сыром речном тумане
Сгоняли серые плоты.

Речной обрыв дремал над лесом

. . . . . . и бич пастуший
Свистел в вечерней тишине.

Они рубили сруб сосновый
И пели о своем Христе.
Сожглись...

Здесь не спугнет печальной цапли
Владыка-человек.
И в каждой ржавой капле —
Зачало рек.

. . . . . . вечной тенью
Ресницы мхов опушены
. . . .
Они вкусили тишины.

И эта сонная врагиня
Людских смятений

Они не знают о весне
И шепчут вечные молитвы
Людской врагине — тишине.

Он взял топор и взял пилу,
И ветер . . . . . .

В черновике 1914 г. пятая строфа читается:

И воды ржавые, лесные,
Просачиваясь в реки те,
Разносят по рекам России
Весть о чудовищном Христе.

В рукописи заключительное двустишие читалось первоначально так:

Несут запуганной России
Весть о чудовищном Христе.

Судя по раннему наброску, Блок хотел написать нечто вроде баллады о старообрядцах-самосожженцах; в то время он проявлял большой интерес к сектантам и остаткам народной «старинной веры».

На поле Куликовом. Победа 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле русской рати во главе с Дмитрием Донским над войском золотоордынского хана Мамая сыграла важную роль в освобождении Руси от монголо-татарского ига. В третьей книге «Собрание стихотворений» Блок сопроводил цикл «На поле Куликовом» следующим примечанием: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди». Куликовская битва занимает видное место в размышлениях поэта о судьбах родины, о грядущей революции, о взаимоотношениях интеллигенции и народа. Помимо этого цикла, Блок обращается к теме Куликовской битвы в статье «Народ и интеллигенция» (1908) и драме «Песня Судьбы» (1908). Главный герой драмы Герман в пятой картине говорит: «Считайте меня за сумасшедшего, если хотите. Да, может быть, я — у порога безумия... или прозрения! Всё, что было, всё, что будет, — обступило меня: точно эти дни живу я жизнью всех времен, живу муками моей родины. Помню страшный день Куликовской битвы.— Князь встал с дружиной на холме, земля дрожала от скрипа татарских телег, орлиный клекот грозил невзгодой. Потом поползла зловещая ночь, и Непрядва убралась туманом, как невеста фатой. Князь и воевода стали под холмом и слушали землю: лебеди и гуси мятежно плескались, рыдала вдовица, мать билась о стремя сына. Только над русским станом стояла тишина, и полыхала далекая зарница. Но ветер угнал туман, настало вот такое же осеннее утро, и так же, я помню, пахло гарью. И двинулся с холма сияющий княжеский стяг. Когда первые пали мертвыми чернец и татарин, рати сшиблись, и весь день дрались, резались, грызлись... А свежее войско весь день должно было сидеть в засаде, только смотреть, и плакать, и рваться в битву... И воевода повторял, остерегая: рано еще, не настал наш час.— Господи! Я знаю, как всякий воин в той засадной рати, как просит сердце работы, и как рано еще, рано!.. Но вот оно — утро! Опять — торжественная музыка солнца, как военные трубы, как далекая битва... а я — здесь, как воин в засаде, не смею биться, не знаю, что делать, не должен, не настал мой час!— Вот зачем я не сплю ночей: я жду всем сердцем того, кто придет и скажет: «Пробил твой час! Пора!» (IV, 148—149).

1. «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...». Первоначальный набросок:

Река раскинулась. Течет, грустит лениво.
    И круты берега.
А там, над желтым глинистым обрывом,

Грустят стога.
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Изныла грудь.
Но как стрела — татарской древней воли —
Мой правый путь!
Наш путь в полях, наш путь — тоской безбрежной,
Твоей, о Русь!
И этой мглы — ночной, пустынной, зарубежной —
Я не боюсь.
Пусть так. Придем. Зажжем костер — и пламя
Опять осветит даль.
И в дыме призрачном блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь.
И вечно — бой! И вечно будет сниться
Наш мирный дом.
Но — где же он? Подруга! Чаровница!
Мы не дойдем?
. . . . . . [Степная] кобылица
[Несет нас в даль!]
И — нет конца! Мелькают версты, кручи,
[А встречу нам]
Идут, идут испуганные тучи,
[И все идут,]
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
О, сердце, плачь!
Пределов нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

3. «В ночь, когда Мамай залег с ордою...». Первоначальный набросок первой строфы в черновике:

Мамай залег с ордой проклятой
Пути, равнины и мосты,
Я — князь Христов. Сияют латы...

Некоторые образы этого стихотворения («крики лебедей», «ночные птицы», «тихие зарницы», туман под Непрядвой) Блок заимствовал из летописного «Сказания о Мамаевом побоище».

5. «Опять над полем Куликовым...». В первоначальном наброске, относящемся к 27 октября 1908 г., было:

Вновь над полем Куликовым
Расточилась злая мгла,
Словно облаком суровым
Блеск светил заволокла.
Узнаю тебя, зачало
Золотых и строгих дней!
В стане вражьем, как бывало,
Трубный голос лебедей.

Тяжело, как перед боем...

В черновике, датированном 11 декабря 1908 г.,— третья строфа читалась:

Над вражьим станом, как бывало,
Тревожно лебеди кричат.
Орда недолго отдыхала,
Вновь русской крови ждет булат.

Эпиграф взят из стихотворения В. С. Соловьева «Дракон».

Россия. Впервые опубликовано в журнале «Новое слово» (1910. № 1), где другой текст:

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Пусть оскуделая природа
О близкой гибели твердит,—
Какая пьяная свобода
В чертах погибельных сквозит!

Жалеть и плакать не умею,
Я крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет,—
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.

Ну, что ж? Одной заботой боле,
Одною болью и слезой,—
Зато — как вольно в чистом поле
Под угасающей зарей!

Твои болотистые топи
Обманчивы, как ты сама:
Там угля каменного копи,
Там драгоценных камней тьма!

Сулишь ты горы золотые,
Ты дразнишь дивным мраком недр.
Россия, нищая Россия,
Обетованный край твой щедр!

Вон там, где загляделась хата
С обрыва желтого в ручей,
Там дочь твоя в огне заката
Стоит, накрывшись до бровей.

Она пред встречным опускает
Глаза лукавые свои,

Едва дрожа, плечо качает
На коромысле две бадьи.

Ручей бежит, бурля и пенясь,
Взглянула — взором обожгла,
Мы поравнялись,— подбоченясь,
Как лебедь, плавно прочь пошла...

Но невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

В черновом наброске, датированном 2 октября 1908 г., после третьей строфы окончательного текста идет еще одна:

Пускай скудеющие нивы
Устелят красным кирпичом,
И остов фабрики спесивый
Твоим да будет палачом.

Далее идут наброски седьмой и восьмой строф полного (рукописного и первопечатного) текста и еще одна строфа, переходящая в изложенный прозой план дальнейшего повествования:

Нейдешь ты замуж, не стареешь,
В прекрасном рубище стоишь,
О днях протекших не жалеешь,
Легко в грядущее глядишь.
Зимуешь . . . . . . в хате чадной . . . . .

«А летом рвет загорелыми ногами злаки. О том, как жених ее сосватал, как долго не давалась она жениху. Как сыпала звезды в осенней ночи, как ветром гуляла по хлябям болот. Но как полюбивший ее приколдовал ее, смирил, прижил с ней сына — и таинственный сын *растет*. А «Россия» смиренно ждет, что скажет сын, и всю свою свободу вложила в него. Ждет у колыбели. А сын растет, просыпается».

Мотив «растущего сына» связывает этот замысел с поэмой «Возмездие».

Осенний день. В первоначальном наброске, относящемся к 21 сентября 1908 г. (Шахматово), другое начало (вместо первых двух строф окончательного текста):

В последний раз близь этих мест
Шел мелкий дождь, мой конь устал,
И ворон сел на серый крест
И братьев-воронов сзывал.

«Дым от костра струею сизой...». Впервые опубликовано в альманахе «На рассвете» (1910. Вып. 1) под заглавием «Романс». Эпиграф взят из цыганского романса,

который в ноябре 1920 г. Блок переписал в дневник (см.: VII, 375).

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» Впервые опубликовано в сборнике Блока «Ночные часы» (1911) под заглавием «Родине». *Чудь* и *Меря* — древние племена, жившие в районе рек Онега и Северная Двина и в районе верхнего Поволжья. *...до Царьградских святынь не дошла...*— христианские памятники древнего Царьграда (Константинополя, впоследствии — Стамбула).

На железной дороге. В 3-й книге «Собрание стихотворений» (1912) сопровождено примечанием Блока: «Бессознательное подражание эпизоду из «Воскресения» Толстого: Катюша Маслова на маленькой станции видит в окне Нехлюдова на бархатном кресле ярко освещенного купэ первого класса». Стихотворение посвящено Марии Павловне Ивановой (1874?—1941), сестре Е. П. Иванова — ближайшего друга Блока. *...Молчали желтые и синие; // В зеленых плакали и пели* — в дореволюционное время вагоны I класса были окрашены в синий цвет, II класса — в желтый, III класса — в зеленый. В декабре 1915 — феврале 1916 г. в Петербурге, а затем и по всей стране демонстрировался кинофильм «Не подходите к ней с вопросами (...Вам все равно, а ей довольно)», в постановке Я. А. Протазанова и с участием известного в ту пору актера И. И. Мозжухина. Фильм этот был создан по темам и мотивам различных стихотворений Блока. Поэт никакого отношения к постановке фильма не имел и протестовал против беспардонного обращения с его произведениями — письмами в редакции «Биржевых ведомостей» (1915. 11 дек. № 152. веч. вып.) и «Театральной газеты» (1915. 20 дек. № 51).

Посещение. Связано с воспоминаниями о первой любви Блока — Ксении Михайловне Садовской (1860—1925). Первый «голос» в стихотворении — ее голос, второй — самого Блока. См.: Письма А. А. Блока К. М. Садовской / Публ. Л. В. Жаравиной // Блоковский сборник. 2. Тарту, 1972. С. 309—324.

«Там неба осветленный край...». Впервые опубликовано в XXXVIII томе сборника «Знания» (1912) под заглавием «Осень». В сборнике стихов Блока для детей «Круглый год» (1913) озаглавлено: «Осенняя радость».

«Приближается звук. И, покорна щемящему звуку...». Обращено к Л. Д. Блок. Ср. заключительную строфу с юношеским стихотворением Блока «Когда-то долгие печали...».

Новая Америка. Впервые опубликовано в газете «Русское слово» от 25 декабря 1913 г. под заглавием «Россия». В черновике имеются многочисленные наброски заключительной строфы:

Соль белеет, руда распевает
И над . . . . медной руды

Над . . . . степью витает
Небывалых Америк сады!

Там Америка новая снится,
Соль белеет, да медь золотится.

Здесь поют твои недра, Россия,
Здесь сокровища блещут твои.

Но над белым, над черным, над красным —
Небывалых Америк сады.

Соль белеет и уголь крошится
И железная стонет руда,
И Америка новая снится,
Новый род и его города.

А над степью медлительно всходит
Небывалых Америк звезда.
Там за белым, за красным, за черным —
Есть великое счастье труда.

Воскресение мертвых . . . .

Непонятный нам день Рождества.

Когда «Новая Америка» была сочувственно отмечена и прокомментирована в передовой статье журнала «Горнозаводское дело» (1914. № 1. С. 8329) в качестве произведения, выражающего «светлую животворящую идею огромного значения промышленности», Блок, по свидетельству Вл. Пяста (см. его «Воспоминания о Блоке»— Пб., 1923. С. 50), «глубоко обрадовался, воочию увидев тут силу воздействия слова, поэзии — на действительность»; 5 ноября 1915 г. Блок отметил в записной книжке: «Будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс и подземных богатств». С мыслью о «фабричном возрождении России» связан замысел драмы «Нелепый человек» (см.: *Орлов Вл.* Неосуществленный замысел Александра Блока — драма «Нелепый человек» // Ученые записки / ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1948. Т. 67. С. 234—241).

«Грешить бесстыдно, непробудно...». Впервые опубликовано в газете «Русское слово» от 21 сентября 1914 г.

«Петроградское небо мутилось дождем...». Впервые опубликовано в газете «Русское слово» от 21 сентября 1914 г. под заглавием «На войну». В рукописи первоначальное заглавие: «Война». В черновике текст второй строфы был таким:

В этом поезде тысячью жизней жила:
Юность, радость, вражда и любовь.
И еще — ничего... На закате была
Полоса заревая, как кровь.

Там же после заключительной строфы окончательного текста даны наброски продолжения:

И теперь нашей силе не видно конца,
Как предела нет нашим краям.
И твердят о победе стальные сердца,
Приученные к долгим скорбям.

Но за ними — равнины, леса и моря,
И Москва, и Урал, и Сибирь,
Не оттуда грозу нам пророчит заря,
Заглядевшись на русскую ширь...

Разве тяжким германская тяжесть страшна?
Тем, чья жизнь тяжела и страшна,
Восходящего солнца страшней тишина —
Легкий хмель золотого вина.

Разве это последняя в мире война?
Разве . . . .
Разве эта германская тяжесть страшна
Тем, кто скорби тяжеле знавал?

В третьей из приведенных строф — мысль о «восточной опасности», позднее по-особому отразившаяся в «Скифах». *Восходящее солнце* — образ Японии, «страны восходящего солнца».

«Я не предал белое знамя...». Первая строфа написана еще в декабре 1902 г. в следующей редакции:

Я пронес мое белое знамя,
Оглушенный криком врагов.
Ты прошла другими путями —
И мы одни у валов.

Звезда Вифлеема — по евангельской легенде, звезда, возвестившая о рождении Иисуса Христа и указавшая путь в Вифлеем — место рождения Мессии.

«Рожденные в года глухие...». Впервые опубликовано в журнале «Аполлон» (1914. № 10). В черновике, датированном 4 декабря 1913 г., следующий текст:

Родившийся в глухие годы
Не помнит детства своего.
Но мы — мы дети дней свободы.
Мы не забыли ничего.

Быть может, старость слишком рано
Стучится в наши двери. Пусть.
Нас старят виденные раны,
Надежд несовершенных грусть.

Мы все — невольно или вольно —
Свидетели великих лет,
Мы знали голос колокольный,
Вы, вновь родившиеся,— нет.

В том же черновике отдельный набросок:

У нас, у каждого — глубоко
В душе есть странное.

В рукописи — промежуточная редакция, в которой после первой строфы окончательного текста еще одна:

Мы все — невольно или вольно —
Свидетели мятежных лет,
Слыхали голос колольный
И видели багровый свет.

А вместо четвертой строфы окончательного текста две следующие:

И старость, старость — слишком рано
Стучится в наши двери.— Пусть!
Нас старят виденные раны,
О невозможном счастьи грусть...

Но все так страшно, боже, боже,
Так невозможно забытье,
Что мнится — и над смертным ложем
Взовьется с криком воронье!

Стихотворение посвящено З. Н. Гиппиус; о ее отношениях с Блоком см. в коммент. к поэме «Двенадцать».

«Дикий ветер...». Впервые опубликовано в газете «Русское слово» от 10 апреля 1916 г. под заглавием «Ветер». В черновике другое начало:

Ночь — и горница пуста.
В час заутрени пасхальной
Гость залетный, гость печальный
Разве стукнет в ворота?

Только ветер
Стекла гнет,
Ставни с петель
Дико рвет.

И другой текст пятой строфы:

Как не кинуть все на свете,
Не заплакать обо всем
В полуночный буйный ветер,
Сотрясающий мой дом?

Коршун. Впервые опубликовано в газете «Русское слово» от 10 апреля 1916 г. Выделено из черновиков первой главы поэмы «Возмездие».

Возмездие

Поэма создавалась с большими перерывами в период с 1910 по 1921 г. Об истории написания поэмы и ее черновиках

см.: III, 602—614. Эпиграфом взяты слова Сольнеса — героя драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес».

С. 128. П р е д и с л о в и е было написано для публичного чтения третьей главы поэмы в петроградском Доме искусств 12 июля 1919 г. *Стриндберг* Август (1849—1912) — шведский писатель, творчество которого высоко ценил Блок. *Милюков* П. Н. (1869—1943) — лидер кадетской партии. В статье *«Близость большой войны»* (автор — А. П. Мертваго), опубликованной в газете «Утро России» от 25 октября 1911 г., доказывалась неизбежность войны между Россией и Германией. *...убийство Андрея Ющинского* — мальчик, убитый киевскими черносотенцами в провокационных целях инсценировки «ритуального убийства», якобы совершенного евреями. В связи с этим убийством возникло «дело Бейлиса». *...эпизод «Пантера — Агадир»* — в июле 1911 г. в гавань Агадир (Марокко) вошел германский военный корабль «Пантера», что вызвало резкое обострение франко-германских и англо-германских отношений; одно время общеевропейская война казалась неизбежной. *Столыпин* П. А. (1862—1911) — председатель Комитета министров в годы реакции. *...в моих Rougon-Macquar' ах* — двадцатитомная серия романов Эмиля Золя, излагающая историю одной семьи. *Марина* — Марина Мнишек, жена первого и второго Лжедмитриев. *Костюшка* Тадеуш (1746—1817) — вождь польского национально-освободительного движения. *Мицкевич* Адам (1798—1855) — польский поэт. *...апухтинские годы...* — по имени Апухтина А. Н. (1840—1893) — известного лирического поэта, оказавшего определенное влияние на Блока.

С. 131. П р о л о г. *Зигфрид* — герой дневнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах». *Нотунг* — волшебный меч Зигфрида. Когда Зигфрид заново сковал расколотый в бою Нотунг, злой карлик *Миме*, желавший завладеть мечом, пытался убить Зигфрида, но сам пал от его руки. Весь этот эпизод в прологе поэмы связан с музыкально-драматическим циклом Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов», который с юных лет производил на Блока глубокое впечатление. В 1910 г. поэт часто посещал вагнеровские спектакли, а в ноябре того же года с увлечением читал по-немецки «Песнь о Нибелунгах». *Над всей Европою дракон...* — Вероятно, отзвук стихотворения Вл. Соловьева «Дракон»:

Из-за кругов небес незримых
Дракон явил свое чело —
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.

Вот — голову его на блюде... — имеется в виду библейская легенда о царевне Саломее, потребовавшей у галилейского царя Ирода-Антипы, в награду за пляску, голову Иоанна Кре-

стителя. *Денница* — упоминаемый в Библии («Книга Исаии», XIV, 12) падший ангел, свергнутый с неба за гордыню и злость. По древнееврейской легенде, известной Блоку (см. дневниковую запись от 5 января 1921 г.), Ева родила от Денницы Каина. *...угль превращается в алмаз.*— В конце XIX — начале XX в. вопрос об искусственном образовании алмаза из угля и графита широко обсуждался в научных кругах. Блок мог знать об этом из книги Д. И. Менделеева «Основы химии», в которой описаны опыты ряда ученых, пытавшихся практически решить эту проблему. Книга Менделеева была в библиотеке поэта.

С. 133. Первая глава. *Рекамье Юлия-Аделаида* (1777—1849) — знаменитая красавица, в салоне которой собирались выдающиеся люди ее времени. *Роланд* — доблестный рыцарь, герой французского средневекового эпоса «Песнь о Роланде». *Люцифер* — одно из библейских прозвищ дьявола. *...Кометы грозной и хвостатой...*— в 1910 г. много писали и говорили о появлении кометы Галлея, якобы угрожавшей существованию Земли. *Мессина* — южноитальянский город, разрушенный в 1908 г. сильным землетрясением (см. статьи Блока «Стихия и культура» и «Горький о Мессине»). *Три Плевны, Шипка и Дубняк...*— места в Болгарии, где в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. происходили ожесточенные сражения. *Ложементы* — окопы. *Корпия* — перевязочный материал, употреблявшийся в старину вместо ваты. *Белый Генерал* — прозвище генерала Скобелева М. Д. (1843—1882), героя русско-турецкой войны 1877—1878 гг. *...Наполеоновской бородкой* — борода особого фасона, которую носил французский император Наполеон III. *...Живет дворянская семья.*— Имеется в виду родственная Блоку семья Бекетовых. *Глава семьи...*— Андрей Николаевич Бекетов (1825—1902), дед Блока, ученый-ботаник, профессор и одно время (1876—1883) ректор Петербургского университета. *Щедрин* — М. Е. Салтыков-Щедрин, друживший с А. Н. Бекетовым. *В семье нечопорно растут // Три дочки...*— в действительности в семье Бекетовых было не три, а четыре дочери. Старшая из них — Екатерина Андреевна (писательница) в поэме не упомянута, а мать Блока — Александра Андреевна — названа «меньшой». В рассказе о замужестве «старшей» сестры — Софьи Андреевны — Блок отступил от истины: она вышла замуж за вполне респектабельного чиновника (А. Ф. Кублицкого-Пиоттух, брата отчима Блока), сделавшего впоследствии успешную карьеру. Подробные сведения о сестрах Бекетовых приведены в книгах М. А. Бекетовой «Александр Блок» (2-е изд.— Л., 1930) и «Ал. Блок и его мать» (Л., 1925). *Кипсэк* — книга, иллюстрированная гравюрами (по типу английских изданий). *Анна Вревская* — под этим именем выведена Анна Павловна Философова (1837—1912) — либеральная общественная деятельница. *...Для «Дневника».*—«Дневник писателя» Ф. М. Достоевского. *Победо-*

носцев К. П. (1827—1907) — обер-прокурор Синода. *Полонский* Яков Петрович (1819—1898) — известный поэт, которого ценил Блок. *В салоне Вревской был как свой // Один ученый молодой.*— Отсюда начинается рассказ поэта о своем отце. О А. Л. Блоке и его отношениях с сыном см.: *Блок Г.* Герои «Возмездия» // Русский современник. 1924. № 3; *Измаильская В.* Проблема «Возмездия» // О Блоке. М., 1929. Лоренц *Штейн* (1815—1890) — немецкий юрист-государствовед; критическому исследованию его теории посвящена книга А. Л. Блока «Государственная власть в европейском обществе» (1880).

С. 155. Вторая глава. Говоря о *красавице* (России) и *колдуне* (Победоносцеве), Блок имел, возможно, в виду статью А. Белого «Луг зеленый» (1905), в которой было сказано: «Пелена черной смерти... занавешивает Россию, эту Красавицу, спавшую доселе глубоким сном... Россия уподоблялась символическому образу спящей пани Катерины (в повести Гоголя «Страшная месть».— *М. П.*), душу которой украл страшный колдун... В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины-красавицы» (*Белый А.* Луг зеленый. М., 1910. С. 6). Блок по поводу этой статьи писал Белому: «Более близкого, чем у тебя о пани Катерине, мне нет ничего» (Переписка. С. 141). *И царь — огромный, водянистый...*— Александр III. «Князь» — кличка татарина-старьевщика в дореволюционное время. *Державный Основатель* — Петр I.

С. 157. Третья глава. *Коперник сам лелеет месть, // Склоняясь над пустою сферой...*— имеется в виду памятник Копернику, установленный в Варшаве в 1830 г. по модели датского скульптора Торвальдсена. *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой». *Роберт Шуман* (1810—1856) — немецкий композитор романтического направления. *Демон,// Над коим Врубель изнемог...*— имеется в виду образ Демона, созданный художником М. А. Врубелем. *«Новый свет», «Краковское предместье»*— центральные улицы в Варшаве. *...ограда // Саксонского, должно быть, сада...*— парк в центре Варшавы.

Двенадцать

С. 168.

Поэма впервые опубликована в газете «Знамя труда», от 18 февраля (3 марта по нов. ст.) 1918 г., затем, вместе со стихотворением «Скифы»,— в журнале «Наш путь» (1918. № 1. Апр.). Отдельное издание: *Блок А.* Двенадцать. Скифы / Предисл. ⟨Р. В.⟩ Иванова-Разумника. Спб., «Револю-

ционный социализм», 1918. Предисловие Р. В. Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре («Двенадцать» и «Скифы» А. Блока)» см. в наст. изд.— С. 556. В конце ноября 1918 г. появилась кн.: *Блок А.* Двенадцать / Рис. Ю. Анненкова. Пб., «Алконост», 1918. Это издание факсимильно повторено с приложением: «Двенадцать» А. Блока в издании «Алконоста». Черновик поэмы / Ст. и подгот. изд. Л. К. Долгополова. М., 1980.

Замысел, воплотившийся в «Двенадцати», сначала возник у Блока в виде плана пьесы о Христе и его учениках, который 7 января 1918 г. был зафиксирован им в записной книжке (см.: IX, 316—317). 18 февраля 1918 г. по нов. ст., когда поэма «Двенадцать» была уже закончена, поэт отметил в записной книжке: «Люба вечером на общем собрании рабочих в «Луна-Парке»,— довольна, хорошо приняли.— Что Христос идет перед ними — несомненно. Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого — ? — Я как-то измучен. Или рожаю, или устал» (IX, 388—389). 20 февраля, уже в дневнике, Блок записал: «Религия — грязь (попы и пр.). Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы «не достойны» Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой» (VII, 326). 9 марта поэт отметил в записной книжке: «О. Д. Каменева (комиссар Театрального отдела) сказала Любе: «Стихи Александра Александровича («Двенадцать») — очень талантливое, почти гениальное изображение действительности. Анатолий Васильевич (Луначарский) будет о них писать, но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся».

Марксисты умные,— может быть, и правы. Но где же опять художник и его бесприютное дело?» (IX, 394). 10 марта Блок записал в дневнике: «Марксисты — самые умные критики, и большевики правы, опасаясь «Двенадцати». Но... «трагедия» художника остается трагедией. Кроме того:

Если бы в России существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы «учло» то обстоятельство, что «Христос с красногвардейцами». Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелье и думавших о нем. У нас, вместо того, они «отлучаются от церкви», и эта буря в стакане воды мутит и без того мутное (чудовищно мутное) сознание крупной и мелкой буржуазии и интеллигенции.

«Красная гвардия» — «вода» на мельницу христианской церкви (как и сектантство и прочее, усердно гонимое). [Как богатое еврейство было водой на мельницу самодержавия, чего ни один «монарх» вовремя не расчухал.]

В этом — ужас (если бы это поняли). В этом — слабость

и красной гвардии: дети в железном веке; сиротливая деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки.

Разве я «восхвалял»? (Каменева.) Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак» (VII, 329—330).

12 августа 1918 г. Блок, ознакомившись с рисунками Юрия Павловича Анненкова к поэме «Двенадцать», писал художнику: «Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более чем приемлемо,— т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично всего бесспорнее — убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно — небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений,— говорили с Вами сейчас,— мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже отдельные части, тем решительнее должен я спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папиросой); 2) с Христом.

1) «Катька» — великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что и наиболее «не ваш». Это — не Катька вовсе: Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит *изящество* всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже — на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он — старый). «Эспри» погрубее и понелепей (может быть, без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатириконства» (Вам совершенно чуждый).

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и *уходит*. «Христос с флагом» — это ведь — «и так и не так». Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и главное — за ночной темнотой), то *под ним* мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею,

как, может быть, хуже всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом,— это была бы *исчерпывающая обложка.* Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош *кухонный нож* в руке; но рот опять старый. А на целое я опять — смотрел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос... Дюрера! (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, *постороннее* воспоминание).

Наконец, последнее: мне было бы страшно жалко уменьшать рисунки. Нельзя ли, по-Вашему, напротив, увеличить некоторые и издать всю книгу в размерах «убийства Катьки», которое, по-моему, настолько grande style, что может быть увеличено еще хоть до размеров плаката и все-таки не потеряет от того. Об увеличении и уменьшении уже Вам судить» (VIII, 513—515).

1 апреля 1920 г. Блок написал «Записку о „Двенадцати“». Фрагмент «Из «Записки о „Двенадцати“» см.: III, 474—475. Полный ее текст см. в составе ⟨«Вступительного слова и речи на LXXXIII открытом заседании Вольной Философской Ассоциации 28 августа 1921 года, посвященном памяти Александра Блока»⟩ А. Белого (наст. изд.— С. 489).

Поэма «Двенадцать» вызвала в литературе широкий резонанс. По подсчетам Л. М. Фарбера, «уже в 1918 г. появилось около 30 печатных откликов. К концу 1920 г. количество статей о поэме Блока перевалило за 50» [см.: *Фарбер Л. М.* Советская литература первых лет революции (1917—1928 гг.). М., 1966. С. 106]. Наиболее интересные развернутые отклики на поэму Блока см. в разд. «Приложение». Несколько кратких откликов приводится ниже.

З. Гиппиус откликнулась на поэму «Двенадцать» стихотворением «Бывшему рыцарю Прекрасной Дамы»:

Впереди двенадцати не шел Христос!
Так мне сказали сами хамы.
Но зато в Кронштадте пьяный матрос
Танцевал польку с Прекрасной Дамой.
Говорят — он умер. А если и нет?
Вам не жаль Дамы, бедный поэт?

На листке с этими стихами Блок сделал запись: «Д. С. Мережковский передал мне 7 мая 1919 года» [ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 26 (ч. II), л. 93]. Цит. по: *Фарбер Л. М.* Переписка из двух миров // Нева. 1971. № 8. С. 184.

М. А. Бекетова, тетя поэта, в книге «Александр Блок. Биографический очерк» (Пб., «Алконост», 1922) писала: «Одни принимали «Двенадцать» за большевистское credo, другие видели в них сатиру на большевизм...» (С. 257). «Его любимцами были два талантливых куплетиста — Савояров и Ариадна Горькая. Ал. Ал. совершенно серьезно считал их самыми

талантливыми артистами в Петербурге, он нарочно повел на Английский пр. Люб. Дм., чтобы показать ей, как надо читать «Двенадцать». И слушая Савоярова, Люб. Дм. сразу поняла, в каком направлении ей надо работать, чтобы хорошо прочесть поэму» (С. 261).

Инн. Оксенов в рецензии на книгу «Александр Блок. Двенадцать. Рисунки Ю. Анненкова. Пб., «Алконост», 1918», опубликованной в журнале «Книга и революция» (1920. № 5. С. 53—54), писал: «Только теперь, на третьем году после создания «Двенадцати», можно судить и разбирать эту поэму более или менее беспристрастно». Отметив, что мистическая сторона поэмы и образ Христа остаются для него неясными, критик продолжал: «В поэме сильна романтическая интрига, и в ней, можно сказать, центр тяжести поэмы. Все-таки Блок прежде всего лирик, и не будь для него возможности осветить эту вечную тему вспышками молний революции, вряд ли вся поэма была бы так сильна. Но любовная трагедия одного из двенадцати именно только освещена революционной грозой, но не связана с нею непосредственно и даже противодействует выполнению ее героем своей общественной роли. 〈...〉

В конце концов, Блок в «Двенадцати» остается верен своему прежнему методу, восходящему к Достоевскому и примененному поэтом в «Незнакомке»: в самой грязной действительности являются самые светлые видения. Но идеал (Незнакомка, Христос) всегда является только вожатым... 〈...〉

Об общественном значении «Двенадцати» ясно и убедительно написано Ивановым-Разумником».

И. Эренбург в статье «А. А. Блок», вошедшей в его книгу «Портреты современных поэтов» (М., «Первина», 1923), писал: «Величайшим явлением в российской словесности пребудет поэма Блока «Двенадцать». Не потому, что она преображает революцию, и не потому, что она лучше других его стихов. Нет, останется жест самоубийцы, благословляющий страшных безлюбых людей, жест отчаяния и жажды веры во что бы то ни стало. Легче было одним проклясть, другим благословить. Но как прекрасен этот мудрый римлянин, спустившийся в убогие катакомбы для того, чтобы гимнами Митры или Диониса прославить сурового, чужого, почти презренного Бога. Нет, это не гимн победителям, как наивно решили «скифы», не «кредо» славянофила, согласно Булгакову, не обличенья революции (переставить всё наоборот,— узнаете Волошина). Это не доводы, не идеи, не молитвы, но исполненный предельной нежности вопль последнего поэта, в осеннюю ночь бросившегося под тяжелые копыты разведчиков иного века, быть может, иной планеты.

Хорошо, что Блок пишет плохие статьи и не умеет вести интеллигентских бесед. Великому поэту надлежит быть косноязычным. 〈...〉 Блок не умеет писать рецензий, ибо его рука

привыкла рассекать огнемечущий камень скрижалей» (С. 28). «Пушкин был первой любовью России, после него она много любила, но Блока она познала в страшные роковые дни, в великой огневице, когда любить не могла, познала и полюбила» (С. 29).

С. 178.

Скифы. Впервые опубликовано в газете «Знамя труда» 20 (7) февраля 1918 г.; вторично — см. коммент. к с. 168.

Еще 11 января 1918 г. Блок записал в дневнике: «Результат» брестских переговоров (т. е. никакого результата, по словам «Новой жизни», которая на большевиков негодует). Никакого — хорошо-с.

Но позор $3^{1}/_{2}$ лет («война», «патриотизм») надо смыть.

Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним.

Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит вы уже *не арийцы больше.* И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим *косящим*, лукавым, быстрым взглядом; *мы скинемся азиатами*, и на вас прольется Восток.

Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся,— уже не ариец.

Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным *человека.*

А эволюции, прогрессы, учредилки — старая штука. Яд ваш мы поняли лучше вас. (Ренан.)

Жизнь — безграмотна. Жизнь — правда (Правда). Оболганная, ⟨...⟩ обо... но она — Правда — и *колет глаза*, как газета «Правда» на всех углах.

Жизнь не замажешь. То, что замазывает Европа,— замазывает тонко, нежно (Ренан; дух науки; дух образованности; esprit gaulois *; английская комедия), мы (русские профессора, беллетристы, общественные деятели) умеем только размазать серо и грязно, расквасить. Руками своей интеллигенции (пока она столь не музыкальна, она — пушечное мясо, благодарное орудие варварства). Мы выполним свою историческую миссию (интеллигенция — при этом — чернорабочие, выполняющие черную работу): вскрыть Правду. Последние арийцы — мы» (VII, 317—318).

20 (7) февраля 1918 г. Блок записал в дневнике: «Стало известно, что Совет народных комиссаров согласился подпи-

---

* Галльское остроумие *(фр.)*.

сать мир с Германией. Кадеты шевелятся и поднимают головы. 〈...〉

Только — полет и порыв; лети и рвись, иначе — на всех путях гибель.

Может быть, весь мир (европейский) озлится, испугается и еще прочнее осядет в своей лжи. *Это не будет надолго.* Трудно бороться против «русской заразы», потому что — *Россия заразила уже здоровьем человечество.* Все догматы расшатаны, им не вековать. Движение заразительно» (VII, 325—326).

26 марта 1919 года, после обсуждения в издательстве «Всемирная литература» доклада Блока о Гейне и судьбах гуманизма, поэт записывает в дневнике: «Гумилев говорит, что имеет много сказать, и после закрытия заседания развивает мне свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли. Совдепы — гунны» (VII, 356—357).

20 апреля 1921 г. Блок, внимательно знакомясь с содержанием январско-февральского номера журнала «Русская мысль» за 1921 г., записывает в дневнике: «Статья «Идея родины в советской поэзии» Петроника. Разбираются издания «Скифов» в Берлине. Все эти стихи, начиная со «Скифов», «порождены идеей Отечества», тогда как «советская власть самое слово «патриотизм» сделала ругательным». О Белом, Клюеве и Есенине. «Историко-литературное наблюдение: обе поэмы А. Блока, возникшие как отражение революции, «Скифы» и «Двенадцать», являются в отношении к поэзии Блока, взятой как совокупность, некоторой кульминацией пушкинского начала в его творчестве, подлинным подобием «Клеветникам России» и «Медному всаднику» — несмотря на различия между обеими группами произведений, вытекшие из различия эпох... Поэтический же язык (в широком смысле этого слова), которым говорят коллеги А. Блока по «советской поэзии» *, не есть отличительно «пушкинский, но некоторый иной — символический — язык».

У меня — «политические рассуждения в стихах».

«Перечтя эти и подобные им стихи, невольно приходишь к заключению, в котором, как кажется, мерцает сияние некой, еще не раскрывшейся, но уже близкой Исторической Истины: никогда, быть может, за все существование российской поэзии, от «Слова о полку Игореве» и до наших дней,— идея Родины, идея России не вплеталась так тесно в кружево и узоры созвучий и образов религиозно-лирических и символических вдохновений, как в этих стихах «советских поэтов», стихах служителей того режима, который, казалось, отменил самое понятие Родины и воздвиг гонение на всех, кто в полити-

---

* Разумеются, очевидно, Белый и особенно Клюев и Есенин.

ческой области исповедовал «любовь к Отечеству» и «народную гордость».

Далее — о «Скифах»: «Не содержится ли в словах «Мильоны вас» и т. д. исповедование российского могущества, мысль о милитарной силе Родины (как и в «Клеветниках России»)... Интересно, что аналогия между «Клеветниками России» и «Скифами» замечается даже в деталях (Пушкин — «Иль мало нас?» Блок — «Нас тьмы, и тьмы, и тьмы»)... Охотно допускаем, что А. Блок не сознавал, что делал, когда писал эти строки: ведь все же он поэт «советский». Тем замечательнее было бы несоответствие замысла и непосредственной правды поэтических слов... Только один упрек можно сделать «Скифам» с точки зрения русского патриотического сознания: ..поэт переоценивает силу России... Действительно ли мы настолько сильны, чтобы мог «хрустнуть» скелет Европы «в тяжелых, нежных наших лапах»?.. Об этом можно спорить, здесь недопустимы сомнения» (VII, 416—418).

С. Ратомский в статье «Кризис культуры. По поводу одной книги. (Письмо из Берлина)», опубликованной в журнале «Печать и революция» (1921. № 1. Май — июль), коротко сказав о книге князя Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» (София, Русско-болгарское изд-во. 1921), продолжал: «Не менее симптоматичным является тот интерес, который вызывают на Западе «Скифы» (здесь имеется в виду литературная группа.— *М. П.*), особенно Блок. Достаточно сказать, что по имеющимся у нас, без сомнения, неполным сведениям имеются три итальянских перевода «Двенадцати» и «Скифов», два французских, два немецких и один английский, не считая переводов на латышский, литовский и древнееврейский языки.

А в большой статье «The new tendencies of the Russian Thought», отмеченной и в немецкой прессе и помещенной в литературном приложении к «Times» от 20-го января с. г., автор уверяет, что главной чертой современной русской литературы является «скифство». Автор статьи приводит полностью довольно, впрочем, плохой перевод «Скифов» Блока и указывает на то, что это стихотворение открывает новую эпоху в русской литературе. «Скифство» есть своего рода синтез славянофильства и западничества. По мнению «скифов», Россия — отдельная часть света, мост между Европой и Азией. И только Россия может спасти Европу, только она может примирить Восток и Запад.

Кроме «скифства» автор статьи видит еще два момента в современной русской литературе: преклонение перед пролетариатом и религиозно-мистическая идея распятой России — спасительницы мира.

В подтверждение приводится ряд отрывков из «Двенадцати» и «Христос воскрес».

Что касается политических тенденций Блока, Белого и др.,

то автор их считает большевистски настроенными. Мнение некоторых органов эмигрантской печати, считающих «Двенадцать» антибольшевистским произведением, написанным из цензурных соображений эзоповским языком,— автор решительно отвергает как совершенно нелепое — «quite absurd». Несмотря на это, отношение его к «Скифам» скорее положительное. Он признает Блока и Белого крупными поэтами, а «скифство» — новой эпохой в русской литературе, причем уклончиво добавляет: «положительной или отрицательной — этого я не касаюсь» (С. 175).

Изложив содержание английской статьи, С. Ратомский далее пишет, что в сравнении с Н. С. Трубецким и Шпенглером, говорящим о гибели европейской культуры, «скифы», несмотря на свое «страшное» имя, представляют весьма умеренное течение. Ибо разве не чувствуется в «Скифах» Блока Достоевский с его страстной любовью-ненавистью к Европе? И разве у Белого не умирает на кресте распятая Россия, чтобы своей кровью спасти Европу?

«Скифы» протягивают руки европейцам. [Далее приводятся два четверостишия из «Скифов» Блока, начиная со слов «Придите к нам!» и т. д.— *М. П.*] И на Западе самые прозорливые умы чувствуют, что старая мудрая Европа гибнет от дряхлости. Они взирают с надеждой и страхом на Восток, откуда должно прийти новое слово. Новое дуновение, которое вдохнет жизнь в умирающий организм. Недаром же Освальд Шпенглер, убежденный консерватор, автор «Preussentum und Sozialismus», видит в России носительницу будущего» (С. 176).

З. Гиппиус. Впервые опубликовано в: Собр. соч. Александра Блока. Берлин, 1923. Т. 4. Написано после получения от З. Гиппиус ее книги «Последние стихи» (Пб., 1918). *...Петь, плескаться у ирландских скал...*— в стихотворении «Почему» (сент. 1917 г.) из сборника «Последние стихи» З. Гиппиус писала:

О Ирландия, океанная,
Мной невиденная страна!
Почему ее зыбь туманная
В ясность здешнего вплетена?

Я не думаю о ней, не думаю,
Я не знаю ее, не знал...
Почему так режут тоску мою
Лезвия ее острых скал?

Как я помню зори надпенные?
В черной алости чаек стон?
Или памятью мира пленною
Прохожу я сквозь ткань времен?

О Ирландия неизвестная!
О Россия, моя страна!
Не единая ль мука крестная
Всей Господней земле дана? (С. 43—44)

Вначале Блок хотел ответить З. Гиппиус письмом [от 31(18) мая 1918 г.], которое осталось неотправленным. Вот оно: «Я отвечаю Вам в прозе, потому что хочу сказать Вам больше, чем Вы — мне; больше, чем лирическое.

Я обращаюсь к Вашей человечности, к Вашему уму, к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем не хочу язвить и обижать Вас, как Вы — меня; я не обращаюсь поэтому к той «мертвой невинности» (обращаясь к Блоку, З. Гиппиус писала: «Я не прощу. Душа твоя невинна. // Я не прощу ей — никогда».— *М. П.*), которой в Вас не меньше, чем во мне.

«Роковая пустота» (из стихотворения Блока «Рожденные в года глухие...», посвященного З. Гиппиус.— *М. П.*) есть и во мне и в Вас. Это — или нечто очень большое, и тогда — нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше, частное, «декадентское»,— тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.

Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное: нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, *как и Ваша*), но только рядом с второстепенным проснулось главное.

[Не знаю (или — знаю), почему оно не проснулось в Вас.]

В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить.

Великий октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает; только это будут уже не те узлы, а другие.

Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было *очень мало* — могло быть во много раз больше.

Неужели Вы не знаете, что «России не будет» так же, как не стало Рима — не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Также — не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?» (VII, 335—336).

Пушкинскому Дому. Впервые опубликовано в журнале «Дом искусств» (1921. № 2). *...С белой площади*

Сената // Тихо кланяюсь ему.— В те годы Пушкинский Дом находился в главном здании Академии наук (Университетская набережная, 5), почти напротив Сенатской площади (ныне — площадь Декабристов). Стихотворение внутренне связано с речью Блока «О назначении поэта» (см.: VI, 160—168).

Андрей Белый

Из книги стихов «Золото в лазури» (М., 1904)

С. 197.

Вечный зов. Цикл посвящен Дмитрию Сергеевичу Мережковскому (1865—1941), поэту, прозаику, критику и публицисту, одному из зачинателей русского символизма. См. о нем: *Белый А.* Мережковский // *Белый А.* Арабески: Кн. ст. М., «Мусагет», 1911. С. 409—436.

Сельская картина. Посвящено Михаилу Александровичу Эртелю (умер в начале 1920-х годов), историку и теософу, одному из членов литературной группы «аргонавтов». См. о нем: *Белый А.* Начало века. М.; Л., 1933. С. 65—75. Об «аргонавтах» см.: *Лавров А. В.* Мифотворчество «аргонавтов» // Миф — фольклор — литература. Л., 1978. С. 137—170.

Воспоминание. Посвящено жене А. А. Блока — Л. Д. Блок. О взаимоотношениях с ней А. Белого см.: *Орлов Вл.* История одной любви // *Орлов Вл.* Пути и судьбы. Л., 1971. С. 689—708. Письма Л. Д. Блок к А. Белому, относящиеся к 1905—1906 гг. см. в: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 225—259.

Незнакомый друг. Посвящено Павлу Николаевичу Батюшкову (1864—ок. 1930), внуку поэта К. Н. Батюшкова, теософу, одному из «аргонавтов». *Китаец дерется с японцем* — имеется в виду японо-китайская война 1894—1895 гг.

Из окна. *«Шум на Марице»* — популярная песня тех лет из шарманочного репертуара.

Свидание. Навеяно стихотворением В. Брюсова «Фабричная» («Есть улица в нашей столице...»).

Пепел

Первое издание книги стихов А. Белого «Пепел» вышло в 1909 г. в петербургском издательстве «Шиповник»; печатается по этому изданию, воспроизведенному в: *Белый А.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. [В рукописи существуют редакции «Пепла», относящиеся к 1921 и 1925 гг.; особенно отличается от первого издание: *Белый А.* Пепел. Стихи. 2-е изд., перераб. М., 1929.]

В редакции 1925 г. эпиграфом к книге взято четверостишие из стихотворения А. Блока «Осенняя воля»:

Выхожу я в путь, открытый взорам.
Ветер гнет упругие кусты.
Битый камень лег по косогорам.
Скудной глины желтые пласты.

С. 232.

Отчаянье («Довольно: не жди, не надейся...»); Поповна. Посвящены Зинаиде Николаевне Гиппиус (1869—1945), поэтессе, прозаику и критику русского символизма, жене Д. С. Мережковского. Ее письма и письма ее сестры — художницы Т. Н. Гиппиус к А. Белому, связанные с взаимоотношениями А. Белого, Л. Блок и А. Блока см. в: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 178—185, 188, 219—221, 225, 272—276, 278—279, 281—286, 299—300, 309—310, 319—320, 324—325.

Деревня; Станция. Посвящены Григорию Алексеевичу Рачинскому (1853—1939), члену редакции «Вопросов философии и психологии», председателю Московского Религиозно-философского общества, редактору издательства «Путь».

Шоссе. Посвящено Дмитрию Владимировичу Философову (1872—1940), литературному критику и публицисту, редактору журнала «Новый путь», одному из руководителей Петербургского Религиозно-философского общества, другу Мережковских.

На вольном просторе. Посвящено поэту Самуилу Викторовичу Киссину (1885—1916), писавшему под псевдонимом Муни.

На рельсах. Посвящено Александре Андреевне Кублицкой-Пиоттух (1860—1923), детской писательнице и переводчице, матери А. А. Блока. Ее письма к А. Белому, относящиеся к 1905—1906 гг., см. в: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 222—223, 229—230, 232, 253—254.

Из окна вагона; Успокоение. Посвящены Льву Львовичу Кобылинскому (1879—1947), писавшему под псевдонимом Эллис,— поэту, переводчику, публицисту и критику, одному из «аргонавтов», близкому другу Белого.

Телеграфист. Посвящено С. Н. Величкину, другу С. М. Соловьева, знакомому Белого.

В вагоне. Посвящено художнице Татьяне Николаевне Гиппиус (1877—1957), сестре З. Н. Гиппиус. Об отношении Т. Н. Гиппиус к А. Белому см. в: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 273—276, 281—285, 324—325. О Т. Н. Гиппиус, ее отношениях с А. Блоком и А. Белым см.: *Блок А. А.* Письма к Т. Н. Гиппиус / Публ., вступ. ст. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 209—217.

Каторжник. Посвящено Николаю Николаевичу Русову (род. в 1884 г.), писателю и публицисту. Его отзыв о «Пепле» см. в: *Русов Н.* О нищем, безумном и боговдохновенном искусстве. М., 1910. С. 35.

Бурьян. Посвящено Густаву Густавовичу Шпету (1879—1940), философу, профессору Московского университета.

Арестанты. Посвящено Владимиру Павловичу Поливанову (род. в 1881 г.), детскому писателю, одному из «аргонавтов».

Веселье на Руси. *Гомилетика* — часть риторики, излагающая правила построения церковной проповеди. *Каноника* — книга, составляющая собрание церковных канонов.

Осинка. Посвящено Алексею Михайловичу Ремизову (1877—1957), известному писателю-символисту.

Пустыня. Посвящено Владимиру Францевичу Эрну (1882—1917), философу и публицисту.

Родина («Те же росы, откосы, туманы...»). Посвящено Владимиру Павловичу Свентицкому (1879—1931), религиозному философу и публицисту, впоследствии священнику. В 1905 г. совместно с В. Ф. Эрном возглавил «Христианское братство борьбы».

Свидание. Посвящено Сергею Михайловичу Соловьеву (1885—1942), поэту, переводчику и критику, племяннику Вл. Соловьева, ближайшему другу Белого. Ему принадлежит один из первых откликов на «Пепел» (Весы. 1909. № 1), который воспроизводится в наст. изд. в разд. «Приложение». См. о С. Соловьеве, его отношениях с А. Блоком и А. Белым: Переписка Блока с С. М. Соловьевым (1896—1915) / Вступ. ст., публ. и коммент. Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова // Литературное наследство. М., 1980. Т. 92. Кн. 1. С. 308—407.

Старинный дом. Посвящено поэту Владиславу Фелициановичу Ходасевичу (1886—1939), творчество которого высоко ценил А. Белый. См.: *Белый А.* Рембрандтова правда в поэзии наших дней: О стихах В. Ходасевича // Записки мечтателей. 1922. № 5. С. 136—139.

Маскарад. Посвящено Михаилу Федоровичу Ликиар-

допуло (наст. фам. Попандопуло; 1883—1925), критику и переводчику, сотруднику журнала «Весы».

Меланхолия. Посвящено Максимилиану Яковлевичу Шику (1884—1968), переводчику, поэту, сотруднику журнала «Весы».

Отчаянье («Веселый, искрометный лед...»). Посвящено Елизавете Павловне Безобразовой (умерла в конце 1910-х годов), племяннице Вл. Соловьева.

Праздник. Посвящено Виктору Викторовичу Гофману (1884—1911), поэту и прозаику, сотруднику журнала «Весы». *Гри-де-перль* — жемчужно-серый.

Пир. Посвящено Сергею Александровичу Полякову (1874—1943), математику, переводчику, основателю издательства «Скорпион», редактору журнала «Весы».

Укор. *Валансьены* — тонкие французские кружева, изготовлявшиеся в г. Валансьенне.

Полевой пророк. Посвящено Василию Васильевичу Владимирову (1880—1931), художнику, другу юности Белого, участнику кружка «аргонавтов».

Друзьям. Посвящено Нине Ивановне Петровской (1884—1928), писательнице и хозяйке литературного салона, известной в символистских кругах. О ней и ее отношениях с А. Белым и В. Брюсовым см.: Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 332—339, 773—798.

Жизнь. Посвящено Вячеславу Ивановичу Иванову (1866—1949), известному поэту и теоретику символизма. См. о нем: *Белый А.* Вяч. Иванов. Силуэт // *Белый А.* Арабески. С. 468—474. Отзыв Вяч. Иванова о «Пепле» А. Белого см. в наст. изд. в разд. «Приложение».

Работа. Посвящено Павлу Ивановичу Астрову (род. в 1866 г.), юристу, на квартире которого в 1904 г. собирались «аргонавты».

Всё забыл. Посвящено Гансу (Йоханнесу) Гюнтеру (1886—1973), немецкому поэту и переводчику русских писателей, жившему в 1908—1914 гг. в Петербурге.

Изгнанник. Посвящено Михаилу Ивановичу Сизову (1884—1956), критику и переводчику (псевд.: М. Седлов), члену кружка «Мусагет».

Из книг стихов

«Королевна и рыцари» (Пг., 1919) и «Звезда» (Пг., 1922)

С. 335.

Родина («Наскучили...»). По воспоминаниям А. Белого, с этого стихотворения, написанного в апреле 1909 г. под впечатлением знакомства с Асей (Анной Алексеевной) Тургене-

вой (1891—1966), первой женой Белого, начался цикл «Королевна и рыцари». См.: *Белый А.* Между двух революций. Л., 1934. С. 362—363.

Россия. Впервые: Ветвь. М., 1917. С. 14. Вошло в сб. Белого «Звезда».

Родине («В годины праздных испытаний...»). Впервые без заглавия: Скифы. Спб., 1917. Сб. 1. С. 4. Под заглавием «России» в: *Белый А.* Стихи о России. Берлин, «Эпоха». 1922.

Родине («Рыдай, буревая стихия...»). Впервые: Скифы. Спб., 1918. Сб. 2.

Антропософии. Под заглавнием «К антропософии» вместе со стихотворением «Пришла... И в нечаемый час...» в: Скрижаль. Пг., 1918. Сб. 1. Печатается по: *Белый А.* Стихи о России. Берлин, «Эпоха». 1922.

Мы,— русские. Впервые без заглавия в газете: Знамя труда. 1918. 22(9) марта. Печатается по: *Белый А.* Стихи о России. Берлин, «Эпоха». 1922.

Младенцу. Впервые в журнале: Наш путь. 1918. № 1.

Голубь. Впервые без заглавия в журнале: Наш путь. 1918. № 1.

К России. Впервые в газете: Жизнь. 1918. 26(13) апр. В сборнике А. Белого «Стихи о России» опубликовано под заглавием «России» в новой редакции.

Христос воскрес

С. 341.

Поэма впервые опубликована в газете «Знамя труда» (12 мая 1918 г.) под заглавием «Христос воскресе», затем под заглавием «Христос воскрес» в журнале «Наш путь» (1918. № 2). Отдельное издание: *Белый А.* Христос воскрес. Пб., «Алконост», 1918.

Иордань — река в Палестине, в которой, по библейской легенде, принял крещение Иисус Христос. *Или... Сафахвани* (*др.-евр.*) — «Боже мой, для чего ты меня оставил» — по евангельской легенде, возглас распятого Христа.

Предисловие к поэме в: *Белый А.* Стихотворения. Берлин; Пг.; М., 1923 — см. на с. 514.

■

Статьи А. Блока

С. 364. Безвременье. Впервые: Золотое руно. 1906. № 11—12.

«...видел липкое и отвратительное серое животное».— См. роман Ф. М. Достоевского «Идиот» (Ч. III. Гл. 5). ...*«Золотой*

век в кармане».— Заглавие четвертого раздела первой главы «Дневника писателя» Достоевского за январь 1876 г. ...*«деревенская баня с пауками по углам».*— Слова Свидригайлова из романа Достоевского «Преступление и наказание» (Ч. IV. Гл. 1). ...*свидригайловский сон о девочке в цветах...*— там же. Ч. VI. Гл. 6 *«Луг зеленый»* — статья Белого в «Весах» (1905. № 8). Особенно Блоку показалось близким толкование образа пани Катерины из повести Гоголя «Страшная месть».— См. в наст. изд. С. 452. *«...несчастные маски, застигнутые врасплох мстительным шутом у Эдгара По».*— См. сказку Э. По «Гоп-Фрог». *«...в пути погасли очи...»* — см. стихотворение З. Гиппиус «Ограда» (Собрание стихов. Кн. первая. 1889—1903. М., 1904. С. 117). *«Там, в ночной завывающей стуже...»* — стихотворение Блока 1905 г. (См.: II, 81). *«За мною грохочущий город...»* — из стихотворения Белого «Шоссе». *«Привязанность, молодость, дружба...»* — из стихотворения Белого «На рельсах». ...*в «таинственной холодной полумаске».*— Из стихотворения М. Лермонтова «Из-под таинственной, холодной полумаски...». *«Я знал, что голова, любимая тобою...»* — неточная цитата из стихотворения М. Лермонтова «Не смейся над моей пророческой тоскою...». *«На лице его играла спокойная и почти веселая улыбка... Пуля пробила сердце и легкие...»* — не вполне точная цитата из воспоминаний А. И. Васильчикова (см.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972. С. 368). *«И снился мне сияющий огнями...»* — из стихотворения Лермонтова «Сон». *«...крайняя заводь глухая...»* — из стихотворения И. Коневского «Среда». *Парфен Рогожин* — из романа Достоевского «Идиот»; см. эпизод — Ч. II. Гл. 5. *Мария-Май* — из рассказа З. Гиппиус «Мисс Май». *«...ни счастия, ни радости не надо».*— Из стихотворения З. Гиппиус «Вечерняя заря». *«И слышу я, как шепчет тишина...»* — из стихотворения З. Гиппиус «Сонет». ...*«бог таинственного мира».*— Из стихотворения Ф. Сологуба «Я — бог таинственного мира...» ...*ребенка «с нестерпимой головной болью»...*— Митя Дармостук из рассказа Ф. Сологуба «Утешение» (в сборнике писателя «Жало смерти» — М., 1904). *Недотыкомка* — символический образ в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес» и в его лирике. ... *звезды Маир ... с тихой страной Ойле* — фантастические образы из цикла стихов Ф. Сологуба «Звезда Маир».

С. 379. «Религиозные искания» и народ. Впервые: Золотое руно. 1907. № 11—12 (в составе статьи «Литературные итоги 1907 года» — разд. 1 и 2). В качестве отдельной статьи с исправлениями, преимущественно стилистического характера: Знамя труда. 1918. 25 янв. (7 февр.). Печатается по: *Блок А.* Россия и интеллигенция. 2-е изд.— Пг., 1919 (далее — **РИ**).

...*«представители религиозно-философского сознания»...*— см.: *Мережковский Д.* Не мир, но меч... Спб., 1908. С. 207.

«Теперь они опять возобновили свою болтовню...» — религиозно-философские собрания, начавшиеся в Петербурге по инициативе Д. Мережковского, З. Гиппиус, Д. Философова и В. Розанова в ноябре 1901 г. и запрещенные в апреле 1903 г., снова возобновились в октябре 1907 г. *«А «Юлиана» и «Леонардо» перечитывать еще будут.*— Речь идет о трилогии Д. Мережковского «Христос и Антихрист», состоящей из романов «Смерть богов» («Юлиан Отступник»), «Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи») и «Антихрист» («Петр и Алексей»). *Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, философ, критик и публицист; об отношении к нему Блока см.: VIII, 127—129, 259, 273—278. *...«буйное веселье, страстное похмелье».*— Из стихотворения Ап. Григорьева «Цыганская венгерка». *...крестьянин северной губернии, начинающий поэт.— Клюев* Николай Алексеевич (1884—1937); о творческих взаимоотношениях Блока и Клюева см.: *Базанов В.* Олонецкий крестьянин и петербургский поэт // Север. 1978. № 8, 9; Письма Н. А. Клюева к Блоку / Вступ. ст., публ. и коммент. К. М. Азадовского // Литературное наследство. М., 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 427—523. *...«минуя деревни».*— Из стихотворения А. Фета «О, этот сельский день...».

С. 385. Солнце над Россией. Впервые: Золотое руно. 1908. № 9.

...Лев Толстой написал просьбу о помиловании их...— За участие в убийстве Александра II были казнены 3 апреля 1881 г. народовольцы А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Т. М. Михайлов, Н. И. Кибальчич и Н. И. Рысаков. Просьба Л. Н. Толстого, обращенная к Александру III, о помиловании осужденных была отклонена. *Победоносцев* К. П.— см. о нем коммент. к с. 133. *...усталой, «горестной», но... великой России...*— см. стихотворение В. Брюсова «Цусима»: «Да вместе призрак величавый, Россия горестная, твой...». *Тень старого упыря наложила запрет на радость.*— Перед юбилеем Толстого был разослан всем губернаторам и начальникам жандармских управ циркуляр, предписывавший принять решительные меры «к прекращению всяких попыток к использованию со стороны неблагонадежных элементов населения настоящего события в целях противоправительственной агитации, каковые попытки тем более возможны, что проповедуемые г. Л. Н. Толстым идеи представляют для подобной агитации самый широкий простор» (см. сб. «Толстой и о Толстом» — М., 1924. Т. 1. С. 82—83). *Кто пришел сосать кровь умирающего Гоголя?* — Речь идет о священнике Матвее Константиновском, имевшем огромное влияние на Гоголя в последние годы его жизни. *...могильный глаз упыря.*— Блок имел в виду роман английского писателя Брэма Стокера «Вампир, граф Дракула», о котором он писал Е. П. Иванову 3 сентября 1908 г.: «Во-первых, прочел я «Вампира — графа Дракула». Читал

две ночи и боялся отчаянно. Потом понял еще и глубину этого, независимо от литературности и т. д. Написал в «Руно» юбилейную статью о Толстом под влиянием этой повести. Это — вещь замечательная и неисчерпаемая, благодарю тебя за то, что ты заставил наконец меня прочесть ее» (VIII, 251). *...запретил радоваться Святейший Синод...*— 24 февраля 1901 г. решением Синода Л. Н. Толстой был отлучен от церкви.

С. 387. Народ и интеллигенция. Впервые: Золотое руно. 1909. № 1, под заглавием «Россия и интеллигенция»; вторично: Знамя труда. 1918. 19 февр. Печатается по: РИ. О выступлениях Блока с этим докладом, полемике вокруг него, истории его публикации см.: V, 742—744, а также письма поэта К. С. Станиславскому от 9 декабря 1908 г. (VIII, 265—267) и матери от 14 декабря 1908 г. (VIII, 268—269).

...Баронов отождествляет мировоззрение этого писателя с мировоззрением социал-демократов, в частности Луначарского...— см. статью А. В. Луначарского в сб. «Литературный распад» (Спб., 1909. С. 90—98). *...Спиноза — стекольщик...*— Б. Спиноза шлифовал стекла для оптических приборов. *...не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный.*— Из стихотворения Ф. Тютчева «Эти бедные селенья...». *...на соловьевский хохот...*— о смехе Вл. Соловьева см. также в статье Блока «Рыцарь-монах» (V, 449—450), в «Заметках о Владимире Соловьеве» (V, 685), в письме Г. И. Чулкову от 23 июня 1905 г. (VIII, 129). *Каких только «племен, наречий, состояний» здесь нет!* — Из поэмы А. Пушкина «Братья-разбойники». *...прав был Самарин, когда писал Аксакову...*— см.: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1893. С. 472. *...та самая «недоступная черта»...*— из стихотворения А. Пушкина «Под небом голубым страны своей родной...». *...противоположность между Толстым и Достоевским, указанная Мережковским.*— В книге «Л. Толстой и Достоевский» Толстой характеризуется Мережковским как «тайновидец плоти», а Достоевский — как «тайновидец духа». *...нужно «проездиться по России»...*— заглавие XX «письма» в книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». *«Как полюбить братьев?..»...*— цитата из того же XX «письма». *...вопрос о Боге — кажется, «самый нелюбопытный вопрос в наши дни», как писал Мережковский...*— см. первую фразу в книге Мережковского «Не мир, но меч...» (Спб., 1908). *...«один исполинский образ скуки...»...*— из XXXII «письма» в книге Гоголя «Выбранные места...». *...«волею к смерти»... «волю к жизни».*— Из книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление». *«Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ».*— Из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (Т. 1. Гл. 11).

С. 396. Стихия и культура. Впервые (в сокр. виде): Наша газета. 1909. 6 янв.; полностью: в альманахе «Италии»

(Спб., 1909). Печатается по: РИ. Статья представляет обработку доклада, прочитанного Блоком 30 декабря 1908 г. в Религиозно-философском обществе. О полемике вокруг доклада и статьи см.: V, 748.

...наука бессильна перед провалом южной Италии...— см. статью Блока «Горький о Мессине» (V, 380—384). *...«аполлинический сон».*— См. *Ницше Ф.* Происхождение трагедии. Спб., 1903. С. 25—38. *...«чудотворного строителя»...*— в поэме А. Пушкина «Медный всадник» «строителем чудотворным» именуется Петр I; Блок называет так изобретателя дирижаблей графа Ф. Цеппелина. *Русские матросы... являют чудеса самоотвержения...*— международная печать широко отмечала героизм матросов и офицеров русской эскадры, находившейся у берегов Сицилии, проявленный при спасении пострадавших. *«Она мчится по ржи»...*— об этом предании, услышанном в имении Менделеевых Боблове, Блок упоминает в дневнике от 26 июня 1902 г. (см.: VII, 47—48). *...письмо крестьянина...*— Блок цитирует статью Н. А. Клюева «С родного берега» (см.: Русский фольклор. XV. Л., 1975. С. 207—208); там же полный текст частушек. *...«стальной щетиною»...*— из стихотворения А. Пушкина «Клеветникам России».

С. 405. Дитя Гоголя. Впервые: Речь. 1909. 20 марта; вторично: Знамя труда. 1918. 8 марта. Печатается по: РИ. Статья представляет текст речи, прочитанной Блоком 19 марта 1909 г. в зале петербургского Дворянского собрания по случаю столетия со дня рождения Н. В. Гоголя.

...Гоголь мечтал о «великих трудах» и звал «пободрствовать своего гения»...— см. статью Гоголя «1834». *...замышляя какую-то несозданную драму...*— см. «Наброски драмы из украинской истории» Н. В. Гоголя. *Поприщин* — герой повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего». *«Спасите меня! Возьмите меня!..»* (и след. цитаты) — из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. *Корибанты* — мифические предшественники жрецов Кибелы (великой матери богов), совершавшие свои служения, сопровождая их музыкой и танцами. *«В судах черна неправдой черной...»* — из стихотворения А. С. Хомякова «России». *«Если же и музыка нас покинет..?»* — Из статьи Н. В. Гоголя «Скульптура, живопись и музыка».

С. 408. ⟨Ответ Мережковскому⟩. Впервые: Русский современник. 1924. № 3.

В своем фельетоне «Религия и балаган»...— имеется в виду фельетон Д. С. Мережковского «Балаган и трагедия», опубликованный в газете «Русское слово» от 14 сентября 1910 г. и посвященный критике статей Вяч. Иванова «Заветы символизма» и А. Блока «О современном состоянии русского символизма» (обе статьи напечатаны в «Аполлоне» — 1910. № 8).

С. 411. П л а м е н ь. Впервые: День. 1913. 28 окт. (4-й вып. воскресного приложения «Литература, искусство и наука»); вторично: Знамя труда. 1918. 8 марта (23 февр.). Печатается по: РИ.

На книгу П. Карпова откликнулись: *Столыпин А.* Заметки // Новое время. 1913. 22 окт.; Хлыст о хлыстах // Новое время. 1913. 29 окт.; *Ясинский И.* О бреде // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1913. 17 окт.; *Войтоловский Л.* ⟨рец. на «Пламень»⟩ // Киевская мысль. 1913. 28 нояб. *Патрашкин С.* О крови // День. 1913. 24 нояб.; *Философов Д.* Бред // Речь. 1913. 14 окт. Названный Блоком В. Д. *Бонч-Бруевич*, сотрудничавший в «Киевской мысли», отклика на книгу П. Карпова в газете не публиковал. О *подражании* П. Карпова *А. Белому* писал в своей рецензии Д. Философов, а о том, что язык автора «Пламени» *сильнее языка А. Белого* — И. Ясинский.

...наш бунт... может опять быть «бессмысленным и беспощадным» (Пушкин)...— из «Пропущенной главы» повести А. Пушкина «Капитанская дочка».

С. 414. ⟨«М о ж е т л и и н т е л л и г е н ц и я р а б о т а т ь с б о л ь ш е в и к а м и?»⟩ Впервые: Петроградское эхо. 1918. 18 янв. (веч. вып.). Ответ Блока на анкету газеты был продиктован по телефону.

С. 415. И н т е л л и г е н ц и я и Р е в о л ю ц и я. Впервые: Знамя труда. 1918. 19 янв.; вторично: Наш путь. 1918. № 1. Апр. Печатается по: РИ. Об откликах прессы на статью см.: VI, 497—499.

Демократия приходит «опоясанная бурей», говорит Карлейль.— См.: *Карлейль Т.* Французская революция. Спб., 1907. С. 31. *«Блажен, кто посетил сей мир...»* — неточная цитата из стихотворения Ф. Тютчева «Цицерон». *...новый гений, пушкинский Арион; он «выброшенный волною на берег», будет петь «прежние гимны» и «ризу влажную свою» сушить «на солнце, под скалою».*— Из стихотворения А. Пушкина «Арион». *...«разорванный ветром воздух».*— Из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (Т. 1. Гл. XI). *...«Все, все, что гибелью грозит», таило для них «неизъяснимы наслажденья» (Пушкин).*— Из «Пира во время чумы» А. Пушкина. *...«прекрасное трудно», как учил Платон.*— Заключительные слова Сократа в диалоге Платона «Большой Иппий» *...«...то, чего нет на свете»...*— из стихотворения З. Гиппиус «Песня». *Деликт* — правонарушение. *Либерального «аблаката» описал Достоевский...*— имеется в виду адвокат В. Д. Спасович, о котором Ф. М. Достоевский говорит в «Дневнике писателя» (1876. Февр.) и который под именем Фетюковича изображен в романе «Братья Карамазовы» (Ч. IV. Кн. 12). *«Совершенная любовь изгоняет страх».*— Евангелие. Первое послание Иоан-

на, IV, 18. *Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки.*— См.: Соч. Платона. Спб., 1863. Ч. II. С. 64—65.

С. 425. Размышления о скудости нашего репертуара. Впервые: Жизнь искусства. 1919. 4 и 5 июля.

Литераторы,— говорит историк литературы,— играли в этом случае...— см.: *Шерр И.* Иллюстрированная всеобщая история литературы. М., 1905. Т. I. Кн. 2. С. 448. ...*«Характер века определяется массами»* до *«Мы имеем полное право сказать о себе словами Паскаля — что человек бежит от самого себя...»*— см.: *Гонеггер И.* Очерк литературы и культуры XIX столетия. Спб., 1867. *...сомневался еще Карлейль...*— см.: *Карлейль Т.* Герои и героическое в истории. Спб., 1891. С. 86—87. *...«полными противоречий аномалиями»*; *«напоминает полет птицы, которую вихрь несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев».*— См.: *Ключевский В.* Курс русской истории. М., 1908. Ч. 3. С. 2, 5. *Автор «Горя от ума» писал...*— из заметки А. С. Грибоедова «По поводу „Горя от ума“». *...Автор «Ревизора» оставил заметку под заглавием: «Как нужно создать эту драму»...*— эта заметка входит в «Наброски драмы из украинской истории» Н. В. Гоголя.

С. 431. Владимир Соловьев и наши дни. Впервые: Записки мечтателей. 1921. № 2—3. Доклад был прочитан Блоком 15 августа 1920 г. в Вольной философской ассоциации (Вольфиле) на вечере памяти В. С. Соловьева. Блок цитирует статью А. Белого «Владимир Соловьев», см.: *Белый А.* Арабески. С. 388, 393.

...«Не было приюта меж двух враждебных станов»...— из стихотворения Вл. Соловьева «В стране морозных вьюг, среди седых туманов...».

■

Статьи А. Белого

С. 450. Луг зеленый. Печатается по: *Белый А.* Луг зеленый: Кн. статей. М., «Альциона», 1910. С. 3—18.

Прочитав эту статью в журнале «Весы» (1905. № 8), Блок 2 октября 1905 г. писал Белому (см. наст. изд.— С. 182): «Я изумился, читая «Зеленый Луг». Дело в том, что все это время я писал статью, в которой последняя глава называется «Зеленые луга». И вдруг! Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне нет ничего». Статья Блока, законченная им только в октябре 1906 г. и напечатанная в журнале «Золотое руно» (1906. № 11—12) называется «Безвременье» (см. С. 364);

один из ее разделов озаглавлен: «С площади на „луг зеленый“». Летом 1905 г., набрасывая в записной книжке план статьи (см.: IX, 70), Блок писал:

«Зеленые луга

Боря. Городецкий. Проступающие краски. Лилейное утро. Танец юности. Дункан.

Ай! Боря уже написал в «Весах» (№ 8)».

«Вспомни, вспомни луг зеленый — Радость песен, радость пляск» — неточная цитата из стихотворения В. Брюсова «Орфей и Эвридика». У Брюсова: «Вспомни, вспомни! луг зеленый, Радость песен, радость пляск!» Далее в статье Белый приводит из этого стихотворения Брюсова слова Эвридики (со своей пунктуацией): «Ты ведешь — мне быть покорной...» и т. д. *Пани Катерина* — из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть». *«...зрелище, устраиваемое иностранной плясуньей»* — речь идет о выступлении Айседоры Дункан в зале Петербургской консерватории 21 января 1905 г. с танцевальной программой на музыку Бетховена и Шопена. Белый, присутствовавший на концерте вместе с Блоком и его женой Л. Д. Блок, позднее в «Воспоминаниях о Блоке» (см.: Эпопея. 1922. № 2. С. 228) писал: «Помнится: в революционные дни Айседора Дункан исполняла 7-ю симфонию неумирающего Бетховена и Л. Д. заставила пойти на концерт... 〈...〉,— в те дни увлекались Дункан (более всех увлекалась Л. Д.); А. А. был всех сдержанней, но и он отдавался соединению музыки с жестом».

С. 459. Блок. Под этим заглавием Белый в книге статей «Арабески» (М., «Мусагет». 1911. С. 458—467) объединил свои рецензии «Нечаянная радость» и «Обломки миров».

Позднее, в мемуарной книге «Начало века» (М.; Л., 1933. С. 8—9) в предисловии «От автора», Белый об этих рецензиях и о тогдашних отношениях с Блоком писал: «Труднее мне с зарисовкой Александра Блока; мало с кем была такая путаница, как с ним; мало кто в конечном итоге так мне непонятен в иных мотивах; еще и не время сказать все о нем; не во всем я разобрался; да и люди, меж нами стоявшие, доселе здравствующие, препятствуют моим высказываниям. Мало кто мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так ненавистен, как он: в другие периоды, лишь с 1910 года выравнялась зигзагистая линия наших отношений в ровную, спокойную, но несколько далековатую дружбу, ничем не омраченную. Я его ценил, как никого; временами он вызывал во мне дикое отвращение как автор «Нечаянной радости», о чем свидетельствует моя рецензия на его драмы «Обломки миров»,

перепечатанная в книге «Арабески». Блок причинил мне боль; он же не раз с горячностью оказывал и братскую помощь. Многое было, одного не было — идиллии, не было «Блок и Белый», как видят нас сквозь призму лет.

Из всех зарисованных силуэтов менее всего удовлетворяет Блок; рисуя его, я не мог отделить юношеского восприятия от восприятия окончательного; Александр Блок видится и в молодости сквозь призму третьего тома его стихов; я же рисую время выхода первого тома; истерическая дружба с четою Блоков в описываемый период, когда я был надорван и переутомлен, рисует меня не на равных правах с ними; я их переоценивал, и я не мог обнаружить им узла идейных недоумений, бременивших меня; «зажим» в усилиях быть открытым,— вот что мутило восприятие тогдашнего Блока; этот том обрывается у преддверия драмы, которая отделяла меня от поэта весь период 1905—1908 годов. В июле 1905 года обнаружилась глубокая трещина между нами, ставшая в 1906 году провалом, через который перекинули было мы мост, но он рухнул с начала 1908 года. Лишь в 1910 году изжилась эта трещина, Блок, поданный в этом томе, овеян мне дымкой приближающейся к нам обоим вражды; ее не было в сознании; она была — в подсознании; летнее посещение Шахматова в 1905 году — *начало временного разрыва с Блоком*».

В первой рецензии Белого, впервые напечатанной в журнале «Перевал» (1907. № 4. С. 59—62), говорится о кн.: *Блок А.* Нечаянная Радость. Второй сборник стихов. М., «Скорпион», 1907. *Шеллинг в сочинении «Weltseele»...* — точнее «Von der Weltseele» — работа Ф. Шеллинга «О мировой душе» (1798), впервые опубликованная на русском языке в: *Шеллинг Ф. В.* Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1.

Рецензия Белого «Обломки миров (О «Лирических драмах» А. Блока)» впервые напечатана в журнале «Весы» (1908. № 5). *...появление «Заратустры»* — имеется в виду сочинение Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Об отношении Белого к философии Ницше см.: *Белый А.* Фридрих Ницше // Весы. 1908. № 7, 8, 9. О различном отношении к Ницше Блока и Белого см.: *Паперный В. М.* Блок и Ницше / Ученые записки / Тартуского гос. университета. Тарту, 1979. Вып. 491: Типология русской литературы и проблемы русско-эстонских литературных связей. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Т. XXXI. С. 84—106.

С. 467. Вместо предисловия. Впервые: *Белый А.* Пепел. Спб., «Шиповник», 1909.

В изд.: *Белый А.* Стихотворения. Берлин; Пб.; М., Изд-во З. И. Гжебина, 1923 — книга стихов «Пепел», разделенная на два отдела — «Глухая Россия» и «Прежде и теперь»,— была предварена следующим предисловием:

«Глухая Россия

В этот отдел автором собран ряд стихотворений из «Пепла»; автор подобрал разбросанные стихотворения в естественные циклы; собственно говоря, все стихотворения *«Пепла»* периода 1904—1908 годов — одна поэма, гласящая о глухих, непробудных пространствах Земли Русской; в этой поэме одинаково переплетаются темы реакции 1907 и 1908 годов с темами разочарования автора в достижении прежних, светлых путей. Принцип выбора стихотворений в этом отделе, как и в предыдущих,— не чисто эстетический; здесь представлены стихотворения, типичные для поэтической идеологии; может быть, иные из более совершенных в формальном смысле стихотворений и не попали в этот отдел; но зато попали характернейшие.

Прежде и теперь

Стихотворения этого отдела обнимают ряд лет (от 1903 до 1916 г.); но я объединяю их вокруг темы «Пепла». Доминирующий лейтмотив этого цикла — взгляд на действительность как на стилизованную картину; прошлое и настоящее кажутся одинаково далеки для себя потерявшей души; все только — маски; появление среди масок умершей действительности «домино» есть явление рока, отряхивающего пепел былого. Лирический субъект этого отдела — постепенно себя сознающий мертвец».

С. 469. Предисловие. *Белый А.* Пепел. Стихи. 2-е изд., перераб. М., «Никитинские субботники», 1929. С. 5—6.

С. 471. Революция и культура. Печатается по: *Белый А.* Революция и культура. М., Изд-во Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1917.

Вагнер — подлинный революционер в своей сфере...— ср. с характеристикой революционной сущности творчества Рихарда Вагнера (1813—1883) в статье А. Блока «Искусство и Революция» (1918): «Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества.

Рихард Вагнер взывает ко всем страдающим и чувствующим глухую злобу братьям сообща помочь ему положить начало той новой организации искусства, которая может стать первообразом будущего нового общества» (VI, 22).

Современный художник давно уже слышит вменения «царства свободы», летящие вдали... — эту идею применительно к пролетарской культуре А. Белый развивает в статье

«Прыжок в царство свободы» (Знамя. 1920. № 5. Стлб. 42—48). Итожа сказанное, он писал: «Я полагаю, что многое в устремлениях пролетарского сознания следует отнести к свободе, высвобождающей в человеке — человека по существу: пролетариат, имея свой смысл, как класс боевой, имеет, может быть, другой, второй смысл, воистину человеческий смысл. Царство свободы, прыжок в которое из необходимости изображает Энгельс, в нас нашими предвзятыми догмами задавлено.

Пролетариат в устремлении к всечеловеческой культуре является дверью, вскрывающей как раз сторону культуры, которая до сих пор остается не буржуазной, не дворянской и не пролетарской, а человеческой» (Стлб. 47).

Отметив, что труд будущего станет творчеством, подобным музыке, Белый продолжал: «Когда мы слушаем музыкальное произведение, мы должны сказать, что музыка не связана ни с какими образными, конкретными представлениями; пролетарская культура, если она несет в себе свободу, еще не имеет своих творческих ценностей, образов, но, как музыка, она есть импульс к какому-то новому творению.

Выявить эту музыку, разбить скорлупу на творчестве, высвободить творчество из обязательного труда это и значит превратить человека в свободного гиганта, которого вся жизнь претворится в музыку...» Будущее пролетарской культуры «есть высвобождение из смутно загадочных человечеству устремлений к творчеству, освобождение этих зачатков творчества, уже в нас во всяком строе существующих, выявление их и организация жизни по законам этого творчества» (Стлб. 48).

...орел Ганимеда — по древнегреческой мифологии Ганимед — сын троянского царя Троса и нимфы Каллирои — за необыкновенную красоту был взят богами на небо, где он становится любимцем и виночерпием Зевса. Зевс похищает его, приняв облик орла. *...«мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв»* — из стихотворения А. Пушкина «Поэт и толпа». *...признание Владимира Маяковского о... распятых перекрестком городовых.*— В стихотворении В. Маяковского «По мостовой...» из цикла «Я» (1913): «иду // один рыдать, // что перекрестком // распяты // городовые».

С. 489. ⟨Вступительное слово и речь на LXXXIII открытом заседании Вольной Философской Ассоциации 28 августа 1921 года, посвященном памяти Александра Блока⟩. Печатается по: Памяти Александра Блока / А. Белый, Иванов-Разумник, А. З. Штейнберг. Пб., 1922. О Вольной философской ассоциации (Вольфиле) см.: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 380—381.

«Атман» — в древнеиндийской религиозной филосо-

фии — всепроникающее субъективное духовное начало, «Я», душа. *«Знайте же, Вечная Женственность ныне...»* — из стихотворения Вл. Соловьева «Das Ewig — Weibliche» — «Вечная Женственность» (нем.). *...«не поймешь синего ока, пока сам не станешь, как стезя»...*— неточная цитата из стихотворения Блока «Вот он — Христос — в цепях и розах...». У Блока: «И не постигнешь синего ока, // Пока не станешь сам как стезя...». *Александр* Михайлович *Добролюбов* (1876—1944?) — поэт, в конце 90-х годов обратившийся к сектантству и религиозному проповедничеству. См. о нем.: *Азадовский К. М.* Путь Александра Добролюбова // Ученые записки / Тартуского гос. университета. Тарту, 1979. Вып. 459: Блоковский сборник. III. Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. *Фауст, убив Гретхен...*— речь идет о трагедии Гёте «Фауст». См.: *Федоров В. С.* Блок и Гете // Ученые записки / Тартуского гос. университета. Тарту, 1985. Вып. 680: Блоковский сборник. VI. А. Блок и его окружение. *Манас* — одно из основных понятий древнеиндийской философии; ум в самом широком смысле и во всех его проявлениях. *Шрадер* Эберхард (1836—1908) — немецкий историк и языковед, автор работ по истории Древнего Востока — Ассирии, Вавилона и др. *Вот заметка Александра Александровича о «Двенадцати»...*— далее Белый впервые приводит полный текст этой заметки. Позднее эта заметка печаталась в сокращении (см.: III, 474—475). *...одна из политических партий, пользовавшаяся во время революции поддержкой правительства...*— партия левых эсеров, которая издавала газету «Знамя труда» и журнал «Наш путь»; в них печатали свои произведения Блок, Белый и другие «скифы». *...только один до сих пор не подает мне руки.*— Вероятно, В. Пяст, бывший друг Блока. *...в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого.*— Блок имеет в виду время написания циклов «Снежная Маска» и «Кармен». *Маркизова лужа* — просторечное название Финского залива (по ассоциации с маркизом де Траверсе — морским министром при Александре I). *Возьмем стихи лучших пролетарских московских поэтов, напр. тов. Александровича...*— имеется в виду пролетарский поэт Василий Дмитриевич Александровский (1897—1934), о стихах которого писал Белый. См.: *Белый А.* О стихах Александровского // Горн. 1918. № 1. С. 79—81. *Мария Египетская* — христианская подвижница VI в. Об отзвуках Жития Марии Египетской в стихотворении Блока «Ты отошла, и я в пустыне...», открывающем раздел «Родина» в третьем томе лирики поэта, см.: *Смирнов И.* «Бытия возвратное движенье» // Лит обоз. 1980. № 10. С. 53—55.

С. 509. О Духе России и «духе» в России. Печатается по: Новая Россия. 1922. ⟨№ 2. Май⟩. С. 145—147.

В этом журнале статья Белого опубликована вместе со статьей М. Горького «Русская жестокость» (С. 141—144) под общим заглавием «М. Горький и А. Белый о России». Во вступительной редакционной заметке говорится: «Ниже мы печатаем статьи двух русских писателей, оказавшихся вне России и пишущих о России. Статья Андрея Белого напечатана в Берлине в эсеровской газете «Голос России» и рассчитана на довольно узкий круг русской эмиграции. М. Горький выступает в Копенгагенской газете «Politiken» с целой серией статей (мы печатаем только одну из них — наиболее характерную) и в определенных очертаниях выставляет русский народ, так сказать, «перед всесветные очи». А. Белый выступает как писатель — и только. М. Горький — как писатель и *политический деятель* (!). Так, по крайней мере, рекомендует его выступление «Politiken». Если газета имеет в виду деятельность Горького по организации помощи голодающим, то тем интересней, с какой характеристикой этого голодающего народа выступает за границей его ходатай.

Впрочем, мы пока от каких-либо комментарий воздерживаемся и приводим полностью обе статьи, одно сопоставление которых уже достаточно красноречиво. Статья М. Горького имеет заглавие «Русская жестокость»; статья Андрея Белого — «О Духе России и «духе» в России» (С. 141).

О двухлетнем пребывании Белого в Берлине (1921—1923) см.: *Белый А.* «Одна из обителей царства теней». Л., 1924 (на обл.: 1925); *Цветаева М.* Пленный дух // *Цветаева М.* Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. О творческих взаимоотношениях Белого и Горького, в том числе в начале 20-х годов, см.: *Крюкова А.* М. Горький и Андрей Белый: завершение спора // *Крюкова А.* Творческое взаимодействие. М., 1988. С. 73—98.

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — французский химик, выяснивший роль кислорода в процессах горения и дыхания и тем самым опровергший теорию флогистона. *Дальтон* Джон (1766—1844) — английский физик и химик; открыл газовые законы, названные его именем, и описал дефект зрения, получивший название дальтонизма. *Гей-Люссак* Жозеф Луи (1778—1850) — французский физик и химик; открыл газовые законы, названные его именем. У Белого старое написание фамилии ученого. *Все во мне, и я во всем...* — из стихотворения Ф. Тютчева «Тени сизые смесились...». *...песня Сократа над чашей с ядом.* — См. диалог Платона «Федон», в котором рассказывается о том, с какой духовной стойкостью и мужеством Сократ выпивает чашу с ядом. *Шпенглер* Освальд (1880—1936) — немецкий философ, ставший широко известным после выхода в 1918—1922 гг. основного его труда «Закат Европы». *Проткнутые ребра...* — см. гл. 10 поэмы Белого «Христос воскрес».

■

Из переписки А. Блока и А. Белого

Избранная переписка Блока и Белого представлена письмами, в которых раскрываются индивидуальные особенности художественного миросозерцания каждого поэта, прежде всего их отношение к идеалу Вечной Женственности, и своеобразие восприятия родины в свете этого идеала.

С. 94, 97. *Блок — Белому. 3 января 1903 г. Белый — Блоку. 4 января 1903 г.* Еще до очного знакомства оба поэта в один и тот же день послали друг другу свои первые письма.

Статья А. Белого «Формы искусства» опубликована в журнале «Мир искусства» (1902. № 12) за подписью: Борис Бугаев. Перепечатана в книге «Символизм» с обширными комментариями. Позднее Белый писал об этом письме Блока (см.: Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 20): «А. А. Блок с чрезвычайной чуткостью ухватывает слабые пункты моей юношеской статьи. Она написана академически. Музыка, влияющая на изменение человеческих отношений,— музыка ли? Он ухватывает тот факт, что самой музыкой как формой искусства я оперирую двояко: с одной стороны, музыка у меня только музыка, с другой стороны, она «музыка» совсем в ином смысле — она символ души мировой стихии, или той, кого Соловьев называл «Темного хаоса светлая дочь». И вместо того, чтобы смело, с открытым забралом, выбросить свой новый лозунг жизненного преобразования, вместо того, чтобы заговорить о Софии Премудрости... я таинственную Лермонтовскую «полумаску» превращаю в «маску», и этой «маскою» для непосвященных является для меня музыка. Эта подставка тривиального, ничего не говорящего знака эпохи вместо имени и лика самой эпохи, которая несет нам благовестие Девы-Зари-Купины, эта подмена с моей стороны есть слишком осторожное отступление от смелого... боя с рутинным сознанием современности, к которому все истинно новое призвано... Он хотел сказать, что нам, призванным концентрировать до nec plus ultra ⟨и не далее.— *лат.*⟩ мистику соловьевства, не следует распыляться в эстетических личинах. Все письмо написано скорее афористическим стихом, дышит игрою и юмором. Оно одновременно и восхитило и озадачило меня: живого Блока я не представлял себе таким. Я его представлял экстатически созерцающим. Ум, юмор, соединенный со скепсисом, показал мне в высоко ценимом поэте, в «мистике» и просто умного человека. Интеллектуалиста я менее всего ожидал встретить в Блоке».

...Ваши духовные стихи в «Симфонии»...— имеется в виду «Симфония (2-я, драматическая)» Белого, изданная в 1902 г.

...в статье об Алениной.— Имеется в виду статья «Певица», опубликованная в журнале «Мир искусства» (1902. № 11) за подписью: А. Белый. ... *письмо... в «Новом пути»...*— письмо Белого с сокращениями было опубликовано в журнале «Новый путь» (1903. № 1) за подписью: «Студент-естественник». Письмо написано по поводу книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», которая в 1900—1901 гг. печаталась в «Мире искусства». Блок получил письмо Белого от З. Н. Гиппиус 26 марта 1902 г. и тогда же сделал из него обширные выписки в своем дневнике, сопроводив их критическими замечаниями и вопросами (см.: VII, 42—44). *...сменится ли оно «неподвижностью солнца любви»?* — цитата из стих. Вл. Соловьева «Бедный друг! истомил тебя путь...» *Пора угадать имя «Лучезарной Подруги»...*— см. стих. Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи...» в первоначальной редакции (Книжки недели. 1898. № 12. С. 49):

Тает лед, утихают сердечные вьюги,
Расцветают цветы...
Только имя одно Лучезарной Подруги
Угадаешь ли ты?

С. 98. *Белый — Блоку. 6 ⟨января⟩ 1903 г.* Ответ на первое письмо Блока. *В музыке, вокруг музыки «старый бой разгорается вновь»...*— цитата из стихотворения Вл. Соловьева «На палубе Торнео». *«Кольцо колец — кольцо возврата»* — цитата из работы Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».

С. 102. *Блок — Белому. 18 июня — 1 июля 1903 г. ...«бирюзовая вечность»...*— из стихотворения Белого «Ласка». ... *стоянье «идолом над кручей, раздирая одежды свои»...*— из стихотворения Белого «Возмездие» («Золото в лазури»). *...стократ завидней...*— из стихотворения Ф. Тютчева «А. А. Фету»: «Стократ завидней твой удел». *...«Свет Немеркнущий Новой богини»...*— из стихотворения Вл. Соловьева «Das Ewig- Weibliche». *...В «славословии, благодарении и прошении»...*— слова церковной молитвы. ... *тот «страх», который изгоняет совершенная любовь»* — из «Первого послания Иоанна» (IV, 18); впоследствии Блок взял эти слова эпиграфом к драме «Песня Судьбы». *...У Фета (Пой, добрая)...*— из стихотворения Фета «К музе».

С. 105. *Блок — Белому. 1 августа 1903 г. ...не хочу «крестных мук»...*— см. стихотворение Белого «Вечный зов» и «Начинание». *...вывод из Соловьевских слов, цитированных Вами...*— см. предисловие Вл. Соловьева к 3-му изданию его стихотворений. *«Ей машу колпаком...»* — из стихотворения Белого «Вечный зов». *«К нам скорей через запад*

дождливый...» — из стихотворения Вл. Соловьева «Белые колокольчики». *«Там стерегут мое паденье...»* — из стихотворения Блока «Стремленья сердца непомерны...»

С. 182. *Блок — Белому. 2 октября ⟨1905 г.⟩ ...покажи Сереже...*— С. М. Соловьеву. *Я изумился, читая «Зеленый луг»...*— имеется в виду статья Белого «Луг зеленый», напечатанная в журнале «Весы» (1905. № 8), а позднее перепечатанная в книге Белого «Луг зеленый» (1910). *...я писал статью...*— статью «Безвременье», законченную лишь в 1906 г. *...о пани Катерине...*— см. коммент. к с. 155. По свидетельству Белого, это место статьи явилось «отзвуком» его разговоров с Блоком в Шахматове летом 1904 г. (см.: Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 83; Эпопея. 1922. № 1. С. 250).

С. 183. *Белый — Блоку. ⟨13 октября 1905 г.⟩* О том, как это письмо было встречено в семье Блока см.: *Бекетова М.* Александр Блок и его мать. Л., 1925. С. 81—82. Здесь письмо Белого неверно отнесено к октябрю 1906 г.

С. 186. *Блок — Белому. ⟨14 или 15 октября 1905 г.⟩ «Передо мною куст терновый...»* — из стихотворения Вл. Соловьева «Неопалимая купина».

С. 191. *Белый — Блоку. Между 11 и 14 апреля 1906 г.* Печатается по: Страница истории: Из неизданных писем Андрея Белого Блоку / Предисл., публ. и коммент. А. Лаврова // Лит. обозрение. 1980. № 10. С. 105—106.

...вот уже месяц — со дня возвращения Белого из Петербурга в Москву. *...почему должен я отложить поездку в Петербург* — в письме от 6 апреля Блок просил Белого отложить свой приезд в Петербург ввиду болезни Л. Д. Блок и «самого трудного экзамена» у него самого (см.: Переписка. С. 175). *«Люба для меня — «Феникс», могущий сфинксов прогнать»* — символическое истолкование противопоставленных друг другу образов Сфинкса и Феникса Белый дал в статьях «Сфинкс» (Весы. 1905. № 9—10) и «Феникс» (Весы. 1906. № 7), вошедших потом в книгу статей Белого «Арабески». *«Теперь подхожу к моим открыткам, написанным Александре Андреевне»* — имеются в виду открытки (не дошедшие до нас), которые Белый посылал матери Блока для Л. Д. Блок. Все семейство Блоков осуждало Белого за них. *«Буду ждать от Любы срока для приезда пока терпеливо»* — Белый приехал в Петербург 15 апреля и в тот же день посетил Блоков. См. об этом: *Белый А.* Между двух революций. С. 79—82.

С. 194. *Блок — Белому. 12 августа 1906 г. ...так же думал о дуэли, как Ты.*— 10 августа 1906 г. Белый вызвал Блока на дуэль. Письменный вызов его, не дошедший до нас, передал

Блоку Эллис (Л. Кобылинский), ездивший для этого в Шахматово. В результате переговоров Эллиса с Блоком вопрос о дуэли отпал (см.: Эпопея. 1923. № 3. С. 188—190).

С. 216. *Блок — Белому. 24 марта 1907 г. ...за рецензию о «Неч⟨аянной⟩ Радости», которую Ты поместил в «Перевале»* — см.: Перевал. 1907. № 4 (Февр.). С. 59—61. Перепечатано в: Арабески. С. 458—463. См. эту рецензию в наст. изд. в составе статьи Белого «Блок».

Блок — Белому. 6 августа 1907 г. ...и Киевском журнальчике... — «В мире искусств», выходивший с 1907 по 1909 г. *Критики... (...по пов⟨оду⟩ меня и Чулкова) — не признаю* — критические выступления Белого против Г. Чулкова и А. Блока см.: Перевал. 1907. № 4. Февр.; № 5. Март; Весы. 1907. № 5, 6, 7.

С. 218. *Белый — Блоку. ⟨5 или 6 августа 1907 г.⟩ ...статья о реалистах... в «Руне»...* — статья Блока «О реалистах».

С. 356. *Блок — Белому. 24 апреля 1908 г. Я прочел «Кубок Метелей»...* — имеется в виду кн.: *Белый А.* Кубок Метелей: Четвертая симфония. М., «Скорпион», 1908. 21 апреля 1908 г. Блок писал матери: «Я зол на Москву. Боря пишет мне встревоженные письма (обещает, между прочим, прислать тебе Симфонию), а я ему не в силах ответить. Ибо неуловимо хамские выходки есть в этой Симфонии против меня, а в только что вышедшей книге Сережи — целая очень уловимо хамская статья обо мне. [Имеется в виду статья С. Соловьева «Г. Блок о земледелах, долгобородых арийцах, паре пива, обо мне и о многом другом» — по поводу статьи А. Блока «О лирике» в: *Соловьев С.* Crurifragium. М., 1908. С. 153.— *М. П.*] Московское высокомерие мне претит, они досадны и безвкусны, как индейские петухи. Хожу и плююсь, как будто в рот попал клоп. Чорт с ними» (VIII, 237).

...ужасно неприятное впечатление от Твоих рецензий в «Весах» о Сологубе, Гиппиус, «обозной сволочи» — имеются в виду статья о Ф. Сологубе «Далай-лама из Сапожка» (Весы. 1908. № 3), рецензия на книгу Антона Крайнего (З. Гиппиус) «Литературный дневник» (Весы. 1908. № 3) и статья «Вольноотпущенники» (Весы. 1908. № 2). *...была и есть единственная «неколебимая истина»...* — из стихотворения В. Брюсова «Неколебимой истине».

С. 357. *Белый — Блоку. 8 сентября 1908 г.* Печатается по: Страница истории: Из неизданных писем Андрея Белого к Александру Блоку. С. 107. Это письмо не было отправлено Блоку; оно сохранилось в архиве Белого. *...я Тебе послал разд-*

раженное письмо весною...— см. письмо Белого Блоку от 3 мая 1908 г.

С. 358. *Белый — Блоку. ⟨Конец августа — начало сентября 1910 г.⟩ ...прочитав Твою статью в «Аполлоне»...*— «О современном состоянии русского символизма» (Аполлон. 1910. № 8).

С. 362. *Белый — Блоку. ⟨Конец октября 1910 г.⟩ «Панихида»* — лирическая поэма Белого, напечатанная в «Весах» (1907. № 6). *Статья Мережковского...*— «Балаган и трагедия», напечатанная в газете «Русское слово» от 14 сентября 1910 г., № 211, и посвященная критике докладов Вяч. Иванова и Блока о символизме. Особенно Мережковский обрушился на слова Блока: «Революция совершилась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений помрачения золота и торжества лилового сумрака, т. е. тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России... И сама Россия в лучах новой гражданственности оказалась нашей собственной душой». Мережковский, не понимая символического языка Блока, обвинил его в «измене тому святому, абсолютному, что было в русской революции». «По мнению декадентов,— писал он,— русская революция — балаган, на котором Прекрасная Дама — свобода — оказалась «картонной невестой» и «мертвой куклой» и человеческая кровь — клюквенным соком... Я не удивлюсь, если завтра Вяч. Иванов, Ал. Блок и прочие окажутся вместе с Илиодорами и Гермогенами. Кому же кажется нынче свобода «картонной невестой»? Кто не плюет на потухающий жертвенник? Чье ослиное копыто не лягает мертвого льва? И не видят они, что если в душе у них «сорвалось», кончилось «балаганом», то в России продолжается трагедия, и что надо быть черной сотнею, чтобы считать человеческую кровь за клюквенный сок». *Булгаков, Бердяев, Гершензон...*— участники сборника «Вехи» (1909).

С. 436. *Блок — Белому. 3/16 марта 1911 г. Пишу поэму* — «Возмездие». *Кэруан* — город в Тунисе.

С. 437. *Блок — Белому. 12/25 марта ⟨1911 г.⟩ ...о сфинксе* — Белый писал Блоку о сфинксе в письме из Каира в начале марта 1911 г. О сфинксе Белый писал в очерке «Египет» (Современник. 1912. № 6).

С. 438. *Белый — Блоку. 15/28 марта 1911 г. «Куликово поле»* — летом 1910 г. в Боголюбах Волынской губернии Белый случайно прочитал цикл Блока «На поле Куликовом» и, по его словам, «был потрясен силой этих стихов». «Как цикл шахматовских стихов знаменовал для меня первую встречу

с А. А.,— писал Белый,—...как чтение «Балаганчика» в феврале шестого года открывало для меня вторую тяжелую фазу наших отношений, так «Куликово поле» было для меня лейтмотивом последнего и окончательного «да» между нами. «Куликово поле» мне раз навсегда показало неслучайность наших с А. А. путей, перекрещивающихся фатально и независимо от нас... В десятом году я уже задумывался над темою «Петербурга». И пусть «Петербург» носит совершенно иной внешний вид, чем «Куликово поле», однако глубиной — мотив «Петербурга», неудачно выявленный и загроможденный внешней психологической фабулой, едва слышимой читателю, укладывается в стихи А. А. «Доспех тяжел, как перед боем, теперь Твой час настал — молись» (а вся психологическая фабула «Петербурга» есть подлинный рассказ о том, какими оккультными путями злая сила развязывает «дикие страсти под игом ущербной луны» и рассказ о том, как «не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой»)» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 119—120). Под впечатлением этих блоковских стихов Белый возобновил в конце августа — начале сентября 1910 г. переписку с Блоком.

С. 439. *Белый — Блоку. 20 марта/3 апреля 1911 г. «За Русь, за Сичь...»* — неточная цитата из повести Гоголя «Тарас Бульба».

Белый — Блоку. 29 апреля ⟨1911 г.⟩ ...разгромлен московский университет...— имеется в виду длительная забастовка студентов университета в начале 1911 г. и уход из университета либеральной части профессуры.

С. 440. *Блок — Белому. 8 мая 1911 г. ...у меня было подобное...*— в очерке «Wirballen» (немецкое название пограничной станции Вержболово) из неоконченной книги «Молнии искусства», посвященной впечатлениям от путешествия в Италию в мае — июне 1909 г., Блок писал (см.: V, 404—405): «Поздней ночью, в огромном, пропитанном карболкой темном зале Вержболовской таможни пассажиров с немецкого поезда выстроили вдоль грязного прилавка и стали обыскивать. Обыскивали долго, тащили кипами чьи-то книги в какой-то участок — любезно и предупредительно. Когда операция кончилась, показалось, что выдержали последний экзамен, и на душе стало легко.

Утром проснулся и смотрю из окна вагона. Дождик идет, на пашнях слякоть, чахлые кусты, и по полю трусит на кляче, с ружьем за плечами, одинокий стражник. Я ослепительно почувствовал, где я: это она — несчастная моя Россия, заплеванная чиновниками, грязная, забитая, слюнявая, всемирное посмешище. Здравствуй, матушка!

Поезд только что отошел от Двинска, а следующая боль-

шая станция — Режица, а до Режицы еще очень далеко. Впрочем, что в ней, в этой Режице? Такая же сплошь мокрая платформа, серые тучи, два телеграфиста да баба, старающаяся перекричать ветер. Таков русский белый день, после туманов Умбрии, влажности Ломбардии и прозрачного утра немецкой готики. Уютная, тихая, медленная слякоть. Но... «жить страшно хочется»,— говорит полковник из «Трех сестер». А к вечеру будет Петербург. Что же, собственно, в этом Петербурге? Не та же ли большая, мокрая и уютная Режица?

Сколько ни тащись в скором поезде, все будут одни «версты полосаты». И что тебе Режица, что тебе Двинск, что тебе Петербург — все одна слякоть. И сейчас же просыпаются чувства, каких «заграницей» не бывает.

Вот, например, что бы ни сделал человек в России, его всегда прежде всего жалко. Жалко, когда человек с аппетитом ест; жалко, когда растерявшийся немец с экземой на лице присутствует при жаргонной ругани своего носильщика с чужим; жалко, когда таможенный чиновник, всю жизнь видящий проезжающих за границу и обратно, но сам за грацей не побывавший, любезно и снисходительно спрашивает, нет ли чего, откуда и куда едут...

Все это — бедняги и жалкие люди, и нечего с них спросить, остается только их пожалеть, поплакать на каждой из мокрых Режиц. Баба, кому кричишь,— все равно ветра не перекричишь! Мужик, зачем лезешь во второй класс,— все равно не пустят. Жандарм, что в окна засматриваешь,— все равно кого-нибудь прозеваешь! — Ни баб, ни мужиков, ни жандармов, ни преступников — ведь не счесть; и местностей, где они проживают, тоже не счесть, потому что все они похожи одна на другую, как одна будка на другую, как казарма местного гарнизона на любую собачью конуру. Везде идет дождь, везде есть деревянная церковь, телеграфист и жандарм».

В письме матери из Милана от 19 июня 1909 г. по новому стилю Блок писал (см.: VIII, 288—289): «Меня постоянно страшно беспокоит и то, как вы живете в Шахматове, и то, что вообще происходит в России. Единственное место, где я могу жить,— все-таки Россия, но ужаснее того, что́ в ней (по газетам и по воспоминаниям), кажется, нет нигде. Утешает меня (и Любу) только несколько то, что всем (кого мы ценим) отвратительно — всё хуже и хуже.

Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуться, и как будто *некуда* вернуться — на таможне обворуют, а в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят,— цензура не пропустит того, что я написал.〈...〉

Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция. *Все* люди

сгниют, *несколько* человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня — все та же — лирическая величина. На самом деле — ее нет, не было и не будет.

Я давно уже читаю «Войну и мир» и перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует».

С. 441. *Белый — Блоку. ⟨Конец мая 1911 г.⟩ Огромное спасибо за книгу и за надпись: мы радуемся с Метнером, что у нас вышел Блок...*— имеется в виду 1-я книга «Собрание стихотворений», изданная «Мусагетом» в 1911 г. *Метнер* Эмилий Карлович (1872—1936) — музыкальный критик (псевдоним — Вольфинг), руководитель издательства «Мусагет». На книге Блок надписал: «Андрею Белому залог нерасторжимой связи. Александр *Блок*. Май 1911. Спб». (см.: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 35). *...мы корячились на «площадях, в переулках, в извивах»...*— искаженное цитирование первой строки стихотворения Блока «В кабаках, в переулках, в извивах...». *...смотри пред⟨исловие⟩ к Урне...*— в предисловии к сборнику «Урна» (М., 1909) Белый писал: «В «Урне» я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому «я». Мертвое «я» заключаю в «Урну», и другое, живое «я» пробуждается во мне к истинному. Еще «Золото в лазури» далеко от меня... в будущем. Закатная лазурь запятнана прахом и дымом: и только ночная синева омывает росами прах... К утру, быть может, лазурь очистится...» *«См. Пепел, Панихиду».*— «Панихида» как лирическая поэма была опубликована в «Весах» (1907, № 6), а ее отдельные фрагменты в переработанном виде вошли в книгу стихов «Пепел». *«Все кружась исчезает во мгле...»* — из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...»

С. 442. *Блок — Белому. 6 июня 1911 г. Вольфинг* — см. коммент. к с. 441. *...«трилогия вочеловечения»...*— ср. с предисловием Блока к «Собранию стихотворений» (Кн. 1), в котором поэт писал: «Тем, кто сочувствует моей поэзии, не кажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме стихотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют цены; но каждое стихотворение необходимо для образования *главы*; из нескольких глав составляется *книга*; каждая книга есть часть *трилогии*; всю трилогию я могу назвать «романом в стихах»: она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет сознательной жизни».

С. 444. *Белый — Блоку. ⟨Июнь 1911 г.⟩ Северная симфония — Белый А.* Северная симфония (1-я, героическая). М., «Скорпион», 1904. *2-я Симф⟨ония⟩ — Белый А.* Симфония (2-я, драматическая). М., «Скорпион», 1902. *Чет-*

вертая Симфония — *Белый А.* Кубок метелей. Четвертая симфония. М., «Скорпион», 1908. *«Только скоро ль погаснут огни...»* — из стихотворения Блока «Одинокий, к тебе прихожу...». *В Твоей прошлогодней статье...* — имеется в виду статья Блока «О современном состоянии русского символизма». *Да не будет Калки!* — Позднее Белый писал в романе «Петербург» (Пг., 1916. С. 141): «Бросятся с мест своих в эти дни все народы; брань великая будет,— брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово Поле, я жду тебя!» О связи темы России с темой Востока и Запада в романе Белого «Петербург» см.: *Пискунов В.* Тема о России: Россия и революция в литературе начала XX века. М., 1983. С. 118—125; *Долгополов Л.* Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 277—311. *Вячеслав* — Вяч. И. Иванов, см. с. 650.

С. 447. *Белый — Блоку. 1/14 мая 1912 г. Штейнер* Рудольф (1861—1925) — немецкий теософ; о нем и об увлечении его учением Белый подробно рассказывает в этом письме к Блоку. См.: Переписка. С. 293—301.

С. 448. *Белый — Блоку. ⟨28 декабря 1912 г.⟩/10 января 1913 г. Твои слова о Капелле...* — имеется в виду заключительная часть статьи Блока «О современном состоянии русского символизма»: «Мой вывод таков: путь к подвигу, которого требует наше служение, есть — прежде всего — ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диета. Должно учиться вновь у мира и у того младенца, который живет еще в сожженной душе.

Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком. Мы обязаны, в качестве художников, ясно созерцать все священные разговоры («santa conversatione») и свержение Антихриста, как Беллини и Беато. Нам должно быть памятно и дорого паломничество Синьорелли, который, придя на склоне лет в чужое скалистое Орвьето, смиренно попросил у граждан позволить ему расписать новую капеллу» (V, 436). *«...мое письмо к Тебе после этого»* — имеется в виду письмо Белого Блоку, написанное в конце августа — начале сентября 1910 г. по поводу статьи Блока «О современном состоянии русского символизма», опубликованной в журнале «Аполлон» (1910. № 8). Белый писал (см.: Переписка. С. 233):

«Глубокоуважаемый и снова близкий Саша,

прежде всего позволь мне Тебе принести покаяние во всем том, что было между нами. Я уже очень давно (более году) не

питаю к Тебе и тени прошлого (смутного). Но как-то странно было об этом говорить Тебе. Да и незачем. Теперь, только что прочитав Твою статью в «Аполлоне», я почувствовал *долг* написать Тебе, чтобы выразить Тебе мое глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды, которой... ведь почти никто не услышит, кроме нескольких лиц, как услышало эту *правду* несколько лиц в Москве. Сейчас я глубоко взволнован и растроган. Ты нашел слова, которые я уже вот год ищу, все не могу найти: а Ты — сказал не только за себя, но и за всех нас.

Еще раз, спасибо Тебе, милый брат: называю Тебя братом, потому что слышу Тебя таким, а вовсе не потому, что хочу Тебя видеть или Тебя слышать. Можешь мне писать и не писать; может во внешнем быть и не быть между нами разрыв — все равно: не для возобновления наших сношений я пишу, а *во имя долга.* Во имя правды прошу у Тебя прощения в том, в чем бес нас всех попутал».

С. 515. *Белый — Блоку. 17 марта 1918 г. «То было в Богемии дальней...»* — из стихотворения Блока «Было то в темных Карпатах, Было в Богемии дальней...». *«Доспех тяжел, как перед боем!.. Теперь — молись...»* — из стихотворения Блока «Опять над полем Куликовым...». ...*«Пора смириться, сёр...»* — из стихотворения Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...». ...*«И в собрании каждом людей эти тайные сыщики есть...»* — из стихотворения Блока «Есть игра: осторожно войти...». ...*«железную пяту»*...— обобщенный образ капитализма из одноименного романа Джека Лондона (1907). ...*из Твоих фельетонов в «Знам⟨ени⟩ Труда»*...— имеется в виду цикл статей Блока «Россия и интеллигенция», опубликованный в январе — марте 1918 г. в газете «Знамя труда». В него вошли в переработанном виде статьи 1907—1913 гг. и одна новая — «Интеллигенция и Революция» (1918).

С. 516. *Блок — Белому. 9 апреля 1918 г. Разумник Васильевич* Иванов-Разумник (1878—1946) — критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли, автор вступительной статьи к кн.: *Блок А.* Двенадцать. Скифы. Спб., 1918. Подробнее о нем и его переписке с Блоком см.: Переписка с Р. В. Ивановым-Разумником/Вступ. ст., публ. и коммент. А. В. Лаврова//Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 336—414.

С. 517. *Белый — Блоку. 10 августа 1918 г. ...поблагодарить за книгу стихов и «12»...*— книгой стихов могло быть отдельное издание поэмы «Соловьиный сад», вышедшее в свет 19 июля 1918 г., или один из томов «Стихотворений» издания 1916 г.; первый том нового издания «Стихотворений» вышел

только в сентябре 1918 г. Под «12»-ю имеется в виду вышедшая 3 июня 1918 г. кн.: *Блок А.* Двенадцать. Скифы. Спб., «Революционный социализм», 1918. *Академия* — имеется в виду Социалистическая академия, организованная в 1918 г. в Москве в качестве научно-исследовательского центра по разработке революционной теории; в 1923 г. переименована в Коммунистическую академию. *Евгений Германович Лундберг* (1883—1965) — беллетрист, критик и публицист; в 1920 г. в Берлине организовал издательство «Скифы», которое выпускало книги Блока и Белого.

С. 518. *Блок — Белому. 5 сентября 1918 г.* В записной книжке 5 сентября Блок отметил: «*А. Белому* для альманаха, посвященного революции: I. *На рубеже двух миров:* 1) «Жизнь — как море она...», 2) «Над старым мраком мировым...», 3) «Когда же смерть...», 4) «Поэт в изгнаньи...», 5) «Смеялись бедные надежды...», 6) «Мы — чернецы...», 7) Сфинкс («Шевельнулась безмолвная...»); II. Зинаиде Гиппиус (ответ на «Последние стихи»)». (IX, 425). Альманах, для которого Блок посылал стихи, издан не был. О стихотворении «З. Гиппиус» см. коммент. на с. 645. Самуил Миронович *Алянский* (1891—1974) — основатель и руководитель издательства «Алконост» (1918—1926), издатель журнала «Записки мечтателей».

С. 519. *Белый — Блоку. 12 марта 1919 г.* На письме помета Блока: «При этом — поэма „Христос воскресе“». На экземпляре поэмы (Пб., «Алконост», 1918) надпись Белого: «Дорогому милому Саше с любовью и преданностью. Б. Бугаев (А. Белый). 11 марта 19 г.»

Вячеслав — Вяч. И. Иванов; см. коммент. на с. 650. ...*мы должны начать «Вольно-Философскую Академию»*... — деятельность Вольной философской ассоциации («Вольфилы») началась 16 ноября 1919 г. с доклада Блока «Крушение гуманизма». Председателем совета «Вольфилы» был избран Андрей Белый, товарищем председателя — Иванов-Разумник. Подробнее о «Вольфиле» см.: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 380—381.

Приложение

С. 522. Сергей Соловьев. Андрей Белый. «Пепел». Изд. «Шиповник». Спб., 1909.— Печатается по: Весы. 1909. № 1. С. 83—84.

«Первому направлению...» — По смысловому контексту здесь должно быть: «Второму направлению...», т. е. некрасовскому.

С. 525. Вячеслав Иванов. Андрей Белый. «Пепел». Изд. «Шиповник». Спб., 1909.— Печатается по: Критическое обозрение. 1909. Вып. 2. Февр. С. 44—48.

С. 528. Вячеслав Иванов. О русской идее.— Печатается по: Золотое руно. 1909. № 1. С. 85—93. Из пяти разделов статьи, опубликованных в этом номере журнала, в наст. изд. представлены первый и третий. Продолжение статьи в: Золотое руно. 1909. № 2—3 (разд. VI—X). В книге статей Вяч. Иванова «По звездам» (Спб., 1909) статья «О русской идее» дана в другой редакции, где конкретные разборы стихов Блока и Белого отсутствуют.

С. 531. Сергей Городецкий. Идолотворчество.— Печатается по: Золотое руно. 1909. № 1. С. 93—101. В наст. изд. опущен первый раздел статьи.

С. 537. Сергей Городецкий. Ближайшая задача русской литературы.— Печатается по: Золотое руно. 1909. № 4. С. 66—81. Статья, представляющая собой доклад, который был прочитан в Московском литературно-художественном кружке, состоит из двух частей. В наст. изд. публикуется вторая часть статьи.

С. 542. Георгий Иванов. «Стихи о России» Александра Блока.— Печатается по: Аполлон. 1915. № 8—9. С. 96—97. Рецензия на сборник А. Блока «Стихи о России» (Пг., Изд. «Отечество». 1915).

С. 546. Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. Александр Блок. «Ночные часы». Четвертый сборник стихов. Изд-во «Мусагет». [М., 1911] ⟨...⟩ — Печатается по: Аполлон. 1912. № 1. С. 69—73. В наст. изд. отзывы о сборниках стихов других поэтов опущены.

С. 548. Юрий Никольский. Александр Блок о России.— Печатается по: Русская мысль. 1915. Кн. 11. С. 16—19 (3-я

пагинация — раздел «В России и за границей»). Рецензия на: *Блок А.* Стихи о России. Пг., Изд. «Отечество», 1915.

С. 553. Ал. Ожигов. Александр Блок. «Стихи о России». Издание журнала «Отечество», 1915.— Печатается по: Современный мир. 1915. № 9. С. 188—189 (2-я пагинация).

С. 556. Р. Иванов-Разумник. Испытание в грозе и буре («Двенадцать» и «Скифы» А. Блока) — Печатается по: *Иванов-Разумник Р.* Александр Блок. Андрей Белый. Пб., «Алконост», 1919. С. 119—163.

...этот Петруха, уложивший уже офицера («не ушел он от ножа!»), этот его товарищ, угрожающий расправою возможному сопернику: «ну, Ванька, сукин сын, буржуй! мою, попробуй, поцелуй!» — В кн.: *Блок А.* Двенадцать. Скифы/Предисл. Р. Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре». Спб., «Революционный социализм», 1918 — это место читалось так: «...Этот Петруха, уложивший уже офицера («не ушел он от ножа!»), а теперь угрожающий расправою и новому сопернику: „ну, Ванька, сукин сын, буржуй! мою, попробуй, поцелуй!“» (С. 8).

Эвфорион — действующее лицо трагедии Гёте «Фауст», сын Елены и Фауста, символ связи разных эпох.

С. 582. Р. Иванов-Разумник. Весть весны.— Печатается по: *Иванов-Разумник Р.* Александр Блок. Андрей Белый. Пб., «Алконост», 1919. С. 164—179.

Пример — глубокая ошибка марта 1918 года, капитуляция революции перед мещанством.— Имеется в виду Брестский мирный договор между Советской Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с другой, заключенный 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске и ратифицированный 15 марта того же года IV чрезвычайным Всероссийским съездом Советов. Об отношении А. Белого к этому договору см. в его ⟨«Вступительном слове и речи на LXXXIII открытом заседании Вольной Философской Ассоциации 28 августа 1921 года, посвященном памяти Александра Блока»⟩ (наст. изд.— С. 489). Об отношении А. Блока к агрессии вероломного Запада против революционной России см. в его стихотворении «Скифы» и в примечаниях к нему.

С. 591. Максимилиан Волошин. Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург.— Печатается по: Камена. [Харьков], 1919. № 2. С. 10—24. В наст. изд. оценка стихов И. Эренбурга опущена.

С. 593. Ник. Асеев. Радуга революции («Двенадцать» А. Блока).— Впервые: Воля. [Владивосток], 1919. 16 и 17 окт.

№ 4, 5. Печатается по: Москва, 1974. № 1. С. 197—200: Публ. Ю. Смолы.

С. 601. В. Маяковский. Умер Александр Блок.— Печатается по: Агит-Роста. 1921. 10 авг.

С. 602. В. Жирмунский. Поэзия Александра Блока. Пб., 1922. 103 с. Из книги, являющейся оттиском из сборника статей «Об Александре Блоке» (Пб., «Картонный домик», 1921. С. 65—165), публикуются III и VIII разделы.

С. 608. Иннокентий Оксенов. О композиции «Двенадцати».— Печатается по: Книга и революция. 1923. № 1. С. 26—28. В наст. изд. статья дана в сокращении.

С. 610. О. Мандельштам. Барсучья нора. В журнале «Россия» (1922. № 1. Авг.) впервые опубликована под названием: «А. Блок (7 августа 1921 г.—7 августа 22 г.)»; позднее, в измененном виде, названа «Барсучья нора».— Печатается по: *Мандельштам О.* Слово о культуре. М., 1987. С. 77—78, 256—266.

С. 612. К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт (Введение в поэзию Блока). Пг., Изд. А. Ф. Маркс, 1924. См. также: Письма Блока к К. И. Чуковскому и отрывки из дневника К. И. Чуковского/Вступ. ст., публ. и коммент. Е. Ц. Чуковской//Литературное наследство. М., 1981. Т. 92. Кн. 2. С. 232—272.

С. 614. Ю. Айхенвальд. Александр Блок.— Печатается по: *Айхенвальд Ю.* Поэты и поэтессы. М., «Северные дни», 1922.

С. 617. Н. И. Бухарин. О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР.— Впервые: Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934: Стенографический отчет. М., 1934. Печатается по: *Бухарин Н. И.* Избр. труды. Л., 1988. С. 488.

Литература *

Иванов-Разумник ⟨*Р*⟩. Александр Блок. Андрей Белый. Пб., 1919. Об Александре Блоке. Пб., 1921.

Белый А. Воспоминания о Блоке//Эпопея. М.; Берлин, 1922. 1—4.

Белый А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке// Записки мечтателей. 1922. № 6.

Белый А. Блок//*Белый А.* Поэзия слова. Пб., 1922.

Белый А. Воспоминания о Блоке//Северные дни. М., 1922. Сб. 2.

Памяти Александра Блока/Андрей Белый, ⟨Р.⟩ Иванов-Разумник, А. З. Штейнберг. Пб., 1922.

Иванов-Разумник ⟨*Р.*⟩ Вершины: Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1923.

Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт: Введение в поэзию Блока. Пг., 1924.

Белый А. Ветер с Кавказа. М., 1928. С. 182—188, 292 (изложение лекции Белого о Блоке, прочитанной в Тбилиси в июле 1927 года и полемика со вступ. статьей И. Машбиц-Верова к: *Блок А.* Избранные стихотворения. М.; Л., 1927.).

Медведев П. Н. Драмы и поэмы А. Блока: Из истории их создания. Л., 1928. (См. то же в сокращ. виде в: *Медведев П.* В лаборатории писателя. Л., 1960; 2-е изд. Л., 1971.).

Селивановский А. Пепел//Лит. газ. 1929. 9 дек.

Белый А. На рубеже двух столетий. М.; Л., 1930; 2-е изд.— М., Л., 1931; посл. изд.— М., 1989.

Белый А. Начало века. М.; Л., 1933; посл. изд.— М., 1990.

Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 294—297: Гоголь и Блок.

Белый А. Между двух революций. Л., 1934; посл. изд.— М., 1990.

Малкина Е. Путь А. Блока к революции//Звезда. 1937. № 8.

Литературное наследство. М., 1937. Т. 27/28. Из содержания: *Орлов В.* Александр Блок и Андрей Белый в 1907 году [Предисловие и примечания к публикации писем]; *Белый А.* Воспоминания. Т. 3. Ч. 2 (1910—1912); *Орлов В.* Литературное наследство Александра Блока; *Бугаева К., Петровский А.* Литературное наследство Андрея Белого; [Б. п.] Переписка Александра Блока и Андрея Белого.

Вольпе Ц. О поэзии Андрея Белого//*Белый А.* Стихотворения. Л., 1940.

Орлов В. История одной «дружбы-вражды»//Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940.

Тимофеев Л. Александр Блок. М., 1946.

Тарасенков А. Поэзия Андрея Белого//*Тарасенков А.* Поэты. М., 1956.

Орлов В. Александр Блок: Очерк творчества. М., 1956.

Антокольский П. Александр Блок//*Антокольский П.* Поэты и время. М., 1957. (То же в: *Антокольский П.* Пути поэтов. М., 1965.)

* Принцип — хронологический.

Федин К. Александр Блок//*Федин К.* Писатель. Искусство. Время. М., 1957.
Зелинский К. На рубеже двух эпох: Литературные встречи 1917—1920 годов. М., 1959.
Тимофеев Л. Поэма Блока «Двенадцать» и ее толкователи//Вопр. литературы. 1960. № 7. (То же в: *Тимофеев Л.* Советская литература: Метод, стиль, поэтика. М., 1964.)
Альфонсов В. К характеристике общественных мотивов в лирике А. Блока 1911—1914 годов//Ученые записки/Ленинградского пед. ин-та. Л., 1960. Т. 208. Ч. 2.
Громов П. Герой и время: Статьи о литературе и театре. Л., 1961.
Орлов В. Три очерка об Александре Блоке: Вечный бой; История одной «дружбы-вражды»; История одной любви//*Орлов В.* Пути и судьбы. М.; Л., 1963. (2-е изд.— Л., 1971).
Долгополов Л. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX — начала XX веков. М.; Л., 1964.
Хмельницкая Т. Поэзия Андрея Белого//*Белый А.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966.
Громов П. А. Блок, его предшественники и современники. М.; Л., 1966 (2-е изд., доп.— Л., 1986).
Пастернак Б. Люди и положения //Новый мир. 1967. № 1. (То же в: *Пастернак Б.* Избранное: В 2 т. М., 1985. Т. 2.).
Пьяных М. Ф. Роль поэтических традиций Некрасова в развитии лирики русских символистов//Некрасовский сборник. Кн. 4.: Некрасов и русская поэзия. Л., 1967.
Соловьев Б. Поэт и его подвиг: Творческий путь А. Блока. 2-е изд., доп. М., 1968.
Черепнин Л. Русская революция и А. А. Блок как историк//*Черепнин Л.* Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968.
Долгополов Л. Поэзия русского символизма//История русской поэзии: В 2 т. Л., 1969. Т. 2.
Машбиц-Веров И. Русский символизм и путь Александра Блока. Куйбышев, 1969.
Турков А. Александр Блок. М., 1969.
Авраменко А. Сборники «Золото в лазури» и «Пепел» А. Белого: К вопросу о традиционности и новаторстве в поэзии символизма//Филол. науки. 1969. № 5.
Крук И. Поэзия Александра Блока. М., 1970.
Алянский С. Встречи с Александром Блоком. М., 1972.
Скатов Н. Некрасов в поэтическом мире Александра Блока и Андрея Белого//*Скатов Н.* Некрасов. Современники и продолжатели: Очерки. Л., 1973.
Максимов Д. Поэзия и проза А. Блока. Л., 1975 (2-е изд.— Л., 1981).
Долгополов Л. Александр Блок: Личность и творчество. 2-е изд. Л., 1978 (3-е изд.— Л., 1984).
Два неопубликованных письма Александра Блока к Андрею Белому/Вступ. заметка, публ. и примеч. Н. Примочкиной//Вопр. литературы. 1978. № 10.
Лесневский С. Путь, открытый взорам: Московская земля в жизни Александра Блока: Биографическая хроника. М., 1980.
Пьяных М. Слушайте революцию: Поэзия Александра Блока советской эпохи. М., 1980.

Белый А. Воспоминания об А. А. Блоке//А. Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1.

Колобаева Л. А. Человек и его мир в художественной системе Андрея Белого//Филол. науки. 1980. № 5.

Страница истории: Из неизданных писем Андрея Белого к Александру Блоку/ [Предисл., публ., и коммент. А. Лаврова] //Лит. обозрение. 1980. № 10.

В мире Блока: Сб. статей. М., 1981.

Бураго С. Б. Александр Блок: Очерк жизни и творчества. Киев, 1981.

Орлов Вл. Избранные работы: В 2 т. Л., 1982. Т. 2: Гамаюн. Жизнь Александра Блока.

Долгополов Л. Неизведанный материк: Заметки об Андрее Белом//Вопр. литературы. 1982. № 3.

Пискунов В. Тема о России: Россия и революция в литературе начала XX века. М., 1983.

Пильд Л. Л. Из творческих связей Ал. Блока и А. Белого в период «Распутий»//Блоковский сборник. VI. А. Блок и его окружение//Ученые записки/Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1985. Вып. 680.

Скатов Н. Некрасовская книга Андрея Белого («Пепел»)//*Скатов Н.* Некрасов. Современники и продолжатели: Очерки. М., 1986.

Максимов Д. Русские поэты начала века. Л., 1986.

Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.

Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988.

Пьяных М. Ф. «Что впереди?» (Поэма А. Блока «Двенадцать» и наша современность)//Вечерняя средняя школа. 1989. № 6.

Белый А. «Он как бы приговаривал себя к смерти...»: Из поминальных записей об Александре Блоке/ [Публ. А. В. Лаврова] //Лит. газета. 1990. 1 авг. № 31.

Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990.

Содержание

РОДИНА (1907—1916)

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Из книги стихов
«ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ»

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

ПЕПЕЛ

РОССИЯ

ДЕРЕВНЯ

ПАУТИНА

ГОРОД

БЕЗУМИЕ

ПРОСВЕТЫ

ГОРЕМЫКИ

Из книг стихов
«КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ» и «ЗВЕЗДА»

СТАТЬИ А. БЛОКА

СТАТЬИ А. БЕЛОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ

■ БИБЛИОТЕКА
■ СТУДЕНТА-
■ СЛОВЕСНИКА

Учебное издание

**АЛЕКСАНДР БЛОК, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ:
ДИАЛОГ ПОЭТОВ О РОССИИ И РЕВОЛЮЦИИ**

Составитель **Пьяных** Михаил Федорович

Зав. редакцией *Г. Н. Усков*
Редактор *Л. А. Дрибинская*
Младший редактор *Т. А. Феоктистова*
Художник *В. В. Сурков*
Художественный редактор *М. Г. Мицкевич*
Технический редактор *Л. А. Муравьева*
Корректор *Л. А. Исаева*

ИБ № 8389

Изд. № ЛЖ-109. Сдано в набор 12.01.90. Подп. в печать 17.09.90. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 2. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Объем 36,12 усл. печ. л.+ +0,125 усл. печ. л. форз. 36,54 усл. кр.-отт. 30,77 уч.-изд. л.+0,35 уч.-изд. л. форз. Тираж 100 000 экз. Зак. № 487. Цена 2 р. 70 к.

Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.


ОНТОРА
НОТАРІ
САМУ

2 р. 70 к.